

К. МАРКС
и
Ф. ЭНГЕЛЬС

К. М А Р К С

и

Ф. Э Н Г Е Л Ъ С

СОЧИНЕНИЯ

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ
Публицистика - Философия - История

ОТДЕЛ ВТОРОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАПИТАЛ
ТЕОРИИ ПРИВАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ
ПЕРЕПИСКА

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫЙ И ИМЕННОЙ

**ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!**

ИНСТИТУТ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА

К. МАРКС
И
Ф. ЭНГЕЛЬС

СОЧИНЕНИЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Д. РЯЗАНОВА

Т О М
II

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

О Т Д Е Л П Е Р В Ы Й

Ф. ЭНГЕЛЬС

СТАТЬИ
ПИСЬМА

1838—1845

ИНСТИТУТ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА.

В первом томе мы собрали почти все литературные документы, которые дают возможность установить главные вехи духовного развития Маркса до его более тесного знакомства с Энгельсом. Среди них имеется ряд новых документов, оставшихся неизвестными Каутскому, Бернштейну и Мерингу; о них не упоминает Энгельс даже в биографии Маркса, написанной для «*Handwörterbuch der Staatswissenschaften*». Есть и такие, которые были известны Мерингу, — статьи из «Рейнской газеты», — но не были им вновь опубликованы. Но все-таки эти новые документы не вносят коренных изменений в известную нам картину интеллектуальной эволюции Маркса. Они дают только возможность внести в нее ряд, — правда, важных — поправок и дополнений, осветить более ярким светом ряд переходов в миросозерцании Маркса от младогегельянства до коммунизма эпохи «Немецко-французских летописей».

Совсем иначе обстоит дело с теми статьями и письмами Энгельса, которые собраны в этом томе и которые, в свою очередь, должны помочь определить главные вехи его духовного развития до знакомства с Марксом. И первый биограф Энгельса — Каутский — и издатель его литературного наследства — Меринг — исходили из того, что литературная деятельность Энгельса началась его статьями в «Немецко-французских летописях», т. е. в 1844 году. Отсюда и известно противопоставление: Энгельс начал экономистом, кончил философом, Маркс — наоборот. Создалась своего рода «догма», что Энгельс начал свою литературную деятельность работой, которая отличается большей зрелостью теоретической мысли, большим приближением к научному коммунизму, чем ранние работы Маркса, — гениальными «Очерками критики политической экономии».

А между тем уже в 1885 году вышла в свет известная книга Георга Адлера «История первого социально-политического рабочего движения в Германии»,¹ в которой об Энгельсе сообщался

¹ «Die Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland mit besonderer Rücksicht auf die einwirkenden Theorien», Breslau 1885, S. 141.

ряд интересных сведений, требовавших критической проверки. На основании данных, опубликованных в «Барменской газете» и перепечатанных в тогдашнем легальном органе немецкой социал-демократии, Адлер сообщал, что Энгельс в молодости поместил в «Германском телеграфе» Карла Гуцкова «Письма из Вупперталя» и издал направленную против Шеллинга брошюру «Шеллинг и откровение». Кроме того, на основании того же источника, сообщалось, что Энгельсу приписывалось также авторство какой-то сатирической христианской поэмы.

Книга Адлера, который принадлежал к числу обычных немецких университетских карьеристов и мало чем отличался в своей критике социалистических и коммунистических учений от наших родных Щегловых и Цитовичей, вызвала сейчас же на страницах «Neue Zeit» со стороны Каутского очень резкую отповедь. Возможно, что последний, показавший в своей рецензии, как легкомысленно компилировал Адлер свою книгу и как доверчиво он использовал полицейские отчеты, просто не обратил никакого внимания на указанные нами данные. По крайней мере, в биографии Энгельса, которую Каутский написал в 1887 г. для австрийского рабочего календаря, он не упоминает ни одним словом о приписываемых его учителю работах. Переиздавая в 1908 г. эту статью отдельной брошюрой с новыми дополнениями, Каутский опять-таки ни словом не упоминает о литературной деятельности Энгельса до 1844 г.¹

Меринг, который относился к Адлеру еще резче, чем Каутский, тоже упустил случай проверить эти данные до 1895 г., т. е. до смерти Энгельса, когда это легче всего было сделать, ибо он еще в начале 90-х годов прошлого столетия помогал Энгельсу выяснить литературное наследство Маркса.

Когда Мерингу пришлось писать о первых шагах Энгельса в области литературы, он уже не мог, как он пишет, установить точно, соответствуют ли истине приводимые Адлером факты, хотя, в отличие от Каутского, он упоминает о них. Более того. Зная достоверно, что Энгельс был корреспондентом «Рейнской газеты», он не мог найти ни одной его статьи, хотя это было бы легко установить при помощи Энгельса.²

Скептицизм Меринга по отношению к приписываемой Энгельсу философской брошюре находил себе новую пищу и в следующем обстоятельстве: уже после выхода книги Адлера была опубликована

¹ *K. Kautsky, Friedrich Engels. Sein Leben, sein Wirken, seine Schriften.* Berlin 1908.

² «Aus dem literarischen Nachlass von Marx und Engels». B. I, S. 357.

переписка А. Руге, в которой издатель «Немецких летописей», в письме к известному гегельянцу Карлу Розенкранцу (апрель 1842 г.), весьма категорически утверждал, что брошюра «Шеллинг и откровение» написана Бакуниным. Из контекста письма можно было заключить, что этот факт был известен Арнольду Руге со слов самого автора.¹

Вполне понятно, что такой основательный и обстоятельный ученый, как автор биографии Бакунина, Неттлау, не мог пройти мимо этого любопытного показания. Ему лучше, чем кому-нибудь, было известно, что и о чем писал Бакунин: ни последний, ни кто-либо из его друзей нигде и никогда не упоминали о подобной брошюре сотрудника «Немецких летописей» Арнольда Руге. Его не могло не поразить и то обстоятельство, что другие источники называют автором этой анонимной брошюры антипода Бакунина — Энгельса, хотя и он был удивлен, что Каутский и Меринг, вносявшие многочисленные поправки в изложение Адлера, как раз этот факт обошли молчанием. Сам Неттлау нашел в литературе и другие указания: в то время как Куно Фишер считает автором брошюры Энгельса,² Ноак называет совершенно неизвестного Освальда.

Филолог по специальности, Неттлау решил поэтому, опираясь на более вероятное показание друга Бакунина, Руге, подвергнуть скрупулезному и педантичному сравнению брошюру «Шеллинг и откровение» и статью Бакунина, напечатанную в «Немецких летописях» Руге. Он пришел к выводу, что приходится констатировать «поразительное сходство *стиля и идей*». Все-таки для Неттлау осталось неясным, откуда взялось указание на авторство Энгельса, да еще в такой решительной и безапелляционной форме, как у Куно Фишера.

Новые соображения были выдвинуты уже после выхода в свет биографии Бакунина и литературного наследия Маркса и Энгельса под редакцией Меринга, в «Dokumente des Sozialismus» (Памятники социализма), которые начал издавать с 1902 г. Бернштейн.³ Некий Doubleyou, за которым скрывался венский адвокат Вильгельм Паппенгейм, один из прилежнейших и компетентнейших коллекционеров

¹ «Arnold Ruge's Briefwechsel und Tagebuchblätter». Berlin, 1886, B. I, S. 273.

² Ср. Куно Фишер, История новой философии. Том VII. Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. Петербург 1905, стр. 275—276.

³ Doubleyou, Schelling und die Offenbarung. Auch ein Beitrag zur Geschichte der Berliner «Freien» («Dokumente des Sozialismus». Band I, 1902, S. 436—443).

социалистической литературы, ¹ нашел новые указания, которые опять ставили под сомнение авторство Бакунина. В одном обзоре литературы, посвященной Шеллингу, составитель (теолог Мерц) называет автором брошюры какого-то А. Энгельса. Но Вильгельм Паппенгейм наткнулся еще на новый факт, который заставил его отказаться от гипотезы, что этот А. Энгельс есть именно Ф. Энгельс. Ему удалось найти упоминаемую Адлером христианскую поэму, где среди ряда младогегельянцев он нашел Освальда, которого, как автора брошюры, упоминает Ноак. Просмотрев «Немецкие летописи» за 1842 г., Вильгельм Паппенгейм нашел статью *Фридриха Освальда*, который называет себя автором брошюры «Шеллинг и откровение».

Таким образом, Вильгельм Паппенгейм пришел к заключению, что автором брошюры не является ни Энгельс, ни Бакунин, а что им может быть только Фридрих Освальд. Но такое решение загадки не могло удовлетворить исследователя. Возникал вопрос, как мог бесследно исчезнуть писатель, начавший свою писательскую карьеру брошюрой, оставившей такой прочный след в литературе? Не являлась ли более вероятной другая гипотеза: не был ли Фридрих Освальд литературным псевдонимом Фридриха Энгельса, тогда еще состоявшего на прусской военной службе в качестве бомбардира?

Возможность этого допускал уже Бернштейн, которого поразило сходство наружности Освальда, как он изображен в названной сатирической поэме, с наружностью Энгельса. ²

В конце концов, Бернштейн приходит к заключению, что Энгельс действительно был близок с автором, но последним является неизвестный Освальд. В дополнениях к трем томам «Литературного наследства», напечатанных в прибавлении к третьему тому, Меринг присоединяется к выводам В. Паппенгейма и Бернштейна.

Познакомившись в библиотеке Маутнера и Паппенгейма со всеми этими материалами, я, в свою очередь, заинтересовался вопросом, кто скрывался за загадочным Освальдом. Что автор может в силу известных причин сознательно скрывать «литературные грехи» своей молодости или за «дальностью лет» совершенно забыть свои старые статьи, — этот факт был мне известен уже на примере Лаврова и Плеханова. Кроме того, работая над историей Союза коммунистов, как главного предшественника Первого Интернационала,

¹ Вместе с Теодором Маутнером собрал лучшую частную библиотеку по истории социализма, теперь принадлежащую Институту К. Маркса и Ф. Энгельса.

² «Ein Pöan des radikalen Junghegelianismus von 1842». («Dokumente des Sozialismus», 1902, S. 552—557.)

я убедился, что показания Энгельса и Маркса, относящиеся к раннему периоду их деятельности, не всегда точны и что они совершенно забыли — по истечении двадцати и тридцати лет — о некоторых своих литературных и организационных выступлениях. Статьи Энгельса, писанные им для «New Moral World» еще в 1843 г., показывали не только, что он начал свою литературную деятельность до 1844 г., но что он уже в Германии принимал деятельное участие в младогегельянском движении. В одной из этих статей я нашел указания на изданную им философскую брошюру, которой, по моему мнению, могла быть только анонимная брошюра о Шеллинге. Таким образом, я пришел к выводу, что автором ее является несомненно Энгельс, но и это давало только косвенное доказательство, что он тождествен с Освальдом.

Другое косвенное доказательство нашел Густав Майер. А именно, в письме Флотвелля к Иоганну Якоби, в котором упоминается об Освальде, — «известный Освальд из «Телеграфа», молодой купец из Рейнской провинции, который отбывает воинскую повинность в Берлине, чтобы слушать здесь Шеллинга и Вердера». ¹ В письмах к братьям Греберам, которые Майер получил от родных Энгельса, последний называет себя автором «Писем из Вупперталя». Таким образом, становилось вероятным, что Освальд из «Телеграфа» и Освальд из «Немецких летописей» — одно и то же лицо. Правда, это еще подлежало дополнительной проверке, ибо письма к братьям Греберам давали указания только на сотрудничество Энгельса в «Телеграфе». ²

Оставались еще показание Руге и возможность, что наряду с Фридрихом Освальдом-Энгельсом существовал еще другой, не Энгельс. Как пишет проф. Грюнберг во вступительном замечании к открытому мною письму Энгельса, «и Густав Майер не мог создать абсолютную уверенность ни в своей статье, ни в своей прекрасной биографии Энгельса».

Письмо, о котором идет речь, адресовано тому самому Руге, который еще в апреле 1842 г. считал Бакунина автором брошюры о Шеллинге. Я нашел его в 1921 г. в Берлине, в известном собрании

¹ В письме от 3 ноября 1841 г. из Берлина Бакунин пишет: «Этот год я буду слушать: логику у Вердера; — Philosophie der Offenbarung у Шеллинга; — Geschichte der neuesten Zeiten у Ранке... Вы не можете вообразить себе, с каким нетерпением я жду лекций Шеллинга» (*Корнилов*, Годы страстий Михаила Бакунина. Ленинград 1925, стр. 84).

² Моя статья «F. Engels Jugendarbeiten» («Kampf», Januar 1914) и заметка Густава Майера «Ein Pseudonym von Engels» в Архиве Грюнберга «Grünbergs Archiv», IV. 1914, S. 86—89) появились почти одновременно.

автографов, хранящихся в Прусской национальной библиотеке. Случайно ускользнувшее от внимания Густава Майера, оно не только уничтожает последние сомнения насчет тождества между Энгельсом и Освальдом, не только точно устанавливает, кто является действительным автором спорной брошюры, но дало мне также возможность найти еще одну вызвавшую в свое время сенсацию брошюру о Шеллинге, автором которой оказался опять-таки Энгельс. Вот перевод письма, факсимиле которого я печатаю в этом томе (стр. XVI—XVII):

Уважаемый доктор!

Вместе с этим письмом я посылаю Вам статью для «Немецких летописей». Работу о Данте я пока отложил в сторону. Я бы прислал свою статью раньше, если бы имел хоть сколько-нибудь времени.

Ваше письмо я получил после того, как оно проделало не мало злоключений. Вы спрашиваете, почему я не послал «Шеллинг и откровение» в «Летописи»? Во-первых, потому, что я рассчитывал написать книгу в 5—6 листов и только в процессе переговоров с издателем вынужден был ограничиться объемом в $3\frac{1}{2}$ листа; во-вторых, «Летописи» до того времени были все еще сдержанны по отношению к Шеллингу; в-третьих, потому, что мне отсоветовали нападать дальше на Шеллинга в журнале, а лучше сразу выпустить против него брошюру. «Шеллинг, философ во Христе» тоже написана мною.

Кстати, я вовсе не доктор и никогда не стану им; я всего только купец и прусский артиллерист. Избавьте меня поэтому от такого титула.

Я надеюсь скоро послать Вам новую рукопись, а пока остаюсь с совершенным почтением

Ф. Энгельс (Освальд).

*Берлин, 15 июня 1842 г.
Доротеенштрассе, 56.*

Мне не трудно было установить точное заглавие упоминаемой брошюры, единственный экземпляр которой в 1921 г. оказался в библиотеке Кильского университета.¹

Освальд не единственный псевдоним молодого Энгельса. Из писем к братьям Греберам видно, что, кроме «Телеграфа», он писал еще в одной бременской газете под псевдонимом *Теодора Гильдебрандта*.

¹ С тех пор, после опубликования письма Энгельса в Архиве Грюнберга, нашлись еще два экземпляра. Один из них имеется в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса.

Таким образом, только через десятки лет после смерти Энгельса стало возможным почти с исчерпывающей полнотой определить характер и размеры литературной деятельности Энгельса до его встречи с Марксом или до того времени, которое Меринг считал ее историческим началом. Оказывается, что так называемому литературному дебюту Энгельса предшествовал период, в течение которого Энгельс завоевал себе крупное литературное имя, — правда, под псевдонимом, что *историческому* Энгельсу предшествовал *доисторический*.

От действительного начала литературной деятельности Энгельса — если даже считать этим началом «Письма из Вуппертала» в марте и апреле 1839 г. — до появления его статей в «Немецко-французских летописях» — в марте 1844 г. — прошло пять лет, довольно значительный промежуток времени, который в свою очередь распадается на три периода — *бременный* до весны 1841 г., *берлинский* от осени 1841 г. до осени 1842 г. и *лондонско-манчестерский* до осени 1844 г. В Бремене Энгельс, после мучительной внутренней борьбы, освобождается из-под власти религиозных предрассудков, переживает период увлечения «Молодой Германией», становится, главным образом под влиянием Берне, политическим демократом, а к середине 1841 г. переходит в ряды левогегельянцев. В Берлине он сразу же завязывает теснейшие отношения с кружком Бруно Бауэра. Он занимает одно из первых мест в литературной борьбе как в защиту левогегельянства, так и против шеллингянства. В это время он, кроме брошюр, пишет статьи для «Рейнской газеты» и «Немецких летописей». К осени 1842 г., когда он уезжает в Англию, Энгельс — уже последовательный материалист и раньше, чем Маркс, становится, в известной степени под влиянием Гесса, коммунистом. К этому времени относятся его статьи в «Швейцарском республиканце» и «New Moral World».

Громадное большинство всех этих вновь открытых работ сохраняет теперь, конечно, только исторический интерес. Но они имеют не только чисто биографическое значение. Они дают возможность установить преемственную идейную связь между различными умственными течениями среди немецкой интеллигенции вплоть до коммунизма. В то время как у Маркса в его первых литературных произведениях мы можем только предполагать влияние «Молодой Германии», Гейне и Берне или, в лучшем случае, найти только косвенные доказательства этого влияния, в произведениях Энгельса оно проступает самым осязательным образом. Мы видим в них яркое отражение всех духовных интересов, которые волновали тогда не только немецкую интеллигенцию, но и русскую. То, что теперь

производит на нас впечатление чего-то вполне отжившего, имена, которые теперь, за немногими исключениями, совершенно забыты, были бы для русского читателя 40-х годов — Белинского, Герцена, Огарева, Бакунина, Лаврова и др. — не менее живыми и близкими, чем для молодого Энгельса. Достаточно перелистать русские ежемесячники конца 30-х и начала 40-х годов, чтобы в критических статьях и обзорах литературы на каждой странице встретить имена, упоминаемые Энгельсом.

И точно так же стоит только перечитать переписку Белинского, Герцена, Огарева, Бакунина, статьи в «Отечественных записках» 1841—1842 г.г., чтобы увидеть, что вся история с приглашением Шеллинга на кафедру Берлинского университета и с новым походом «философии откровения» против левого гегельянства переживалась на берегах Невы и Москвы не менее напряженно, чем на берегах Шпрее, где в берлинских литературных кафе одинаково горячее участие в спорах *за* или *против* Шеллинга принимали Энгельс, Бакунин, Огарев или Катков.

Этот специфический, «русский» интерес, вопрос о взаимодействии германской и русской мысли, вопрос о разделении немцев и русских на людей «мысли» и «дела», не исчезает и дальше, когда мы знакомимся с новым фазисом эволюции Энгельса, совершающимся уже под влиянием английской среды.

Количественные размеры вновь открытой Майером и мною части литературного наследия Энгельса легко определить, если мы укажем, что в настоящем томе опубликованные Мерингом статьи занимают едва десятую часть. Хотя наше издание является несравненно более полным, чем издание «Ранних работ» Энгельса, принадлежащее Майеру, оно все же не является исчерпывающим. Некоторые заметки и стихотворения, которые войдут во второй том международного издания сочинений Маркса и Энгельса, не включены в этот том.

Нужно быть очень восторженным почитателем Энгельса, чтобы открыть в его стихотворениях оригинальный поэтический талант. Это более или менее гладкие перепевы произведений других поэтов, свидетельствующие о знакомстве не только с немецкими поэтами, но и с иностранными, главным образом с Кальдероном и Шелли. Все поэтические опыты Энгельса помещены нами в Приложениях. Исключение мы сделали для сатирической поэмы «Торжество веры». Посредственный лирический поэт, Энгельс был недурным пародистом и сатириком. В гораздо большей степени, чем другие поэтические опыты Энгельса, она дает интересный материал для истории

его духовного развития. Характеристики Бруно Бауэра, Маркса, Штирнера, самого Энгельса и ряда других левогегельянцев отличаются живостью и яркостью.

* * *

Энгельс оставил эльберфельдскую гимназию в 1837 г. Из выпускного свидетельства (вместе с свидетельством о рождении оно помещено в Приложениях) мы видим, что он уже в молодые годы отличался прекрасным знанием иностранных языков. Тринадцати лет он пишет стихи. Нам известно стихотворение, написанное им ко дню рождения дедушки. В 1837 г. он написал «Рассказ о морских разбойниках» (помещен в Приложениях). На торжественном акте в эльберфельдской гимназии он прочитал написанное им греческое стихотворение «Поединок Этеокла с Полиником».

После непродолжительной практики в отцовском деле Энгельс был послан в 1838 г. в Бремен, где он поступил на службу в крупную торговую фирму друга его отца, консула Генриха Лейпольда, имевшего близких родственников в Бармене. Отец предусмотрительно поселил его, в качестве пансионера, у пастора Тревирануса, одного из бременских pietists, тесно связанного с пасторской семьей Круммахеров.

В Бремене Энгельс, считавший тогда еще своим призванием поэзию, сделал первую попытку печататься. В Приложениях мы даем письма молодого Энгельса к его друзьям детства — братьям Греберам. Мы сделали это отступление от нашего плана, — как мы это сделали в первом томе, поместив письма Маркса к отцу и Руге, — потому что письма Энгельса проливают яркий свет на ход его духовного развития до 1841 г. и служат одновременно как комментарием, так и дополнением к его статьям в «Телеграфе», которые подвергались в редакции, несомненно, значительным изменениям или уже писались самим Энгельсом в значительно более умеренном тоне в силу требований цензуры.

Из этих писем видно, что Энгельсу еще в 1838 г. удалось поместить в одном журнале стихотворение «Бедуины». ¹ После долгих розысков в различных бременских газетах и журналах было установлено, что это стихотворение напечатано было в «*Vremisches Conversationsblatt*» 16 сентября 1838 г. Таким образом, дата литературного дебюта Энгельса отодвигается несколько назад. Мы даем

¹ Курьева ради напомним, что будущий друг Энгельса, П. Лавров, тоже дебютировал в «Библиотеке для чтения» (1841 г., май) стихотворением «Бедуины». Оба поэта испытали на себе влияние Фрейлиграта.

это стихотворение дважды: в том виде, в котором оно дано в письме к Греберам, и в том виде, в котором оно было помещено в печати. Достаточно сравнить обе редакции, чтобы понять негодование молодого поэта. Удалось также найти и стихотворение «К врагам», которое Энгельс под именем Теодора Гильдебрандта поместил в «Бременском городском вестнике» («Bremer Stadtbote») 25 февраля 1839 г., и другое, направленное против этого журнала, в «Bremisches Unterhaltungsblatt» (27 апреля 1839 г.).

Впервые Энгельс обратил на себя внимание прозаическим опытом, которым начинается его регулярная литературная деятельность. Восприимчиком его и учителем явился один из наиболее выдающихся представителей «Молодой Германии», Карл Гуцков (1811—1878), теперь известный широкой публике только как автор драмы «Уриэль Акоста».

В 1836 г. Гуцков основал во Франкфурте «Биржевую газету» с литературным приложением под названием «Телеграф». Газета скоро лопнула, но Гуцкову удалось превратить приложение в самостоятельный журнал, который в сентябре 1837 г. перенесен был в Гамбург, где его издание взяла на себя известная книжная фирма «Гофман и Кампе».

Журнал, теперь называвшийся «Telegraph für Deutschland» («Германский телеграф»), скоро приобрел репутацию одного из лучших литературных журналов, так как Гуцкову удалось привлечь очень много талантливых сотрудников. Годы 1838—1841 являются апогеем популярности журнала. Хотя сам Гуцков в политическом отношении не шел дальше «хороших», но весьма умеренных слов, хотя он избегал всякой яркой политической тенденции, прусское правительство нанесло журналу в конце 1841 г. сильный удар, запретив его распространение в Пруссии. Правда, к этому времени Гуцков начал уже сильно отставать от молодого поколения, которое увлекалось теперь новыми политическими лириками, с Гервегом во главе. Когда в 1841 г. вышли «Письма из Парижа» Гуцкова, они встречены были резкой критикой, отголоски которой мы находим и в России, в подробной статье В. Боткина в «Отечественных записках».¹ Поэт, который еще в 1831 г. принадлежал к самым передовым представителям немецкой литературы, успел еще до революции 1848 г. превратиться в саксонского придворного драматурга.

Пока Энгельс оставался в Берлине, он продолжал писать в «Те-

¹ Перепечатана во втором томе его «Сочинений», Петербург 1891, стр. 291—342.

"Fichte für Heine"
 Ich habe die Freude zu erfahren, dass Sie sich für den ersten Teil des Buches interessieren.
 Ich hoffe, dass Sie auch den zweiten Teil lesen werden, den ich Ihnen zur Verfügung stellen werde.

Ich habe die Freude zu erfahren, dass Sie sich für den ersten Teil des Buches interessieren.
 Ich hoffe, dass Sie auch den zweiten Teil lesen werden, den ich Ihnen zur Verfügung stellen werde.

Ich habe die Freude zu erfahren, dass Sie sich für den ersten Teil des Buches interessieren.
 Ich hoffe, dass Sie auch den zweiten Teil lesen werden, den ich Ihnen zur Verfügung stellen werde.

Ich habe die Freude zu erfahren, dass Sie sich für den ersten Teil des Buches interessieren.
 Ich hoffe, dass Sie auch den zweiten Teil lesen werden, den ich Ihnen zur Verfügung stellen werde.

! ФАНСИМИЛЕ ПИСЬМА ЭНГЕЛЬСА К РУГЕ ОТ 15 ИЮНЯ 1842 Г.

леграф». Мы имеем указания, что слишком быстрое идейное развитие, отражавшееся в его статьях, уже начало пугать Гудцова, хотя, как показывают письма Энгельса к Греберам, он старался считаться с требованиями цензуры.

«Печальная заслуга введения Освальда в литературу, — писал Гудцов в 1842 г. Александру Юнгу, — принадлежит, к сожалению, мне. Несколько лет назад один торговый служащий, по имени Энгельс, прислал мне из Бремена письма о Вуппертале. Я исправил их, вычеркнул все личные выпады, которые были чересчур резки, и напечатал их. С того времени он продолжал присылать статьи, которые я регулярно перерабатывал. Вдруг он потребовал от меня, чтобы я перестал поправлять его статьи. Он начал изучать Гегеля, выбрал себе имя Освальда и перешел в другие журналы. Еще незадолго до появления его критической статьи против вас я послал ему в Берлин 15 рейхсталеров. Таковы почти все эти новички. Нам они обязаны тем, что умеют мыслить и писать, и первым же делом их является духовное отцеубийство. Конечно, вся эта пакость не имела бы никакого значения, если бы ей не шли навстречу «Рейнская газета» и журнал Руге».

В этих характерных жалобах литературной курицы, высидевшей утенка, следует отметить участие Гудцова в редакции статей Энгельса, — обстоятельство, которое надо принять во внимание особенно для первого периода сотрудничества его в «Телеграфе».

«Письма из Вуппертала», которыми Энгельс дебютировал в «Телеграфе», напечатаны были в марте и апреле 1839 г. Критическое изображение нравов и жизни промышленного центра, где вырос Энгельс, произвело большое впечатление на его родине.

Бармен и Эльберфельд — два города, географически тесно связанные, но разделенные не только административно.¹ В Бармене, при населении (1840 г.) в 30 847 душ, число католиков было очень незначительно; в Эльберфельде, который в том же 1840 г. насчитывал 32 384 душ населения, католики составляли четвертую часть. Эльберфельд был и в культурном отношении более связан с таким крупным промышленным и литературно-художественным центром, как Дюссельдорф. Поэтому в то время, как город Бармен, в котором родился Энгельс, выделялся своим ханжеством и мракобесием, Эльберфельд, наоборот, отличался более прогрессивным характером. Даже рабочие в последнем городе не отличались такой безропотной

¹ Бармен принадлежал к Аахенскому правительственному округу, Эльберфельд — к Дюссельдорфскому.

покорностью своей судьбе, как рабочие в Бармене. Эльберфельд имел свои революционные традиции. В 1829 г. в нем происходили стихийные возмущения рабочих, причем сильно пострадали некоторые фабрики. Эльберфельд был также связан с революционным движением немецкой интеллигенции еще в так называемую эпоху преследования демагогов. Даже из писем Энгельса видно, что эльберфельдская гимназия, где он учился, имела среди своих учителей таких радикалов, как Клаузен, о котором Энгельс пишет так же восторженно, как у нас когда-то провинциальные гимназисты писали о любимых учителях словесности или истории.

Вообще «Письма из Вупперталя», имеющие большое автобиографическое значение, живо рисуют набожную и филистерскую среду, в которой воспитывался и развивался будущий материалист и революционер. Вупперталь считался во всей Германии боевым центром пиетизма. Во главе воинствующего духовенства стоял Фридрих-Вильгельм Круммахер (1796—1868), сын Фридриха-Адольфа Круммахера (1767—1845), которого Энгельс застал еще в Бремене, тоже являющемся одним из центров немецкого пиетизма.¹

Несколько удивляет отзыв Энгельса о Мартине Рункеле, редакторе «Эльберфельдской газеты». Это была одна из тех газет, которые вели кампанию против «Рейнской газеты». Историк немецкой прессы, Соломон, пишет о Рункеле, который стоял во главе «Эльберфельдской газеты» от 1839 до 1843 г., что он был в полном подчинении у пиетистов. И он доказал это сейчас же, поместив очень резкий отзыв о «Письмах из Вупперталя». Правда, в интересах беспристрастия, он поместил ответ Энгельса,² требуя, однако, чтобы последний назвал себя.

В ноябре 1839 г. в том же «Телеграфе» Энгельс поместил еще одну статейку о Вуппертале под названием «Из Эльберфельда».³

Статья о «Немецких народных книгах» («Телеграф», ноябрь 1839 г.) показывает, как рано пробудился в Энгельсе интерес к фольклору. Он подчеркивает не только чисто поэтическое или этно-

¹ Бременскому Круммахеру принадлежат «Parabeln» (Притчи). «Некогда «Притчи» Круммахера, — пишет Белинский, — переводились в одном русском журнале вместе с поэмами Байрона. Это было в «Новостях русской литературы», издававшихся покойным Воейковым в 1822—1826 гг. Теперь времена переменились [писано в 1843 г.]: поэмы Байрона попрежнему читаются и изучаются людьми взрослыми, а притчи Круммахера стали годиться разве только для детей... Для детей не старше 12 лет Круммахер — писатель глубокомысленный и красноречивый». (Сочинения, т. VIII, стр. 297, изд. С. Венгерова.)

² Мы даем его как четвертый очерк о Вуппертале.

³ Мы включили ее в «Письма из Вупперталя» как третий очерк

графическое значение народных книг, но и их возможное *политическое* воздействие, их пропагандистское значение в борьбе за свободу, против знати, против пиятизма.

Статья *«Карл Бек»* («Телеграф», 1839 г.) свидетельствует, что Энгельс уже излечился от того преклонения перед одним из популярнейших поэтов «Молодой Германии», которое заставляло его, в письмах к Греберам, сравнивать Бека с Шиллером. Несколько лет спустя Энгельс подвергает поэзию Бека еще более уничтожающей критике, как образец поэзии «истинного социализма».

«Ретроградные знамена времени» («Телеграф», февраль 1840 г.) — статья, в которой особенно заметно чувствуется литературное и стилистическое влияние «Молодой Германии». Но Энгельс делает в ней и дальнейший шаг. Если до того времени он находился под более сильным влиянием Гудцова, Лаубе и Кюне, т. е. тех представителей «Молодой Германии», которые интересовались главным образом литературными вопросами и даже философией занимались лишь постольку, поскольку она оплодотворяла собою эстетику и литературу, то теперь Энгельс ставит вопрос о системе Гегеля, «превосходящей в отношении последовательности все прежние системы», и указывает, что в «Молодой Германии» была и другая часть, которая уже подготовляла *«взаимодействие науки и жизни, философии и современных тенденций, Берне и Гегеля»*.

В статье *«Платен»* («Телеграф», февраль 1840 г.) Энгельс совершенно верно отмечает рассудочный характер поэзии Платена, выдающегося немецкого лирика, прославившегося своими стихотворениями в защиту поляков и против русского царизма. Он сохранился в памяти потомства только как политический поэт, в стихотворениях которого наиболее ярко отразилась ненависть радикальной немецкой интеллигенции к «москвитам».

«Реквием для «Немецкой дворянской газеты» («Телеграф», апрель 1840 г.) написан по поводу проспекта о выходе новой «газеты для немецкого дворянства». Статья интересна как первое выражение того протеста против всяких попыток идеализации дворянства, который характеризует Энгельса на всем протяжении его политической деятельности. Критика романтика де-ла-Мотт-Фуке, в своих рыцарских романах восхищавшегося — выражаясь словами «Коммунистического манифеста» — тем феодальным «проявлением грубой силы, которое имело свое естественное дополнение в самом праздном тунеядстве», вместе с критикой, которой Маркс подверг в «Рейнской газете» претензии прусских феодалов, дает прекрасную иллюстрацию к позднейшим замечаниям о «феодальном социализме».

Статья *«Йоель Якоби»* («Телеграф», апрель 1840 г.) направлена против известного немецкого ренегата, превратившегося из радикала в яркого католика и кончившего свою жизнь чиновником берлинской полиции.

«Ландшафты» («Телеграф», июль 1840 г.), — первая статья, в которой ярко проявляется отличавшая Энгельса и в зрелые годы любовь к географии, — заставляют предполагать, что Энгельс весной 1840 г. совершил свое первое путешествие в Голландию и Англию. Интересно сближение голландских ландшафтов с кальвинизмом. Энгельс точно чувствует связь между голландским строем общественной жизни и религией предопределения, связь, которую он много лет спустя объяснит совершенно другими причинами.

«Родина Зигфрида» помещена была в «Телеграфе» в декабре 1840 г. Образ Зигфрида сильно занимал молодого Энгельса. В герое Нибелунгов для него олицетворялись элемент активности, бунт против традиций, подвиг, отвращение к обыденщине. Энгельс носился даже с планом написать трагикомедию, в которой Зигфрид, как представитель молодого немецкого поколения, одушевленный идеалом свободы, противопоставляется всем силам тьмы и реакции. В сохранившихся отрывках — читатель найдет их в письмах Энгельса к Греберам — пред нами проходят различные представители тогдашней литературы.

В статье *«Эрнст-Мориц Арндт»* («Телеграф», январь 1841 г.) Энгельс выступает в качестве публициста. Чтобы понять и выбор темы, и настроение Энгельса, нужно заметить, что в 1840 г. вопрос внешней политики, вопрос об отношении Германии к Франции, стал снова жгучей злобой дня. Обострение отношений между Францией и Англией, вызванное разногласиями на Ближнем Востоке — Египет и Сирия, — чуть не привело к войне. Среди немцев усилилось опять французоведство. Раздавались голоса, что нужно использовать затруднительное положение Франции и, в союзе с Англией, отнять у нее левый берег Рейна. Поэт Николай Беккер, автор известного патриотического стихотворения на эту тему — «Им его не видать!», — стал героем дня.

На статье отразилось сильное влияние знаменитого памфлета Берне *«Менцель-французоед»*. Она имеет громадное значение для характеристики той фазы в духовном развитии Энгельса, когда он уже очистился окончательно от всяких следов религиозной ортодоксии, когда он сделал решительный шаг в сторону младогегельянства. Мысль, которую он только наметил в *«Ретроградных знамениях времени»* — синтез Берне и Гегеля, синтез «дела» и «мысли», — он

развивает теперь подробно. Он становится безоговорочно на сторону представителей левого гегельянства — Ганса, Руге, Кеппена. Но несмотря на свой решительный демократизм, критику германофильства и тевтономании, Энгельс все же считает завоевание немецкого левого берега Рейна, даже германизацию Голландии и Бельгии, *политической* необходимостью для объединенной Германии. В этом пункте молодой Энгельс является таким же немецким патриотом, как Арндт. Приминая в своей критике дворянской идеологии к статье «Реквием для «Немецкой дворянской газеты», статья об Арндте показывает также, что Энгельс уже очень рано, несмотря на свои преобладающие литературные и политические интересы, вынужден был обратить внимание на свободу и парцелляцию (дробление) земельной собственности, вопрос, который и для Маркса послужил одним из главных побуждений заняться изучением политической экономии.

Статьей о «*Воспоминаниях Иммермана*» («Телеграф», апрель 1841 г.) заканчивается регулярное сотрудничество Энгельса в «Телеграфе». Один из талантливейших представителей переходной эпохи от романтизма к реализму, Иммерман, по своим симпатиям приближался к «Молодой Германии». Его роман «Эпигоны», по словам Меринга, рисует классовую борьбу между феодализмом и промышленным строем. Создатель знаменитого образцового театра в Дюссельдорфе, он устроил отделение его в Эльберфельде. Вероятно, Энгельс имел возможность познакомиться с ним еще в родном городе, где вопрос о театре одно время привел к острому конфликту. Благочестивые барменцы и слышать не хотели о театре, но не могли помешать более жизнерадостным эльберфельдцам устроить у себя грешный притон Вельзевула. Для литературной молодежи Вушперталя, в том числе и Энгельса, Иммерман, относившийся иронически к «спрядильному богу» Круммахера, являлся, правда, уже отставшим, но все еще любимым учителем и наставником.¹

Весною 1841 г. Энгельсу удалось, наконец, вырваться из Бремена. К этому времени он уже стал последовательным младогегельянцем. Как он пишет в конце своей статьи об Иммермане, он бесповоротно решил «пробиваться дальше чрез философию, проникнуться ею, не теряя в то же время энтузиазма. Подлинен лишь тот энтузиазм, который, подобно орлу, не боится мрачных облаков спеку-

¹ Кроме критических статей в «Телеграфе» были напечатаны еще два больших стихотворения Энгельса — «*Вечер*» (август 1840 г.) и «*Перенесение праха Наполеона I*» (февраль 1841 г.), в котором Энгельс, с своей стороны, приносит дань «гейневскому культу Наполеона». Читатель найдет их в Приложениях среди поэтических опытов молодого Энгельса.

ляции и разреженного воздуха верхних слоев абстракции, когда дело идет о том, чтобы полететь навстречу солнцу истины».

Энгельс воспользовался тем, что ему надо было отбывать воинскую повинность, и выбрал Берлин, как крупнейший университетский центр. Но еще до переезда туда он провел несколько месяцев дома и совершил путешествие по Швейцарии и Северной Италии. Свои впечатления он описал в неоконченной статье «*Скитания по Ломбардии. 1. Через Альпы*», которая появилась в том самом «*Athenäum*'е» (№№ 48 и 49, 4 и 11 декабря 1841 г.), где, за несколько месяцев перед этим, напечатаны были «Неистовые песни» Маркса. Статья была подписана его старым псевдонимом, и характерно, что во втором полугодии мы уже, среди ближайших сотрудников этого младогегельянского журнала, встречаем на обложке, наряду с именами тогдашних берлинских «литературных вождей» — Буля, Кепена, Рутенберга, Мейена, бывшего фактическим редактором журнала, — и имя *Освальда*.¹ Среди них были и ближайшие друзья Маркса, участники философского кружка, в котором главную роль играл Бруно Бауэр, тогда уже вместе с Марксом уехавший из Берлина.

Таким образом, Энгельс, немедленно же по приезде, осенью 1841 г., в Берлин, завязал непосредственные сношения с кружком младогегельянцев и сейчас же принял участие в философских боях.

Как раз в это время Шеллинг был приглашен в Берлинский университет, чтобы бороться с философией Гегеля. Вся берлинская интеллигенция, а в особенности младогегельянцы, с нетерпением ждали открытия лекций Шеллинга в университете. Вступительная лекция состоялась 15 ноября 1841 г. Вместе с Энгельсом слушали Шеллинга — на присутствие русских указывает и сам Энгельс в своей первой статье о Шеллинге — Тургенев, Бакунин, Катков и др.

Энгельс быстро написал статью о первой лекции Шеллинга. Он послал ее в «Телеграф», в котором она и была напечатана — «*Шеллинг о Гегеле*» — в декабре 1841 г.² Энгельс решительно высказывается против Шеллинга и «защищает могилу великого учителя от порицаний». Как исторический документ, как свидетельство совре-

¹ Вся эта группа была хорошо известна и русским младогегельянам. В «Отечественных записках» 1839 г., сентябрь-октябрь, имеется статья «Германская литература», написанная «нарочно для «Отечественных записок» берлинским литератором Булем и доставленная редакции Варнгагеном фон-Энзе». О книге Кепена — «Фридрих Великий и его противники», — посвященной Марксу, имеется маленький реферат в «Отечественных записках» за 1840 г., декабрь.

² Ср. «Отечественные записки», февраль 1842 г. — «Первая лекция Шеллинга в Берлине» и «Москвитянин», январь 1842 г. — «Шеллинг в Берлине», апрель 1842 г. — «Торжество Шеллинга в Берлине».

менника, статья, по признанию известного немецкого историка Германа Онкена, представляет крупное по своему содержанию дополнение к соответствующей главе «Истории берлинского университета», написанной Ленцом.

Статья Энгельса была только прологом. Еще до напечатания лекций Шеллинга Энгельс выступил с резкой критикой их в особой брошюре. «Шеллинг, — пишет Куно Фишер, — еще не закончил своего первого курса в Берлине, как уже появилось сочинение, в котором, на основании записей трех его лекций, излагалась его философия откровения и доказывалась ее несостоятельность в сравнении с учением Гегеля; она была объявлена «новой попыткой реакции против свободной философии».

Быше я уже говорил о судьбах этой анонимной брошюры, авторство которой долго приписывалось Бакунину. Из цитированного мною письма Руге видно, что брошюра вышла, вероятно, еще в марте 1842 г. Свое намерение выступить в защиту Гегеля, о котором он пишет в статье, Энгельс выполнил очень быстро. И защита его оказалась действительно страстной: «кто хладнокровно обнажает свой меч, редко бывает глубоко воодушевлен тем делом, за которое он сражается».

В «Немецких летописях» (№№ 126—128, от 28, 30 и 31 мая 1842 г.) мы находим большую статью Руге о брошюре. Вероятно, к этому времени он уже знал, что автором брошюры является не Бакунин. Он решительно берет сторону Энгельса против Шеллинга, подтверждая точность изложения лекции в брошюре.

«Характер и точка зрения автора указывают на его молодость, начало и конец книжки показывают склонность к образному языку и свежий огонь воодушевления, вызываемого великим развитием, которое мы переживаем. В середине книги, а также в изложении и критике шеллинговской философии господствуют, напротив, деловое спокойствие и очень ясная установка». Руге дает подробное изложение книжки. Можно с уверенностью сказать, что брошюра Энгельса попала и в Петербург, и в Москву, не говоря уже о том, что ее содержание, по изложению Руге, было хорошо известно Герцену и его друзьям.

Боткин не только знал ее, но и весьма основательно использовал в своей статье о «германской литературе». ¹ Характеризуя борьбу

¹ Напечатана в «Отечественных записках» в 1843 г., январь. Вошла в собрание сочинений В. Боткина, т. II, стр. 255—275. Без всякого основания соединена с двумя другими обзорами под общим заглавием «Германская литература в 1843 г.».

ученых партий в Германии, Боткин замечает, что «на первом плане этой борьбы стоит так называемая «молодая гегелевская школа». Она, собственно, пробудила эту борьбу, сосредоточив в ней все современные вопросы». Затем он переходит в лекциям Шеллинга.

«Чтения Шеллинга имели целью парализовать критическое движение, но история его призвания в Берлинский университет составляет такое замечательное событие в современном положении германской науки, что мы считаем не лишним сказать здесь об этом несколько слов».

А дальше Боткин дает изложение, а местами и буквальный перевод первых страниц брошюры Энгельса (в этом томе стр. 114—122). Читатель легко убедится в этом, когда прочтет следующий отрывок из «интересной статьи В. Боткина», как о ней отзываясь Плеханов, приводя цитату, изложенную «по Энгельсу». ¹

«Уже в продолжение десяти лет носилась по горам Южной Германии туча, которая все грознее и гуще скоплялась противу северной германской философии. В то время Шеллинг снова начал читать в Мюнхенском университете; тогда же заговорили, что новая система близится к окончанию и что она решительно разрушит всю философию Гегеля. Сам Шеллинг давно стал противником этой философии; все прочие враги ее, за неимением действительных опровержений, обыкновенно оканчивали свои нападения на нее упованием, что Шеллингу стоит только выдать свою систему, и от учения Гегеля останутся пыль и прах. Отсюда понятна радость гегелианцев, когда Шеллинг, год тому назад, прибыл в Берлин и обещал предложить на общественное суждение свою, наконец, готовую систему. Сверх того, при боевом духе, которым всегда отличалась гегелевская школа, при той самоуверенности, какую она имела, — она рада была случаю наконец померяться с знаменитым противником.

«Туча шла, шла и наконец разразилась громом и молнией на кафедре в Берлине. Теперь этот гром умолк, молния не сверкает более. Но попал ли он в цель, разрушается ли здание гегелевой системы, — этот гордый чертог мысли? спешат ли гегелианцы спасать, что спасти пока возможно? Ничего не бывало. Дело, напротив, приняло неожиданный оборот. Гегелева философия продолжает себе жить попрежнему и на кафедре, и в литературе, и в юношестве, спокойно продолжает свое внутреннее развитие, зная, что все эти угрозы, эти мнимые разрушения нисколько не коснулись ее. Шеллинг не оправдал надежд своих последователей.

¹ Плеханов, О Бедявском.— Статья вошла в XXIII том собрания сочинений под моей редакцией (стр. 173—174).

«Все, что мы сказали — очевидные факты, против которых не может возражать ни один из поклонников новых шеллинговых чтений.

«Когда, в 1831 году, Гегель, умирая, завещал свою систему ученикам, число их было очень невелико. Система была вылита в строгую, упругую, отчасти тяжелую форму, которая впоследствии была причиною стольких порицаний. Но эта форма имела свою необходимость. Гегель, в гордой уверенности к силе идеи, сам не сделал ничего для популярности своего учения. Сочинения, изданные им при жизни, были написаны строго наукообразным, почти тернистым языком и назначались исключительно для одних ученых. Но самая эта странность языка и терминологии, на которую так нападали, была только следствием борьбы его с мыслию, ибо сначала главное было в том, чтобы решительно исключить язык представления, фантазии, чувства и уловить чистую мысль в ее самосоздании. Когда этот фундамент был выработан, тогда можно было обратиться к популярности и общеупотребительному изложению.

«Настоящая, действительная жизнь гегелевой философии началась лишь после смерти Гегеля. Издание его чтений имело необыкновенное действие. Широкие врата открылись к доселе скрытому, дивному богатству. Вместе с этим, само учение в устах учеников Гегеля приняло более доступный, ясный образ. Оппозиция против него в то время была слаба и незначительна. Юношество тем с большею жадностью обращалось к новой философии, что в ней стал обнаруживаться прогресс, именно тот, что она начала принимать в себе жизненные вопросы науки и практики.

«Границы, в которые заключил было Гегель могучее, стремящееся движение своего учения, зависели отчасти от его времени, отчасти от его личности. Система его в основных чертах была окончена еще до 1810 года; взгляд Гегеля на современность заключился 1820 годом. Политические его мнения, его понятие о государстве, за образец которого взял он Англию, носят на себе очень ясную печать времени восстановления. Отсюда можно объяснить и то, почему для него представлялись в смутном виде последующие события в Европе. Но необычайная верность и крепость ума Гегеля видна именно в том, что система его слагалась независимо от его личных мнений, так что лучшая критика выводимых им результатов есть проверка их его же методом. И в этих-то результатах часто видно влияние его личных мнений. Его философия религии и философия права получили бы иной вид, если бы он развил их из чистой мысли, не включая в нее положительных элементов, лежавших в

цивилизации его времени; ибо отсюда именно вытекают противоречия и неверные выводы, заключающиеся в его философии религии и философии права. Принципы в них всегда независимы, свободны и истинны, — заключения и выводы часто близоруки. В этом обстоятельстве лежала причина разделения школы на правую и левую. Одна часть учеников обратилась к принципам и отвергла выводы, если они не вытекали из принципов; они же внесли в диалектический метод его все жизненные вопросы времени. Эта школа названа была левою школою. Правая осталась при одних выводах, нисколько не думая о принципах их.

«Но вместе с этим внутренним развитием школы и ее внешнее положение не осталось без перемены. Министр Альтенштейн, чрез посредство которого гегелева философия утвердилась в Пруссии, умер. Вместе с другими переменами после его смерти прекратилось и покровительство новой школе; напротив, начали теснить ее. Впрочем, гегелева философия не имеет причин жаловаться на это: ее прежнее положение бросало на нее ложный свет и иногда привлекало к ней таких приверженцев, которых гораздо лучше иметь врагами. Ее ложные друзья, эгоисты, люди половинчатые и поверхностные, теперь, к счастью, понемногу отступаются от нее.

«Чтобы парализовать движение гегелевой философии, начали приглашать в университеты профессоров противоположного направления и, наконец, чтоб нанести окончательный удар учению Гегеля, пригласили в Берлин самого Шеллинга. Действительно, приезд его туда возбудил большие ожидания. Шеллинг занимал в новой философии место высокое и значительное; но, несмотря на многие глубокие идеи и движение, внесенные им первоначально в философию после Фихте, он доселе не издал еще полной системы своей философии. Во вступительных лекциях объявил он, что система его давно готова, но что он все держал ее в тайне, дожидаясь своего времени. Сущность этой системы было, по его словам, примирение веры и знания. Чтения начались. Но, к удивлению всех, Шеллинг оставил в стороне путь чистой мысли и погрузился в мифологические и гностические фантазии. Словом, возвещенное им новое было то, что он читал еще с 1831 года в Мюнхенском университете — без всякой перемены, вместе с своею философиею мифологии, известною еще до того времени».

Статья Боткина или, вернее, Энгельса очень нравилась Белинскому. Плеханов считает нужным подчеркнуть это обстоятельство.¹

¹ «Твоя статья о «Немецкой литературе» в 1 № мне чрезвычайно понравилась, — умно, дельно и ловко» (*Белинский, Письма*, т. II, стр. 334).

«Мысль здесь [в статье Боткина] та же, какую мы встретили и у Белинского: заслуга «левой школы» состоит в том, что она восстала против абсолютных выводов Гегеля (раскланялась с «философским колпаком») и выдвинула на первый план диалектическую сторону его системы, т. е. принялась развивать идею отрицания». Плеханов не знал еще в 1911 г., что в этом направлении мысль Белинского получила толчок от «немецкой брошюры». Но не только мысль Белинского.

Если Энгельс ставит своей главной задачей «сделать все выводы» из философии Гегеля, высказать их «открыто и понятно, не страшась последствий», то Герцен развивает эту мысль следующим образом:

«Геройство консеквентности, самоотвержения, принятия последствий так трудно, что величайшие люди останавливались перед очевидными результатами своих принципов. Таков Гегель, развитие юного гегельянства, развитие его начал; но Гегель бы отрекся от них, он любил, он уважал *das Bestehende*, он видел, что он не вынесет удара, и не хотел ударить; ему казалось, на первый случай, и того довольно, что он дошел до своих начал. Юное поколение с них начало, шаг вперед был именно тот удар, который должен был глубоко поразить *das Bestehende*. Гегель бы отрекся от них, но вот в чем дело: она *вернее* была бы ему, нежели он сам, т. е. ему, мыслителю, отрешенному от его случайной личности, эпохи и др. Шеллинг — живой пример, как можно отстать от собственной своей мысли, когда мыслитель остановится на половинной дороге ее развития, не имея, впрочем, силы остановить им же данного движения. Положение Шеллинга истинно трагическое, как выразился Руге». ¹

Герцен, — и это лучше всего доказывает, что он внимательно читал изложение брошюры Энгельса, сделанное редактором «Немецких летописей», — в последних словах повторяет заключение статьи Руге. «Судьба его (Шеллинга), хотя она и заслужена, все же является для него великим несчастьем. Более того. Если она целиком исполнится, она так своеобразна, что мы во всей истории на найдем ничего ей подобного».

Только на Каткова ² лекции Шеллинга произвели положительное впечатление. В апреле 1842 года Белинский пишет о нем Боткину:

«Катков явно принадлежит к берлинской философской школе:

¹ Герцен, Полное собрание сочинений. Дневник, 22 сентября 1842 г. Том III, стр. 43.

² Письмо его о чествовании Шеллинга от 18 марта 1842 г. в «Отечественных записках», 1842 г., том XXII.

лекции Шеллинга об откровении кажутся ему глубже всего, что только есть на свете. Бедный Гегель!»¹

Вернемся теперь к брошюре Энгельса. В первой части он дает обстоятельный очерк развития всего спора между приверженцами Шеллинга и Гегеля и объясняет, каким образом Шеллингу досталась незавидная доля продолжать то дело, которое начал за несколько лет перед этим историк Генрих Лео, выступив с настоящим обвинительным актом против «гегелингов», как он называл Штрауса, Руге и их товарищей в отличие от гегельянцев, приверженцев правоверного гегельянства.²

В ходе этой полемики Бруно Бауэр, вначале выступавший против Штрауса, сам перешел на сторону левых. Его друг Кеппен вел на страницах «Немецких летописей» полемику против Лео, как историка. К ним скоро присоединился Маркс. Во второй половине 1841 г. Бруно Бауэр, который, как и Фейербах в «Сущности христианства», порвал с религиозной ортодоксией, решил изменить форму полемики и — мы предполагаем, при участии Маркса — в анонимной брошюре «Трубный глас страшного суда над Гегелем, атеистом и антихристом» («Die Posaune des Jüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten und Antichristen») старался доказать, что в сущности и старик Гегель недалеко был от атеизма и от всех смертных грехов, в которых Лео обвинял «гегелингов». К этой брошюре примыкает Энгельс, говоря, что «гегельянская банда» нисколько не скрывает теперь, что она не может и не хочет больше рассматривать христианство как предел, его же не преидеши. «Все основные принципы христианства, — мало того, все, что вообще до сих пор называлось религией, — были повергнуты в прах беспощадной критикой разума».

Проблема, которая уже прежде занимала Энгельса, — синтез Берне и Гегеля, синтез философской мысли и политического дела, — не оставляет его и теперь. Брошюра начинается призывом к борьбе, к жертвам во имя нового Грааля, призывом готовиться к великой битве народов. «Разве вы не видите, как знамена наши развеваются на вершине гор, как сверкают мечи товарищей, как играют лучи на их шлемах? Со всех сторон надвигается их рать, они спешат к нам из долин, они спускаются с гор — при звуках песен и музыки. День

¹ *Белинский*, Письма, т. II, стр. 306. В письме к Кудрявцеву (15 мая 1846 г.) мы находим приписку: «Скоро ли Шеллинг перестанет повориться, т. е. умрет? Право, не стоит жить, чтобы после такой славы на старости лет быть Шевыревым». (Том III, стр. 119.)

² *H. Leo*, Die Hegelingen. Aktenstücke und Belege zu der sogenannten Denunziation der ewigen Wahrheit, Halle 1838.

великого решения, день битвы народов, приближается, и победа будет за нами!»

Цитируя эти слова, Г. Гейне (не поэт), автор статьи «Шеллинг в Берлине», написанной в защиту старого философа,¹ влорядно замечает: «Я не слышу и не вижу всего этого, — разве только крик тех господ, которые любят шуметь на улице, пока их не разгонит полиция». И он ехидно прибавляет, доказывая этим, что ему хорошо известен автор анонимной брошюры: «Не является ли вашим вождем тот *барменский приказчик*, который печатает свои задорные нападки то анонимно, то под псевдонимом в брошюрах и журналах?»

Вслед за брошюрой «*Шеллинг и откровение*» Энгельс написал и другой памфлет, предназначенный «для верующих христиан, которым неизвестна философская терминология», — «*Шеллинг — философ во Христе, или преобразование мирской мудрости в мудрость божественную*». Я уже выше рассказал, каким образом мне удалось найти эту прежде совершенно неизвестную брошюру Энгельса, хотя в 1842 г. она обратила на себя не меньше внимания, чем первая.

Уже Руге отметил в своей статье, что Энгельс в брошюре «Шеллинг и откровение» имел в сущности дело только с первыми тремя лекциями, что он почти не остановился на «положительной христианской философии» Шеллинга. Этот недостаток должна была восполнить вторая брошюра. Но в то время, как первая была написана страстно и резко, но серьезно, во второй Энгельс, следуя примеру Бруно Бауэра, применил другой прием, с той, однако, разницей, что он надел на себя маску хорошо ему знакомых вупшертальских и бременских пиэтистов.

Брошюра, как мы уже знаем из письма Энгельса к Руге, вышла в свет во всяком случае до 15 июня, всего вероятнее уже в начале мая 1842 г. В «Немецких летописях» отзыв о ней начал уже печататься в № 143 от 17 июня. Руге посвятил большую статью памфлету Энгельса и второму выпуску «*Rosaune*», который вышел под названием «Учение Гегеля о религии и искусстве». Статья Руге называется «Самосознание веры или откровение нашего времени».² Она осталась в силу цензурных условий неоконченной; в заключении Руге обещает напечатать конец ее «позже или в другом месте».

Бруно Бауэр к этому времени был уже лишен права преподавания в Боннском университете и переехал в Берлин, где вокруг него, как своего призванного вождя, сгруппировались младоге-

¹ «*Jahrbuch der deutschen Universitäten*», Leipzig 1842, S. 1—24.

² «*Das Selbstbewusstsein des Glaubens oder die Offenbarung*», №№ 143—47, 150 от 17, 18, 20—22, 25 июня 1842 г.

гельянцы. Один из них поспешил еще в мае 1842 г. написать в «Рейнской газете» об этих брошюрах, довольно откровенно намекая, что авторами их, вопреки видимости, являются вовсе не представители богословской ортодоксии.¹ Руге пробует в начале статьи указать, что это не совсем так, что имеются еще в Германии правоверные люди, как, например, Ф. В. Круммахер, которые могли бы вполне искренно написать такие вещи.

Правда, сам Руге замечает по поводу второй брошюры Энгельса, что она утверждает *апологетически* то самое, против чего *полемически* выступает первая брошюра. Изложение Руге местами превращается в дословную перепечатку маленькой брошюры — оно тянется почти в трех номерах. Руге приходит к заключению, что среди известных тогда мракобесов пиятияма только Круммахер и разве еще Лео могут сравниться с Шеллингом по смелости и решительности своего выступления против «отрицательной философии».²

Несомненно, что и эта брошюра, хотя бы по изложению Руге, была хорошо известна Герцену и его друзьям. Достаточно сравнить замечания Герцена в дневнике по поводу книжки Фрауенштедта («Schellings Vorlesungen in Berlin», 1842), который тоже выступил против Шеллинга, но более умеренно, чем Энгельс.

«Нет дела более неблагоприятного, — пишет Герцен, — как то, что делает Шеллинг: подтасовка и прилаживание философского мышления к данному, неподвижному, прошедшему воззрению. Это — схоластика и вместе с тем ложь. Сколько поэтического дара и остроумия истощено на объяснение мифов, а между тем объяснения эти оставляют какое-то неприятное чувство; чувствуется, что все придумано после. Положение Шеллинга понятно; понятно, как его платоническому духу болезненно видеть негацию, одну негацию, но как понять, что он удовлетворился жалкими, мистико-философскими, натянутыми и худо склеенными воззрениями? Он начинает с пантеизма и приходит к иудаизму, и этот иудаизм называется положительной философией. По мере того, как он развивает свою положительную науку, становится тягостнее и неловче; чувствуешь, что его решения не разрешают, что все покрыто туманом, несвободно. Мало-помалу он совершенно оставляет наукообразный путь и теряется в самом эксцентрическом мистицизме, объясняет сатану, чудеса, воскресение, сошествие духа au pied de la lettre. Не веришь, что это

¹ «Rheinische Zeitung», 6 мая 1842 г., № 126.

² Руге приводит интересный отзыв из «Аугсбургской всеобщей газеты», в котором о брошюре «Шеллинг — философ во Христе» сказано, что она предназначалась для «средних классов народа», но что автор своим цинизмом испортил дело.

писано в XIX веке; кажется, что это слова схоластика XIV века или теолога первых лет реформации. Шеллинг нанес удар страшный христианству; его философия обличила, наконец, всю нелепость христианской философии, — он своим именем, своей ссорой с Гегелем заставил обернуться на себя всю ученую Германию и подумать о своем бреде. Есть вещи, для которых гласность, обличение, обследование — смерть». ¹

Если ввести теперь известные статьи Бакунина в «Немецких летописях» в конкретно-историческую обстановку, установить точно хронологию борьбы младогегельянцев против Шеллинга, то мы увидим, что его статьи о «Реакции в Германии» были написаны и напечатаны уже после появления всех цитированных нами работ и статей о них Руге, а именно во второй половине октября 1842 г. ² Лишь под влиянием всей этой борьбы против Шеллинга, в которой представитель гегелевского центра, Вердер, приятель Станкевича, Бакунина и многих других русских, играл незавидную роль, Бакунин, наконец, сделал крутой поворот: «Я знаю, — пишет о нем Белинский брату его Н. А. Бакунину 7 ноября 1842 г., — что он равешелся с Вердером, знаю, что он принадлежит к левой стороне гегелианства, знаком с R [Руге] и понимает жалкого, живо умершего романтика Шеллинга». ³

Только игнорируя эту историческую обстановку, можно было преувеличивать степень оригинальности статей Бакунина и их революционность. «Поразительное сходство стиля и идей» между «Шеллингом и откровением» Энгельса и «Реакцией в Германии», установленное биографом Бакунина, М. Неттлау, объясняется, поскольку оно не преувеличено в силу желания сделать Бакунина автором одного из талантливейших произведений младогегельянской литературы, гораздо проще: статья Бакунина была поздним перепевом чужих мыслей, пикантность которого усиливалась тем фактом, что автором статьи в первое время считали действительно француза.

В тесной идейной связи с обоими философскими памфлетами находится христианская героическая поэма, в которой воспевается «Торжество веры, или ужасная, но правдивая и поучительная повесть о покойном лиценциате Бруно Бауэре». По нашему мнению, эта поэма не может иметь автором одного только Энгельса, хотя он

¹ Герцен, Сочинения, т. III, стр. 132—133. Дневник, 17 августа 1843 г.

² «Die Reaction in Deutschland». Ein Fragment von einem Franzosen. («Deutsche Jahrbücher», №№ 247—251 от 17—21 октября 1842.) Псевдонимом Жюль Элизар была подписана только последняя статья.

³ Белинский, Письма, т. II, стр. 317

принимал в ее составлении наибольшее участие. Видная роль, которую играет в ней «чудище из Трира», т. е. Маркс, поразительно живое изображение его личности, доказывает, что автор или авторы поэмы должны были знать Маркса лично. А между тем Энгельс отбывал военную службу в Берлине, — от 1 октября 1841 г. до 30 сентября 1842 г., — когда Маркса там уже не было. Мы имеем прямое свидетельство Энгельса, что он познакомился с Марксом только в ноябре 1842 г. в Кельне. Конечно, он мог из рассказов друзей Маркса — братьев Бауэров и Кеппена — узнать много деталей о нем и использовать их в своей пародии. Всего вероятнее, что один из членов берлинского кружка, — мы думаем, что им был Эдгар Бауэр, — помогал ему в этой работе.

Попробуем сначала установить, когда именно опубликована была эта поэма. Так как увольнение Бруно Бауэра и лишение его права читать лекции состоялось 29 марта 1842 г.,¹ то поэма, в центре которой стоит этот факт, могла, конечно, появиться не раньше апреля. Но это еще не значит, как думает Густав Майер, что она вышла именно в апреле.

Против этого говорит уже то, что в ней упоминается псевдоним Эдгара Бауэра — Радге, — под которым он выступил только в июне 1842 г., а именно в защиту брата. Кроме того, в поэме Маркс причисляется, вместе с Рутенбергом и Юнгом, к *кельнской* группе бойцов, а уже из одного этого следует, что она написана была не раньше того времени, когда Маркс стал одним из наиболее влиятельных сотрудников «Рейнской газеты». Первые сведения о группе «свободных», которая в поэме предполагается уже известной, проникли в газеты только в июне 1842 г. Именно Энгельсу приписывается «корреспонденция» в «Кенигсбергской газете», — мы даем ее в Приложениях, — в которой сообщалось, что в Берлине организуется союз под названием «свободных», задача которого состоит в следующем: «вывести из ограниченной сферы науки и ввести в широкие круги жизни и распространить там, с одной стороны, основное положение новейшей философии, а именно, что все так называемые откровения, на которые ссылаются позитивные религии, вымышлены; с другой стороны, что только человеческий ум в состоянии дать нам правильное объяснение абстрактных понятий».

Эта корреспонденция писана 12 июня 1842 г. А 27 июля 1842 г. Энгельс сообщает в другом письме к Руге,² что он решил на время

¹ *Berold*, Geschichte der Bonner Universität, Bonn 1920, p. 374—375.
Lenz, Geschichte der Berliner Universität, Berlin 1918, II, 1, p. 25—38.

² См. Приложения.



Ruge, Bull, Nauever, B. Bauers, Wigand, E. Bauers, Stierner, Meien, zwei Unbekannte, Kappeler, Kappeler

КАРИКАТУРА ЭНГЕЛЬСА НА СТОЛКНОВЕНИЕ БЕРЛИНСКИХ «СВОДНЫХ» С РУГЕ.

На рисунке изображены (слева направо) Руге, Буль, Науверк, Б. Бауэр, Виганд, Э. Бауэр, Штирнер, Мейен, двое неизвестных и Кеппен (сидит). На стене в центре — гильотина; налево от нее — белка (по-немецки — *Eichhorn*, фамилия реакционного прусского министра просвещения); Б. Бауэр одной ногой наступил на «Рейнскую газету», другой — на подписной лист в пользу д-ра Якоби; рядом лежит номер «Кенигсбергской газеты».

отказаться от литературной деятельности. Мы думаем поэтому, что поэма была написана не раньше июля 1842 г.¹

Несомненно, что идея этой сатиры принадлежит Энгельсу, только что использовавшему орудие пародии против Шеллинга. Сравнение его последних писем к братьям Греберам с поэмой показывает, что он уже прежде на подобный лад пародировал конфликт между пиетистами и рационалистами в Бремене. Вождь бременских пиетистов Маллет фигурирует и в поэме как вождь одного из отрядов верующих. Имеются еще другие детали и имена, встречающиеся в тех же письмах и использованные Энгельсом в поэме.

Поэма свидетельствует об очень близком знакомстве с интимной историей берлинского кружка младогегельянцев и до осени 1841 г., когда Энгельс приехал в Берлин. Так как Бруно Бауэр переселился опять из Бонна в Берлин только в начале апреля 1842 г., то всего вероятнее, что Энгельса с прошлым кружка познакомил Эдгар Бауэр, с которым он зимой 1841/1842 г. очень сблизился. Поэтому они в поэме так же тесно связаны, как Бруно Бауэр с Марксом.

В поэме Руге свывает всех своих воинов в Бокенгейм, около Франкфурта-на-Майне, местопребывания Союзного сейма, как бы для того, чтобы подчеркнуть, что за свободу Германии надо бороться в самом центре ее врагов. Пред нами проходит вся рать безбожников; среди них почти все члены берлинского клуба, в котором участвовал и Маркс в 1838—1841 гг.: *Кеппен*, друг Маркса, которому он посвятил свою книгу о Фридрихе II; *Мейен*, редактор «Атеней», еще «во чреве матери Вольтера изучивший»; *Эдгар Бауэр*, снаружи франт, внутри санкюлот задорный; за ним его тень — Радге, т. е. его псевдоним (анаграмма слова Эдгар); *Патриот*, по духу заяц, по виду санкюлот; *Людвиг Буль*, издатель журнала «Патриот»; *Бруно Бауэр* с его тощей фигурой в зеленом сюртуке, размахивающий своей «Критикой синоптических евангелий»; *Маркс*, Трира черный сын с неистовой душой, мечущийся как бесом одержимый; *Георг Юнг*, юноша из Кельна, один из основателей «Рейнской газеты», сын амстердамского патриция; *Руге* — Адольф *Рутенберг*, которого молодой Маркс в

¹ Руге не мог не знать, что поэма вышла из знакомого ему кружка «свободных». Она была опубликована в том же издательстве — Литературной конторе в Цюрихе и Винтертуре, — которое выпустило после его «Анекдоты» и «Немецко-французские летописи». Во главе его стоял Фребель. К сожалению, только что вышедшая работа проф. В. Нефа («Das Literarische Comptoir, Zürich und Winterthur» Bern, 1929) не указывает точной даты появления поэмы. В «Швейцарском республиканце», 9 декабря 1892 г., мы находим первое объявление о выходе этой поэмы в свет.

письме к отцу называет своим лучшим другом и который так жестоко разочаровал его после. Но в этой рати янычаров имеются и два новых воина, появившиеся в берлинском кружке уже после отъезда Маркса: это — *Освальд* (Энгельс), монтаньяр, непримиримый и ярый, виртуоз в игре на гильотине, с насквозь проперченным сердцем, и *Штирнер*, лютый враг стеснительных условий, который там, где другие кричат: «долой королей!», всегда повернет: «а также и законы!». В собрании участвует и пришедший с юга, один, но заменяющий собою целый стан безбожников и бесстыдных, по мнению которого смысл всех таинств состоит в том, чтобы есть, купаться, играть и пить без конца; это — Людвиг *Фейербах*.

Мы видим, что «свободные» фигурируют в поэме как единая рать, всецело солидарная в борьбе с вражеской ратью, состоящей из мракобесов, пиетистов, теологов, собравшихся с разных концов Германии.

Быше, когда мы пробовали определить время появления этой поэмы, мы уже сказали, что она не могла появиться раньше, чем Маркс занял в «Рейнской газете» влиятельное положение. Теперь мы можем прибавить, что она могла быть написана только до расхождения Маркса со «свободными», которое началось со времени его вступления в редакцию, т. е. не раньше второй половины октября, и окончилось разрывом в начале декабря 1842 г.

Маркс жил еще в Трире, когда появились сообщения об организации в Берлине нового союза «свободных». Из его письма к Руге (9 июля 1842 г.) видно, что он не имел никакого представления о переменах, которые произошли в берлинском кружке.

«Не знаете ли вы каких-нибудь подробностей о так называемых «свободных»? Статья в «Кенигсбергской» была, по меньшей мере, не дипломатической. Одно дело заявлять о своей эмансипации — это добросовестность, другое — заранее кричать о своей пропаганде; это отдает рекламой и раздражает филистера. А затем подумайте об этих «свободных», о каком-то Мейене и т. д... Счастье, что Бауэр в Берлине. Он, по крайней мере, не допустит «глупостей», и единственное, что меня беспокоит в этой истории (если она верна и если это не какая-нибудь нарочитая газетная выдумка), это — возможность того, что берлинские пошлости сделают как-нибудь смешным их хорошее дело и что в серьезном деле нельзя обойтись без разных глупостей. Кто провел с этими людьми столько времени, сколько я, тот найдет эти опасения не безосновательными».

Опасения Маркса оправдались, но не оправдались надежды на Бруно Бауэра, который только что вынужден был сменить связывавшую его профессию на положение «свободного писателя» и с особым

наслаждением пугал и дразнил берлинскую ученую и литературную публику всякими выходками.

Энгельс был тогда еще в кружке, но он уехал из Берлина уже в начале октября, т. е. до вступления Маркса в редакцию «Рейнской газеты». Когда он, по дороге домой, заехал в Кельн, он там нашел только Гесса и Рутенберга. Все недоразумения, которые после начались между Марксом и «свободными», происходили уже тогда, когда Энгельс жил дома, в Бармене. Когда он опять, до отъезда в Англию, побывал в Кельне во второй половине ноября, к тем разногласиям, которые были вызваны более строгим отношением Маркса к писаниям «свободных», прибавилось еще разногласие из-за Гервега и Руге. Энгельс, писавший Мерингу о первой своей встрече с Марксом больше чем чрез пятьдесят лет, вполне естественно забыл некоторые важные детали.

«Когда я около конца ноября по дороге в Англию явился опять [в редакцию «Рейнской газеты»], то застал там Маркса, и при этом случае произошла наша первая, очень холодная встреча. Маркс выступал в это время против Бауэров, т. е. высказался против того, чтобы «Рейнская газета» стала главным органом, проводником богословской пропаганды, атеизма и т. д.,— Маркс хотел, напротив, сделать газету чисто политическим органом, — а также против фразерского коммунизма Эдгара Бауэра, основанного на одном стремлении «итти как можно дальше» и действительно очень скоро замеченного у Эдгара другими радикальными фразами; так как я переписывался с Бауэром, то слыл за их союзника, а они, с своей стороны, возбудили во мне недоверие к Марксу».

Меринг не заметил всех противоречий, которые имеются между этим свидетельством и другими, более ранними как самого же Энгельса, так и Маркса. Но Меринг тогда еще не был знаком с письмами Маркса к Руге, которые были опубликованы позже.

Первая корреспонденция Энгельса из Лондона в «Рейнскую газету» помечена 30 ноября 1842 г. Он, следовательно, уехал из Кельна значительно раньше, до разрыва Маркса с «свободными». Он ничего не говорит о Мейене, а между тем, как мы видим из письма Маркса от 30 ноября 1842 г., именно Мейен является застрельщиком и главным представителем «свободных». Когда Энгельс уезжал из Берлина, он знал, что самым деятельным и радикальным членом тамошнего кружка является его ближайший приятель, Эдгар Бауэр, который тогда заканчивал свою брошюру «Бруно Бауэр и его противники». Сейчас же после этого он взялся за другую работу, которая стоила ему нескольких лет тюрьмы — «Спор критики с церковью»

и государством». Бруно Бауэр был тоже занят другими работами. Поэтому в «Рейнскую газету» писали больше всех остальных «свободных» Мейен, Буль, Науверк.

Энгельс не мог также принимать участия в том конфликте, который произошел между «свободными» и Гервегом. Известие об этом конфликте получилось только 23 или 24 ноября. О нем сообщил сам Гервег в письме кельнским товарищам, которое датировано 22-м ноября.¹ Пользуясь этим письмом, Маркс составил редакционную заметку, которая и послужила главной причиной разрыва между «Рейнской газетой» и «свободными». Она появилась 29 ноября 1842 г., т. е. когда Энгельс был уже в Лондоне. Вот что писал Маркс:

Берлин, 25 ноября.

«Эльберфельдская газета» и за ней «Дидакалия» сообщают, что Гервег посетил общество «свободных», но нашел его ниже всякой критики. Гервег *не* посещал этого общества и, таким образом, не мог найти его ни выше, ни ниже критики. Гервег и Руге нашли, что «свободные» своей политической романтикой, своей погоней за гениальничанием и рекламой компрометируют дело и партию свободы; последнее было ими открыто заявлено и, вероятно, послужило поводом для этого сообщения. Если Гервег, таким образом, не посетил общества «свободных», из которых каждый в отдельности — по большей части прекрасные люди, то это произошло не потому, что он борется за другое дело, а потому, что, как человек, желающий быть *свободным* также и от французских авторитетов, он ненавидит и находит смешным фривольность, специфически берлинские манеры, пошлое подражание парижским клубам. Скандалы и безобразия должны быть громко и решительно осуждены в такое время, которое нуждается в серьезных, мужественных и выдержанных характерах для достижения своих высоких целей».

Меринг, в своей полемике с биографом Штирнера, Маккаем, верно замечает, что заметка в «Рейнской газете» должна была очень неприятно поразить «свободных».

«Лучшее доказательство тому представляет смущенное и сконфуженное письмо Бруно Бауэра к Марксу от 13 декабря. Он считает ниже своего достоинства заниматься пространными опровержениями».

¹ К этому времени относится принадлежащая теперь Институту К. Маркса и Ф. Энгельса карикатура, на которой Энгельс изобразил заседание кружка «свободных» в одном из берлинских кабаков. Изображен тот момент, когда «свободные», во главе с Бруно Бауэром, вступили в жестокий спор с Руге. Мы даем факсимиле этой карикатуры.

«Маркс, — пишет Бауэр, — не заметил противоречия в «корреспонденции Гервега». Гервег характеризует «здешних», между тем он сам говорит, что никогда не видел их in cogroge. Маркс должен был бы лучше знать, существует ли клика в Берлине и принадлежит ли к ней он, Бауэр. Правда «здешних» неоспорима. Милый Маркс, правда Берлина так велика, берлинцы так мало вызвали своими ложными поступками необдуманное действия других, что я больше не желаю говорить об этом деле, так как мне пришлось бы затронуть слишком много неприятных вещей, в которых здесь никто не виноват. Я лучше в другой раз напишу тебе о вещах, которые нам приятнее и ближе. Прощай!» Больше он не писал Марксу.

Возможно, конечно, что Энгельс, узнавший обо всем этом уже в Лондоне, солидаризировался с «свободными» и прекратил свое сотрудничество в «Рейнской газете». В пользу такого вывода говорит то обстоятельство, что последняя его корреспонденция из Англии помечена 22 декабря. Но имеется еще и другое объяснение: усиление цензурных строгостей и известие, что «Рейнская газета» уже в январе была запрещена. Мы считаем более вероятным, что Энгельсу и тут изменила память, что между ним и Марксом произошло объяснение, которое кончилось дружелюбно и обещанием Энгельса писать корреспонденции из Англии. А они все показывают, что Маркс не мог выставить против их автора ни одного из тех упреков, которые он выдвигал против «свободных». ¹

Но и статьи, которые Энгельс посылал в «Рейнскую газету» из Берлина, тоже носили другой характер. А сотрудничество его в «Рейнской газете» началось раньше, чем сотрудничество Маркса. Мы уже знаем, что ряд берлинских младогегельянцев обслуживал своими корреспонденциями и статьями «Рейнскую газету»: Кенпен, братья Бауэры, Штирнер, Мейен, Буль, Науверк. До переезда Маркса из Бонна в Кельн одним из редакторов «Рейнской газеты» — а для

¹ Из русских только Бакунин, если и не был членом группы «свободных», то, несомненно, знал хорошо некоторых ее членов. Вспоминая через тридцать лет о Марксе, он пишет, по обыкновению безбожно путая факты, и об этой группе: «Доктор философии, Маркс, еще в Кельне около 1840 г. был, можно сказать, душою и центром весьма заметных кружков передовых гегельянцев, с которыми начал издавать оппозиционный журнал, все же закрытый по министерскому приказанию. К этому кружку принадлежали также Бруно и Эдгар Бауэры, Макс Штирнер и, потом в Берлине, первый кружок немецких нигилистов, которые циничною последовательностью своею далеко превосходили самых ярких нигилистов России». Этот отзыв по своей резкости не уступает отзывам Гервега и в особенности Руге, тогда закадычных приятелей Бакунина.

внешнего мира даже главным — был Рутенберг, старейший член берлинской группы. Вполне понятно, что и Энгельс, ставший скоро по приезде в Берлин членом этой группы, в свою очередь начал писать корреспонденции в «Рейнскую газету». Первая статья его — «Северно- и южно-германский либерализм» — напечатана в «Рейнской газете» 12 апреля 1842 г., т. е. чуть ли не на месяц раньше первой статьи Маркса (5 мая 1842 г.).

В конце сентября 1841 г. в Берлине была устроена в честь «знаменосца немецкого либерализма», депутата баденского ландтага и известного публициста Карла Велькера, серенада. Эта невинная политическая демонстрация вызвала сильное недовольство прусского короля. Так как в серенаде приняли участие и некоторые члены редакции «Athenäum'a», то преследования властей обрушились и на этот журнал, в котором принимали деятельное участие берлинские младогегельянцы, хотя не все они разделяли это уважение к Велькеру.

Наоборот, Бруно Бауэр, на обеде, устроенном в честь Велькера, подчеркнул свое несогласие с издателем «Словаря государственных наук», указывая на недостаточность либеральной теории государства. Это критическое отношение к южно-германскому либерализму разделял тогда уже и Энгельс, только что познакомившийся лично с представителями молодого северо-германского либерализма. Энгельс сошелся довольно близко с Эдуардом Флотвеллем, другом Иоанна Якоби, весной 1841 г. выступившим на политическое подприще с знаменитым памфлетом «Четыре вопроса». Напечатанная Вигандом, издателем «Немецких летописей», брошюра была сейчас же конфискована и навлекла после на автора обвинение в государственном преступлении. Вероятно, чрез посредство Флотвелля Энгельс завязал сношения с главным органом северо-германского либерализма, «Кенигсбергской газетой», в которой он, как он сам об этом пишет Конраду Шмидту, тоже сотрудничал.¹

Противопоставляя молодой северо-германский либерализм более старому южно-германскому, Энгельс имел в виду главным образом группу Якоби, ибо в лице последнего германская буржуазия впервые выступила как серьезный фактор политической жизни и поставила

¹ Ни Майеру, в распоряжении которого был архив Якоби, ни нам не удалось вполне точно установить, какие именно статьи, за исключением печатаемой нами корреспонденции о «свободных», принадлежат Энгельсу. Есть статьи, которые могли быть им написаны, но нет ни одной, которая могла быть написана только Энгельсом. Такие «сомнительные» статьи могут войти только в академическое издание сочинений Энгельса.

на очередь дня общегерманский вопрос в отличие от южно-германских либералов, которые увлекались подобием политической борьбы в мелких парламентах мелких южно-германских государств. Энгельс пользуется и в этой статье случаем подчеркнуть роль, которую сыграл Берне в развитии немецкого радикализма. Он отмечает и значение другого его источника — гегелевской философии, которая сначала объявила высшей и современной формой правительства конституционную монархию, а после, в лице ее радикальных представителей, начала развивать более смелые политические принципы — демократические и республиканские — и «снова воздавать должное славной памяти героев первой французской революции».

В статье *«Рейнские празднества»* («Рейнская газета», 14 мая 1842 г.) наибольший интерес представляет попытка Энгельса, грешившего в молодости не только поэтическими, но и музыкальными композициями, объяснить, почему при немецких климатических и социальных условиях именно музыка заняла первенствующее положение.

Статья *«Дневник вольнослушателя»* («Рейнская газета», 10 и 24 мая 1842 г.), в отличие от первых двух статей, подписана инициалами Ф. О. Она рисует жизнь Берлинского университета и имеет большой автобиографический интерес. Кроме полемики с исторической школой права, которая так любит говорить об «историческом, органическом, естественном развитии», надо отметить, в такой яркой форме выявляющееся впервые в этой статье, убеждение, что «Пруссия может, оставив в стороне всякие другие соображения, следовать только внушениям разума, может, как никакое другое государство, учиться на опыте своих соседей».

«Комментарии и заметки на полях к современным текстам» («Рейнская газета», 25 мая 1842 г., подписана инициалами Ф. О.) посвящены публичным лекциям, которые прочитаны были в Кенигсберге Людвигом Валесроде, известным демократическим публицистом, близким другом Якоби. Отмечая сходство его с Берне в стиле и манере понимания, Энгельс впервые выступает против «Молодой Германии».

Статья *«К критике прусских законов о печати»* («Рейнская газета», 14 июля 1842 г.), принадлежность которой Энгельсу установлена впервые профессором Гансеном, нашедшим рукопись этой статьи, представляет интерес не только по ее специальному содержанию. Она как бы напрашивается на сравнение с соответствующими статьями Маркса и дает, таким образом, возможность уже на очень раннем примере выявить разницу в способе трактовки одной и той же

темы, который отличал Маркса от Энгельса. Этой статьей почти на полгода заканчивается регулярное сотрудничество Энгельса в «Рейнской газете».

Почти одновременно с ней появилась в «Немецких летописях» (7—9 июля 1842 г.) статья «Александр Юнг и Молодая Германия». Для Энгельса, который в течение двух лет проделал такую быструю эволюцию, для которого «Молодая Германия» была одним из важнейших этапов его духовного развития, статья эта является одновременно и самокритикой, как несколько лет спустя не менее резкая критика «истинного социализма».

Мы видим, что и теперь он отделяет Берне не только от таких представителей «Молодой Германии», как Мундт, Кюне, Лаубе, но даже от Гуцкова и Винбарга. Он не находит достаточно резких слов для Гейне, выступившего с злым памфлетом против Берне. После он изменил свое отношение к Гейне, но это объясняется не только влиянием Маркса, но и переменой в самом Гейне, который с 1843 г., в значительной степени под духовным воздействием Маркса, опять, — и более решительно, чем когда-либо прежде, — перешел на сторону радикальной оппозиции и дал лучшие образцы политической поэзии.

Характеристика «Фридриха Вильгельма IV. короля прусского» предназначалась для проектировавшегося Гервегом журнала «Немецкий вестник из Швейцарии». Собранные для первых выпусков статьи напечатаны были в особом сборнике «Двадцать один лист из Швейцарии» и вышли почти одновременно с «Анекдотами» Руге. Статья Энгельса подписана Ф. О. По всей вероятности, она написана еще в июне или июле 1842 г. Так как сборник Гервега предназначался для ввоза в Германию, на что указывало и его название, — книги, по своему объему превышавшие 20 листов, были освобождены от предварительной цензуры, — то авторы статей старались избегать резких слов и резких характеристик. Так написана и статья Энгельса, о которой можно сказать его же словами: «Если темный философский язык, в какой облачались эти идеи, затуманивал дух как писателя, так и читателя, то он ослеплял и цензорские очи, и потому младогегельянцы в такой мере пользовались свободой печати, как ни одно из остальных литературных течений». Когда Энгельс изображает систему Фридриха-Вильгельма как вполне разработанную систему романтики, он только предвосхищает известный исторический памфлет Штрауса «Романтик на троне царей», в котором автор «Жизни Иисуса» изобразил прусского короля под видом Юлиана Отступника. Намекая в заключении на другую параллель —

с Людовиком XVI, — Энгельс, ввиду цензурных условий, воздерживается от развития этой мысли. Но он ее провел несколько лет спустя, когда в «Революции и контр-революции в Германии» мог дать и более откровенную характеристику прусского короля.

Мы уже указали, что Энгельс, в своем письме от 27 июля 1842 г., извещает Руге о своем решении на некоторое время совершенно отказаться от литературной деятельности.

«Причины этого решения очевидны. Я молод и самоучка в философии. У меня достаточно сведений для того, чтобы составить себе убеждение и, в случае надобности, отстаивать его, но недостаточно для того, чтобы как следует действовать в его интересах. Но мне будут тем более требовательны, что я — «философский комми-воаяжер» и не приобрел права на философствование установленным дипломом. Я намерен, когда я опять напишу что-нибудь, и уже под своим именем, выполнить эти требования».

Действительно, со второй половины июля 1842 г. мы не находим более ни одной статьи Энгельса. Он отказался с тех пор и от своего псевдонима. Весьма возможно, что он, как скоро после этого и Маркс, почувствовал потребность «удалиться в ученый кабинет» и «все более и более усваивать себе путем научных занятий, которые я продолжаю с еще большим наслаждением, и то, что не дано природой». К этому времени относится и развитие у Энгельса интереса к коммунистическим учениям.

В конце сентября Энгельс освободился от военной службы и покинул Берлин. В Кельне, как мы уже заметили, он нашел Гесса. Последнего он знал не только как редактора «Рейнской газеты», но и как автора «Европейской триархии», который старался найти синтез между Гегелем и Сен-Симоном и теперь решительно склонялся к коммунизму, как необходимому следствию младогегельянской философии. Гесс мог только укрепить Энгельса на новом пути.

Пробыв у родных несколько недель, Энгельс, отчасти уступая настояниям отца, но следуя и собственному желанию познакомиться с английскими социально-политическими отношениями, уехал в Англию, чтобы закончить свое профессиональное образование на фабрике отца и его компаньона в Манчестере (фирма «Энгельс и Эрмен»)

Энгельс приехал в Манчестер вскоре после того, как улеглись последние волны колоссального забастовочного движения, охватившего в августе 1842 г. почти всю промышленную Англию. Вызванное провокационной тактикой буржуазии, это движение под влиянием чартистов превращается в массовую политическую стачку. Это была в то же время первая попытка провести в жизнь «священный

месяц», чтобы добиться хартии. Уже к концу года чартистам пришлось признать свое поражение. О'Коннор и его товарищи были арестованы, но скоро освобождены до суда, состоявшегося только через год. Чартизму пришлось временно ограничиться одной только работой пропаганды и агитации.

Поражение чартистов привело к возрождению и усилению как профессионального движения среди рабочих, так и оуэнизма, сделавшего новую попытку сблизиться с массами: если прежде Оуэн и его ученики пытались овладеть тред-юнионами, то теперь они усиливают пропаганду в пользу кооперации.

Возможна ли, вероятна ли в Англии революция? Постановкой этого вопроса начинает Энгельс свои корреспонденции в «Рейнской газете», первая из которых, написанная еще в Лондоне, датирована 30 ноября 1842 г. и помещена была в № 343 от 9 декабря. Вторая, тоже из Лондона, помеченная 3 декабря, напечатана была днем раньше. Остальные писаны из Ланкашира (напечатаны в №№ 358, 359, 360—361 от 24, 25 и 27 декабря 1842 г.).

Уже первая корреспонденция подчеркивает невозможность иной революции в Англии, кроме социальной. Во второй — Энгельс доказывает, что среднее сословие может примкнуть лишь к вигам или ториям, но не к чартистам. В третьей корреспонденции, из Ланкашира, Энгельс пробует провести параллель между английскими партиями и немецкими, сближая партию ториев с партией «Политического еженедельника» и исторической школы права. Он указывает на коренное различие между средним сословием в Англии, которое возглавляется вигами, и средним сословием в Германии, в которое входят ремесленники и крестьяне. Третья партия, радикально-демократическая, опирается на рабочий класс, но еще находится в процессе организации. В отличие от Англии, Германия совершенно не знает такого обширного класса фабричных рабочих. Дальше следует характеристика «переходных оттенков», среди которых Энгельс отмечает будущих «пилитов» и группу Кобдена и Брайта, фритредеров и противников хлебных законов. Указанные им дальнейшие перспективы в области парламентских комбинаций позже в общем оправдались.

Последние две корреспонденции посвящены положению рабочего класса и борьбе против хлебных законов. Обещание подробно изобразить деятельность Лиги против хлебных законов осталось неисполненным.

С прекращением «Рейнской газеты» и «Немецких летописей» в Германии не осталось ни одного органа, который находился бы

в распоряжении друзей Энгельса. Руге и Маркс только еще разрабатывали план издания нового органа, и прошло несколько месяцев, пока этот план начал осуществляться. В течение этого промежутка единственным немецким органом, склонявшимся уже к социализму, был «Швейцарский республиканец» в Цюрихе. Редактором его был известный Юлий Фребель, стоявший во главе «Литературной конторы», которая издала «Анекдоты» Руге и «Двадцать один лист из Швейцарии» Гервега. В «Швейцарский республиканец» Энгельс послал в мае (16 и 23) и июне (9 и 27) 1843 г. четыре корреспонденции.

В течение тех месяцев, которые прошли со времени его последней корреспонденции в «Рейнскую газету», Энгельс сделал значительный шаг вперед. Видно, что он за это время успел уже познакомиться с главными явлениями английской литературы и приступил к основательному изучению политической экономии. В этих письмах встречаются иногда крупные преувеличения, но они уже дают картину духовной и материальной жизни английских рабочих, многие черты которой, а также факты, ее характеризующие, войдут впоследствии в книгу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии».

Сотрудничество Энгельса в «Швейцарском республиканце» скоро прекратилось. Арест Вейтлинга в Цюрихе и вызванный им переполох среди цюрихской буржуазии отразились на судьбе «Швейцарского республиканца», сотрудником которого был также привлеченный по делу Вейтлинга Бакунин. Фребель вынужден был оставить место редактора газеты.

Из переписки Гервега известно, что Энгельс летом 1843 г. приезжал на континент и в Остенде встретился не только с Гервегом, но и с известным немецким историком Гервинусом. От первого Энгельс мог узнать подробности о проектировавшемся продолжении за границей «Немецких летописей», а также о новых настроениях среди своих старых приятелей. Вскоре он принял участие в новом журнале «Немецко-французские летописи».

Мы уже видели, что почти вся работа по составлению и редакции этого журнала выпала на долю Маркса. Предание говорит, что именно он пригласил Энгельса сотрудничать в «Летописях». Мы знаем теперь, что и Руге достаточно хорошо знал и ценил Энгельса, чтобы тоже проявить такого рода инициативу. Как бы то ни было, волей судеб, как мы видели, главные статьи журнала были написаны будущими друзьями. Статьи Энгельса привлекли к себе тоже большое внимание. Тем, кто знал его по статьям Освальда, сразу

бросилась в глаза резкая разница между статьями 1842 и 1844 г. Мы имеем теперь — из архива Якоби — любопытное свидетельство, которое приводит Майер: «Энгельс совершил над собой настоящее чудо, — писал Вальдек своему кузену Якоби, — если сравнить зрелость и мужественность его стиля с его прежней манерой». ¹

Действительно, в обеих статьях впервые появились результаты внимательного изучения английской жизни в ее крупнейших промышленных центрах.

«Очерки критики политической экономии». — Маркс назвал эту статью в предисловии к своей *«Критике политической экономии»* гениальным очерком критики экономических категорий. И действительно, Энгельс, опираясь главным образом на Прудона, Фурье и Оуэна, но развивая некоторые идеи вполне самостоятельно, показал уже тогда, насколько плодотворным в области политической экономии является изучение фактов современного общества в свете гегелевской диалектики. Правда, он часто ограничивается этическим осуждением, устанавливая противоречия между фактами и идеалом, вместо того, чтобы вскрыть их внутренние противоречия, показать диалектику самих фактов и отношений буржуазного общества. Но несомненно, что Энгельс подействовал своей статьей на Маркса, как говорят немцы, *anregend*, дал значительный толчок его теоретической мысли.

«Положение Англии». — Энгельс сообщает все необходимые подробности о Карлейле и его социально-политических памфлетах, которые, как это видно даже из предыдущей статьи, где в критике Мальтуса слышатся отголоски идей Карлейля, произвели на него сильное впечатление именно своей ядовитой критикой социально-политических отношений Англии. Влияние Карлейля чувствуется у Энгельса еще в его книге *«Положение рабочего класса в Англии»*. После революции 1848 г., когда Карлейль превратился в заурядного консерватора и апологета «просвещенного деспотизма», Энгельс и Маркс относятся к нему совершенно отрицательно.

Критика историко-философских взглядов Карлейля, которую дает в последней части своей статьи Энгельс, опирается целиком на

¹ Онкен в своем разборе книги Майера (*«F. Engels und die Anfänge des deutschen Kommunismus»*, *«Historische Zeitschrift»* Band 123.) приводит отзыв жившего тогда в Париже одного из крупнейших немецких драматургов XIX столетия Фридриха Геббеля: «Но эти Летописи содержат две прекрасные статьи Ф. Энгельса в Манчестере: «Положение Англии» и «Критику политической экономии», из которых особенно последняя разоблачает чудовищную безнравственность, на которой покоится торговля всего мира».

Бруно Бауэра и в особенности на Фейербаха. И в этом случае взгляды Энгельса интересно сравнить со взглядами Чернышевского, который оставался до конца дней своих таким же восторженным фейербахианцем, каким Энгельс был от 1843 до 1845 г. Для обоих альфой и омегой является «антропологический принцип в философии».

Высокая оценка Гете показывает, что в этом пункте Энгельс уже освободился от всякого влияния Берне. Критика «культы героев» у Карлейля, его попыток делить человечество на овец и козлиц, подготавливает уже будущую критику взглядов Бруно Бауэра на «героев» и «массы».

«Положение Англии. — Восемнадцатый век». — Свою статью о Карлейле Энгельс кончает обещанием подробнее остановиться в следующих книжках журнала на положении Англии и его главной сути — положении рабочего класса. Вследствие прекращения «Немецко-французских летописей» обещание это осталось невыполненным. Но как только открылась возможность работать в «Vorwärts'e», Энгельс передал туда свою новую статью. Она появилась там без подписи в №№ 70, 71, 72, 73 от 31 августа, 4, 7 и 11 сентября 1844 г.

В этой характеристике социальной революции, ведущей свое начало в Англии с конца XVIII века, Энгельс все еще не может освободиться от старого философского жаргона, хотя в ряде мест, — особенно в изображении последствий этой социальной революции, которую он затем называет промышленной, — мы уже находим фразеологию «Коммунистического манифеста». Так, уничтожение феодального рабства сделало, по его мнению, «чистоган единственной связью между людьми», — выражение, которое мы встречаем уже у Карлейля, — деньги делаются властелином мира, человек становится рабом вещи и т. д.

Следующий во второй половине статьи очерк промышленной революции и ее влияния на изменение классовой структуры, для которого Энгельс использовал известную статистическую работу Портера, «Progress of the Nation», с большими сокращениями и некоторыми изменениями воспроизведен был после в «Положении рабочего класса в Англии».

«Положение Англии. — Английская конституция». — В этой статье Энгельс дает очерк и критику английского государственного аппарата, при помощи которого английская олигархия правит страной и колониями. Господствовавшим тогда в континентальной литературе представлениям о царящей в Англии свободе и демократии он противопоставляет, на основании фактов и критических замечаний, собранных в чартистских статьях, памфлетах и речах,

картину фактической конституции. Демократии простой, буржуазной противопоставляется демократия социальная, в основе которой лежит новый принцип — принцип социализма.

Статья была напечатана в «Vorwärts'e», уже после встречи Маркса с Энгельсом в Париже, в №№ 75—78, 80, 83 и 84 от 18, 21, 25, 28 сентября и 5, 16 и 19 октября 1844 г. Но она написана была еще в конце июня или начале июля, ибо упоминаемое в ней осуждение О'Коннеля имело место в Дублине в конце мая 1844 г.

Но Энгельс не ограничился тем, что писал для немецких журналов. Он уже настолько успел сблизиться с английскими социалистами, что считает необходимым информировать их об успехах коммунизма на континенте. Для этой цели он использует центральный орган оуэнистов, с которыми он вступил в сношения, вероятно, через Уотса. Этим органом являлся «New Moral World» («Новый нравственный мир»), который начал выходить еще в 1834 г. Сохраняя это название как главное, орган оуэнистов дополнял его прибавкой, подчеркивавшей его новую особенность. Так, начиная с июля 1839 г., он называется «Новый нравственный мир, или журнал Универсальной общины и Общества рациональной религии», а с июля 1842 г. — «Новый нравственный мир, журнал Рационального общества».

Сотрудничество Энгельса продолжалось от ноября 1843 г. до мая 1845 г. Чтобы не разбивать на две части статьи, напечатанные им в этом журнале, мы, в отступление от нашего плана, даем в этом томе и те корреспонденции, которые Энгельс написал уже из Бармена, после встречи с Марксом в Париже.

«Прогресс движения за социальную реформу». — Эта статья помещена была 4 ноября 1843 г. Уже с самого начала нас поражает цифра коммунистов, приводимая Энгельсом для Франции. Это одно из тех увлечений, которое мы встречаем и в его письмах из Англии. Различие между Францией, Англией и Германией, из которых каждая приходит к одинаково для всех неизбежной революции особым путем, приводилось уже прежде Гессом, который также подчеркивал необходимость союза этих трех наций.

Мы видим, что уже в этой статье Энгельс выступает — раньше, чем Маркс — последовательным коммунистом, для которого радикальная революция, связанная с уничтожением частной собственности, является настоятельной и неизбежной необходимостью. Коммунизм не есть следствие каких-нибудь особенных английских или других национальных условий, но необходимый результат, вытекающий из всех созданных современной цивилизацией фактов.

Энгельс начинает историей социализма во Франции, потому

что именно эта страна проделала все формы политического развития, чтобы, в конце концов, прийти к тому же самому конечному пункту, куда различными путями должны прийти все нации,—к коммунизму.

В критике демократии чувствуется еще весьма сильно анархический привкус, протест против всякой формы государства. Характерно противопоставление Наполеона и Бабефа. К сожалению, Энгельс не останавливается более подробно на «сыром и поверхностном коммунизме» Бабефа, так как предполагает, что его английским читателям это учение хорошо известно.

Сен-симонизм для Энгельса уже «забытое» учение. Через посредство «Молодой Германии», в особенности Гуцкова, а после — Гесса, он воспринял некоторые элементы этого учения, но теперь его уже отталкивает «мистицизм» сен-симонизма, который он противопоставляет, как «социальную поэзию», более научной «социальной философии» Фурье. Старые симпатии к учителю проявляются и тут в ссылке на критику, которой подверг Берне выдвигавшийся сен-симонистами принцип распределения. У Фурье Энгельс отмечает, а после и использует для своей критики буржуазной политической экономии, те самые положения, которые много лет спустя использованы были Чернышевским в критике Милля. Энгельс уже знает о *Travailleurs égaux* и других рабочих группах в эпоху июльской монархии. Он упоминает и об организации Бланки, не называя его имени. Восторженный отзыв о Прудоне указывает на другой источник критики права частной собственности и следствий конкуренции, которую мы встречаем у Энгельса в его очерках критики политической экономии.

«Германия и Швейцария». — Это — продолжение предыдущей статьи, напечатанное под другим заглавием в «*New Moral World*» 18 ноября 1843 г. Эта статья имеет огромное значение для истории немецкого коммунизма. Только она дает возможность, — именно потому, что представляет кульминационный пункт его развития до статей Маркса в «Немецко-французских летописях», — определить то новое, что внес Маркс. У Энгельса между коммунизмом рабочего класса и философским коммунизмом революционной интеллигенции проводится резкая грань. Правда, он уже оценил заслуги «создателя немецкого коммунизма» Вейтлинга, но видно, что он не придает еще большого значения этому движению, потому что своих приверженцев оно вербует только среди ремесленников-подмастерьев, так как в Германии мало развита фабричная промышленность. Кроме того, тенденция связывать коммунизм с христианством, которую Энгельс порицает и у Каба, заставляет его считать учение Вейтлинга невыдержанным в теоретическом отношении.

Очень подробно рассматривает Энгельс исторические корни философского коммунизма. Для него он представляет логическое следствие развития немецкой философии от Канта, через Фихте и Шеллинга, до Гегеля. Рассказав о расколе, вызванном в гегельянстве книгой Штрауса, о нападениях «христиан» на «новых гегельянцев», он подчеркивает теоретическую робость последних и прибавляет, намекая на свою брошюру «Шеллинг и откровение», что «лишь в прошлом году автор этих строк признал в одном произведении правильность упрека в атеизме».

Дальше следует очерк движения с 1842 г. «Политическая газета», о которой говорит Энгельс, не называя ее, это — «Рейнская газета». Мы уже знаем, какими «памфлетами засыпали всю страну» новые гегельянцы. Указание, что весной 1842 г. некоторые партийные деятели заявили, что одних политических реформ недостаточно и что лишь *социальная революция*, основанная на отмене частной собственности, является единственным строем, совпадающим с их абстрактными основными положениями, относится к Гессу, который в нескольких статьях «Рейнской газеты», особенно в статье об Англии (26 июня 1842 г.), развивал ту мысль, что никакая, даже самая радикальная политическая реформа не поможет, что выход только в коренном изменении всех социальных отношений. Как, однако, мало определился еще философский коммунизм в 1843 г., видно из того, что Энгельс причисляет к коммунистам, помимо Гесса, который «первый стал коммунистом в партии», и Руге.

Тем же влиянием Гесса объясняется и нашедшая себе в статье Энгельса такое яркое выражение иллюзия, что ни в одной стране нет такой надежды, как в Германии, создать коммунистическую партию среди образованных классов! Аргументация Энгельса поразительно напоминает хорошо известную нам апологию российской интеллигенции, у которой тоже была своя «собственная статья».

Но, сознавая свое философское превосходство над английскими социалистами, Энгельс все-таки признает, что во всем, что касается практики, фактов современного общества, английские социалисты опередили немецких и что в этой области немцам нужно еще многому поучиться у своих английских товарищей.

Когда «New Moral World» совершенно неожиданно перепечатал статью «Таймса» о немецком коммунизме, Энгельс сейчас же написал письмо в редакцию (20 января 1844 г.). Но, указывая совершенно верно на ряд ошибок, допущенных корреспондентом «Таймса», Энгельс продолжает, как и прежде, преувеличивать силы французских коммунистов. Заявление, что он лично знает активно участвовавших

в майском восстании 1839 г., заставляет предполагать, что он уже познакомился к тому времени с членами Рабочего просветительного общества, основанного Шаппером в Лондоне еще в 1840 г. Ошибку, в которую он впал сам относительно аббата Констана, он поправляет в особом письме (3 февраля 1840 г.).

Благожелательный отзыв о «Парижских тайнах» Эжена Сю, который мы встречаем в статье *«Континентальные дела»* (3 февраля 1844 г.), скоро сменился у Энгельса, под влиянием Маркса, другим. Но он совершенно верно констатирует в немецкой прессе 1843 г. пробуждение интереса к судьбам неимущих; с этого времени в ней все чаще появляются сочувственные описания бедствий немецких рабочих.

Следующая корреспонденция о *«Континентальном социализме»* писана уже из Бармена, после того как Энгельс пробыл несколько дней в Париже (*«New Moral World»*, 5 октября 1844 г.). Он сообщает, что «мы сделали большие успехи среди русских в Париже. Здесь в Париже есть теперь три или четыре дворянина и владельца крепостных, которые стали радикальными коммунистами и атеистами».

Три корреспонденции — *«Быстрое развитие коммунизма в Германии»* (*«New Moral World»*, 13 декабря) и *«Из Германии»*, I и II (8 марта и 10 мая 1845 г.) — дают восторженное описание успехов коммунизма в Германии, известное уже отчасти из писем Энгельса к Марксу, но дающее много новых деталей. Энгельс, между прочим, сообщает, что «скоро будет издано новое произведение д-ра Маркса, которое будет заключать в себе обзор принципов политической экономии и политики вообще».

Среди политических опытов, помещенных в Приложениях, имеется длинная ода *«Памяти Гутенберга»*, перевод с испанского. Автором является Мануэль-Хосе Кинтана. Это — первое литературное произведение, которое Энгельс подписал своей настоящей фамилией и которое до сих пор оставалось неизвестным. Оно представляет интерес еще с другой стороны. Поводом к нему послужило четырехсотлетие изобретения книгопечатания, которое тогда ошибочно относили к 1440 г. Издан был альбом в честь Гутенберга,¹ для чего соединились три издательства: немецкое, английское и американское. К сотрудничеству были привлечены поэты и писатели различных стран. Таким образом, Энгельс дебютировал в первый раз под своим собственным именем в *международном издании* как

¹ «Gutenbergs-Album», herausgegeben von Dr. Heinrich Meyer. Braunschweig. London. Philadelphia.

переводчик с испанского. Была представлена и Россия, правда, только старшим учителем рижской гимназии, *Тихомандрицким!*

* * *

В переводе этого тома принимали участие Я. Виткинд, А. Воден, Е. Гурвич, Э. Гуревич, А. Гутерман, О. Румер и П. Юшкевич. Перевод стихов сделан В. Ещиным («Вечер», «Памяти Гутенберга», «Флорида», трагикомедия «Зигфрид») и О. Румером («Библии чудесное избавление», «Бедуины», «Перенесение праха Наполеона I», сонет Петрарки и др.).

При чтении корректуры помогал Н. Бобровников. Корректурой руководил О. Румер. Указатель имен составлен сотрудниками Немецкого кабинета Института.

Д. Рязанов.

Май 1929 г.

Ф. ЭНГЕЛЬС

СТАТЬИ, ПИСЬМА

1838 — 1845

**СТАТЬИ ИЗ «ТЕЛЕГРАФА»,
«ЭЛЬБЕРФЕЛЬДСКОЙ ГАЗЕТЫ» И «АТЕНЕУМА»
(БРЕМЕНСКИЙ ПЕРИОД)**

ПИСЬМА ИЗ ВУПЕРТАЛЯ.

I.

Как известно, под этим названием, пользующимся у просвещенных людей прескверной репутацией, разумеют оба города — Эльберфельд и Бармен, занимающие долину реки Вуппера на протяжении трех часов езды. Узкая река то еле движется, то быстро катит свои пурпурные волны среди дымных фабричных зданий и усталых пряжею белилен. Ее ярко-красный цвет ведет свое происхождение не от какого-нибудь кровавого сражения, — ибо здесь воюют лишь теологические перья и болтливые старые бабы, обычно из-за бороды короля, — и не от стыда за людские нравы, хотя на это имеется поистине достаточно оснований, но единственно и исключительно от великого множества красилен. Если вы приезжаете со стороны Дюссельдорфа, то у Зоннборна вступаете в священную область; мутный Вуппер лениво ползет мимо вас и своим жалким видом, по сравнению с только что покинутым Рейном, очень разочаровывает. Местность довольно мила: не очень высокие, то пологие, то крутые горы, сплошь покрытые густым лесом, сменяются зелеными лугами, и при хорошей погоде голубое небо, отражаясь в Вуппере, совершенно прогоняет его красный цвет. Обогнув косогор, вы близко перед собою видите причудливые башни Эльберфельда (скромные дома прячутся за садами) и через несколько минут достигаете Сиона обскурантов. Еще почти вне города вы натываетесь на католическую церковь; она стоит здесь, словно изгнанная из священных стен. Она — в византийском стиле, ее очень плохо построил по очень хорошему плану очень неопытный архитектор; старую католическую церковь сломали, чтобы очистить место левому крылу ратуши, еще не выстроенному; осталась одна только башня, которая служит на свой манер всеобщему благу, а именно в качестве тюрьмы. Сейчас же вслед затем вы подходите к большому зданию, свод которого покоится на очень своеобразных колоннах: по сьему обхвату они внизу египетские, посредине дорические и наверху ионические, и к тому же они презирают всякие излишние

архитектурные подробности, вроде пьедестала и капителя, не без достаточных оснований. Это здание называлось раньше музеем, но музы там и не ночевали, зато остались большие долги, так что не очень давно здание было продано с аукциона и получило название казино, которое и украсило собою пустой фронтиспис, чтобы удалить всякое воспоминание о прежнем поэтическом имени. Это здание, впрочем, так неуклюже по своим пропорциям, что вечером его принимают за верблюда. Отсюда начинаются скучные улицы, лишенные всякой характерности; красивая новая ратуша, наполовину только построенная, за недостатком места, поставлена так нелепо, что фасадом выходит на узкую безобразную улицу. Наконец, вы опять подходите к Вупперу, и красивый мост ведет вас в Бармен, где, по крайней мере, больше считаются с требованиями архитектурной красоты. За мостом все принимает приятный облик; на месте небольших эльберфельдских домов, — ни старомодных, ни современных, ни красивых, ни карикатурных, — здесь появляются большие, массивные здания, построенные со вкусом в современном стиле; повсюду перед вами вырастают новые каменные дома, мостовая прекращается, продолжением улицы служит прямое шоссе, с обеих сторон застроенное. Между домов виднеются белильни. Вуппер здесь еще прозрачен, горы подходят все ближе с их легкими очертаниями и живою сменой лесов, лугов и садов, из которых повсюду выглядывают красные крыши; чем дальше вы подвигаетесь, тем живописнее становится местность. На половине пути перед нами встает немного в стороне нижебарменская церковь; это самое красивое здание долины, очень хорошо выполненное в благороднейшем византийском стиле. Но скоро опять начинается мостовая, дома из серого шифера тесно жмутся друг к другу; однако и здесь гораздо больше разнообразия, чем в Эльберфельде: то свежая белильня, то дом в современном стиле, то полоска реки, то ряд садов тут же у улицы нарушают ее монотонность. Это вызывает в вас сомнение, считать ли Бармен городом или простым конгломератом всякого рода зданий; он и на самом деле представляет соединение многих населенных пунктов, связанных общими городскими учреждениями. Самые значительные из этих пунктов следующие: Гемарке, искони центр реформатского исповедания; Нижний Бармен, по направлению к Эльберфельду; недалеко Вупперфельд, выше Гемарке, и еще дальше Риттерсгаузен, а рядом с ним слева Вихлинггаузен и справа Хекинггаузен с чудным Раухенталем; все населены лютеранами обеих церквей; католики, которых не более двух или трех тысяч, рассеяны по всей долине. Про-

ехав Риттерсгаузен, вы, наконец, покидаете горную область и через шлагбаум вступаете в старо-прусскую Вестфалию.

Таков внешний вид долины, которая в общем, исключая мрачные улицы Эльберфельда, производит очень приятное впечатление; но на жителях оно незаметно, как показывает опыт. Свежая, здоровая народная жизнь, как она существует почти везде в Германии, здесь совсем не чувствуется; правда, на первый взгляд, кажется иначе: ежевечерне по улицам тянутся веселые компании и горланят свои песни, но это — самые площадные, пьяные песни, отвратительнее которых трудно себе представить; никогда вы здесь не услышите одну из тех народных песен, которые знает вся Германия и которыми мы в праве гордиться. Все кабаки переполнены, особенно в субботу и воскресенье, а вечером, к одиннадцатому часу, когда их запирают, пьяные толпами высыпают из них, большинство замертво падает тут же в дорожную канаву. Подонки городского населения совершенно деморализованы, не имеют постоянного крова и определенного заработка; с наступлением дня они вылезают из своих убежищ, сеновалов, конюшен и т. д., если не провели всю ночь где-нибудь на лестнице или на свалке. Ограничением числа кабаков, раньше совершенно неопределенного, власти положили теперь до некоторой степени предел этому безобразию.

Причины этого явления совершенно ясны. Прежде всего, этому очень много способствует фабричный труд. Работа в низких помещениях, где люди вдыхают больше углекислоты и пыли, чем кислорода, — и в большинстве случаев начиная уже с шестилетнего возраста, — как-будто предназначена для того, чтобы лишить их всякой силы и жизнерадостности. Одиночки-ткачи сидят у себя дома с утра до ночи, согнувшись за станком, и сушат себе спинной мозг у жаркой печи. Удел этих людей — мистицизм или пьянство.

Этот мистицизм, в той грубой и отвратительной форме, в которой он там господствует, должен необходимо вызывать противоположную крайность, и в результате получается, что народ там состоит только из «благородных» (так зовут мистиков) и беспутных людей. Уже одно это расслоение на два враждебных лагеря могло бы само по себе, независимо от их природы, убить всякое развитие народного духа, и положение настолько безнадежно, что даже исчезновение одного из лагерей не могло бы помочь, ибо оба они одинаково поражены чахоткой. Немногие крепкие фигуры, которые приходится там встречать, почти только столяры и иные ремесленники, все пришлые люди из других местностей; попадаются крепкие люди и среди туземных кожевников, но достаточно трех

лет такой жизни, чтобы физически и духовно их погубить: из пяти человек трое умирают от чахотки, и все — по причине пьянства. Это явление, однако, не принимало бы таких ужасных размеров, если бы не безобразное ховайничанье владельцев фабрик, и если бы одновременно мистицизм не выражался в тех формах, в каких он здесь все более получает преобладание. Среди низших классов господствует ужасная нищета, особенно среди фабричных рабочих в Вуппертале; сифилис и легочные болезни настолько распространены, что трудно поверить; в одном Эльберфельде из 2500 детей школьного возраста 1200 не попадают на школьную скамью и вырастают на фабрике для того лишь, чтобы фабриканту не платить взрослому вдвое против заработной платы, которую он дает малолетнему. Но у богатых фабрикантов — растяжимая совесть, и оттого, что зачахнет одним ребенком больше или меньше, душа пиетиста еще не попадет в ад, тем более, если по воскресеньям она два раза бывает в церкви. Ибо установлено, что из фабрикантов хуже всех со своими рабочими обходятся пиетисты: они всевозможными способами сбивают им плату под предлогом ограничить их пьянство, а при выборах проповедников всегда первые прибегают к подкупу.

В низших сословиях мистицизм господствует больше всего среди ремесленников (фабрикантов я к ним не причисляю). Печальное зрелище, когда вы видите на улице такую согнувшуюся фигуру в предлинном сюртуке с зачесанными по пиетистической моде волосами. Но кто хочет настоящим образом узнать эту породу, должен зайти в какую-нибудь мастерскую, к кузнецу или сапожнику. В центре восседает мастер, справа перед ним — Библия, слева, очень часто, по крайней мере, водка. Работы вы там много не увидите: мастер почти всегда читает Библию, от времени до времени пропускает рюмочку, а иногда с хором подмастерьев запекает духовную песнь; но главное занятие — всегда осуждение ближнего. Как вы видите, это направление здесь такое же, как везде. Их жажда обращения не остается бесплодной. Особенно подпадает обращению много безбожных пьяниц и пр., большею частью чудесным образом. Но мало что от этого меняется; все эти прозелиты — убогие духом, измученные люди, и убедить их — сущие пустяки; они обращаются несколько раз на неделе, бывают растроганы до слез, а втихомолку ведут свою прежнюю жизнь. Несколько лет тому назад вся эта канитель вышла наружу к ужасу всех ханжей. Нашелся именно какой-то американский авантюрист, по имени пастор Юргенс; он несколько раз произносил проповеди при большом стечении народа, ибо все думали, что он, как американец, непременно мулат

или даже негр. Но каково было изумление, когда он оказался не только белым, но и таким проповедником, что вся церковь заливалась слезами. Отчасти это, может быть, вызывалось тем, что, когда все средства растрогать публику не достигали цели, он сам начинал выть. Верующие умилялись в один голос; если слышались возражения со стороны нескольких разумных людей, их объявляли безбожниками; скоро Юргенс стал устраивать собрания, получать богатые подарки от своих почтенных друзей и жить припеваючи. Его проповеди посещались усерднее всех других; собрания его бывали переполнены, каждое его слово вызывало вопли мужчин и женщин. Все теперь уверовали, что он, по меньшей мере, пророк и построит Новый Иерусалим, но в один прекрасный день чудо рассеялось. Вдруг обнаруживается, какие вещи проделывались на этих собраниях; господина Юргенса сажают в узилище и посылают в Гамм на несколько лет покаяния. Потом его выпускают, взяв с него обещание исправиться, и препровождают обратно в Америку. Стало еще известно, что он уже в Америке показал свои художества, почему его оттуда послали дальше; затем, чтобы не разучиться, он устроил репетицию в Вестфалии, где его отпустили из милости или, вернее, по слабости, проявленной властями, без дальнейшего расследования, и, наконец, увенчал дело в Эльберфельде, опять пустившись во все тяжкие. Когда же обнаружилось, что делалось на собраниях сего благородного мужа, все на него ополчилось, и никто знать его не пожелал; все от него отвернулось, от Ливана до Соленого моря, то бишь — от горы Риттерсгаузен до града Зоннборна, что у Вуппера.

Но истинным центром всего пиетизма и мистицизма служит реформатская община в Эльберфельде. Испокон века она отличалась строго кальвинистическим духом, который в последние несколько лет превратился в самую дикую нетерпимость благодаря назначению самых ханжеских проповедников (сейчас их хозяйничает там одновременно целых четыре), и мало чем отличается от папистского духа. Там на собраниях ведутся форменные судилища над еретиками; там осуждается поведение всякого, кто не посещает собраний; там рассуждают: такой-то читает романы, и хотя в заголовке и значится христианский роман, но ведь пастор Круммахер поведал, что романы — книги безбожные; а такой-то, казалось, был богобоязнен, но намерен его видели на концерте; и они ломают руки в ужасе от бездны греха. И если какой-нибудь проповедник прослышет рационалистом (под этим именем они разумеют всякого, кто хоть на йоту разоидется с ними в мнениях), то они за

него берутся, тщательно следят, совершенно ли черный на нем сюртук и вполне ли правоверного цвета на нем брюки; и горе ему, если на нем окажется сюртук с синеватым отливом или «рационалистический» жилет! Если же окажется, что кто-либо не верит в предопределение, тому не будет пощады: он будет объявлен немногим лучше лютеранина, а лютеранин ведь недалеко ушел от католика, ну, а католик и идолопоклонник прокляты по самой природе своей. А судьи кто? Невежды, которые вряд ли знают, на каком языке написана Библия, — по-китайски, по-еврейски или по-гречески, — и судят обо всем — основательно или нет, — полагаясь на слова какого-нибудь проповедника, которого раз навсегда признали правоверным.

Этот дух водворился с тех пор, как здесь получила преобладание реформация, но оставался незаметным, пока умерший несколько лет назад проповедник Г.-Д. Круммахер не принялся именно в этой общине всячески его культивировать; скоро мистицизм расцвел пышным цветом, но Круммахер умер раньше, чем плод созрел; произошло это уже при его племяннике, д-ре Фридрихе-Вильгельме Круммахере, который так тонко раввил и определил учение, что недоумеваешь, за что принять все вместе: за нелепость или кощунство. Итак, плод созрел, но сорвать его никто не умеет; со временем, он, видно, сам сгниет и отпадет.

Готфрид-Даниил Круммахер, брат известного по своим аллегорическим произведениям д-ра Ф.-А. Круммахера в Бремене, умер около трех лет тому назад в Эльберфельде после долголетней служебной деятельности. Когда с лишком двадцать лет тому назад один проповедник в Бармене излагал с кафедры учение о предопределении не с такою непреклонностью, как он, то набожные прихожане начинали курить в церкви, подымали шум и мешали его проповеди под предлогом обнаруженного им неверия, так что власти были вынуждены вмешаться. Тогда Круммахер написал барменскому магистрату безобразно грубое письмо, вроде того, как Григорий VII написал бы Генриху IV, и грозно повелел не трогать ханжей, ибо они только защищали свое дорогое Евангелие; в таком же духе он произнес и проповедь. Но над ним только посмеялись. Все это характерно для его духа, который он сохранил до своего конца. Он отличался, кроме того, таким замечательным нравом, что про него ходили тысячи анекдотов, судя по которым его нужно считать или большим чудачком, или исключительно грубым человеком.

Д-р Фридрих-Вильгельм Круммахер, человек в возрасте около сорока лет, высокий, крепкий, с внушительной фигурой, со времени

поселения в Эльберфельде сильно толстеет. Прическу он носит совершенно своеобразную, в чем ему подражают все его приверженцы. Кто знает, быть может, когда-нибудь еще станет модою носить волосы à la Круммахер; однако такая мода превзошла бы по безвкусию все предшествовавшие, даже пудренные парики!

Студентом он принимал участие в гимнастических обществах, сочинял песни свободы, на Вартбургском празднестве носил знамя и произнес речь, которая якобы произвела сильное впечатление. Эти привольные годы он часто поминает еще с кафедры словами: «когда я еще был в лагере хеттитов и хананеев». Позднее он был избран реформатскою общиной в Бармене пастором, и с этого времени считается только настоящая его репутация. Едва он появился, как уже вызвал своим учением о строгом предопределении раскол не только между лютеранами и реформаторами, но и среди последних между «твердыми» и «мягкими» предопределенцами. Однажды какому-то старому надутому лютеранину, бывшему несколько навеселе, нужно было пройти через ветхий мост. В его состоянии это ему показалось немного опасным, и он начал рассуждать: если я переберусь благополучно, то будет хорошо; если же неблагополучно, то я упаду в Вуппер, и тогда реформаты скажут, что так должно было быть; но так быть не должно. Он вернулся и перебрался вброд по поясу в воде с блаженным чувством, что надул реформатов и оставил их в дураках.

Когда в Эльберфельде освободилось место, на него выбрали Круммахера, и в Бармене вскоре прекратилась всякая свара, но зато в Эльберфельде она стала еще гораздо ожесточеннее. Уже вступительная проповедь Круммахера рассердила одних и вдохновила других; разговоры все больше усиливались, тем более, что скоро каждый проповедник, хотя все они были одинаковых взглядов, получил свою собственную партию, образовавшую единственную его аудиторию. Позже это надоело, и вечный крик: я за Круммахера, я за Коля и пр., прекратился не из любви к миру, а потому, что партии все более определенно обособлялись.

Круммахер безусловно одарен отличным ораторским, а также и поэтическим талантом; его проповеди никогда не бывают смешны; ход мысли естественный и простой; он превосходит и силен в изображении мрачных картин, — описание преисподней у него постоянно отличается новизной и свежестью, как часто он ни возвращается к этой теме, и основано на противоположениях. Напротив, он очень часто прибегает к библейской фразеологии и ее картинам, которые, при всем остроумии аналогии, в конце концов, повторяются;

впережку с ними — очень прозаическая картина из обыденной жизни или рассказ из его собственных судеб и неинтересных переживаний. Все он тащит на кафедру, подходит оно или нет: недавно он преподавал своим набожным слушателям в двух проповедях свою поездку в Вюртемберг и Швейцарию; в них он говорил о четырех своих победоносных диспутах с Паулюсом в Гейдельберге и Штраусом в Тюбингене, правда, совершенно иначе, чем отзывается об этом в письме Штраус. Декламация его местами очень хороша, и его сильная, наглядная жестикуляция часто совершенно уместна, но временами манерна и безвкусна, превосходит всякую меру. Он бегает по всем направлениям по кафедре, наклоняется во все стороны, стучит кулаком по столу, топает ногами, как боевой конь, и к тому еще кричит так, что стекла звенят и люди на улице пугаются. Слушатели начинают реветь; сначала рыдают молодые девицы, старые женщины врываюся с их душу раздирающим сопрано, и эту какофонию завершают своими стонами изнуренные пьяные пиетисты, которых его слова пронизали бы до мозга костей, если бы у них еще был мозг в костях; сквозь этот рев раздается его могучий голосище, которым он рисует всему собранию бесчисленные осуждения на вечные муки или дьявольские сцены.

А его учение! Невозможно понять, как человек может уверовать в такие вещи, находящиеся в полнейшем противоречии с разумом и Библией. Тем не менее Круммахер с такой остротой выразил доктрину, развил и укрепил ее во всех выводах, что нельзя ничего отвергнуть, если принять основу, а именно неспособность человека по собственной инициативе желать добра, а тем более творить его. Отсюда проистекает необходимость дарования извне, а так как человек не в состоянии даже желать добра, то бог должен ему навязать это дарование. Из доброй воли бога следует произвольное дарование добра, которое также, по крайней мере видимо, опирается на Писание. На таком построении выводов покоится все учение; немногие избранные, хотят ли они или не хотят, получают блаженство, другие осуждаются навеки. «Навеки? — Да, навеки» (Круммахер). Далее в писании сказано: никто не придет к Отцу, разве через меня; но язычники не могут прийти к Отцу через Христа, ибо они Христа не знают, следовательно все они существуют лишь затем, чтобы наполнить преисподнюю. Среди христиан много званых и мало избранных; а многие званые призваны только для вида, и бог остерегся призвать их с такою силой, чтобы они послушались; все это во славу Божию, чтобы им не было прощенья. Засим написано также: мудрость Божия для мудрецов сего мира —

глупость; это служит для мистиков приказом строить свое учение возможно бессмысленнее, чтобы оправдалось это изречение. Как все это вяжется с учением апостолов, которые говорят о разумном богослужении и разумном молоке Евангелия,—это тайна, для ума непостижимая.

Такие учения портят все проповеди Круммахера; не столь сильно они выступают лишь в тех местах, где он говорит о противоположности земного изобилия и нищеты Христа, или гордыни светских князей и бога. Здесь очень часто прорывается отблеск былой его демагогии, и, если бы он не говорил в таких общих фразах, правительство не осталось бы равнодушным.

Эстетическое значение его проповедей оценивается в Эльберфельде лишь очень немногими; ибо, если сравнить с ними его трех коллег, которые почти все имеют такую же большую аудиторию, то он кажется единицею, а остальные рядом с ним нулями, которые служат лишь на то, чтобы возвысить его значение. Старейший из этих нулей зовется Коль, именем которого можно одновременно охарактеризовать и его проповеди ¹; второй — Герман, не потомок того Германа, которому они сейчас ставят памятник, долженствующий пережить историю и Тацита; третий — Балл — мяч для Круммахера ²; все трое в высшей степени правоверные и в проповедях подражатели дурных сторон Круммахера. Лютеранские пасторы в Эльберфельде — Зандер и Гильзман, прежде смертельные враги, когда первый служил еще в Вихлинггаузене и вступил в известный спор с Гильзманом в Дале, ныне в Леннепе, братом теперешнего коллеги Зандера. Теперь они относятся друг к другу с достоинством, но пиетисты стараются вновь оживить раздор, вечно упрекая Гильзмана во всякого рода проступках против Зандера. Третий в этой компании — Деринг, очень оригинальный по своей рассеянности; он не в состоянии связать трех фраз, но, наоборот, может из трех частей проповеди сделать четыре, буквально повторяя одну из них и совершенно этого не замечая. *Probatum est.* О его стихотворениях ниже.

Барменские проповедники мало чем отличаются друг от друга: все строго ортодоксальны, с большей или меньшей примесью пиетизма. Лишь Штир в Вихлинггаузене сколько-нибудь заслуживает внимания. Говорят, что Жан Поль знал его мальчиком и открыл в нем отличные способности. Он служил пастором в Франклебене

¹ Непереводаемая игра слов: Kohl—фамилия, Kohl — капуста, вздор.

² Ball — фамилия и Ball — мяч.

близ Галле и в это время выпустил несколько поэтических и прозаических писаний, улучшенное издание лютеранского катехизиса, пособие к нему и небольшое руководство для неспособных учителей, а также книжечку о недостатке песенников в саксонской провинции; эта книжечка удостоилась самого лестного отзыва в «Евангелической церковной газете» и действительно заключала в себе более разумные взгляды на церковные песни, чем какие приходится слышать в благословенном Вуппертале, хотя местами в ней попадаются и необоснованные утверждения. Его собственные стихотворения чрезвычайно скучны; ему принадлежит также сомнительная заслуга, что он сделал несколько языческих стихотворений Шиллера приемлемыми для правоверных, например «Богов Греции»:

Когда еще царили в мире
 Греховой силою своей,
 Из рода в род людей водили
 Вы, боги, из страны теней!
 Ваш грешный культ еще блистал
 Совсем, совсем иной, чем ныне,
 Твой храм людской род украшал,
 Венера Амагузия!

Как глубокомысленно и таинственно! Уже с полгода Штир в Вихлинггаузене на месте Зандера, но пока еще не обогатил барменской литературы.

Лангенберг близ Эльберфельда, по всему своему облику, принадлежит еще к Вупперталю. Та же промышленность, тот же дух пиэтизма. Там подвизается Эмиль Круммахер, брат Фридриха-Вильгельма; он не такой непреклонный предопределенец, как этот, но очень ему подражает, как показывает следующее место из его последней рождественской проповеди: «Земными телами мы сидим еще здесь на деревянных скамьях, но наши души с миллионами верующих возносятся на священную гору и внимают там ликованию небесных воинств, после чего опускаются в нищенский Вифлеем. И что же они там видят? Сперва жалкий хлев и в прежалком хлеве жалкие ясли, и в жалких яслях прежалкие сено и солому, а на прежалких сене и соломе лежит, как жалкое дитя нищего, в жалких пеленках великий господин мира».

Теперь следовало бы еще сказать кое-что о миссионерском доме, но упомянутые уже раньше на этих столбцах звуки арфы одного экс-миссионера свидетельствуют достаточно о том, какой дух там господствует. Инспектор его д-р Рихтер, ученый муж, выдающийся

ориенталист и естествоиспытатель, издает также «Толковую домашнюю Библию».

Таковы деяния пиятистов в Вуппертале; трудно себе представить, что в наше время все это еще возможно; но все-таки кажется, что и эта скала старого обскурантизма не может больше противостоять бурному потоку времени: песок уносится течением, скала подмывается и с шумом упадет.

II.

Само собой понятно, что в местности, до такой степени проникнутой пиаэтизмом, последний, распространяясь во все стороны, пропитывает и портит всякое отдельное направление жизни. Главное свое влияние он производит на школьное преподавание, прежде всего на народные школы.

Одна часть их находится всецело в его руках; это — церковные школы, по одной в каждой общине. Свободнее, но все еще находятся под надзором церковного школьного совета прочие народные школы, на которые гражданское управление имеет большее влияние. И здесь видно воочию реакционное воздействие мистицизма, ибо в то время как церковные школы все еще, как во время оно, при великодушном курфюрсте Карле-Теодоре, кроме чтения, письма и счета, вдабливают своим ученикам только катехизис, в других школах учат и начаткам некоторых наук и немного по-французски, так что многие из учеников, получив в школе толчок, стараются и после оставления школы продолжить свое образование. Эти школы быстро развиваются, и со времени перехода к прусскому правительству далеко опередили церковные школы, от которых сначала очень отставали. Но церковные школы посещаются гораздо усерднее, ибо они гораздо дешевле, и многие родители все еще посылают в них своих детей, частью из приверженности, частью потому, что в духовном развитии детей видят победу светского духа.

Из учебных заведений повышленного типа Вупперталь содержит три: городскую школу в Бармене, реальное училище в Эльберфельде и гимназию там же.

Барменская городская школа, очень слабо финансируемая и потому очень плохо обставленная учителями, делает, однако, все, что в ее силах. Она всецело в руках ограниченного, скупого попечительного совета, который, в большинстве случаев, еще выбирает в учителя пиаэтистов. Директор, тоже не чуждый этому направлению, твердо держит власть в руках и умеет ловко указать всякому

учителю свое место. За ним следует г. Иоганн-Яков Эвих, который умеет хорошо преподавать по хорошему учебнику и в преподавании истории является усердным приверженцем анекдотического метода Нессельга. Он автор многих педагогических трудов, из которых самый крупный, т. е. по объему, носит название: *Human, Wesel bei Bagel*, два тома, 40 листов, цена 1 рейхсталер. Все они полны высоких идей, благих пожеланий и неосуществимых проектов. Говорят, его педагогическая практика далеко отстает от красивой теории.

Д-р Филипп Шифлейн, второй старший учитель, самый дельный учитель школы. Быть может, никто в Германии не проник так глубоко в грамматическую структуру современного французского языка, как он. Он не исходил из старо-романского языка, но взял классический язык прошлого века, особенно Вольтера, и от него перешел к стилю новейших авторов. Результаты этих исследований представлены в его «Введении в изучение французского языка, в трех курсах», из которых первый и второй уже вышли в нескольких изданиях, а третий выйдет нынче к Пасхе. Это, без сомнения, рядом с Кнебелем, наилучший учебник французского языка, каким мы располагаем; он встретил сейчас же при выходе первого курса наилучший прием и пользуется ныне почти беспримерным распространением по всей Германии вплоть до Венгрии и балтийских провинций России.

Остальные учителя — молодые семинаристы, из которых одни основательно подучились, а другие ходят обремененные хаосом разных знаний. Лучший из этих молодых учителей был г. Кестер, друг Фрейлиграта; в одной его программе имется очерк поэтики, где он совсем исключил дидактическую поэзию и обычно приписываемые ей роды подчинил этике и лирике; статья свидетельствовала о понимании и ясности. Его пригласили в Дюссельдорф, и так как члены попечительного совета знали его как врага всякого рода пиетизма, они его очень охотно отпустили. Противоположность ему составляет другой учитель, который на вопрос ученика 4-го класса: «кто был Гете?» ответил — «безбожник».

Эльберфельдское реальное училище финансируется очень хорошо; оно может поэтому подбирать хороших учителей и организовать более полный курс. К сожалению, в нем господствует та ужасная система записывания в тетрадь, которая в полгода может превратить ученика в тупицу.

Кстати сказать, дирекция мало дает себя чувствовать: директор половину года бывает в отъезде и присутствие свое проявляет глубоко строгостью. С реальным училищем соединена промышленная

школы, в которой ученики полжизни ухлопывают на черчение. Из учителей следует отметить г-на д-ра Крузе. Он пробыл шесть недель в Англии и написал книжечку об английском произношении, которая отличается своей совершенною негодностью; ученики пользуются очень плохой репутацией и дали Дистервегу повод к жалобам на эльберфельдскую молодежь.

Гимназия в Эльберфельде находится в очень стесненных обстоятельствах, но признается одною из лучших в прусском государстве. Она составляет собственность реформатской общины, но мало страдает от ее мистицизма, так как проповедники ею не интересуются, а члены попечительного совета ничего не понимают в делах гимназии; но тем более ей приходится страдать от их скряжничества. Эти господа не имеют ни малейшего представления о всех преимуществах прусского гимназического образования, стараются предоставить все, средства и учеников, реальному училищу, и все-таки ставят гимназии в упрек, что она не может даже покрыть своих расходов платою за учение. Теперь идут переговоры о передаче гимназии правительству, которое этим очень заинтересовано; если бы передача не состоялась, гимназию пришлось бы через немного лет закрыть за недостатком средств. Выборы учителей находятся тоже в руках членов попечительного совета, людей, умеющих очень хорошо делать переносы счетов в главную книгу, но не имеющих никакого понятия о греческом, латыни или о математике. Главный их принцип выбора такой: лучше выбрать ледащего реформатора, чем дельного лютеранина или, что еще хуже, католика. Но так как среди прусских филологов гораздо больше лютеран, чем реформаторов, то они почти никогда не в состоянии следовать своему принципу.

Д-р Гантчке, королевский профессор и временный директор, родом из Лукау в Лаузице, пишет Цицероновской латынью в стихах и прозе, автор нескольких проповедей, педагогических статей и учебника еврейского языка. Он давно был бы постоянным директором, если бы не был лютеранином, а попечительный совет был бы менее скуп.

Д-р Эйхгоф, второй старший учитель, написал со своим младшим коллегой, д-ром Бельцем, латинскую грамматику, о которой, впрочем, в «Всеобщей литературной газете», издаваемой Ф. Газе, появилась не особенно благоприятная рецензия. Главная его специальность — греческий язык.

Д-р Клаузен, третий старший учитель, без сомнения, самый дельный человек во всей школе, опытный учитель во всех областях,

знаток истории и литературы. Его уроки полны редкого очарования; он единственный, кто умеет разбудить в учениках дух поэзии, который иначе должен был бы фатально зачахнуть среди филистеров Вуперталья. Как писатель, он выступил, насколько мне известно, только в диссертации на тему «Пиндар лирик», которая ему создала громкое имя среди гимназических учителей в Пруссии и за ее пределами. На книжный рынок она, конечно, не попала.

Эти три школы были основаны только в 1820 г.; раньше в Бармене и Эльберфельде имелось только по одной ректорской школе и множество частных школ, которые не могли давать достаточно образования. Остатки их влияния еще заметны на барменских купцах старшего поколения. Образование — ни следа; кто играет в вист и биллиард, умеет немного рассуждать на политические темы, сказать удачный комплимент, тот считается в Бармене и Эльберфельде образованным человеком. Ужасную жизнь ведут эти люди, и, однако, они ею очень довольны; днем они погружены в свои торговые счета с невероятной страстностью и интересом; вечером в определенный час все отправляются в общество, где проводят время за картами, болтают на политические темы, курят, чтобы ровно в девять возвращаться домой. Так проходят все дни, без перемен, и горе тому, кто им вздумает помешать; он может быть уверен в самой немилостивой немилости всех лучших домов. Отцы бодро берут в науку своих сыновей; последние подают все надежды пойти по стопам отцов. Предметы их беседы довольно однообразны: барменцы говорят все больше о лошадях, эльберфельдцы — о собаках; а когда разойдутся, начинают говорить о красивых женщинах, наконец говорят о делах, и это все. Раз в пятьдесят лет они говорят и о литературе, под которою они понимают Поль де-Кока, Марриэт, Тромлица, Нестроя и пр. В политике, как добрые пруссаки, — ибо они находятся под прусским владычеством, — они а priori решительно враждебны всякому либерализму, пока, конечно, его величеству угодно будет оставить им Кодекс Наполеона, ибо с ним исчез бы всякий патриотизм. Молодую Германию никто не знает в ее литературном значении; ее считают за тайный демагогический союз под председательством гг. Гейне, Гуцкова и Мундта. Некоторые из благородных юношей читали, пожалуй, кое-что из Гейне, может быть «Путевые картины», с пропуском стихотворений в них, или «Доносчика», но об остальных имеются лишь темные понятия со слов пасторов или чиновников. Фрейлиграт большинству знаком лично и слывет хорошим товарищем. Когда он приехал в Бармен, эти зеленые дворяне (так он называет многих купчиков) осаждали его

визитами; он очень скоро раскусил их и засел у себя дома, но они его преследовали, хвалили его стихотворения и его вино и всеми силами стремились к тому, чтобы выпить брудершафт с человеком, который что-то печатал, ибо поэт для этих людей ничто, но писатель — все. Постепенно Фрейлиграт прекратил всякие сношения с этими людьми и встречается теперь лишь с немногими, после того как Кестер покинул Бармен. Его хозяева вели себя постоянно по отношению к нему прилично и дружелюбно; что всего замечательнее, он чрезвычайно прилежный и аккуратный конторский работник. Было бы совершенно излишне говорить об его стихотворных достижениях, после того как Дингельштедт в «Литературном ежегоднике» и Каррьер в «Берлинских летописях» дали о нем такие подробные отзывы. Впрочем, они оба, мне кажется, недостаточно учли, как сильна у него, при всех его блужданиях по чужим краям, тяга к родине. На это указывают частые заимствования из немецких народных сказок, как, например, «Царица лягушек», «Снегурочка» и пр., которым посвящено целое стихотворение («В лесу»), подражания Уланду («Сокол», «Столяры»; одно из надгробных стихотворений также напоминает, к его выгоде, Уланда), затем «Выходцы» и, прежде всего, его несравненный «Принц Евгений». На эти редкие моменты нужно тем больше обращать внимание, чем больше Фрейлиграт уклоняется в противоположную сторону. Глубоко заглянуть в его настроение позволяет и «Поэт в изгнании», особенно отрывки, напечатанные в «Утренней газете»; здесь он уже чувствует, что не сможет акклиматизироваться на чужбине, вне сферы истинной германской поэзии.

В собственно вуппертальской литературе важнейшее место занимает журналистика. На первом месте стоит «Эльберфельдская газета», редактируемая д-ром Мартином Рункелем, завоевавшая себе под его умелым руководством значительное и вполне заслуженное имя. Он взял на себя редакцию, когда две газеты, «Всеобщая» и «Провинциальная», слились в одну; газета образовалась при не очень благоприятных предзнаменованиях; с конкуренцией выступила «Барменская газета», но Рункель, который организовал отдел «собственных корреспонденций» и давал хорошие руководящие статьи, постепенно превратил «Эльберфельдскую газету» в одну из первых газет прусского государства. Правда, в Эльберфельде, где руководящие статьи читаются лишь немногими, она встретила мало признания, тем больше зато в других местах, чему, впрочем, мог способствовать и упадок «Прусской государственной газеты». Беллетристическое приложение «Листок новостей» не поды-

мается выше обычного уровня. «Барменская газета», издатель, редакторы и цензоры которой часто менялись, состоит теперь под редакцией Г. Пюттмана, который временами выступает с рецензиями в вечернем выпуске. Он охотно улучшил бы газету, но вполне резонная скудость издателя связывает ему руки. Фельетон, заполненный несколькими его стихотворениями, рецензиями или извлечениями из более крупных статей, тоже вряд ли может помочь. Выпускаемый в качестве приложения «Вуппертальский круг чтения» питается почти исключительно «Европою» Левальда. Кроме того, выходят еще «Эльберфельдский ежедневный указатель» с «Иностранными известиями», «Деревенская газета», полная душещипательных стихотворений и плохих острот, и «Барменская еженедельная газета», старый ночной колпак, у которого из-под беллетристической львиной шкуры беспрестанно выглядывают пиетистские осливые уши.

Из прочей литературы проза ничего не стоит; если не считать теологических или, вернее, пиетистских статей, нескольких книжц по истории Бармена и Эльберфельда, написанных очень поверхностно, то ничего не остается. Но поэзия имеет большой успех в «благословенной долине», и изрядное число поэтов избрало там себе резиденцию.

Вильгельм Лангвише, книготорговец в Бармене и Изерлоне, пишет под именем В. Некто; главное его сочинение — дидактическая трагедия «Вечный жид», которая, правда, уступает обработке того же сюжета Мовеном. Он, как издатель, — самый крупный в ряду своих вуппертальских коллег, что, впрочем, совсем не трудно, ибо двое из них, Хагель в Эльберфельде и Штейнгауз в Бармене, издают только пиетизм настоящей марки. В его доме живет Фрейлиграт.

Карл-Август Деринг, проповедник в Эльберфельде, — автор массы прозаических и поэтических сочинений; к ним приложимы слова Платена: «Они — бурлящих вод поток, который переплыть нельзя».

Он делит свои стихи на духовные песни, оды и лирические стихотворения. Часто в середине стихотворения он уже забывает, с чего начал, и попадает бог знает куда: с островов Тихого океана с их миссионерами он попадает в ад и от вздохов раздираемых душ спасается на северный полюс.

Лит, заведующий женскою школою в Эльберфельде, — автор стихов для детей; большинство их написано в устаревшем уже стиле и не может выдержать сравнения с стихами Рюккerta, Гюлля и Гея, но среди них попадаются и отдельные милые вещицы.

Фридрих-Людвиг Вюльффлинг — безусловно величайший поэт Вупперталя, барменец по рождению, человек, которому нельзя отказать в гениальности. Долговязый субъект, в возрасте этак сорока пяти лет, в длинном коричнево-красном сюртуке, который лишь вдвое моложе своего обладателя, с неопишуемой головою на плечах, увенчанной зеленою шапочкой, с золотыми очками на носу, с цветком во рту, в руке пуговица, которую он только что отвертел от сюртука, — таков наш барменский Гораций. Изо дня в день он прохаживается на Гартберге в ожидании, не посетит ли его новая рифма или новая возлюбленная. До тридцатилетнего возраста сей трудолюбивый муж воздавал почести Афине-Палладе, а затем попал в руки Афродиты, подарившей его последовательно девятью Дульцинеями; это были его девять муз. Не говорите мне о Гете, с его поэтизацией всего окружающего, или о Петрарке, возводившем в сонет каждый взгляд, каждое слово возлюбленной, — им далеко до Вюльффлинга. Кто сочтет песчинки под стопой возлюбленной? Се сотворит великий Вюльффлинг. Кто воспоеет забрызганные на болотистом лугу чулки Минхен, этой Клио из сонма девяти муз? Только Вюльффлинг. Его эпиграммы — шедевры оригинальнейшей народной грубости. Когда умерла первая его жена, он написал извещение о смерти, тронувшее до слез всех горничных, и еще гораздо более прекрасную элегию «Вильгельмина, прелестнейшее имя!» Через шесть недель он был уже опять обручен, и теперь у него уже третья жена. У этого изобретательного мужа каждый день новые планы. В пору полного своего поэтического расцвета он собирается стать то пуговичником, то сельским хозяином, то бумаготорговцем; в конце концов, он очутился в гавани свечного производства, чтобы каким-нибудь образом возжечь свой светильник. Писания его аки песок на берегу морском.

Монтанус Эремит (горный отшельник), золингенский аноним, как приятель по соседству, должен быть отнесен сюда же. Это поэтичнейший историограф горной области; его стихи не столько нелепы, сколько скучны и прозаичны.

Сюда же относится Иоганн Поль, пастор в Ганфельде, близ Изерлона, написавший томик стихов.

Бог нам дает королей, а также и миссионеров;
Но лишь от смертных прийти в мир может Гете-поэт.

По этому примеру вы можете судить о духе, которым проникнута вся книга. Но и он не лишен остроумия, ибо говорит: «Поэты — светильники, а философы — прислужники истины!» И

сколько фантазии в начальных строках его баллады «Атилла у Марны»:

Режущий, как меч и камень, на поток лавин похожий, —
Сквозь развалины и пламя мчится в Галлию бич божий.

Он писал и псалмы — вернее, комбинировал отрывки из Давида. Он воспел спор между Гильзманом и Зандером, и чрезвычайно оригинально — в эпиграммах. Это его шедевр. Основная мысль заключается в том, что рационалисты осмелились

... поносить божество, отрицая, что бог свят.

Ни Фосс, ни Шлегель никогда не заканчивали гексаметра таким великолепным спондеем. Он умеет еще лучше подразделять свои стихи, чем Деринг. Он делит их на «духовные песнопения» и «смешанные стихи».

Ф.-В. Круг, кандидат теологии, автор поэтических первенцев или прозаических реликвий, переводчик нескольких голландских и французских проповедей, написал также трогательную повесть во вкусе Штиллинга, в которой, между прочим, приводит новое доказательство истинности Моисеевой космогонии. Божественная книга!

В заключение я должен упомянуть еще об одном талантливом молодом человеке, возымевшем идею быть, подобно Фрейлиграту, одновременно купеческим приказчиком и поэтом. Вскоре, вероятно, немецкая литература обогатится несколькими его повестями, которые будут не из последних; единственные недостатки, которые можно им поставить в укор, это избитость фабулы, нагроможденность действия и небрежный стиль. Я охотно привел бы какую-нибудь в извлечении, если бы это позволило благоприличию; но, быть может, вскоре какой-нибудь книгоиздатель сжалится над великим Д. и выпустит его повести (я не смею назвать полного имени, чтобы его ущемленная скромность не побудила его вчинить мне иск за оскорбление). Он также хочет быть близким другом Фрейлиграта.

Вот и все, кажется, литературные явления славной долины. К ним, быть может, следовало бы присоединить еще несколько вином вдохновенных гениев, которые по временам упражняются в рифмах и которые я бы очень рекомендовал д-ру Дуллери в качестве портретов для нового романа. Вся страна наводнена пиетизмом и филистерством, но над ней возвышаются не прекрасные, покрытые цветами острова, а бесплодные голые утесы или длинные мели, среди которых блуждает Фрейлиграт, как потерпевший крушение моряк.

III.

ИЗ ЭЛЬБЕРФЕЛЬДА.

С некоторого времени раздаются жалобы, горькие жалобы на безотрадную силу скептицизма; с сокрушением смотрят на разрушенное здание старой веры, в робкой надежде, что распогодится покрытое тучами небо будущего. С подобным же грустным чувством я выпускаю из рук «Песни отошедшего друга»; это песни мертвого, настоящего вуппертальского христианина, напоминающие ту блаженную пору, когда можно было еще питать детскую веру в учение, в котором сейчас видишь бездну противоречий, когда юное сердце пылало против религиозного свободомыслия святым негодованием, вызывающим теперь улыбку или краску стыда. Уже самое место, где напечатана книжка, показывает, что нельзя подходить к этим стихам с обычным мерилом, что здесь не найдешь ослепительных мыслей, неудержимого порыва свободного духа. Было бы даже несправедливо требовать чего-нибудь иного, кроме цветов пиетизма. Единственный верный масштаб, приложимый к этим стихам, дан уже прежней вуппертальской литературой, которую я достаточно раскритиковал, чтобы позволить себе на этот раз другой подход к одному из ее созданий. И нельзя отрицать, что в этой книге обнаруживается некоторый прогресс. Стихи, написанные, повидимому, мирянином, хотя и не лишенным образования, по меньшей мере не уступают по содержанию стихам проповедников Деринга и Поля; иногда даже чувствуется легкое дуновение романтики, насколько она совместима с кальвинистическим учением. Что касается формы, то эти стихи бесспорно наилучшие из того, что до сих пор дал Вупперталь; часто попадаются не лишние изящества новые или редкие рифмы; автор возвысился даже до двустишия и свободной оды; эти формы оказались для него, однако, слишком высокими. Влияние Круммахера несомненно; везде использованы его обороты речи и сравнения; но когда поэт говорит:

Пилигрим: Овечка бедная Христова стада,
В красу Христа тебе облечься надо,
А ты, овечка, так скромна!

Овечка: Я здесь лишь миг живу, страдая,
И вознесусь в пределы рая;
Умолкни, путник, стань барашком,
Врата узки: иди, согнувшись,
Молчи, молись и стань барашком.

то это уж не подражание Круммахеру, а он сам собственной персоной! Зато попадают в этих стихотворениях отдельные места, которые подкупают читателя искренностью чувства, — но, увы, никак нельзя забыть, что это чувство, в большинстве случаев, болезненное! Но и здесь сказывается, как много утешения и поддержки, при всех своих печальных крайностях, дает религия, когда проникает в душу человека.

Дорогой читатель, прости, что я занял твое внимание книгой, которая может представлять для тебя лишь бесконечно малый интерес; ты не родился в Вуппертале, ты никогда, быть может, не подымался на его горы и не видел у своих ног оба града, но и ты имеешь родину и, быть может, излив свой гнев против ее уродливостей, с такою же любовью, как и я, возвращаешься даже к незначительным ее проявлениям.

IV.

ГОСПОДИНУ Д-РУ РУНКЕЛЮ В ЭЛЬБЕРФЕЛЬДЕ.¹

Эльберфельд, 6 мая.

Вы с ожесточением напали на меня и на мои письма из Вуппертала в вашей газете; вы обвиняли меня в умышленных извращениях фактов, в незнании отношений, в том, что я нападаю на личности и даже говорю неправду. То, что вы называете меня младогерманцем, для меня безразлично, потому что я не признаю основательными тех обвинений, которые вы возводите на Молодую Германию, и не имею чести принадлежать к ней. До сих пор я только уважал вас как писателя и публициста и выразил этот взгляд во второй статье, причем я с намерением умолчал о ваших стихотворениях в «Рейнском Одеоне», потому что я не мог хвалить их. В умышленном извращении фактов можно обвинять всякого, и это обыкновенно делают в тех случаях, когда изложение не соответствует предвзятым мнениям читателя. Почему же вы не изобличили меня в извращении хотя бы одного факта? Что касается незнания отношений, то я всего менее ожидал бы этого упрека, если бы я не знал, насколько общеупотребительным риторическим оборотом стала эта бессодержательная фраза при отсутствии более удовлетворительных аргументов. Я прожил в Вуппертале, быть может, в два раза дольше, чем вы; я жил в Эльберфельде и в Бармене в условиях в высшей степени благоприятных для того, чтобы тщательно наблюдать жизнь всех сословий. Господин Рункель, у меня нет никаких притязаний на гениальность, в которых вы меня обвиняете, но в самом деле нужно было бы быть чрезвычайно глупым, чтобы не выяснить отношений

¹ Мы нашли вчера эту статью на нашей квартире, не зная, кем она прислана. Мы печатаем ее дословно, так как охотно соблюдаем *беспристрастие*, но с своей стороны, замечаем, что мы будем отставать детали *наших* общих утверждений лишь в том случае, если вуппертальский корреспондент *назовет* себя, как сделали мы.

при таких условиях, особенно при старании сделать это. Личные нападки? Проповедник, учитель так же является общественным деятелем, как и писатель, и не назовете же вы описания его публичных выступлений личными нападками? Где я говорил о личных делах, да еще о таких, упоминание о которых требовало бы от меня, чтобы я назвал свое имя? Где я высмеивал личные дела? Что же касается приписываемых мне неверных утверждений, то, хотя я хотел бы избежать всяких пререканий и даже всякой сенсации, я вынужден потребовать от вас, чтобы не компрометировать ни «Телеграфа», ни моей анонимной чести, чтобы вы указали хотя бы на одно из «многих неверных утверждений». По правде сказать, там в самом деле есть два неверных утверждения: переделка стихов Штира воспроизведена не дословно и относительно путешествий господина Эгена дело обстоит не так плохо. Но будьте же так любезны, укажите третье неверное утверждение! Затем, говорите вы, я не отметил ни одной светлой стороны, говоря об этих местностях. Это верно; в частности я всюду признавал хорошее, но в общем я не мог найти ни одного сплошь светлого явления; изображения таких светлых явлений я также жду от вас. Затем я не говорил, что красный Вуппер вновь светлеет у Бармена. Ведь это бессмыслица: разве Вуппер течет в гору? В заключение прошу вас судить лишь по прочтении целого и впредь цитировать Данте дословно или вовсе не цитировать его; он говорит не «qui si entra nell'eterno dolore», а «per me si va nello eterno dolore» («Inferno» III, 2).

Автор писем из Вупперталя.

НЕМЕЦКИЕ НАРОДНЫЕ КНИГИ.

Не является ли большою честью для книги, если она — народная книга, немецкая народная книга? Однако именно поэтому мы в праве желать большего от подобной книги, именно поэтому она должна удовлетворять всем разумным требованиям и быть во всех отношениях неуязвимой.

Народная книга имеет своей задачей развлечь крестьянина, когда, утомленный, он возвращается вечером со своей тяжелой дневной работы, позабавить его, оживить, заставить его забыть свой тягостный труд, превратить его каменистое поле в благоухающий сад; она имеет своей задачей обратить мастерскую ремесленника и жалкий чердак замученного подмастерья в мир поэзии, в золотой дворец, а его ядреную красотку представить в виде дивно-прекрасной принцессы; но она имеет также задачей, наряду с Библией, прояснить его нравственное чувство, заставить его осознать свою силу, свое право, свою свободу, пробудить его мужество, его любовь к отечеству.

Следовательно, если требования, которые можно по справедливости предъявлять вообще к народной книге, заключаются в богатом поэтическом содержании, крепком словце, нравственной чистоте, а к немецкой народной книге еще в здоровом, честном *немецком духе*, т. е. в качествах, которые во все времена остаются одинаковыми, то мы, кроме того, в праве требовать, чтобы народная книга отвечала своему времени, иначе она перестает быть народной книгой. В частности, если обратить внимание на наше время, на характеризующую его борьбу за свободу, на развивающийся конституционализм, на сопротивление гнету аристократии, на борьбу мысли с пиэтизмом, ясности духа с остатками угрюмого аскетизма, то я не вижу, почему мы не в праве были бы требовать от народной книги, чтобы она в этом отношении оказывала содействие малообразованным кругам, показывала им, хотя, конечно, и не путем непосредственной дедукции, истинность и разумность этих стремлений, — но ни в коем случае не потворствовала бы лицемерию,

подхалимничанью перед знатью, пиэтизму. Само собою разумеется, однако, что народной книге должны остаться чужды обычаи прежних времен, являющиеся в нашу эпоху бессмыслицей или несправедливостью.

Мы в праве и обязаны рассматривать, согласно этим принципам, и те книги, которые являются теперь действительно немецкими народными книгами и обыкновенно объединяются под этим названием. Они — продукты отчасти средневековой немецкой или романской поэзии, отчасти народного суеверия. Прежде они служили для высших сословий предметом презрения и насмешек, потом, как известно, романтики разыскали их, переработали, прославили. Но романтики интересовались только поэтическим содержанием этих вещей; насколько они были неспособны понять их значение, как просто народных книг, показывает Геррес в своем сочинении, посвященном этому предмету. Относительно Герреса мы еще совсем недавно могли убедиться, что он вообще черпает свои суждения из *поэтической фантазии*. Но до сих пор обычное мнение об этих книгах основывается на его книге, и еще Марбах ссылается на нее в объявлении о своем издании. В связи с троекратной новой переработкой этих книг — Марбахом в прозе, Зимроком в прозе и стихах, — из которых две предназначаются опять-таки для народа, возникает потребность еще раз точно проверить предметы этих переработок с точки зрения их значения для народа.

Пока поэзия средневековья оценивается так различно, суждение о поэтических достоинствах этих книг должно быть предоставлено каждому субъекту; но никто не станет отрицать, конечно, что они действительно по-настоящему поэтичны. Поэтому, если они и не добьются признания в качестве народных книг, то во всей своей силе должна остаться их поэтическая ценность; может быть, даже иной поэт, согласно словам Шиллера —

Для того, что в песне вечно,
В жизни гибель суждена —

найдет лишний повод сохранить для поэзии путем переработки то, что оказывается непригодным для народа.

Между повествованиями германского и романского происхождения наблюдается очень характерное различие: германские подлинные народные саги выставляют на первый план в качестве активно действующего лица мужчину; романские изображают женщину или прямо как терпящую страдания (Геновева), или как любящую, следовательно, тоже как пассивную по отношению к страсти.

Исключением являются только две романские саги: «Дети Гемона» и «Фортунат», между тем как «Октавиан», «Мелюзина» и т. д. являются продуктом придворной поэзии и лишь впоследствии распространились в народе в прозаической переработке. Из комических вещей тоже только одна не прямо немецкого происхождения: «Соломон и Морольф», между тем как «Эйленшпигель», «Шильдбургеры» и т. д., бесспорно, являются нашими.

Если мы станем рассматривать все эти книги в целом, согласно высказанным в начале принципам, то ясно, что они одной лишь стороной удовлетворяют этим требованиям: в них достаточно поэзии и остроумия, к тому же в форме, вполне доступной самым необразованным людям; но другой своей стороной книги в целом не могут удовлетворять нас: некоторые обнаруживают свойства, противоречащие нашим требованиям, другие удовлетворяют им только отчасти. Будучи продуктами средневековья, они, конечно, не могут удовлетворять тем особенным требованиям, которые в праве ставить им наше время. Несмотря на внешнее богатство этой области литературы и несмотря на декламации Тика и Герреса, они оставляют желать еще очень многого; будет ли когда-нибудь заполнен этот пробел — это другой вопрос, на который я не берусь отвечать.

Переходя теперь к отдельным вещам, можно сказать, что, бесспорно, важнейшая, это — «История о неуязвимом Зигфриде». Эта книга мне нравится, это — рассказ, оставляющий желать немногого; он полон роскошнейшей поэзии, соединенной то с величайшей наивностью, то с прекраснейшим юмористическим пафосом; книга брызжет остроумием — кто не знает забавного эпизода о борьбе двух трусов? В рассказе много характера, дерзкого, юношески-свежего настроения, которое может послужить образцом для любого странствующего ремесленного подмастерья, хотя ему и не приходится теперь бороться с драконами и великанами. И если бы устранить только опечатки, которых особенно много в лежащем передо мною (кельнском) издании, и расставить правильно знаки препинания, то переработки Шваба и Марбаха должны отступить совершенно на задний план перед этим образчиком настоящего народного стиля. Но и народ, с своей стороны, оказался благодарным: ни одну из народных книг я не встречал так часто, как эту.

«Герцог Генрих Лев». — Мне, к сожалению, не удалось раздобыть старого экземпляра этой книги; повидимому, новое, напечатанное в Эйббеке, издание совершенно вытеснило старое. В начале помещена генеалогия брауншвейгского дома, простирающаяся до 1735 г., затем следует биография герцога Генриха, согласно истории, а по-

том народное сказание. К этому прибавлен еще рассказ, повеству-
ющий о Готфриде Бульонском то же самое, что народное сказание
приписывает Генриху Льву, история о рабе Андронике, которая
приписывается палестинскому аббату Герасими и, под конец, зна-
чительно изменена, и одно стихотворение новейшей романтической
школы, автора которого я не могу припомнить и в котором снова
рассказывается сказание о Льве. Благодаря этому сказание, ле-
жащее в основе народной книги, исчезает совершенно под всякими
придатками, которыми снабдила ее щедрость мудрого издателя.
Сказание само прекрасно, остальное же неинтересно,— что за дело
швабам до брауншвейгской истории? И какой смысл давать совре-
менную многословную балладу после простого стиля народной
книжки? Но и стиль этот исчез; гениальный автор переработки,
которым, на мой взгляд, был какой-нибудь священник или школь-
ный учитель конца прошлого века, пишет следующим образом:
«Так цель путешествия была достигнута, Святая Земля лежала
перед глазами, можно было ступить на почву, с которой связаны
самые значительные воспоминания религиозной истории. Благоче-
стивое простодушие, взиравшее сюда с вожделием, перешло здесь
в жаркую молитвенность, нашло здесь полное удовлетворение и
стало живейшей радостью в Господе». Пусть восстановят древний
язык сказания, пусть прибавят к ней, чтобы составить книгу, дру-
гие подлинные народные сказания и распространят их таким
образом в народе, тогда она сохранит поэтический дух; но в таком
виде она недостойна того, чтобы обращаться в народе.

«Герцог Эрнст». — Автор этой книги не был особенно крупным
поэтом: все поэтические элементы он нашел в восточной сказке. Но
книга хорошо написана, представляя занимательное чтение для
народа; однако это и все. Так как ни один человек не поверит уже
в действительность встречающихся в ней фантастических фигур,
то ее можно оставить без изменений в руках народа.

Я перехожу теперь к двум сагам, созданным немецким народом
и принадлежащим к самым глубоким творениям народной поэзии
всех народов. Я имею в виду сказание о «Фаусте» и о «Вечном жиде».
Они неисчерпаемы: каждая эпоха может, не изменяя их существа,
усвоить их себе; и если переработки сказания о Фаусте после Гете
то же самое, что Илиады *post Homerum*, то в них все же открываются
каждый раз новые стороны, не говоря уже вовсе о важности сказания
об Агасфере для новейшей поэзии. Но в каком виде находятся эти
саги в народных книгах! Они представлены там не как произве-
дения свободной фантазии, нет, а как творения рабского суеверия:

книга о вечном жиде предполагает даже религиозную веру в содержание ее, которую она пытается оправдать Библией и рядом нелепых легенд; от сказания в ней осталась лишь самая внешняя часть, вато она содержит в себе длиннейшее скучное христианское назидание о жиде Агасфере. Сказание о Фаусте низведено до уровня банальной истории о ведьмах, прикрашенной ординарными анекдотами о волшебстве; даже та крупица поэзии, которая сохранилась в народной комедии, почти совершенно исчезла. Обе эти книги не только неспособны доставить поэтическое наслаждение, но в теперешнем своем виде могут лишь снова укрепить старое суеверие, ибо чего другого можно ожидать от подобной чертовщины? Понимание сказания и ее содержания, повидимому, исчезло совершенно и в народе. Фауст рассматривается как обыкновенный колдун, а Агасфер — как величайший злодей после Иуды Искариота. Но разве невозможно было бы спасти оба сказания для немецкого народа, восстановить их в их первоначальной чистоте и изложить так ясно, что их глубокий смысл будет в известной мере понятен и менее образованным людям? Марбах и Зимрок еще не добрались до переработки этих саг; пожелаем им в этом деле руководствоваться мудрой критикой!

Перед нами лежит другой ряд народных книг шутливого рода: «Эйленшпигель», «Соломон и Морольф», «Поп с Каленберга», «Семь швабов», «Шильдбюргеры». У немногих народов можно встретить такую коллекцию. Это остроумие, эта естественность замысла и исполнения, добродушный юмор, сопровождающий всегда едкую насмешку, чтобы она не стала слишком злой, поразительная комичность положений — все это, по правде сказать, способно заткнуть за пояс значительную часть нашей литературы. У какого из современных авторов хватило бы выдумки, чтобы создать такую книгу, как «Шильдбюргеры»? Сколь прозаическим кажется юмор Мундта, когда сравниваешь его с «Семью швабами»! Конечно, для создания подобных вещей необходима была эпоха, более спокойная, чем наше время, похожее в этом на беспокойного делового человека, который всегда ссылается на неотложные дела, мешающие ему подумать о чем-нибудь другом. Что касается формы этих книг, то, если выкинуть из них пару-другую неудачных острот и почистить обезображенный стиль, то в них придется изменить немного. Относительно «Эйленшпигеля» следует заметить, что некоторые издания его, помеченные прусским цензурным штемпелем, не совсем полны; в самом начале не хватает одной крепкой остроты, для которой у Марбаха имеется отличная гравюра.

Резко отличаются от этих произведений истории о «Геновеве»,

«Гризельдис» и «Гирлянде», три книги романского происхождения, имеющие все героинями страдающих женщин; они характеризуют, и притом очень поэтическим образом, отношение средневековья к религии — только «Геновева» и «Гирлянда» точно сделаны совершенно по одной колодке. Но, ради бога, какое теперь дело немецкому народу до этого? Можно, конечно, представить себе под «Гризельдис» немецкий народ, а под маркграфом — князей, но в таком случае комедия должна была бы иметь совсем иной конец, чем в народной книге: пришлось бы с обеих сторон извиняться за сравнение, и обе стороны были бы при этом правы. Чтобы представить себе «Гризельдис» попрежнему в виде народной книги, я должен вообразить ее себе как петицию к высокому германскому союзному собранию об эмансипации женщин. Но известно, как были встречены четыре года назад подобные романические петиции, и я удивляюсь поэтому, что Марбах не был зачислен задним числом в ряды Молодой Германии. Народ достаточно долго играл роли Гризельдис и Геновевы; пусть он теперь сыграет хоть раз Зигфрида и Рейнальда; но разве можно научить его этому, расхваливая эти старые истории, проповедующие смирение?

Книга об императоре Октавиане своей первой половиной принадлежит к этому же классу, примыкая второй половиной к собственно любовным историям. История Елены — лишь подражание «Октавиану», а, может быть, обе вещи — различные варианты одной и той же саги. «Октавиан» — отличная народная книга, которую можно сравнить только с «Зигфридом»; характеристика Флоренса, как и его приемного отца Клеменса и Клавдия, отлична, и Тикку здесь раздолбе; но разве не проходит повсюду красной нитью мысль, что дворянская кровь лучше бюргерской крови? И разве мы не встречаем часто этой мысли еще в народе? Если нельзя вытравить этой идеи из «Октавиана», — а я считаю это невозможным, — если подумать, что сперва она должна быть удалена там, где должна возникнуть конституционная жизнь, то как бы ни была поэтична книга, *senseo Carthaginem esse delendam*.

Вышеназванным трем слезливым историям страданий и терпения противостоят три других, прославляющих любовь. Это — «Магелона», «Мелюзина» и «Тристан». В качестве народной книги мне больше всего нравится «Магелона»; «Мелюзина» опять-таки полна абсурдных нелепостей и сказочных преувеличений, так что в этом можно было бы видеть своего рода дон-кихотиаду, и я опять-таки спрашиваю: какое до этого дело немецкому народу? А история «Тристана и Изольды», — я не буду касаться ее поэтического

значения, ибо я люблю великолепную переработку Готфрида Страсбургского, хотя в повествовании найдутся там и сям кое-какие недостатки, — но существует ли книга, которую бы менее можно было рекомендовать для чтения народу, чем именно эта книга? Правда, здесь снова трактуется современный вопрос — вопрос об эмансипации женщин; искусный поэт, при переработке «Тристана», не мог бы теперь обойти этой проблемы, отчего, впрочем, его изложение не стало бы манерным, скучным, тенденциозным. Но в народной книге, где нет вовсе речи об этом вопросе, весь рассказ сводится к оправданию нарушения супружеской верности, и оставлять это так в руках народа рискованно. Но книга почти совершенно исчезла из обращения, и лишь с большим трудом можно раздобыть экземпляр ее.

«Дети Гемона» и «Фортунат», где мы снова видим в центре действия мужчину, представляют опять-таки настоящие народные книги. В «Фортунате» нас привлекает веселый юмор, с которым сын Фортуната переживает все свои приключения; в «Детях Гемона» — дерзкая самонадеянность, неукротимый дух оппозиции, который с юношеской силой противостоит абсолютному, тираническому могуществу Карла Великого и не боится мстить собственноручно, даже на глазах государя, за испытанное оскорбление. В народных книгах должен царить подобный юношеский дух, из-за него можно не обращать внимания на многие недостатки. Но где найти его в «Гризельдис» и родственных ей вещах?

А теперь, под конец, самые замечательные вещи: гениальный столетний календарь, сверхмудрый сонник, никогда не обманывающее колесо счастья и тому подобные бессмысленные порождения пагубного суеверия. Всякий, заглянувший хоть раз в книгу Герреса, знает, какими жалкими софизмами он оправдывал всю эту чепуху. Все эти ничтожные книги прусская цензура украсила своим штемпелем. Правда, они ни революционны, как письма Берне, ни безнравственны, как говорят о Валли. Мы видим, как ложны обвинения, будто прусская цензура исключительно строга. Я, конечно, не потрачу ни слова на рассуждения о том, должна ли подобная чепуха распространяться в народе.

О прочих народных книгах нечего сказать: истории о Понтусе Фнерабрасе и т. п. уже давно забыты и, следовательно, не заслуживают больше этого имени. Но мне кажется, что уже в этих немногих указаниях я отметил, как недостаточна эта литература, если рассматривать ее с точки зрения интересов народа, а не интересов по-

Telegraph

für

Deutschland.

1839.

December.

№ 202.

Karl Beck.

Von Friedrich Oswald.

Ein Sultan bin ich wild und sturmbewegt.
Mein Heer des Lieds gepanzerte Gefalten;
Um meine Stirne hat der Gram gelegt
Den Turban in geheimnißreiche Falten —

Mit diesen schwülstigen Worten trat Herr Beck, Einlaß begehrend, an die Reihen der deutschen Dichter; im Auge das stolze Bewußtseyn seines Berufs, um den Mund einen welttschmerzlichen modernen Zug. So streckte er die Hand nach dem Vorbeer aus. Zwei Jahre sind seitdem vergangen; bedeckt der Vorbeer versöhnend die „geheimnißvollen Falten“ seiner Stirn?

Es lag in seiner ersten Gedichtsammlung eine große Kühnheit. „Gepanzerte Lieder,“ eine „neue Bibel,“ ein „junges Palästina,“ — der zwanzigjährige Dichter sprang aus Prima gleich in den dritten Himmel! Das war ein Feuer, wie es lange nicht loderte, ein Feuer, das stark rauchte, weil es von alljugrünem frischem Holze kam.

Die junge Literatur entwidelte sich so rasch und glänzend, daß ihre Gegner einsahen, wie man durch hochmüthiges Desavouiren oder Aburtheilen mehr verlieren als gewinnen müsse. Es war hohe Zeit, sie genauer zu betrachten und ihre wirklichen Schwächen anzugreifen. Damit war denn die junge Literatur freilich als ebenbürtig anerkannt. Und man fand dieser schwachen Seiten — ob wirkliche oder scheinbare, geht uns hier

эзии. Она нуждается в переработках со строгим выбором, которые бы не отклонялись без необходимости от старинного способа выражения и которые следовало бы распространять среди народа в хороших изданиях. Уничтожить силой те из этих книг, которые не выдерживают требований критики, было бы нелегко и неблагоразумно; только для тех, которые действительно содержат в себе суеверия, можно прибегнуть к цензурному штемпелю. Прочие исчезают сами собой: «Гризельдис» можно найти лишь редко, а «Тристана» почти совсем не встретить. В некоторых местностях невозможно найти ни одного экземпляра, как, например, в Вуппертале; в других, как, например, в Кельне, Бремене и т. д., почти каждый лавочник выставляет в окна экземпляры для приезжающих крестьян.

Но, может быть, немецкий народ, может быть, лучшие из этих книг все же заслуживают разумной переработки? Конечно, не всякий способен на это; я знаю только двух авторов, обладающих достаточной критической проницательностью и вкусом при выборе и умением пользоваться старинной речью — это братья Гримм; но найдется ли у них охота и время для этой работы? Переработка Марбаха совершенно не годится для народа. Да и на что тут рассчитывать, если он сразу начинает с «Гризельдис»? Он не только лишен всякого критического чутья, он дозволил себе даже пропуски, которые совсем не были нужны; к тому же у него совершенно тусклый и бесцветный язык — достаточно сравнить народную книгу о «Неуязвимом Зигфриде» или какую-нибудь другую с его переработкой. У него встречаешь только изуродованные предложения, какие-то странные расстановки слов, для которых не было другого повода, кроме желанія господина Марбаха, за отсутствием самостоятельности иного рода, казаться самостоятельным хоть здесь. Что, например, побудило его изменить прекраснейшіе места в народной книге и снабдить их своими ненужными знаками препинания? Кто не знает народной книги, для того рассказы Марбаха очень хороши, но достаточно сравнения обеих, чтобы убедиться, что вся заслуга Марбаха сводится к исправлению опечаток. Его гравюры весьма различного достоинства. Переработка Зимрока не подвинулась еще настолько вперед, чтобы можно было высказать о ней суждение; но я гораздо больше доверяю Зимроку, чем его сопернику. Гравюры его тоже вообще лучше, чем марбаховскіе.

Эти старые народные книги, с их старинной речью, с их опечатками и плохими гравюрами, обладают для меня исключительной поэтической прелестью. Они меня уносят из нашего взвинченного

времени, с его современными «состояниями, сумбуром и тонкими взаимоотношениями», в другой мир, который гораздо ближе к природе. Но об этом здесь не может быть речи. Правда, главный аргумент Тика заключался в этой поэтической прелести, но что значит авторитет Тика, Герреса и всех прочих романтиков, когда разум говорит против него и когда дело идет о немецком народе?

КАРЛ БЕК.

Я — дикий, необузданный султан,
Грозна моих железных песен сила;
Мне вокруг чела страданье положило
С таинственными складками тюрбан.

С такими высокопарными словами г. Бек вступил в разряд немецких поэтов. Во взоре — гордое чувство своего призвания; вокруг уст — современная складка мировой скорби, — так протянул он руку за лавровым венком. С тех пор прошло два года; покрыл ли примиряюще венюк «таинственные складки» на его челе?

Первый сборник его стихов был проникнут большою отвагой. «Железные песни», «Новая библия», «Юная Палестина» — двадцатилетний поэт со школьной скамьи устремился прямо в небо. В стихах его был разлит давно невиданный огонь; правда, огонь этот сильно дымил, он шел от совершенно зеленого, свежего дерева.

Молодая литература развилась чрезвычайно быстро и блестяще, и противники ее поняли, что высокомерным непризнанием или осуждением с кондачка можно больше потерять, чем выиграть. Приходилось внимательнее присмотреться к ней и указать ее действительно слабые места. Но тем самым признавалось право молодой литературы на существование. Скоро было найдено изрядное число таких слабых сторон, — действительных или кажущихся — это для нас здесь безразлично; но громче всего утверждали, что бывшая Молодая Германия хочет уничтожить лирику. Действительно, Гейне сражался с швабами; Винбарг едко критиковал обыденность лирики и ее вечно повторяющиеся перепевы; Мундт отвергал всякую лирику за ее несвоевременность и пророчил пришествие литературного Мессии прозы; это было уже чересчур. Мы, немцы, искони гордились своими песнями; если французы хвалились своею самостоятельно завоеванною хартией и осмеивали нашу цензуру, мы гордо указывали на философию от Канта до Гегеля и на ряд певцов, начиная с «Песни о Людвиге» и вплоть до Николая Ленау.

Неужели эта сокровищница лирики должна была теперь для нас погибнуть? И вот появляется лирика «молодой литературы» с Францем Дингельштедтом, Эрнстом фон-дер-Гайде, Теодором Крейценом и Карлом Беком.

Незадолго до стихотворений Фрейлиграта появились «Ночи» Бека. Известно, какое внимание обратили на себя оба эти сборника стихов. Появилось два юных лирика, рядом с которыми нельзя было тогда поставить никого из «молодых». В «Элегантной газете» Кюне со свойственной его «Характерам» манерой провел параллель между Бекем и Фрейлигратам. К его критике я хотел бы применить слова Винбарга, сказанные последним по поводу Г. Пфизера.

«Ночи», это — хаос. Все пестро и беспорядочно перепутано. Картины часто смелые, словно редкие формации скал; зародыши грядущей жизни, утопленные в море фраз; там и сям начинает расти цветок, оседает материк, образуется кристаллический слой. Но во всем еще царит сумятица и беспорядок. Слова, которыми Бек хочет охарактеризовать Берне, подходят скорее всего к нему самому:

Как образы, блистая, дико мчатся
В разгневанном, горячечном мозгу.

Образ, даваемый нам Бекем в первом его опыте о Берне, совершенно искажен и неверен; при этом нельзя упускать из виду влияние Кюне. Независимо от того, что никогда в жизни Берне не говорил бы такими фразами, он не знал также всей этой отчаянной мировой скорби, которую ему приписывает Бек. Неужели это светлый Берне, сильный, несокрушимый характер, любовь которого грела, но не сжигала, и менее всего его самого? Нет, это не Берне, это лишь неясный идеал современного поэта, сотканный из гейневского кокетства и мундтовской риторики, идеал, от осуществления которого упаси нас, боже. В мозгу Берне никогда «образы, блистая, дико не мчались», он не проклинал небо «с вздыбленными кудрями»; в сердце его никогда не ударяла полночь, но всегда утренний час, небо его не было кроваво-красное, а всегда голубое. К счастью, Берне не был так безмерно полон отчаяния, чтобы он мог написать «Осьмнадцатую ночь». Если бы Бек не болтал так много о крови, которую пьет его Берне, я подумал бы, что он не читал «Французоеда». Пусть Бек возьмет самую скорбную страницу из «Французоеда», и она окажется светлым днем по сравнению с его аффектированным «бурноночным» отчаянием. Разве Берне недостаточно поэтичен сам по себе, и его нужно еще нашпиговать этой новомодной мировой скорбью? Новомодную, говорю я, ибо никогда

не поверю, чтобы это было свойственно настоящей *современной* поэзии. Ведь в том-то и заключается величие Берне, что он был головою выше жалкой риторики и мелких лозунгов наших дней.

Еще раньше, чем могло сложиться законченное суждение о его «Ночах», Бек уже выступил с новым рядом стихотворений; «Странствующий поэт» показал нам его с другой стороны. Буря развеялась, хаос начал приходить в порядок. Нельзя было ожидать таких превосходных описаний, какие дали первая и вторая песни; нельзя было поверить, чтобы Шиллер и Гете, попавшие в когти нашей педантической эстетики, могли предоставить материал для столь поэтического сопоставления, какое было дано в третьей песне; чтобы поэтическая рефлексия Бека так спокойно, почти по-филистерски, парила над Вартбургом, как это было в действительности.

С «Странствующим поэтом» Бек подлинным образом вступил в литературу. Бек возвестил «Тихие песни», и журналы сообщали, что он работает над трагедией «Погибшие души».

Прошел год. Кроме отдельных стихотворений, Бек ничем не давал о себе знать. «Тихие песни» не появлялись, и о «Погибших душах» нельзя было узнать ничего определенного. Наконец, «Элегантная газета» преподнесла *повествовательные эскизы* его пера. Прозаический опыт такого автора мог, во всяком случае, остановить на себе внимание. Сомневаюсь, однако, чтобы этот опыт удолетворил даже какого-нибудь друга бековской музыки.

По некоторым образам можно было узнать прежнего Бека; стиль мог, при тщательной отделке, недурно выработаться; но этим и исчерпывается все хорошее, что можно сказать об этой повестушке. Ни глубокими мыслями, ни поэтическим взлетом она не подымается выше уровня обычной беллетристики; выдумка довольно повседневно и красотой отнюдь не блещет, выполнение ординарное.

На одном концерте приятель мне сказал, что «Тихие песни» Бека, наконец, появились. В этот момент как раз слышались звуки адажио бетховенской симфонии. Таковы, подумал я, будут эти песни; но я обманулся: в них было мало Бетховена и много беллиниевских lamentаций. Когда я взял в руки маленькую тетрадь, я испугался. Первая же песнь так бесконечно тривиальна, написана так плоско и манерно, квази-оригинальна лишь своими изысканными оборотами речи.

Эти песни напоминают «Ночи» только своей непомерной мечтательностью. Что по ночам многое могло присниться, было прощительно; к «Странствующему поэту» были снисходительны, но и теперь еще г. Бек никак не может выспаться. На третьей странице ему уже

грезится, на стр. 5, 8, 9, 15, 16, 23, 31, 33, 34, 35, 40 и т. д. — повсюду грезы. А затем еще целый ряд сновидений, что было бы смешно, когда бы не было так грустно. Надежда на оригинальность должна была исчезнуть, если не считать несколько новых стихотворных размеров; за это нас должны вознаградить гейневские отзвуки и безграничная *детская наивность*, которая тянется очень неприятно почти через все песни. От этого особенно страдает первый отдел: «Песни любви, Ее дневник». От пылающего пламени, от сильного благородного духа, каким хочет быть Бек, я не ожидал бы такой вялой, противной каши. Только две или три песни сносны. «Его дневник» чуть лучше; в нем там и сям попадаетея настоящая песня, которая нас может вознаградить за великое множество нелепостей и пошлостей. Величайшая из пошлостей в «Его дневнике» — «Слеза». Известно, что раньше уже дал Бек в области «поэзии слез». Тогда у него: «Горе, грубый, кровавый корсар, тихое море слез бороздило», и в нем «плескалась тоска, немая, холодная рыба»; теперь он пускает еще больше слезы:

Слеза моя, не даром
 Кипишь ты, как волна!
 Моей всей жизни жаром
 Ты до краев полна;
 Любовь и лирный глас мой
 Погружены в твои струи.
 Слеза моя, не даром
 Кипишь ты, как волна!

Как все это вздорно! «Сновидения» содержат еще лучшее из всей тетради, и среди них отдельные песни, по крайней мере, искренни, в особенности «Доброй ночи!», которая, судя по первому появлению в «Элегантной газете», должна принадлежать к более ранним из этих песен. Заключительное стихотворение — одно из лучших, но и оно немного напыщенно и заканчивается опять «слезой, крепким щитом мирового духа».

Книжка заканчивается опытами в области баллады. «Цыганский король», начало которого сильно отдает фрейлигратовской манерой письма, слаб по сравнению с яркими образами цыганской жизни у Ленау, и фразистость, долженствующая убедить нас в силе и свежести стихотворения, усиливает только отталкивающее впечатление. Напротив «Розочка» — красивая безделка. «Венгерская вахта» принадлежит к одной и той же категории с «Цыганским королем»; последняя баллада этого цикла дает пример того, как стихотворение может отличаться гладкостью и звучностью стиха, иметь краси-

вую внешнюю форму, не оставляя в то же время особенного впечатления. Прежний Бек дал бы тремя удачными мазками более выпуклый образ мрачного разбойника Яносика. И этого он также заставляет, в конце концов, на предпоследней странице *помечтать*, и так заканчивается тетрадь, обрывая стихотворение, конец которого обещан во втором томике. Что это значит? Неужели и в поэтических произведениях, как в журналах, можно обрывать словами «продолжение следует»?

«Погибшие души» автор, как говорят, уничтожил после того, как режиссура нескольких театров признала их невозможными к постановке на сцене; кажется, он работает теперь над другой трагедией—«Саул»; по крайней мере, в «Элегантной газете» был помещен первый ее акт, а в «Театральной хронике» — большой проспект о ней. Этот акт был уже предметом обсуждения на столбцах настоящего органа. К сожалению, я могу лишь подтвердить сказанное там. Бек, беспорядочная, мечущаяся фантастика которого делает его неспособным к пластическому изображению характеров и всем его действующим лицам подсказывает *одни и те же фразы*; Бек, который в своем понимании Берне обнаруживает, как мало он умеет понять характер, не говоря уже о творческом воссоздании, не мог напасть на более несчастную мысль, чем написать трагедию. Бек должен был невольно заимствовать изложение из прежних своих образов, должен был заставить говорить своего Давида и Меровию плаксивым тоном «Ее дневника», он должен был воспроизвести переходы настроения в душе Саула с неуклюжестью ярмарочной комедии. Слыша речи Моава, мы понимаем значение, которое имеет у его образца Авенир; этот Моав, этот грубый, кровавый поклонник Молоха, который скорее похож на зверя, чем на человека, неужели этот Моав мог быть «злым духом» Саула? Человек природы еще не bestия, и Саул, который борется против жрецов, не находит еще поэтому удовольствия в человеческих жертвоприношениях. К тому же диалог — совершенно деревянный, язык — тусклый, и лишь несколько сносных картин, которые, однако, не могут скрасить целый акт трагедии, напоминают о надеждах, которые г. Бек, по видимому, не в состоянии оправдать.

РЕТРОГРАДНЫЕ ЗНАМЕНА ВРЕМЕНИ.

Ничего нет нового под луною! Это одна из тех счастливых псевдо-истин, которым приготовлена была самая блестящая карьера, которые совершили вокруг земли, из уст в уста, победное шествие и спустя столетия все еще так часто поминаются, словно только что родились на свет. Настоящим истинам редко бывает такая удача; им приходилось бороться и терпеть, их увечили и заживо хоронили, каждый лепил их по-своему. Нет ничего нового под луной! Нет, нового достаточно, но его подавляют, когда оно не принадлежит к тем эластичным псевдо-истинам, которые имеют всегда в запасе законную отговорку вроде «нельзя не признаться, но нужно сознаться», и, подобно яркому северному сиянию, скоро уступают ночи, но если на горизонте восходит, как утренняя заря, новая, настоящая истина, тогда дети ночи хорошо знают, что их царству грозит гибель, и хватаются за оружие. Ведь северное сияние загорается всегда в ясном небе, а утренняя заря — в облачном, и пламенем своим она и должна пронизать тучи, прогнать их с неба. Рассмотрим несколько таких туч, завесивших утреннюю зарю нашего времени.

Или подойдем к нашей теме с другой стороны. Попытки сравнить ход истории с линией общепизвестны. В одном глубокомысленном сочинении, направленном против гегелевской философии истории, мы читаем: «Формою истории является не восхождение, а нисхождение, не концентрический круг или спираль, но этический параллелизм, то сближающийся, то удаляющийся». Но я предпочитаю, однако, вытянутую свободною рукою спираль, не слишком точно располагающую свои завитки. Медленно начинает история свой бег от невиданной точки, вокруг которой ползет сонными своими оборотами; но круги ее все растут, все быстрее и живее становится полет, наконец она мчится, подобно пламенеющей комете, от звезды к звезде, часто касаясь старых своих путей, часто пересекая их, и с каждым оборотом все больше приближается к бесконечности. Кто может предвидеть конец? И в тех местах, где она как будто возвращается на старые свои пути, подымается са-

моуверенная близорукость и кричит торжествуя, что обрела, наконец, идею. Так оно и есть — нет ничего нового под луной! Наши герои китайского застоя, наши мандарины регресса ликуют и с серьезной миной вычеркивают из анналов мировой истории три столетия как дерзкую экскурсию в запретные области, как горячечный бред, — и они не видят, что история устремляется лишь по кратчайшему пути к новому сияющему созвездию Идеи, и скоро в своем солнечном величии ослепит их тупые взоры.

На таком повороте истории мы стоим сейчас. Все гдеш, которые выступали на арену со времени Карла Великого, все вкусы, которые вытесняли друг друга в течение пяти столетий, пытаются еще раз отвоевать у современности свое петлевшее право. Феодализм средневековья и абсолютизм Людовика XIV, иерархия Рима и пиэтизм прошлого столетия оспаривают друг у друга честь искоренения свободной мысли. Я не намерен распространяться здесь на эту тему. Но этим колоссальным реакциям в жизни церкви и государства соответствуют *незаметные* уклонь в искусстве и литературе, *неосознанные* попятные шаги к прошлым векам, представляющие угрозу, если не для эпохи, то для ее вкусов; и странное явление, что сопоставление этих тенденций нигде еще не было сделано.

Чтобы встретить эти явления, незачем далеко ходить. Стоит вам только посетить современный модный салон, и вы увидите, чьим духом порождены формы, которыми вас окружают. Все уродливости стиля рококо из эпохи самого патентованного абсолютизма были вновь призваны к жизни, чтобы навязать духу времени те формы, в которых привольно себя чувствовал «l'état c'est moi». Наши салоны украшены и обставлены стульями, шкафами и софами в стиле ренессанса, и недоставало только, чтобы Гейне напялили парик и Беттину нарядили в фижмы, — и этот век был бы вполне воссоздан.

В такой комнате подстать, конечно, читать роман г. фон-Штернберга, с его удивительной любовью к эпохе г-жи Ментенон. Этот каприз процали духу Штернберга, хотя напрасно, конечно, искали более глубоких обоснований для него; я позволяю себе, однако, утверждать, что именно эта черта штернберговских романов, способствующая в настоящий момент их распространению, не мало повредит их долговечности. Я уже не говорю о том, что красота поэтического произведения отнюдь не выигрывает от вечного обращения к самому бесплодному прозаическому времени, по сравнению с заскорувлым существом которого, мечущимся между землей

и небом, с его марионетками конвенанса, наше время и его дети кажутся еще естественными; ведь мы слишком уж привыкли насмешливо относиться к этой эпохе, чтобы она нам долго могла импортировать в другом освещении, и, в конце концов, наскучит до последней степени постоянно вновь находить в Штернберговском романе все тот же каприз. Эта тенденция, по крайней мере в моих глазах, не может иметь больше значения, чем простой каприз, и по тому самому уже лишена всяких более глубоких оснований. Тем не менее, я думаю, что точка опоры ее коренится в жизни «хорошего общества». Г-н фон-Штернберг был, без сомнения, воспитан для такого общества и, научившись возвращаться в нем с большим наслаждением, нашел, быть может, в его кругах свою настоящую родину. Что же удивительного, если он питает нежные чувства к эпохе, в которой формы общественности были гораздо более определенные и округленные, хотя и более деревянные и безвкусные, чем в настоящее время. Гораздо смелее, чем у г. фон-Штернберга, дух века выступил у себя на родине, в Париже, где он пытается всерьез вновь вырвать у романтиков только что одержанную ими победу. Пришел Виктор Гюго, пришел Александр Дюма, и с ними стадо подражателей; неестественность Ифигений и Наталий уступила место Лукреции Борджиа, на смену оцепенению пришла горячка; французских классиков уличали в плагиатах у древних авторов, но вот выступает Рашель, и все забыто: Гюго и Дюма, Лукреция Борджиа и плагиаты, Федра и Сид прогуливаются на подмостках размеренным шагом и с вылощенным александрийским стихом, Ахилл парадирует своими намеками на Людовика, и Рюи Блаз и Мадемуазель де-Бель-Иль едва успевают показаться из-за кулис, как их сейчас же переносят в немецкую переводную литературу и на немецкую национальную сцену. Легитимист должен испытывать чувство блаженства, имея возможность при лицемерии пьес Расина забыть про Революцию, Наполеона и Великую неделю; старый режим подымается из-под земли во всем своем блеске, свет обвешивается гобеленами, самодержавный Людовик в парчевом камзоле и пышном парике прогуливается по подстриженным аллеям Версаля, и всемогущий веер метрессы правит счастливым двором и несчастной Францией.

Но в то время, как воспроизведение прошлого не выходит за пределы Франции, одна особенность французской литературы прошлого века начинает как будто повторяться в современной немецкой литературе.

Я имею в виду философский дилетантизм, который проявляется

у нескольких новейших писателей в той же мере, как и у энциклопедистов. Чем там был материализм, тем здесь начинает становиться Гегель. Мундт — первый, — выражаясь его языком, — ввел в литературу гегелевские категории; Кюне, как всегда, не преминул последовать за ним и написал «Карантин сумасшедшего дома», и хотя второй том «Характеров» свидетельствует о частичном отпадении от Гегеля, тем не менее первый их том содержит достаточно мест, в которых он пытается перевести Гегеля на современный язык. К сожалению, эти переводы относятся к разряду тех, которые нельзя постигнуть без оригинала.

Нельзя отрицать аналогию; повторится ли и на литературе настоящего века тот вывод, который упомянутый уже выше автор сделал из судьбы философского дилетантизма в прошлом столетии, а именно, что система приносит с собою в литературу зародыш смерти? Будет ли поле, обрабатываемое литературным гением, засорено корнями системы, превосходящей в отношении последовательности все прежние системы? Или эти явления соответствуют лишь той любви, с которой философия идет навстречу литературе и плоды которой с таким блеском проявляются в Гото, Регшере, Штраусе, Розенкранце и «Галлеских летописях»? Тогда пришлось бы изменить точку зрения и возложить надежду на то взаимодействие науки и жизни, философии и современных тенденций, Берне и Гегеля, подготовка которого уже раньше имелась в виду одною частью так называемой Молодой Германии. Вне этой альтернативы остается еще только один вывод, правда, несколько комического характера, а именно, что влияние Гегеля на изящную литературу лишено будет всякого значения. Я думаю, однако, что немногие решатся сделать такой вывод.

Но мы должны вернуться назад еще дальше, чем к энциклопедистам и госпоже де-Ментенон. Дуллер, Фрейлиграт и Бек позволяют себе представлять в нашей литературе вторую силезскую школу XVII столетия. Кому дуллеровские цепи и короны, антихрист, Лойола, император и папа не напомнят громоподобный пафос азиатской «Баниве» блаженной памяти Циглера фон-Клипгаузена или «Великого Герцога Арминия вкупе с его светлейшею Туснельдой» Лознштейна? Бек еще превзошел этих добрых людей своей высокопарностью; отдельные места его творений являются почти беспримерными продуктами XVII века, окунутыми в мировую скорбь; и Фрейлиграт, порою тоже не умеющий отличать высокопарность от поэтического языка, возвращается целиком к Гофмансвальдау, обновляя александрийский стих и вновь вводя

злоупотребление иностранными словами. Нужно, однако, надеяться, что он забросит свою иностранщину:

Пески уносит ветер, и вянет пальмы цвет, —
 В объятья родины бросается поэт
 С душой, хоть изменившейся, но той же.

А если Фрейлиграт этого не сделает, то стихи его через сто лет превратятся воистину в гербарий или песочницу для применения, подобно латинским правилам в стихах, при школьном преподавании естественной истории. Какой-нибудь Раупах пусть не рассчитывает ни на какое иное практическое бессмертие своих ямбических хроник, но Фрейлиграт, нужно надеяться, подарит нас еще поэтическими произведениями, вполне достойными XIX века. — Но не трогательно ли, что мы в нашей литературе, занимающейся повторением задов со времени романтической школы, поднялись уже из XII века вплоть до XVII? Тогда, пожалуй, и Готшед не заставит себя долго ждать.

Я, признаюсь, испытываю большое затруднение, когда хочу, с единой точки зрения, разместить отдельные эти явления; я сознаюсь, что потерял нити, которые их связывают с катящимся вперед потоком времени. Быть может, они еще не созрели для верной оценки и будут еще расти в объеме и числе. Во всяком случае, замечательно, что эта *реакция* проявляется как в жизни, так в искусстве и литературе, что жалобы министерских листов находят свое эхо в стенах, которые слышали еще «l'état c'est moi», и что крику современных обскурантов в одной области соответствует пресыщенный обскурантизм части новейшей немецкой поэзии в другой.

ПЛАТЕН.

Из поэтических сынов периода реставрации, сила которых не была парализована электрическими ударами 1830 г. и слава которых упрочилась лишь в современную литературную эпоху, заметным сходством отличаются трое: Иммерман, Шамиссо и Платен. У всех троих необычайная индивидуальность, значительный характер и сила рассудка, по меньшей мере уравновешивающая их поэтический талант. У Шамиссо преобладают то фантазия и чувство, то холодный рассудок; в терцинах, в особенности, видимость совершенно холодная и рассудочная, но под нею слышится биение благородного сердца; у Иммермана оба эти свойства борются между собою и образуют тот дуализм, который сам он признает и крайности которого сильная его индивидуальность в состоянии сдерживать, но не объединить; наконец, у Платена поэтическая сила отказалась от своей самостоятельности и легко мирится с господством могучего разума. Если бы фантазия Платена не могла опереться на этот разум и на его замечательный характер, он не стал бы так знаменит. Поэтому он явился представителем рассудочного в поэзии, формы, и поэтому же не дано было сбыться его желанию закончить свое поприще значительным трудом. Он знал хорошо, что такой большой труд необходим, чтобы упрочить его славу; но он чувствовал также, что для этого ему недостает силы, и надеялся на будущее и на свои предварительные работы; между тем, время уплывало, он из своих предварительных работ так и не мог выбраться и, наконец, умер.

Фантазия Платена робко следовала за отважным ходом его рассудка; и когда потребовался гениальный труд, когда нужно было рискнуть на смелый прыжок, которого разум не в состоянии был сделать, нехватило и фантазии. Отсюда произошло заблуждение Платена, принявшего продукт своего рассудка за поэзию. Его поэтической творческой силы хватило на анакреонтические газели; временами она сверкала, как метеор, и в его комедиях; но мы должны признать, что большая часть того, что присуще Платену, было продуктом разума и таковым всегда будет признаваться.

Его чересчур искусственные газели, его риторические оды будут утомлять; полемика его комедий будет большей частью считаться необоснованной; но придется отдавать должную дань остроумию его диалогов, возвышенности его парабаз и оправдывать его односторонность величию его характера. Литературная репутация Платена в общественном мнении изменится; он станет дальше от Гете, но ближе к Берне.

Что его влекут больше к Берне и взгляды, об этом, кроме массы намеков в комедиях, свидетельствовало и несколько стихотворений в полном собрании сочинений. Пример: я упомяну лишь оду Карлу X; ряд песен, воспевавших польскую освободительную борьбу, не вошел в это собрание, хотя они должны были иметь высокий интерес для характеристики Платена. Теперь они вышли в другом издании как приложение к полному собранию. Я нахожу в них подтверждение своего взгляда на Платена. Мысль и характер должны здесь сильнее и в более заметной степени замещать поэзию, чем в других его произведениях. Поэтому Платен редко довольствуется простым складом песни; он предпочитает длинные растянутые стихи, из которых каждый может уместить мысль, или искусственные лады оды, серьезный, размеренный ход которых словно требует почти риторического содержания. С искусством стиха Платену приходят и мысли, и это есть сильнейшее доказательство рассудочного происхождения его стихотворений. Кто предъявляет Платену другие требования, того эти польские песни не удовлетворят; но кто с этими ожиданиями возьмет книжку в руки, тот будет с избытком вознагражден за недостаток поэтического аромата обилием возвышенных могучих мыслей, выросших на почве благороднейшего характера, и «великолепную страстность», как прекрасно сказано в предисловии. Жаль, что эти стихотворения не появились на несколько месяцев ранее, чем немецкое национальное сознание поднялось против императорского русско-европейского пятидержавия; они были бы наилучшим ответом на него. Быть может, пентархист нашел бы здесь не один эпитет для своей работы.

РЕКВИЕМ ДЛЯ НЕМЕЦКОЙ «ДВОРЯНСКОЙ ГАЗЕТЫ».

Dies irae, dies illa
Saecla solvet in favilla.

Тот день, когда Лютер извлек первописание Нового Завета и с помощью этого греческого огня превратил в пепел столетия средневековья, с их сеньерами и их крепостными, с их поэзией и их безыдейностью, — тот день и последовавшие за ним три столетия породили, наконец, эпоху, «которая целиком принадлежит общественному мнению», эпоху, о которой Наполеон, — а ему, несмотря на очень многие его, предосудительные в глазах немцев, свойства, нельзя отказать в редкой проницательности, — сказал: «le journalisme est une ruissance». Я привожу эти слова здесь лишь для того, чтобы показать, как мало феодален, т. е. безыдеен, проспект «Дворянской газеты», из которого они заимствованы. Немецкая «Дворянская газета» призвана была увенчать это общественное мнение и пробудить сознание его. Ибо ясно: Гутенберг изобрел книгопечатание не для того, чтобы дать распространять свои завиральные мысли в свете какому-нибудь Берне, — ведь он был демагогом, — или Гегелю, — ведь спереди он полон сервиллизма, как доказал Гейне, а сзади революционизма, как доказал Шубарт, — или какому-нибудь другому бюргеру, — нет, он изобрел его только для того, чтобы дать возможность основать «Дворянскую газету». — *Благо ей, она отошла в вечность.* Она взглянула только украдкой, робко на этот гадкий, несредневековый свет, и ее чистое, девственное, — или, вернее, девическое, — сердце отпрянуло перед мерзостью запустения, перед грязью демократической сволочи, перед отвратительным высокомерием плебеев, перед всеми теми приискорбными «состояниями, отношениями и смутами» нашего времени, которые, заявляясь у ворот помещичьих замков, устаиваются приветствия хлыстом. Благо ей, она переселилась в лучший мир, она не видит больше ничтожества демократии, потрясения основ существующего строя, слез высокородных и высокоблагородных, она опочила вечным сном.

Requiem aeternam dona ei, Domine!

Многое потеряли мы с ней. Какая радость была во всех салонах, куда имеют доступ лишь господа с генеалогией не менее чем в шестнадцать предков, какое ликование на всех полузабытых аванпостах правоверной аристократии! Вот сидел себе старый сиятельный папаша в наследственном кресле, окруженный любимыми собаками, держа в правой руке наследственную трубку, а в левой наследственный арапник, и благоговейно изучал допотопное генеалогическое древо в Книге Бытия, когда вдруг раскрылась дверь и ему занесли проспект «Дворянской газеты». Высокоблагородный, заметив слово «Дворянская», набранное большими буквами, тотчас же стал поправлять очки и с блаженством прочел листок; он видит, что в новой газете уделено особое место также семейным новостям, и радуется при мысли о своем некрологе — с каким интересом он прочел бы его сам — когда он отойдет к сонму предков. — Но вот на двор замка въезжают галопом молодые господа; старик поспешно посылает за ними; господин Теодерих «фон-Бутылка» загоняет ударом плети лошадей в конюшню, — господин Зигварт обгоняет нескольких лакеев, наступает на хвост кошке и рыцарски отталкивает старого, имеющего умоляющий и замученный отказом вид, крестьянина, — господин Гизелер приказывает слугам под страхом телесного наказания сделать пунктуально все приготовления к охоте, — и так с шумом молодые бароны входят в залу. Собаки с лаем бросаются им навстречу, но удары арапников загоняют их под стол, и господин Зигварт фон-Бутылка, успокоивший любимую собаку ударом сиятельной ноги, на этот раз не встречает со стороны восхищенного отца обычного гневного взора. Господин Теодерих, который читал, кроме Библии и генеалогической книги, кое-что еще в энциклопедическом словаре и поэтому правильнее других произносит иностранные слова, должен прочесть вслух проспект, а старик от слез радости забывает про указ о выкупе и про дворянские тяготы.

Как нравственно-скромно-снисходительно въехала сиятельная в современный мир на своем белом бумажном иноходце, как смело глядели вперед оба ее рыцаря, в каждом дюйме — бароны, в каждой капле крови — плод шестидесяти четырех равных браков, в каждом взгляде — вызов! И первый — господин фон-Альвенслебен, который гарцовал на своем рыцарском боевом коне по тощим степям французских романов и мемуаров, чтобы затем ополчиться против хамов-бюргеров. На его щите начертан девиз: «Благоприобретенное право никогда не может стать несправедливостью», и он громким голосом кричит на весь мир: «Дворянство в прошлом имело

счастье отличиться, теперь оно поживает на лаврах — или, говоря проще, валяется на пуховиках, — дворянство с мощной силой защищало князей, *а значит и народы*, и я буду заботиться о том, чтобы эти великие деяния не были забыты, а моя возлюбленная «Дворянская газета» — *requiescat in pace* — прекраснейшая дама в свете, и кто это отрицает, тот...»

Но тут благородный господин свалился с лошади, и на его место въехал медленной рысцей на ристалище господин Фридрих барон де-ла-Мотт-Фуке. Старый «светло-гнедой» Россинант, у которого от продолжительного пребывания в конюшне свалились с ног подковы, — этот, в лучшие свои времена не бывший никогда жирным, гипогриф, у которого давно пропали романтические прыжки среди северных богатырей, начал вдруг бить копытом землю; господин фон-Фуке забыл ежегодный поэтический комментарий к «Берлинскому политическому еженедельнику», приказал почистить панцырь и вывести старого слепого коня и с величием одинокого героя двинулся в крестовый поход против современных идей; но чтобы любящее почести бюргерское сословие не подумало, что разбитое копье старого богатыря направлено против него, он кидает ему предисловие. Столь снисходительная доброта заслуживает рассмотрения.

Предисловие поучает нас, что всемирная история существует не для того, чтобы, — как ошибочно полагал Гегель, — реализовать понятие свободы, а лишь для того, чтобы показать, что должны существовать три сословия, из которых дворянство обязано работать мечом, бюргерство — головой, крестьянство — плугом. Но это не должны быть кастовые различия; сословия должны заниматься взаимопштопаньем и освежать взаимно свою кровь, но не неравными браками, а возведением в высшее сословие. Конечно, трудно понять, как это «прозрачное, как родниковая вода, озеро» дворянства, которое составилось из чистых источников, забивших на высотах разбойничьих замков, трудно понять, как это озеро нуждалось еще в каком-нибудь освежении. Но благородный барон разрешает людям, которые были не только бюргерами, но и «конюхами рыцарей», а, *может быть, даже портняжскими подмастерьями*, освежить своей кровью дворянство. Но господин Фуке не говорит, как дворянство должно освежить другие сословия. Вероятно, с помощью деградировавших из дворянства субъектов, или же, может быть, — так как господин Фуке в своей доброте готов согласиться, что внутреннее дворянство в сущности несколько не лучше простонародной сволочи, — может быть, для дворянина возвышение в бюргерское сословие или даже в крестьянское

сословие будет столь же почетно, как диплом на дворянство для бюргера? Далее, в государстве господина Фуке философия не очень-то сумеет плодиться; Кант со своими мыслями о вечном мире попал бы там на костер, ибо при вечном мире дворяне не могли бы исполнять своего назначения — драться, в лучшем случае этим занимались бы, может быть, подмастерья.

Мы видим, что за свое основательное изучение истории и государствоведения господин Фуке заслуживал бы возведения в мыслящее, т. е. бюргерское, сословие: у него удивительный нюх, чтобы отыскивать у гуннов и аваров, у башкир и могикан, и даже у людей, живших до потопа, не только почтенную публику, но даже и знатное дворянство. Он даже сделал самоновейшее открытие, что в средние века, когда крестьянство находилось в крепостном состоянии, оно получало добро и ласку от обоих других сословий и платило им взаимностью. Его язык несравненен, он мечет «проникающими до самых корней размерами» и «умеет извлекать золото из темнейших в себе (Гегель — Саул в пророках) явлений».

Et lux perpetua luceat eis —

они поистине нуждаются в этом.

У покойной «Дворянской газеты» была еще одна счастливая мысль, например мысль о земельной собственности дворянства, и сотни других, восхвалять которые не хватит сил; но счастливейшая ее идея заключалась все-таки в том, чтобы уже в самом первом номере дать среди извещений извещение об одном неравном браке. Она не сообщила, готова ли она с одинаковой гуманностью причислить господина фон-Ротшильда к немецкому дворянству. Пусть господь бог утешит горестных родителей и возведет усопшую в небесное графское достоинство.

*И пусть она спокойно спит
До дня великого суда!*

Но мы споем ей реквием и произнесем надгробную речь, как это подобает честному бюргеру.

*Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum
Coget omnes ante tronium.*

Разве вы не слышите звука трубы, несущегося над могильными памятниками и заставляющего землю радостно колебаться, так что разверзаются гробницы? Настал день великого суда, день, за которым уже не последует больше ночи; дух, вечный царь, воссел на своем троне, и у ног его собираются народы земли, чтобы дать

отчет о своих помыслах и деяниях; новая жизнь пронизывает весь мир, и старые стволы народов радостно колышут свои покрытые листвою ветви в дыхании утра, сбрасывая все старые листья, уносимые ветром и собираемые в один большой костер, который сам бог зажигает своими молниями. Произнесен приговор над земными поколениями, приговор, который дети прошлого охотно уничтожили бы, как дело о наследстве; но вечный судия беспощаден и грозно глядит своим пронизывающим взором; талант, который они не использовали, отнимается у них, и сами они выбрасываются во тьму кромешную, где их не улаждает ни один луч духа.

ИОЕЛЬ ЯКОБИ.

Акробатическая труппа Герреса в лице Иоеля Якоби приобрела нового ценного сотрудника. Прежде партию паяца исполнял сам Гвидо Геррес, но его шутки не пользовались большим успехом у публики; напротив, новый член труппы только что своей «Борьбой и победой» изумительнейшим образом доказал, что у него призвание к этой роли. Человек с такой равносторонностью, которому равно к лицу красная фуражка и пурпурная мантия Давида, фрак кандидата, жаждущего места, и покаянный плащ одержимого, который с удовольствием работает в качестве ходячей рекламы, нося на груди номер «Берлинского политического еженедельника», а на спине каталог издательской фирмы Манц в Регенсбурге, — такой человек легко справится с любой ролью. И вот ныне он впервые выступает, нисколько не смущаясь, и, «вещая о спасении и мире, о борьбе и победе», в то же время одним глазом косится на орден Красного Орла, а другим — на шапку епископа.

«Чем прикажете повеселить вас? — спрашивает он публику. — Какой год вам угоден: 1832 или же 1834, 1836 или 1839? Кого мне вам продекламировать: Марата или Ярке, Давида, Герреса или Гегеля?» Но он великодушен и дает нам рагу из всех реминисценций, которые ему удалось наловить в пустыне своего мозга, и надо признать, что он преподносит нечто восхитительное.

Положительно недоумеваешь, с какой стороны подойти к этой бессмыслице. Мне неважно останавливаться на моральной недобропорядочности и на хаотическом смешении понятий, характеризующих также и эту книжку автора; ведь — перед нами полупомешанный, в голове которого собственные, уродливые зародыши мысли справляют безудержную оргию с понятиями, заимствованными у других. Какое своеобразное представление имеет, например, наш поэт о своем прошлом, если считает возможным называть себя «тихим человеком»? Он, который в течение 8 лет беспрерывно кричит, бунтует и распинается за революцию, против революции, за Пруссию, за папу, — он «тихий человек»? Приложим ли эпитет «тихий»

к человеку, жалобы которого всегда были жалобами на других, — к прирожденному доносчику, который всегда ставил под подозрение целые группы лиц?

Словесное беспутство Франца-Карла-Иоеля Якоби вполне соответствует хаосу его мыслей. Я бы никогда не предполагал, чтобы немецкий язык мог так близко следовать за самыми путанными идеями. Слова, никогда не выдавшие друг друга в лицо, сваливаются тут в одну кучу, взаимно отталкивающиеся понятия связываются воедино каким-нибудь всемогущим глаголом; самые благонравные, самые невинные выражения внезапно оказываются среди реминисценций из революционных лет Иоеля, среди подозрительных фраз Менцеля, Лео и Герреса, среди некоторых мыслей Гегеля; над ними всеми поэт машет своим бичом, и они, не помня себя от ужаса, ломая все на своем пути, несутся как ветер, чтобы найти, наконец, покой в лоне всеблаготворительной Церкви.

Истинное содержание этого шедевра, написанного в стиле псевдо-параллелизма, в стиле старой «имповантной» манеры все говорить дважды (а то и трижды и четырежды), состоит из лирических жалоб еврея и одержимого, а затем из жалоб католика, в которых автор покидает односторонний лирический субъективизм и развивает чисто современную драму. В центре ее в трагической маске выступает энергичная личность автора (во всяком случае, он являет довольно печальное зрелище). Над всей этой безотрадной путаницей восходит, наконец, средневековая заря католицизма. Во весь свой богатырский рост подымается новый пророк Иоель из современного хаоса и предвещает гибель всем революционным, либеральным, гегельянским и протестантским идеям, которые должны будут очистить место новому веку бессмыслия и невежества. Предается проклятию все, что не подчиняется посоху; лишь «прусское отечество» удостоивается *ria desideria*; напротив, карлистские баски и «бельгийский соловей» кончаются, к радости своего владыки Лойолы. Вы видите, что терроризм якобинской эпохи не забыт господином Якоби. Жестокая расправа производится над всеми врагами иезуитизма и монархического принципа, — прежде всего над новыми философами, которые носят кинжал в ножнах из ошеломляющих понятий, а под своими всем знакомыми рубищами не менее знакомый саван (по крайней мере, г. Якоби очень хорошо с давних времен его знает), в котором мирно вкушают смертный сон вместе папы и государи. Но новый пророк их знает: «я всегда понимал вас», — говорит он сам. Самому же маэстро он выносит оправдательный приговор, ибо несколько из идей маэстро, словно снег, попали в горячую голову

г. Якоби, превратившись там, правда, в воду. Перед следующим затем хором коршунов и сов и перед адским ликованием критика поневоле замолкает.

В Иоеле Якоби мы видим ту ужасающую крайность, к которой неминуемо идут все рыцари мракобесия. Туда же ведет вражда к свободной мысли, оппозиция против суверенитета духа, выступает ли она в виде дикого и недисциплинированного санкюлотизма или в виде бессмысленного и подлого сервилизма; носит ли она пробор протестантского пастора или тонзуру католического священника. Иоель Якоби — живой трофей, эмблема победы, одержанной мыслящим духом. Каждый, кто только выступил под знаменами XIX века, может кинуть торжествующий взор на этого несчастного поэта своего времени, ибо рано или поздно ему уподобятся все его враги.

ЛАНДШАФТЫ.

Эллада имела счастье видеть, как характер ее ландшафта был осознан в религии ее жителей. Эллада — страна пантеизма. Все ее ландшафты оправлены — или, по меньшей мере, были оправлены — в рамки гармонии. А между тем каждое дерево в ней, каждый источник, каждая гора слишком выпирает на первый план, а между тем ее небо чересчур сине, ее солнце чересчур ослепительно, ее море чересчур грандиозно, чтобы они могли довольствоваться лаконическим одухотворением какого-то шеллиевского Spirit of nature, какого-то всеобъемлющего Пана; всякая особность притягивает в своей прекрасной округлости на отдельного бога, всякая река требует своих нимф, всякая роща — своих дриад, и так вот образовалась религия эллинов. Другие местности не были так счастливы; они ни у одного народа не стали основой его веры и должны ждать поэта, который бы пробудил к жизни дремлющего в них религиозного гения. Если вы находитесь на вершине Драхенфельза или Рохусберга у Бингена и, глядя в даль поверх благоухающей от виноградных лоз Рейнской долины, видите, как далекие голубые горы сливаются с горизонтом, как зелень полей и виноградников, облитая золотом солнца, и синева неба отражены в реке, — то небо, кажется, пригибается со всей своей лучезарностью к земле и глядится в нее, дух погружается в материю, слово становится плотью и живет среди нас: перед вами воплощенное христианство. Диаметрально противоположна этому северно-германская степь; здесь видишь только высохшие стебли и жалкий вереск, который в сознании своей слабости не решается подняться от земли; там и сям торчит некогда смелое, а теперь разбитое молнией дерево; и чем безоблачнее небо, тем резче обособляется оно в своем самодовлеющем великолепии от бедной, проклятой земли, лежащей перед ним во вретище и в пепле, тем более гневно глядит его солнечное око на голый, бесплодный песок: здесь представлено иудейское мировоззрение.

Степь бранили не мало, вся литература ¹ полна проклятиями

¹ В третьем томе Блазедова старик вступает за степь.

ей, сделав ее, как в «Эдипе» Платена, предметом сатиры, но почему-то забыли вскрыть ее редкую прелесть, ее затаенное поэтическое очарование. Нужно вырасти в прекрасной местности, на высоте гор, увенчанных лесистыми скалами, чтобы как следует почувствовать весь ужас, всю безнадежность северно-немецкой Сахары, но чтобы в то же время любовно искать скрытые, подобно ливийскому миражу, не всегда видимые красоты этой страны. Подлинная проза Германии представлена только картофельными степями левого берега Эльбы. Но родина саксов, этого энергичнейшего германского племени, поэтична и в своей пустынности. В бурную ночь, когда облака, точно привидения, носятся вокруг луны, когда собаки издали заливаются лаем, помчитесь на бешеном коне в безграничную степь, скачите во весь опор по выветрившимся гранитным глыбам и по могильным курганам; вддали, отражая лунный свет, сверкает вода болот, над которыми порхают блуждающие огоньки, жутко раздается рев бури над далекой, плоской степью; почва становится под вами неверной, и вы чувствуете, что попали в царство немецких сказаний. Только с тех пор, как я повстречался с северно-немецкой степью, я по-настоящему понял «Детские сказки» Гриммов. Почти на всех этих сказках заметен отпечаток того, что они зародились здесь, где с наступлением ночи исчезает человеческая жизнь, и жуткие бесформенные творения народной фантазии проносятся над местностью, пустыньность которой пугает даже в яркий полдень. Они — воплощение чувств, которые охватывают одинокого жителя степи, когда он в подобную бурную ночь шагает по земле своей родины или же с высокой башни совершает пустынную гладь ее. Тогда перед ним снова встают впечатления, сохранившиеся с детства от бурных ночей степи, и принимают форму этих сказок. На Рейне или в Швабии вы не подслушаете тайны возникновения народных сказок, между тем как здесь каждая молниеносная ночь, — лучезарная молниеносная ночь, говорит Лаубе, — твердит об этом языками громов.

Паутинка моей аполонии степи, уносимая ветром, могла бы вытягиваться дальше, если бы вдруг она не обвилась вокруг несчастного, выкрашенного в ганноверские государственные цвета, дорожного столба. Я долго размышлял о значении этих цветов. Королевско-пруссские цвета совсем не показывают того, что находит в них Тирш в своей скверной прусской песне; но все же в своей прозе они напоминают о холодной, бессердечной бюрократии и обо всем том, что далеко не представляется привлекательным в пруссачестве жителю Рейнской области; резкая противоположность между черным

и белым может выражать аналогию между королем и подданным в абсолютной монархии; и, так как, согласно Ньютону, белое и черное вовсе не цвета, то они могут иметь тот смысл, что лойяльный образ мыслей в абсолютной монархии это тот, который не придерживается никакого цвета. Веселый красный и белый флаг ганзейцев имел еще смысл, по крайней мере, в прошлом; французский *esprit* сверкает в трехцветном знамени, цвета которого усвоила себе и флегматическая Голландия, вероятно, для того, чтобы посмеяться над самой собой; но красивее и многозначительнее всего, несомненно, все-таки злополучная немецкая трехцветка. Но ганноверские цвета! Вообразите себе щеголя, шагающего целый час в своих белых невыразимых через пни и кочки, через канавы и недавно вспаханные поля, вообразите себе соляной столп Лота, — пример былого ганноверского *pinquam retrosum*, в навидание для многих, — вообразите себе, как невоспитанная бедупнская молодежь обмазывает глиной этот достопочтенный памятник, и вы получите ганноверский дорожный столб с государственными цветами. Или, может быть, белое означает невинный основной государственный закон, а желтое — грязь, которой его забрызгали некоторые продажные перья?

Если иметь в виду религиозный характер местностей, то *голландские* ландшафты по существу кальвинистические. Всепоглощающая проза, отсутствие одухотворения, как бы висящие над голландскими видами, серое небо, так подходящее к ним, — все это вызывает те же впечатления, какие оставляют в нас непогрешимые решения Дордрехтского синода. Ветряные мельницы, единственная одаренная движением вещь ландшафта, напоминают об избранниках предопределения, которых приводит в действие лишь дыхание божественной благодати; все остальное пребывает в «духовной смерти». И Рейн, подобно стремительному, живому духу христианства, теряет в этой засохшей ортодоксии свою оплодотворяющую силу и вынужден здесь обмельеть. Такими представляются голландские берега Рейна, рассматриваемые с реки. — Роттердам, со своими тенистыми набережными, со своими каналами и судами, представляет для провинциалов из внутренней Германии оазис; здесь понимаешь, как фантазия Фрейлиграта могла рваться вместе с уходящими фрегатами вдаль к более прекрасным берегам. А затем следуют опять проклятые Зеландские острова, суда и плотины, ветряные мельницы и церковные башни со своими колоколами, между которыми парход проделывает часами свои зигзаги!

Но какое блаженное чувство охватывает нас, когда мы, наконец, выбираемся из филистерских плотин, из туго затянутой кальвинист-

ской ортодоксии на простор свободного духа! Исчезает Гельветлуис, направо и налево берега Ваалы опускаются вниз перед вздымающимися с ликованием все выше волнами, песочная желтизна воды превращается в зеленый цвет, — забудем теперь то, что осталось позади, и устремимся радостно в темновеленые, прозрачные воды!

Обиды влого рока
 Ты, наконец, забуды!
 Перед тобой широко
 Открыт свободный путь.
 Гляди! Склонен бездонный
 Над морем небосвод;
 Меж них ты — раздвоенный —
 Как мнишь найти проход?
 К вселенной с лаской страстной
 Прижался небосклон;
 Он плотию прекрасной
 Блаженно опьянен.
 Волны порыв влюбленный
 Вздымает бурно грудь; —
 А ты — ты — раздвоенный —
 Как завершишь свой путь?
 С благим, бессмертным богом
 Мир сочтан навек,
 И их любви залогом
 Явился человек.
 Бог несказанным чудом
 Живет в груди твоей:
 Достойным будь сосудом
 И божий дух лелей!

Уцепись за канаты бугшприта и гляди на волны, как, рассеваемые килем, они перекатываются белой пеной брызг далеко через твою голову, смотри поверх далекой, зеленой глади, где, вечно неугомонные, поднимаются из вод пенящиеся главы волн, где солнечные лучи попадают в твой глаз из тысячи пляшущих зеркал, где зелень моря сливается с зеркальной синевой неба и золотом солнца в один чудесный цвет — и тогда исчезнут у тебя все мелкие заботы, все воспоминания о врагах света и их хитростях, и ты растворишься в гордом сознании свободного, бесконечного духа! Я знаю только *одно* ощущение, которое я могу сравнить с этим переживанием: когда впервые передо мной раскрылась идея божества последнего философа, эта самая гигантская мысль XIX столетия, тогда меня охватил тот же блаженный трепет, вокруг меня точно повеяло свежим морским воздухом, спускающимся с чистого неба; глубины

философской спекуляции лежали передо мной, точно бездонное море, от которого не может оторваться устремленный в пучину его взор; мы живем, работаем и существуем в боге! На море мы начинаем совнавать это; мы чувствуем, что все вокруг нас и мы сами пронизаны дыханием божьим; вся природа так близка нам, волны мигают нам так дружелюбно, небо простирается так любовно над землей, а свет солнца имеет столь неописуемый блеск, что кажется, будто можешь схватить его руками.

Солнце закатывается на северо-западе; налево от него из моря поднимается блестящая полоса, побережье Кента, южный берег Темзы. На море ложатся уже туманы сумерек, только на западе, на море, как и на небо, пал пурпур вечера; на востоке небо густо-голубого цвета, и оттуда появилась уже яркая Венера; на юго-западе вдоль горизонта тянется Маргет, из окон которого отражаются краски вечера, длинная, золотая полоса в волшебном свете; а теперь машите шапками и приветствуйте свободную Англию радостными криками и полными стаканами. Спокойной ночи, до радостного пробуждения в Лондоне.

Вы, жалующиеся на прозу железных дорог, которых вы никогда не видели, садитесь на поезд, идущий из Лондона в Ливерпуль. Если есть какая-нибудь страна, которая создана для того, чтобы пронестись через нее по железной дороге, то это Англия. В ней нет ослепительной красоты, нет колоссальных массивов скал, вся она полна мягких, волнистых холмов, которые при английском, всегда несколько бледном солнечном освещении представляют неотразимое очарование. Изумляешься многообразию картин при простоте рисунка; из нескольких холмов, поля, деревьев, пасущегося скота природа создает тысячи грациозных ландшафтов. Особенно прекрасны деревья, покрывающие в одиночку и группами все поля, так что вся местность немного похожа на парк. Затем туннель, поглощающий на несколько минут своим мраком вагон и кончающийся ложиной, из которой внезапно снова вырывается на смеющиеся, солнечные поля. В одном месте дорога ведет по виадуку поперек длинной долины; глубоко внизу лежат города и деревни, леса и луга, между которыми извивается речка; направо и налево горы, расплывающиеся на заднем фоне, а над очаровательной долиной волшебное освещение, полутуман, полусолнечный свет; но едва только ты успел осмотреть прелестную местность, как ты попадаешь на обнаженную ложину и имеешь время воссоздать фантазией магическую картину. И так оно продолжается, пока не наступит ночь и сон не смежит уставших от созерцания взоров. О, какая дивная поэзия

заклучена в провинциях Британии! Часто кажется, что ты находишься в *golden days of merry England* и вот-вот увидишь Шекспира с ружьем за плечом, крадущимся в кустарниках за чужой дичью, или же удивляешься, что на этой зеленой лужайке не разыгрывается в действительности одна из его божественных комедий. Ибо где бы ни происходило в его пьесах действие — в Италии, Франции или Наварре, — по существу перед нами всегда *merry England*, родина его чудацких простолюдинов, его умничающих школьных учителей, его милых, странных женщин; на всем видишь, что действие может происходить только под английским небом. Только в некоторых комедиях, — как, например, «Сон в летнюю ночь», — в характерах действующих лиц чувствуется влияние юга с его климатом так же сильно, как в «Ромео и Джульетте».

Но вернемся к своему отечеству! Художественная и романтическая Вестфалия рассердилась на своего сына, Фрейлиграта, который совершенно забыл ее из-за гораздо более, правда, художественного и романтического Рейна; утешим ее несколькими любезными словами, чтобы терпение ее не лопнуло раньше, чем появится второй выпуск. Вестфалия отделена горными цепями от Германии, будучи открыта в сторону Голландии, — точно ее вытолкнули из Германии. И, однако, дети ее — настоящие саксы, верные, хорошие немцы. В этих горах есть великолепные пункты: на юге — долины Рура и Лены, на востоке — долина Везера, на севере — горная цепь от Миндена до Оснабрюка — повсюду самые причудливые виды, и только по середине области скучная песчаная равнина, просвечивающая сквозь траву и хлеба. А затем старые, прекрасные города, прежде всего Мюнстер со своими готическими церквями, с аркадами своего рынка, с Аннетой-Елизаветой фон-Дросте-Гюльсгоф и Левин Шюккингом. Последний, с которым я имел удовольствие познакомиться там, любезно указал мне на стихотворения этой дамы, и я не могу при этом случае не взять на себя часть вины немецкой публики по отношению к этим стихам. На примере с ними опять оказалось, что хваленая немецкая основательность довольно легкомысленно относится к поэзии; книгу со стихами перелистывают, рассматривают, гладок ли стих, хороши ли рифмы, легко ли понятно содержание и богато ли оно ударными или, по меньшей мере, ослепительными образами, — и приговор готов. Но книги, подобные этой, в которой дают себя знать глубокое чувство, деликатность и оригинальность картин природы, не уступающие поэзии Шелли, смелая байроновская фантазия, правда, в облачении несколько строгой формы и несвободного от провинциализмов языка, — такие книги

проходят без следа; у кого найдется охота читать их несколько медленнее, чем это делается обычно? Ведь стихи берут в руки лишь тогда, когда наступает час послеобеденного отдыха, и красота их могла бы только нарушить сон! К тому же наша поэтесса — верующая католичка, и разве протестант позволит себе заинтересоваться таким автором! Но дело в том, что если пиэтизм делает смешным Альберта Кнаппа, — этого мужа, магистра, старшего адъюнкт-пастора, — то детская вера очень идет девице фон-Дросте. Религиозное свободомыслие — вещь рискованная для женщин. Жорж-Занды, госпожи Шелли — редкое явление; скепсис слишком легко равняет женский характер, усиливая у них рассудок больше, чем это годится для женщин. Но если идеи, за которые боремся мы, дети нового времени, истинны, то недалеко уже пора, когда женские сердца начнут биться за идеалы современного духа так же горячо, как они бьются за набожную веру отцов, — и лишь тогда наступит победа нового, когда молодое поколение станет его впитывать вместе с молоком матери.

РОДИНА ЗИГФРИДА.

И в Нидерландах рыцарь в то время подрастал,
Он матерью Зиглинду, отцом Зигмунда звал
Богатый замок Ксантен — его родимый дом —
Стоял внизу на Рейне и славился кругом.

«Песнь о Нибелунгах», 20.

Рейн следует посещать не только выше Кельна. Особенно немецкая молодежь не должна подражать путешествующему Джон Булю, который валяется в каюте от Роттердама до Кельна и лишь здесь вылезает на палубу, ибо тут начинается панорама Рейна от Кельна до Майнца или же его *Guide for travellers on the Rhine*. Немецкая молодежь должна была бы избрать целью своего пилигримства одно менее посещаемое место, я имею в виду родину неуязвимого Зигфрида, *Ксантен*.

Ксантен, построенный, как и Кельн, римлянами, остался в течение средних веков маленьким, незначительным городком, между тем как Кельн вырос и дал свое имя курфюршеству-архиепископству. Но кафедральный собор Ксантена глядит, в своем законченном великолепии, вдаль на прозу голландской песчаной равнины, в то время как колоссальный собор Кельна остался торсом; но Ксантен имеет Зигфрида, а Кельн только святого Ганнона, а что значит песня о Ганноне по сравнению с песней о Нибелунгах!

Я приехал сюда с Рейна. Узкими, развалившимися воротами я вошел в город; узкие, грязные улицы вывели меня на веселый рынок, и оттуда я пришел к воротам в стене, которая окружала когда-то монастырский двор с церковью. Над воротами, по правую и по левую руку, под обеими башенками, находятся два барельефа, несомненно два Зигфрида, которых легко отличить от патрона города, святого Виктора, изображенного над каждой дверью. Герой стоит в тесно прилегающем чешуйчатом панцире, с копьём в руках, которое он, на барельефе справа, вонзает в пасть дракону и которым он, на барельефе слева, поражает «сильного карлика» Альбериха. Меня поразило, что в немецких героических сагах Вильгельма Гримма,

где все собрано, что касается темы о Зигфриде, не упоминается вовсе об этих статуях. Да и помимо Гримма я не помню, чтобы я где-нибудь читал о них, между тем они являются одним из важнейших свидетельств по вопросу о приурочении сказания в средние века к какому-нибудь месту.

Я прошел гулкий, с готическим сводом, проезд ворот и остановился перед церковью. Греческая архитектура отражает в себе светлое, веселое сознание, мавританская — печаль, готическая — священный экстаз; греческая архитектура, это — яркий солнечный день, мавританская — освещенные звездами сумерки, готическая — утренняя заря. Здесь, пред этой церковью, я почувствовал, как никогда еще, мощь готического архитектурного стиля. Готический собор вызывает подавляющее впечатление не среди современных построек, как расположен, например, Кельнский собор, и не окруженный домами, прилепившимися к нему подобно ласточкиным гнездам, как расположены церкви в северно-германских городах. Чтобы испытать это чувство, надо увидеть его среди лесистых гор, как, например, альтенбергская церковь в Бергише, или, по крайней мере, обособленным от всего чужеродного, современного, среди монастырских стен и старых зданий, как собор в Ксантене. Тут только можно глубоко почувствовать, что в состоянии сделать столетие, если оно отдается со всей силой одной великой идее. И если бы Кельнский собор, со своими колоссальными размерами, открывался взору так же свободно со всех сторон, как церковь в Ксантене, то, право, XIX столетие должно было бы умереть от стыда, что со всей своей ультрамудростью оно не сумело закончить этой постройки. Нам уже недоступен религиозный подвиг, и поэтому вызывает в нас такое удивление какая-нибудь миссис Фрай, которая в средние века была бы ordinarilyм явлением.

Я вошел в церковь, в которой как раз шла обедня. Звуки органа с шумом неслись с хоров вниз, — ликующая толпа покоряющих сердце воинов, — и мчались по гулкому нефу, пока не пропадали в отдаленных ходах и переходах церкви. Пусть и твое сердце поддается им, о, сын XIX века! — эти звуки смирили более сильных и неподатливых, чем ты. Они прогнали старых германских богов из их рощ, они повели героев великой эпохи, с их никогда еще не побежденными детьми, по бурным морям, через пустыни, до Иерусалима, они — тени жаждущих подвигов, с горячей бурлящей кровью веков. Но в тот момент, когда трубы возвещают чудо пресуществления, когда священник подымает блистающую дароносицу и прихожане о пьянены вином молитвенности, — тогда беги, спасайся, спасай

свое сознание из этого, волнующегося по церкви, моря чувства и вознеси под открытым небом молитву к богу, чей дом не создан руками человека, чье дыхание пронизывает весь мир и кто хочет молитвы себе в духе и в истине.

Потрясенный, я вышел из церкви и направился к единственной в городе гостинице. Когда я вошел в залу, я почувствовал, что нахожусь по соседству с Голландией. Странная, смешанная выставка из картин и эстампов на стене, из вырезанных в оконных стеклах ландшафтов, из золотых рыбок, павлиньих перьев и тропических растений перед зеркалом ясно свидетельствовала о том, как гордится хозяин обладанием вещей, которых не имеют другие. Эта страсть к редкостям, которая любит окружать себя, с полным отсутствием вкуса, произведениями искусства и природы — безразлично, красивыми или безобразными — и которая особенно хорошо чувствует себя в комнате, переполненной подобной дребеденью, — это наследственный грех голландцев. Но какой ужас охватил меня тогда, когда добряк повел меня, чтобы показать свою коллекцию картин! Это была маленькая комната, стены которой были сплошь увешаны малоценными картинами, хотя он уверял, будто Шадов сказал об одном портрете, действительно гораздо лучшем, чем другие вещи, что он принадлежит кисти Ганса Гольбейна. Несколько складней Яна из Калькара (соседнего городка) отличались своим ярким колоритом и заинтересовали бы знатока. Но чего только не было еще в этой комнате! Из каждого угла торчали пальмовые листья, коралловые ветви и т. п. вещи, повсюду были чучела ящериц, на камине стояли несколько составленных из пестрых морских раковин фигур, вроде тех, которые так часто встречаются в Голландии; в одном углу стоял бюст кельнского Валльрафа, а под ним висел высохший, как мумия, труп кошки, наступавшей своей передней лапкой на лицо нарисованного распятым Христа. Если кто-нибудь из моих читателей поедет когда-нибудь в Ксантен и попадет в этот единственный там отель, то пусть он спросит у любезного хозяина о его прекрасной античной гемме: у него изумительная, вырезанная в опале, Диана, стоящая больше, чем вся его коллекция картин.

В Ксантене надо не забыть осмотреть коллекцию древностей господина нотариуса Губера. Здесь собрано почти все, что было найдено и выкопано в местоположении *Castra vetera*. Коллекция интересна, но не содержит особенно художественных вещей, чего и следовало ожидать от такой военной стоянки, как *Castra vetera*. Немногочисленные найденные здесь красивые геммы разбросаны по всему городу; единственный, более крупный памятник скульптуры, это —

сфинкс, фута в три величиной, принадлежащий упомянутому выше хозяину гостиницы; он сделан из обыкновенного песчаника, плохо сохранился, но, впрочем, никогда не был красивым.

Я вышел за город и поднялся на песчаную гору, единственную естественную возвышенность обширной округи. На этой горе стоял, по преданию, замок Зигфрида. У опушки соснового леса я опустился на землю и стал смотреть на расположенный внизу город. Окруженный со всех сторон плотинами, он лежал в котловине, над краем которой величественно поднималась только церковь. Направо — Рейн, охватывающий широкими, сверкающими рукавами зеленый остров, налево, в голубой дали, Клевские горы.

Что захватывает нас с такой силой в сказании о Зигфриде? Не история сама по себе, не подлое предательство, жертвой которого становится молодой герой, а вложенная в него глубокая значительность. Зигфрид — представитель немецкой молодежи. Мы все, у которых бьется в груди еще не укрощенное условностями жизни сердце, мы все знаем, что это значит. Мы все чувствуем ту же жажду подвига, тот же бунт против традиций, который выгнал Зигфрида из замка его отца; нам бесконечно противны вечные колебания, филистерский страх перед новым делом, мы хотим вырваться на простор свободного мира, мы хотим забыть о благоразумии и бороться за венец жизни — подвиг. О драконах и великанах позабылись для нас филистеры, ими полна церковная и государственная жизнь. Но время уже не то; нас запирают в темницы, называемые школами, где мы, вместо того, чтобы драться самим, вызубриваем, точно в насмешку, во всех наклонениях и временах греческое спряжение глагола «драться»; а когда нас выпускают из школьной казармы, то мы попадаем в объятия богини нашего века — полиции. Полиция, когда думаешь; полиция, когда говоришь; полиция, когда ходишь, едешь верхом, катаешься; паспорта, виды на жительство, таможенные квитанции, — пусть чорт поберет всех великанов и драконов! Они нам оставили только тень подвига, рапиру вместо меча, а к чему нам все искусство фехтования рапирой, если его нельзя применить к мечу? А когда, наконец, вырываешься на волю, когда удается справиться с филистерством и индифферентизмом, когда жажда подвигов находит себе выход, то видите ли вы там, по ту сторону Рейна, башню Везеля? Цитадель этого города, называемая твердыней немецкой свободы, стала могилой немецкой молодежи, и она лежит как раз напротив колыбели величайшего германского юноши. Кто сидел там? Студенты, которые думали, что они недаром научились драться, vulgo дуэлянты и

демагоги. Теперь, после данной Фридрихом-Вильгельмом IV амнистии, мы в праве сказать, что эта амнистия — акт не только милости, но и справедливости. Примем все посылки, допустим, что государство обязано было выступить против этих союзов, однако все те, кто видит благо государства не в слепом послушании, не в строгой субординации, согласятся со мной, что обращение с участниками этих союзов требовало восстановления их чести и достоинства. Демагогические союзы были так же естественны во времена реставрации и после июльских дней, как теперь они невозможны. Разве кто-нибудь подавлял тогда всякое проявление свободного духа или назначал «провизорную» опеку над биением молодого сердца? И как обращались с этими несчастными! Разве можно отрицать, что именно этот случай ярко показывает весь вред и все ошибки бумажной, тайной судебной процедуры и доказывает бессмысленность того, что оплаченные *слуги государства*, а не независимые присяжные, судили по обвинениям в государственных преступлениях? Разве можно отрицать то, что приговоры произносились оптом, «гуртом», как выражаются купцы?

Но я спущусь к Рейну и послушаю, что рассказывают освещенные вечерней зарей волны родине Зигфрида о его могиле в Вормсе и о погруженном в водах сокровище. Может быть, добрая фея Моргана воздвигнет передо мной вновь замок Зигфрида и покажет мне, словно в зеркале, какие геройские подвиги суждены сыновьям его в XIX столетии.

ЭРНСТ-МОРИЦ АРНДТ.

Как верный Экарт былины, стоит старый Арндт у Рейна и предостерегает немецкую молодежь, не первый год заглядывающуюся на французскую Венерину гору и соблазнительных пылких девушек, на идеи, манящие с ее высоты.

Но неистовые юноши не слушаются старого богатыря и врываются туда — и не все остаются лежать, расслабленные и безвольные, как новый Тангейзер — Гейне.

Такова позиция Арндта по отношению к современной немецкой молодежи. Но как ни чтут его все высоко, его идеал немецкой жизни их не удовлетворяет; они хотят более свободной стихии, более полной, ликующей жизненной силы, пламенного, бурного пульсирования всемирноисторических артерий, в которых течет немецкая кровь. Отсюда симпатия к Франции, — не та симпатия подчинения, о которой грезят французы, а та более высокая и свободная, природу которой Берне так красиво развил в своем «Французоеде», — в противоположность тевтонской нетерпимости. Арндт чувствовал, что современность ему чужда, что она чтит не его за его взгляды, а его взгляды во внимание к его сильной мужественной личности. И для него, человека в течение ряда лет вознесенного талантом, мирозерцанием, как и духом времени, стало обязанностью оставить своему народу памятник своего развития, своего образа мыслей и своего времени, что он и сделал в своих напумевших «Воспоминаниях из моей жизни».

Отвлекаясь пока от тенденции книжки Арндта, следует заметить, что и с эстетической стороны она представляет интереснейшее явление. Давно мы уже не слышали в нашей литературе такой сосредоточенной, выразительной речи, достойной иметь длительное влияние на наше молодое поколение. Ведь есть авторы, по мнению которых существо современного стиля заключается в том, чтобы сгладить силу речи, облечь ее в мягкие формы, хотя бы даже рискуя впасть в женственность. Благодарю покорно, я предпочитаю мужественный костяк арндтовского стиля женской манере иного

«современного» стилиста, тем более, что Арндт счастливо избегнул чудачеств своих сотоварищей по 1813 году, и лишь злоупотребление превосходною степенью, свойственное южно-романским языкам, делает его речь иногда аффектированной. Той ужасной словесной мешанины, которая теперь в таком ходу, у Арндта искать нечего; он показывает, напротив, к какому минимуму можно свести заимствование из иностранных языков. Право, насмешки над крайностью пуристов не решают вопроса, и мы лучше выразим свои мысли чистым немецким языком без примеси французского или греческого элемента.

Займемся книгою ближе. Большую ее часть занимает нарисованная рукою мастера идиллия юношеского периода жизни. Навеки может быть признателен провидению тот, кто провел свои годы как Арндт. Не в пыли большого города, где радости одиночки подавляются интересами целого, не в детских приютах и филантропических тюрьмах, где гдохнут молодые побеги, нет, под открытым небом, в лесу и в поле природа формировала стального мужа, на которого изнеженное поколение дивится, как на северного богатыря. Большая пластическая сила, с которою Арндт излагает эту главу своей жизни, наводит на мысль, что пока наши писатели *переживают* такие идиллии, как Арндт, всякие идиллические *фантазии* совершенно излишни. Особенно чуждым покажется нашему веку юношеское самовоспитание Арндта, которое соединяет в себе германское целомудрие с спартанской строгостью. Но эту строгость, которая так наивно, без всякой примеси бахвальства, как у Яна, напеваает *hoc tibi proderit olim*, следует, как нельзя более, рекомендовать нашей мягкотелой молодежи. Хороша опора для отечества — молодежь, которая страдает водобоязнию, как бешеная собака, кутается при малейшем холоде и считает для себя честью освободиться, по слабосилию, от военной службы. Говорить о целомудрии в наше время, когда в каждом городе прежде всего осведомляются о «месте влачном, где те дома стоят», считается неприличным. Я, право, не абстрактный моралист, мне ненавистно всякое аскетическое уродство, никогда не брошу я камень в жертву любви, но мне больно, что серьезное нравственное чувство как будто грозит исчезнуть, и чувственность вылезает на первое место. Перед лицом Арндта практическая эмансипация плоти всегда должна будет покрываться краскою стыда.

В 1800 г. Арндт занимает избранную им кафедру. Полчища Наполеона наводняют Европу, и с могуществом императора француз растет и ненависть Арндта к нему; грейфсвальдский профессор протестует от имени Германии против угнетения и должен бежать.

Наконец, немецкая нация подымается, и Арндт может вернуться. Эта часть книги страдает излишнею сжатостью; Арндт скромно умалчивает о национальном ополчении и его деяниях. Вместо того, чтобы предоставить догадываться, что он не остался бездеятельным, ему следовало бы подробнее изобразить свое участие в движении того времени и рассказать в своем субъективном освещении историю тех дней. Позднейшая эпоха изложена еще короче. Достойны внимания здесь, с одной стороны, все более определенный наклон к ортодоксии в области религии и, с другой стороны, таинственная, почти верноподданническая и холопская манера, с которой Арндт говорит о своей отставке. Кого это неприятно поразило, тот мог, однако, убедиться из появившихся недавно в газетах объяснений Арндта, в которых он рассматривает свое восстановление должности как акт справедливости, а не как подарок милости, что он владеет старою своею убежденностью и решительностью.

Особенное значение, однако, приобретает книга Арндта благодаря одновременному изданию множества достопримечательных документов об освободительной войне. Таким путем опять живо выявляется перед нами та славная эпоха, когда германская нация через много столетий опять впервые поднялась и противопоставила всю свою мощь и величие чужеземному игу. И нам, немцам, следует неустанно помнить о тех боях, чтобы заставить бодрствовать сонливое наше народное сознание, — не в смысле, конечно, партии, которая мнит, что все уже свершила, и, успокоившись на лаврах 1813 г., самодовольно оглядывает себя в зеркале истории, но скорее в противоположном смысле. Ибо не свержение чужеземного ига, которое держалось только на плечах Атланта-Наполеона и, по своей противостественности, рано или поздно должно было пасть само собой, не «завоеванная свобода» была главнейшим результатом борьбы: он заключался в самом факте борьбы и одном ее моменте, ясно ощущавшемся всеми современниками от мала до велика. Что мы опомнились после потери национальных святынь, что мы вооружились, не ожидая всемилостивейшего дозволения князей, что мы даже заставили властителей стать во главе, словом, что было мгновение, когда мы выступили как источник государственной власти, как уверенный народ, — вот в чем было величайшее достижение тех годов! Поэтому после войны те люди, которые яснее всего это чувствовали и решительнее всех в этом направлении действовали, кажутся правительству опасными. Но как быстро эта движущая сила опять задремала! Проклятие раздробленности поглотило в пользу частей столь необходимую целому инерцию, расщепило всеобщую немецкую

стихию на массу провинциальных интересов и сделало возможным, чтобы государственная жизнь Германии обосновалась на базисе, подобном тому, какой себе создала Испания в конституции 1812 г. Напротив, теплый, весенний дождь общих обещаний, пролившийся на нас из «высших сфер», так растрогал наши подавленные пережитым унижением сердца, что мы, глупцы, и не подумали, что есть обещания, нарушение которых с точки зрения нации совершенно непростительно, но с личной точки зрения очень извинительно. Потом наступили конгрессы и дали немцам время выспаться после освободительного похмелья и проснуться у старого верноподданного корыта. Кто не утихомирился и не мог отучиться от мысли влиять на массы, того все силы эпохи гнали в тупик германского квасного патриотизма. Лишь немногие исключительные умы пробились сквозь лабиринт и нашли нить, ведущую к истинной свободе.

Немецкие германофилы хотели увенчать успех освободительной войны и вернувшую себе материальную независимость Германию освободить и от духовной гегемонии чужеземцев. Но именно потому такой патриотизм явился только отрицанием, и то положительное, чем он кичился, оставалось до конца неясным, а то, что выявлялось и становилось объектом рассуждения, оказывалось сплошным безумием. Все это мирозерцание было философски несостоятельно, ибо под его углом зрения весь мир был создан ради немцев, а сами немцы давно достигли высшей ступени развития. Неметчина была отрицанием, абстракцией в гегелевском смысле. Она создавала абстрактных немцев, отменяя все то, что не было истинно немецким на шестьдесят четыре поколения назад и не выросло из народных корней. Даже видимо положительное в ней было отрицательно, ибо повести Германию к ее идеалам можно было только путем отрицания целого тысячелетия и проделанной в нем эволюции; она хотела толкнуть нацию вспять в германское средневековье или даже в чистое древнее тевтонство из Тевтобургского леса. Крайности этого направления выразил Ян. Эта исключительность сделала немцев избранным народом, Израилем, и игнорировала все бесчисленные всемирноисторические победы, выросшие на немецкой почве. Больше всего иконоборческая ярость обрушилась на французов после ликвидации их нашествия, на их духовную гегемонию, которая, повидимому, базируется на том, что они легче всех других народов усваивают *форму* европейской образованности, цивилизацию. Великие, вечные результаты революции подверглись глумлению «как романская мишура» или даже «романская гниль»; никто не подумал о родственности этого гигантского народного дела с народным восстанием

1813 г.; все, что принес Наполеон: равноправие евреев, суд присяжных, здоровое частное право вместо схоластики пандектов — все это подверглось осуждению только из-за личности инициатора. Французоненавистничество стало обязанностью; всякое миросозерцание, умевшее стать на более высокую точку зрения, клеймилось иноземщиною. Таким путем патриотизм стал по существу отрицательным и в современной борьбе оставил отечество без защиты, изопрямся в то же время в изобретении коренных немецких высокопарных выражений взамен давно привившихся в немецком языке иностранных слов. Если бы это направление было конкретно немецким, если бы оно брало немца, как он есть, как продукт развития двухтысячелетней истории, если бы оно не проглядело существеннейший момент нашего назначения — стоять на страже истории Европы и идти вровень с развитием соседних народов, — оно бы избежало всех своих ошибок. Но, с другой стороны, нельзя не отметить, что германофильство было необходимою ступенью развития нашего народного духа и с последующею за ней ступенью образовало тот антитезис, на котором зиждется современное мирозозерцание.

Этой реакцией против германофильства был космополитический либерализм южно-немецких государств, который отрицал национальные различия и целью своей ставил образование великого, свободного, объединенного человечества. Он соответствовал религиозному рационализму, с которым имел общий источник в филантропии прошлого века, между тем как германофильство вело последовательно к религиозной ортодоксии, куда со временем угодили почти все ее приверженцы (Ардт, Стеффенс, Менцель). Односторонности космополитического свободомыслия достаточно часто указывались его противниками, правда, тоже с односторонней точки зрения, и мне незачем подробнее останавливаться на этом направлении. Июльская революция сначала, казалось, ему благоприятствовала, однако это событие было использовано всеми партиями. Фактическое уничтожение германофильства, или, вернее, творческой его силы, датирует с июльской революции и в ней было дано. Но в такой же мере — и крушение мирового гражданства, ибо европейское значение великой недели заключалось именно в восстановлении великодержавности французской нации, что побудило и другие национальности устремиться к более сильной внутренней спайке.

Уже до этого недавнего мирового потрясения два человека работали в тиши над развитием немецкого духа, современным, как его обычно называют, развитием, — два человека, которые при жизни почти игнорировали друг друга: *Берне* и *Гегель*; и лишь после их

смерти стало ясно, что они взаимно друг друга дополняли. Часто и совершенно несправедливо Берне клеймили космополитом: он был немцем больше, чем его враги. «Галлеские летописи» связали недавно тему «политической практики» с именем г. фон-Флоренкура; но какой же он ее представитель! Он стоит на той точке, где соприкасаются крайности германофильства и космополитизма, как это было со студенческими буршами, и позднейшие этапы развития национального духа лишь поверхностно его затронули. Берне — вот кто человек политической практики, и историческое его значение в том и заключается, что он вполне осуществил это свое призвание. Он сорвал с немецкого германофильства его спесивые мишурные одежды, но в то же время и безжалостно вскрыл пустоту космополитизма, питавшегося лишь бессильными благими пожеланиями. Он обратился к немцам со словами Сида: «Lengua sin manos, sueto ovas fablar?» («Язык без рук, как дроваешь ты говорить?») Никто не умел так изображать величие дела, как Берне.

В нем — все жизнь, все — мощь. Лишь про его писания можно сказать, что это — подвиги во имя свободы. Не говорите мне здесь об «определениях разума», о «конечных категориях». В подходе Берне к пониманию европейских национальностей и их определению нет ничего спекулятивного. Но Берне первый развил в правильном свете взаимоотношение Германии и Франции и этим оказал идею большую услугу, чем гегельянцы, которые в это время выучивали наизусть «Энциклопедию» Гегеля и думали, что этим отдали полную дань своему веку. Именно, читая Берне, вы убедитесь, как высоко он стоит над уровнем шаблонного космополитизма. Известная узость понимания была так же необходима Берне, как Гегелю — чрезмерный схематизм; но вместо того, чтобы понимать это, мы ничего не видим за грубоватыми и часто парадоксальными аксиомами «Парижских писем».

Рядом с Берне и ему в противовес Гегель, человек мысли, поставил перед нацией свою уже готовую систему. Власть не задала себе труда проникнуть в смысл темных формул системы и железного стиля Гегеля; как могла она знать, что из тихой гавани теории эта философия отважится пуститься в бурное море жизни, что она уж обнажает меч, чтобы ополчиться на практику существующего порядка? Ведь сам Гегель был такой солидный человек, ортодокс, и полемика его была направлена против неодобряемых государственной властью направлений, против рационализма и космополитического либерализма. Но господа, сидевшие у руля, не уразумели, что эти направления оспаривались лишь для того, чтобы дать место

высшему, и что новое учение должно сначала внедриться в национальное сознание, чтобы получить возможность свободно развернуть свои жизненные выводы. Когда Берне нападал на Гегеля, он был с своей точки зрения совершенно прав, но когда власть протезировала Гегелю, когда она возвысила его учение почти на степень прусской государственной философии, она попала впросак и теперь, повидимому, раскаивается в этом. И неужели Альтенштейн, вышедший действительно еще из более либерального периода и стоявший на более высокой точке зрения, имел такую свободу действия, что можно все поставить на его счет? Но как бы то ни было, когда, после смерти Гегеля, его доктрина подверглась свежему дыханию жизни, из «прусской государственной философии» выросли отпрыски, о каких не снилось ни одной партии. Штраус — в теологической области, Ганс и Руге — в политической останутся знаменами своего времени. Только теперь слабые, туманные пятна спекуляции превратились в светящиеся идейные звезды, долженствующие освещать путь движению века. Можно сколько угодно ставить в укор эстетической критике Руге, что она страдает трезвостью и схематизмом доктрины; заслугою его остается, что он развил политическую сторону гегелевской системы в ее соответствии с духом времени и вновь оживил интерес нации к системе. Ганс сделал это лишь косвенно, продолжив философию истории до нашего времени; Руге свободно высказал свободомыслие гегельянства; Кеппен стал рядом с ним; оба не побоялись вражды, продолжали идти своим путем, не останавливаясь даже перед опасностью раскола, и потому да будет хвала их дерзанию. Одушевленная, непоколебимая вера в идею, проникающая неогегельянство, есть единственная позиция, где свободомыслящие могут найти верный оплот, если поощряемая свыше реакция одержит над ними временно победу.

Таковы самые недавние моменты развития немецкого политического духа, и задача нашего времени заключается в том, чтобы завершить тенденции Гегеля и Берне. В младогегельянстве есть уже изрядная доля Берне, и не мало статей «Галлеских летописей» Берне охотно бы подписал. Но частью слияние мысли с делом недостаточно еще осознано, частью не проникло еще в нацию. Часто еще в равных лагерях Берне рассматривается как прямой контраст Гегелю; но точно так же, как мало практическое значение Гегеля для современности (не философское для всех времен) должно обсуждаться со стороны чистой теории его системы, так же мало подобает по отношению к Берне ограничиваться плоскою критикой его односторонностей и парадоксов, которых никто никогда не отрицал.

Я думаю, что в предыдущих строках достаточно охарактеризовал отношение германофильства к современности, и могу перейти к более детальному обсуждению отдельных его сторон, как их представил Арндт в своей книге. Глубокая пропасть, отделяющая Арндта от современного поколения, яснее всего видна в том, что для него в государственной жизни безразлично именно то, за что мы отдаем кровь и жизнь. Арндт объявляет себя решительным монархистом — ладно. Но конституционным ли или абсолютистским — об этом он даже не упоминает. Вот где центр разногласия: Арндт и вся его компания видят благо государства в том, что государь и народ привязаны друг к другу искренней любовью и сходятся в стремлении к всеобщему счастью. Напротив, для нас неизбежно, что отношение между правящими и управляемыми должно быть установлено на почве права раньше, чем может стать и остаться сердечным. Сначала право, потом справедливость. Какой государь был бы так плох, чтобы не любить своего народа и — я говорю здесь о Германии — не был бы любим своим народом уже потому, что он его государь? Но какой государь может похвалиться, что с 1815 года повел свой народ незаметно вперед? Не наше ли собственное дело — все то, чем мы обладаем, наше — вопреки контролю и надзору? Можно сколько угодно красноречиво говорить на тему любви государя и народа, и с тех пор, как великий автор «*Heil dir im Siegerkranz*» пел: «любовь свободного человека охраняет крутые высоты, где стоят государи», с тех самых пор на эту тему наговорено было бесконечно много всякого вздора. Можно было бы грозящий нам сейчас с известной стороны род правления назвать своевременной реакцией: патриональные суды для создания высшей знати, цехи для восстановления «почтенного» городского сословия, поощрение всех так называемых исторических ростков, т.-е., в сущности, старых отрубленных веток.

Но не только по этому пункту германофильство отдало в жертву решительной реакции свободу своей мысли. Ее конституционные идеи также нашептаны ей господами из «Берлинского политического еженедельника». Больно было видеть, как даже положительный, спокойный Арндт дал себя прельстить софистической мишурой «органического государства». Фразы об историческом развитии, использовании данных моментов, организме и т. д. должны были иметь для своего времени очарование, о котором мы не можем составить себе понятия, ибо мы видим, что это большею частью красивые слова, в которых нет серьезного соответствия их собственному значению. Поставим вопрос прямо по поводу всех этих жупелов: что вы понимаете под органическим государством? Такое, учреждения которого

развивались в течение столетий вместе с нацией и из нее, а не строились из теории. Очень хорошо. А в применении к Германии? Этот организм должен заключаться в том, что сочлены государства подразделяются на дворянство, горожан и крестьян вкупе со всем, что этому сопутствует. Все это должно заключаться в слове «организм» *in pise*. Какая жалкая, поворная софистика! Саморазвитие нации — разве это не похоже на свободу? Вы хватаетесь обеими руками и ловите весь гнет средневековья и старого режима. К счастью, это фокусничество нельзя поставить на счет Арндта. Не вы, приверженцы разделения сословий, а мы, его противники, хотим органической государственной жизни. Речь идет пока вовсе не о «построении из теории», дело касается того, чем хотят нас прельстить, — саморазвития нации. Мы одни относимся серьезно и искренне к нему; но те господа не знают, что всякий организм перестает быть органическим, коль скоро умирает: мертвые трупы прошлого они приводят в движение своими гальваническими токами и хотят нас уверить, что это не механизм, а жизнь. Они хотят способствовать саморазвитию нации и приковывают к ее ногам колодку абсолютизма, чтобы она быстрее подвинулась вперед. Они не хотят знать, что то, что они называют теорией, идеологией или еще бог знает как, давно уже перешло в плоть и кровь народа и частью уже вошло в жизнь, что в этом вопросе не мы, а *они* блуждают в области утопии. Ибо то, что на полстолетие раньше действительно было теорией, развилось со времени революции как самостоятельный момент в государственном организме. И, что важнее всего, разве развитие человечества не стоит над развитием нации?

А сословное общество? Средостение между горожанами и крестьянами отсутствует совершенно, даже историческая школа не смотрит на это серьезно: это средостение ставится только *pro forma*, чтобы сделать для нас более приемлемым обособление дворянства. Все вертится вокруг дворянства, с дворянством падает сословный строй. Но с устоями дворянства дело обстоит еще хуже, чем с его наличием¹. Наследственное, основанное на майорате, сословие по современным понятиям представляет архинелепицу.

Другое дело средние века! Тогда и в имперских городах (как, например, еще в Бремене) цехи и их привилегии были наследственными: там существовали поколения пекарей, поколения лудильщиков. И что — дворянская спесь по сравнению с сознанием: мои

¹ Mit dem Stande des Adels aber sieht es noch schlimmer aus, als mit seinem Bestande — непереводаемая игра слов. *Прим. ред.*

предки были пивовары до двадцатого колена. Дворянство представляет собой поколение мясников, или, по более повитической бременской терминологии, «костоломов», если исходить из установленного г. Фуке военного призвания дворянства, т. е. систематической бойни. Смешна претензия со стороны дворянства считать себя сословием, ибо по законам всех государств ему не принадлежит в качестве исключительного призвания ни военное дело, ни крупная земельная собственность. На всякой статье о дворянстве можно было бы поставить эпиграфом слова трубадура Гильома Пуатье: «эта песня посвящена пустякам». И так как дворянство чувствует свое ничтожество, ни один дворянин не может скрыть свою скорбь по этому поводу, начиная с многоумного барона фон-Штернберга и кончая малоумным фон-Альвенслебеном. Совершенно неуместна та терпимость, с которою предоставляют дворянству удовольствие считать себя чем-то особым, если оно не требует себе еще каких-нибудь привилегий. Ибо пока и поскольку дворянство будет представлять собою что-то особое, постольку оно захочет и должно будет иметь преимущества. Мы остаемся при нашем требовании: никаких сословий, но великая, единая, равноправная нация граждан!

Другое требование, предъявляемое Арндтом своему государству, — майораты, вообще аграрное законодательство, устанавливающее для земельной собственности неизменные отношения. И этот пункт заслуживает внимания, независимо от общего его значения, уже потому, что упомянутая современная реакция и в этом отношении грозит вернуть положение вещей к периоду до 1789 года. Ведь в самое недавнее время многим было даровано дворянство под условием основать майорат, гарантирующий благосостояние семьи. Арндт — решительный противник неограниченной свободы и деления земельной собственности: он предвидит, как неизбежное следствие, раздробление земли на мелкие участки, из которых ни один не сможет прокормить своего хозяина. Но он не видит, что именно полная свобода земельной собственности владеет средствами выравнивать опять в целом все то, что она местами, в частности, действительно выводит из равновесия. Между тем как запутанное законодательство большинства германских государств и столь же запутанные проекты Арндта никогда не устраняют возможности беспорядков в аграрных отношениях, но, в лучшем случае, только затрудняют их, они в то же время, при возникновении земельного неустройства, тормозят добровольное возвращение к должному порядку, вынуждают экстраординарное вмешательство государства и тормозят совершенствование этого законодательства множеством мелочных, но неизбежных

частных соображений. Напротив, свобода земли не может дать места ни одной крайности: ни превращению крупной земельной собственности в аристократию, ни раздроблению земельных угодий в слишком мелкие участки, теряющие свою полезность. Если одна чашка весов слишком опускается, то другая скоро концентрирует свое содержание и восстанавливает равновесие. И если даже земельная собственность переходит из рук в руки, я все же предпочитаю волнующийся мировой океан, с его великолепной свободой, маленькому озеру, с его спокойной поверхностью, с его миниатюрными волнами, прерываемыми на каждом шагу то откосом берега, то корнем дерева, то камнем. Разрешая учреждение майоратов, государство не только дает согласие на образование аристократии: нет, это сковывание земельной собственности, как и всякое неотчуждаемое наследственное право, работает прямо на революцию. Если лучшая часть земли закреплена за отдельными семьями и недоступна отдельным гражданам, не есть ли это прямой вызов народу? Разве одно поколение имеет право неограниченно распоряжаться собственностью всех будущих поколений, которую оно в настоящий момент пользуется и управляет? Разве свобода собственности не уничтожается таким хозяйничаньем, лишаящим всех потомков этой свободы? Разве институт майората не основан на взгляде на собственность, давно уже не соответствующем нашему сознанию? Разве такое прикрепление человека к земле может действительно сохраниться навеки? Впрочем, внимание, которое Арндт посвящает земельной собственности, вполне заслужено, и важность предмета была бы достойна обстоятельного обсуждения с высоты современности. Все прошлые теории страдают наследственной болезнью немецких ученых, усматривающих свою самостоятельность в том, чтобы каждый имел особую систему для себя.

Если реакционные стороны германофильства заслуживали более внимательного рассмотрения частью из-за почтенного мужа, защищающего их по убеждению, частью в связи с поощрением, которого они недавно удостоились в Пруссии, то другое его направление следует тем решительнее отвергнуть, потому что оно опять грозит восторжествовать среди нас: это — францужоненавистничество. Я не стану сражаться с Арндтом и прочими деятелями 1813 года, но низкопоклонническая беспринципная травля, поднятая теперь во всех газетах против французов, противна мне до глубины души. Нужна высокая степень верноподданности, чтобы из июльского трактата вынести убеждение, что восточный вопрос имеет для нас жизненное значение, или что Мегмет-Али представляет для нас

национальную опасность. С этой точки зрения Франция поддержкой египетского хедива совершила, конечно, по отношению к германской национальности такое же преступление, в каком провинилась в начале века. Печально, что уже в течение полугода нельзя взять в руки газету, чтобы не встретить вновь оживший раж французства. И для чего все это? Чтобы способствовать приросту владений русских и усилению торговой мощи англичан настолько, что они нас, немцев, окончательно задушат и раздавят. Принцип равновесия Англии и система России — вот наследственные враги европейского прогресса, а не Франция и ее движение. Но так как два германских государя сочли за благо присоединиться к договору, дело внезапно становится немецким, Франция — старым, безбожным романским наследственным врагом, а совершенно естественные меры вооружения действительно оскорбленной Франции — преступлением перед германской нацией. Глупая болтовня нескольких французских журналистов по поводу рейнской границы считается заслуживающей пространных возражений, которых французы, к сожалению, совсем не читают, и песню Беккера «Им его не видать!» хотят во что бы то ни стало сделать народным гимном. Я охотно отдаю дань успеху песни Беккера, совсем не хочу входить в рассмотрение поэтического содержания ее, я даже рад слышать такие немецкие мнения о левом берегу Рейна, но я все-таки вполне разделяю высказанное уже в этой газете мнение о том, как смешны потуги возвести скромное стихотворение в ранг национального гимна. «Им его не видать!»: стало быть, опять отрицательная формула. Неужели вы можете удовольствоваться отрицательною народной песней? Неужели немецкий патриотизм может найти опору только в полемике против всего иностранного? Текст «Марсельезы», несмотря на всю экзальтацию, — невысокого достоинства, но насколько благороднее здесь призыв через голову национальности к человечеству. И после того как Бургундия и Лотарингия у нас оторваны; после того как мы дали Фландрии стать французскою, Голландии и Бельгии сделаться независимыми; после того как Франция с захватом Эльзаса продвинулась уже до Рейна, и в наших руках осталась еще только относительно малая часть некогда немецкого левого берега Рейна, — мы не стыдимся становиться на ходули и вопить: а последней пяди вам не видать все-таки. О, немцы! Если бы французы забрали и Рейн, то мы с комической надменностью возгласили бы: «им его не видать, свободного Везера» и т. д. до Эльбы и Одера, пока Германия не была бы поделена между французами и русскими и нам бы оставалось только петь: «им его не видать, свободного потока немецкой

теории, доколе он спокойно катит свои волны в океан бесконечности, доколе на дне его плавают хоть одна непрактичная идейная рыба». И все это вместо того, чтобы раздрать на себе ризы и посыпать главу пеплом за грехи, из-за которых мы потеряли все эти прекрасные страны, за раздоры и предательство идеи, за провинциальный патриотизм, жертвующий целым из-за местного преимущества, и за национальное недомыслие. Правда, у французов превратилось в манию, что Рейн представляет их собственность, но единственным достойным немецкого народа ответом на это заносчивое требование является арндтовское: «Верните назад Эльзас и Лотарингию!»

Ибо я держусь, быть может, в противоположность многим, точку зрения которых я в остальном разделяю, того взгляда, что для нас обратное завоевание говорящего по-немецки левого берега Рейна — дело национальной чести, германизация отложившейся Голландии и Бельгии — политическая необходимость. Неужели мы можем допустить в тех странах окончательное подавление немецкой национальности, между тем как на востоке славянство подымается все с большей мощью? Неужели мы заплатим за дружбу Франции немецким характером лучших наших провинций? Неужели нам следует примириться с завоеваниями, не имеющими еще столетней давности, причем завоеватель не умел ассимилировать себе покоренного, и неужели мы должны считать договоры 1815 г. за решение мирового духа в последней инстанции?

Но, с другой стороны, мы не будем достойны эльзасцев, если не сможем дать им того, чем они располагают сейчас, — свободной общественной жизни в большом государстве. Нет сомнения, что нам придется еще раз померяться силами с Францией, и тогда будет видно, кто достоин левого берега Рейна. А до тех пор мы можем спокойно предоставить вопрос развитию нашей народности и мирового духа, до тех пор мы будем работать на пользу ясного взаимного понимания европейских наций и стремиться к внутреннему единству — первой нашей потребности и основе нашей будущей свободы. Пока наше отечество будет оставаться раздробленным, до тех пор мы — политический нуль, до тех пор общественная жизнь, правильный конституционализм, свобода печати и все прочие наши требования — одни благие пожелания, которым не суждено осуществиться до конца; вот к чему следует стремиться, а не к уничтожению французов.

Но все-таки германофильское «отрицание» все еще не выполнило своей задачи до конца: много еще осталось такого, что следует отправить во-свояси — за Альпы, за Рейн и Вислу. Русским мы

оставим пентархию, итальянцам — их папизм с его придатками, их Беллини, Доницетти и даже Россини, если они хотят его поставить на один уровень с Моцартом и Бетховеном, французам — их высокомерные отзывы о нас, их водевили и оперы, их Скриба и Адана. Мы прогоним туда, откуда они пришли, все эти нелепые чужеземные повадки и моды, все излишние иностранные слова; мы перестанем быть посмешищем для иностранцев и сольемся в единый, неделимый, мощный и — так хочет бог — свободный немецкий народ.

ВОСПОМИНАНИЯ ИММЕРМАНА. ¹

Известие о смерти Иммермана было тяжелым ударом для нас, жителей Рейнской области, не только вследствие значения его как поэта, но ввиду самой личности его, хотя об Иммермане, как личности, можно еще скорее, чем об Иммермане-поэте, сказать, что он только начинал развиваться. Он находился в своеобразном отношении к литературной молодежи, недавно объявившейся на Рейне и в Вестфалии: ведь в литературном отношении Нижний Рейн и Вестфалия, как они ни были до сих пор отличны в политическом отношении, составляют одно целое, и недаром «Рейнский ежегодник» является общим средоточием для авторов обеих провинций. Чем больше сторонился до сих пор Рейн политики, тем больше старались теперь рейнские поэты выступить в качестве представителей своей родины, действуя, правда, не по одному плану, но с устремлением к *одной* цели. Подобное устремление редко обходится без центральной, сильной личности, которой подчиняются младшие, не поступаясь нисколько своей самостоятельностью, — и этим центром для рейнских поэтов, казалось, собирался стать Иммерман. Несмотря на кое-какие предубеждения против жителей Рейнской области, он мало-по-малу натурализовался среди них; он открыто примирился с современным литературным направлением, к которому примкнула вся молодежь; в его произведениях, находивших все большее признание, повеяло новым, свежим духом. Благодаря этому все ширился круг молодых поэтов, собиравшихся вокруг него и прибывавших к нему из соседних местностей; сколько раз, например, Фрейлиграт, составлявший еще в Бармене фактуры и вычислявший текущие счета, закрывал гробух и мемориал, чтобы провести день-другой в обществе Иммермана и дюссельдорфских художников. И вот Иммерман занял видное место в зарождавшихся там и сям мечтах о рейнско-вестфальской школе поэтов; пока не выросла слава Фрейлиграта, он был связующим звеном между провинциальной и общегерманской литературой. Кто способен разбираться в подобных вещах, для того это уже

¹ Первый том. Гофман и Кампе, Гамбург 1840.

давно не составляло тайны; между прочим, год назад Рейнгольд Кестлин писал в «Европе», что Иммерману предстоит занять положение, которое занимал Гете на старости лет. Смерть разбила все эти надежды и мечты о будущем.

Несколько недель спустя после смерти Иммермана появились его «Воспоминания». Находясь в цвете мужского возраста, созрел ли он уже для того, чтобы писать свои мемуары? Его жизнь дает на этот вопрос утвердительный ответ, его книга — отрицательный. Но мы и не должны рассматривать «Воспоминания» как расчеты с жизнью старца, словно заявляющего этим о завершении своей жизненной карьеры. Иммерман подводил скорее итоги раннему, исключительно романтическому, периоду своей жизни, и поэтому над книгой этой веет какой-то иной дух, чем над произведениями того периода. К тому же огромные перемены, происшедшие за последнее десятилетие, отодвинули описанные в ней события в такую даль, что даже ему, их современнику, они должны были казаться чем-то отошедшим в историческое прошлое. И все же, мне кажется, можно утверждать, что десять лет спустя Иммерман сумел бы подойти свободнее, с более возвышенного пункта, к современности и ее отношению к оси его повествования — освободительной войне. Так или иначе, но «Воспоминания» приходится брать такими, какие они есть.

Если в «Эпигонах» прежний романтик стремился уже к высшему штандпункту гетевской пластики и спокойствия, если «Мюнхгаузен» уже целиком построен на основе современной стихотворной техники, то посмертное произведение Иммермана показывает еще с большей ясностью, как высоко он ценит новейшие литературные завоевания. Стиль, а также и форма восприятия совершенно современны; только более продуманное содержание, более строгая архитектоника, резко выраженное своеобразие характера и антисовременное, хотя и замаскированное настроение автора выделяют эту книгу из массы изображений, характеристик, мемуаров, бесед, ситуаций, состояний и т. д., которыми наводнена ныне наша, томящаяся по здоровой поэтической атмосфере, литература. При этом у Иммермана достаточно такта, чтобы редко привлекать к форуму рефлексии вещи, которые нуждаются в ином судилище, чем трибунал голого рас-судка.

Материалом для лежащего перед нами первого тома служит «Юность до двадцати пяти лет» и господствующие над ней влияния. Во вступительном «Обращении» самым точным образом объясняется характер всей вещи. С одной стороны, современный стиль, современные словечки, даже современные принципы, а с другой — особенности

автора, давно уже утратившие значение для широкого круга читателей. Иммерман пишет, — как он выражается довольно сухо, — для современных немцев, для тех, кто одинаково далек от крайностей немецкого национализма и космополитизма; нацию он понимает в совершенно современном духе и выставляет предпосылки, которые должны были бы привести к самоуправлению как назначению народа; он решительно высказывается против «недостатка веры в себя, мании прислуживаться и унижаться», которой страдают немцы. И наряду с этим у Иммермана особое пристрастие к пруссачеству, в пользу которого он может привести лишь очень слабые доводы, и холодное, равнодушное упоминание о конституционных стремлениях в Германии, ясно показывающее, что Иммерман все еще не уразумел единства современной духовной жизни. Мы ясно видим, что понятие современного не говорит его сердцу, ибо он восстает против известных моментов его, и в то же время он не может отказаться от этого понятия.

Собственно мемуары начинаются с «детских воспоминаний». Иммерман остается верен обещанию рассказывать лишь о тех моментах, когда «история совершала свое шествие через него». Вместе с ростом сознания мальчика растут и мировые события, поднимается колоссальное здание, свидетелем падения которого он будет. Волны истории, вначале бушующие вдали, разрушают в битве при Иене плотину Северной Германии, разливаются по самодовольной Пруссии, подтверждая правдивость изречения великого короля «*Argès moi le déluge*» также и для его государства и заливая родной город Иммермана — Магдебург. Эта часть книги лучшая; Иммерман сильнее в повествовании, чем в рассуждении, и ему отлично удалось изобразить отражение мировых событий в его собственном сердце. К тому же это как раз тот пункт, начиная с которого он открыто, — правда, только на время, — примыкает к делу прогресса. Для него как и для всех добровольцев 1813 г., Пруссия до 1806 г. представляет *ancien régime* этого государства, но та же Пруссия после 1806 г., — с чем теперь менее охотно согласятся, — совершенно возродившееся государство с новым порядком вещей. Но возрождение Пруссии это особая статья. В связи с прошлогодним юбилеем так прославляли первое возрождение Пруссии — дело Великого Фридриха, — что не понимаешь, как могло двадцатилетнее междуцарствие вызвать необходимость в повторении этого. А затем нас уверяют, что, несмотря на двукратное крещение огнем, ветхий Адам снова стал подавать заметные признаки жизни. Однако в рассматриваемом отделе Иммерман не утруждает нас прославлениями *status*

quo, и лишь дальше мы увидим, где пути Иммермана и нового времени расходятся между собой.

«Молодежь, до вступления ее в общественную жизнь, воспитывают семья, школа, литература. Но для рассматриваемого поколения четвертым средством воспитания был еще деспотизм. Семья опекает и оберегает молодежь, школа изолирует ее, а литература опять выводит ее на простор; нам деспотизм дал начатки характера». Умозрительная часть книги составлена согласно этой схеме, с которой трудно не согласиться, так как большим преимуществом ее является возможность рассматривать ход развития сознания в его последовательной градации. Отдел книги, посвященный семье, великолепен, пока дело идет о *старой* семье, и остается только пожалеть, что Иммерман не постарался больше связать в одно целое свет и тени. Все замечания его здесь в высшей степени удачны. Но зато его взгляд на *новую* семью показывает, что он все еще не освободился от предубеждений и недовольства явлениями последнего десятилетия. Конечно, «стародедовское чувство уюта», довольство домашним очагом все более и более уступает место недовольству, неудовлетворенности наслаждениями семейной жизни, но зато исчезают и филистерство домашнего обихода, нимб славы, окружавший ночной колпак, — и указываемые Иммерманом так правильно, хотя и слишком резко, причины недовольства являются именно симптомами борющейся еще, незаконченной эпохи. Эпоха до чужеземного господства была завершена и, как таковая, носила на себе печать покоя — но также и бездеятельности — и влачила свое существование с зародышами разложения. Наш автор мог бы коротко сказать: новая семья не может освободиться от некоторого неуюта потому, что к ней предъявляются новые требования, которые она не умеет еще соединить со своими собственными правами. Общество, — как соглашается и Иммерман, — стало другим; появился совсем новый фактор — общественная жизнь; литература, политика, наука — все это проникает теперь глубже в семью, и ей трудно найти место для всех этих чужих гостей. В этом все дело! Семья остается все еще слишком в старом стиле, чтобы столкнуться и наладить свои отношения с пришельцами, а здесь безусловно происходит возрождение семьи; мучительный процесс должен быть изжит, и мне кажется, что старая семья нуждалась в этом. Кроме того, Иммерман изучал современную семью как раз в самой живой, особенно подверженной современным влияниям, части Германии, на Рейне, и здесь наиболее резко проявились неприятные стороны переходного процесса. В провинциальных городах внутренней Германии семья продолжает себе поживать под сенью единospасающего

шлафрока; общество находится еще на уровне 1799 г.; от общественной жизни, литературы, науки отделяются спокойнейшим образом, потихоньку, так, чтобы не потревожить никого в его рутинности. В подтверждение сказанного им о старой семье автор приводит еще «педагогические анекдоты» и заканчивает повествовательную часть своей книги главой о «дяде», характерной фигуре старого времени. Воспитание, получаемое подрастающим поколением в недрах семьи, закончено: молодежь набрасывается на науку и литературу. Здесь начинаются менее удачные части книги. Что касается науки, то Иммерман имел с ней дело в то время, когда душа всякой науки, философия, и основа того, что давалось молодежи в виде духовной пищи, знание древности, были захвачены головокружительным переворотом, и Иммерману не удалось проделать в качестве ученика этот переворот до его конечной цели: когда последний закончился, Иммерман давно уже покинул школу. Он и говорит лишь, что учение в те годы было очень односторонним; в дальнейшем он касается, в отдельных главах, самых могучих интеллектуальных рычагов той эпохи. По поводу Фихте он ударяется в философию, что может показаться довольно странным нашим специалистам. Он вдается здесь в остроумные рассуждения о вещах, для понимания которых недостаточно остроумного и поэтического глаза. Как бы ужаснулись наши строгие гегельянцы, прочтя изложение истории философии на трех страницах! И действительно, трудно говорить о философии более дилетантским образом, чем это делает Иммерман. Уже первое утверждение его, будто философия всегда колеблется между двумя пунктами, отыскивая достоверность или в вещи, или в «я», — написано, очевидно, для изображения смены кантовской «вещи в себе» фихтевским «я»; и если с трудом его можно приложить еще к Шеллингу, то оно ни в коем случае не применимо к Гегелю. Сократ назван воплощением мышления, и именно поэтому за ним отрицается способность иметь свою систему; в нем соединились чистая теория с свободным от предрассудков погружением в эмпирию, и так как этот союз выходил из рамок понятия, то он мог проявиться только как личность, а не как учение. Поколение, выросшее под влиянием Гегеля, такие положения могут привести только в величайшее смущение. Разве философия не прекращается там, где согласие между мышлением и эмпирией «выходит из рамок понятия»? Какая логика сможет удержаться там, где бессистемность признается за необходимый атрибут «воплощения мышления»?

Но зачем следовать за Иммерманом в область, которую он сам хотел только перелететь? Достаточно указать, что он так же не-

удачно старается связать философию Фихте с его личностью, как он плохо справляется с философскими теориями прошлых веков. Зато он опять-таки превосходно рисует характер Фихте как оратора, обращавшегося к немецкому народу, и мономана гимнастики Яна. Эти характеристики проливают больше света на действующие силы и идеи, под влиянием которых находилась тогдашняя молодежь, чем длиннейшие рассуждения. Даже там, где Иммерман говорит о литературе, мы с большим интересом читаем описание отношений «молодежи, жившей двадцать пять лет назад», к великим поэтам, чем слабо обоснованное рассуждение, будто германская литература, в отличие от всех прочих своих сестер, имеет современное, неромантическое происхождение. Нельзя не считать искусственной попытку найти у Корнеля романтически-средневековые корни или же подходить с аналогичным масштабом к Шекспиру (за исключением сырого материала, который он заимствовал у средних веков). Не дает ли себя знать в этих утверждениях не совсем чистая совесть бывшего романтика, желающего избавиться от упреков в продолжающемся крипторомантизме?

И отдел о деспотизме — в частности наполеоновском — не доставляет удовлетворения. Гейневский культ Наполеона чужд народному сознанию, но вряд ли кого удовлетворит то, что Иммерман, претендующий здесь на беспристрастие историка, говорит как оскорбленный пруссак. От отлично чувствовал, что тут необходимо подняться над национально-германской и, особенно, прусской точкой зрения; поэтому он весьма осторожен в выражениях, пытается приспособиться по образу мыслей к современности и решается говорить лишь о мелочах и второстепенных вещах. Но постепенно он смелеет, сознается, что совсем не понимает, почему Наполеона причисляют к великим людям, развивает целую систему деспотизма и доказывает, что в этой профессии Наполеон был изрядным тупицей и бездарностью. Но не таким путем можно понять великих людей.

Таким образом, Иммерман, — если говорить не об отдельных мыслях, плохо связанных с его убеждениями, — в основном оказывается чуждым современному сознанию. Но его нельзя зачислить ни в одну из тех партий, на которые привыкли делить духовный status quo Германии. Он определенно отвергает то направление, к которому он кажется ближе всего, — тевтономанство. Известный иммермановский дуализм проявился как пруссачество, с одной стороны, как романтика — с другой. Но первое постепенно превратилось, в особенности у чиновника, в самую трезвую машиноподобнейшую прозу, а вторая — в какую-то бездонную напыщенность. Пока Им-

мерман не двигался с этого пункта, он не мог добиться настоящего признания и должен был все более и более убеждаться, что направления эти не только представляют полярные противоположности, но становятся все более чуждыми сердцу нации.

Наконец, он отважился на шаг вперед в поэзии и написал «Эпигонов». И лишь только это произведение покинуло прилавок издателя, как оно дало своему автору возможность понять, что препятствием к всеобщему признанию его таланта со стороны нации и молодой литературы было его прежнее направление. «Эпигоны» почти повсюду были оценены по достоинству и дали повод к непривычным для Иммермана рассуждениям о характере их автора. Молодая литература (если пользоваться этим названием для описания фрагментов того, что еще никогда не было целым) первая признала значение Иммермана, познакомив затем нацию с поэтом. Ввиду все обостряющегося разрыва между пруссачеством и романтической поэзией и сравнительно малой популярности своих произведений, Иммерман внутренне ожесточился, и на его произведениях произвольно все более и более сказывалась печать суровой изолированности. Теперь, когда он сделал шаг вперед, вместе с признанием на него снизошел и другой, более свободный, более веселый дух. Снова воскресло прежнее юношеское одушевление, и в «Мюнхгаузене» Иммерман приступил к примирению с практически-рассудочной стороной характера. Свои романтические симпатии, все еще сидевшие в нем, он утолил «Гисмондой» и «Тристаном»; но какая разница по сравнению с прежними романтическими стихотворениями, сколько пластичности по сравнению с «Мерлином»!

Вообще, романтика была для Иммермана только формой; от мечтательности романтической школы его спасала трезвость пруссачества, но последняя, с другой стороны, сделала его в известной мере невосприимчивым к процессу развития общества. Известно, что Иммерман в религиозном отношении был очень свободомыслящим человеком, но в политическом отношении он был слишком ревностным приверженцем правительства. Правда, благодаря своим отношениям к молодой литературе он приблизился к политическим стремлениям века и познакомился с ними с другой стороны, но, как показывают «Воспоминания», пруссачество сидело в нем еще крепко. Все же именно в этой книге встречается масса заявлений, так резко контрастирующих с основными воззрениями Иммермана и так связанных с современной основой, что приходится признать значительное влияние на него современных идей. «Воспоминания» определенно свидетельствуют об усилиях их автора итти нога в ногу с его веком, и, кто

знает, не подмыл ли бы поток истории постепенно консервативно-прусскую плотину, за которой основался Иммерман?

И еще одно замечание! Иммерман говорит, что характер той эпохи, которую он описывает в «Воспоминаниях», был по преимуществу юношеским: юношеские мотивы и юношеские настроения заговорили тогда. Но разве не то же самое наблюдается в наше время? Старое литературное поколение сошло в могилу, орудием слова завладела молодежь. Наше будущее зависит, больше чем когда бы то ни было, от подрастающего поколения, ибо ему придется решать накапливающиеся все больше и больше противоречия. Правда, старики страшно жалуются на молодежь, и действительно она очень непослушна; но пусть они идут своим путем: она выправится, а те, кто заблудятся, те будут сами виновны в этом. Пробным камнем для молодежи служит новая философия; требуется пробиться через нее, проникнуться ею, не теряя в то же время молодого энтузиазма. Кто страшится лесных дебрей, в которых расположен дворец идей, кто не пробивается через них силой меча и не будит поцелуем спящей царевны, тот недостойн ее и ее царства; он может стать сельским пастором, купцом, ассессором или чем он хочет, он может жениться, наплодить исправно детей, но век не признает его своим сыном. Вы не должны для этого обязательно стать старогегельянцем, сыпать терминами «в себе», «для себя», «целокупность», «посюсторонность» и проч., но вы не должны бояться работы духа, ибо подлинен лишь тот энтузиазм, который, подобно орлу, не боится мрачных облаков спекуляции и разреженного воздуха верхних слоев абстракции, когда дело идет о том, чтобы полететь навстречу солнцу истины. В этом смысле и современная молодежь прошла школу Гегеля; не одно семя из засохших коробочек системы вошло великолепно в молодой груди. Но это и придает современности особенную уверенность, что судьба ее зависит не от боящегося дел благоразумия, не от вошедшего в привычку филистерства старости, а от благородного, неукротимого огня молодости. Поэтому будем бороться за свободу, пока мы молоды и полны огненной силы; кто знает, окажемся ли мы способными на это, когда к нам подкудается старость!

СКИТАНИЯ ПО ЛОМБАРДИИ.

I. ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ.

Слава богу, что Базель у нас за спиною! Такой сухой и скучный город, переполненный праздничными сюртуками, треуголками, филистерами, патрициями и методистами, в котором нет ничего свежего и крепкого, кроме деревьев вокруг кирпично-красного собора и красок на гольбейновских «Страстях», висящих, среди других картин, в здешней библиотеке; такая дыра со всеми уродствами средневековья, но без его красот, не может понравиться юной душе, которую волнуют мечты о швейцарских Альпах и Италии. Быть может, переход от Германии к Швейцарии, от ласкового, обрамленного виноградниками, маркграфства баденского к Базелю затем так безнадежно уныл, чтобы после него впечатление от Альп было особенно глубоким? Местность, которую мы теперь проезжаем, тоже не отличается большой красотой. Справа — последние отроги Юры, хотя зеленые и свежие, но лишенные выразительности; слева — узкий Рейн, который как будто тоже содрогается при виде Базеля, — так медленно крадется он по долине; а по ту сторону Рейна — еще кусочек Германии. Мало-по-малу мы удаляемся от зеленой реки, дорога идет в гору, и мы поднимаемся на самый крайний хребет Юры, который вдвигается между Аарой и Рейном. Сразу меняется весь ландшафт. Перед нами лежит облитая солнцем веселая долина, — нет: три, четыре долины; Аара, Рейс, Лиммат, видимые на далекие расстояния, извиваются меж холмов и сливаются друг с другом; сёла и городишки обступают их берега, а вдали, за рядами передних холмов, поднимается одна горная цепь за другой, как скамьи гигантского амфитеатра; сквозь туман, реющий над самыми отдаленными зубцами, там и сям сверкает снег, а над множеством вершин высится Пилат, словно он вершит суд, как некогда прокуратор Иудеи, давший ему имя. Это — Альпы!

Быстро спускаешься под гору, и лишь теперь, вблизи от Альп, замечаешь, что ты в Швейцарии. Вместе с швейцарской природой

появляются швейцарские костюмы и постройки. Язык звучит красивей и одухотворенней, чем базельский диалект, которому комфортабельность патрицианской городской жизни сообщила какую-то материальную тяжеловесность; лица становятся свободней, открытей, живей, треуголка уступает место круглой шляпе, скюртук с длинными фалдами — короткой бархатной куртке. Мы скоро оставляем за собой городок Бругг и, не меняя дороги, пересекаем быстрые, зеленые реки; на лету охватывая взором целый ряд очаровательных, быстро сменяющихся ландшафтов, мы покидаем Аару и Рейс вместе с Габсбургом, который глядит вниз со своей лесистой вершины, и въезжаем в долину Лиммата, с которой уже не расстанемся до Цюриха.

В Цюрихе я должен был пробыть целый день, а по пути в обетованную страну немецкой молодежи остановка на день — уже значительный срок. Чего мог я ждать от Цюриха? Можно ли было надеяться на то, что сделанный мною перерыв оправдается? Признаюсь: со времени сентябрьской истории, со времени победы пффеффиконских стражей Сиона, я не мог представить себе Цюрих иначе, как вторым Базелем, и с ужасом думал об обреченном дне; об озере я в своей невинности совсем не вспомнил, тем более, что ливни, которые после длинного ряда солнечных дней нагнали меня, наконец, между Базелем и Цюрихом, сулили мне мокрый день. Но когда при пробуждении я увидел голубое утреннее небо над пронизанными солнцем горами, я быстро вскочил и вышел на улицу. Бродя на-авось, я подошел к чему-то вроде террасы, окруженной со всех сторон насаждениями и увенчанной старыми деревьями. Из надписи на деревянной доске я узнал, что передо мной общественный парк, и бодро поднялся наверх. Тут я увидел перед собой озеро, сверкавшее в утреннем сиянии, дымившееся ранним туманом и окруженное густо поросшими горами, и в первое мгновение не мог отделаться от наивного изумления перед существованием такой поразительно красивой местности. Один любезный житель Цюриха, к которому я обратился, сказал мне, что с вершины Ютлиберга открывается такой чудесный вид, что цюрихские жители называют его маленьким Риги, — и не совсем без основания. Я взглянул на вершину, — она была самой высокой из цепи, тянувшейся по юго-западной стороне озера, и вообще выше всех окрестных гор. Я осведомился о дороге и, не мешкая, пустился в путь. После полуторачасового хода я был наверху. Озеро расстиралось подо мною во всю свою длину, со всей своей зелено-голубой игрой красок, с городом и бесчисленными домами на своих холмистых берегах, а там, по ту сторону Альбиса, долина с зелеными лужайками,

в которую с гор спускались светлые дубняки и темные ельники,— зеленое море, покрытое холмами, как волнами, среди которых дома лежали, как корабли, а на юге, у горизонта, — сверкающая цепь глетчеров, от Юнгфрау до Сентима и Юлия; сверху же, с синего неба, майское солнце изливало потоки своих лучей на празднично обрядившуюся землю, так что озеро, поля и горы сверкали одно другого ярче, и не было конца великолепию.

Устав созерцать, я вошел в деревянный дом, стоящий на вершине, и попросил, чтобы мне дали что-нибудь выпить. Мою просьбу удовлетворили и вместе с тем вручили мне книгу для гостей. Всем известно, чем заполнены подобные книги; каждый филистер считает их орудиями своего увековечения и пользуется случаем, чтобы передать потомству свое никому не ведомое имя и ту или другую из своих безнадежно-тривиальных мыслей; чем он ограниченнее, тем более длинными замечаниями сопровождает он свое имя. Купцы стремятся доказать, что на-ряду с кофе, ворванью или хлопком в их сердце сохранено местечко для красавицы-природы, которая создала все это и, в придачу, золото; женщины изливают в них потоки своих чувств, студенты — свое веселье и свою насмешливость, а умудренные знаниями и опытом школьные учителя выдают природе высокопарный аттестат зрелости. «Чудный Ютлиберг, опасный соперник Риги!» — так начал свое цитероновское обращение какой-то доктор несвободных искусств. Я с раздражением перевернул страницу и оставил непрочитанными всех немцев, французов и англичан. И вдруг мне на глаза попался сонет Петрарки на итальянском языке, который в переводе звучит приблизительно так:

Я поднят был мечтой к жилищу милой.
Та, что ищу я на земле напрасно,
Мне ласковой и ангельски прекрасной
Предстала в сфере третьего светила.

Дав руку мне, она проговорила:
«Нас здесь разъединить судьба не властна;
Я — та, что мучила тебя всечасно
И до заката день свой завершила.

Ах, людям не понять, как я блаженна!
Тебя лишь жду и мой покров, тобою
Любимый и оставшийся в юдоли».

Зачем она умолкла так мгновенно?
Еще бы звук, — и, прелестью святою
Пронзен, я б с неба не вернулся боле.

Вписал его в книгу некий Иоахим Трибони из Генуи; я сразу почувствовал в нем друга, ибо на фоне остальных, пустых и бессмысленных, записей сонет этот выделялся особенно ярко, подействовал на меня особенно сильно. Кто ничего не чувствует перед лицом природы, когда она разворачивает перед нами все свое великолепно, когда дремлющая в ней идея, если не просыпается, то как-будто погружена в золотые грезы, и кто способен лишь на такое восклицание: «как ты прекрасна, природа!» — тот не в праве считать себя выше серой и плоской толпы. У более глубоких натур при этом всплывают наружу личные недуги и страдания, но лишь с тем, чтобы раствориться в окружающем великолепии и обрести благостное разрешение. Это чувство примирения не могло найти себе лучшего выражения, чем в приведенном сонете. Но еще одно обстоятельство сблизило меня с этим генуэзцем: уже *кто-то* до меня принес на эту вершину свою любовную муку, и я стоял здесь не один с сердцем, которое месяц тому назад было так бесконечно счастливо, а ныне чувствовало себя разорванным и опустошенным. И то сказать, какая мука имеет большее право излиться перед лицом прекрасной природы, чем самая благородная, самая возвышенная и самая индивидуальная из мук — мука любви?

Я еще раз оглядел зеленые долины и спустился с горы, чтобы внимательно рассмотреть город. Он расположен амфитеатром вокруг узкого рукава озера и, если смотреть на него с воды, представляет вместе с окружающими его деревьями и виллами столь же очаровательное зрелище. Улицы щеголяют красивыми новыми зданиями, но это — новость, как я установил из разговора с одним стариком-путешественником, который не мог надивиться на то, до какой степени похорошел старый Цюрих за последние шесть лет и какой блеск придало предыдущее правительство внешнему облику республики постройкой общественных зданий. Теперь, когда определенная партия систематически забрасывает грязью труп этого правительства, уместно напомнить, что оно при своей жизни не только проявило исключительное в наше время мужество, призвав в университет такого человека, как *Штраус*, но с честью выполнило и другие свои обязанности.

На следующее утро мы двинулись на юг. Сперва дорога шла вдоль озера до Рапперсвилля и Шмерикона — чудесный путь сквозь сады, виллы и живописно расположенные, окруженные виноградниками деревни; по ту сторону озера — длинный темно-зеленый хребет Альбиса с своими пышными предхолмьями, а по направлению к югу, где горы расступаются, ослепительные пики Гларнских Альп. По-

среди озера всплывает остров — Уфнау, могила Ульриха фон-Гуттепа. Так бороться за свободную идею и так отдыхать от бранных трудов, — блажен, кто этого удостоился! Вокруг могилы героя журчат зеленые волны озера, словно шум далекой битвы, а на страже стоят, закованные в лед, вечно юные великаны — Альпы. И сюда, в качестве представителя германской молодежи, приходит паломником Георг Гервег, чтобы возложить на могилу свои песни, в которых прекраснее, чем где бы то ни было, выражены чувства, одушевляющие новое поколение. Какие памятники и статуи могут сравниться с этим?

В Уцнахе, куда свернула дорога, после того как она покинула озеро, была ярмарка, и империял почтовой кареты, на котором до сих пор я сидел один, наполнился ярмарочными гостями, которые мало-по-малу поддались действию проведенной без сна ночи и, заснув, дали мне возможность наедине погрузиться в созерцание. Мы въехали в чудную долину: нежно очерченные холмы с зелеными лужайками и лесистыми венцами окружили нас; впервые увидел я здесь на близком расстоянии своеобразно нюансированную зелень швейцарских лесов, наполовину лиственных и наполовину хвойных, и не в состоянии передать того глубокого впечатления, которое она на меня произвела. Соседство листвы и хвои, ярко выявляющее как светлые, так и темные оттенки зелени, придает даже однообразным ландшафтам огромную прелесть, и если в данном случае соотношение гор и долины не отличалось большой оригинальностью, то очаровательна была неожиданность очутиться в местности, вся красота которой основана на колорите. Величие и строгость природы мне пришлось созерцать еще не раз, прежде чем я поднялся на вершину альпийского хребта; но эту ласковую прелесть я вновь увидел лишь на итальянском склоне.

Скоро, однако, я очутился у подножия более крупных гор, вершины которых, хотя и ниже снеговой линии, все же теперь, в мае, были белы. То через узкие, то через более широкие долины дорога шла вдоль канала, соединяющего Цюрихское озеро с Валленштеттским. Это последнее скоро открылось моему взору. Здесь ландшафт совсем иной, чем у Цюрихского озера. Почти неприступным лежит водоем между крутыми скалами, которые поднимаются прямо из воды и лишь при входе и выходе оставляют узкое отверстие. Плохонький пароход принял почтовых пассажиров, и скоро за сдвинувшимися горами исчез Везен — городок, где мы пересели. Все следы человеческой деятельности остались позади, одинокий пароход все дальше и дальше углублялся в дикую чащу, в тихое царство природы; в ярком

солнечном свете сверкали зеленые гребни волн, снежные вершины гор и то там, то сям низвергавшиеся с них водопады; между бело-серыми гранитными стенами время от времени, смеясь, показывались лесные прогалины и лужайки; тонкие пелены тумана, поднимавшиеся с озера, превращались вдали, среди гор, в мягкие фиолетовые тени. Это была одна из тех местностей, которые почти заставляют человека персонифицировать природу, как мы это видим в народных сказаниях, где исполосованные расселинами скалы с своими снежными венцами принимают облик изборожденных морщинами, среброкудрых старцев, а над поверхностью прозрачных вод всплывают зеленые волосы очаровательных русалок. Понемногу расступились теснящиеся стены, покрытые густым кустарником каменные выступы вдали в озеро, сквозь воздух сверкнула белая полоска, — это были дома Валленштетта, расположенного в конце озера. Мы вышли на берег и весело направились к Хуру, в то время как над нашими головами нависла скалистая цепь, самые высокие пики которой называются Семью Курфюрстами. Эти почтенные мужи так торжественно сидели в своих окаменелых горностаевых мантиях и с повлащенными вечерним солнцем снежными коронами, как если бы они собрались в Франкфуртской ратуше для избрания императора, глухие к крикам теснящейся у их ног толпы, — населения всей священной римской империи, конституция которой с течением времени так же окаменела, как и эти семь ее представителей. Такие, данные народом, прозвища свидетельствуют о том, какими немцами с головы до пят являются швейцарцы, сколько бы они этого ни отрицали. Быть может, я впоследствии еще вернусь к этой теме и поэтому сейчас не буду подробнее останавливаться на ней.

Все дальше и дальше углублялись мы в чашу скал, все реже и реже встречались места, где человеческая рука придала дикой природе более ласковый облик; подобно ласточкину гнезду висел замок Саргана на крутой скале, и лишь у Рагаца деревья смогли найти достаточно земли на скалах, чтобы покрыть их густой растительностью. И здесь также висит замок над самым обрывом, но он совершенно разрушен. Таких замков — следов кулачного права — не мало на перевалах, ведущих из одной долины в другую. Около Рагаца долина широко раскрывается, горы почтительно отступают перед юным речным генцем, который мощно пробил себе дорогу сквозь гранитные массы у Гстарда и Шплюгена и теперь мужественно и гордо шумит навстречу своей судьбе; это — Рейн, который мы вновь приветствуем. В широком русле торжественно катится он по камням и песку, но по далеко разбросанному щебню можно судить, как

дико кидается он, когда ему надоедает уютный покой и в нем пробуждается жажда разрушения. Начиная отсюда, долина его образует дорогу к Хуру и дальше, к Шплюгенскому перевалу.

В Хуре уже начинается смещение языков, которое царит повсюду на самом высшем из Альпийских хребтов. На дворе почтовой конторы раздавались вперемежку немецкие, романские и итальянские (на ломбардском диалекте) возгласы. О романском языке, на котором говорят горцы Граубюндена, лингвисты высказывали самые разнообразные мнения, но все еще на нем лежит печать таинственности. Некоторые считают его самостоятельным романским языком, другие находят в нем французские элементы, не смущаясь вопросом, откуда они могли в него проникнуть. Однако, чтобы хоть сколько-нибудь подробно изучить этот диалект, необходимо прежде всего сравнить его с соседними наречиями. До сих пор этого не делали. Судя по тому, что мне при быстром проезде удалось установить на основании бесед с владеющими этим языком людьми, словообразование его весьма напоминает словообразование соседнего ломбардского наречия, и отличается он от него лишь диалектическими особенностями. То, что принимали за французское влияние, можно встретить и на юге, по ту сторону Альп.

На следующее утро мы отправились из Хура вверх по течению Рейна, вдоль широкой долины, окруженной дикими скалами. Через несколько часов из утреннего тумана поднялась отвесная стена, увенчанная скалистыми выступами, и стала поперек дороги. Долина перед нами оказалась как-будто замурованной, и мы могли двигаться лишь по узкому ущелью. Перед нами выросла узкая белая башня; это была башня Тусиса или, как говорят ломбардцы, Тосаны, т. е. города девушек. Он чудесно расположен в тесной котловине, стены которой образованы отвесными скалами, из которых самая недоступная несет на себе развалины Гогенретийского замка. Нет большей изолированности, чем та, на которую обрекла природа это селение, и все же люди и здесь оказались сильнее природы; как бы издеваясь над ней, провели они главную дорогу через Тусис, и ежедневно здесь проезжают англичане, купцы, туристы. За Тусисом мы начали подниматься и до наступления вечера должны были перевалить через Альпы. Я покинул карету и, подкрепившись бутылкой вельтменского вина, которое здесь особенно высокого качества, двинулся пешком по дороге. Такой дороги нет нигде на земном шаре. Врубленная в нависающие скалы, она вьется по ущельям, которые проложил себе Рейн. Отвесные гранитные скалы обступили дорогу, которую кое-где не достигает и полдневное солнце, а глубоко внизу, через груды

камня, с громовым шумом мчится горный поток, с корнем вырывая сосны, волоча за собой исполинские камни, как расвирепевший титан, которому на грудь кто-то из богов бросил две горы, — словно сюда бежали последние, упрямые горы, не пожелавшие подчиниться всеокрушающему господству человека, и остановились здесь в боевой готовности, чтобы отстаивать свою свободу. Неподвижным, наводящим ужас взором встречают они путника, и кажется, что слышишь их голос: «Иди сюда, человек, поднимись, если имеешь решимость, на наши макушки и закидай семенами борозды наших морщин; но здесь, наверху, тебя охватит чувство своего ничтожества, почва заколеблется под твоими ногами, и ты свергнешься вниз, со скалы на скалу! Строй свои дороги между нами; ежегодно наш союзник Рейн будет спускаться, раздуваемый гневом, и разрушать твою работу».

Это противоположение сил природы и человеческого духа нигде не отличается такой грандиозностью, — я бы даже сказал: сознательностью, — как именно здесь. Беспремерная жуткость дороги и опасности, которые когда-то были связаны с переходом в этом месте через Альпы, дали этому перевалу прозвище *Via mala*. Теперь, правда, дело обстоит иначе. Дух и здесь победил природу, и, как связующая лента, тянется от скалы к скале безопасная, удобная и почти неразрушимая дорога, которая служит во все времена года. И все же, при виде угрожающих скал, трудно превозмочь чувство страха: кажется, что они угрюмо помышляют о мести и об освобождении.

Но мало-по-малу ущелье раздвигается, громкие водопады становятся реже, русло Рейна, которое часто должно было прокладывать себе путь сквозь теснины шириной в несколько вершков, расширяется, стены становятся менее отвесными и все более отступают назад, открывается зеленая долина, и посреди этой первой террасы Шплюгена расположен Андер, — местечко, которое знакомо жителям Граубюндена и Вельтлина как курорт. Растительность становится здесь уже гораздо менее скудной, что особенно сильно бросается в глаза, так как от Тусиса досюда не было ни кустарника, ни травы, и лишь по крутым скалам карабкались ели. И все же так отрадно было после этих суровых, серо-коричневых гранитных стен увидеть, наконец, зеленый луг и свежую рощу долины. Сейчас же за Андером дорога бесконечными зигзагами стала подниматься вверх; я вышел из кареты и по ускользающим из-под ног камням, сквозь кустарники и вьющиеся растения вскарабкался туда, где дорога повернулась к другому склону горы. Глубоко подо мной лежала зеленая до-

лина с извивавшимся по ней Рейном, шум которого снова подымался ко мне. Еще один прощальный взор вниз, и дальше в путь! Дорога привела меня в котловину между упирающимися в самое небо покатыми скалами, — опять в одну из уединеннейших местностей земного шара. Я облокотился о каменную ограду и стал глядеть на Рейн, который под темнолиственными деревьями образовал водоем. Спокойная велевая гладь, над которой склонялись ветки, осеняя множество укромных уголков, высокие мшистые скалы, там и сям играющие лучи солнца — во всем этом было какое-то невыразимое очарование. Журчанье успокоившейся реки звучало почти как понятный язык, как лепет тех прекрасных дев-лебедей, которые прилетают из-за далеких гор и в уединенном месте сбрасывают с себя лебединое оперенье, чтобы искупаться под зелеными ветвями в холодных, как снег, волнах. Но в то же время раздавался гром водопадов, как разгневанный голос речного духа, который бранит их за неосторожность, так как они ведь знают, что должны будут пойти за тем, кто похитит их лебединые покровы, а там свади уже подвезжает почтовая карета, полная глазающих пассажиров, да и вообще не пристало женщинам, даже если они романтические девы-лебеди, купаться у проезжей дороги. Но прекрасные русалки поднимают на смех пугливого старика, потому что знают, что их видит лишь тот, кому открылась мечтательная жизнь природы, и что он не сделает им ничего дурного.

Становилось все прохладнее среди гор; поднимаясь, я около полудня натолкнулся на первый снег, и вдруг на меня, разгоряченного быстрым подъемом под палящим солнцем, повеяло заметно холодным воздухом. Это была температура второй террасы этого перевала, на которой лежит деревня Шплуген — последнее место, где говорят по-немецки, — среди высоких гор, из зеленых стен которых выступают темно-коричневые пастушьи хижины. В доме, уже совсем итальянском по своей стройке, в котором до самого верхнего этажа были лишь каменные полы и толстые каменные стены, мы пообедали, после чего отправились дальше вверх почти по отвесной стене. В лесистом ущельи, между последними деревьями, которые я видел по эту сторону Альп, лежала лавина — широкий снежный поток, спустившийся с неприступной вершины. Еще небольшой подъем, — и нам стали встречаться пустынные ущелья, в которых под твердым снежным сводом гремят горные ручьи и стоят голые скалы, едва прикрытые мохом. Все выше, все более широкими пеленами лежал снег. На самом верху дорога пробивалась сквозь толстый — в три или четыре раза выше человеческого роста — слой снега. Каблуками я выбил себе ступени в снеговой стене и поднялся наверх. Передо мной

открылась обширная белоснежная равнина, посреди которой возвышалась крыша — австрийская таможня, первое здание на итальянском склоне Альп. Осмотр наших вещей, во время которого мне удалось скрыть мой варинский табак от взоров пограничной стражи, дал мне время осмотреться. Со всех сторон — голые, серые скалы с покрытыми снегом вершинами, равнина, на которой из-за снега не видно ни одного стебля и, уже издавна, ни одного куста или дерева, — словом, страшная пустыня, над которой, скрещиваясь, проносятся итальянские и немецкие ветры, то и дело сгоняя в кучу серые облака, — пустыня более безотрадная, чем Сахара, и более проваическая, чем Люнебургская равнина, местность, где из года в год девять месяцев идет снег, а три месяца — дождь. Таков был первый итальянский ландшафт, который я увидел. Но вот путь пошел быстро под гору, снег исчез, и где вчера едва растаяла белая зимняя пелена, уже сегодня расцветали желтые и голубые крокусы, начинала зеленеть трава, вновь стали появляться кусты, потом деревья, среди которых с шумом неслись вниз водопады, а глубоко в долине, полной фиолетовых теней, бежал пенящийся Лиро, снежный блеск которого светился из-за темных каштановых аллей; воздух делался все теплей и теплей, хотя солнце уже зашло за горы, а в Кампо Дольчино мы уже очутились если не в подлинной Италии, то, во всяком случае, среди подлинных итальянцев. Целой толпой собрались обитатели деревушки вокруг нашей кареты и на своем носовом ломбардском диалекте болтали о лошадях, упряжи и пассажирах; у всех у них были настоящие романские лица с энергичным выражением, обрамленные черными, густыми волосами и бородами. Мы двинулись дальше, вниз по течению Лиро, среди лугов и лесов, между бесчисленных гранитных глыб, которые нивесть когда свалились с альпийских вершин и на светло-зеленых лужайках представляли удивительное зрелище своими острыми и черными выступами и ребрами. Перед нами проносится ряд очаровательных, прислонившихся к скалам деревень с их стройными, белоснежными колокольнями, — среди них Санта Мария ди Галиваджо; наконец, открывается долина, в одном из углов которой возвышается башня Киавенны, — или, по-немецки, Клевена, — одного из главных городов Вельтлины. Киавенна уже совсем итальянский город с высокими домами и узкими улицами, на которых повсюду слышишь взрывы ломбардской страстности: *fiocul d'ona*, *putana porco*, *della Madonna*, и т. д. В то время как мы сидели за итальянским ужином с вельтминским вином, солнце закатилось за Ретийские Альпы; австрийская почтовая карета с итальянским кондотьером в сопровождении карабинера повезла нас к оверу Комо. Полная луна

глядела с темно-синего неба, там и сям зажигались звезды и разгоралась вечерняя заря, золотя горные пики. На землю спускалась роскошная южная ночь. Я ехал среди зеленых тутовых рощ, обвитых зеленым виноградом, теплое дыхание Италии все нежнее и нежнее обвевало мне грудь, чары никогда не виданной, но давно чаемой природы пронизывали меня сладостной дрожью и, духовно созерцая все великолепие, которое скоро должно было открыться моему взору, я блаженно задремал.

**ФИЛОСОФСКИЕ ПАМФЛЕТЫ И
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
(БЕРЛИНСКИЙ ПЕРИОД)**

ФИЛОСОФСКИЕ ПАМФЛЕТЫ

ШЕЛЛИНГ О ГЕГЕЛЕ.

Если вы сейчас здесь, в Берлине, спросите кого-нибудь, кто имеет хоть малейшее представление о власти духа над миром, где находится арена, на которой ведется борьба за господство над общественным мнением Германии в области политики и религии, следовательно за господство над самой Германией, то он вам ответит, что эта арена находится в университете, именно в аудитории № 6, где Шеллинг читает свой курс по философии откровения. Ибо в настоящий момент одна оппозиция Шеллинга затмила, стерла и отодвинула на задний план всех отдельных противников, оспаривающих господство у гегелевской философии. Все враги, стоящие вне философии, как Шталь, Генгстенберг, Неандер, уступают место борцу, от которого ждут, что он победит непобедимого на его собственной территории. А борьба эта действительно своеобразна в достаточной степени. Два старых друга юности, товарищи по комнате во время прохождения курса в тюбингенской духовной семинарии, снова встречаются через сорок лет, но уже противниками. Один, умерший уже десять лет тому назад, живет, более чем когда-либо, в своих учениках; другой, по утверждению последних, духовно мертвый уже три десятилетия, ныне неожиданно претендует на полноту жизненной силы и требует признания. Тот, кто достаточно «беспристрастен», чтобы считать себя одинаково далеким от них обоих, т. е. кто не считает себя гегельянцем, — ибо сторонником Шеллинга после немногих слов, сказанных им, никто, конечно, не может себя объявить, — кто, таким образом, обладает этим хваленым преимуществом «беспристрастия», усмотрит в смертном приговоре Гегелю, произнесенном ему новым выступлением Шеллинга в Берлине, месть богов за смертный приговор над Шеллингом, произнесенный в свое время Гегелем.

Значительная пестрая аудитория собралась, чтобы быть свидетелем этой борьбы. Во главе — аристократия университета, корифеи науки, мужи, из которых каждый создал свою особую школу; им были отведены первые места около кафедры, а за ними в пестром беспорядке, как попало, сидели представители всех общественных

положений, наций и вероисповеданий. Посреди задорной молодежи там и сям сидит седобородый штабной офицер и рядом с ним, держа себя совершенно непринужденно, вольноопределяющийся, который в другом обществе не знал бы, как и выразить свою преданность высокому начальству. Старые доктора и лица духовного звания, чьи матрикулы скоро должны справлять свой юбилей, встряхивают стариной и садятся снова на университетскую скамью. Евреи и мусульмане хотят увидеть, что за вещь христианское откровение. Слышен смешанный гул немецкой, французской, английской, венгерской, польской, русской, новогреческой и турецкой речи, — но вот раздается звонок, и Шеллинг всходит на кафедру.

Человек среднего роста, с седыми волосами и светло-голубыми веселыми глазами, чье выражение скорее является игривым, чем импонирующим, и, вместе с некоторой тучностью, вызывает представление скорее о благодушном отце семейства, чем о гениальном мыслителе; резкий, но сильный голос, швабо-баварский диалект с постоянным «erres» вместо «etwas» — вот внешний вид Шеллинга.

Я обхожу молчанием содержание его первых лекций, чтобы немедленно перейти к тому, что он сказал о Гегеле, предполагая добавить от себя только самые необходимые разъяснения. Я передаю его слова так, как я их сам записал, присутствуя на его лекции.

«Философия тождества, как я ее развил, представляла собой только одну сторону всей философии, а именно — ее отрицательную часть. Эта отрицательная часть должна была или найти свое естественное дополнение в изложении положительной части или же вобрать в себя положительное содержание прежних систем и занять сама место положительной философии, провозгласив себя, таким образом, абсолютной философией. И судьбой человека правит разум, который заставляет его упорствовать в односторонности, пока он не исчерпал все возможности таковой.

«Это именно и случилось с Гегелем, который развил отрицательную философию в качестве абсолютной. Я называю имя господина Гегеля в первый раз. Подобно тому как я откровенно высказался о Канте и о Фихте, которые были моими учителями, я это буду делать также и по отношению к Гегелю, хотя именно это мне не доставляет никакого удовольствия. Я буду это делать, помня, что я обещал вам полнейшую искренность. Не должно быть и видимости того, будто я кое-чего не осмеливаюсь касаться, будто есть пункты, о которых я не могу откровенно высказаться. Я помню то время, когда Гегель был моим слушателем, моим близким другом, и я должен сказать, что в то время, когда философия тождества была понята

вообще поверхностно и плоско, именно он спас для будущего ее основную мысль, которой он остался верен до конца, как мне это доказали главным образом его лекции по истории философии. Он, который нашел огромный материал уже разработанным, сконцентрировал свое внимание главным образом на методе, в то время как мы, другие, преимущественно развивали содержание философии. Я сам, которого не удовлетворяли добытые отрицательные результаты, охотно бы принял и из чужих рук всякое удовлетворительное завершение философии.

«Речь, впрочем, идет здесь о том, основывается ли место, занимаемое Гегелем в истории философии,— то место, которое следует отнести ему в ряду великих мыслителей,— основывается ли это место на том, что он пытался поднять философию тождества на степень абсолютной, последней философии, что, конечно, не могло произойти без значительных модификаций ее содержания; и это я намерен доказать на основании его собственных, доступных всем сочинений. Если кто-нибудь скажет, что в этом-то и кроется грех Гегеля, то я на это отвечу, что Гегель делал то, что он прежде всего мог. Философия тождества не могла не восставать против самой себя, не могла не выходить за свои собственные пределы, пока еще не существовала та положительная наука, которая простирается и на существование. Этим объясняется стремление Гегеля вывести философию тождества за ее пределы, за пределы потенции бытия, чистой возможности бытия, и подчинить ей существование.

„Гегель, который вместе с Шеллингом возвысился до признания абсолютного, разошелся с последним в вопросе о методе. Гегель полагал, что абсолютное не дается в интеллектуальном созерцании, а может быть найдено только методами научного исследования“. Эти слова образуют текст, который послужит темой для моей дальнейшей беседы. В основе вышеприведенной цитаты лежит то мнение, будто философия тождества имела своим результатом познание абсолютного не только со стороны его содержания, но и со стороны его существования; так как философия тождества имела своим исходным пунктом индифферентность субъекта и объекта, то отсюда делают то заключение, будто и их существование уже было доказано интеллектуальным созерцанием. Таким-то образом Гегель полагает в простоте душевной, будто я хотел при помощи интеллектуального созерцания доказать *существование, бытие* той индифферентности, и порицает меня за слабость моего доказательства. Что я этого не хотел, доказывают мои неоднократные заявления о том, что философия тождества не есть система существования, а что касается интеллекту-

ального созерцания, то это определение совсем не встречается в том изложении философии тождества, которое я признаю единственно научным из всех относящихся к тому равному периоду. Это изложение находится там, где его никто не ищет, а именно в «*Zeitschrift für spekulative Physik*», во второй книге второго тома. В других изложениях это определение, конечно, встречается, являясь частью наследства Фихте. Фихте, с которым я не хотел порвать, обрел при помощи интеллектуального созерцания достоверность самого себя, своего «я». Я сделал это своим исходным пунктом, чтобы этим путем прийти к индифферентности. Так как это «я» в интеллектуальном созерцании уже не мыслится субъективно, то оно вступает в сферу мысли и, таким образом, перестает быть непосредственно достоверно существующим. Интеллектуальное созерцание, таким образом, не могло бы доказать даже существования «я», и если Фихте пользуется им для этой цели, то я все же не могу сослаться на это созерцание, чтобы демонстрировать отсюда существование абсолютного. Гегель, таким образом, мог порицать меня не за недостаточность доказательства, которого я не собирался давать, а только за недостаточно определенное подчеркивание с моей стороны того, что я вообще не касаюсь вопроса о существовании, ибо если Гегель требует доказательства бытия бесконечной потенции, то он выходит за пределы разума. Если бы бесконечная потенция обладала бытием, то философия была бы не свободна от бытия, и тут уместно поставить вопрос: можно ли мыслить *grius* существования? Гегель отвечает на этот вопрос отрицательно, ибо он начинает свою логику с бытия и сразу же строит систему бытия. Мы же отвечаем на этот вопрос положительно, беря за исходную точку чистую потенцию бытия как существующую только в мысли. Гегель, который так много говорит об имманентности, сам имманентен только в сфере того, что не имманентно мышлению, ибо бытие является этим неимманентным. Отступить в сферу чистой мысли значит прежде всего уйти от всякого бытия вне сферы мысли.

«Утверждение Гегеля, что существование абсолютного доказано в логике, имеет еще то неудобство, что мы, таким образом, имеем бесконечное два раза: в конце логики и в конце всего процесса. Вообще нельзя понять, почему в системе Энциклопедии логика предпосылается всему остальному, вместо того, чтобы жизненно проникать собой весь цикл».

Так говорит Шеллинг. Я большей частью и, поскольку это мне возможно было, приводил его доподлинные слова и могу смело утверждать, что он не мог бы не подписаться под этими отрывками. К сказанному я могу добавить из его предыдущих лекций, что он

вещи рассматривает с двух сторон, разграничивая между *quid* и *quod*, между сущностью и понятием вещей, с одной стороны, и существованием их — с другой. Вопросы первого рода относятся им к чисто умозрительной или отрицательной философии, вопросы же второго рода к науке с эмпирическими элементами, которую еще надлежит создать и которую он называет положительной философией. Последняя до сих пор не существовала ни в какой форме, первая же появилась сорок лет тому назад, но в несовершенной формулировке, так что сам Шеллинг отказался от нее и теперь развивает ее снова в ее истинной, адекватной форме.

Ее базисом является разум, чистая потенция познания, имеющая своим непосредственным содержанием чистую потенцию бытия, бесконечную возможность бытия. Необходимым третьим принципом является возвышающаяся над бытием потенция, не могущая самоотчуждаться. Эта потенция и есть абсолютное, дух, — то, что освобождено от необходимости перехода в бытие и вечно остается свободным по отношению к бытию. Абсолютное может быть названо также «орфическим» единством остальных потенций, как то, вне чего не существует ничто. Если потенции вступают в борьбу между собой, то эта их исключительность и есть конечность.

Этих немногих положений достаточно для понимания предыдущего и для выяснения основных черт нешеллингианства, поскольку последние здесь и уже сейчас могут быть характеризованы. Мне остается еще сделать отсюда те выводы, которые Шеллинг намеренно замалчивает, и выступить в защиту великого покойника.

Если освободить смертный приговор, произнесенный Шеллингом над системой Гегеля, от канцелярской формы выражения, то получается следующее: Гегель, собственно, и не имел вовсе собственной системы, а поддерживал свое жалкое существование крохами со стола моей мысли. В то время как я работал над *partie brillante*, над положительной философией, он страстно отдался *partie honteuse*, отрицательной, и взял на себя, так как мне некогда было заниматься этим, ее усовершенствование и разработку, бесконечно счастливый, что я ему доверил это дело. Вы хотите порицать его за это. «Он делал, что он мог». Он все же имеет право «на место среди великих мыслителей», ибо он был «единственный, который признал основную мысль философии тожества, в то время как другие поняли ее плоско и поверхностно». И все же никакого толка из него не вышло, ибо он хотел из половины философии сделать всю философию.

Передают известное изречение, которое обыкновенно приписывают Гегелю, но которое, как видно из вышеприведенного мнения

Шеллинга, несомненно принадлежит последнему: «Только один из моих учеников меня понял, да и тот, к сожалению, меня понял неверно».

Будем, однако, говорить серьезно. Разве можем мы, которые обязаны Гегелю больше, чем он был обязан Шеллингу, терпеть, чтобы на его могильной плите писались такие оскорбления, и не выступить в защиту его чести, посылая вызов его хулителю, как бы он ни был грозен. А ведь что бы Шеллинг ни говорил, но его отзыв о Гегеле есть оскорбление, несмотря на quasi-научную форму, в которую он это оскорбление облачает. Я бы сам мог, если бы это понадобилось, в «чисто научной форме» так дурно аттестовать господина Шеллинга и кого угодно, что он бы убедился в преимуществе «научной методы». Но к чему это мне? И без того было бы дерзостью, если бы я, юноша, собирался давать наставления старцу, а тем более Шеллингу, ибо как бы решительно ни изменил Шеллинг свободе, он все же остается тем, кто открыл абсолютное, и имя Шеллинга, предшественника Гегеля, всеми нами произносится с глубочайшим благоговением. Но Шеллинг, преемник Гегеля, может претендовать только на некоторое почтение и меньше всего может требовать от меня спокойствия и хладнокровия, ибо я выступил в защиту покойника, а борющемуся ведь приличествует некоторая страстность; кто хладнокровно обнажает свой меч, редко бывает глубоко воодушевлен тем делом, за которое он сражается.

Я должен сказать, что здешнее выступление Шеллинга и особенно его оскорбительные выпады против Гегеля делают уже несомненным то, чему до сих пор не верили, а именно сходство портрета, набросанного в предисловии к появившейся недавно известной брошюре Риделя, с оригиналом. Уж чего стоит тот тон, в котором Шеллинг говорит о всем развитии философии в этом столетии, о Гегеле, Гансе, Фейербахе, Штраусе, Руге и «Немецких летописях». Сначала он объявляет их своими духовными вассалами, а затем не просто отвергает, нет, — одним риторическим оборотом, выставляющим лишь его самого в наиболее благоприятном свете, рисует все это направление мысли как баловство духа, как курьезное недоразумение, как ряд ненужных заблуждений. Если этот тон, говорю я, не превосходит все то, что в вышеупомянутой брошюре ставится в упрек Шеллингу, то я не имею ни малейшего представления о том, что в человеческом обиходе называется порядочностью. Надо, правда, признать, что Шеллингу трудно было найти средний путь, который не компрометировал бы ни его, ни Гегеля, и можно было бы извинить тот эгоизм, который побудил его в целях спасения своего положения

пожертвовать другом. Но все же Шеллинг заходит слишком далеко, когда он предлагает нашему веку скинуть со счетов, как даром потраченное время, как сплошное заблуждение, сорок лет труда и творческой деятельности, сорок лет мысли, во имя которой были принесены в жертву наиболее дорогие интересы, самые святые традиции, и все это только для того, чтобы Шеллинг не оказался лишним человеком в течение этих сорока лет. И более чем насмешкой звучит, когда Шеллинг в такой форме отводит Гегелю место в ряду великих мыслителей, что он по существу дела его из их числа вычеркивает, третируя его как свое создание, как своего слугу. И, наконец, не является ли это своего рода сутяжничеством по отношению к мыслям, мелкой — как бишь называется эта всем известная бледно-желтая страсть? — когда Шеллинг все, что он считает правильным у Гегеля, объявляет своей собственностью, плотью от своей плоти. Было бы ведь странно, если бы старая шеллинговская правда могла сохраниться только в плохой гегелевской форме: в этом случае рикошетом падал бы также на самого Шеллинга упрек в нелепости формулировки, брошенный третьего дня им по адресу Гегеля. Этого упрека, правда, Шеллинг, по общему мнению, и теперь заслуживает, несмотря на обещанную им ясность изложения. Тот, кто выражается такими периодами, какие постоянно попадаются у Шеллинга, кто употребляет такие выражения, как *quidditativ*, *quodditativ*, орфическое единство и т. д., и, довольствуясь этим, сверх того еще каждую минуту прибегает к помощи латинских и греческих слов и выражений, тот не имеет права ругать стиль Гегеля.

Больше всего, впрочем, Шеллинг достоин сожаления по поводу несчастного недоразумения в связи с вопросом о существовании. Добрый, наивный Гегель со своей верой в существование философских результатов, в право разума вступить в бытие, господствовать над бытием! Но все же было бы странно, если бы он, который основательно изучал Шеллинга и долго находился с ним в личных сношениях, если бы все другие, которые старались постигнуть смысл философии тождества, — если бы все они не заметили самого главного, а именно, что все это вздор и пустяки, существовавшие только в голове Шеллинга и нисколько не претендовавшие на какое-нибудь влияние на внешний мир. Где-нибудь ведь это же должно было бы быть сказано, и кто-нибудь, без сомнения, это нашел бы. Невольно начинает брать сомнение в том, было ли это первоначальным мнением Шеллинга и не является ли это позднейшей прибавкой.

А новая формулировка философии тождества? Кант эмансипи-

ровал рациональное мышление от пространства и времени; Шеллинг сверх этого отнял у нас и существование. Что же нам остается после этого? Тут не место доказывать против него, что существование есть несомненно вопрос рациональной философии, что бытие имманентно духу и является основным принципом всей современной философии, что положение *cogito ergo sum* не может быть опрокинуто простым наскоком; но да позволено нам будет спросить: может ли потенция, не обладающая сама бытием, производить бытие? Может ли потенция, неспособная больше самоотчуждаться, еще считаться потенцией? И не соответствует ли трихотомия потенциалов самым странным образом результату, к которому приходит гегелевская Энциклопедия, — триединству идеи, природы и духа?

И что получится из всего этого для философии откровения? Она относится, конечно, к положительной философии, к эмпирической стороне ее. Единственно намечающееся для Шеллинга решение вопроса — это признать откровение как факт и обосновать его каким-нибудь образом, только не рационально, ибо для такого обоснования он себе сам отрезал все возможности. У Гегеля все же выходило не так просто — или, может быть, Шеллинг имеет другие способы решения в кармане? Таким образом, эту философию можно с полным правом назвать эмпирической, ее теологию позитивной, а ее юриспруденция будет, конечно, исторической. Такой результат был бы, конечно, совсем похож на поражение, ибо все это мы уже знали еще до приезда Шеллинга в Берлин.

Нашей задачей будет следить за его ходом мыслей и защищать могилу великого учителя от поруганий. Мы не боимся борьбы. Мы ничего лучшего не желаем, как быть некоторое время в положении *ecclesia pressa*. В таком положении отделяются годные элементы от негодных. Все, что доброкачественно, выдерживает испытание огнем, с недоброкачественными же элементами мы охотно расстанемся. Противники должны признать, что молодежь теперь в такой массе, как никогда, стекается под наши знамена, что теперь, больше чем когда-либо, круг идей, владеющий нами, получил богатое развитие, что никогда не было на нашей стороне столько людей мужественных, стойких и талантливых, как теперь. Итак, пойдем же смело в бой против нового врага; в конце концов найдется среди нас один, который докажет, что меч воодушевления так же хорош, как и меч гения.

Что же касается Шеллинга, то мы еще посмотрим, удастся ли ему собрать вокруг себя школу. Многие примыкают к нему теперь только потому, что они, как и он, против Гегеля и охотно принимают

каждого, будь это даже какой-нибудь Лео или Шубарт, кто на него нападет.

Для этих господ, однако, Шеллинг, я думаю, слишком хорош. Приобретет ли он последователей помимо только-что указанных элементов — покажет будущее. Я в это еще не верю, хотя некоторые из его слушателей делают успехи и уже дошли до *индифферентности*.

ШЕЛЛИНГ И ОТКРОВЕНИЕ.

КРИТИКА НОВЕЙШЕГО РЕАКЦИОННОГО ПОКУШЕНИЯ НА СВОБОДНУЮ
ФИЛОСОФИЮ.

Вот уже десять лет, как над горами Южной Германии нависла грозовая туча, которая все громче и темнее надвигалась на северно-германскую философию. Шеллинг снова появился в Мюнхене; молва шла, что его новая система приближается к своему завершению, готовясь нанести удар засилью гегелевской школы. Сам Шеллинг решительно высказался против этого направления, и остальным противникам гегелевской школы, когда их аргументы оказались бессильными против побеждающей силы этого учения, все еще оставалось в качестве последнего ресурса указывать на Шеллинга, как на того человека, который в конце концов убьет его.

Последователи Гегеля могли поэтому только радоваться, когда полгода тому назад Шеллинг прибыл в Берлин и обещал отдать на суд публики свою уже готовую систему. Можно было надеяться, что отныне не придется слышать пустых докучливых разговоров о нем, о великом незнакомце, и можно будет, наконец, проверить, что в этих разговорах соответствует действительности. И без того гегелевская школа, при том боевом задоре, которым она всегда отличалась, при присущей ей самоуверенности, могла только радоваться случаю скрестить шпаги с знаменитым противником. Давно ведь Шеллингу был брошен вызов со стороны Ганса, Михелета и «Атенеума», а его младшим ученикам — со стороны «Немецких летописей».

Так надвинулась грозовая туча и разразилась громом и молнией, которые с кафедры Шеллинга стали приводить в движение весь Берлин. Теперь гром затих, молния больше не сверкает. И что же? Попала она в цель? Уже охвачено пламенем все здание гегелевской системы — этот гордый дворец мысли? Спешат ли гегельянцы спасти все то, что можно спасти? До сих пор этого еще никто не видел.

И все же от Шеллинга всего ожидали. Разве не стояли на коленях «позитивисты» и не плакали о великой засухе на земле господ, моля о приходе дождевую тучу, которая висела на далеком

горизонте? Разве не повторилось точь-в-точь то, что было некогда во Израиле, когда народ умолил Илью-пророка прогнать блаженной памяти жрецов Ваала? А когда он, наконец, пришел, великий заклинатель духов, как смолкло сразу все это крикливое, бесстыдное доносительство, как стих весь этот оглушительный крик и все это неистовство для того, чтобы не пропало ни одно слово этого нового откровения! Как скромно отступили назад все эти храбрые рыцари из «Евангелической» и «Всеобщей берлинской церковной газеты», из «Литературного указателя», из фихтеанского журнала, чтобы дать место святому Георгу, который должен убить ужасного дракона гегельянства, чье дыхание — пламя безбожия и дым помрачения? Разве не водворилась такая тишина на земле, точно святой дух собирался снизойти, как будто сам господь бог собирался говорить из облаков?

А когда философский Мессия вошел на свой деревянный, чрезвычайно жесткий трон в Auditorium maximum, когда он возвестил дела веры и чудеса откровения, какие восторженные крики звучали ему навстречу из лагеря «позитивистов»! Как все уста славословили его, на которого представители «христианского» направления возложили свои надежды! Разве мы не слышали, что этот смелый великан, подобно Роланду, один пойдет во вражескую землю, в сердце вражеской земли водрузит свое знамя, взорвет внутреннее укрепление бесчестия, разрушит до него никем не покоренную крепость идеи, так что враги, лишённые базиса и центра, окажутся беспомощными, не находя надежного убежища в своей стране? Разве не прокламировали уже ожидаемого еще до Пасхи 1842 г. крушения гегельянства, смерти всех атеистов, всех нехристей?

Все сложилось иначе. Гегельянская философия продолжает жить попрежнему на кафедре, в литературе, среди молодежи; она знает, что все до сих пор направленные против нее удары не могли нанести ей ни малейшего ущерба, и спокойно продолжает шествовать по пути своего внутреннего развития. Ее влияние на нацию, как это доказывает растущее бешенство и усиливающаяся деятельность ее противников, быстро растет, а Шеллинг оставил неудовлетворенными почти всех своих слушателей.

Вот факты, против которых ни одного основательного возражения не смогут представить и немногочисленные последователи неошеллингианской мудрости. Когда стали замечать, что создавшиеся против Шеллинга предубеждения имеют даже слишком объективную почву под собой, то вначале смущал вопрос, как совместить уважение к этому великому ученому с тем открытым решительным откло-

нением его претензий, к которому нас обязывал долг по отношению к Гегелю. Вскоре, однако, сам Шеллинг помог нам освободиться от этой дилеммы, высказавшись о Гегеле в такой форме, которая сняла с нас всякую обязанность считаться с этим мнимым преемником Гегеля и мнимым победителем в споре с последним. Вот почему нельзя будет сетовать и на меня, если я в своих суждениях буду следовать демократическому принципу и, не считаясь ни с чьей личностью, ограничусь объективным изложением сущности дела и его истории.

Когда Гегель, умирая в 1831 г., завещал своим последователям свою систему, число последних было сравнительно невелико. Система имела ту строгую, неподвижную, но и прочную форму, которую с тех пор так часто порицали, но которая была не чем иным, как необходимостью. Сам Гегель, в гордом уповании на силу идеи, мало сделал для популяризации своего учения. Сочинения, опубликованные им, были все написаны в строго научном, почти неудобочитаемом стиле и могли быть рассчитаны, как и «Летописи научной критики», где его ученики писали в том же стиле, только на немногочисленную, к тому же предрасположенную к этому учению публику ученых. Языку нечего было стыдиться рубцов, приобретенных в борьбе с мыслью; первой заботой должно было стать стремление отбросить все чувственно-созерцательное, все фантастическое, все эмоциональное и постигнуть чистую идею в ее самотворчестве. Только по завоевании этой надежной операционной базы можно было спокойно относиться к возможности позднейшей реакции со стороны исключенных элементов и даже спуститься в низшую сферу нефилософского сознания, так как тыл оставался прикрытым. Влияние гегелевских лекций всегда оставалось в узких рамках небольшого круга, и как ни значительно оно было, оно только спустя годы могло принести плоды.

Однако, когда Гегель умер, его философия как раз и начала жить. Издание полного собрания его сочинений и, в особенности, его лекций оказало неизмеримое действие. Новые врата разверзлись скрытому чудесному кладу, который покоился в молчаливых недрах горы и чей блеск мерцал только для немногих. Невелико было число тех, которые имели мужество на свой страх и риск спуститься в лабиринт ходов, ведущих к этому кладу; теперь же открылась прямая удобная дорога, идя по которой можно было достигнуть сказочного сокровища. Одновременно учение Гегеля приняло в устах его учеников более человеческую, более наглядную форму, оппозиция со стороны самой философии становилась все слабее и незначительнее, и постепенно дошло до того, что только со стороны заскоруждлых тео-

логов и юристов можно было еще слышать сетования на дерзкое вторжение некомпетентных лиц в их область. Молодежь же с тем большей жадностью стала набрасываться на новые идеи, что совершившийся с течением времени прогресс в самой школе давал импульс к очень важным, касавшимся всех жизненных вопросов науки и практики, дискуссиям.

Те запруды, которые сам Гегель поставил мощному, юно бурлящему потоку выводов, вытекающих из его учения, обуславливались частью его эпохой, частью его личностью. Система в основных своих чертах была готова еще до 1810 года, к 1820 году мирозерцание Гегеля уже сложилось окончательно. Его политические взгляды, его учение о государстве, складывавшиеся под влиянием английских учреждений, носят явный отпечаток реставрации; он поэтому не понял июльской революции в ее всемирно-исторической необходимости. Таким образом, Гегель сам на себе испытал верность своего изречения, что всякая философия является только выражением мысли своей эпохи. С другой стороны, если его личные взгляды и сильно прояснились, пройдя через горнило его системы, то они, с своей стороны, не остались без влияния на выводы последней. Так, например, его философия религии и его философия права безусловно получили бы совсем иное направление, если бы он больше абстрагировал от тех позитивных элементов, которыми пропитана духовная атмосфера его эпохи, но зато сделал бы больше выводов из чистой идеи. Этим основным грехом можно объяснить все непоследовательности, все противоречия у Гегеля. Все, что в его философии религии является чрезмерно ортодоксальным, все, что в его философии права сильно отдает псевдоисторизмом, приходится рассматривать под этим углом зрения. Принципы всегда носят печать независимости и свободомыслия, выводы же — этого никто не отрицает — нередко умеренны, даже консервативны. Тут-то выступила часть его учеников, которая, оставаясь верной принципам, отвергла выводы, поскольку они не могли найти себе оправдания. Образовалось левое течение, Руге создал ему в «Галлеских летописях» орган, и недолго спустя было прокламировано отложение от власти позитивного. Но пока еще не осмеливались сделать все выводы. Это поколение гегельянцев, уже после Штрауса, считало себя еще стоящим внутри христианства и даже чванилось своим христианством перед евреями. Вопросы личности бога и индивидуального бессмертия самому ему были еще недостаточно ясны, чтобы оно могло откровенно высказаться по поводу них. Больше того, когда представители этого поколения почувствовали, что неизбежные выводы скоро будут

сделаны, у них возникло сомнение в том, не должно ли новое учение остаться экзотерической собственностью школы и тайной для нации. Тут выступил Лео со своим памфлетом против гегельянцев и оказал этим своим противникам величайшую услугу, как вообще все то, что предпринималось с целью сокрушить это направление, ему только шло на пользу и ясно доказывало ему, что оно идет рука-об-руку с мировым духом. Лео дал гегельянкам ясность о них самих, пробудил в них то гордое мужество, которое следует истине, не отступая перед самыми ее крайними выводами и высказывает ее открыто и понятно, не страшась последствий. Забавно теперь читать то, что писали тогда гегельянцы в свою защиту, забавно видеть, как эти бедняки извиваются, отрекшаясь от выводов Лео или оставляя их всевозможными оговорками. Теперь никому из них не приходит в голову отрицать главные пункты обвинения Лео,— так велика стала их дерзость за эти три года. «Сущность христианства» Фейербаха, «Догматика» Штрауса и «Немецкие летописи» являются яркими показателями того сдвига, непосредственным толчком к которому послужило выступление Лео, а брошюра «Трубный глас» идет еще дальше, доказывая наличность соответствующих выводов уже у самого Гегеля. Брошюра эта уже потому так важна для выяснения позиции Гегеля, что она показывает, как часто в Гегеле независимый, смелый мыслитель брал верх над поддающимся тысячам влияний профессором. Она является самой блестящей аттестацией человека, которому вменялось в обязанность быть выше своего времени не только в той сфере, где ярко проявлялся его гений, но и в тех сферах, на которые последний не простирался. Брошюра подтверждает, что Гегель оправдал и это ожидание.

Таким образом, «гегельянская банда» нисколько не скрывает теперь, что она не может и не хочет больше рассматривать христианство как предел, его же не преjdeши. Все основные принципы христианства, мало того, — все, что вообще до сих пор называлось религией, было повергнуто в прах беспощадной критикой разума; абсолютная идея претендует на роль основательницы новой эры. Великий переворот, по отношению к которому французские философы прошлого столетия являлись только предшественниками, получил свое завершение, развернул свое имманентное творчество в царстве мысли; философия протестантизма, начавшаяся с Декарта, завершила свое развитие; наступает новая эпоха, и священной обязанностью всех тех, кто идет в ногу с саморазвивающимся духом, является внедрить в сознание нации и сделать жизненным принципом Германии этот огромный результат.

За то время, когда совершалось это внутреннее развитие гегелевской философии, не осталось без изменения и ее внешнее положение. Умер министр Алтенштейн, благодаря заступничеству которого новому учению была уготована колыбель в Пруссии; с наступившими переменами не только прекратилось всякое покровительство по отношению к этой философии, но даже проявилось стремление постепенно исключить ее из государства. Это было следствием более сильного выявления своих принципов как со стороны государства, так и со стороны философии. Так как последняя не постеснялась поставить все точки над «i», то было естественно, что и государство с большей определенностью сделало свои выводы. Пруссия является христианско-монархическим государством, и ее всемирно-историческое положение дает ей право на то, чтобы ее принципы были признаны фактически действующими. Можно их разделять или нет, но они существуют, и Пруссия достаточно сильна, чтобы заставить считаться с ними. К тому же гегелевская философия не имеет никакого основания жаловаться на изменившееся к ней отношение. Прежнее отношение к ней ставило ее в ложное положение и привлекало к ней множество мнимых последователей, на которых нельзя было рассчитывать в период борьбы. Ее притворные друзья, состоявшие главным образом из эгоистов, людей поверхностных, половинчатых, несвободных, благополучно теперь ретировались, и она теперь знает, каково ее положение и на кого она может рассчитывать. К тому же, она может только радоваться обострению противоречий, так как конечная победа за ней обеспечена. Таким образом, было вполне естественно, что, в противовес господствовавшим до последнего времени тенденциям, на кафедры были приглашены представители противоположного направления. Снова возгорелась борьба против гегелевской школы, а когда историко-позитивная фракция набралась немного храбрости, был приглашен Шеллинг в Берлин, чтобы дать окончательный перевес последнему направлению в споре и разделиться с гегелевской школой на ее собственной философской территории.

Его появление не могло не вызвать всеобщего напряженного интереса. Он сыграл такую значительную роль в истории новейшей философии, и, тем не менее, несмотря на все толчки, данные им развитию философской мысли, он никогда не смог дать готовой системы. Он все откладывал работу по подведению итогов своей философской деятельности, и только ныне, наконец, он посулил раскрыть перед нами внутренний смысл всей его прежней работы. В своей первой лекции он действительно наметил своей задачей примирить науку

и религию, философию и откровение и еще многое другое он посулил нам. Другим важным моментом, способствовавшим повышению интереса к нему, было его отношение к тому, кого он пришел победить. Друзья и однокашники еще в университетские годы, эти два человека жили потом в Иене так интимно между собой, что и по сей день остается нерешенным, каково было их взаимное влияние друг на друга. Достоверно только одно, что именно Гегель заставил Шеллинга осознать, в какой мере Фихте является для него превзойденной ступенью.¹

После их разлуки, однако, их до того параллельно идущие пути развития стали скоро расходиться. Гегель, чья глубоко врожденная беспокойная диалектика только теперь именно, с ослаблением влияния Шеллинга, стала по-настоящему развиваться, сделал в 1806 г. в своей «Феноменологии духа» огромный шаг вперед, оставив далеко позади свою прежнюю натурфилософскую точку зрения, и объявил о своей независимости по отношению к последней. Шеллинг, который все больше стал отчаиваться в возможности достигнуть на избранном им пути тех великих результатов, к которым он стремился, попытался уже к тому времени овладеть абсолютном более непосредственным образом, взяв за точку исхода эмпирическую предпосылку высшего откровения. В то время как творческая в области идей сила Гегеля с каждым днем проявлялась все энергичнее, живее и деятельнее, Шеллинг погрузился, как уже показывает это направление его мыслей, в состояние духовного изнеможения, приведшее его скоро к полному прекращению его литературной деятельности. Сколько бы он теперь самодовольно ни рассказывал о своей долгой, совершавшейся в тиши, философской работе, о тайных кладах его письменного стола, о своей тридцатилетней войне с непокорной мыслью, ему никто в этом отношении не верит. Разве мыслимо, чтобы человек, который всю силу своего духа сосредоточил на одном пункте, человек, считающий себя еще в полном обладании той юношеской силой, которая некогда преодолела самого Фихте, человек, который претендует быть богатырем науки, гением первого

¹ Если Шеллинг обладает той «прямотой и искренностью», которыми он хвастает, если он действительно искренно убежден в том, что он утверждает о Гегеле, и имеет основания для этого, то пусть он докажет это опубликованием своей переписки с Гегелем, которая, как утверждают, находится в его руках, или опубликование которой только от него зависит. Но тут-то именно слабое место Шеллинга. Если он, таким образом, требует, чтобы верили в его правдивость, то пусть он выступит с этим доказательством, которое положит конец всем поднятым по этому поводу спорам.

Schelling
und die
Offenbarung.

Kritik
des neuesten Reaktionsversuchs
gegen die
freie Philosophie.

Leipzig,
Robert Bieder.
1842.

ранга, — а ведь только такой, как это всякий должен признать, мог бы свергнуть Гегеля, — разве мыслимо, чтобы такой человек мог потратить тридцать и больше лет с тем, чтобы добиться таких незначительных результатов? Если бы Шеллинг в самом деле так интенсивно работал над своими философскими проблемами, как он это утверждает, то разве не нашли бы все этапы его хода мыслей свое выражение в отдельных печатных работах? Именно Шеллинг всегда проявлял в этом направлении мало самоограничения и все новое, что ему приходило в голову, немедленно публиковал без особенной критической разборчивости. Если он все это время продолжал чувствовать себя королем науки, как мог он жить без поклонения своего народа, как мог он удовлетворяться жалким существованием какого-нибудь низложенного короля, какого-нибудь Карла X, как мог он удовлетвориться давно изношенным и поблекшим пурпуром философии тожества? Разве не должен он был пустить все средства в ход, чтобы вернуть себе потерянные права, чтобы завоевать снова тот трон, который был отнят у него «позднее пришедшим»? Вместо этого он свернул с пути чистой мысли, углубился в мифологические и теософические фантазии и берег, как приходится думать, свою систему для нужд прусского короля, ибо по зову последнего стало готовым сразу то, что никогда не могло получить законченной формы. Так он прибыл сюда с примирением веры и науки в своем чемодане, заставил о себе говорить и взошел, наконец, на кафедру. И что представляло собой то новое, что он принес с собой, то неслыханное, что должно было совершить чудеса? Философию откровения, которую он, «начиная с 1831 г., в той же самой форме» читал в Мюнхене, и философию мифологии, «которая датирует с еще более раннего периода», — все старые вещи, которые вот уже десять лет бесплодно провозглашались в Мюнхене, которые могли пленить только какого-нибудь Рингсайза, какого-нибудь Штала. И вот это Шеллинг называет своей «системой»! Вот где кроются искупающие мир силы, силы, призванные сравить безбожие именно в том семени, которое не дало никаких всходов в Мюнхене. Почему же Шеллинг не опубликовал этого вот уже 10 лет готового курса лекций? При всей самоуверенности и уверенности в успехе ясно, однако, что для этого имеются свои причины, что какое-то тайное сомнение удерживает его от этого шага.

Выступив перед берлинской публикой, он, правда, в большей мере отдал себя на суд общественности, чем это было до сих пор в Мюнхене. То, что там легко могло остаться эвотерическим тайным учением, так как никому до этого дела не было, беспощадно вытаскивается

здесь на свет божий. Никто не пропускается здесь в царство небесное, прежде чем он не прошел через чистилище критики. Все необыкновенное, что сказано было сегодня в здешнем университете, будет завтра напечатано во всех немецких газетах. Таким образом, все те основания, которые удерживали Шеллинга от печатания его лекций, должны были бы удержать его и от переселения в Берлин, и даже, пожалуй, еще в большей мере, ибо печатное слово не допускает никаких недоразумений, между тем как слово, мимолетно сказанное, наскоро записанное и, может быть, даже краем уха слышанное, неизбежно подвергается лжетолкованиям. Но само собой разумеется, что в данном случае для него уже не было выбора, он должен был ехать в Берлин, или он признал бы своим отказом свою неспособность победить гегельянство. Но и печатать свой курс было уже слишком поздно, ибо в Берлин необходимо было привезти с собой что-нибудь новое, неопубликованное, а что в его «письменном столе» никаких других вещей не имеется — это показывают его здешние выступления.

При таких-то обстоятельствах Шеллинг занял здесь кафедру и начал с апломбом перед почти четырехсотенной аудиторией из представителей всех сословий и наций свой курс, заранее суля своим слушателям что-то необычайное. Из этих лекций, основываясь на своих заметках, сверенных с чужими, по возможности точными записями, я сообщу то, что необходимо для оправдания моей оценки.

Всякая философия ставила себе до сих пор задачу постигнуть мир как нечто разумное. Все, что разумно, то, конечно, и необходимо; все, что необходимо, должно быть или, по крайней мере, стать действительным. Это является мостом к великим практическим результатам новейшей философии. Если же Шеллинг этих результатов не признает, то было с его стороны вполне последовательно отрицать разумность мира. Но прямо высказать это у него, однако, нехватило мужества, и он предпочел вместо этого отрицать разумность философии. Таким-то образом он всевозможными обходами старается пробраться между разумом и неразумностью, обозначая разумное термином «постигаемое» а priori, неразумное — «постигаемое а posteriori» и относя первое к чисто умозрительной науке или к «отрицательной философии», второе — к «положительной философии», которую, однако, еще следует создать.

Тут первая огромная пропасть между Шеллингом и другими философами; тут его первая попытка контрабандой ввести в свободную науку, основанную на самостоятельном мышлении, веру в авторитет, мистику чувств и гностические фантазии. Единство философии, цель-

ность всякого мирозерцания разрывается во имя самого неудовлетворительного дуализма; противоречие, составляющее всемирно-историческое значение христианства, возводится также в принцип философии. Мы поэтому должны с самого начала протестовать против этого раздвоения. Вся его бесплодность, кроме того, нам станет ясной, когда мы проследим те рассуждения Шеллинга, которыми он пытается оправдать свою неспособность постигнуть мир как нечто разумное и целостное. Он исходит из схоластического положения, что в вещах следует различать между их *quid* и *quod*, между содержанием их понятий и фактом их существования. *Что* представляют собой вещи — этому учит нас разум; что они *существуют* — это показывает нам опыт. Всякая попытка упразднить это различие ссылкой на тожество мышления и бытия является злоупотреблением этим положением. Результатом логического процесса мысли может быть только идея мира, но не реальный мир. Разум просто бессилён доказать существование чего-либо и должен в этом отношении удовлетвориться свидетельством опыта. Философия, однако, занималась также вопросами, выходящими за пределы всякого опыта, например вопросом о боге. И вот спрашивается, способен ли разум доказать существование последнего? Чтобы ответить на этот вопрос, Шеллинг пускается в длинные рассуждения, которые мы, однако, считаем излишним приводить здесь, так как вышеприведенные предпосылки допускают только определенно отрицательный ответ. Таков также и вывод Шеллинга. Отсюда следует, согласно Шеллингу, с необходимостью, что разум в своем чистом мышлении должен иметь своим объектом не действительно существующие вещи, а вещи, поскольку они возможны, не бытие вещей, а их сущность, и соответственно этому только сущность бога, а не его бытие может явиться его предметом исследования. Для существующего бога должна быть, таким образом, найдена сфера, отличная от сферы чистого разума. Мы приписываем по презумпции бытие вещам, которые только потом, а *posteriori*, окажутся возможными или разумными, а в своих последствиях — эмпиричными, т. е. действительными.

Оппозиция к Гегелю сказывается здесь уже во всей ее резкости. Гегель с той наивной верой в силу идеи, над которой так возвысился Шеллинг, утверждает, что все разумное действительно; Шеллинг же утверждает, что все разумное возможно, и этим бьет наверняка, ибо это положение, при широком объеме понятия возможного, неопровержимо. В то же время он этим самым обнаруживает, как это ясно станет позже, отсутствие ясности понимания в отношении всех чисто логических категорий. Я мог бы уже сейчас показать ту

брешь в вышеуказанном боевом строе умозаключений, через которую злой дух несвободы пробрался в ряды свободных мыслей, но я хочу отложить это до более удобного случая, чтобы не повторяться, и перейти к содержанию чистой науки разума, которое Шеллинг, к вящей потехе всех гегельянцев, развил перед своими слушателями. Содержание это сводится к следующему.

Разум является бесконечной потенцией познания. Потенция означает то же, что способность (познавательная способность Канта). Как таковая, она кажется лишенной всякого содержания, на самом же деле она таковое имеет, притом без всякого содействия, без всякого акта с ее стороны, ибо в противном случае она перестала бы быть потенцией, так как потенция и акт противостоят друг другу. Этим по необходимости непосредственным врожденным содержанием может быть, — так как всякому познанию соответствует бытие, — только бесконечная потенция бытия, соответствующая бесконечной потенции познания. Эта потенция бытия, эта бесконечная возможность бытия является той субстанцией, из которой мы должны вывести наши понятия. Занятие ею есть чистое, самому себе имманентное мышление. Эта чистая возможность бытия не есть только простая готовность к существованию, а само понятие бытия, то, что по своей природе вечно переходит в понятие, или то, что стремится к переходу в бытие, то, чего нельзя удержать от бытия и что поэтому переходит от мышления к бытию. Это — подвижная природа мышления, в силу которой оно не может дозветь себе как мышление, а вынуждено вечно переходить в бытие. Однако это не есть переход в реальное бытие, а только логический переход. Таким образом, вместо чистой потенции мы получаем логически сущее. Но так как бесконечная потенция является *præius*’ом того, что возникает в самом мышлении благодаря переходу в бытие, а только бесконечной потенции может соответствовать всякое действительное бытие, то разум обладает в качестве неотделимого от него содержания потенцией занять априорное положение по отношению к бытию и таким образом, не прибегая к помощи опыта, постигнуть содержание всякого действительного бытия. Все, что совершается в действительности, разум постиг как логически необходимую возможность. Он не знает, существует ли мир, он только знает, что, если мир существует, он должен иметь такие-то и такие-то свойства.

Так как разум есть потенция, то мы вынуждены и его содержание считать потенциальным. Бог поэтому не может быть непосредственно содержанием разума, ибо он есть нечто действительное, а не только потенциальное, возможное. В потенции бытия мы впервые открываем

возможность перехода в бытие. Это бытие отнимает у потенции ее власть над ним. Прежде потенция была властна над бытием: она могла переходить в него, а также и не переходить. Теперь же она подпала под власть бытия, находится у него в подчинении. Это есть лишенное всякой духовности, неоформленное понятием бытие, ибо дух есть власть над бытием. В природе не существует больше это неоформленное понятие бытия, ибо в ней уже все запечатлено формой, но легко видеть, что этому оформленному бытию предшествовало слепое, беспредельное бытие, которое послужило для природы материей. Но потенция есть то свободное и бесконечное, что может переходить, а также и не переходить, в бытие; таким образом, в ней уживаются две взаимно исключаящие друг друга противоположности: бытие и небытие. Эта способность не переходить равна другой способности, пока первое остается в потенции. Только тогда, когда непосредственно могущее быть действительно переходит, второе — из него исключается. Индифферентность обоих в потенции тогда прекращается, ибо теперь первая способность исключает из себя вторую. Этому второму началу дается способность только через исключение первой. Подобно тому как в бесконечной потенции способность перехода и способность неперехода не исключаются взаимно, они также не исключают и того, что свободно витает между бытием и небытием. Таким образом, мы имеем три потенции. Первая содержит непосредственное отношение к бытию, вторая — посредственное отношение, обусловленное исключением ее из первой. Таким образом, мы имеем: 1) тяготеющее к бытию, 2) тяготеющее к небытию, 3) свободно витающее между бытием и небытием. Перед переходом третья потенция ничем не отличается от непосредственной потенции и только тогда станет бытием, когда будет исключена из первых двух; она может осуществиться только тогда, когда обе первые потенции перешли в бытие. Этим замыкается цепь возможностей, и внутренняя структура разума исчерпывается этим законченным рядом потенций. Первой возможностью является только та, перед которой может быть только сама бесконечная потенция. Есть нечто, что, покинув сферу возможности, бывает только чем-нибудь одним, но до того как оно решилось на это, остается *instar omnium*, тем, что непосредственно предстоит, также и тем, что противостоит, тем, что противостоит другому, призванному заменить его. Оставляя свое место, оно передает свою власть другому, возводя это последнее в ранг потенции. Этому другому, возведенному в ранг потенции, оно само подчинится как относительно несуществующее. Прежде всего, выступит могущее быть в переходящем смысле, которое является поэтому наиболее случайным и

необоснованным, тем, что может найти свое основание только в последующем, а не в предшествующем. Только подчиняясь этому последующему, занимая по отношению к нему положение относительно несуществующего, оно само получает обоснование, становится чем-то, так как, предоставленное самому себе, оно расплылось бы в ничто. Это первое начало есть *prima materia* всякого бытия, достигающая определенности бытия только тогда, когда признает над собою власть высшей формы. Второе, могущее быть, полагается и возвышается в свою потенцию только благодаря вышеуказанному исключению первого из его невозмутимости; то, что в самом себе не есть могущее быть, становится теперь таковым благодаря отрицанию. Вместо прежней представляемой им категории не-непосредственной возможности бытия оно положено как невозмутимое, спокойное хотение, и оно по необходимости будет стремиться отрицать свое отрицание и вернуться обратно в свое невозмутимое бытие. Это может произойти только таким путем, что первое из его абсолютного отчуждения снова приводится в состояние возможности бытия. Таким образом, мы получаем высшую форму возможности бытия, бытие, снова сведенное к его возможности, высшее бытие, которое, как таковое, является владеющим самим собой бытием. Так как бесконечная потенция не исчерпывается непосредственной возможностью бытия, то второе начало, заключающееся в ней, может быть только исключительной невозможностью бытия. Но непосредственная возможность бытия уже вышла за пределы возможности; поэтому вторая потенция может быть только непосредственной не-невозможностью бытия, чистым бытием, ибо только сущее не есть возможность бытия. Чистое бытие может, без сомнения, быть, как бы это ни казалось противоречивым, потенцией, ибо оно не есть действительное бытие, оно не перешло, подобно последнему, а *potentia ad actum*, а является *actus purus*. Непосредственной потенцией оно, конечно, не является, *no отсюда еще не следует, что оно вообще не может быть потенцией*. Оно может быть осуществлено только путем отрицания; таким образом, оно является не безусловной потенцией, но может стать потенцией при посредстве отрицания. До тех пор, пока непосредственно могущее быть оставалось только потенцией, оно само покоилось в сфере чистого бытия; как только оно возвышается над потенцией, оно вытесняет чистое бытие из сферы бытия, чтобы самому стать бытием. Чистое бытие, подвергшееся отрицанию как *actus purus*, становится, таким образом, потенцией. Оно не обладает, следовательно, никакой свободой воли, но вынуждено стремиться отрицать свое отрицание. Таким образом, оно могло бы переходить

ab actu ad potentiam и найти свое осуществление вне себя. Первое, беспредельное бытие было то нежелательное, та $\delta\lambda\eta$ (материя), которую демиургу приходится побороть. Оно полагается с тем, чтобы немедленно быть отрицаемым второй потенцией. На место беспредельного бытия должно явиться оформленное бытие, оно должно быть обратно переведено через ряд ступеней в сферу возможности бытия, становясь тогда владеющей собой и на высшей ступени самосознающей способностью. Таким образом, между первой и второй возможностью лежит целый ряд производных возможностей и промежуточных потенций. Эти образуют уже конкретный мир. Как только полагаемая вне себя потенция целиком и без остатка снова обращена в способность, в владеющую собой потенцию, сходит со сцены также и вторая потенция, так как она только для того и существует, чтобы отрицать первую, и в этом акте отрицания она уничтожает самое себя как потенцию. Она уничтожает себя по мере того, как она преодолевает противостоящее ей бытие. *Этим дело ограничиться не может.* Для того, чтобы в бытии было совершенство, на место всецело побежденного второй потенцией бытия должно быть полагаемо нечто третье, которому вторая потенция всецело передает свою власть. Это нечто не может быть ни чистой возможностью бытия, ни чистым бытием бытия, а только тем, что в бытии является возможностью бытия, а в возможности бытия является бытием. Это есть противоречие между потенцией и бытием, полагаемое как тожество, то, что свободно витает между обоими, *дух* — неисчерпаемый источник бытия, который совершенно свободен и в бытии не перестает оставаться потенцией. Это начало не может действовать непосредственно, а может только осуществиться при помощи второй потенции. Так как второе начало является посредствующим между первым и третьим началом, то это третье начало полагается благодаря преодолению первого вторым. Это третье начало, оставшееся неодолимым в бытии, является, в качестве духа, могущим быть и совершенствующим бытие, так что его вступление в сферу бытия дает совершенное бытие. В владеющей собой способности, в духе, природа достигает своего завершения. Эта последняя способность может также отдаться новому, сознательно вызванному движению и построить себе таким образом за пределами природы новый интеллектуальный мир. Наука обязана исчерпать и эту возможность, сделав своим объектом как природу, так и дух.

Благодаря этому процессу исключается все, что не имманентно мышлению, все, перешедшее в бытие, и остается потенция, которой не требуется больше переходить в бытие, так как бытие находится

не вне ее, а в ее возможности бытия,— существо, не подчиненное бытию, а имеющее бытие в своей истинности, — так называемое высшее существо. Таким образом, исполняется высший закон мышления: потенция и акт существуют в одном существе, мышление остается в своей собственной сфере и остается благодаря этому *свободным мышлением*, не подчиненным больше безудержному, вынужденному движению. Тут достигнута изначальная цель, владеющее собой понятие (ибо понятие и потенция тождественны), которое, так как оно является единственным в своем роде, имеет особое название и, так как оно включает в себе изначальную цель, называется идеей. Ибо кто в мышлении не интересуется результатом, чья философия не сознает своей собственной задачи, *тот подобен тому художнику, который стал бы рисовать наугад, совершенно не думая о том, что из его работы выйдет.*

Вот в общих чертах то, что сообщил нам Шеллинг о содержании его негативной философии, и этот абрис вполне достаточен, чтобы заметить всю фантастичность и нелогичность его хода мыслей. Он уже неспособен даже в течение короткого времени двигаться в сфере чистой мысли; каждую минуту ему перерезывают дорогу самые сказочные, самые причудливые фантомы, так что лошади его философской колесницы от испуга становятся на дыбы, и он сам сворачивает с первоначально намеченного направления, гоняясь за этими фантастическими призраками. Сразу бросается в глаза, что его три потенции, сведенные к их голому логическому содержанию, представляют собой не что иное, как три момента гегелевского хода развития путем отрицания, только оторванные друг от друга, зафиксированные в их оторванности и приспособленные к целям сознающей свои задачи философии. Печально видеть, как Шеллинг стаскивает мысль с ее возвышенного, чистого эфира в область чувственных представлений, как он срывает с ее головы корону из чистого золота и, нарядив ее в корону из золотой бумаги, пьяную от тумана и испарений необычной романтической атмосферы, заставляет ее бродить пошатывающейся походкой к потехе уличных мальчишек. Эти так называемые потенции не являются вовсе мыслями, это — расплывчатые фантастические образы, в которых, сквозь таинственно окутывающее их облачное покрывало, уже ясно вырисовываются очертания трех божественных ипостасей. Мало того, они обладают уже известным самосознанием: одна «тяготеет» к бытию, вторая — к небытию, третья — «свободно витает» между обеими. Они «уступают друг другу место», они «вытесняют» друг друга, они «противостоят» друг другу, они ведут взаимно борьбу между собой, они «стремятся негировать друг

друга», они «действуют», они «стремятся» и т. д. Это странное чувственное представление о мысли вытекает опять-таки из ошибочного понимания логики Гегеля. Ту могучую диалектику, ту внутреннюю движущую силу, которая, точно чувствуя моральную ответственность за несовершенство и односторонность отдельных предикатов идеи, неустанно толкает их к новому развитию и возрождению до тех пор, пока они в качестве абсолютной идеи не воскреснут в последний раз из гроба отрицания к нетленной незапятнанной красоте, — эту могучую диалектику Шеллинг смог понять только как самосознание отдельных категорий, между тем как она представляет собой самосознание всеобщего мышления, идеи. Он хочет язык пафоса сделать языком абсолютного познания, не показав нам предварительно чистой идеи в единственно подходящей для нее форме изложения. С другой стороны, он так же мало способен постигнуть идею бытия в ее совершенной абстракции, доказательством чему может служить тот факт, что он предикаты «бытие» и «сущее» постоянно употребляет как равнозначущие. Бытие он может мыслить только как материю, и как силу, как беспорядочный хаос. Эту материю мы уже теперь имеем во многих видах — «беспредельное бытие», «чистое бытие», «логическое бытие», «действительное бытие», «невозмутимое бытие», а позже мы еще сверх того получим «предвечное бытие» и «враждебное бытие».

Забавно видеть, как эти отдельные виды бытия сталкиваются и вытесняют друг друга, как потенции предоставляется только на выбор: затеряться в этой беспорядочной массе или остаться фантомом. И пусть не говорят мне, что дело тут только в метафорической форме изложения, напротив, это гностически-восточное бредовое мышление, представляющее себе каждое определение идеи или как материю, или как личность, является основанием всего процесса. Устраните образы, и все рухнет. Уже основные категории «потенция» и «акт» представляют собой анахронизм, и Гегель был совершенно прав, когда он эти неясные определения выбросил из своей логики. Шеллинг к тому же еще усугубляет путаницу, употребляя эту антитезу произвольно и попеременно вместо следующих гегелевских определений: в-себе-бытие и для-себя-бытие, идеальность и реальность, сила и проявление, возможность и действительность, и, сверх того, потенция еще остается самостоятельным, чувственно-сверхчувственным существом. Но по преимуществу, однако, она означает у Шеллинга «возможность» и, таким образом, мы здесь имеем философию, основанную на категории возможности. В этом отношении Шеллинг прав, характеризуя свою философию как «ничего не

исключающую», ибо возможно в конце концов все. Но сила идеи именно и состоит в ее имманентной способности к осуществлению. Немцы не скажут большого спасибо за философию, которая тащит их по непроходимой дороге и через бесконечно скучную Сахару возможности, не давая им ничего для утоления голода и жажды, чтобы, в конце концов, привести их туда, где реальный мир, по ее собственному утверждению, остается для разума книгой за семью печатями.

Однако возьмем на себя труд последовать за ним через пустыню. Шеллинг говорит: «Сущность есть объект понятия, бытие — объект познания. Разум есть бесконечная потенция познания, содержание — бесконечная потенция бытия, как изложено выше». Но тут он вдруг начинает познавать актуально-бесконечную потенцию бытия посредством потенции познания. Может ли он это? Нет. Познание есть акт, акту соответствует акт, «познанию соответствует бытие», следовательно предыдущему актуальному познанию соответствует актуальное действительное бытие. Таким образом, выходит, что разум против своей воли вынужден познать действительное бытие, и, несмотря на все наши старания качаться на волнах возможности, мы выбрасываемся на ненавистный берег действительности.

Но, возразят нам, потенция бытия познается ведь только после ее перехода, который является, конечно, логическим. Однако Шеллинг сам говорит, что логическое бытие и потенция бытия, понятие и потенция тождественны. Если, таким образом, потенция познания действительно переходит в акт, то потенция бытия не может ограничиться одним мнимым переходом. Раз потенция бытия не переходит актуально, то она остается потенцией, следовательно не может быть познаваема разумом и, таким образом, является не «необходимым содержанием разума», а чем-то абсолютно неразумным.

Или Шеллинг думает назвать ту операцию, которую разум производит над своим объектом, не познанием, а, скажем, пониманием? Тогда разум должен был бы быть бесконечной потенцией понимания, так как он в своей собственной науке до познания вообще не доходил бы.

С одной стороны, Шеллинг исключает бытие из числа объектов разума, с другой же стороны — он его снова включает в сферу посредством познания. Познание для него — единство понятия и бытия, логики и эмпирии. Куда ни кинь, все клин. Как же так?

Является ли разум в самом деле бесконечной *потенцией* познания? Является ли глаз потенцией зрения? Глаз, даже закрытый глаз,

всегда видит: даже тогда, когда ему кажется, что он ничего не видит, он все же видит темноту. Только больной глаз, именно излечимо-слепой, является потенцией зрения, не являясь одновременно актом, и только неразвитой или временно помутневший разум является только *потенцией* познания. Но ведь представление о разуме как о потенции как бы напрашивается само собою. Он действительно является потенцией, и не только возможностью, но и абсолютной силой, необходимостью познания. Последняя, однако, должна проявиться, должна познавать. Отделение потенции от акта, силы от ее проявления, есть явление только сферы конечного, в бесконечности же потенция совпадает со своим актом, сила — со своим проявлением, ибо сфера бесконечности не терпит противоречий внутри себя. Если разум является бесконечной потенцией, то он является, в силу этой бесконечности, также и бесконечным актом, иначе пришлось бы и самую потенцию считать конечной. Это подтверждается также и свидетельством обыденного сознания. Разум, который не идет дальше потенции познания, называют неразумием. Только тот разум, который доказывает свою состоятельность в акте познания, считают разумом, и только тот глаз, который действительно видит, считается настоящим глазом. Противоречие между потенцией и актом оказывается здесь сразу разрешимым, в последней инстанции призрачным, и это решение является триумфом гегелевской диалектики над ограниченностью Шеллинга, которая не может справиться с этим противоречием, ибо даже там, где в идее потенция и акт должны совпадать, — это только утверждается, но действительный взаимный переход друг в друга этих категорий не показывается.

Если, однако, Шеллинг скажет, что разум есть понимание, и, так как понятие есть потенция, он есть потенция познания, которая только тогда становится актуальным познанием, когда она находит какой-нибудь реальный объект, но в науке чистого разума, где разум имеет своим объектом потенцию бытия, он остается внутри потенции познания и только понимает, — если Шеллинг попробует так аргументировать, то, уже независимо от вышеприведенных рассуждений о потенции и акте, всякий должен будет признать, что целью потенции познания может быть только переход к действительному познанию и что без этого перехода она — ничто. Таким образом, обнаруживается, что наука чистого разума совершенно беспредметна и бессодержательна, что разум, когда он выполняет свою задачу и действительно познает, становится неразумием. Если Шеллинг признает, что сущность ума есть неразумие, то мне, конечно, ничего больше не остается сказать.

Вот почему Шеллинг с самого начала так запутался со своими потенциями, переходами и соответствиями, что, желая вырваться из того тупика, в который он зашел в отношении логического бытия и реального бытия, он вынужден стать на почву совершенно иной концепции, чем его собственная. Однако пойдем дальше.

Согласно вышеизложенному, разум может постигнуть содержание всякого действительного бытия и занять по отношению к нему априорное положение; он не может доказать, что что-либо существует, а только то, что, если что-либо существует, оно должно обладать такими-то и такими-то свойствами. Это положение Шеллинг противопоставляет мнимому утверждению Гегеля, по которому будто бы, если дана идея чего-либо, то тем самым дано и его реальное существование. Но тут Шеллинг опять путает. Ни Гегелю, ни кому-либо другому не приходило в голову доказывать существование чего-либо, не имея для этого эмпирических предпосылок; он доказывает только необходимость существующего. Шеллинг представляет себе здесь разум так же абстрактно, как раньше потенцию и акт, и вследствие этого вынужден приписать ему до-мировое, совершенно оторванное от всего сущего, бытие. Положение новейшей философии, которое еще встречалось в прежней философии Шеллинга, по крайней мере в ее предпосылках, и из которого только Фейербах сделал выводы, гласит, что разум может существовать только как дух, следовательно только внутри и вместе с природой, а не так, что он в совершенной изолированности от всей природы, бог весть где, ведет какое-то самостоятельное существование. Это признает и Шеллинг, когда он, как цель индивидуального бессмертия, указывает не освобождение духа от природы, а наиболее совершенное равновесие обоих, также, когда он говорит о Христе, что он *не растворился во вселенной*, а, как человек, поднялся одесную бога (следовательно, остальные две божественные личности все растворились во вселенной?). Но раз существует разум, то его собственное существование является доказательством существования природы. Следовательно, существует необходимость, в силу которой потенция бытия должна немедленно переходить в акт бытия. Или будем исходить из элементарного положения, понятного и без Гегеля, и Фейербаха. До тех пор, пока абстрагируются от всякого бытия, о нем вообще не может быть речи. Если же делают точкой исхода нечто существующее, то можно от него, без сомнения, умозаключать к другим вещам, которые, в случае правильности всех умозаключений, должны также существовать. Если существование предпосылок признается, то существование выводов является само собой разумеющимся. Но основной предпо-

сылкой всякой философии является существование разума. Это существование доказано его деятельностью (*cogito, ergo sum*). Если, таким образом, исходят от него как от существующего, то отсюда следует само собой существование всех его последствий. Что существование разума является необходимой предпосылкой — этого не отрицал ни один философ. Если Шеллинг этой предпосылки не хочет признать, то ему нечего делать в области философии. Таким образом, Гегель, без сомнения, мог доказать существование природы, т. е. доказать, что оно является необходимым следствием существования разума. Шеллинг, однако, исповедующий абстрактную и бесплодную имманентность мышления, забывает, что само собой разумеющимся базисом всех его операций является существование разума. Он выставляет смешное требование, чтобы реально существующий разум имел недействительные, только логические результаты, чтобы реальная яблоня приносила только логические, потенциальные яблоки. Такую яблоню обыкновенно называют бесплодной. Шеллинг же должен был бы ее назвать бесконечной потенцией яблони.

Если, таким образом, гегелевские категории называют не только прообразами, по образцу которых созданы вещи этого мира, но и творческими силами, при помощи которых они созданы, то это означает только, что они в идеях выражают содержание мира и дедуцируют последний как необходимое следствие из существования разума. Шеллинг же, напротив, действительно считает разум за нечто, что может существовать и вне мирового организма, относя его настоящее царствование к пустой, бессодержательной абстракции «Зона до сотворения мира», который, однако, к счастью, никогда не существовал и еще в значительно меньшей степени являлся периодом особенного расцвета деятельности разума или блаженного самочувствия. Тут, однако, обнаруживается, насколько крайности сходятся. Шеллинг не способен постигнуть идею в ее конкретности, и последняя всегда является его сознанию в форме абстракции, которая, с своей стороны, немедленно воплощается для него в чувственный образ, так что эта хаотическая смесь абстракции и чувственного представления образует характеристическую черту схоластически-мистического метода мышления Шеллинга.

Новые доказательства в пользу высказанного нами мы можем почерпнуть, если мы обратимся к развитию содержания «отрицательной философии». Потенция бытия служит базисом. Карикатурное отражение гегелевской диалектики бросается в глаза. Потенция по произволу может переходить или не переходить. Таким образом, из нейтральной потенции выделяются в реторте разума два

химических элемента: бытие и небытие. Если бы вообще можно было поставить всю эту философию потенции на почву здравого разума, то здесь как будто тот пункт, где сказывается диалектический момент и где Шеллинг, повидимому, догадывается, что сущность потенции есть необходимость перехода и что понятие потенции получено только путем абстракции от акта действительности. Но, нет, он все более запутывается в односторонней абстракции. Он для пробы заставляет потенцию раз переходить и делает то великое открытие, что после этого перехода она утратила имевшуюся у нее раньше возможность и *не* переходить. Одновременно он открывает в потенции третье свойство: именно возможность воздержаться от того и другого и свободно витать между бытием и небытием. Эти три возможности, или потенции, должны заключать в себе всякое разумное содержание, всякое возможное бытие.

Возможность стать бытием становится действительным бытием. Этим отрицается вторая возможность — возможность также и не стать бытием. Попытается ли последняя восстановить себя? Как может она это сделать? Ведь то, чему она здесь подвергается, не есть только отрицание в гегелевском смысле: она совершенно уничтожена, сведена на-нет, на такое радикальное небытие, которое возможно только в философии возможности. Как может эта раздавленная, съеденная и проглоченная возможность еще иметь силу реставрировать себя? Ведь отрицается не только вторая возможность, но даже первоначальная потенция — тот субъект, простым предикатом которого является вторая возможность, и тут, собственно, не эта последняя, а именно первая должна была бы пытаться реставрировать себя. Но это вовсе не может входить в ее задачу с точки зрения концепции Шеллинга, ибо она должна была заранее знать, что, становясь актом, она перестанет существовать как потенция. Такого рода реставрирование вообще может иметь место только там, где отрицают взаимно друга друга *лица*, а не категории. Только безграничное непонимание, только невероятная страсть к искажению могли так бессмысленно исказить принцип гегелевской диалектики, положенный здесь явно в основу. Недиалектичность всего этого процесса сказывается еще в следующем. Если обе стороны потенции имеют одинаковую силу, то без толчка извне она вовсе не может решиться на переход и должна остаться в состоянии потенции. В этом случае весь процесс, конечно, не имел бы места, и Шеллинг был бы в безвыходном положении, не зная, где ему раздобыть прототипы мира, духа и христианского триединства. Таким образом, мы не видим логической необходимости всего построения в целом,

и остается неясным, почему потенция оставляет свой мирный потенциалный покой, отдает себя во власть бытия и т. д., и весь процесс с самого начала покоится на произволе. Если это происходит в сфере «необходимого» мышления, то что еще ждет нас в сфере «свободного» мышления! Но так это и есть, этот переход должен остаться произвольным, ибо иначе Шеллинг ведь признал бы необходимость мира, а это не согласуется с его позитивизмом. Это, однако, опять-таки является доказательством того, что потенция есть потенция только как акт, без акта же она — пустой призрак, которым сам Шеллинг не может удовлетвориться, ибо пустая потенция не дает ему никакого содержания, содержание появляется, когда потенция становится актом, и, таким образом, он против воли вынужден признать неправильность противопоставления потенции и акта.

Вернемся снова к второй потенции, с которой Шеллинг проделывает самые удивительные вещи. Мы раньше видели, как она была подвергнута отрицанию, сведена на-нет. Теперь Шеллинг дальше говорит: так как первая потенция есть могущее быть бытие, то вторая является ее противоположностью, она есть все, но только не могущее быть, следовательно чистое бытие, *actus purus*! Этот последний, однако, должен был, таким образом, уже иметься в первоначальной потенции, но каким образом он может там оказаться? Каким образом то «отвратившееся от бытия, тяготеющее к небытию и т. д.»... становится вдруг абсолютно чистым бытием, чем отличается «чистое бытие» от «беспредельного бытия», почему для могущего не быть нет другого выхода, как стать бытием? На эти вопросы мы не получаем никакого ответа. Вместо этого нас уверяют, что эта вторая потенция обратно возвращает в сферу возможности первую потенцию, ставшую беспредельной, тем самым восстанавливая и одновременно уничтожая себя. Можно ли тут что-нибудь понять! Дальше мы узнаем, что отдельные ступени этого процесса восстановления кристаллизуются в соответствующих ступенях природы. Каким образом в этом процессе вообще возникает природа — это никому не дано понять. Почему, например, беспредельное бытие является первичной материей? Потому что Шеллинг с самого начала эту первичную материю имел в виду, с расчетом на нее строил свою схему, без чего это бытие могло бы означать что угодно: как чувственно созерцательное, так и духовное. Что разные ступени в развитии природы следует рассматривать как потенции, никому не покажется убедительным. Согласно этому положению, именно наиболее мертвое, неорганическое в природе должно было бы обладать в наибольшей степени бытием, все органическое же — только возможностью бытия. Но

это можно рассматривать только как мистический образ, в котором потонуло всякое содержание.

Вместо того, чтобы постигнуть третью потенцию, дух, — ибо в него метит Шеллинг, как и раньше, уже издавека, — как высшую количественную ступень, влекущую за собой качественное изменение первой потенции, побежденной второй потенцией, Шеллинг и здесь находится в недоумении насчет того, как ему раздобыть эту потенцию. «Наука ищет третьего начала», «на этом процесс остановиться не может», «на место побежденного второй потенцией бытия должно быть поставлено нечто третье», — вот те магические формулы, при помощи которых Шеллинг вызывает *дух*. Тут же следует описание свойств этого возникшего путем *generatio primitiva* духа. Если мы принимаем в соображение природу, то для нас, пожалуй, ясно, что в соответствии с данными предпосылками следует представить себе дух как владеющую собой возможность бытия (а не просто возможность), что уже само по себе достаточно скверно. Когда же мы абстрагируем от природы, которая должна выступить на сцену только позже и о выступлении которой пока еще ничего не известно, пока мы остаемся в сфере чистых потенций, нам, при всем старании, никак не удастся постигнуть, каким образом первая потенция, по возвращении ее при помощи второй в сферу возможности, может стать чем-либо иным, чем первоначальной потенцией.

Шеллинг чувствует всю глубину гегелевского синтеза, прошедшего через отрицание и противоречие, но воспроизвести его он не в силах. У него все сводится к тому, что из двух безразличных друг к другу элементов один вытесняет другой, после чего второй снова отвоевывает свое место и оттесняет первый элемент к его первоначальному месту. Результатом всего этого может явиться, конечно, только восстановление первоначального состояния. К тому же, если первый элемент достаточно силен, чтобы вытеснить второй из занимаемого им места, откуда же второй элемент, у которого нехватило сил для обороны, вдруг набирается силы, чтобы перейти в наступление и прогнать врага? О никуда не годном определении духа я уже не хочу говорить, оно опровергает само себя и весь тот процесс, результатом которого оно является.

Таким образом, мы благополучно подходили бы уже к концу этого так называемого процесса развития и могли бы немедленно перейти к другим вещам, если бы Шеллинг, после того как дух явился последним звеном, замыкавшим собой цепь всего сущего, не обещал нам другого, интеллектуального мира, заключительным звеном которого он считает идею. Каким образом Шеллинг *после*

конкретной природы и живого духа может получить еще абстрактную идею (а в этом положении она может быть только абстрактной), остается непонятным, и Шеллинг должен был бы обосновать это, так как он отвергает то отношение, в котором находится к вышеупомянутой идее гегелевская идея. Но единственным основанием для его построения является его желание иметь во что бы то ни стало абсолютное в конце философии и непонимание того, каким путем Гегель действительно добился этого результата. Но абсолютное есть самосознающий себя дух, — а таков смысл, конечно, и шеллинговской идеи, — и вот этот самосознающий себя дух является, согласно Шеллингу, постулатом, завершающим отрицательную философию. Тут, однако, опять противоречие. Эта отрицательная философия, с одной стороны, не может включить в себя философию истории, так как действительность не является ее объектом, с другой же стороны, она является философией духа, а венцом этой последней является философия всемирной истории. Шеллинг сам ставит своей отрицательной философии задачу исчерпать «эту последнюю возможность сознательно совершающегося процесса (а таким процессом может быть только история)». Как обстоит дело в действительности? Несомненно одно, а именно, что если бы Шеллинг имел философию истории, самосознающий себя дух явился бы у него не постулатом, а результатом. Самосознающий себя дух, однако, еще далеко не есть понятие личного бога, с которым Шеллинг отождествляет идею.

Изложив это, Шеллинг заявляет, что задачу построения этой изложенной сейчас науки он поставил себе уже сорок лет тому назад. Философия тождества должна была стать именно этой отрицательной философией. Медленность и постепенность ее отхода от Фихте была, по крайней мере, отчасти преднамеренна; «он хотел избегнуть всяких резких переходов, сохранить непрерывность философского развития и даже льстил себя надеждой привлечь со временем, может быть, на свою сторону и самого Фихте». Это заявление могло бы иметь для нас объективную ценность только в том случае, если бы мы не знали вышеприведенного мнения Гегеля и если бы нам также не было известно, как плохо знает самого себя Шеллинг. Тот субъект, который в философии тождества вобрал в себя все возможное положительное содержание, объявляется теперь потенцией. Уже в этой философии тождества ступени природы являются будто бы каждый раз относительно сущими по отношению к следующим за ними высшим ступеням; эти же последние являются могущими быть по отношению к первым и в свою очередь относительно сущими по

отношению к более высоким ступеням, так что субъекту и объекту философии тождества здесь соответствует могущее быть и сущее, пока, наконец, в результате получается то, что уже больше не может быть относительно сущим, являясь абсолютным «сверхбытием», тождеством, а не простой индифферентностью мышления и бытия, потенции и акта, субъекта и объекта. Но все, высказанное в этой философии тождества, было высказано как положение чистой науки разума, и худшим недоразумением было то, что вся схема в целом была понята не как изображение чисто логического процесса, а как изображение процесса, совершающегося в действительности; другими словами — недоразумением было предположение, будто философия тождества от истинного в себе принципа умозаключает к истинности всего того, что из него вытекает. Только как заключительное звено этой философии появляется то, что не может больше самоотчуждаться, — бытие во всем его блеске, взирающее на природу и дух как на свой трон, на который оно было вознесено. Однако, при всей возвышенности набросанной в философии тождества картины, последняя остается только спекулятивным построением, и, только расположив ступени изображенного там процесса в диаметрально противоположном порядке, мы получаем картину того, что происходит в действительности.

Мы пока оставляем открытым вопрос, не приспособлено ли это изложение философии тождества к нынешним воззрениям Шеллинга, и в самом ли деле Шеллинг сорок лет тому назад так же мало считал реальными свои мысли, как и теперь, так же, как и вопрос о том, не лучше ли было бы, вместо того, чтобы хранить важное молчание, двумя словами, — как это легко было сделать, — устранить «величайшее недоразумение». Мы желаем скорее перейти к суждениям Шеллинга о том муже, который вытеснил «из занимаемого им положения» Шеллинга, без того, чтобы последнему до сих пор удалось ответить «отрицанием на отрицание себя».

В то время, — говорит Шеллинг, — когда почти все неверно и плоско понимали философию тождества, Гегель спас ее основную идею, которой он остался верен до конца, о чем свидетельствуют его лекции по истории философии. Ошибка Гегеля состояла в том, что он философию тождества считал абсолютной философией и не признавал, что существуют вещи, которые выходят за ее пределы. Ее границей была возможность бытия, Гегель же переступил эту границу и включил в ее сферу и бытие. В том, что он эту философию хотел превратить в систему бытия, заключалась его основная ошибка. Он полагал, что философия тождества имела своим объек-

том абсолютное не только со стороны его сущности, но и со стороны его бытия. Тем, что он включает бытие в свою систему, он выходит из цепи развития чистого разума. Он остается, таким образом, верен себе, когда он делает исходной точкой своей системы чистое бытие и этим отрицает *prius* существования. Этим обуславливается, что он был имманентен только в неимманентном, ибо бытие не имманентно мышлению. Сверх того, он утверждает, что доказал бытие абсолютного в своей логике. Таким образом, выходит, что абсолютное у него появляется дважды: в конце логики, где оно точно так же определяется, как в конце философии тожества, и в конце всего процесса. Тут, таким образом, обнаруживается, что логика не может быть предпослана в качестве первой части развития, а должна проникать собой весь процесс. У Гегеля логика определяется как субъективная наука, в которой мышление остается только в себе и с собой, до и вне всякой действительности, и, тем не менее, она будто бы имеет своим конечным пунктом *действительную*, реальную идею. В то время как философия тожества сразу переходит к природе, Гегель выбрасывает природу из логики и объявляет ее, таким образом, нелогической. Абстрактным понятиям гегелевской логики именно не место в начале философии; они могут явиться только тогда, когда сознание включило в свою сферу всю природу, ибо они являются только абстракциями природы. Таким образом, у Гегеля не может быть и речи об объективной логике, ибо там, где начинается природа, объект, кончается логика. Так в логике совершается процесс развития идеи, но только в мыслях философа; ее объективная жизнь начинается только там, где она дошла до сознания. Однако она выступает, как реально существующая, уже в конце логики, следовательно процесс ее развития закончился, ибо идея, как абсолютный субъект-объект, как нечто идеально-реальное, является совершенной в себе и неспособна ни к какому дальнейшему развитию. Как может она, в таком случае, переходить еще в нечто другое, именно в природу? Здесь именно и обнаруживается, что в чистой науке разума не может быть речи о действительно существующей природе. Все, что касается реального бытия, должно быть отнесено к положительной философии.

Превратное всего этого изложения покоится главным образом на наивной уверенности, что Гегель не пошел дальше концепции Шеллинга и к тому же еще плохо понял ее. Мы видели, как Шеллинг, при всем своем старании, не может выбраться из бытия, и нет нужды, собственно говоря, искать оправданий для Гегеля по поводу того, что он не проводит этого принципа абстрактной

идеальности. Если бы Шеллинг даже и мог свести концы с концами, оставаясь в сфере чистой потенции, то его собственное бытие должно было бы доказать ему, что потенция превзойдена и что, таким образом, все последствия только логического бытия перенесены в область реального бытия, и «абсолютное», таким образом, существует. Что может дать ему его положительная философия? Если из логического мира следует логическое абсолютное, то с таким же правом должно следовать из существующего мира существующее абсолютное. То обстоятельство, однако, что Шеллинг этим удовлетвориться не может и вынужден сверх того постулировать философию положительной религии, показывает, насколько предположение эмпирического, внемирового существования противоречит всем доводам разума и насколько Шеллинг это сам чувствует. Так как Шеллинг стремится низвести до уровня своей более низменной точки зрения гегелевскую идею, возвышающуюся неизмеримо над абсолютном философии тожества, поскольку она в действительности есть то, чем тот себя только воображает, он не может понять отношение идеи к природе и духу. Шеллинг и здесь представляет идею как внемировое существо, как личного бога, что Гегелю и в голову не приходило. Реальность идеи у Гегеля есть не что иное, как природа и дух. Поэтому у Гегеля абсолютное не выступает дважды. В конце логики идея выступает как идеально-реальное, поэтому она становится немедленно природой. Если она выражена только как идея, то она только идеальна, обладает только логическим бытием. Идеально-реальное, совершенное в себе абсолютное есть именно единство природы и духа в идее. Шеллинг же все еще представляет себе абсолютное как абсолютный субъект, ибо хотя оно включает в себе всякое объективное содержание, оно все же остается субъектом, не становясь объектом, т. е. для него абсолютное реальное — только в представлении личного бога. Пусть же он не припутывает последнего и держится только за чисто логические определения, в которых нет речи о личности. Абсолютное, таким образом, не реально вне природы и духа. В противном случае обе эти сферы оказались бы совершенно излишними. Следовательно, когда в логике говорилось об идеальных определениях идеи как реализующейся в природе и духе, то речь шла об этой самой реальности и доказывалось, что эти предикаты присущи бытию, которое является высшим критерием и одновременно и высшей ступенью философии. Таким образом, после логики дальнейшее развитие не только возможно, но и необходимо, и это развитие возвращается снова к идее в сознающем себя бесконечном духе. Таким образом, ясна нелепость утверждения Шеллинга,

будто Гегель объявляет природу нелогической (чем Шеллинг, между прочим, объявляет всю вселенную), и будто его логика — это необходимое, самодеятельное развитие идеи — является «субъективной наукой, а объективная логика не может иметь места у него, так как последняя есть натурфилософия, которую он выбросил из своей логики». Как будто объективность науки состоит в том, что она имеет своим объектом нечто *внешнее*. Если Шеллинг называет логику субъективной, то нет никакого основания не считать таковой и натурфилософию, ибо тот же субъект, который мыслит здесь, мыслит и там, а характер предмета не может тут играть роли. Объективная логика Гегеля не развивает, она *предоставляет* мыслям *самим* развиваться, а мыслящий субъект является здесь просто случайным зрителем.

Вслед за этим Шеллинг, переходя к философии духа, касается тех мыслей Гегеля, в которых оказалось противоречие между философией Гегеля и его личными симпатиями и предрассудками. Религиозно-философская сторона гегелевской системы дает ему повод обнаруживать противоречия между предпосылками и выводами, которые были уже давно раскрыты и признаны младогегельянской школой. Он совершенно правильно замечает: эта философия хочет быть христианской без всякой для этого внутренней необходимости; если бы она осталась на своей первоначальной стадии науки о разуме, она имела бы свою истину в себе самой. Он заканчивает свои замечания признанием гегелевского положения, что последними формами постижения абсолютного являются искусство, религия и философия. Но и это ему кажется диалектическим пунктом этого положения, — так как религия и искусство выходят за пределы чистой науки о разуме, то и эта философия должна была бы сделать то же самое и быть другой, отличной от той, которая существовала до сих пор. Но где Гегель высказывает это положение? В конце «Феноменологии», где вся логика, как вторая философия, еще впереди. Но феноменология была — и этим именно понимание Шеллинга лучше всего опровергается — не чистой наукой о разуме, она указывала только путь к ней, рисуя процесс поднятия эмпирического чувственного сознания до точки зрения умозрительной философии. Не для логического, а для феноменологического сознания эти три «возможности удостовериться в существовании абсолютно сверхсущего» являются последними. Логическое свободное сознание видит совсем другие вещи, о которых мы, однако, пока говорить не будем, — оно *имеет* абсолютное уже в себе.

Решительный шаг, таким образом, сделан: открыто объявлено об отречении от чистого разума. Со времени схоластиков Шеллинг

является первым, решившимся на этот шаг, ибо Якоби и ему подобные не могут быть приняты в расчет, так как они представляют только отдельные стороны их эпохи, а не совокупность ее. В первый раз за последние пятьсот лет выступает богатырь науки, который объявляет последнюю служанкой веры. Он это сделал, и он несет ответственность за последствия. Нас может только радовать, что муж, который воплотил в себе свою эпоху, как никто другой, в котором его столетие пришло к самосознанию — что этот муж объявлен Шеллингом величайшим представителем науки о разуме. Всякий, кто верит в силу разума, пусть примет во внимание это свидетельство врага.

Шеллинг следующим образом характеризует положительную философию: она совершенно независима от отрицательной и не может сделать своим исходным пунктом, в качестве существующего, то, чем завершается последняя, а должна самостоятельно доказать бытие. Конец отрицательной философии является в сфере положительной не принципом, а задачей. Начало положительной философии абсолютно само по себе. Никогда не существовало единства между этими двумя системами, и этого единства не удавалось достигнуть ни путем подавления одной из них, ни путем смешения обеих. (Здесь следует попытка доказать это на протяжении всей истории философии от Сократа до Канта, у которого эмпиризм и априоризм снова резко отличаются друг от друга. Мы вынуждены, однако, это доказательство пропустить, ибо оно остается совершенно бесплодным.) Положительная философия, однако, не есть чистый эмпиризм, и меньше всего такой, который базируется на внутреннем, мистическо-теософском опыте; она имеет своим принципом то, что не является категорией чистого мышления и не происходит в мире опыта, следовательно то, что есть абсолютно трансцендентное, выходящее за пределы всякого мышления и опыта и им обоим предшествующее. Поэтому началом здесь должен служить не относительный *prius*, как это бывает в чистом мышлении, где потенция предшествует переходу, а абсолютный *prius*, так что развитие совершается не от понятия к бытию, а от бытия к понятию. Этот переход не является необходимостью, подобно первому, а следствием свободного, преобладающего бытия, акта, который доказывается *a posteriori* эмпирическим путем, ибо, если отрицательной философии, основанной на логической последовательности, может быть совершенно безразлично, существует ли мир и согласуется ли он с ее конструкцией, то положительная философия развивается путем *свободного* мышления и нуждается в подтверждении опыта, с которым она

должна согласиться. Если отрицательная философия является чистым априоризмом, то положительная философия является априорным эмпиризмом.

Так как в ней предполагается свободное, т. е. основанное на воле, мышление, то и ее аргументы существуют только для желающих и «мудрых»: надо не только понимать их, но и *хотеть* почувствовать их силу. Если среди эмпирических явлений находится также и откровение, то она считается с ним так же, как и с природой и человечеством, не считая его более решающей инстанцией, чем все остальные. Откровение является для положительной философии решающей инстанцией в том же самом смысле, в каком является таковой для астрономии движение планет, с которыми должны согласоваться ее вычисления. Если скажут, что без предшествующего откровения философия не пришла бы к этому результату, то в этом есть некоторая доля правды, но теперь философия может и самостоятельно прийти к своим выводам, подобно тому как люди, которые раз при помощи телескопа отыскивали маленькие неподвижные звезды, после этого могут их находить и невооруженным глазом и становятся, таким образом, независимыми от телескопа. Философия должна включать в себя и христианство, которое является такой же реальностью, как природа и дух. Но не только откровение, а и внутренняя необходимость только логической философии заставляет последнюю переступить свои собственные границы. Отрицательная философия доводит все только до стадии его познаваемости и передает потом это другим наукам, и только одно последнее она не может довести до этой стадии, а между тем это одно и есть то, что более всего достойно познания. Это последнее, следовательно, должно стать снова предметом новой философии, которая имеет задачу доказать его бытие. Таким образом, отрицательная философия становится философией только благодаря ее отношению к положительной. Будь отрицательная философия единственной, она бы не имела никакого реального результата, и разум был бы бесплоден; в положительной же философии разум торжествует: в ней согбенный в отрицательной философии разум снова выпрямляется.

Мне не приходится комментировать эти положения Шеллинга, они ясны и без всяких комментариев.

Но сравним их с тем, что Шеллинг нам вначале обещал. Как далеко отстоит от них то, что он в действительности дал! Нам обещали революционизировать всю философию, обосновать учение, которое положит конец отрицанию последних лет, примирить религию с наукой, а что в конце концов получается? Учение, не имеющее

прочного базиса ни в себе самом, ни в чем-либо другом доказанном. То оно ищет опоры в освобожденном от всякой логической необходимости, следовательно произвольном, лишенном всякого значения, мышлении, то в том, реальность чего именно ставится под знак вопроса, а утверждения именно оспариваются в откровении. Как наивно требование отбросить все сомнения с тем, чтобы излечиться от сомнений! «Да, если вы не верите, то вам нельзя помочь!» С чем же, собственно, приехал Шеллинг в Берлин? Лучше бы он вместо своего позитивногоклада привез сюда опровержение «Жизни Христа» Штрауса и «Сущности христианства» Фейербаха и т. д. — это сулило бы ему кое-какой успех. При теперешнем же положении гегельянцы предпочтут скорее остаться в своем известном «тупике», чем «сдаваться на милость» ему, а позитивные теологи будут охотнее попрежнему исходить из данных откровения, чем вкладывать что-нибудь в него.

С этим гармонирует также повторяемое ежедневно с начала нового года признание, что он ставит себе задачей давать не обоснование христианства и не спекулятивную догматику, а только некоторое объяснение христианства. Что касается необходимости для отрицательной философии выйти за свои собственные пределы, то она тоже мало убедительна, как мы видели. Если предположение перехода а *potentia ad actum* ведет необходимо к зависимому только от этого предположения логическому богу, то доказанный опытом действительный переход должен вести к действительному богу, и положительная философия является ненужностью.

Переход к позитивной философии Шеллинг начинает с онтологического доказательства существования бога. Бог не может существовать случайно, следовательно, *«если он существует»*, — он существует по необходимости. Эта вставка в брешь силлогизма совершенно правильна. Таким образом, бог может быть понят только как сущий в себе и *перед* собой (не *для* себя; Шеллинг так зов на Гегеля, что он даже его выражения считает чуждыми духу языка и нуждающимися в поправках), т. е. он существует перед собой, перед своей божественностью. Таким образом, он является предшествующим всякому мышлению слепым бытием. Но так как сомнительно, существует ли он, то мы должны исходить из слепого бытия и смотреть, нельзя ли, может быть, отсюда дойти до понимания бога. Если, таким образом, принципом отрицательной философии является предшествующее всякому бытию мышление, то принципом положительной философии является предшествующее всякому мышлению бытие.

Это слепое бытие есть необходимое бытие. Бог, однако, является не этим, а необходимым, «необходимо сущим»; только необходимое бытие является возможностью бытия верховного существа. Это слепое бытие есть то, что не нуждается ни в каком обосновании, так как оно предшествует всякому мышлению. Таким образом, положительная философия делает своим исходным пунктом то, что не имеет своего выражения в понятии, чтобы только а posteriori сделать его, как бога, понятным и имманентным содержанием разума. Этот последний только здесь становится свободным, эмансипируясь от власти необходимого мышления.

Это «слепое бытие» есть $\text{\AA}\eta$, вечная материя прежних философов. Что эта материя развивается до бога, это, по крайней мере, ново. До сих пор она представлялась как враждебный богу дуалистический принцип. Однако проследим дальше содержание положительной философии.

Это слепое бытие, которое может быть названо также «предвечным бытием», есть *purus actus* бытия и тождество сущности и бытия (то, что называют самосущностью бога). Это бытие, казалось бы, не может служить базисом какого-нибудь процесса, так как оно лишено всякой движущей силы, ибо последняя заключена только в потенции. Но почему бы отрезать этому *actus purus* всякую возможность стать впоследствии и потенцией? Возражение, что сущее бытие *post actum* не может *быть* могущим *быть*, здесь не имеет места. Предвечному бытию может представиться возможность — этому ничто не препятствует — произвести второе бытие. Этим слепое бытие становится потенцией, ибо оно получает нечто, чего оно может хотеть, и становится таким образом господином своего собственного слепого бытия.

Освобождая это второе бытие, первое, слепое бытие становится лишь *potentiâ actus purus* и, таким образом, владеющим собой бытием (но все это пока гипотеза, которая еще успехом своего приложения должна доказать свою правильность), только путем различения себя от этого второго бытия первое бытие приходит к познанию себя как необходимого по своей природе. Слепое бытие кажется случайным, потому что не предусмотрено, и оно должно доказать свою необходимость путем преодоления своей противоположности. Это есть последнее основание сопротивляющегося ему бытия, а вместе с этим последнее основание мира. Закон, что все должно стать ясным и ничто не должно остаться скрытым, является высшим законом всякого бытия. Это не есть, правда, закон, который стоит над богом, но такой, благодаря которому только последний становится

свободным, следовательно божественный уже сам по себе. Этот великий мировой закон, эта мировая диалектика не желает допустить, чтобы что-нибудь осталось еще нерешенным.

Только эта диалектика способна решить великие загадки. Мало того: бог так справедлив, что он до конца и до исчерпания всякого противоречия признает этот противоположный ему принцип. Все недобровольное, предвечное бытие несвободно. Истинный же бог есть живой бог, который может стать чем-то иным, чем предвечное бытие. Иначе пришлось бы или принимать вместе со Спинозой, что все эманурует из божественной природы по необходимости, без содействия самого бога (плохой пантеизм), или согласиться с тем, что понятие творения для разума непостижимо (пошлый теизм, неспособный побороть пантеизм). Таким образом, предвечное бытие становится потенцией противоположного, а так как потенциальность для него есть нечто нестерпимое, то оно по необходимости будет стараться снова обратиться в *actus purus*. Второе бытие поэтому должно быть снова негировано первым и обратно переведено в потенцию. Таким образом, предвечное бытие становится господином не только первой потенции, но и второй, и получает возможность обратить свое предвечное бытие в сущее и этим путем отторгнуть его от себя и таким образом упразднить все свое существование. В этом покоится также его скрываемое до того бытием существо. Чистое бытие, ставшее благодаря сопротивлению потенцией, становится теперь самостоятельным существом. Таким образом, господину первой возможности дана также другая возможность, а именно возможность выявления своей истинной сущности, своей свободы от необходимости бытия, полагания себя как *духа*, ибо дух есть то, что обладает свободой действовать и не действовать, то, что в бытии владеет собой и остается сущим даже и тогда, когда не проявляется наружу. Это, однако, не есть непосредственное *могущее быть*, также не *необходимо существующее*, а *могущее быть как необходимо существующее*. Эти три момента представляются предвечному бытию *долженствующими быть* в собственном смысле, так что кроме этих трех моментов ничего другого нет, и все будущее исключено.

Ход мыслей в положительной философии, как мы видим, чрезвычайно «свободен». Шеллинг здесь не скрывает, что он выставляет только гипотезы, правильность которых еще должна быть доказана их благоприятным результатом, т. е. их согласованием с откровенным. Одним из последствий этого свободного, направляемого волей, мышления является то, что он это «предвечное бытие» так заставляет вести себя, как будто оно было бы уже тем, во что оно должно

еще развиться, именно богом. Предвечное бытие, как таковое, не может ведь видеть, желать, отпускать, переводить обратно. Оно ведь не более, чем жалкая абстракция материи, которая очень далека от всего личного, от всякого самосознания. Никакое развитие не может внести самосознание в эту неподвижную категорию, если она не будет понята, как материя, которая через природу развивается в дух, подобно «беспредельному бытию» отрицательной философии, от которого оно отличается только ничего не говорящим предикатом предвечности. Эта предвечность может вести только к материализму и, в лучшем случае, к пантеизму, но никак не к монотеизму. И тут оправдываются слова Кьювье: «Шеллинг дает метафоры вместо доказательств и, вместо того, чтобы развивать понятия, меняет по мере надобности картины и аллегории». К тому же такого рода аргументы, как: «нет никакого основания, чтобы этого не случилось; нельзя логически доказать, чтобы это было невозможным», по крайней мере до сих пор, в философии не употреблялись. Таким путем можно ведь развить из «предвечного бытия» и китайскую, и огайтскую религию, которую можно также философски обосновать тем, что она является фактом не в меньшей степени, чем христианство. Что же касается вновь открытого мирового закона, что все становится ясным, то нельзя отрицать, что, по крайней мере, *здесь* очень немного становится ясным и очень многое остается темным. Тут только видишь, как ясность мысли тонет в мрачной бездне фантастики. Но если этот закон означает, что все существующее должно оправдать свое существование перед разумом, то это опять-таки одна из основных мыслей Гегеля, и к тому еще остающаяся без всякого применения у самого Шеллинга. Не мало времени придется напрасно потратить, прежде чем удастся сделать все ясным в заключение вышеприведенного хода мыслей с его возможностью, необходимостью и долженствованием. В каком отношении, спрашивается прежде всего, стоят три положительных потенции к трем отрицательным? Только одно становится ясным, а именно что они, — правда, долженствующие быть, но не могущие быть, как необходимо существующие, возможности.

Только путем этой «энергичнейшей» диалектики, — утверждает Шеллинг, — можно от спиновского асту необходимо существующего прийти к *natura sua* необходимо существующему. Но только этого он и хотел, так как он желает доказать не существование бога, а божественность существующего (именно это самое и делает также младогегельянская философия), именно божественность асту вечно, само собою существующего. Кто же, однако, нам доказывает, что нечто существует от века?

От actu само собой существующего мы можем прийти только к вечности материи, если мы будем логически умозаключать. Нелогические же умозаключения не имеют никакого значения, хотя бы они и согласовались с откровением. «Если мы, следуя слабой диалектике, скажем: бог принимает потенцию противоположного бытия только для того, чтобы превратить слепое утверждение своего существования в опосредствованное отрицанием, то спрашивается, почему он это делает? Не для себя, ибо он знает свою силу; только для других он может отличное от него бытие сделать предметом своего хотения. В этом отчуждении от себя и кроется существо бога, его блаженство; все его мысли — только вне его, в творении. Таким образом, перед нами, конечно, процесс временного устранения и восстановления, но между этими двумя моментами лежит вся вселенная».

Как смешно здесь выглядит та надменность, с которой карикатурная энергичнейшая диалектика свысока ваирает на свой «слабый» оригинал! Она этот оригинал не смогла даже настолько толком понять, чтобы его верно изложить. Даже Гегель, если верить Шеллингу, мыслит чувственными образами. Шеллинг заставляет его приближительно следующим образом дедуцировать: Здесь бог. Он создает мир. Этот мир отрицает его. Почему? Потому ли, что он представляет собой злое начало? Совсем нет, а просто в силу одного факта своего существования. Он занимает все пространство, а бог, который не знает, куда ему деться, видит себя вынужденным снова его негировать. При таком положении вещей бог должен был бы его уничтожить. Но глубины той концепции, по которой отрицание с необходимостью вытекает из сущего вначале в себе, как развитие его внутреннего существа, как фактор, пробуждающий сознание, пока оно на высшей ступени своего развития не приходит в свою очередь к имманентному отрицанию себя самого, оставляя в конце процесса нечто более развитое, самобытное и свободное, — этой глубины Шеллинг не может постигнуть, ибо его бог свободен, т. е. действует произвольно.

Бог, или предвечное бытие, создал мир, или враждебное бытие. Последний держится лишь благодаря божественному хотению и зависит от него. Уничтожить мир одним ударом в целях своего восстановления не допускает его справедливость, ибо враждебное начало имеет в известном смысле право, независимую от бога волю. Поэтому оно ведется обратно через две последние потенции постепенно и по принципу, определяющему ступени процесса. Если первая потенция явилась причиной, породившей все движение и враждебное бытие, то вторая была полагаема ex actu; она осуществилась в процессе

преодоления первой и, действуя на враждебное бытие, подчинила последнее третьей потенции, так что враждебное бытие существует как конкретная вещь между тремя потенциями. Или являются: *causa materialis, ex qua, causa efficiens, per quam, causa finalis, in quam (secundum quam) omnia fiunt.*

Если предвечное бытие является условием божества, то вместе с актом творения является бог как таковой, как властелин бытия, в чьей власти осуществить те возможности или нет. Он остается вне всего процесса и возвышается над той триадой причин, как *causa causarum*. Чтобы мир не явился эманацией его существа, бог имел возможность испытать всевозможные положения потенций по отношению друг к другу, т. е. одним взором окинуть будущую вселенную. Ибо одно всемогущество и всеведение для этого недостаточны, и творения являются видениями творца. Поэтому та первоначальная потенция, первая причина враждебного бытия, являлась всегда предметом особого поклонения; она есть та индийская майа (родственная немецкому «Macht», потенции), которая творит мир одних феноменов с целью побудить творца к действительному творчеству, как *Fortuna primigenia* в Пренесте.

Я не прибавлю к этому ни одного слова, чтобы не ослабить впечатления этого мистического видения.

Что бог действительно творит, нельзя доказать а priori: это вытекает из единственной, допустимой у бога потребности — дать себя познать, потребности, присущей больше всего наиболее благородным натурам. Бог творения не является просто единым, а единым во множестве, а так как это множество (те потенции) является замкнутым в себе, то творец является *всединным*, и это есть монотеизм. Так как он все предупреждает, то он не может иметь равного себе, ибо бытие без потенции не *может* вообще мочь (1). Бог, о котором только мимоходом говорится, что он един, есть бог только теистов. Монотеизм требует единичности бога, без которой бог не является богом, между тем как теизм не идет дальше бесконечной субстанции. Дальнейший шаг отсюда к тому, что в отношении к вещам является богом, представляет собой пантеизм: в нем вещи являются определениями бога. Только в монотеизме бог выступает действительным богом, живым, где единство субстанции исчезло в потенции, и его место заступило сверхсубстанциональное единство, так что бог является непобедимым единым против трех. Несмотря на множество лиц, существует, однако, не много *богов*, а единый бог. Нет множества в *божественности*. Таким образом, монотеизм и пантеизм являются шагом вперед в сравнении с теизмом, который

является последним выражением абсолютного в отрицательной философии. Монотеизм является переходной ступенью к христианству, ибо всеединство имеет свое определенное выражение в троеединстве.

Попробуйте толковать это триединство, как хотите, все же ничего другого не получится, как три против одного, один против трех. Если бог является единством этих трех, то он может этим быть только как четвертый, или остается трое богов. Если только общность божественной природы составляет их единство, то в такой же мере и общность человеческой природы составляет единство всех людей, и мы имеем как единого бога, так и одного человека.

Однако, подобно тому как нельзя мысленно устранить множественности от людей, так и нельзя устранить тройственности в отношении бога. Из трех лиц никак не может получиться одно. Старое противоречие, кроющееся в понятиях триединства, остается явно налицо, и приходится только изумляться смелости утверждения Шеллинга, будто оно разрушено. Мысль о том, что только тройственность есть истинное выражение единства, опять-таки позаимствована у Гегеля, но по обыкновению упрощена до полной бессодержательности. У Гегеля тройственность остается градацией моментов в развитии бога, если уже непременно хотят думать, что таковой в его системе имеется. Здесь же эти три момента должны стоять рядом как *личности*, и оригинальным образом утверждается, что истинная личность *одного* лица в том и заключается, что оно составляет *три* лица.

До сих пор, однако, мы имеем только одно лицо, Отца, ибо если предшествующее сущее отделяет от себя нечто, что составляло раньше часть его самого, причем так, что это последнее само себя осуществило, то это по праву называется производить. Если в этом процессе осуществления враждебное бытие (*B*) действительно побеждено, то и вторая потенция в такой же мере властна над ним, как и первая, и, таким образом, божественность Сына равна божественности Отца. То же происходит и с третьей потенцией, которая, как свободное от бытия существо, только после одоления *B* может снова прийти в бытие, но тогда обретает ту же власть и ту же личность, что и две другие, и является духом. Таким образом, мы имеем в конце процесса три личности, но не трех богов, ибо так как бытие едино, то и власть над ним может быть только единой (как будто оба спартанских царя, так как их власть была едина, составляли одного царя!). В потенциях, пока они находятся в напряжении, мы видим только естественную сторону процесса («напряжение», повидимому, есть процесс отрицательной философии), именно возникновение мира,

и только вместе с лицами открывается мир *божественного* и божественное значение того процесса, в котором бытие, первоначально присущее в качестве возможности Отцу, передается Сыну и этим последним, как побежденное, снова возвращается Отцу. Кроме Сына, оно еще дается Отцом и Сыном также Духу, и последний имеет только общее обоим первым бытие. Через всю природу проходит процесс напряжения потенциалов, и всякая вещь имеет известное отношение к этой борьбе. Все возникающее является четвертым между потенциалами, человек же, в котором это напряжение разрешилось в полную гармонию, имеет уже отношение к *личностям* как таковым, ибо в нем выражается тот последний момент осуществления, в котором потенциалы становятся действительными личностями. Этот процесс является, таким образом, для вещей процессом творения, для личностей — теогоническим процессом.

Таким-то образом Шеллинг волшебным жезлом вызвал на свет божий из бездны предвечного бытия не только личного, но и триединого бога — Отца, Сына и Духа, причем последнего, правда, удалось только с трудом пристроить, затем — по произволу созданный, от произвола зависимый, следовательно бессодержательный и ничемный мир. В результате всего этого Шеллинг имеет базис для христианства. В мою задачу не может входить подробно перечислить все те непоследовательности, произвольности, смелые утверждения, пробелы, скачки, подмены понятий и путаницы, которые лежат на совести Шеллинга. Если уже так скверно обстояло дело в мышлении, совершающемся по законам логической необходимости, то в сфере свободного мышления заранее следовало ожидать еще большей мешанины схоластики и мистики, а именно это и составляет сущность нешеллингианства. Читатель не может требовать от меня такого нечеловеческого терпения, как и я не могу требовать от него такого интереса к делу. К тому же то, что и без того для всех очевидно, не требует никаких разъяснений. Моей задачей является только проследить в общем ход мыслей, только показать, что отношение между Гегелем и Шеллингом как раз обратно тому, которое рисует Шеллинг. Теперь на почве христианства мы в еще большей мере имеем возможность заставить говорить за себя факты. Прежде всего, Шеллинг признает свою неспособность понять мир, поскольку он неспособен понять смысл зла. Человек имел возможность остаться в боге или не остаться. Что он этого не сделал, было актом его свободной воли: он этим поставил себя на место бога, и там, где все казалось устроенным, все стало снова шататься. Мир отделился от бога, отдал себя во власть внешности, самое важное потеряло свое положение

как таковое. Отец «как бы» вытеснен из своего места (позже это «как бы» выпущено).

Пока, однако, мы все еще не имеем христианского триединства, собственная, независимая от Отца, воля Сына еще не выявилась. Теперь, однако, в конце акта творения является нечто новое, именно владеющее собой в человеке *В*. От его доброй воли зависит, соединиться ли с богом или нет. Он выбирает последнее и вынуждает эту высшую потенцию вернуться в состояние потенциальности, которая, только теперь отторгнутая от отца волей человека, является в такой же мере сыном человеческим, как и сыном бога (в этом — значение новозаветного выражения), обладает божественно внебожественным бытием. Теперь она может последовать за бытием в внебожественную сферу и вести его обратно к богу. Отец теперь отвратился от мира и действует в ней отныне не своей волей, а своим недовольством (в этом истинное значение гнева божьего). Таким-то образом Отец и не уничтожил греховного мира, а сохранил его ради своего Сына, как сказано в Писании. В нем, т. е. ради него, созданы все вещи. Таким образом, мы имеем здесь два периода: Эон Отца, когда бытие мира еще покоилось в Отце как потенция, а Сын еще был самостоятелен; Эон Сына, период мира, чья история есть история Сына. Этот период делится, в свою очередь, на две эпохи: в первую эпоху человек всецело во власти враждебного бытия, *В*, космических потенций. Здесь Сын находится в состоянии отрицания, глубочайшей страдательности, пассивности, исключенный прежде всего из бытия (т. е. из мира), несвободный, вне человеческого сознания. Для завоевания бытия эта потенция может действовать только естественными средствами. Это время старого союза, когда Сын не по своей воле, а по своей природе стремится к господству над бытием; значение этого периода осталось до сих пор не понятым наукой, его еще никто не постиг. На эту эпоху определенным образом указывается в Ветхом Завете, а именно в 53-й гл. Исаии, где говорится о *теперешних* страданиях Мессии. Только с усилением второй потенции, с завоеванием господства над бытием, начинается вторая эпоха, когда она свободно и активно действует, — это эпоха ее появления во Христе, эпоха откровения. Это — ключ христианства; при помощи этой ариадниной нити «можно ориентироваться в лабиринте моего хода мыслей». Вследствие бунта человека, возникшие в акте творения, благодаря преодолению *В*, личности снова становятся простыми возможностями, оттесняются в состояние потенциальности, исключаются из сознания; и с них совлекается их божественное начало. Здесь причина нового процесса, который происходит в сознании че-

ловека и из которого исключено божество, ибо в своем противоборении потенции внебожественны. Этот процесс подчинения сознания господству потенций получил в язычестве форму мифологического развития. Мифология является наиболее глубокой исторической предпосылкой откровения. В философии мифологии нашей задачей является установить отдельные потенции в мифологическом сознании и осознание этого мифологического процесса в греческих мистериях.

Спрашивается: соответствует ли представлениям христианства утверждаемое Шеллингом влияние человека на саморазвитие бога — ибо только так можно это назвать? Ведь христианский бог представляется испокон века готовым, чье спокойствие нисколько не нарушается временной земной жизнью Сына. Вообще, по Шеллингу, акт творения кончается большим фиаско. Едва успели построить карточный домик промежуточных потенций, — относительно-сущих и могущих быть, — и уже три потенции с минуты на минуту готовы стать личностями, как вдруг глупый человек напроказил, и вот вся искусная архитектоника проваливается, и потенции остаются потенциями попрежнему. Совсем как в сказке, где заклинаниями вызывается из глубины клад, окруженный светло-блестящими духами; вожделенный клад уже поднялся до края пропасти, но вот произнесено неосторожное слово, и обравы улетучиваются, клад падает вниз, и бездна смыкается над ним навеки. Шеллинговский бог мог бы немного умнее устроить свои дела, чем он избавил бы себя от многих трудов, а нас от философии откровения. Своего высшего расцвета, однако, мистика Шеллинга достигает здесь при развитии темы о страданиях сына. Это темное, таинственное отношение божественной внебожественности, сознательной бессознательности, деятельной бездеятельности, безвольной воли — эта цепь нанизанных друг на друга противоречий является, конечно, для Шеллинга неопенимым источником, откуда можно черпать всякие выводы, ибо отсюда можно все выводить. Еще менее ясно отношение этой потенции к сознанию человека. Тут действуют все потенции как космические, естественные, но как? Что такое космические потенции? Ни один ученик Шеллинга, да и он сам, не могут дать на это разумного ответа. Это опять-таки одно из тех неясных мистических определений, к которым он вынужден прибегнуть, чтобы даже путем «свободного, руководимого волей мышления прийти к откровению». «Мифологические представления можно объяснить только как необходимый продукт подпавшего под власть потенций сознания». Космические потенции, однако, являются теми же божественными

потенциями, поскольку последние находятся в несогласии между собой, т. е. они представляют собой божественное как небожественное. Тут, по мнению Шеллинга, ключ к пониманию отношения мифологии к природе, тут открывается целый ряд совершенно новых фактов и раскрывается содержание доисторического периода человечества, «то огромное душевное возбуждение, которым сопровождался этот процесс создания образов богов».

Мы можем отказаться от изложения «философии мифологии», так как она непосредственно не относится в философии откровения. Кроме того, в ближайшем семестре Шеллинг собирается посвятить ей более обширный курс. Эта часть курса была, между прочим, значительно лучше всех остальных, и кое-что, высказанное в ней, если освободить его от общей мистической искажающей рамы, будет приемлемо и для того, кто рассматривает эти фазы развития сознания с более свободной, чисто человеческой точки зрения. Вопрос только в том, насколько эти мысли являются собственностью Шеллинга и не позаимствованы ли они вообще у Штура. Неправильность подхода Шеллинга состоит главным образом в том, что он мифологический процесс понимает не как свободное саморазвитие сознания в общем контексте всемирно-исторической необходимости, а везде заставляет действовать сверхчеловеческие принципы и силы, причем все представление об этом настолько сбивчиво, что эти потенции одновременно являются и «субстанцией сознания», и чем-то еще большим. Такие средства, конечно, неизбежны, если хотят во что бы то ни стало установить абсолютно сверхчеловеческие влияния. Таким образом, я охотно признаю выводы Шеллинга, касающиеся самых важных результатов мифологии в отношении христианства, но в другой форме, так как я оба явления рассматриваю не как нечто, внесенное в сознание извне сверхъестественным образом, а как внутреннейшие продукты сознания, как нечто чисто человеческое и естественное.

Мы, таким образом, наконец, подходим к подготовленному мифологией откровению. Откровением является все христианство. Поэтому философия откровения не имеет дела с догматикой и т. д., она стремится не установить какое-нибудь учение, а только дать объяснение историческому факту христианства. Мы, однако, увидим, как постепенно выводится отсюда вся догматика. Мы увидим, как Шеллинг рассматривает «все христианство только как факт, так же, как и язычество». Факты язычества он не принимал за то, за что они себя выдают, т. е. за правду; например он не принимал Диониса за истинного бога. Факты же христианства для него абсолютны. Когда

Христос объявляет себя Мессией, когда Павел утверждает то или другое, то Шеллинг ему верит безусловно. Мифологические факты Шеллинг, по крайней мере по-своему, объяснил, факты же христианства он утверждает. И при всем том он тешит себя уверенностью, что «он своей прямоотой и откровенностью завоевал себе любовь молодежи, и не только любовь, но и восторженное поклонение».

Чтобы объяснить откровение, он исходит из того места у Павла в послании к Филиппийцам, гл. 2, 6—8, которое я здесь привожу: Христос, «будучи образом Божиим (ἐν μορφῇ θεοῦ), не почитал хищением (ἄρπαγμα) быть равным Богу, но уничижил (ἐξένωσε) себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной».

Не пускаясь в обширные экзегетические исследования, которыми Шеллинг сопровождал свое философское объяснение, я хочу только рассказать здесь в манере Шеллинга факт, рассказанный Павлом. В своем страдании Христос постепенно, благодаря мифологическому процессу, стал господином сознания. Независимый от Отца, он имел свой собственный мир и мог им распоряжаться, как хотел. Он был богом мира, но не абсолютным богом. Он мог бы остаться в этом небожественно-божественном состоянии. Это Павел называет «быть образом Божиим» — ἐν μορφῇ θεοῦ. Но он этого не захотел. Он стал человеком. Он отказался от этого своего величия, чтобы передать его Отцу и таким образом соединить мир с богом. Если бы он этого не сделал, то для мира не оставалось бы больше никакой возможности соединиться с богом. В этом настоящее значение послушности Христа. В этом смысле следует понимать также историю искушения. Дьявол, слепой космический принцип, доведен до того, что он предлагает свое царство Христу, если последний согласится поклониться ему, т. е. согласится остаться космической потенцией, ἐν μορφῇ θεοῦ, Христос же отвергает эту возможность и подчиняет свое бытие Отцу, сделав его сотворенным и приняв образ человека.

«Упаси меня бог, чтобы я стал за христианские выдавать философские учения, о которых христианство ничего не знает», — этими словами заключил Шеллинг свою дедукцию. Спорить о христианском характере этих учений было бы излишней роскошью, ибо если бы даже последнее было доказано, то это еще не говорило бы в пользу Шеллинга. По моему мнению, однако, эти учения противоречат основному миросозерцанию христианства. Можно легко, на основании отдельных мест из Библии, доказать самое несообразное, но

дело совсем не в этом. Христианство существует вот уже скоро две тысячи лет и имело достаточно времени, чтобы вполне осознать себя. Содержание его выражено в церкви, и невозможно, чтобы помимо этого содержания в нем скрывалось еще какое-нибудь положительное содержание, могущее претендовать на какое-нибудь значение, а еще более невозможно, чтобы только теперь был понят впервые истинный смысл его. Да и помимо того это открытие истинного смысла пришло бы теперь слишком поздно. Но и независимо от всего этого вышеуказанное объяснение содержит много назидательного и в других отношениях. Было ли свободным актом со стороны Христа то, что он подчинил себя Отцу? Ни в коем случае — это было естественной необходимостью. Нельзя же предположить возможности зла у Христа, не уничтожив этим его божественности. Кто способен делать зло, не может никогда стать богом. Как можно вообще *стать богом*? Но представим себе, однако, случай, что Христос удержал бы мир для себя.

Нельзя себе совсем представить такого бессмысленного, комического состояния, как то, которое получилось бы в этом случае. Тут Христос, пышно и весело живущий со своим прекрасным миром, расцвет эллинизма на небе и на земле, а там — одинокий и бездетный старый бог, сокрушающийся о неудаче своих козней против мира.

Основной недостаток шеллинговского бога это то, что он более удачлив, чем умен. Все еще сложилось удачно, но могло бы и совсем иначе кончиться. Вообще все учение о боге Шеллинга носит всецело антропатический характер. Предложи дьявол царство мира Христу до того, как последний стал человеком, то он имел бы, по крайней мере, шанс привлечь его на свою сторону, и кто знает, что случилось бы! Когда же Христос уже стал человеком, то он уже этим совершил свой акт подчинения себя богу, и дело бедного чорта было уже заранее проиграно. Кроме того, разве Христос в мифологическом процессе уже не завоевал себе господства над миром? Что же мог ему дьявол, в таком случае, еще предложить?

Этим я передал самое важное из того, что было сказано Шеллингом в объяснение христианства. Все остальное содержит частью подкрепляющие цитаты и их экзегетику, частью детальное развитие выводов. Из них я хочу сообщить наиболее важные.

На основании вышеприведенного учения о последовательной преемственности потенций в господстве над миром вполне понятно, что господствующая каждый раз потенция является провозвестницей следующей за ней. Таким же образом возвещает в Ветхом За-

вете Отец приход Сына, в Новом Завете Сын — приход Духа. В книгах пророков дело происходит в обратном порядке, и третья потенция пророчески возвещает вторую. Здесь обличается развитие потенций в зависимости от хода времени, а именно в «малахе Иеговы», в «ангеле господа», который является, правда, не вторым лицом непосредственно, но все же второй потенцией, причиной появления второй потенции в В. Он в различные периоды имеет различную форму, так что по этой форме его появления легко определить время появления отдельных книг, и таким образом, благодаря этому знанию о ходе развития потенций, мы можем достигнуть «изумительных» результатов, превосходящих все то, что сделала до сих пор критика. Это определение есть «ключ к Ветхому Завету, пользуясь которым мы можем доказать реальность представлений Ветхого Завета в их относительной истинности».

Ветхий Завет имеет общую основу и общую предпосылку с язычеством. Отсюда языческий характер многих обрядов мозаизма. Так, например, обряд обрезания является, очевидно, смягченной формой осклопления, которое играет такую большую роль в древнем язычестве, представляя собой мимически символическое изображение победы над древнейшим богом — Ураном. Таковы же запреты по части пищи, устройство скинии завета, напоминающее египетские храмы, подобно тому как кивот завета напоминает священный ящик финикийн и египтян.

Само появление Христа не является случайным, а предопределенным. Римская эпоха была концом мифологии, так как религия римлян, не внося сама никакого нового момента, вобрала в себя все религиозные представления мира вплоть до представлений самых древних восточных религий и этим показала свою неспособность создать нечто новое. Одновременно возникло из пустоты этих отживших форм чувство, что должно явиться нечто новое. Мир притих, ожидал того, что будет. Из этой внешней римской мировой империи, из этого уничтожения национальностей возникло внутреннее царствие божие. Когда, таким образом, исполнилось время, бог послал своего сына.

Христос, отказавшись от μορφῆ θεοῦ, от внебожественного бытия как божественного, стал человеком, доказывая таким образом наиболее ясно и блестяще своими делами свою продолжающуюся божественность. Под бедностью, на которую Христос обрек себя ради нас, следует понимать не отказ от своей божественности, не поп usus (неиспользование) таковой, а совлечение с себя μορφῆ θεοῦ, божественного образа. Божественная сущность остается в нем. Только он мог

явиться посредником, так как он совмещал в себе бога и человеческое сознание. Его проявление в форме язычества и иудаизма не устранило сковывающего и почти уничтожающего человечество начала; постоянно повторяющиеся жертвоприношения могли устранить только симптомы, но не основу болезни. Гнев Отца мог быть побежден только другой волей, которая была бы сильнее его, сильнее смерти, сильнее всякой другой воли. Победить эту волю могла только моральная, а не физическая сила, а именно величайшее добровольное подчинение посредника вместо человека. Величайшее добровольное подчинение человека никогда не было безусловно добровольным, подчинение же посредника свободно, без его воли и вины свободно по отношению к богу. В этом смысл развития процесса через язычество. Это нужно для того, чтобы посредник мог выступить как представитель сознания. Это решение было величайшим чудом божественного благородства.

Физическая сторона вочеловечения не может быть, разумеется, объяснена в ее мельчайших подробностях. Материальную возможность для этого он имеет в себе. Быть материальным значит служить материей высшей инстанции, подчиниться ей. Подчинившись, следовательно, богу, Христос становится материальным по отношению к нему. Но только став сотворенным, он имеет право быть вне бога. Вот почему он должен стать человеком. То, что в начале было у бога, то, что в образе божьем господствовало в язычестве над сознанием, рождается в Вифлееме как человек от женщины. Примирение всегда было только субъективным, поэтому для этого достаточны были уже субъективные факты. Здесь же требовалось победить гнев отца, и это смог только объективный факт — вочеловечение.

При этом вочеловечении третья потенция выступает как личность, в роли посредника. Христос был зачат от святого духа, т. е. в силу святого духа, но не является его сыном. Демиургическая функция переходит в третью потенцию. Ее первым проявлением является материальный человек — Иисус. Вторая потенция представляет собой материю, которой дает форму третья потенция. Процесс этот является необычайным, материально непостижимым, но более возвышенному воззрению понятным. Материю вочеловечения Христос взял из себя самого. Это первое образование, чьи особенности нас тут больше не интересуют, было воспринято органическим процессом матери. Задавать еще вопросы — было бы больше чем микрология.

Если бог где-нибудь действует посредством своей воли, то это чудо. В природе все безвольно. Таков же и Христос. Демиургическую функцию он имеет *natura sua*, без своей воли, таким образом,

он не может отказаться от нее как человек. Она становится здесь руководителем его воли. То, что Сын живет в природе по своей воле, зависит от воли Отца, и таким образом, Сын совершает чудеса силой своего Отца. Кто после этих лекций будет читать Новый Завет, найдет в нем кое-что, чего он раньше не замечал.

Смерть Христа была решена еще до того, как Христос стал человеком, и была одобрена Христом и Отцом. Она была не случайна, а была жертвой, которой требовала божественная благодать. Задача была в том, чтобы отнять всякую власть у злого начала, преодолеть его в его потенции. Это могла только посредствующая потенция, но не так, чтобы она выступила против него как просто естественная потенция. Так как, однако, сам бог хотел преодоления этого начала, то вторая потенция была вынуждена ему подчиниться, ибо вторая потенция, ставшая естественной, не стоит большего в глазах бога, чем отрицающее бога начало, несмотря на то, что она стала естественной не по своей вине, а по вине человека. Это последнее обстоятельство дает ей также известное право быть вне бога. Бог так справедлив, что он не устраняет односторонне противоположного ему начала; мало того, он так человечен, что он это в сущности случайное начало, давшее ему возможность стать богом, больше любит, чем необходимый момент, потенцию, вышедшую из его собственных недр. Он в равной мере является богом враждебного начала, как и второй потенции. Это его природа, которая выше даже его воли. Это всеединство всех принципов образует его божественное величие, а это не позволяет, чтобы тот принцип был сокрушен односторонне. Чтобы окончательно упразднить это начало, необходимо, чтобы вторая потенция взяла на себя инициативу и всецело подчинилась богу в ее внебожественном бытии. Одно вочеловечение было для этого недостаточно. Немедленно после грехопадения Христос последовал за человеком в его отчужденный от бога мир и стал между миром и богом. Становясь на сторону враждебного принципа, он противопоставил себя Отцу, вступил с ним в борьбу, сделался соучастником греха того бытия и должен был потерпеть наказание как без вины виноватый, как добровольный ответчик за богоотчужденное бытие. Это свое сближение с враждебным началом, вместе с взятыми на себя грехами мира, он должен был искупить смертью. Это — основание его смерти. Правда, и другие люди умирают, но он умер совсем другой смертью, чем они. Эта смерть — чудо, в которое мы бы не осмелились верить, если бы оно не было так достоверно. При его смерти присутствовало все человечество в лице его представителей: были при этом как евреи, так и язычники. Языческое начало должно было

умереть языческой смертью, смертью на кресте. Этим исчерпывается смысл последней. Распятие на кресте было разрешением долгого напряжения, в котором находился Христос в язычестве, как сказано в Писании: смертью он спасся от суда и тоски (т. е. от напряжения). Это — та великая тайна, которая и по сие время еще является соблазном для евреев (моралистов) и глупостью для явчи-чников (чистых рационалистов).

Воскресение Христа искони рассматривалось как гарантия личного бессмертия. Об этом учении, независимо от воскресения Христа, надо заметить следующее. В земной жизни господствует природа над духом. Это предполагает другую жизнь, в которой это отношение компенсируется господством духа над природой, и предполагает также третью, последнюю сферу, в которой оба момента примирены и находятся в гармонии. Философия до сих пор не имела утешительной цели для бессмертия. Здесь, в христианстве, она дана.

Самый факт воскресения Христа является доказательством неотменяемости его воочеловечения. В нем человеческое бытие снова признано богом. Не отдельное деяние человека было неприятно богу, а все то состояние, в котором он находился, следовательно бог был недоволен и каждым отдельным человеком еще до того, как он согрешил. Поэтому, никакая человеческая воля, никакое деяние не могли быть действительно морально добрыми, прежде чем произошло примирение с Отцом. Благодаря воскресению Христа это состояние признано богом, миру возвращена радость. Оправдание совершилось, таким образом, только благодаря воскресению, так как Христос не *улетучился во вселенной*, а, как человек, сидит одесную бога. Воскресение есть просвет из внутренней истории во внешнюю. Кто этот факт отбрасывает, имеет одну только внешность без божественного содержания, без того трансцендентного, которое только и делает историю историей; он имеет перед собой только материал для механического запоминания и находится тут в том же положении, в каком находится необразованная масса по отношению к тем событиям дня, внутренние движущие мотивы которых ей неизвестны. Сверх того, он еще попадает в ад, т. е. «момент умирания растягивается для него в вечность».

Наконец, приходит святой дух, который замыкает собой всю цепь распятия. Он может снизойти только после того, как произошло полное примирение с Отцом, и его приход знаменует собой, что последнее совершилось.

Тут Шеллинг развил свой взгляд на новейшую критику, ведущую свое происхождение от Штрауса. Он-де никогда не испытывал

желания полемизировать против нее в какой бы то ни было форме. Доказательством может служить то обстоятельство, что он с 1831 г. читал свой курс в неизменной форме и без всяких прибавлений. Окончательную выработку своей философии мифологии он отнес к еще более отдаленному прошлому. Затем он стал говорить о «пошлом, чрезвычайно филистерском уме» этих людей, об их «ученическом обращении с незаконченными фразами», о «бессилии их философии» и т. д. Против пнэтизма же и чисто субъективного христианства он, напротив, ничего не может возразить, только надо знать, что это не единственное возможное и не высшее понимание христианства.

Должен ли я еще изложить сатанологию? Дьявол не индивидуален и не безличен, он — потенциал; злые ангелы являются потенциями, но такими, которые не должны быть и которые созданы только благодаря грехопадению человека; добрые ангелы — тоже потенция, но такие, которые должны быть и благодаря грехопадению человека не существуют. Этого пока довольноно.

Церковь и ее история развивается из трех апостолов: Петра, Иакова (вместе с его преемником Павлом) и Иоанна. Неандер такого же мнения. Католическая церковь есть церковь Петра, консервативная, иудейски-формалистическая; протестантская церковь есть церковь Павла; третья, которая должна еще возникнуть и которую Шеллинг, конечно, подготовил, есть церковь Иоанна, который совмещает простосердечие Петра и диалектическую остроту Павла. Петр представляет Отца, Павел — Сына, Иоанн — Духа.

«Тем, кого бог любит, он поручает дело совершенствования. Если бы мне пришлось воздвигнуть церковь, я бы ее воздвигнул святому Иоанну. Когда-нибудь, однако, будет всем трем апостолам воздвигнута общая церковь, и эта церковь будет истинным христианским пантеоном».

Вот главное содержание лекции Шеллинга, поскольку его можно было установить путем сличения трех тетрадей. Моя совесть мне говорит, что я отнесся к своей задаче с величайшей добросовестностью и правдивостью. Пред нами ведь вся догматика: триединство, творение из ничего, грехопадение, наследственный грех и бессилие к добру, искупительная смерть Христа, воскресение Христово, сошествие св. духа, община святых, воскресение из мертвых и вечная жизнь. Шеллинг, таким образом, сам аннулирует свое собственное разграничение между фактом и догмой. Но если мы ближе присмотримся к делу, то перед нами встанет вопрос: совпадает ли то, что дает нам Шеллинг, с традиционным христианством? Всякий, кто без предвзятого мнения подойдет к вопросу, должен будет сказать:

да и нет. Несовместимость философии и христианства дошла до того, что сам Шеллинг впадает в еще худшее противоречие, чем Гегель. Этот последний все же имел философию, хотя из ее горнила и вышло только мнимое христианство. То же, что дает Шеллинг, не есть ни философия, ни христианство, и в том, что он выдает это за то и за другое, заключается его «прямодушие и откровенность», заключается его заслуга, характеризующаяся им словами: «тем, которые от него просили хлеба, он давал действительный хлеб, а не камень, говоря при этом, что *это есть хлеб*». Что Шеллинг себя самого совершенно не знает, доказывает снова та речь, из которой взята только что приведенная цитата. Сталкиваясь с такой доктриной, только лишней раз убеждаешься в том, на каких слабых основах держится современное христианство.

Обзревая еще раз всю концепцию в целом, мы, помимо вышесказанного, приходим еще к следующим результатам относительно особенностей нешеллинговского направления мысли. Смешение свободы и произвола достигает здесь апогея. Бог представляется здесь всегда как действующий человечески-произвольно. Такое представление, конечно, неизбежно, пока бог понимается как индивидуальность, но философским оно не является. Только та *свобода* является истинной, которая содержит в себе необходимость; мало того — которая является истиной, разумностью необходимости. Потому и бог Гегеля никак и никогда не может быть индивидуальной личностью, так как все произвольное от него устранено. Поэтому-то Шеллинг и вынужден применить «свободное» мышление, говоря о боге, ибо необходимое мышление логической последовательности исключает понятие божественной личности. Гегелевская диалектика, эта могучая, вечно деятельная движущая сила мысли, есть не что иное, как сознание человечества в сфере чистого мышления, сознание всеобщего, гегелевское богопознание. Там, где, как у Гегеля, все совершается само собой, божественная индивидуальность является совершенно излишней.

Дальше обнаруживается новое противоречие в делении философии. Если отрицательная философия не стоит ни в каком отношении к факту существования, то «нет никакого логического основания», в силу которого она не могла бы содержать также вещей, которые не происходят в действительном мире. Шеллинг признает это, когда он говорит о ней, что она не считается с действительным миром, и если последний согласуется с ее конструкциями, то это случайность. Но в таком случае отрицательная философия представляет собой совершенно пустую бессодержательную философию,

оперирующую с самыми произвольными возможностями и открывающую широко свои двери всякой фантазии. С другой стороны, однако, если она содержит только то, что действительно существует в сфере природы и в сфере духа, то она ведь включает в себя реальность, и положительная философия является в таком случае излишней. Это обнаруживается и с другой стороны. Природа и дух являются у Шеллинга единственно разумными. Бог не есть разумное. Таким образом, обнаруживается и здесь, что бесконечное только тогда разумным образом может считаться реально существующим, когда оно проявляется как конечное, как природа и дух, а потустороннее внемировое существование бесконечного должно быть отнесено к царству абстракций. Эта самостоятельная положительная философия зависит, как мы видели, исключительно от веры и существует только для веры. Если иудей или мусульманин признает предпосылки Шеллинга в отрицательной философии, то он по необходимости создает себе также иудейскую или исламскую положительную философию. Больше того: эта положительная философия должна быть иной для католицизма и иной для англиканской церкви. Все имеют одинаковое право, ибо «речь идет не о догме, а о факте», а при помощи облюбванного Шеллингом «свободного» мышления можно все, что угодно, конструировать в качестве абсолютного. Как раз в исламе факты значительно лучше конструированы, чем в христианстве.

Таким образом, мы, как будто, покончили с изложением философии Шеллинга и можем только сожалеть, что такой человек, как он, попал в западную религию и несвободы. Когда он еще был молод, он был другим. Его кипящий ум рождал тогда светлые мысли, и некоторые из них сослужили свою службу в борьбе более молодого поколения. Свободно и смело выплывал он тогда в открытое море мысли, чтобы открыть Атлантиду абсолютного, чей образ в неясном сиянии марева так часто носился перед ним на далеком берегу. Огонь юности переходил в нем в пламя восторга; богом упоенный пророк, он возвещал наступление нового времени. Наэлектризованный снизошедшим на него духом, он сам часто не понимал значения своих слов. Он широко раскрыл двери философии, и в залах абстрактной мысли повеяло свежим дыханием природы; теплый весенний луч упал на семя категорий и пробудил в них все дремлющие силы. Но огонь выгорел, мужество изменило, находившееся в процессе брожения виноградное сусло, не успев стать чистым вином, превратилось в уксус. Смело, весело пляшущий по волнам корабль вернулся вспять, въехал в мелкую гавань веры и так сильно

врезался килем в песок, что и по сию пору не может сдвинуться с своего места. Там он лежит теперь, и никто не узнает в старом негодном судне прежнего корабля, который некогда, с развернутыми флагами, выплыл в море на всех парусах. Паруса уже давно истлели, мачты согнулись, через зияющие бреши проходит вода, и каждый день волны забрасывают новым песком киль.

Отвратим наши взоры от этого разрушительного действия времени. Есть более душу возвышающие вещи, рассмотрением которых мы можем заняться. Нам не станут указывать на это старое судно, утверждая, что это единственный корабль, способный выдержать морское плавание в то время, когда в другой гавани стоит целый флот гордых фрегатов, готовящихся выйти в бурное море. Наше спасение, наше будущее лежит в другом месте. Гегель есть тот человек, который открыл нам новую эру сознания, потому что он завершил старую. Характерно, что он подвергся теперь нападению с двух сторон: со стороны своего предшественника Шеллинга и со стороны своего младшего преемника Фейербаха. Если последний упрекает Гегеля, что он еще глубоко сидит в прошлом, то он должен был бы принять во внимание, что осознание старого есть уже новое, что старое потому и отходит в область истории, что оно было вполне осознано. Таким образом, Гегель есть новое как старое и старое как новое, а фейербаховская критика христианства есть не что иное, как необходимое дополнение к основанному Гегелем спекулятивному учению о религии. Последнее достигло своего завершения в Штраусе, и догма посредством своей собственной истории объективно разрешается в философскую мысль. В то же время Фейербах сводит все религиозные определения к субъективным человеческим отношениям, но при этом не только не уничтожает выводов Штрауса, а, наоборот, укрепляет их, так как оба они одинаково признают, что тайной теологии является антропология.

Занимается новая заря, всемирная историческая заря, подобная той, когда из сумерек Востока выявилось светлое, свободное эллинское сознание. Взошло солнце, и его со всех горных вершин приветствовали жертвенные огни, и пришествие его возведено было веселыми трубными звуками. Человечество с тоской ждало его света. Мы проснулись от долгого сна, кошмар, который давил нашу грудь, рассеялся, мы раскрыли глаза и с удивлением осмотрелись кругом. Все изменилось. Мир, который был нам до сих пор так чужд, природа, скрытые силы которой пугали нас, как страшные привидения, — как родственны, как близки стали они нам теперь! Мир, казавшийся нам тюрмой, явился нам теперь в истинном свете, как

великолепный дворец, доступный для всех — богатых и бедных, знатных и простолюдинов. Природа раскрывается перед нами и кричит нам: Не бегите от меня, я не отвержена, я не отреклась от истины, придите и смотрите, ведь именно ваша внутренняя сущность дает мне жизнерадостность и юношескую красоту! Небо спустилось на землю, сокровища его рассеяны, как камни на дороге, и нам стоит только нагнуться, чтобы их поднять.

Дисгармония, страх, разделенность исчезли. Мир опять стал целым, самостоятельным и свободным; он разбил запоры мрачного монастыря, сбросил с себя покаянную одежду и выбрал себе жилищем свободный, чистый эфир. Ему уже не нужно оправдываться перед тупоумием, которое не могло постичь его; его роскошь и великолепие, его полнота и сила, его жизнь сами служат ему оправданием. И прав был тот, который восемнадцать веков назад, смутно подозревая, что мир, космос, его когда-нибудь вытеснит, заповедал своим ученикам отречься от этого мира.

И самое любимое дитя природы, человек, возвратившись, после долгой борьбы в юношеском возрасте, к своей матери как свободный муж и защищая ее против привидений врагов, побежденных в борьбе, превозмог также свое собственное раздвоение, раздор с самим собою. После томительно долгой борьбы над ним взошел светлый день самосознания. Свободный и сильный, уверенный в себе и гордый, ибо он прошел через битву битв, он победил себя и надел себе на голову венок свободы. Все ему раскрылось, и никто теперь не имеет силы закрыть ему доступ. Только теперь познал он истинную жизнь. Того, к чему он прежде только смутно стремился, он теперь достигает вполне свободно и сознательно. То, что, казалось, лежало вне его, он находит в себе как свою плоть и кровь... Он не считает слишком дорогой ценой, что он заплатил за это лучшей кровью своего сердца, ибо корона стоила этой крови. Долгое время ухаживания для него не прошло даром, ибо гордая, прекрасная невеста, которую он сейчас ведет к себе в дом, для него стала тем дорожке. Жемчужина, святилище, которые он нашел после долгих поисков, стоили кое-каких блужданий. И этой короной, этой невестой, этим святилищем является *самосознание человечества* — тот новый Грааль, вокруг трона которого, ликуя, собираются народы и который всех, преданных ему, делает королями, бросает к их ногам и заставляет служить их славе все великолепие и всю силу, все величие и все могущество, всю красоту и полноту этого мира. Мы призваны стать тамплиерами этого Грааля, опоясать для него наши чресла мечом и радостно отдать нашу жизнь в последней священной войне, за которой должно

последовать тысячелетнее царство свободы. Таково обаяние идеи, что всякий, познавший ее, не может перестать прославлять ее и возвещать ее всемогущество, что он охотно и радостно отвергает все остальное, если она этого требует, что он готов всем пожертвовать с тем только, чтобы ее осуществить. Кто ее хоть раз созерцал, кому она хоть раз явилась в ночной тиши во всем ее блеске, тот не может с ней расстаться, он должен ей следовать, куда бы она ни вела его, — хотя бы даже на смерть. Ибо он знает о ее силе, знает, что она сильнее всего на небе и на земле, что она победоносно пробивает себе дорогу сквозь ряды всех врагов, загораживающих ей путь.

И эта вера во всемогущество идеи, в победу вечной истины, эта твердая уверенность, что она никогда не поколеблется, никогда не сойдет со своей дороги, хотя бы весь мир обратился против нее, — вот основы настоящей положительной философии, философии всемирной истории. Именно она есть высшее откровение, откровение человека человеку, в котором всякое отрицание критики является положительным. Эта вечная борьба и движение народов и героев, над которыми в вечном мире витает идея, чтобы спуститься в самую гущу этой борьбы и стать ее настоящей, живой, себя сознающей душой, — вот источник всякого спасения и искупления, вот царство, в котором каждый из нас должен бороться и действовать на своем посту. Идея самосознания человечества и есть тот чудесный феникс, который устраивает себе костер из драгоценнейшего, что есть в этом мире, и, вновь помолодевший, опять восстает из пламени, уничтожившего старину.

Понесем же на костер этот все, что нам было дорого, все, что было нами любимо, все, что было свято и велико для нас, прежде чем мы стали свободными. Пусть не будет для нас любви, выгоды, богатства, которые мы отказались бы принести в жертву идее, — она воздаст нам сторицей. Будем бороться и проливать свою кровь, будем бестрепетно смотреть врагу в его гневные глаза и сражаться до последнего издыхания. Разве вы не видите, как знамена наши развеваются на вершине гор? Как сверкают мечи товарищей, как играют лучи на их шлемах? Со всех сторон надвигается их рать, они спешат к нам из долин, они спускаются с гор — при звуках песен и музыки. День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!

ШЕЛЛИНГ — ФИЛОСОФ ВО ХРИСТЕ, ИЛИ ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИРСКОЙ МУДРОСТИ В МУДРОСТЬ БОЖЕСТВЕННУЮ.

ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ ХРИСТИАН, КОТОРЫМ НЕИЗВЕСТНА ФИЛОСОФСКАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ.

«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Евангелие от Луки, гл. XV, 7).

Это изречение господне воспоминается, когда речь заходит о Шеллинге, потому что на нем проявились чудеса божественной благодати, дабы прославлялось имя божие. Понеже бог смиростивился над ним, подобно тому как он некогда смиростивился над Павлом, который также, до своего обращения, ходил разорять общины и дышал угрозами и убийством на учеников господа. Когда же он приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет, и он упал на землю; господь же заговорил с ним и привлек его к себе, так что он тотчас же уверовал, крестился и проповедывал во имя господне всем народам и стал избранным орудием пред господом. Таким же образом милосердие спасителя простерло свою длань над Шеллингом, и, когда пришло время, он многое уразумел. Кто же мог бы в силу человеческого предвидения когда-либо предсказать, что человек, который в начале нынешнего столетия, вместе со своим тогдашним другом, известным Гегелем, положил основание той презренной мирской мудрости, которая теперь уже не подкрадывается во мраке, но в полдень губит людей своими стрелами, — что этот человек смирится ныне и последует за Христом? Но так случилось. Тот, кто направляет человеческие сердца, как потоки, избрал и его по своему милосердию и ждал лишь наступления надлежащего момента, чтобы привлечь его к себе. И теперь он сделал это, просветил его и присоединил его к числу своих ратников в борьбе против неверия и безбожия. Это уже не подлежит сомнению; он сам возвещает это с кафедры верующим: придите и взгляните и прославляйте милосердие, проявленное гос-

подом по отношению ко мне. Да, страж во Израиле не спит и не дремлет, древний бог еще жив на зло всем насмешникам, и он еще творит знамения и чудеса для всех, хотящих видеть. Они шумят, безбожники, и говорят в сердце своем: нет бога, но тот, кто живет на небе, смеется над ними, и господь издевается над ними. Он торжествовал над ними с тех пор, как существует мир, и он всегда будет торжествовать над ними. Он держал бразды правления сильной рукой и повсюду воздвиг себе орудия для прославления своего имени. И теперь он опять блистательно восторжествовал над философами, которые всегда внушали ему отвращение, выбрав из их среды самого лучшего и способнейшего, настоящего основателя их учения, и сделал его своим рабом, потому что из прежних сочинений Шеллинга ясно, что прежде сам он жалко коснел в этом, так называемом, пантеизме, в этом обожании мира и самого себя. Он только еще не постиг, как следует, взаимной связи всего и не знал определенно, куда приведет этот путь. Пусть же он благодарит господа за то, что он отклонил его от этого пути и направил на узкую стезю, ведущую к небу, и таким образом всего яснее проявил на нем свое могущество, наперекор всем врагам веры. Теперь они уже не могут говорить: где ваш бог? Что он делает? Где он разгуливает? Почему он не творит более чудес? Ведь он здесь, его рука, подобно молнии, опускается в толпу их самих и превращает воду в огонь, черное в белое, неправедных в праведников. Кто же может еще отрицать, что здесь виден перст божий?

Но это еще не все. Призвав Шеллинга, господь приготовил нам еще и другое торжество над безбожниками и богохульниками. Он избрал именно Шеллинга, потому что последний в качестве человека, знающего мудрость мира сего, всего более годился для того, чтобы опровергнуть гордых надменных философов, и таким образом он, по своему беспредельному милосердию и любви, открыл им путь, идя которым они могут вернуться к нему. Можно ли требовать от него большего? Тем, кто изрыгает хулы на него, кто неистово оспаривает его бытие, тем, которые являются его безумнейшими, неистовейшими, ожесточеннейшими врагами, он, вместо того, чтобы стереть их с лица земли и низринуть в глубочайшую бездну ада, беспрестанно простирал спасительную руку, чтобы вывести их из той погибельной бездны, где они находятся, к свету; ведь благодать господа простиралась на все небеса от востока до запада, и милосердие его не знает пределов. Кто мог бы противиться такому долготерпению и такой любви? Но их сердца настолько ожесточились и закоснели в грехах, что они и теперь все еще отталкивают руку, хо-

тящую их спасти, — настолько ослеплены они мирскими наслаждениями и бесом собственной их гордыни. Они копают себе дырявые колодцы и отвергают источник жизни, струящийся в крови Христа. Они затыкают свои уши, отвергая спасение, грядущее с небес; им доставляет удовольствие то, что не угодно господу. «Лицеприятие их свидетельствует против них, и провозглашают о грехе своем, как содомляне, не скрывают. Горе душам их, потому что они сами воздали себе злом» (книга пророка Исаи, глава III, 9). Но, тем не менее, господь не перестал призывать их к себе, чтобы у них не было никаких оправданий. Он показал им на Шеллинге, насколько слаб и ничтожен человеческий разум. Если они теперь не исправятся, то вся вина падет исключительно на них, и они не могут сказать, что они не знали Евангелия.

А так как господь сотворил столь великое дело и дал всем христианам столь утешительное доказательство того, что он близок и не желает оставить их в нужде и в борьбе мира сего, то всякий верующий должен позаботиться о том, чтобы сообщить эту радостную весть и другим христианам. Но Шеллинг изложил свое верование во Христа в виде лекций, а потому оно, с одной стороны, стало известным лишь немногим, с другой стороны — оно выражено в столь трудных философских терминах, что оно понятно лишь людям, долго занимавшимся мирскою мудростью, а в-третьих, многое рассчитано на философов, а иное на верующих, так что простодушному христианину трудно было бы разобраться во всем этом. Поэтому пишущий эти строки счел не лишним, чтобы не оставаться праздным в винограднике господнем, кратко и ясно изложить суть дела всем тем, у кого нет ни времени, ни охоты заниматься бесплодным изучением мирской мудрости, но кто, тем не менее, хотел бы знать, что, собственно, произошло с знаменитым Шеллингом. Да благословит господь это начинание, дабы оно принесло пользу его царствию.

Но предварительно следует заметить, что, при всех своих заслугах по отношению к истинному христианству, Шеллинг все-таки не может вполне отрешиться от своей прежней ложной мудрости. Некоторые его взгляды еще заставляют предполагать, что он все еще не может вполне преодолеть высокомерия собственного разума и что он как будто еще несколько стыдится перед светом вполне признать совершившуюся в нем перемену с полной радостью и с признательностью по отношению к Христу. Мы не станем придавать этому обстоятельству слишком большого значения; тот, кто так чудесно проявил на нем благодать, смочет с него и это пятно; тот, кто начал дело, доведет его до конца. Но пусть тот смелый

борец за правду, о котором мы говорим, вспоминает об этой занозе в своем теле, когда его одолевает и искушает бес гордыни. Пусть он перестанет гордиться своей прежней философией, которая ведь породила лишь безбожных детей, и пусть он гордится лишь тем, кто, по свободному, беспредельному милосердию, избавил его от этой погибели.

Первое, что сделал Шеллинг здесь на кафедре, было то, что он прямо и открыто напал на философию и подорвал доверие к ее основе — к разуму. Он доказал им убедительнейшими доводами, заимствованными из их собственных арсеналов, что естественный разум неспособен доказать хотя бы даже и существование какой-нибудь былинки; что всеми своими доказательствами, доводами и умоваключениями он никого не заманит, и что он никак не может возвыситься до божественного, потому что, по своей неуклюжести, он всегда остается на земле. Правда, мы-то давно уже знали это, но это еще не говорилось так хорошо и ясно упрямым философам. Он сделал это в целой обширной системе, так называемой отрицательной философии, в которой он с полной очевидностью выясняет им, что их разум может познавать лишь возможное, но не в состоянии познать ничего действительного, а всего менее бога и тайны христианства. Этот труд, которым он занялся, имея в виду столь бесплодный предмет, как призраки мирской мудрости, заслуживает большой признательности ради царствия божия, потому что, пока эти философы еще могли хвастаться своим разумом, с ними нельзя было справиться, но теперь, когда и с их точки зрения им было доказано, что их разум совершенно непригоден для познания истины и создает лишь пустые, вздорные фантазии, не имеющие права на существование, нужна уже ожесточившаяся и поседевшая в грехах голова для того, чтобы продолжать держаться языческого учения, и, конечно, возможно, что, при содействии божественной благодати, тот или другой откажется от дурного образа жизни. Весьма справедливо и следует постоянно повторять, что помрачившийся разум человека совершенно не способен и не заслуживает той похвалы, которую он должен был бы заслуживать пред богом, потому что главным оплотом неверующих является утверждение, что их разум говорит им другое, чем слово божие. Но святотатством по отношению к всевышнему является желание познать его, врага всякого греха, при посредстве разума, запятнанного и ослепленного грехом, и даже ставить этот разум, предающийся всяким мирским удовольствиям, подверженный всяким искушениям сатаны, выше самого бога; но это и делают мудрецы, когда они критикуют слово божие этим своим

порочным разумом, отвергают то, что им не нравится, и даже не только посягают нечестивыми руками на святость Библии, но и отрицают бытие самого бога, чтобы вместо него обожать самих себя. Таковы естественные следствия того, что разум, как некогда, в кровавые дни французской революции, известная блудница, возводится на трон бога и осмеливается критиковать распоряжения всемогущего властителя мира. Здесь нужно лечение, и притом не поверхностное, а радикальное. Разве починяют старое платье куском новой материи? Какое согласие между Христом и Велиалом? Это невозможно: желать понять естественным разумом смерть господина-искупителя, воскресение и вознесение — значит хулить бога. Поэтому следует энергически начать действовать вместе с Шеллингом и изгнать разум из христианства в язычество, потому что там его место, там он может восставать против бога и считать божественным мир, от которого мы отреклись, с его удовольствиями и желаниями, извинять все грехи и пороки, ужасы пьянства и распутства как добродетели и богослужение и выдавать за образец для человечества самоубийство Катона, нецеломудренность Лаисы и Аспавии, убийство Брутом своих родственников, стоицизм Марка-Аврелия и яростное преследование им христиан. Тогда он явно противоречит христианству, и всякий знает, каков он. Но главная хитрость дьявола заключалась в том, что он украдкой вводил разум в христианство, где он затем породил миленьких незаконных детей, а именно: целагианство, социнианство, рационализм и умозрительную теологию. Но бог избрал безумное мира, чтобы посрамить мудрых (I послание к Кор., I, 27); поэтому естественный человек не принимает того, что от духа божия, потому что он почитает сие безумием, а о сем надобно судить духовно (I послание к Кор., II, 14).

Воистину христианским следует признать стремление Шеллинга в своей умозрительной философии, которая именно и есть отрицательная философия, не доводящая разуму гордиться чем бы то ни было, а глубоко унижить и пристыдить его, чтобы разум дошел до совнания своей слабости и греховности и, обнаруживая готовность раскаяться, обратился к благодати, потому что только она может освятить, просветить и возродить его так, чтобы он стал способен к познанию бога. Распяты разум труднее, а следовательно и важнее, чем распяты плоть. Последняя все-таки подчиняется совести, которая дана уже и язычникам для укрощения их похотей и в качестве внутреннего судьи над их грехами; разум же ставит себя выше совести и даже отлично уживается с нею, и только христианам дана возможность налагать на него легкое иго веры. Но этого требует

от нас священное писание, и здесь не имеют значения никакие возражения или отговорки: или подчини свой разум вере, или перейди на левую сторону, к козлицам (называют же себя худшие из этих самообожателей, как бы в насмешку, *левой* стороной), там ты на своем месте!

Этим Шеллинг расчистил для себя почву. Все остатки язычества, которые в наше время вновь превозносятся и выдаются за новую истину, все искаженные порождения нецеломудренного, похотливого разума устранены, и теперь его слушатели способны всосать в себя молоко Евангелия. Таков правильный путь. Язычники были уловимы благодаря их мирским похотям и влечениям; но наши философы, по крайней мере теперь, делают вид, что они еще хотят признавать христианскую мораль. Поэтому, если апостолы требовали от язычников, чтобы их сердца были готовы к покаянию, разбиты и сокрушены, от надменных мудрецов нынешнего времени следует требовать, чтобы их разум был готов к покаянию, унижен и сокрушен, прежде чем они станут способны воспользоваться евангельскою благодатью. И таким образом Шеллинг лишь теперь мог правильно судить о своем прежнем товарище по безбожию, об обесславленном Гегеле, потому что этот Гегель настолько гордился разумом, что прямо-таки провозгласил его богом, когда он увидел, что с помощью разума он не мог дойти до иного, истинного бога, стоящего выше человека. Поэтому Шеллинг и заявил открыто, что он больше и знать не хочет этого человека и его учения, и далее уже совершенно не занимался им.

А после того, как разум смирился и обнаружил желание воспринять спасение, он вновь может возвыситься и просветиться духом истины. Это совершается в положительной философии, где, при посредстве свободного, т. е. просветленного, мышления, с помощью божественного откровения, разум допускается к пользованию дарами благодати христианства. Теперь же, когда ему стал понятен высший мир, он сразу постигает всю чудную связь, открывающуюся в истории царствия божия, и то, что прежде представлялось ему непостижимым, теперь ясно и понятно ему, как будто иначе и быть не могло, потому что только глаза, просветленные господом, становятся настоящими и прозревшими глазами; там же, где господствуют мрак и мирские похоти и влечения, никто не может ничего видеть. Шеллинг истолковывает это действие благодати в том смысле, что он говорит, что эта философия существует лишь для желающих усвоить ее и мудрых людей и что она находит свое подтверждение в откровении. Итак, для тех, кто не верует в откровение, не существует и

философии. Другими словами, это, собственно говоря, не настоящая философия, но это имя выбрано только для мудрецов, так как в Писании сказано: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Евангелие от Матфея, X, 16); а во всех других отношениях, это — истинное и подлинное христианство, как нам скоро выяснится. Шеллинг вернул старое хорошее время, когда разум покоряется вере, и мирская мудрость, подчинясь, как служанка, теологии, божественной мудрости, преобразуется в божественную мудрость, «ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Евангелие от Матфея, XXIII, 12).

Идя этим путем просветленного мышления, этот почтенный муж, о котором мы говорим, тотчас доходит до истинного основного учения всего христианства, а именно до троицы божией. От богобоязненного читателя нельзя требовать, чтобы и он шел тем же путем, потому что ведь он знает и верует, что этот путь может вести лишь к истине; это сказано лишь для неверующих, чтобы показать им, как они могут дойти до истины, и насколько их разум должен быть очищен и освящен, чтобы иметь возможность познать и понять искупление во Христе. Поэтому мы не станем говорить об этих вещах, которые ведь не нужны верующим для познания спасения. Далее Шеллинг описывает, следуя священному писанию, как бог создал мир из ничего, и человек, обольщенный сатаной в виде змеи, утратил возможность продолжать вести свой первоначальный образ жизни и стал добычей князя тьмы. Этим он отделил от бога весь мир и отдал его во власть сатаны. Все силы, которые прежде сдерживались благодаря божественному единству, теперь разъединились и стали непримиримо враждебными друг другу, чтобы сатана мог своевольничать в мире. Не следует только допускать, чтобы философская терминология наших богословов обманывала нас. В наше безбожное время светские мудрецы уже не понимают простого, внушенного самим богом, языка священного писания; следует преподавать его в доступной им форме, пока они снова не созреют настолько, чтобы понимать Библию, как сказано в священном писании: «Славлю тебя, отче, господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Евангелие от Матфея, XI, 25). Поэтому Шеллинг, говоря об ангелах, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище (послание Иуды), о дьяволе и об его безбожных отрядах, употребляет выражение: «космические потенции», что означает именно князей мира сего. Теперь, конечно, мир уже не может нравиться богу. По всей справедливости, он отвергает его от себя, и там, где он действует в нем, он делает это в гневе

своем и без своей вполне свободной воли. Но вечный милостивец не может оставить его: «слово, через которое все произошло, и без которого не начало быть ничто, что произошло» (Евангелие от Иоанна, 1, 3), едиnorodный сын божий, остается со своею бесконечною любовью и благодатью при бедном, отверженном мире. Его страдания начинаются с грехопадения, а не только с его вочеловечения при Ироде, потому что, благодаря грехопадению, он был совершенно вытеснен из человечества, в котором он жил еще более, чем Отец. Да, когда он предстал между разгневанным богом и падшим миром, который бог хотел уничтожить, и стал на сторону мира, он отделился от Отца и стал благодаря этому некоторым образом соучастником вины и не мог предъявлять никаких притязаний на божественное величие, пока Отец не умилился. А это великое дело примирения, борьбу с князем мира сего, он начал в этом небожественном и нечеловеческом виде, в этом отделении от Отца, причиняющем ему страдание и боль. 53-я глава пророка Исаии, в которой речь идет о нынешнем, а не о предстоящем и будущем страдании, яснее всего показывает, что это истолкование оправдывается священным писанием. И эта великая борьба начинается в иудействе и в язычестве. История народа израильского в Ветхом Завете свидетельствует о том, как бог подчиняет себе иудейство, и славные пути, по которым господь вел свой народ, хорошо известны христианам. А в язычестве? Не являлся ли именно дьявол богом язычников? Мы попытаемся дать как можно более ясный ответ на этот вопрос, не отклоняясь от изречений священного писания.

Конечно, всякий уже слышал, что и у язычников, в Сивиллиных книгах и еще кое-где, встречались предсказания, относящиеся к Христу. Итак, уже здесь обнаруживается, что они не были настолько совершенно покинуты богом, как обыкновенно думают, потому что происхождение этих предсказаний божественно. Но это еще не все. Почему же бог в своей милосердии должен был бы допустить, чтобы они таким образом вполне заблуждались и попали в когти дьявола? Ведь допускает же он, чтобы дождь шел для добрых и злых и чтобы солнце светило справедливым и несправедливым? Да если бы язычники до такой степени вполне без покровительства божия и без руководства с его стороны находились во власти злого врага, то не были ли бы их грехи более тяжки и неслыханны, чем они были в действительности? Не вопияли ли бы тогда к небу все постыдные наслаждения и неестественные влечения, плотские и иные грехи, убийство, прелюбодеяние, разврат, воровство, коварство, нецеломудренность так громко, что бог должен был бы немедленно истре-

бить их? Да не стали ли бы они сами взаимно умерщвлять и съедать друг друга? Отсюда вытекает уже, что бог должен был сжалиться и над язычниками и даровать им некоторый свет свыше, и это заключается в том, что они постепенно и так, что они сами этого не замечали, пройдя через все ступени идолослужения, были доведены до поклонения истинному Христу, хотя они и не знали, что их бог тождественен с богом христиан и что тот, кто был неизвестен в язычестве, ныне сделался известным в христианстве. Те же, которые не признали этого, когда им проповедывалось Евангелие, поклонялись с тех пор уже не скрытому Христу, потому что они преследовали открывшегося Христа, но богом их являлся теперь уже враг Христа — дьявол. Большую заслугой Шеллинга является то, что он первый старается отыскать проявление заботы божественного промысла о язычниках и таким образом воздаст новую хвалу любви Христа к грешным людям.

А после того как евреи сознательно, а язычники, не зная этого и в ложной форме, были доведены до познания истинного бога, когда гордые греческие дворцы рухнули, и железная рука римского императора стала тяготеть над всем миром, исполнилось время, и бог послал своего Сына, чтобы все те, кто верует в него, не погибли, но обрели вечную жизнь. Это произошло следующим образом. Когда Христос подчинил себе иудейство, он был его богом, но не истинным богом, которым он не мог быть без Отца. Таким образом, он отвоевал мир от дьявола и мог сделать с ним, что хотел; он мог удерживать его для себя и один властвовать над ним в этом *божественном* виде; но он, добровольно повинувшись, не сделал этого, но передал его своему Отцу, отказавшись от образа божия и став человеком. Он, «будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил самого себя, приняв образ раба и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным и даже до смерти, и смерти крестной» (послание к Филиппийцам, II, 6 — 8). Есть еще множество других мест в священном писании, выясняющих правильность этого истолкования, и таким образом можно все понимать совершенно просто и буквально, не нуждаясь во множестве оговорок и в учености.

Величие послушания Христа заключается именно в том, что Спаситель мог самостоятельно владеть целым миром и отделиться от Отца и что он не пожелал этого, но положил к ногам своего Отца отвоеванный от дьявола мир и претерпел очистительную смерть за многих.

Здесь нам выясняется и то, что означает повествование об

искушении Христа. Если бы не зависело от свободного выбора Иисуса, подчиниться Отцу или нет, то дьявол вовсе не мог бы искушать его, потому что ведь он должен был бы знать, что это все же будет тщетно. Итак, вышеприведенное истолкование Шеллинга, конечно, правильно.

Мы слышали, что Христос является истинным богом, и теперь Шеллинг переходит к его второй, человеческой природе. И он непоколебимо верит, что Христос в самом деле был истинным человеком, а не только, как думают многие еретики, явлением, или духом божьим, который снизошел и вселился в уже существовавшего человека.

В то время как Христос заступался за мир пред богом, брал на себя ответственность за него, он выступал вне бога и против него. Итак, пока мир вновь не примирился с богом, Христос не был богом, но пребывал в промежуточном состоянии, которое, благодаря победе над язычеством, стало божественным образом, но само не являлось истинным божественным состоянием. Чтобы снова перейти в это состояние, Христос должен был передать своему Отцу мир, который он отвоевал у дьявола, должен был отказаться от божественного образа и смиренно подчиниться Отцу, чтобы принять на себя наказание за преступления мира. Он проявил это смирение, когда он стал человеком, рожденным женщиною, и был послушен до смерти, даже до смерти на кресте. Все очищения и жертвы не могли умилостивить бога и являлись лишь прологом единой, великой жертвы, в которой не только было уничтожено зло, но и был умилостивлен гнев бога. Бога можно было умилостивить лишь величайшею, добровольнейшею, смиреннейшею покорностью, и это мог сделать только Сын, а не человек, которого принуждали к покорности страх и мучения совести, грозный гнев божий. Теперь Христос мог заступаться пред богом и за людей, так как он стал их господином, их защитником, благодаря тому поклонению, которое они, не зная этого, ему воздавали. Теперь, чтобы в самом деле подвергнуться вместо человека заслуженному последним наказанию, он стал человеком; решение стать человеком является чудом божественной мысли. Таким образом, тот, кто вначале был у бога и даже сам был богом, а после грехопадения был в «божественном виде», теперь родился в Вифлееме как человек, а именно силою духа святого от Марии, без содействия какого-нибудь мужа.

Кто осмелился бы надеяться, что в 1842 году с философом, и даже с основателем новой богохульствующей школы, произойдет столь отрадная перемена и что он так восторженно будет исповеды-

Schelling,
der Philosoph in Christo,
oder
die Verkärung
der Weltweisheit zur Gottesweisheit.

Für gläubige Christen
denen der philosophische Sprachgebrauch unbekannt ist.

Berlin, 1842.
Verlag von A. Cyssehardt.

вать основные учения христианской веры? То, что всегда прежде всего вызывало сомнения, то, что издавна отвергали полухристиане и что, тем не менее, является краеугольным камнем христианской веры, — рождение Христа от Марии без содействия мужа, — то, что Шеллинг высказал и это как свое убеждение, является одним из отраднейших знамений времени, и удостоившийся высокой милости муж, осмелившийся сделать это, имеет право на признательность со стороны всякого верующего. Но кто не узнает здесь руки господина в этой чудесной, славной судьбе? Кто не видит, что здесь господь подает своей церкви знак, доказывающий, что он не покидал ее и помнит о ней день и ночь?

О смерти господина Шеллинг упоминает в столь же истинно-христианских и поучительных выражениях. Она с сотворения мира была решена на совете стражей и является жертвой, которой требовала божественная мысль. Бог справедлив и по отношению к сатане и настолько считался с его правом, что отдал на смерть своего собственного сына, дабы все верующие в него не погибли, но обрели вечную жизнь, лишь бы у дьявола не было ни малейшего основания говорить, что он несправедливо низвергнут только благодаря тому, что бог сильнее. Величие и слава самого господина не допускают и тени подобного упрека. Поэтому Христос должен был сделаться человеком и принять на себя преступление покинутого богом человечества и претерпеть смерть на кресте, чтобы, благодаря смерти одного, ожили многие. Поэтому бог, по своей милости и по своему милосердию, должен был пожертвовать собою за нас, взять на себя ответственность за грешников пред Отцом и искупить нашу вину, чтобы мы снова имели доступ к престолу благодати. Хотя и все другие люди без исключения обречены на смерть, однако никто не умер таким образом, как господь, не претерпел такой искупительной смерти, как Иисус Христос. Таким образом, и этот венец веры, очищение от грехов в крови Христа, вновь чудесно спасен от когтей древнего дракона, который ныне является в виде мирской мудрости и жалкого духа времени, и бог снова подтвердил драгоценное обещание, что врата адовы не одолеют его церкви. Далее Шеллинг прекрасно говорит о Христе: эта смерть является столь великим чудом, что мы не смели бы верить в нее, если бы мы не знали о ней столь достоверно. При его смерти были представители от всего человечества, присутствовали евреи и язычники, и они представляли собой обе стороны всего рода человеческого. Языческое начало, в том виде, как Христос стал им благодаря своей борьбе с сатаной в язычестве, должно было умереть смертью язычников, крестною смертью.

Распятие на кресте является лишь разрешением продолжительного противоречивого положения, в котором он находился среди язычников, т. е. небожественное состояние господ прекратилось и благодаря смерти он снова соединился с богом, как сказано в Писании: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он оторгнут от земли живых, за преступления народа моего претерпел казнь» (Пророк Исайя, 53, 8).

А о воскресении господ Шеллинг говорит, что оно является доказательством того, что Христос не для виду принял человеческий образ, но серьезно и навсегда стал человеком и вновь допустил к благодати человеческое существо, а именно не только человечество во Христе, но все человечество вообще, которого Христос был только представителем. Потому что не отдельно взятый грех настолько негоден богу, что он должен был бы вследствие него покинуть человечество, но хуже всего все греховное, преданное злу состояние всего человеческого рода, а поэтому человек стал негоден богу еще прежде, чем он согрешил, так что быть человеком уже означало как бы быть грешным пред богом. Поэтому в мире нельзя было найти никакой доброй воли, угодной богу, ни одного праведного пред богом поступка, прежде чем умер Христос, и поэтому же лишь теперь верующие могут творить добрые дела и обладать доброй волей. Но благодаря воскресению господ человеческое состояние было вновь оправдано пред богом и признано богом очистившимся от греховности, и, таким образом, оправдание завершилось лишь благодаря воскресению. Таким образом, Христос вознесся на небо и теперь сидит одесную бога-отца как истинный человек и истинный бог, являясь заступником человечества пред Отцом.

Далее воскресение служит нам доказательством бессмертия нашей собственной души и воскресения плоти. Шеллинг признает и это и прибавляет, что если в этой жизни плоть господствует над духом, то должна воспоследовать вторая жизнь, где дух преодолет плоть, и в конце концов необходимо равновесие обеих сторон. Это вполне согласно с учением Писания, потому что последнее состояние после воскресения и страшного суда, после преобразования тела, есть не что иное, как то, что Шеллинг называет равновесием между душой и телом. Относительно состояния нераскаянных и осужденных, которые умерли неверующими, жестокосердыми и грешниками, Шеллинг также высказывает предположение. Он считает вторую, вечную смерть вечным умиранием, которое никогда не может окончиться действительной смертью. Можно было бы, конечно, воздержаться от размышлений относительно этого и предоставить

богу решить, как ему наказывать и мучить презирающих и хулящих его.

Наконец, почтенный Шеллинг приводит следующее драгоценное свидетельство о воскресении нашего господина и Спасителя Иисуса Христа: это воскресение есть просвет, открывающийся из внутренней истории во внешнюю. Для того, кто отвергает такие факты, история царствия божия остается лишь рядом внешних случайных событий без всякого божественного содержания, без трансцендентного (превосходящего силы разума), которое только и есть история в собственном смысле слова. Без нее история является лишь делом механического запоминания, но отнюдь не истинным, полным знанием фактов. Это прекрасные и христианские слова. Напротив, болтовня мудрецов о боге в истории и развитии родового сознания представляет собой отвратительное пустословие и богохуление, потому что если эти надменные совратители молодежи видят своего бога в истории всех человеческих грехов и преступлений, то где же остается бог вне этих грехов? Эти насмешники не хотят понять, что вся всемирная история есть ряд всяких несправедливостей, вол, убийств, прелюбодеяний, распутств, краж, богохулений, святотатств, припадков гнева и ярости и пьяных оргий, которые непременно сами собой провалились бы в ад вместе со всем миром, если бы всюду не виднелась спасительная рука бога, борющаяся со злом и предотвращающая его; и эта скандальная сцена является их небом, всем их бессмертием, это сами они открыто заявили. Но таковы милые последствия того, что из истории устраняются все действия божии. Бог мстит им за себя тем, что он скрывает от них свою истинную сущность и предоставляет им создавать себе такого бога, который ничтожнее даже немного идола, сделанного из дерева и соломы, который оказывается пустым призраком, так называемым мировым духом и духом истории. Мы видели, что получается при таком взгляде на историю, главным виновником которого является Гегель, пользующийся дурной славой у всех хороших христиан; итак, сравним с этим ту картину истории, которую рисует такой человек божий, как Шеллинг.

Из тех двенадцати, — говорит Шеллинг, — которые всегда окружали господина и были назначены им апостолами, он проявлял особое расположение к трем, а именно к Петру, Иакову и Иоанну, всякий раз оказывая им предпочтение пред другими. В этих трех апостолах даны прорабы всей христианской церкви, если мы заменим рано убитого за Христа Иакова приблизительно в то же время обращенным Павлом, как его преемником. Петр, Павел и Иоанн

являются властителями трех различных периодов развития христианской церкви, как в Ветхом Завете Моисей, Илия и Иоанн Креститель являлись тремя представителями трех периодов. Моисей был законодатель, через которого господь заложил фундамент; Илия — пламенный дух, который вновь оживил и возбудил к деятельности косный, отрекшийся от веры отцов народ; Иоанн Креститель — завершитель, благодаря которому осуществляется переход от Ветхого Завета к Новому. Таким образом, и для новозаветной церкви Петр является Моисеем, основоположником, благодаря которому еврейский характер тогдашнего времени был представлен в христианской церкви. Павел являлся побуждавшим к действию, пламенным Илией, не дававшим верующим остыть и заснуть, и представителем сущности язычества, образования, учености и мирской мудрости, поскольку она подчинялась вере; Иоанн же опять-таки явится завершителем, указывающим на будущее, потому что тем, кого господь любит, он предоставляет дело завершения. Таким образом, именно Иоанн и написал откровение, возвещаая еще при своей жизни будущее. Теперь церковь апостола Петра есть церковь католическая, церемониальное богослужение которой, равно как и ее учение о добрых делах, соответствуют иудейскому закону; и нельзя отрицать, что слова господя: «ты — Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее», относятся к основанной им церкви. Подобно тому как он три раза отрекся от господя, так можно показать, что римская церковь три раза отреклась от господя. Во-первых, когда она начала стремиться к светской власти; затем, когда она сумела воспользоваться светской властью для своих целей, и, наконец, когда она стала служить светской власти как орудие для достижения ее целей. Вторая же церковь апостола Павла есть церковь протестантская, в которой преобладает ученость и вся благочестивая премудрость, следовательно сущность христиан, перешедших из язычества, и в которой вместо непоколебимого, устойчивого, свойственного католической церкви начала появляется возбуждающая, вызывающая образование партий жизнь евангелической церкви, распадающейся на многие секты. Кто знает, не полезнее ли в конце концов художественное и идейное творчество языческих христиан для царствия божия, чем дела иудействующих христиан!

Однако ни одна из этих двух партий не оказывается истинною, последней церковью господя, но ею будет лишь та церковь, которая, исходя из основания, заложенного Петром, при посредстве Павла возвышается до Иоанна и таким образом подготавливает последние

времена. Эта последняя церковь есть церковь любви, подобно тому как Иоанн был вестником любви; в ней церковь достигает совершенства, во времена которого произойдет предсказанное к концу великое вероотступничество, а затем последует страшный суд. Всем апостолам построено много церквей, но сравнительно очень мало в честь святого Иоанна. Если бы мне пришлось строить церковь, то я посвятил бы ее ему; но некогда будет построена церковь всем трем апостолам, и эта церковь будет последним, истинным христианским пантеоном.

Таковы те слова, которыми первый воистину христианский философ закончил свои лекции, и, таким образом, мы как будто воспроизвели ход его мысли до конца. Пишущий эти строки полагает, что он достаточно показал, какое избранное орудие для своей церкви воздвиг господь в лице этого достойного мужа. Этот муж прогонит язычников нашего времени, которые делают свое злое дело во многообразных видах: как светские люди, как юная Германия, как философы, и как бы они еще ни назывались. В самом деле, придя в тот зал, в котором Шеллинг читал свои лекции, и слушая насмешки и остроты этих людей по поводу избранного из мудрецов, приходилось вспоминать апостола Павла, когда он проповедывал в Афинах. Происходит именно так, как будто повторяется история, рассказанная в Деяниях апостолов, XVII, 16 и сл., где сказано:

«В ожидании их в Афинах, Павел возмущился духом при виде города сего, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чужими бога и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили: что хочет сказать этот суеслов? А другие: кажется, он проповедует о чужих божествах; потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение».

Конечно, и Шеллинг мог рассердиться в Берлине при виде сего идолопоклоннического города, потому что, где же больше, чем именно здесь, поклоняются идолам и земным вещам, мамоне и почестям мира сего, и собственной милой особе, и где же относятся с большим пренебрежением к истинному богу? Где светская жизнь с ее пышностью, с ее роскошью, с ее пустым суетным великолепием, с ее блестящими пороками и замаскированными грехами достигла высшей степени, чем именно здесь? Не желали ли ваши ученые, ваши неглубокие и нехристианские писатели льстить вам, когда они так часто сравнивали ваш город с Афинами? О, какую горькую истину они вам высказали! Да, конечно, Афины, полные языческой, гордой образованности и цивилизации, которые именно до такой

степени ослепили ваши глаза, что вам неясна простая истина Евангелия; Афины, полные блеска, обмана и земного великолепия; Афины, где люди, привыкшие к довольству и комфорту, потягиваются и зевают на мягких диванчиках и считают речи о кресте слишком скучными и покаяние слишком утомительным; Афины, полные заносчивого, дикого упокоения и чувственного опьянения, в котором заглушается громкий голос совести, внутреннее беспокойство и страдание прикрываются блестящим покровом. Да, конечно, Афины с надменными мудрецами, которые ломают себе головы над бытием и небытием и другими нелепостями и давно справились с богом и с миром, которые, однако, смеются над словами о смирении и о нищих духом как над глупостью и курьезным анахронизмом; Афины, богатые основательными учеными, которые знают наизусть названия всякого рода инфузорий и все главы римского права и из-за этого забывают о вечном спасении, в котором заключается блаженство душ! Там и Шеллинг, конечно, может разгневаться, как некогда Павел, когда он прибыл в такой город. И когда он появился, мудрецы, как некогда в былые времена эпикурейцы и стоики в Афинах, говорили: что хочет сказать этот суеслов? Они дурно отзывались о нем еще прежде, чем он заговорил; они порицали его еще прежде, чем он появился в их городе. Однако мы видим, как нам далее повествует священное писание: «И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое? Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое».

Разве это не живой портрет берлинцев? Не проводят ли и они время в том, чтобы слушать и видеть что-нибудь новое? Зайдите как-нибудь в наши кофейни и кондитерские и посмотрите, как новые афиняне набрасываются на газеты, между тем как Библия лежит дома, покрытая толстым слоем пыли, и ни один человек не открывает ее. Прислушайтесь к их взаимным приветствиям, когда они встречаются, вы не услышите ничего, кроме вопросов: что нового? ничего нового? Всегда нужно что-нибудь новое, что-нибудь небывалое, иначе им смертельно скучно, при всей их образованности, их роскоши и их наслаждениях. Кого они считают любезным, интересным и заслуживающим внимания? Того, кто всего более просвещен святым духом? Нет, того, кто всегда умеет рассказать всего больше новостей. О чем они всего более заботятся? О том, не обратился ли на путь истинный какой-нибудь грешник, по поводу чего ведь ра-

дуются и ангелы божие? Нет, — какие скандальные истории произошли ночью, что пишут из Берлина в «Лейпцигскую всеобщую газету». Всего хуже ядовитое племя политиков и болтунов, которые больше всех помешаны на новостях. Эти лицемеры нахальнейшим образом суются в дела государственного управления, вместо того, чтобы предоставить королю решать эти дела по его благоусмотрению, и совсем не заботятся о спасении своей бессмертной души; они хотят вынуть соломинку из глаза правительства и не хотят заметить бревна в своем собственном неверующем глазу, чуждом любви к Христу. Эти люди особенно напоминают древних афинян, которые также целый день расхаживали по рынку и старались узнавать новости, но упускали из виду старую истину. Чего хотели они от Шеллинга, кроме того, чтобы услышать нечто новое, и как они презрительно морщились, когда он только изложил им старое Евангелие! Как мало было среди них таких, которые не стремились всегда к новинкам, но желали от Шеллинга лишь старой истины, слова об искуплении через Иисуса Христа!

И, таким образом, с Шеллингом повторилось все то, что произошло с Павлом. Они выслушали его проповедь с критическим выражением лиц, время от времени важно улыбались, качали головой, многозначительно переглядывались, а затем с сожалением поглядывали на Шеллинга; когда же они слышали о воскресении мертвых, тогда они насмеялись (Деяния апостолов, XVII, 32). Лишь немногие стали его последователями, ибо еще и теперь дело происходит так же, как в Афинах: главным образом воскресение мертвых приводит их в раздражение. Большинство настолько честно, что и слышать не хочет ни о каком бессмертии; меньшинство допускает весьма недостоверное, неопределенное, туманное бессмертие души, но, по его мнению, тело вечно тлеет, и все они одинаково смеются над действительным и явным воскресением плоти, как будто в Писании не было сказано: для бога нет ничего невозможного.

Однако нам остается к уже изложенной верующим читателям истории церкви Христовой, как она символически представлена нам в лице трех апостолов: Петра, Павла и Иоанна, сделать еще одно замечание. Отсюда следует, что если мы, как некоторые делают еще и теперь, желаем презирать католическую церковь и унижать ее по сравнению с нашей, то это в высшей степени несправедливо, греховно и противоречит постановлениям самого бога. Ибо и она, точно так же, как протестантская, установлена божественным решением, и мы еще кое-чему можем от нее научиться. В католической церкви еще сохраняется древняя апостольская церковная

дисциплина, которая совершенно исчезла у нас. Мы знаем из Писания, что апостолы и общины исключали из общения святого духа всех неверующих, лжеучителей и грешников, являвшихся соблазном для общины. Не говорит ли Павел (I Кор. V, 3—5): «а я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя господина нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою господина нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день господина нашего Иисуса Христа». Не сказал ли Христос Петру: «и дам тебе ключи царства небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Евангелие от Матфея, XVI, 19). Не сказал ли он после воскресения всем ученикам своим: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся (Евангелие от Иоанна, XX, 23). Такие места из священного писания относятся к суровой церковной дисциплине в том виде, как она процветала в апостольской церкви и еще существует у католиков, и если апостольская церковь является нашим образцом и священное писание нашим руководством, то и мы должны стараться вновь придать силу вышеупомянутому древнему постановлению, и при той ярости, с которою злой враг ныне преследует церковь господню и нападает на нее, нам, конечно, следует позаботиться о том, чтобы мы были вооружены не только духовно, верою и надеждою, но и внешним образом, путем укрепления солидарности верующих и изгнания лжепророков. Волка не следует терпеть в стаде. Далее, не следует вполне отвергать безбрачия католических священников. В Писании сказано (Евангелие от Матфея, XIX, 10—12): «Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит». Затем в главе 7 первого послания к коринфянам от начала до конца говорится о преимуществах безбрачия пред браком, и я приведу оттуда лишь несколько мест: 1, 2: «Хорошо человеку не касаться женщины; но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа; 8: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я»; 27: «Остался ли без жены? Не ищи жены»; 32, 33: «Неженатый заботится о господнем, как угодить господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене»; 38 и сл.: «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана

законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; а, думаю, и я имею духа божия». — Ведь эти изречения довольно ясны, и трудно понять как, при таких предписаниях, безбрачие могло пользоваться столь дурной славой у протестантов. Итак, мы видим, что католическая церковь в некоторых отношениях ближе к священному писанию, чем мы, и у нас нет никакого основания презирать ее. Наоборот, наши братья в католической церкви, верующие и богобоязненные, стоят ближе к нам, чем отрекшиеся от веры и переставшие быть христианами протестанты, и пора нам начать устройство церкви Иоанна, соединившись с католиками против общих врагов, которые угрожают всему христианству. Теперь уже не время спорить о различиях отдельных вероисповеданий — мы должны предоставить решение этого вопроса господе; после того как мы, люди, в течение трехсот лет не могли прийти к определенному решению, мы должны бодрствовать и молиться и быть готовыми во всякое время, препоясав чресла истиною и облекшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего мы должны взять щит веры, которым возможем угасить все раскаленные стрелы лукавого и взять шлем спасения и меч духовный, который есть слово божие (послание к ефесянам, VI, 14 — 17). Ибо наступило плохое время и враг ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить (первое послание Петра, V, 8). И если автор может позволить себе смиренно выразить свое мнение там, где могут говорить столь многие благочестивые и просвещенные мужи, то он полагает, что церковь Иоанна и с нею последние дни — близки. Кто следил за событиями последних лет в ожидании господина и не замечал, что приближаются великие дела и что рука господина управляет ходом событий, совершающихся с царями и странами? Со времен ужасной французской революции совершенно новый дьявольский дух вселился в значительную часть человечества, и безбожие столь бесстыдно и надменно поднимает свою наглую голову, что приходится думать, что ныне осуществляются пророчества Писания. Посмотрим, однако, что сказано в Писании о безбожии последних времен. Господь Иисус говорит (Евангелие от Матфея, XXIV, 11 — 13): «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И, по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие евангелие царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И ст. 24: «восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы

прельстить, если возможно, и избранных. И Павел говорит (второе послание к фессалоникийцам, II, 3 и сл.): «и откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся *выше всего, называемого богом или святынею*... по действию сатаны... со всякою силою и знаменами и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих; за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. *И за сие пошлет им бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи*, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». И в первом послании к Тимофею, IV, 1: «дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским».

Не доказывает ли это, что господь и Павел как бы воочию видели наше время, как живое? Общее отступничество от царствия божия все усиливается, безбожие и богохуление с каждым днем становятся все наглее и наглее, как говорит Петр (второе послание Петра, III, 3); знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. — Все враги бога ныне соединяются и нападают на верующих со всевозможным оружием; равнодушные, которые предаются светским удовольствиям и для которых слишком скучно было слышать о кресте, объединяются теперь, терзаемые совестью, с мудрецами атеистами и хотят посредством их учения заглушить угрызения совести; с другой стороны, мудрецы атеисты открыто отрицают все то, чего нельзя видеть глазами, бога и всякое загробное существование, и тогда само собою разумеется, что они всего выше ставят этот мир с его плотскими наслаждениями, с обжорством, пьянством и развратом. Это худшие язычники, которые ожесточились и сами довели себя до упорного отрицания Евангелия и о которых господь говорит, что жителям Содомы и Гоморры лучше будет в день страшного суда, чем им. Это уже не равнодушные и холодность к господу; нет, это открытая, явная вражда, и вместо всяких сект и партий мы имеем теперь только две: христиан и противников Христа. Но те, у кого есть глаза для того, чтобы видеть, пусть видят и не ослепляются, потому что теперь не время для сна и отговорок; когда знамения времени свидетельствуют так ясно, тогда следует обращать на них внимание и вникать в смысл пророчеств, которые не напрасно даны нам. Мы видим среди нас лжепророков, и даны им уста, говорящие гордо и богохульно, и отверзают они уста свои для хулы на бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было им вести войну со святыми и (получается почти такое впечатление) победить их (Откровение

Иоанна, XIII, 5 — 7). У них не осталось никакого стыда, смущения и благоговения, и отвратительные насмешки Вольтера являются детской забавой по сравнению с ужасной серьезностью и с обдуман-ным богохулением этих соблазнительей. Они странствуют по Гер-мании и хотя бы украдкой всюду проникнуть, они проповедуют свои сатанинские учения на площадях и переносят дьявольское знамя из одного города в другой, увлекаая за собой бедную молодежь, что-бы низвергнуть ее в глубочайшую бездну ада и гибели. Искушение неслыханным образом усилилось, и невозможно, чтобы господь до-пускал это без особого намерения. Не следует ли применять и к нам изречение: «лицемеры, различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете? (Евангелие от Матфея, XVI, 3). Нет, мы должны раскрыть глаза и смотреть, время критическое, и следует бодрство-вать и молиться, чтобы мы не впали в искушение и чтобы господь, который придет, как тать в нощи, не застал нас спящими. Нас ждут многие бедствия и соблазны, но господь не покинет нас, потому что он сказал (Откровение Иоанна, III, 5): «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни и испове-даю имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». И ст. 11-й: «Се грядущи скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего! Аминь».

БИБЛИИ ЧУДЕСНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДЕРЗКОГО ПОКУШЕНИЯ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ВЕРЫ,

СИРЕЧЬ УЖАСНАЯ, НО ПРАВДИВАЯ И ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ О ПОКОЙНОМ ЛИЦЕНЦИАТЕ БРУНО БАУЭРЕ, ИЖЕ, ДЯВОЛОМ СОБЛАЗНЕННЫЙ, ОТ ЧИСТОЙ ВЕРЫ ОТПАВШИЙ, КНЯЗЕМ ТЬМЫ СТАВШИЙ, НАКОНЕЦ БЫЛ УВОЛЕН В ОТСТАВКУ.

ХРИСТИАНСКАЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЭМА В ЧЕТЫРЕХ ПЕСНЯХ.

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ.

Чтоб ты могла воспеть достойно славу веры,
Лети, моя душа, в пределы горной сферы!
Но в силах ли сама ты совершить полет
Без помощи того, кто крыльям мощь дает?
Молитесь за меня, о верующих рати,
Да возгремит мой стих под сенью благодати!
Лев с Зальских берегов, с рычанием воспрянь,
О Генгстенберг, простри победоносно длань!
Ученый Зак, тебе послушны лиры струны:
Великий маг, свои мне одолжи перуны!
Служитель ревностный небесного отца,
Круммахер, научи глаголом жечь сердца!
Огнем твоих стихов, превозносящих веру,
Кнапп, дай мне осветить греховную пещеру!
И ты, насмешников крестом разивший в грудь,
Меня сопровождать, о Клопшток, не забудь!
Чем был бы без тебя, о богослов Иоанн, я?
Благослови мое великое дерзанье.
О царь Давид и ты, Иезекиил пророк,
Я с вами сокрушу неверия порок.
Чтоб до конца довел я песнь во славу божью,
Вы, верой мощные, молитвенно к подножью
Престола вышнего свой обратите лик:
Тогда не страшен мне хулы безбожный крик.
Что смолк блаженных хор, и не слышна осанна?
И песни ангельской почто иссякла манна?

Ужель на небеса проник лукавый дух,
И от его очей свет радости потух?
В пределах, где царят блаженство и отрада,
Кто поднял плач и стон? О чем йеремиада?
То души праведных подняли голоса,
Стенанием они смущают небеса:
«Услышь, Господь, услышь! Внемли моленную верных,
Не дай погибнуть им в страданиях безмерных!
Терпенью твоему когда конец придет,
Когда ты казнь пошлешь на богохульный род?
Доколе процветать ты дашь в земной юдоли
Безбожным наглецам? Скажи, Господь, доколе
Философ будет мнить, что «я» его есть «я»,
А не от твоего зависит бытия?
Все громче и наглей неверующих речи...
Приблизь же день суда над скверной человечьей».
Господь на то в ответ: «Не пробил час для труб,
Еще не так смердит от разложения труп.
К тому ж и воинство мое — от вас не скрою —
Не подготовлено к решительному бою.
Богоискателями полон град Берлин,
Но гордый ум для них верховный господин;
Меня хотят постичь при помощи понятий,
Чтоб выйти я не мог из их стальных объятий.
И Бруно Бауэр сам — в душе мне верный раб —
Все размышляет: плоть послушна, дух же слаб.
Но уж недолго ждать. Он сбросит мыслей сети,
И сатана его не сможет одолети;
Взыскующий меня в конце концов найдет:
Он дух свой вызволит из гибельных тенет
Гордыни мышленья, что душу раздвояет,
И в ликовании душа его выиграет.
Для философии вот будет-то подвох,
Когда уверует он в то, что бог есть бог».
И души праведных тогда возликовали
И славить Господа согласным хором стали:
«Достоин славы ты, владыка вышних сил,
Который шар земной и небо сотворил.
Уж близок день: твой гнев накажет нечестивых,
И возвеличишь ты рабов своих радивых».
Господь же продолжал: «Да, Бауэр избран мной,

Чтоб верующих стан вести в последний бой.
Когда на грешный мир прольются чаши гнева,
Развернется земля и выкинет из зева
Поток огня, когда кровавые бичи
Хлестнут морскую гладь, и туча саранчи
Покроет небосвод, и содрогнутся горы,
И звери в ужасе свои покинут норы, —
Тогда со знаменем: «за веру и престол»
Он в битву полетит, как молодой орел.
И души праведных сильнее возликовали
И славить Господа согласным хором стали:
«Ты, Господи, велик и ты непобедим.
Пусть жертвенный к нему вовек струится дым».
Еще не отзвучал псалом их величавый,
Как появился вдруг — шумя, смердя — Лукавый.
Нечистым пламенем горел свирепый лик,
И крови праведных алкал его язык.
Он быстро подошел к господнему престолу
И, наглые глаза не опуская долу,
Вскричал кощунственно: «Доколь ты будешь ждать,
Меня к бездействию доколе принуждать?
Боишься, верно, ты, что в день, когда сраженье
Между тобой и мной за власть произойдет,
Я нанесу вам поражение
И захвачу твой небосвод.
А если ты не трус, готовься к бою,
Вели архангелу трубить.
Я войско дикое мое в ряды построю:
Мы жаждем встретиться с тобою
И ангелов твоих сразить».
Господь: «Терпение! Уж близок, близок час,
Когда узнаешь ты, кто всемогущ из нас.
Взгляни на землю вниз: там множатся знаменья,
Ввергающие мир в великое смятенье:
Поджоги, мятежи и за войной война;
Закон в забвении, а вера предана;
Хулители цветут, а праведники в горе...
Но — погоди! — в сто раз ужасней будет вскоре.
Я верного слугу теперь себе избрал,
Чтобы он грешникам о Царствии вещал.
Осмеян будет он как потерявший разум;

Мне это на руку, чтоб все покончить разом.
Еще не пробил час. Но если все пойдет
И впредь, как шло досель, — то скоро час пробьет». —
«Кто же избран? Имя чье у вас отныне свято?»
«Я Бауэра избрал». — «Какого? Лиценцьята?»
«Да, именно его». — «Ну, он не так уж прост:
Его не радуют ни пение, ни пост,
Он просит у тебя сокровищ чрезвычайных,
Чтоб умозрительно их постигать в тиши;
А в догматах, в их высреннейших тайнах
Не обретает он покоя для души».

Господь: «Пускай теперь со странностями он, —
В его мозгу, поверь, все скоро прояснится;
Пускай он в дерзкие раздумья погружен, —
Ты в том уверен будь: рассудка он лишится».

Лукавый: «Я берусь отбить его у вас
И вставлю в мой венец чудесный сей алмаз.
Ведь Гегель в нем засел гвоздем, как говорится;
Уж я за этот гвоздь сумею ухватиться».

Господь: «Я отдаю его тебе во власть,
За праведной его душой ступай! Не мешкай!
Заставь его с собой в твой черный ад упасть
И оглуши его злорадною насмешкой.

Но что как доказать сумеет он, что тот,
Кто верует в меня, путь не теряет правый,
Куда б ни завели его огни болот?»

«Я вызов принял твой! — отвечивал Лукавый, —
От Бруно Бауэра не жди для неба славы!»
Сказал и бурею понесся в черный ад,
Оставив за собой невыносимый смрад.
Пока бесчинствовал на небе враг господний,
Волнение вспыхнуло внезапно в преисподней;
Мятежным пламенем охвачена она;
Несутся возгласы: «Явись к нам, Сатана!»
Толпу мятежников сам Гегель возглавляет,
Вольтер над головой дубиной потрясает,
Дантон безумствует, и Эдельман орет,
Наполеон, как встарь, командует: «Вперед!»
Орда проносится среди огненного чада,
Свирепо требуя к себе владыку ада.
И вот стремительно свергается с небес

В владенья мрачные свои лукавый бес.
«О чем, — кричит он, — шум? Чтò разыгрались страсти?
Иль вы из-под моей хотите выйти власти?
Вам не достаточно ли пекло я топил,
Вас кровью праведных не досыта ль поил?»
«Молчи, — кричит Вольтер, трясаясь от возмущенья, —
Бездельник! Для того ль я насаждал сомнение,
Чтоб умоарительный везде повис туман
И философия прослыла за обман?
Чтоб даже Франция глумилась надо мною?
Все это терпишь ты? Стыдись! Будь Сатаню!»
«К чему, — кричит Дантон, — богослужебный чин
Я создал Разуму и сотням гильотин
Работу задавал, коль вновь стоят над миром
Бездарнейшая знать с прожженным вкупе клиром?»
Тут Гегель, чей язык со зла прилип к гортани,
Вдруг словеса обрел, потребные для брани.
«Я жизнь свою науке посвятил,
Учил безбожью, не жалея сил,
Возвел самосознанье на престол я,
На божество, успешно штурм повел я.
Но мне стать жертвою невежд пришлось,
Меня истолковали вкривь и вкось;
И, наложив на умозренье цепи,
Рождали чушь, одну другой нелепей.
Но вот явился Штраус. Когда ж, смельчак,
Меня постичь сумел он кое-как,
Ему тотчас влиятельные лица
Из Цюриха велели удалиться.
Какой повор! Революционный нож
Я мудро изобрел, — и что ж?
Нигде, нигде пристанища нет ныне
Поборнице свободы, гильотине!
Итак я жил и мыслил столько лет
Напрасно, Сатана? Держи ответ!
Когда ж придет за нас могучий мститель,
Отродья набожного истребитель?»
Все это выслушав с улыбкою слащавой,
«Да перестань скулить, — сказал в ответ Лукавый, —
Вам, верные рабы, несу благую весть:
Я мстителя нашел. Да, мститель этот есть».

Die
frech bedräute,
jedoch wunderbar befreite

Bibel.

Oder:

Der Triumph des Glaubens.

Das ist:

Schreckliche,
jedoch wahrhaftige und erkledliche

Historia

von dem weiland Licentiaten

Bruno Bauer;

wie selbster

vom Teufel verführet,
vom reinen Glauben abgefallen,
Oberteufel geworden

und endlich

kräftiglich entsetzet ist.

Christliches Heldengedicht

in vier Gesängen.

Neumünster bei Bückeburg.

Tructs und verlegt Joh. Fr. Hef.

Ао. 1842.

Так кто же это, кто?», — кричат все в нетерпенье.
 То — Бруно Бауэр». Смех и крики возмущенья
 Послышались в ответ; как разъяренный лев,
 Тут Гегель зарычал, свой изливая гнев:
 «Ну и выбрал же! Над нами ты глумишься, окаянный.
 Бауэр подчиняет Разум трибуналу Веры чванной
 И велит итти Науке к ней с молитвой покаянной!»
 Лукавый отвечал: «Ты слеп, мудрец чудесный.
 Мой Бауэр не таков, чтоб пищею небесной
 Духовный голод свой он утолить сумел:
 Доходит до всего, кто мужествен и смел.
 Пусть надевает он смирения личину!
 Поверь, недолго ждать: ее с него я скину».
 И молвил Гегель: «Бес, смиряюсь пред тобой!»
 Греховная орда, подняв ужасный вой,
 Владыку довела до адовой границы,
 И воспарил он ввысь, подобно черной птице.
 В ученой келии, где дух царит угрюмый,
 Наш Бауэр мыслит вслух, упорной занят думой.
 Он в Пятикнижие вперил свой острый взор,
 А свади дергает Лукавый за вихор:
 «Кто, Моисей иль нет, создатель книги этой?
 О философия, темны твои ответы.
 Я метафизику познал до дна,
 И мне эстетика во всем ясна;
 Я в тайны логики умом проник
 И феноменологию постиг,
 И даже богословием — увы! —
 Я овладел усильем головы.
 Я ныне доктор, лиценцьят,
 Веду коллегий целый ряд;
 Я умозреньем веру в бога сил
 С понятьем абсолюта примирил;
 Я с остротой необычайной
 Разделался со всякой тайной;
 Я понял догмы искупленья,
 Творенья и грехопаденья,
 И даже догмат о зачатъи
 Пречистой девы смог понять я.
 Но — ах! — весь этот хлам не в силах мне помочь
 Вкруг Пятикнижия рассеять тайны ночь.

Кто несомненное мне даст истолкованье?
 Откуда получу насущный хлеб познанья?
 Вот книга, полная таинственных речений! —
 То рукопись Филиппа... Развернуть
 Ее хочу я. Мне она укажет путь
 Из лабиринта тягостных сомнений.
 Так! С первых же страниц исходит яркий луч,
 Журчит навстречу категорий ключ;
 Они друг другу золотые ведра,
 Бежа, передают так весело и бодро.
 Здесь шири нет меры,
 И дали безбрежны.
 Науки и веры
 Объятья так нежны!
 Природные стихии подо мной.
 Какое зрелище! Но — о, мученье! —
 Над Пятикнижьем все ж туман густой,
 Скрывающий его происхождение.

Филипп, явись же!

Стена раздвинулась, и призрак в трех венцах
 Вдруг встал пред Бауэром, внушая жуткий страх.

«О, Бауэр, со стези не уклоняйся той,
 Что Гегель в Логике предназначтал тебе!
 Там, где сияет с абсолютной ясностью
 Понятие, рассудком не противься ты,
 Зане тот дух является свободою».

«Ответь мне на вопрос, кто автор Пятикнижья?

О, не молчи, — молю. Открой уста. Скажи же!»

«Тебе иной доступен дух, — не я».

«Не ты? Не уходи, мне путь поведай правый».

Он вскакивает, — глядь, пред ним стоит Лукавый.

«Ха-ха, ха-ха, ха-ха! Приятель богослов,

Ты растерялся, друг, и не находишь слов?

Ведь ты не так уж глуп, а понимаешь туго,

Что обречен бродить в пределах злого круга».

Тут Бауэр Библию хватает с перецугу...

Хохочет бес: «Тебе окажет ли услугу

Сей хлам? Его давно мы выпшвырнули вон.

Ужели все еще тебя прельщает он?

Ужели в келии угрюмой на ватворе,

Все время занятый добычей категорий,

Стремясь пылающий огонь смешать с водой
 И отвратительной питаю дух едой, —
 Тот дух, который вон из сумрачной темницы,
 Оковы разорвав, навек уйти стремится, —
 Ужели так тоску свою ты утолишь?
 Стыдись! О Гегеле, приятель, вспомни лишь.
 Учил ли он тебя в союз впрягать единый
 Со мраком свет, с водой огонь и холм с долиной?
 Нет, факты все презрев, традиции рассказам
 Он, бога гордый враг, противопоставил Разум». «Твои слова, о бес, звучат мне, как музыка!
 Их искушение воистину велико.
 Но, бес, я не боюсь их ядовитых жал, —
 Уз умоверения и ты не избежал.
 Ведь духу моему открыты все явленья;
 Ему ли отступить перед тобой в смущенья?
 Я знаю, ты хитер, но твой прием уж стар:
 Ты опьяняешь нас вином словесных чар,
 Сулишь поднять наш дух над милой плотью мира, —
 Потом голодного абстракции вампира
 Даешь в владыки нам; и уж не в силах мы
 Таить иную мысль, как ту, что мы — есмы.
 Мертвящий хлад высот твоих меня пугает,
 Где разрушает дух все то, что постигает.
 Молоху древнему твой злобный дух подстать:
 Все позитивное стремится он пожрать.
 Ты видишь, Сатана, что ты насквозь мне ясен;
 Передо мной своих не расточай же басен.
 Вот Пятикнижие: лишь позитивно лик
 Его пойму, — и вот: я юдаизм постиг». Бес издевается: «Ну, не потеха ль, право?
 Ты хочешь блеск придать тому, что стало ржаво.
 Там, где Господний перст усмотрен был во вшах,¹
 Где храма план чертил Господь на небесах,²
 Где божий глас везде и в каждое мгновенье
 Народу чудился,³ — уместно ль умоверенье?
 Напрасно мозг трудишь над этой чепухой;
 Ты лучше с Верою вступи в смертельный бой.

¹ «Исход», гл. 8, 19.

² «Второзаконие», гл. 22, 8.

³ «Второзаконие», гл. 25.

Или туда, где дух в своей уверен силе,
А не, как жалкий червь, копается в могиле;
Где он себе престол величия воздвиг,
А Вера перед ним покорно клонит лик».
«О, бес, о чем в тиши я помышлял украдкой,
Ты вслух мне говоришь, вселяя трепет сладкий
И душу веселя предчувствием побед.
Но тайный голос мне нашептывает: «Нет!
Жизнь изжита твоя. Не трать же даром время.
Лишь захоти, — и в миг спадет неволи бремя.
«С чего же мне начать?» — «Не помышляй, что здесь,
В Берлине набожном, где восседает спесь,
Ты мог бы воспарить в ликующую сферу
И на-смерть поразить бессмысленную Веру.
В веселый Бонн тебя я увести решил,
Где в Рейне смоешь ты всех предрассудков ил.
Там к жизни действенной и радостной воскресни
В союзе с пьяною ловой и пьяной песней.
Там вольно дышится, там все — к победе путь;
Там и твоя, поверь, вздохнет свободно грудь».
«Веди меня, я твой!» — «Там гордо спорят мненья,
И истина свое там правднует рожденье.
Там на развалинах духовной нищеты
Свободомыслию алтарь воздвигнешь ты».

ПЕСНЬ ВТОРАЯ.

Повор тебе, о Бонн, религии твердыне!
Посыпь главу золой, бей в грудь себя отныне!
На кафедру, что Бог всевышний возлюбил,
Днесь Бруно Бауэра Лукавый посадил.
Он брызжет пеною, а за спиной Лукавый
Вливает в речь его потоки злой отравы.
Как пес взбесившийся, он в ярости кричит;
Устами Бауэра Нечистый говорит:
«Не поддавайтесь же коварным богословам,
Всегда вас обмануть и провести готовым.
Значенье слов простых им любо извращать
И, крадучись, бродить во тьме ночной, как тать.
Между собой они всегда в жестокой драке,
За букву каждую грызутся, как собаки;
Их деятельность — ложь, их проповедь — обман,
Дурной софистикой насыщенный туман.
Как сельской детворе, соскучившейся в школе,
Нет большей радости, чем, убежав, на воле
Затеять шум и гам; напрасно их бранит
Учитель взбешенный и палкой им гровит; —
Так бедный богослов над текстом тщетно бьется;
Разноречивый текст над ним как бы смеется.
Он жмет его в тисках и гнет в бараний рог,
Повыбывая то, что только что изрек,
И в иступлении слова ломает диком,
Покуда, наконец, не убегают с криком
Противоречья все. Он им орет вослед:
Куда, куда? Назад! Приличия в вас нет!
Хватает веры жевл и, вне себя от гнева,
Свирепо машет им направо и налево,
И в ведовской котел пихает их назад,
Чтоб бедных удушил невыносимый *чад*.

Все таковы они. Евангелисты тоже
 На неменяемых теологов похожи.
 Один евангелист не смог понять никак,
 Что сказано другим, и вот он так и сяк
 Значенье слов его меняет, извращает,
 В противоречиях все глубже утопает;
 Но дело сделано: предшественник убит...
 Против Иоанна же никто не устоит.
 Смотрите-ка... Но тут прорвалось возмущенье:
 «Вон богохульника! Он не избегнет мщенья.
 Да будет вырезан кощунственный язык.
 Отсюда вон его! Ты, Господи, велик!»
 Но стан другой вскричал: «Да здравствует глашатай
 Свободомыслия и мрака враг заклятый!
 Умолкни, род ханжей! Не то, пусть честный бой
 Покажет, правда ли силен владыка твой».
 «Долой лжеца, долой!» — несутся крики справа.
 «Долой ханжей!» — кричит бунтовщиков орава.
 «Молчать, безбожники!» — «Закройте, овцы, пасть!
 Вам на рога козлам не миновать попасть».
«Владыка наш — Христос». «Нам Бауэр — возжд».

Тут пелки

Заговорили вдруг, и все смешалось в свалке.
 Кипит жестокий бой, все без толку орут;
 Там сломана скамья, пюпитр повержен тут;
 Безбожники из них воздвигли баррикады
 И мечут в христиан из-за своей засады
 Тяжелых Библий том за томом и скорей
 Спешат их задавить под грудой псалтырей.
 Благочестивая вотще штурмует братья,
 Отбиты без труда все штурмы без изъятья.
 Обильно льется кровь, и в набожных рядах
 Не мало раненых, поверженных во прах.
 Но вот безбожников железные отряды
 Со своего пути сметают баррикады
 И лбом кидаются на набожную рать;
 Она, не выдержав, пускается бежать,
 Толкаясь и спеша, толпится в коридоре
 И переводит дух лишь у ворот, где вскоре,
 В подмогу присланы от Господа, стоят
 Отряды педелей, и ректор, и сенат.

Они пытаются словами примиренья
Утишить пыл вражды; но через миг теченье
Их втягивает в свой слепой водоворот,
И с новой яростью сражение ревет.
По мудрым головам запрыгали дубины,
Вновь выпрямляются согнувшиеся спины,
У задранных носов стал сразу скромный вид,
Как туча в воздухе, пыль книжная стоит.
Слетают парики с голов позитивистов...
Все резче и сильнее напоры атеистов.
От страха смертного на Фихте нет лица:
Дрожит ничтожный сын великого отца.
Как Брандис ни бежит, а все-таки от пыли
Систем ему сюртук очистить не забыли.
Увы! Над Гегелем победа им не впрок:
Отряды Гегеля их стерли в порошок.
Вот, вот их сокрушат удары атеистов,
Чей натиск сделался поистине неистов.
Но нет! На небесах не дремлет божий глаз;
Когда его рабов настигнул смертный час,
Он Зака ниспослал с приливанным пробором
Пролить елей в сердца, смущенные раздором.
Покинул только что он божий вертоград,
Как звезды тихие, глаза его горят,
Его могучий нос — столп безграничной веры,
Точат уста его слова любви без меры,
На богоизбранной ослице он сидит.
(Ослицы этой хвост являет странный вид:
К нему прикреплены слова библейских текстов,
Чтобы врагов пугать и обращать их в бегство).
В раздумьи опустил он голову на грудь,
Ослице дух святой указывает путь.
Победный клич врага услышав в отдаленьи,
Он хочет дать пути иное направление,
Но набожная тварь противится, встает
Внезапно на дыбы и всадника несет.
«Что на тебя нашло, любезная ослица?
Откуда ропот твой? Прошу остановиться».
Куда тебе! Она садится крупом в грязь;
Впервые палку он хватает, разъярясь,
И бьет, и бьет, и бьет; животное, не внемля,

Кидает всадника, остервенясь, на землю.
Но тут внезапно Бог уста ее открыл
И замыслы свои чудесно возвестил:
«Брось палку! Дух святой мне преградил дорогу!
Идя на бранный клич, я повинуюсь Богу.
О доблести своей вспомни и восстань,
В богоугодную отважно кинься брань.
Вещает Бог тебе, свои отверзи уши!
Из скотых уст, о Зак, ты весть благую слушай;
Ты Заком был досель, отныне Бейтель ты!
Их распря усмирить ты призван с высоты». —
И Бейтель, взор горё воздев, сказал: «О, кто же
Твой чудный промысел постигнуть сможет, боже?
Через скотину мне ты посылаешь зов;
Ему послушен, в бой я ринуться готов». —
Сказал и поспешил на поле тяжкой брани.
Чрез груди бедных жертв мучительных страданий
Себе он проложил дорогу напролом,
Во славу мира вслух произнося псалом.
Душой смущенные стояли оба стана,
И Бейтель, вдохновясь, к ним обратился рьяно:
«Ужели в сих местах, где славословий хор
Когда-то лишь звучал, днесь царствует раздор?
Как смеете вы здесь перед господним ликом
Друг друга колотить в затмении великом?»
Благочестивых стан, смутясь, отходит вспять,
Глядит насмешливо кощунственная рать.
И Бейтель продолжал: «Тут ровнь и бой кровавый,
А в небесах покой блаженно-величавый.
Там хоры ангелов сидят у ног творца,
Там божий агнец, сын единственный отца,
На землю грешную взирает, сострадавая.
А вокруг него звучат святые песни рая.
Я вижу агнца лик как бы в блаженном сне,
Я слышу: он свою вещает волю мне:
— «Вотще я уповал на Бруно богослова!
Не с нами ныне он; он жертва духа злого.
Когда-то в келии сидевший, затворясь,
Днесь слово божие он втаптывает в грязь.
Его приспешники мою терзают братью;
Да будет предан он, неверный раб, проклятью.»

Се мною избран ты. В широкий мир иди
И верных Господу на битву приведи!
Средь шумных городов и среди сел безвестных,
Ослицу оседлав, вещай о муках крестных.
Кольчугу Господа на грудь свою надень,
Зане уж недалек последней битвы день.
Щит веры в длань возьми; он лучшая ограда
От козней Дьявола и лютых копий ада.
Ты чресла поясом молитвы препояшь,
На голову свою надень, избранник наш,
Спасенья чудный шлем, и меч служенья богу
В ножны терпения вложи. Итак, в дорогу!» —
Господь, я внял призыв и, верный раб, иду
Смести с пути греха безбожную орду».
В храм потекло меж тем собранье рати чистой,
В кабак же, как всегда, удрали атеисты.
Тут набожный пророк ослицу в рысь пустил
И славословить стал владыку вышних сил:
«Творцу хвала, в сердцах людей — благоволенье».
Все слушали окрест святое песнопенье,
А наш блаженный муж все продолжал свой путь;
Ослице ж Бог внушал, когда и где свернуть.
В то время в Лейпциге сидели тихо рядом
Три мужа, издавна намеченные адом.
То Руге за столом неистовый сидит;
Печать тяжелых дум чело его хранит;
Толстяк и, ты б сказал, миролюбивый малый;
Но когти у него острее, чем кинжалы.
С пивным филистером его б сравнить ты мог;
Но свил себе гнездо в груди его порок.
О Руге, веселись! Но веселись с опаской,
Великий суд грядет, с тебя сорвет он маску.
Второй, надменный взор вперивший в свой стакан. —
Свирепый Прутц, страстей клокочущий вулкан.
Он с человечностью порвал навеки узы;
Все чувства у него и думы все — медувы.
В сердца невинные он, ловкий рифмоплет,
Зерно греховного безбожия кладет.
Так веселись же, Прутц, но веселись с опаской:
Великий суд грядет, с тебя сорвет он маску.
И третий, наконец, который крутит ус,

То Виганд, выдумок живой, ходячий груз,
 Богохулителей издатель постоянный,
 Поддержка и оплот всей банды окаянной.
 Бородкой Блюхера ты не спасешься, брат!
 Великий суд грядет, тебя он свергнет в ад.
 Все трое за столом сидят, полны обид;
 Вдруг Виганд: «Для того ль я деньги, — говорит, —
 Просаживал, к тому ль дал капитал немалый,
 Чтоб получить запрет на «Галльские Анналы?»
 «О, время мерзкое! — тут Руге закричал: —
 Чтоб цензор целиком не слошал мой журнал,
 Из рукописей треть я вырочал насилу;
 Все ж сходит мой журнал безвременно в могилу».
 На это Прутц: «Увы, стихи мои лежат!
 Не пропускает их с полгода цензор-кат.
 Но, нет! Шалите вы! Не уморить вам Прутца;
 Есть выход, чорт возьми: к эротике вернуться».
 «Что ж! — крикнул Руге (гнев горел в его глазах), —
 Литературный мне дозволен альманах;
 Теките же в него, о сладенькие песни!
 Новелла скучная, коль можешь, в нем воскресни».
 «Я ж, — Виганд продолжал, — лелею дивный план:
 У Мюгге приобрести в пяти томах роман.
 Отныне прилеплюсь душою к беллетристам;
 Тех цензоры шадят, те не чета софистам.
 Вас, пиво и любовь воспевшие, зову
 И грежу лишь о вас во сне и наяву.
 Итак, протянем же друг другу руки, братья,
 И вместе заключим правительство в объятия».
 Внезапно в комнату лукавый дух вошел.
 «Эх, вы, свободные, — вскричал он дик и вол, —
 Что с вашим мужеством, что с вашим дерзновеньем?
 Вас цензор испугал своим постановленьем.
 Как стыдно мне теперь, что доверял я вам,
 Вам, львиной шкурою прикрывшимся ослам.
 Пождите ж! Стоит лишь в аду вам очутиться,
 Я там вам заклею предательские лица.
 Но нет, я вас, трусы, не допущу в мой ад,
 Вас к Богу прогоню, в несносный райский сад».
 «Да не кричи же зря! — тут Виганд вдруг воскликнул:—
 Для нас исхода нет! Ты плохо в дело вникнул!»

«Вы глупы, как ослы, — вскричал со злобой бес: —
Из-за деревьев вам, ослы, не виден лес.
Анналы Галльские отвергла эта каста?
Перекрестите их в Немецкие — и баста.
Цензуру буду я отныне выполнять,
Все образуется, прошу лишь не плошать.
Тому, кто с Дьяволом на «ты», не подобает
Бежать за три версты, как только пес залает.
Мужайтесь же! Теперь я далее спешу,
А вас за атеизм, как встарь, стоять прошу».
Сказав, исчез. И вдруг предстал, — не ждан, не гадан, —
Брат Бейтель; вокруг него курился росный ладан.
На богоизбранной ослице он сидит.
(И вознесенье он верхом на ней свершит).
Воздевши к небу взор, горящий дивным жаром,
«Богоотступники! — вскричал он в гневе ярлом, —
Так говорит Господь: вы — дети Сатаны,
Вы злобой к праведным сынам моим полны;
В последний раз к вам шлю избранника-пророка,
Чтоб надоумить вас отречься от порока;
Раскайтесь же и ниц падите предо мной,
Пока не полегли под дьявольской пятой.
Так говорит Господь: я буду строг к строптивым,
Их на-смерть поражу во гневе справедливом
И на съедение отдам моим рабам;
Любезный Генгстенберг, любезный Бейтель, — вам!
Могила грешникам да будет в вашем чреве.
Так рек Господь». — Сказал и удалился в гневе.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ.

Что вижу? Целый стан, неся зловонье, мчится!
Как только солнца лик от смрада не затмится?
Кто эти войны? Кто нечестивый род
Со всех концов земли в сражение ведет?
Нет, то не войны! То собрались отбросы
Со всей Германии точить крамолы косы.
Они уж чуяли, что казнь недалека,
Что их Господь отверг, что Дьявола рука
Над ними поднята, они уже хотели
Боготпротивные свои отринуть цели, —
Как вдруг раздался воп: Арнольда вычный рог
На дьявольский совет всех в Бокенгейм привлек.
«Свободные, доколь сидеть за печкой будем?
Уже романтика растлила душу людям,
Реакция царит, и мерзостный паук
Улавливает в сеть служителей наук.
Над Бауэром висит Дамоклов меч; в цензуре
Плоды всех ваших дум сметаются, как бурей.
Так вот же вам, друзья, мой краткий манифест
(Коль цензор мне его пропустит, а не съест):
Пора собраться нам, как истым дипломатам,
И средства обсудить борьбы с врагом заклятым;
Свобода! Для властей страшнее слова нет,
И в этих трех слогах для них всех вол секрет;
В согласие вошел с жандармом агнец божий
И возлюбил лишь тех, что на скотов похожи.
Итак, свободные, вас в Бокенгейм зову;
Там новых подвигов откроем мы главу». —
Как только манифест проник во все селенья,
Сердца безбожников объяло вожделенье:
«Скорее в Бокенгейм!» — кричат все, как один.
Наглейших выставил, конечно, град Берлин.

Кто впереди идет? То Арнольд Руге ярый;
За ним свирепые шагают янычары.
Что якобинский клуб? Собрание детей
В сравненьи с мерзостной, безбожной ратью сей.
Вот Кеппен шествует с огромными очками;
Ему б в углу сидеть, но Руге злое пламя
В его груди рукой безжалостной возжег.
Он шпагу ржавую надел на левый бок,
Которая висит, как хвостик у чертенка;
Все время ею он повиливает звонко.
При эполетах он и с рупором в руке,
Чтобы был слышен всем — и тем, кто вдалеке, —
Крик смелой юности, взыскующей познания.
А вот и Мейен вслед! (Он обратил вниманье
Европы на себя); надежда вражьих сил,
Он в чреве матери Вольтера изучил.
Мерзавец, он с собой ведет юнцов безусых,
Племянников своих; их развратить во вкусах
Сумел, он и теперь со всей своей родней
В гостеприимный ад летит вниз головой.
А тот, что всех левей, чьи брюки цвета перца
И в чьей груди насквозь проперченное сердце,
Тот длинноногий кто? То Освальд — монтаньяр!
Всегда он и везде непримирим и яр.
Он виртуоз в одном: в игре на гильотине,
И лишь к единственной привержен каватине,
К той именно, где есть всего один рефрен:
Formez vos bataillons, aux armes, citoyens!
А тот подле него, похожий на атлета,
Не Эдгар Бауэр ли с душой кровавой это?
Да, это он! Пушком покрыт злодея лик,
Но, хоть годами юн, коварством он — старик;
Он фракком голубым души не скроет черной;
Снаружи фронт, внутри — он санкюлот задорный.
За кровопийцей тень шагает по пятам:
Ей Радге прозвище, его он дал ей сам.
Вон Штирнер, лютый враг стеснительных условий.
Он нынче пиво пьет, а завтра крикнет: Крови!
Лишь взвизгнет кто-нибудь свое: *à bas les rois,*
Уж он тотчас вернет: *à bas aussi les lois!*
Последним тащится — нечесаный, небритый,

Давно не видевший ни мыла, ни корыта,
Собачьей старостью согбенный — *патриот*;
По духу — заяц он, по виду — санкюлот.
Так с криком, с топотом несутся атеисты,
Которых ты пожрешь со временем, Нечистый.
Всех впереди Арнольд; томы своих Аннал
Он к длинному песту, как знамя, привязал.
Когда же прибыли все к месту назначенья,
Уже был Бруно там; в припадке иступленья
Он машет в воздухе листом того труда,
Которым Библию сметает навсегда.
Зеленым сюртуком на тощенькой фигуре
Он выдает свое родство с семьею фурий.
Кто мчится вслед за ним, как ураган степной?
То Трира черный сын с неистовой душой.
Он не идет, — бежит, нет, катится лавиной,
Отвагой дервостной сверкает взор орлиный,
А руки он простер взволнованно вперед,
Как бы желая вниз обрушить неба свод.
Сжимаемая кулаки, силач неутомимый
Все время мечется, как бесом одержимый!
Из Кельна юноша за ним ступает вслед:
Ни в небе, ни в аду такому места нет.
В нем, в этом молодом патриции богатом,
Смешался санкюлот лихой с аристократом!
Путей запутанных душа его полна,
В кармане у него содержит Сатана
Рать Золотой Орды. Вслед *Rtg* проклятый
Идет, гроя рукой, в кулак огромный сжатой.
Из уст его столбом восходит вечно дым:
Он страстью к прелести табачной одержим,
И с трубкою своей тогда лишь расстается,
Когда, оскалив рот, над Господом смеется.
Но кто сей грозный муж, сей жуткий паладин,
Что с юга на призыв пришел совсем один?
Он сам — что целый стан безбожных и бесстыдных,
Что целый кладезь дум и замыслов ехидных,
И вечно с подлюю хулою на устах;
То Людвиг — Господи, помилуй! — Фейербах.
Бесшумно двигаясь, скользит он над землею,
Как жуткий метеор, что брошен силой злою.

Питанья символ, хлеб, держа в руке одной,
 Бокал, наполненный огнем вина, — в другой,
 Се восседает он по самый пуп в купели,
 Уча, как новый чин осуществлять на деле.
 Смысл таинств состоит, по мнению мудреца,
 В том, чтоб купаться, жрать и пить без конца.
 Его встречает рев приветных восклицаний,
 Его ведут в кабак для пьяных возлияний,
 И поднимается столь яростный галдеж,
 Что в том, что все кричат, двух слов не разберешь.
 Шатанье впад, вперед и буря завываний
 Не унимаются и в зале заседаний;
 Порядок водворить немыслимо никак:
 Недаром ведь покой — им ненавистный враг.
 Вдруг гнев на Кеппена, сидевшего дотоле
 В молчании, напал: «В степях я диких, что ли!
 Не стыдно ль, варвары, галдеть вам, позабыв
 О том, зачем сюда пришли мы на призыв?
 О Арнольд, друг и вождь, открой скорее пренья,
 И нашим силам дай скорее приложение».

Тут Освальд с Эдгаром подняли вместе вой:
 «Да успокойтесь же! К чему галдеж такой?»
 Затихло вскоре все, и Арнольд, между делом
 Уж три бифштекса в рот впихнувший жестом смелым,
 Вскочил на кафедру и, утирая рот,
 Окинул взором зал. Потом как заорет:
 «Что за чудный синклит вижу вокруг! Други, готовьтесь

в бой!

Вас, Свободные, ждет слава иль смерть за идеал святой;
 Пусть реакция нам подло гровит, пусть подымает вой,
 Пусть безумствует! Что ж! Ей ли сравить наш нерав-
 рывный строй?»

Но Освальд с Эдгаром прервали красноречье;
 Их возглас проввучал, как рев нечеловечий:
 «Прекрасных слов уже довольно ты, Арнольд,
 Скавал. Мы ныне требуем другого: дела».

Толпа задвигалась, и «браво» загудело;
 Со всех сторон неслось, как эхо: «Дела, дела!»
 Но Руге крикнул вдруг, с насмешкой на устах:
 «Наши дела лишь в словах; так было, и впредь будет

долго,

С древа абстракции сам практики плод упадет.
 А оба крикуна тем временем, в погоне
 За делом, — малым хоть, — на стуле, как на троне,
 Подняли Бауэра; и уж толпа кругом,
 И Бруно, как орел, парит под потолком.
 Смотри, его глава горят безумным жаром,
 Чело помрачено, как тучей, гневом ярим;
 Под ним же, слышишь, рев!.. — Но, — глядь, — в углу
другом

Из Трира чудище, на *Ртг* верхом,
 Ревет неистово. Ревут, как звери, оба:
 «Знать, баснями кормить ты будешь нас до гроба?!»

Бауэр: «О, ослепленный!
 Да погляди же!
 Войнство набожных
 Ближе и ближе!»

Чудище: «Проклятый род
 Растет, растет!»

Бауэр: «Бейтель, верхом на скотине,
 По всеям странствует ныне!»

Чудище: «Как слышно, давно замыслил Иегова
 Послать на землю Мессию снова».

Бауэр: «Не один агнец нам
 Живнь нынче отравляет ядом:
 Приходится бороться с целым стадом».

Чудище: «Ведь нынче под луной,
 Куда ни плюнь, повсюду дух святой».

Оба: «Кроме того, что нас мучает Троица,
 Союз полиции и веры не дает успокоиться!»

Чудище: «Не дремлет их воинство!
 Где же наше достоинство?»

Бауэр: «Они за оружие,
 А мы-то чем хуже, а?»

Уж крикнул тот-другой: «Мы им дадим отпор!»

Но Фейербах опять воспламенил раздор.

«Ужели, — крикнул он, — вам прях не надоела?»

Коль требует кто дел, пусть примется за дело.

Свободный человек лишь сам себя ведет;

Кому в своих делах давать ему отчет?»

Вдруг Кеппен встал: очки двойным сверкнули бликом,
 Свободные молчат пред олимпийским ликом:

«Почто противишься союзу, Фейербах?
 Порядок водворит лишь он у нас в рядах;
 Поток прогресса вдаль тогда польется ровно
 И — что важней всего — мы победим бескровно».
 Тут Освальд с Эдгаром: «Какой ты атеист? —
 Вскричали вне себя: — Ты жалкий жирондист!»
 А Штирнер, возмущаясь: «Насилие над волей!
 Нам криком навязать закон желают, что ли?
 Вас после этого свободными зови!
 Нет! Рабство гнусное сидит у вас в крови!
 Долой законы все!» Тут полное смятенье
 Грозило охватить бесовское раденье, —
 Как вдруг раздался шум, и через крышу в зал
 Бумажный змий влетел; то Виганд — о скандал! —
 На доморощенном явился самолете.
 «Поворно вы себя, — им крикнул он, — ведете!

Ужель вам мало,
 Что на Анналах
 Сумел летать я.
 Их сам слепил я,
 Их сам скрепил я,
 Ваш Блюхер, братья!
 Парю ж над вами я в атмосфере!
 Долой унынье! Мужайтесь в вере!
 Ведь Франкфурт рядом
 С покорным стадом
 Своих мужей. Там тишь да гладь.
 Там робкий лепет,
 Там рабский трепет.
 Вы не хотите пример с них взять?
 Иль к вам оттуда
 Подуло худо,
 Союзный ветер донесся злой?
 И в этой стуже
 Все хуже, хуже
 Дышать свободным? Тогда за мной!

Я в Лейпциг вас зову, где я воздвиг оплот,
 Который никогда от штурма не падет;
 Тот дом, где торговал я гегельянством, ныне
 В несокрушимую мной превращен твердыню.

Так вот же, в Лейпциг мной вы все приглашены!
Где центр издательства, да будет центр страны».

«Да, в Лейпциг! — крикнуло собрание в увлечении; —
Оттуда выступим в последнее сражение».
На змие Виганд взмыл, все двинулись за ним;
И только Фейербах остался недвижим.

Но прочь от этих мест! Ласкающие дали
Меня влекут, — манит град Галле, что на Зале.
Блаженный град! Тебя не позабыл Господь,
Не смог твоих сынов Лукавый побороть.
Как Руге ни точил слюны своей отраву,
Свою ты сохранил непомянутой славу.
И Руге в ярости покинул твой предел.
Так славы же Господа за свой благой удел!
И правда! Радостно собираются сегодня
Для славословия избранники Господни.
Прекрасный сонм! Вот там сапожничек стоит;
Ему быть набожным грудь впалая велит;
А рядом трезвенный кабатчик круглолицый
(Он нацедит тебе за денежку водицы);
Смиреньем набожным сияет лунный лик;
Как не сказать, что ты, о веры ключ, велик?!
Вот бабушка стоит, согбенная грехами;
Сквозь тело ветхое сияет веры пламя;
Она хрипит псалом блаженно, как в раю,
Крестя все время грудь иссохшую свою.
Смотри, а вот и Лев с берегов высоких Зале,
Чье благочестие архангелы признали;
Он с верою в поход на гегельянцев шел,
Он с верой защищал и церковь, и престол,
Он с верой гнусную историю вселенной
Исправил; внес в нее небесный свет нетленный.
Войдите ж, верные, в уютный, скромный дом
И спойте Господу признательный псалом.
Ты слышишь! Сладостно их пенье раздается
И к трону вышнему, как фимиам, несется:

Мы — падаль пред тобой, Господь.
Полна зловонья наша плоть,
А в наших душах семя ада.
С рожденья мы обречены

Грешить на радость Сатаны;
 Нас растопчи! Так нам и надо!
 Все же нашему страданью
 Врачеванье
 Ты благой даруешь дланью.

Ты в небеса выпускаешь нас,
 Где ангелы возносят глас,
 Поя тебе хвалу, о боже!
 Ты прочь Лукавого прогнал,
 Который так нас угнетал!
 Пожри проклятого, о боже,
 Пусть же за свои деянья
 В воздаянье
 Он получит наказанье!

Но вот, перекрестясь, на стул сапожник встал
 И проповедь о зле, объявшем мир, сказал:
 «Смотрите, бездны пасть раскрыта перед нами;
 В ней адское бурлит, шумит, бушует пламя.
 День бливок, — огненный взовьется ураган,
 И он проглотит нас, всех верных христиан.
 Смотрите! Множатся бесов злоумышленья!
 Велик Господь! Грядем мы к светопреставлению».
 «Аминь, — воскликнул Лев, — о, братья, верьте, верьте!
 Без фиговых листков по свету бродят черти;
 К нам шлет великую блудницу Вавилон:
 Богиню Разума; дрожат алтарь и трон.
 Чем Руге не Дантон? Второго Робеспьера
 Мы видим в Бауэре! Марата-изувера
 Еще превзойдет проклятый Фейербах!..
 Последний ждите день с молитвой на устах!»
 Так кончил он. И вдруг предстал, не ждан, не гадан,
 Брат Бейтель; вокруг него курился росный ладан,
 На богоизбранной ослице он сидит
 (И вознесенье он верхом на ней свершит).
 Воздевши к небу взор, горящий дивным жаром,
 «К вам путь меня привел, — воскликнул он, — недаром;
 Так говорит Господь: Сей муж — избранник мой;
 Он двинет воинство мое в последний бой.
 Вы ныне Бейтелю должны повиноваться.
 Пред ним мои враги, как плевел, расточатся.

Так мне сказал Господь; я на колени пал
И со смирением его призыву внял.
С отвагою в душе пустился я в дорогу,
Чтоб верой оварить греховную берлогу.
И я пошел в дворцы владетельных князей,
В хоромы знатные, в жилища богачей;
Но к суете земной полны они влеченья;
У них я встретил лишь насмешку и презренье.
Чревоугодники сидели за столом,
Богато убранным, и тешились вином.
Прах отрясая с ног, я в гневе удалился.
Но ночью мне во сне Господь, мой Бог, явился
И рек: В игольное ушко пройдет верблюд
Скорей, чем богачи в небесный рай войдут.
Ты к беднякам иди! Там, на большой дороге,
Тебя с надеждой ждут, кто нищи и убоги.
Хромых, слепых, калек, стоящих у оград,
Сбери и приведи в святой мой вертоград.
Вот лучшее ядро благочестивой рати.
Иди ж! Они тебе воскликнут «исполати!»
Такой мне был во сне божественный глагол;
Я внял ему и к вам, о, верные, пришел.
Вас призывает Бог, творите же молитвы
И приготовьтесь к дню последней, грозной битвы.
Свободных армия уж к Лейпцигу идет,
Где в доме Виганда их крепость и оплот.
И там, за грудой книг, за кипами бумаги,
Они нас будут ждать. Исполнитесь отваги,
О, верные! Разбить должны мы влюю рать
Врагов Всевышнего и крепость их занять.
Мужайтесь же, друзья, в любви, в надежде, в вере!
Я вижу: предо мной открыты в небо двери.
Ко всем сокровищам святая вера — ключ.
Ты, Галле набожный, — лишь верою могуч.
Был с верой божий сын зачат в девичьем лоне;
Исполнясь верой, кит вернул свободу Ионе,
Нам воскресение Бог с верой возвестил
И с верой он уста ослиные открыл.
Прозрел слепой в тот миг, как укрепился в вере.
Я с верой вверх гляжу и вижу в небо двери;
Я с верой говорю: credo, ut intelligam,

Я с верою за крест держусь, на зло врагам.
Все, что б ни делал я, основано на вере;
Я с верой вверх гляжу и вижу в небо двери.
Мне говорит Господь: пусть станет Лев, мой раб,
Над братьей в Галле; тут его пусть будет штаб.
А ты по городам, по весям и селеньям
Вербуй мне воинов с неутомимым рвеньем.
Ты, Бейтель, мой пророк, не должен отдыхать,
Пока не собрана благочестивых рать.
Так рек Господь, и я в великой крепко вере;
Прощайте же, друзья! Я вижу в небо двери».

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Что вижу? Овари, святой Иоанн, мой разум
Твоим пророческим, божественным экставам!
Борьбу архангела с драконом видел ты;
Сними же с глаз моих завесу суеты!
Что вижу я? Грядет день грозного сраженья,
День Страшного суда, день светопреставленья!
Что вижу? Груды туч покрыли неба круг;
Громада их растет, вдымается, — и вдруг
Бросается, как лев, в средину небосклона.
Исчадь адское из грозового лона
С шипеньем вырвалось; сей — огненным хвостом
Бьет воздух яростно, тот — дьявольским волчком
Несется вскачь, и все режут в безумной злобе,
Как в ведовском котле клокочущей в утробе.
Ужель, проклятый род, ты небом овладел?
На божии стези ты как ступить посмел?
И молния, и гром похищены тобою?
О горе! Боннский бес вас подготовил к бою,
Но божьей милости не иссякает ключ, —
И дьявольскую тьму рассеет солнца луч.
Свободных дикий стан валит в свою твердыню;
Но скоро, скоро бог накажет их гордыню.
Их Виганд, в воздухе паря, ведет вперед,
За ним орава вся бесстыдная орет.
На Лейпциг путь лежит; там «Гутенберг» в надежный
Плацдарм он превратил для армии безбожной.
Там башни сложены из множества томов,
Окопы вырыты, и к штурму вал готов.
Писанья Бауэра четыре равелина
Покрыли; ружьями защищена куртина.
Там «Фридрих» Кеппена лежит над рядом ряд,
И прошлогодние Анналы там лежат.
«Труба» и Фейербах тяжелою громадой
Вкруг крепости лежат и служат ей оградой.
Испанский всадник там — твой, Руге, «Новеллист»;

Чтоб пот стирать с лица, навален «Пиэтист».
 А свой чертовский дом на случай отступленья
 Поспешно превратил ховяин в укрепленье:
 Законопатил дверь и окна хитрый враг,
 А склад оружия он поднял на чердак,
 Чтоб сверху набожных огня подвергнуть граду,
 Коль удалось бы им прорваться за ограду.
 Они вступают, шум подняв и дикий гам,
 И размещаются по башням и по рвам.
 А набожная рать идет из Галле биться;
 Для штурма у нее — Иакова лествица,
 Столп огненный пред ней, как знамя-исполин,
 А по пути — костры пылающих купин.
 О посети меня, святое вдохновенье,
 Чтоб мог я описать их дивное движенье!
 Колонну первую ведет державный Лев;
 Он шествует вперед, нисколько не сробев,
 И только пять томов истории всемирной
 Держа в своих руках; как в обстановке мирной,
 Он — без оружия: он верою силен.
 Вслед фан-дер-Зюнденом вторая из колонн
 Ведется в бой; сей муж грех ненавидит страстно;
 Оружия на нем ты б стал искать напрасно.
 Одним присутствием своим врага он бьет.
 Вот почему бойцы, идя за ним в поход,
 Вооружились лишь псалмами и молитвой;
 Услышав пенье их, противник с поля битвы
 Бежит за три версты. Послал бойцов и Бонн;
 Брат Нихте — отважный вождь их набожных колонн.
 Из Швабии отряд летит, как буревестник;
 Он в знамя превратил свой «Христианский вестник».
 Берлинцев Генгстенберг ведет в последний бой;
 А бременцы текут, о Маллет, за тобой.
 Поп Гирцель тоже тут. Он цюрихскую братью,
 Что Штрауса предала позорному проклятью,
 Ведет; и базельцы за ним во след текут.
 Ты, вуппертальский маг, Круммахер, тоже тут.
 На стогны Лейпцига вступает рать святая.
 Вдруг пенье дивное, как будто песня рая,
 Разносится окрест; у всех один вопрос:
 «Откуда эта песнь, что трогает до слез?»

И перед ними вдруг, верхом, — не ждан, не гадан, —
Брат Бейтель; вокруг него курится росный ладан.
«Меч божий, — он поет, — и Гедеонов меч
У нас! Мы победим в ужаснейшей из сеч.
Хоть крепость гровая воздвигнута влодеем, —
Мы адовы врата, — о, верьте! — одолеем!»
И вот ослица вскачь на гордый вал бежит;
За ней рать набожных, поя псалом, спешит.
О, что за мощный штурм! Зови, о, враг господний,
На помощь Дьявола из черной преисподней!
Лишь только Бейтель вал успел, влетев, занять, —
На приступ Генгстенберг ведет святую рать.
Но в стан безбожников спешит тогда Лукавый,
Чтоб мужество вдохнуть в смущенную ораву.
Вот Виганд с Мейеном на равелин внеслись
И мечут тысячу огней смертельных вниз.
Вон Штирнер связки книг кидает вниз с размаха,
И многих набожных хоронит в груди праха.
И Арнольд тут как тут: томы своих Аннал
Он мечет в каждого, штурмующего вал.
А со стены из книг, как молотом Перуна,
Тяжеловесною «Трубою» машет Бруно.
В засаду спрятавшись (кто там его найдет?),
Брошюры за спину кидает Патриот.
В бой Кеппен бросился, нахмутив грозно брови,
Но все старается пролить поменьше крови.
Несется Эдгар в бой, отважен и удал;
Твой, Освальд, перечный костюм от крови ал;
А кельнские бойцы! Потух в пылу сраженья
У *Rtg* чубук, но не пришел в смущенье
Боец испытанный; потухший свой вулкан
Он тычет в животы несчастных христиан.
Червонцы Юноша без усталости кидает;
Из Трира чудище, как юный лев, прядает.
Но все смелей святых дружинников отпор,
Все ярче и звончей их славословный хор.
Глядите! Генгстенберг на Виганда напал,
Схватил за бороду и, сотрясая вал,
Стащил безбожника; лежит он без дыханья;
От русской бороды — одно воспоминанье.
Арнольд в опасности, и Эдгар смерти ждет,

В дом Кеппен убежал, с ним вместе — Патриот.
 Уж гордый книжный вал напору поддается,
 Уже шатается; один лишь Бруно бьется.
 Он в брата Бейтеля метнул охашку книг,
 И бледность смертная святой покрыла лик.
 И фан-дер-Зюндену гровит удар ужасный.
 Но тут Галлеский Лев воспрял душою страстной
 И, как Самсон, рванул могучий книжный вал;
 Он лег под ним, но что ж, и Бауэр с ним упал.
 Лежит злодей в грязи, разбит своим паденьем;
 Добить лежачего спешат святые с пеньем.
 Тут Бейтель, с силами собравшись, встал, схватил
 За ухо Бауэра и так возговорил:
 «Господь победу дал великой нашей вере!
 Он — мощный наш оплот! Я вижу в небо двери!
 Вперед же, верные! Сломите рог врагу,
 А Бауэра я сам пока постерегу».
 И Бауэра связав, вперед дружина мчится...
 Уж к дому Виганда Иакова лестница
 Приставлена; уже трещит дверной косяк,
 Уж склад оружия на чердаке иссяк,
 Уж бедный Патриот заламывает руки,
 Уж Арнольд раненый от страшной стонет муки,
 Уж Мейена уста и нос кровоточат, —
 Тогда в смятении летит Лукавый в ад.
 С ужасным ревом он влетает в дом проклятья.
 Ругаясь и грозя, к владыке влая братья
 Бежит со всех сторон. И он вопит в смущеньи:
 «Повор! Свободными проиграно сраженье!
 Вотще глумился я, напрасно я смердел:
 Нас песнопением противник одолел,
 Лишился бороды наш Виганд, Бауэр — в путях,
 А гордый книжный вал атак не вынес лютых».
 От рева ужаса гудит над адом свод,
 И Гегель от стыда в отчаяньи орет.
 Но лишь улегся страх в сердцах оравы мерзкой,
 На беса полился поток угрозы дерзкой.
 Шумят мятежники, и Гегель, сам не свой,
 Кричит: «Стыдись! И ты быть хочешь Сатаной?!»
 Где был твой серный чад, где пламя разрушенья?
 «Аминь» услышав, — трус! — приходишь ты в смятенье!

От старости в тебе твой злой огонь потух!
Лишь маленьких детей ты ловишь и старух.
Тут надо не скулить, а действовать! Вольтер,
Нам помоги! Сюда, Дантон и Робеспьер!
Вы жили на земле, во всем подобны людям!
Так к богу ж дьявола! Чертями сами будем.
Бессилен навсегда мифический синклит;
Тысячелетний жар трусов не накалит;
Воспрянь, Марат! Людьями ведь были мы когда-то;
Так выберем вождем мы своего же брата!
Мифическим лицом был, есть и будет Бес;
И он нам лютый враг, как всякий сын небес.
К победе же, вперед!» И, дико завывая,
Из ада понеслась кощунственная стая.
Толпу мятежников сам Гегель возглавляет,
Вольтер над головой дубиной потрясает,
Дантон безумствует, и Эдельман орет;
Наполеон, как встарь, командует «Вперед!»
Марат, двух адских чад схватив рукою каждой,
Зубами щелкает, томим кровавой жаждой,
Несется Робеспьер, глава его горят, —
О, горе! Изрыгнул уродов этих ад.
И с ревом дикая орда свой лет снижает
Туда, где Бауэра брат Бейтель охраняет.
Брат Бейтель в ужасе, ослица слезы льет:
«Погибли мы, Господь! вот-вот наш час пробьет!»
Тут в Бейтеля впиалась стрела Марата-зверя,
Он на-земь падает и видит в небо двери.
Уж Гегель Бауэра целует, говоря:
«Да, ты постиг меня! Мой сын, я жил не зря!»
Он увы снял с него. Несется вопль оравы:
«Будь, Бауэр, нам вождем! Веди нас в бой кровавый!»
Отставлен Сатана, его нам замени!»
И с ревом кинулись на набожных они.
Увы! В святых рядах все множатся потери;
А Бейтель, как всегда: он видит в небо двери.
Ослица на небо несет святую плоть,
Какое чудо ты содеял, о, Господь!
Ты ввял его живым, как Илию-пророка,
И сокрушил навек все замыслы порока.
Вослед за Бейтелем и весь господний стан

В лазурь возносится, блаженством обуян.
 Но — ах! — нет отдыха мужам святым и там; —
 Свободные летят за ними по пятам;
 Сменились ужасом блаженство и отрада;
 На небо ворвалось, крича, ищады ада.
 Тем временем в аду, осиротевшем вдруг,
 Лишившемся своих наивернейших слуг,
 Лукавый бес стоял в немом оцепененьи
 И на порог глядел, где в диком исступленьи
 Отряд мятежников пронесся и исчез.
 Но вот, придя в себя, воскликнул злобно бес:
 «Так, поделом же мне! Я гнусно предан теми,
 В которых сам, глупец, взрастил безбожья семя!
 Вдохнув свободы жар Свободным этим в грудь,
 К свободе от меня я указал им путь.
 Да! С этой сволочью связался я напрасно;
 К свободе без границ она стремится страстно.
 Свободные ничто святым не признают;
 Но ведь в конце концов и мне тогда кажут.
 Против себя иду, борясь с владыкой вышним:
 Я только миф для них и признаюсь излишним.
 Скорей же в небеса! Я к богу полечу
 И с ним святой союз навеки заключу».
 Он воспаряет вверх и, пав пред троном бога:
 «О, не карай меня, — он молит, — слишком строго!
 Отныне я — твой друг». И рек Господь благой:
 «Откладываю суд, о Дьявол, над тобой!
 Иди и смой грехи в крови оравы злобной;
 Когда придешь назад, поговорим подробно».
 Лукавый радостно пускается в полет
 И бой неслышанный в разгаре застает.
 Увы, хоть к набожным пришла с небес подмога,
 Они окружены хулителями бога.
 Несется Бауэр вскачь с одной звезды к другой
 И машет в воздухе, как молотом, «Трубой».
 Навстречу выступил весь ряд евангелистов;
 Но власти нет у них над князем атеистов.
 Что для него твой рог, о, вол Луки! Твой рев,
 Лев Марка. Он и вас разить «Трубой» готов.
 Вслед Гегель с яростным упорством наступает
 И крылья ангелам огнем своим сжигает.

Вольтер дубиною гровит, оскалив рот;
Собор святых отцов безбожный Руге бьет;
Вот Бауэр, налету схватив звезду, с размаху
Метнул ее в врага, бегущего со страху.
Глядите! Сатана лежит, сражен «Трубой»;
Архангел Михаил готов трубить отбой;
Вот Гегель Сириус схватил с отвагой пылкой
И Генгстенберга им ударил по затылку.
Испуганно пища, хор ангельский вразброд
По небу, среди туч, несется впад-вперед.
Пред трирским чудищем крест держит ангел божий,
Но тот кулак свой сжал, на монолит похожий.
Вот ангелов сама Мария звать идет
Исполнить ратный долг: «На Бауэра вперед!
Должны вы отомстить безбожному уроду
За то, что он хотел постичь мою природу».
Но тщетны все мольбы, напрасен нежный взор, —
Безбожных воинов стремителен напор;
Они уж бивятся к священному порогу,
Уж верным все трудней им заградить дорогу,
Уже ослица лбом столкнулась со звездой,
И Бейтель в ужасе летит вниз головой,
Уж Бауэр подскочил, гроя «Трубой» навеки
Свет жизни потушить в сем божьем человеке,
Уж ярый Руге Льва за шиворот поймал
И в рот ему сует страницы из Аннал, —
Как вдруг — о, чудо! — лист сияньем окруженный,
С небес спускается, и Бауэр, пораженный
Внезапным ужасом, глядит на этот лист,
Глядит и весь дрожит, проклятый атеист.
Нерукотворный лист спускается все ниже,
У Бауэра на лбу пот выступил. Гляди же!
Он поднял лист, прочел и шепчет, сам не свой:
«В отставку!» Злая рать, услышав это, вой
Безумный подняла и с криками «В отставку!»
Вниз понеслась стремглав, создав на небе давку.
Святые празднуют победу из побед;
Бегут Свободные, а ангелы им вслед.
На землю падают влодси без дыханья...
Того, кто сеет зло, не минет накаванье!

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

СЕВЕРНО- И ЮЖНО-ГЕРМАНСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ.

Берлин, март.

Еще недавно юг нашего отечества слыл единственною его частью, способною на определенные политические взгляды; Баден, Вюртемберг и Рейнская Бавария казались единственными тремя алтарями, на которых могло бы возгореться пламя достойного, независимого патриотизма. Север, казалось, вновь погрузился в инертное равнодушие, в дряблую, если не раболепную, расслабленность, в которой искал исцеления от действительно великого и необычного напряжения освободительных войн, в которых юг участия не принимал. Казалось, он удовлетворился доведенным до конца делом и теперь претендовал на некоторый отдых, так что юг уже начинал на него глядеть сверху вниз и обличать его бесстрашие, насмеяться над его терпением. События в Ганновере были точно так же в полной мере использованы югом для оправдания своего высокомерия по отношению к северу; между тем как север на вид держался спокойнее, бездеятельнее, юг торжествовал, кичился своею развивающеюся парламентскою жизнью, своими речами в палатах, своею оппозицией, которая должна служить поддержкой северу, между тем как сам он и без севера просуществует. Все это переменялось. Движение юга заглохло, зубцы колёс, которые раньше так хорошо сцеплялись и поддерживали вращение, постепенно стерлись и потеряли нужное сцепление, уста замолкают одни за другими, и молодое поколение не имеет охоты идти по стопам своих отцов. Напротив, север, хотя внешние обстоятельства ему далеко не так благоприятствуют, как югу, хотя трибуна, где она не совсем отсутствует, никогда не могла достигнуть значения южно-германской, тем не менее, он, за последние несколько лет, может предъявить такой запас положительной политической зрелости, стойкой, живой энергии, таланта и публицистической деятельности, каких юг не накапливал даже в лучшую пору своего расцвета. К тому же северно-германский либерализм обладает, неоспоримо, более высокою степенью развития и всесторонности, более прочным историческим и националь-

ным фундаментом, чем того когда-либо могло достичь свободомыслие юга. Отчего это произошло? История обоих течений разрешает вопрос самым убедительным образом.

Когда с 1830 годом во всей Европе стали пробуждаться политическое движение и выступать на первый план государственный интерес, из столкновения происшествий и тенденций этого года с вновь оживающим тевтонским шовинизмом развился новый продукт южно-германского либерализма. Порожденный непосредственной практикой, он остался ей верен и в своей теории примкнул к ней. Но практика, из которой он себе построил теорию, была, как известно, очень равнокалиберная: французская, германская, английская, испанская и т. д. Отсюда произошло, что и теория, настоящее содержание этого направления, очень ударились во всеобщее, неопределенное, неэзменное; что она не была ни германской, ни французской, ни национальной, ни решительно космополитической, но именно абстрактной и половинчатой. Ставили себе всеобщую цель, законную свободу, но для ее достижения прибегали обычно к двум прямо противоположным средствам. Так, хотели для Германии конституционных гарантий и, чтобы добиться этого, предлагали то большую независимость князей от Союзного собрания, то большую зависимость, но рядом с Союзным собранием — народную палату, — два средства, из которых, при наличных условиях, одно было так же непрактично, как другое. Сегодня, для достижения великой цели, желали большего единства Германии, завтра — большей независимости мелких князей от Пруссии и Австрии. Таким образом, при полном единении относительно цели и постоянных разногласиях относительно средств, могущественнейшая безусловно партия была скоро обойдена правительством и слишком поздно убедилась в своем неразумии. Засим, сила ее коренилась в мгновенной вспышке, в воздействии лишь внешнего события, июльской революции, и когда последняя улеглась, то и партия должна была угаснуть.

В это время в Северной Германии все было гораздо спокойнее и на вид инертнее. Лишь один человек излучал весь жар своей жизненной силы в живом пламени, и он имел больше значения, чем все южно-германцы, взятые вместе: я имею в виду Берне. Со всею энергией своего характера он высвободился из их половинчатости, и в нем эта односторонность закалилась в борьбе и таким образом сама себя превозмогла. В нем из практики вылупилась теория и раскрылась прекраснейшим ее цветком. Так, он стал решительно на точку зрения северно-германского либерализма и явился его предтечею и пророком.

Это направление, господство которого в Германии сейчас неоспоримо, достигло своим обоснованием более полного содержания, более прочного существования. Оно заранее связало свою судьбу не с единичным фактом, но со всею мировой историей, и, в особенности, с германскою; источник, из которого оно вытекло, был не в Париже, оно родилось в сердце Германии; это была новейшая германская философия. Отсюда происходит, что северо-германский либерал отличается решительною последовательностью, определенностью в своих требованиях и точным согласованием средств с целью, к чему доньше южно-германский тщетно стремился. Отсюда происходит, что его миросозерцание является необходимым продуктом национальных стремлений, и потому само является национальным, что оно хочет видеть Германию поставленную одинаково достойно внутри и во-вне и не может впасть в комическую дилемму, следует ли быть сначала либералом и потом немцем или сначала немцем и потом либералом. Поэтому оно сознает себя одинаково обеспеченным от односторонностей той или другой партии и свободно от хитроумных тонкостей и софистики, к которым эти партии были приведены своими собственными внутренними противоречиями. Поэтому оно может начать такую решительную, такую живую, такую успешную борьбу против всякой реакции, которая никогда не будет по силам южно-германскому либерализму, и потому победа, в конце концов, за ним обеспечена.

Однако не следует принимать южно-германский либерализм за потерянную позицию, за неудавшийся эксперимент; мы с его помощью добились результатов, которыми, поистине, нельзя пренебречь. Прежде всего, это он обосновал германскую оппозицию и, таким образом, сделал возможным в Германии политическое миросозерцание и разбудил парламентскую жизнь; это он не дал захиреть и сгнить семени, таившемуся в германских конституциях, и извлек из июльской революции ту пользу, которую можно было из нее добыть для Германии. Он шел от практики к теории и этим путем не пробился; так начнем же с другого конца и попытаемся из теории проникнуть в практику, — ручаюсь, что так мы, в конце концов, двинемся вперед.

РЕЙНСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА.

Берлин, 6 мая.

Бывают времена в году, когда уроженца Рейна, который слоняется на чужбине, охватывает тоска, совсем особенная, по его прекрасной родине. Эта тоска особенно обостряется весною, во время Троицы, время рейнского музыкального празднества; это совершенно фатальное чувство. Теперь, — это известно, увы, слишком хорошо, — на Рейне все начинает зеленеть; прозрачные речные волны кружатся под весенним ветерком, природа надевает праздничные одежды, и теперь домашние снаряжаются в поездку на хоровой праздник, завтра они выступают в путь-дорогу, а тебя-то там нет.

О, рейнский музыкальный праздник — чудесный праздник! Переполняя украшенные зеленью пароходы, с развевающимися флагами, с звуком рогов и песнями, в длинных железнодорожных поездах и почтовых каретах, размахивая шляпами и платками, притекают со всех сторон гости, веселые мужчины, млад и стар, прекрасные звонкоголосые женщины, все празднично настроенные люди с смеющимися воскресными лицами. Какая радость! Все заботы, все дела забыты; не видать ни одного хмурого лица в густой толпе прибывающих. Возобновляются старые знакомства, завязываются новые, в воздухе стоит неумолчный смех и гомон молодежи, и даже старики, которых милые дочки насильно заставили принять участие в празднике, несмотря на ревматизм, подагру, простуду, заражаются общим весельем и должны быть веселы, раз присоединились к торжеству. Все готовится к празднованию Троицы, и торжество, в честь всеобщей эманации святого духа нельзя праздновать достойнее, чем отдаваясь божественному духу радости и наслаждения жизнью, сокровеннейшее ядро которого составляет именно наслаждение искусством. И из всех искусств именно музыка больше всего подходит к тому, чтобы образовать центральный пункт такого дружеского провинциального собрания, где вся интеллигенция округа сходится для взаимного освежения, житейской бодрости

и юношеского веселья. Если у древних народную массу притягивали комическое представление, турнир поэтов-трагиков на Панатенеях и вакхических правднествах, то у нас, при наших климатических и социальных отношениях, все это может заменить лишь музыка. Ибо как напечатанная только, не говорящая слуху музыка не может нам доставить наслаждения, так и трагедия оставалась для древних мертвою и чуждой, пока не говорила с фимелы и оркестра живыми устами актеров. Ныне каждый город имеет свой театр, где играют ежедневно, между тем как для эллинов сцена оживала только по большим праздникам; ныне печать распространяет каждую новую драму по всей Германии, между тем как у древних лишь немногим доставалась написанная драма для прочтения. Поэтому драма не может больше составить центральный пункт для больших собраний; такую службу должно сыграть другое искусство, и это может только музыка, ибо лишь она одна допускает сотрудничество большой массы людей и этим даже значительно выигрывает в силе выражения; в ней одной наслаждение совпадает с живым исполнением, и круг действия по размеру соответствует античной драме. И воистину немец может правдновать и лелеять музыку, в которой он является царем всех народов, ибо как ему лишь удалось выявить из современной глубины на свет и выразить в звуках высшее и священнейшее, интимнейшую тайну человеческого настроения, точно так же и ему одному дано ощущать во всей полноте силу музыки, разуместь до конца язык инструментов и пения.

Но музыка тут не главное. А что же? Вот именно музыкальное торжество. Как мало центр без окружности составляет круг, так же мало представляет здесь музыка без радостной, дружной жизни, образующей окружность вокруг этого музыкального центра. Уроженец Рейна по своей натуре настоящий сангвиник; его кровь так легко переливается по жилам, как свежее бродящее вино, и глаза его всегда быстро и весело глядят на свет божий.

Он среди немцев счастливчик, которому мир всегда представляется прекраснее и жизнь радостнее, чем остальным; смеясь и болтая, он сидит в виноградной беседке и за кубком, давно забыв все свои заботы, тогда как другие часами еще обсуждают, пойти ли им и заняться тем же, и теряют из-за этого лучшее время. Несомненно, ни один рейнский житель не пропускал когда-либо представлявшегося ему случая к житейскому наслаждению, иначе его приняли бы за величайшего дурака. Эта легкая кровь сохраняет ему еще надолго молодость, в то время когда северный германец уже давно перешел в филистерскую полосу солидности и прозы. Житель Рейна

всю свою жизнь забавляется веселыми, резвыми шалостями, юношескими шутками или, как говорят мудрые, солидные люди, сумасбродными глупостями и безрассудствами; самыми веселыми и привольными университетами были испокон века Бонн и Гейдельберг. И даже старый филистер, в труде и заботах закипший в сухой повседневности, хотя бы он утром высек своих юнцов за их шалости, все же вечером за кружкой пива занятно рассказывает им старые забавные истории, которые сам проделывал в дни своей юности.

При таком всегда веселом характере рейнцев, при такой открытой, простодушной безмятежности, нет ничего удивительного, что на музыкальном празднестве почти все хотят больше, чем слушать, дать себя послушать. Сплошное веселье, пестрая непринужденная жизнь, свежесть наслаждения, каких в другом месте пришлось бы долго искать! Всюду радостные, благожелательные лица, дружелюбие и сердечность ко всем участникам всеобщей радости. Как несколько часов, протекают эти три дня торжества под пенью, шутки и вино. И на утро четвертого дня, когда вся радость исчерпана и настает время прощаться, опять уже радуются в надежде на следующий год, условливаются на этот счет, и каждый, все еще радостно настроенный и вновь оживший, идет своим путем и к своей повседневной работе.

ДНЕВНИК ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛЯ.

I.

В таком городе, как Берлин, чужестранец совершил бы истинное преступление по отношению к самому себе и хорошему вкусу, если бы не познакомился со всеми достопримечательностями. И, тем не менее, слишком часто случается, что самое значительное в Берлине, то именно, чем прусская столица так сильно отличается от всех других, остается незамеченным чужестранцами; я имею в виду университет. Не внушительный фасад на площади Оперы мыслил я, не анатомический и минералогический музей, а эти многочисленные аудитории с остроумными и педантичными профессорами, с молодыми и старыми, веселыми и серьезными студентами, новопеченными и матерыми, — аудитории, в которых раздавались и ежедневно еще продолжают раздаваться слова, находящие себе отзвук далеко за пределами Пруссии и даже всей территории языка германцев. В этом и заключается слава Берлинского университета, что ни один другой не участвует в идейном движении эпохи и не сделался ареной духовной борьбы в такой степени, как он. Сколько других университетов: Бонн, Иена, Гиссен, Грейфсвальд, даже Лейпциг, Бреславль и Гейдельберг уклонились от этой борьбы и погрузились в ту ученую апатию; которая издавна была злым роком германской науки. Напротив, Берлин считает среди своих академических учителей представителей всех направлений и этим создает живую полемику, дающую студентирующему возможность легкого, ясного сопоставления тенденций современности.

При таких обстоятельствах у меня явилось желание использовать ставшее ныне общедоступным право вольнослушательства, и таким образом в одно прекрасное утро, как раз в начале летнего семестра, я вошел в университет. Несколько профессоров начали уже читать, большинство приступало как раз сегодня. Самым интересным, что мне представилось, было открытие курса лекций Марггейнеке о введении гегелевской философии в теологию. Вообще

говоря, первые лекции здешних гегельянцев в этом семестре имели совершенно особенный интерес, так как некоторые уже заранее давали основание рассчитывать на прямую полемику против шеллинговской философии откровения, а от других ожидалось, что они не удержатся от попытки спасти честь потревоженной тени Гегеля. Тезисы Маргейнеке были слишком явно направлены против Шеллинга, чтобы не привлечь к себе особенного внимания. Аудитория была заполнена еще задолго до его прихода: молодые люди и старики, студенты и офицеры и бог весть какая еще публика сидели и стояли вперемежку густою толпой. Наконец, он входит; говор и жужжание моментально затихают, публика, как по команде, снимает шляпы.

Плотная, крепкая фигура, серьезный решительный лик мыслителя, высокое чело, обрамленное волосами, поседевшими в тяжелой мыслительной работе; в манере изложения — благородная сдержанность, ни следа ученого педанта, уткнувшего нос в тетрадку, по которой читает, ни следа искусственно-театральной жестикуляции; юношески прямая осанка, взор, внимательно устремленный на аудиторию; само изложение спокойное, полное достоинства, медленное, но неизъяснимо плавное, бевыскусственное, но неисчерпаемое в глубоких мыслях, которые спешат одна за другою и все усиливаются по убедительности. Маргейнеке импонирует на кафедре своею уверенностью, непоколебимой твердостью и достоинством, но в то же время и свободомыслием, которое светится из всего его существа. Но сегодня он вступил на кафедру в совершенно особенном настроении, импонировал своим слушателям еще более могущественным образом, чем обычно. Если он в течение целого семестра спокойно выносил недостойные отзывы Шеллинга о мертвом Гегеле и его философии, если он до конца спокойно выслушал лекции Шеллинга, — а это, право, не пустяк для такого человека, как Маргейнеке, — то теперь, наконец, наступил момент, когда он мог отравить нападение, когда он мог выступить против гордых слов с гордыми мыслями. Он начал с общих замечаний, в которых в мастерских чертах изложил современное положение философии по отношению к теологии, с признательностью упомянул о Шлейермахере, об учениках которого он выразился, что его мышлением, побуждающим к мышлению, они были приведены к философии и что тем, которые бы пошли другим путем, пришлось бы самим в этом каяться. Постепенно он перешел к философии Гегеля и скоро вступил в легко заметное соприкосновение с Шеллингом. «Гегель, — сказал он, — прежде всего хотел, чтобы в философии люди стали выше своего

тщеславия и не воображали, что мыслили что-либо особенное, на чем мысль могла бы окончательно установиться; он не принадлежал к числу людей, которые выступают с большими обещаниями и звонкими фразами, он спокойно предоставлял философскому делу говорить за себя. Никогда не был он в философии *miles gloriosus*, который много о себе шумит... Ныне, правда, никто не считает себя настолько незнающим и ограниченным, чтобы не быть в состоянии оспаривать Гегеля и его философию, и кто бы имел в кармане основательное ее опровержение, сделал бы наверняка свое счастье; ибо насколько можно было бы отличиться таким опровержением, видно на примере тех, которые только обещают ее опровергнуть и затем этого не осуществляют».

При этих словах одобрение аудитории, и до сих пор уже дававшее о себе знать отдельными проявлениями, перешло в бурную овацию, — явление новое на теологической лекции, которое очень поразило доцента и, в своей свежей непосредственности, наводило на замечательные сопоставления с жидкими рукоплесканиями при окончании с таким трудом организованной по подписке лекции, послужившей для Маргейнеке предметом полемики. Движением руки он успокоил приветственные крики и продолжал: «Однако этого желанного опровержения еще нет, и оно не придет до тех пор, пока раздражение, недоброжелательство, зависть, вообще страсть будет пускаться в ход против нее вместо спокойного научного исследования, — до тех пор, пока будут считать достаточными гностику и фантастику для изложения философской мысли. Первое условие такого опровержения заключается в том, чтобы правильно понимать противника, и тут-то, пожалуй, некоторые враги Гегеля подобны карлику, который пошел в бой против великана, или — еще более — знакомому рыцарю, сражавшемуся с ветряными мельницами».

Вот главное содержание первой лекции Маргейнеке, поскольку оно могло бы интересовать более широкую публику. Маргейнеке опять показал, как бодро и неунышно он всегда стоит на посту, когда бывает нужно защитить свободу науки. Благодаря его характеру и проницательности ему гораздо более пристал титул преемника Гегеля, чем Габлеру, которому обычно его дают. Тот широкий свободный взгляд, которым Гегель обзирал все поле мышления и усваивал явления жизни, достался в удел и Маргейнеке. Кто осудит его за то, что он не хочет долгие годы отдавать в жертву прогрессу, который вошел в жизнь всего каких-нибудь пять лет. Маргейнеке достаточно долго шел вперед с временем, чтобы иметь право на научную законченность.

Большое его достоинство, что он стоит на уровне крайних достижений философии и делает их дело своим, начиная со времени «гегелингов» Лео и до увольнения Бруно Бауэра.

По окончании чтения этих лекций, Маргейнеке отдаст их в печать.

II.

В поместительной аудитории сидело рассеянно несколько студентов в ожидании доцента. Аншлаг на двери гласил, что профессор фон-Геннинг будет читать публичный доклад о *прусской финансовой конституции*. Предмет, поставленный в порядок дня Бюловым-Куммеровым, равно как и имя доцента, одного из старших учеников Гегеля, привлекли мое внимание, и меня удивило, что он, повидимому, не встретил большого интереса. Вошел Геннинг, стройный мужчина, «во цвете лет», с тонкими светлыми волосами, и начал излагать свой предмет быстро льющейся, быть может, несколько слишком обстоятельной речью.

«Пруссия, — сказал он, — выделяется из ряда всех государств тем, что ее финансовая конституция построена целиком на основе новейшей политико-экономической науки, что она одна только доныне имела смелость провести на практике теоретические выводы Адама Смита и его преемников. Англия, например, в которой получили начало новейшие теории, погрязает еще выше ушей в старой монопольной и запретительной системе, Франция, пожалуй, еще больше, и ни Гескиссон здесь, ни Дюшатель там не могли своими более разумными взглядами преодолеть частных интересов, не говоря уже совсем об Австрии и России, между тем как Пруссия решительно признала принцип свободной торговли и свободы промышленности и отменила все монополии и запретительные пошлины. Таким образом, эта сторона нашей конституции ставит нас высоко над государствами, которые в другом отношении, в развитии политической свободы, далеко нас опередили. И если наше правительство дало в финансовом отношении такие исключительные результаты, то, с другой стороны, следует также признать, что оно нашло для такой реформы исключительно благоприятные условия. Удар 1806 г. создал свободное поле, на котором можно было возвести новое здание; правительству не связывала рук конституция представительства, в которой отдельные интересы могли бы найти себе место. К сожалению, все еще не перевелись стариковские умы, которые, по своей ограниченности, брюзжат и осуждают новое, ставя ему в упрек, что оно неисторично, построено непрактично, насильственно, из

абстрактной теории, словно с 1806 г. история остановилась, и будто согласование с теориею, наукой, для практики представляет недостаток; будто сущностью истории является застой, верчение в круге, а не прогресс, будто вообще существует практика, свободная от всякой теории».

Да будет мне позволено ближе рассмотреть эти пункты, к которым общественное мнение Германии и особенно Пруссии, без сомнения, присоединится. Давно уже пора выступить решительно против вечных разговоров известной партии об «историческом, органическом, естественном развитии», «естественном государстве» и т. д. и разоблачить перед народом эти блестящие формулы. Если существуют государства, которым действительно приходится считаться с прошлым и довольствоваться более медленным прогрессом, то к Пруссии это неприменимо. *Пруссия не может прогрессировать достаточно быстро*, развиваться достаточно стремительно. Наше прошлое похоронено под развалинами до-иенской Пруссии, смыто потоком наполеоновского вторжения. Что сковывает нас? Нам не приходится больше владеть на ногах те средневековые колодки, какие мешают двигаться стольким государствам; грязь прошлых столетий не липнет больше к нашим пяткам. Как же можно, в таком случае, говорить здесь об историческом развитии, не имея в виду возвращения к *ancien régime* — реакции, наипозорнейшей из всех когда-либо бывших, которая бы самым отвратительным образом отрицала славнейшие годы из прусской истории, которая сознательно или бессознательно была бы изменою отечеству, ибо вызвала бы необходимость новой катастрофы, подобной 1806 г. Нет, ясно, как солнце, что *благо Пруссии лежит только в теории, науке, духовном развитии*. Или, чтобы подойти к вопросу с другой стороны, Пруссия — не «естественное» государство, а созданное политикою, целевым действием, *духом*. В самое последнее время французы хотели это изобразить как величайшую слабость нашего государства; наоборот, это обстоятельство, если только правильно его использовать, представляет главную нашу силу. Насколько самосознающий себя дух превышает бессознательную природу, так высоко и Пруссия может, при желании, поставить себя над «естественными» государствами. Именно потому, что в Пруссии так велики провинциальные различия, конституция, чтобы не причинить никому ущерба, должна исходить *только из идеи*; тогда постепенное слияние различных провинций произойдет само собою, причем особенности и своеобразия растворятся в единстве высшего свободного государственного сознания, между тем как в противоположном случае было бы

мало двух столетий, чтобы создать внутреннее законодательное и национальное единство Пруссии, и первый сокрушительный удар должен был бы иметь для внутренней спайки нашего государства последствия, которые трудно предвидеть. Другим государствам уже их определенным национальным характером предугазан путь, по которому они должны шествовать; мы свободны от такого принуждения; мы можем сделать с собою, что хотим; Пруссия может, оставив в стороне всякие другие соображения, следовать только внушениям разума, может, как никакое другое государство, учиться на опыте своих соседей, может стать образцовым государством для Европы на высоте своего времени, явить полное государственное сознание своего века в своих учреждениях.

Это — наше призвание, для этого Пруссия создана. Неужели мы промотаем эту будущность из-за пары пустых фраз отжившего движения? Неужели мы ослушаемся самой истории, указующей нам призвание воплотить в жизни цвет всей теории? Базис Пруссии, повторяю еще раз, заключается не в развалинах прошлых столетий, а в вечно юном духе, который в науке приходит к сознанию и в государстве сам себе создает свою свободу. И если б мы отступились от духа и его свободы, то отказались бы от самих себя, предали бы самое святое свое благо, умертвили бы нашу собственную жизненную силу и не были бы достойны дольше стоять в ряду европейских государств. Тогда история обратилась бы против нас с страшным смертным приговором: «Ты не выдержал испытания и оказался недостойным».

КОММЕНТАРИИ И ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕКСТАМ.

«Vier öffentliche Vorlesungen, gehalten zu Königsberg» von *Ludwig Walesrode*.
N. L. Voigt, Königsberg 1842.

За последние несколько лет Кенигсберг в Пруссии занял, на радость всей Германии, весьма выдающееся положение. Оторванный формально союзными актами от Германии, немецкий элемент там собрался с силами и предъявляет требование на признание и уважение, выступая, как представитель Германии, против варварства славянского Востока. И подлинно, восточные пруссаки не могли лучше противопоставить славянству германскую образованность и национальность, чем это сделали кенигсбергцы. Духовная жизнь, политический смысл развились там до такой энергии во всех своих проявлениях, до такой высоты и свободы взглядов, как ни в каком другом городе. Розенкранц успешно выявляет там германскую философию с свойственной ему равносторонностью и живостью ума, и если он и не обладает смелостью непреклонного вывода всех ее следствий, то все же его тонкий такт и непринужденная ясность взгляда ставят его очень высоко, не говоря уже о знаниях и таланте. Яхман и другие обсуждают вопросы дня в духе свободомыслия, и в указанной выше книжке перед нами лежит новое доказательство того, какой высокой степенью образованности располагает местная публика.

Это — четыре юмористических лекции, прочтенных перед большой аудиторией, на темы, выхваченные из непосредственной живой современной действительности и объединенные талантливым автором. И действительно, в них проявлена такая способность к юмористическим наброскам, такая легкость, изящество и яркость изображения, такое искрящееся остроумие, что автору нельзя отказать в большом даровании юмориста. Он обладает верным взглядом, сразу улавливающим в событиях дня уязвимую, требующую оценки сторону, и умеет так тонко построить бесчисленные свои

соображения и намеки, что вынуждает улыбку даже у своей жертвы; одна картина нагоняет другую, и, в конце концов, никто, собственно, не может сердиться на насмешника, так как всем понемногу досталось. Первая лекция, «Мазки жизни», выводит перед нами Мюнхен, Берлин, немецкого Михеля, пустоту родовой аристократии, взаимную оторванность и галлерею германских знаменитостей.

Вторая лекция, «Наш золотой век», распространяется в той же легкой форме о денежной аристократии. «Литературный турнир: Дон-Кихотов» ополчается на всякие современные чудачества, прежде всего на немецкий политический стиль.

Четвертая лекция дает «Вариации на любимые современные национальные мотивы», в частности — «Главу об орденах».

Валесроде доказал этими четырьмя лекциями свою способность быть юмористом. Но этого мало. Такие вещи имеют право быть оторванными, разъединенными, лишенными единства, оставаясь лишь в рамках отдельных лекций. Истый юморист подчеркнул бы еще больше, чем сделал это Валесроде, общий фон позитивного широкого миросозерцания, в котором растворяется, в последнем счете, всякая насмешка и всякое отрицание в полную гармонию. В этом отношении Валесроде принял на себя изданием своей книжки известную обязанность: он должен, елико возможно быстро, оправдать возбужденные им ожидания и доказать, что он так же умеет концентрироваться и перерабатывать свои воззрения в одно целое, как здесь он их разметал. И это тем более необходимо, что он обнаруживает близкое родство с авторами блаженной памяти Молодой Германии: благодаря близости к Берне своею манерой понимания и своим стилем. Почти все принадлежавшие к этой категории авторы, однако, не оправдали возложенных на них надежд и погрязли в расслабленности, получившейся в результате бесплодных стремлений к внутреннему единству. Неспособность создать что-либо цельное была подводной скалой, на которой они потерпели крушение, так как они сами не были *цельными* людьми. Но у Валесроде можно местами разглядеть более высокую, более законченную точку зрения, что дает право предъявить к нему требование — привести отдельные свои суждения в равновесие как между собой, так и уровнем философии данной эпохи.

Мы поздравляем его с публикой, которая сумела оценить лекции, и с цензором, который не помешал их опубликованию. Мы надеемся, что такое поведение цензуры, как в данном случае, прео-

долеет в ней, по крайней мере для Пруссии, все другие неустановившиеся принципы, и станет общим правилом, что цензура будет повсюду проводиться такими людьми, как в Кенигсберге, где, как говорит автор, — «цензоры с мученическим самопожертвованием приняла на себя самую одиозную из всех обязанностей, чтобы не представить ее тем, кто с радостью взял бы ее на себя».

К КРИТИКЕ ПРУССКИХ ЗАКОНОВ О ПЕЧАТИ.

Берлин, июнь.

Перед прусским гражданином, желающим высказать печатным образом свои мысли, открыты две возможности. Он может напечатать их в самой Пруссии, — и тогда они должны пройти через местную цензуру; если же почему-либо он откажется сделать это в Пруссии, то он может напечатать их за пределами ее — или в цензурных рамках другого союзного государства, или же, пользуясь свободой печати какого-нибудь иностранного государства. Во всех этих случаях за государством остается право принимать карательные меры против возможных нарушений закона. Ясно, что в первом случае подобного рода меры будут применяться лишь крайне редко, цензура вообще вычеркивает скорее много, чем мало, и пропускает *наказуемые* вещи в минимальнейшем количестве. В случае же сочинений, появившихся за пределами государства, гораздо чаще будут встречаться и конфискации этих сочинений, и судебные преследования их авторов. Чтобы дать полное представление о состоянии прусского законодательства о печати, очень важно не упустить из виду и карательные меры законодательства.

Так как до сих пор еще не существует особенного карательного законодательства о печати, то относящиеся сюда законы приходится искать в земском уложении, где они рассеяны под различными титулами. Мы здесь оставим в стороне законы, карающие за оскорбление, безнравственность и пр., так как речь идет у нас главным образом о политических преступлениях; относящиеся к ним постановления законодательства мы находим под рубриками: государственная измена, дерзкое непочтительное порицание или насмешка над законами страны и оскорбление величества. Однако, как мы вскоре покажем, законы эти формулированы столь неопределенным образом и допускают по отношению к печати столь широкие и безусловно произвольные толкования, что для суждения о них очень существенное значение имеет судебная практика. Ибо, если верно утверждение, что дух нашего законодательства воплотился

в наших судейских чиновниках, то их понимание отдельных пунктов является очень существенным дополнительным моментом последнего, — да и вообще в сомнительных случаях судебная практика имела крупное влияние на толкование законодательства.

Автор этих строк имеет возможность дополнить свое суждение о прусском законодательстве о печати с помощью имеющегося в его распоряжении подробно мотивированного решения одного прусского суда. Автор одного напечатанного за пределами Пруссии сочинения о внутренних делах этой страны был привлечен к ответственности по обвинению в совершении всех вышеперечисленных преступлений; по обвинению в государственной измене он был совершенно оправдан, но был зато признан виновным в дерзком и непочтительном порицании, насмешке над законами страны и в оскорблении величества.

Прусский уголовный кодекс определяет преступление государственной измены следующим образом в § 92: «Государственной изменой называются действия, направленные на насильственное ниспровержение государственного строя или же имеющие своей целью лишение жизни или свободы главы государства». Можно предположить, что для теперешних отношений это законодательное определение будет признано достаточно всеобщим. Но так как трудно предположить, чтобы подобного рода действия совершались путем печати или людьми, находящимися в пределах досягаемости нашей юстиции, то этот пункт можно считать маловажным для печати. Ясно формулированное слово: «насильственный» является достаточной гарантией от произвола или несвободы судей. Но зато величайшее значение для печати имеет другой пункт, именно тот, который трактует о недовольном обсуждении законов страны. Законодательные постановления по этому вопросу таковы: Общее земское уложение ч. II, т. 20, § 151: «Кто вызовет недовольство дерзким, непочтительным порицанием или насмешкой над законами страны и правительственными распоряжениями, тот подлежит тюремному или крепостному заключению на срок от 6 месяцев до 2 лет». Сюда же относится цензурный указ от 18 октября 1819 г., где в параграфе XVI № 2 говорится, что в случае дерзкого, непочтительного порицания и насмешки над законом страны и правительственными распоряжениями не следует считаться с тем, вызвано ли недовольство или неудовлетворенность какими-нибудь поводами: вышеприведенные наказания применяются при одном наличии подобных наказуемых изъявлений мысли».

Но при рассмотрении этих постановлений закона сразу бро-

сается в глаза их неопределенность и неудовлетворительность. Что означают слова *дерзкий* и *непочтительный*? Очевидно, в цитированном параграфе уголовного кодекса излишня или первая часть его, или вторая. Дерзкое порицание или насмешка над законами страны признаются как бы синонимичными возбуждению к недовольству, а указ 18 октября 1819 г. прямо говорит о совпадении обоих этих понятий. Поэтому постановление законодательства можно было бы формулировать следующим образом: кто провинится в дерзком, непочтительном порицании или насмешке над законами и правительственными распоряжениями, тот пытается возбудить недовольство и неудовлетворенность ими и поэтому подлежит указанному наказанию.

Теперь лишь мы можем ясно понять сущность закона. Сопоставление понятий: *дерзкий* и *непочтительный* является ошибкой законодателя, могущей повлечь за собой серьезные недоразумения. Можно быть непочтительным, не будучи отнюдь дерзким. Непочтительность — это некоторый промах, недостаток внимательности, результат торопливости, и прегрешение это может случиться с самым лояльным гражданином; дерзость же предполагает *animus injuriandi*, злой умысел. А если говорить о насмешке, то какая огромная дистанция от «непочтительности» до «насмешки!» Между тем и за ту, и за другую полагается одинаковое наказание. Оба эти понятия отличаются друг от друга не просто *количественным образом*, они не просто различные степени одной и той же вещи, — они отличаются качественно, по существу, они несоизмеримы между собой. И такие различные вещи должны помещаться под крышкой одного и того же законодательного параграфа. Выражение «непочтительный» здесь следует вычеркнуть во всяком случае, и если его нельзя устранить окончательно, то надо отвести для него какой-нибудь особый параграф. Ведь непочтительное порицание никогда не может иметь своей целью неудовлетворенность и недовольство, ибо непочтительность бывает всегда *без умысла, невольной* или, во всяком случае, *без злого* умысла. Следовательно, если в параграфе закона остается слово «непочтительный», то этим выражается мысль, будто решительно всякое порицание государственного порядка стремится вызвать недовольство и потому наказуемо: Но такое толкование шло бы вразрез с нашими теперешними цензурными условиями. Словом, вся путаница происходит оттого, что слово «непочтительный» перенесено из цензурной инструкции, к которой оно собственно относится, в закон. В цензурных случаях можно предоставить усмотрению цензора, как полицейского человека, — пока

цензура вообще остается полицейской мерой, — признавать что-нибудь «непочтительным» или «благомыслящим»; цензура — исключение, и точные постановления здесь будут всегда невозможны. Но в уголовном кодексе не место такому неопределенному понятию с открываемым им простором для субъективного произвола, и особенно нет места ему там, где *должно* выступить на сцену различие в политических воззрениях и где судьбы являются не присяжными, а правительственными чиновниками.

Что предполагаемая здесь критика закона верна, а упрек в смешении понятий обоснован, можно лучше всего доказать на основании практики судов. Я приведу в доказательство упомянутое ранее и уже опубликованное решение суда.

Автор указанного выше сочинения дает в нем описание цензуры в Пруссии к концу 1840 г., в котором ему инкриминируются следующие места: «Как известно, у нас не могут появиться без ведома цензуры как малейшие газетные статьи, так и сочинения хотя бы больше 20 печатных листов; если трактуемая в сочинении тема политического характера, то просмотр его является большей частью делом полицейского агента, который, при неопределенном характере цензурного регламента (от 18 октября 1819 г.), вынужден считаться лишь с особенными инструкциями министра. Завися всецело от министра и будучи ответственным только перед ним, этот цензор вынужден вычеркивать все, что негодно индивидуальным взглядам и видам его начальника. Если автор подаст жалобу на него, то обыкновенно он получает отказ в своем иске; если же он и добьется удовлетворения, то лишь так поздно, что оно перестает иметь какую бы то ни было цену для него. Иначе, как было бы возможно, что со времени высказанной в 1804 г. похвалы пристойной публицистике ни в одной прусской газете, ни в одной книге нельзя найти ни малейшего порицания поведения даже самых скромных чиновников; что всякий, даже отдаленнейший намек на вопросы общественного характера (разумеется, никто не отнесет сюда рубрику: «Внутренняя жизнь» в «Правительственной газете»), мог быть опубликован лишь за пределами Пруссии?»

«Но и здесь нет безопасности от того пагубного чиновничьего самовластья, которое Фридрих-Вильгельм III правильно назвал неизбежным следствием загнанного состояния публициста; для того, чтобы в Пруссию не проникали появляющиеся в заграничных газетах неблагоприятные сведения о поступках чиновников или же свободное освещение царящих у нас порядков, подобные газеты или не допускаются в страну, или же редакторы их делаются податливыми

при помощи всем известных мер. Мы, к сожалению, не преувеличиваем. Так, французские газеты разрешены к выписке, но большинство из них нельзя получать за бандеролью, так что одни почтовые расходы по выписке какой-нибудь газеты превышают 400 талеров в год; все аппараты сохранены, но в действительности подобное разрешение ничем не отличается от запрещения. Иначе поступают с немецкими газетами. Если редакторы их сами — в своих собственных интересах — не оказываются осторожными, если они помещают неугодную Берлину статью о Пруссии или о прусских чиновниках, то на них начинают сыпаться со стороны министерства (тому, кто усомнится в том, мы готовы представить документальные данные) упреки и жалобы, от них с угрозой требуют указания имени их корреспондентов, давая им доступ к доходному прусскому рынку лишь на унижайтельных условиях.

Нарисовав эту картину, обвиняемый замечает, что проводимая таким образом цензура становится какой-то докучной опекой, превращается в подлинное угнетение общественного мнения и приводит под конец к крайне пагубному, опасному как для народа, так и для короля самовластью чиновников.

Каким представляется нам этот отрывок? Разве написанное в таком тоне сочинение может не получить теперь цензурной санкции? Разве во всех прусских городах не высказывается теперь то же самое суждение о тогдашних цензурных порядках? Разве не писали уже более резким образом о существующих еще теперь учреждениях? Что же говорит наше судебное решение?

«Подданный не в праве высказываться таким образом о законах и правительственных распоряжениях; утверждение, будто всякий, даже отдаленнейший намек на вопросы общественного порядка может быть опубликован лишь за пределами Пруссии, и будто цензура, как она проводится в Пруссии, становится какой-то докучной опекой, превращается в подлинное угнетение общественного мнения, является и формально, и по существу держким порицанием и нарушает должную по отношению к государству почтительность. Замечание же, что этим создается пагубное, опасное как для народа, так и для короля самовластье чиновников, свидетельствует о явной тенденции вызвать недовольство и неудовлетворенность обрисованным таким образом учреждением. Обвиняемый пытался во время следствия доказать, что его суждение о деятельности цензуры основывается на фактах, и привел с этой целью ряд случаев, в которых статьям публицистического характера было отказано в цензурном разрешении.

«Но эти указания не имеют, очевидно, никакого значения; ибо, — не говоря уж о том, что несколько отдельных примеров не говорят ровно ничего ни за, ни против какого-нибудь государственного учреждения, — ибо если бы даже предположить правильность высказанного обвиняемым суждения, форма, в которой оно было высказано, заставляет все же поддержать обвинение в дерзости и непочтительности. Он высказывает свое суждение не в тоне спокойного изложения, а произносит порицание в таких выражениях, что если бы они были высказаны по адресу определенных лиц, их пришлось бы рассматривать как оскорбления».

Мы читаем далее: «Обвиняемый говорит о коммунальном законодательстве следующее: «Прежде всего следует тщательно отличать Городовое положение 1808 г. от пересмотренного Положения 1831 г. Первое носит либеральный характер той эпохи и считается с самостоятельностью граждан; второе же является повсюду предметом покровительства теперешнего правительства и настойчиво рекомендуется городам». Содержащееся в этих словах противопоставление слов: «либеральный характер той эпохи» и «теперешнее правительство» содержит в себе дерзкое порицающее утверждение, будто теперешнее правительство не только не либерально, но что оно и вообще не считается с самостоятельностью граждан (??). Но неблагонамеренность обвиняемого и предосудительная тенденция его сочинения проявляется особенно ярко на примерах, приводимых им с целью подтверждения данной им параллели, в которых он излагает или неверно, или в неполном и искаженном виде соответственные пункты обоих Городовых положений».

Я могу не приводить следующих за этим и весьма знаменательных выписок, ибо, если даже и признать неверность и неполноту изложения у обвиняемого, отсюда далеко еще не следует его неблагонамеренность и предосудительная тенденция. Я ограничусь лишь выпиской заключения: «Если принять во внимание закрытый характер дебатов собрания сословных чинов, вызванный этим индифферентизм образованных кругов к выборам, да и к другим проявлениям общественности, наконец двоекратное, в 1826 и 1833 годах, отклонение либеральными чинами рейнско-прусских провинций подобного Общинного положения, то вряд ли можно будет согласиться признать в *пресловутом* прусском Городовом положении противовес самостоятельного, народного самосознания министерскому произволу, не говоря уже о суррогате конституционного представительства». По поводу этого мы читаем в решении суда: «И это место содержит в себе насмешливое порицание и выдает тоже тенденцию

вызвать неудовлетворенность и недовольство. Кто действительно думает о том, чтобы быть полезным отечеству, тот не будет пытаться доказывать, будто прежде проводилась более соответствующая благу народа политика, которую теперь все более и более покидают, заменяя ее вредной для всеобщего благополучия тенденцией. Подобное сравнение прежнего, якобы лучшего состояния с теперешним не нужно совершенно для обнаружения мнимых недостатков теперешнего строя; поэтому оно не может иметь иной цели, как мнение, будто теперь вопрос о народном благе разрешается не так благополучно, как прежде, чтобы вызвать благодаря этому недовольство и неудовлетворенность».

Итак, судебная практика вполне подтверждает высказанные нами выше взгляды по поводу законодательства. Пункт о непочтительности, относящийся, собственно, к ведению цензуры, обнаруживает здесь свои вредные действия. Внеся этот пункт в кодекс, мы развязываем руки цензуре, которая в разное время бывает то более мягкой, то более суровой. Если цензура — как в 1840 г. — свирепствует, то малейшее порицание оказывается уже непочтительным. Если же она гуманна, как теперь, то даже то, что считалось тогда дерзким, признается еле-еле непочтительным. *Цензура* по самой своей природе представляет нечто шаткое; *закон* же, пока он не отменен, должен стоять непоколебимо: он должен быть независим от колебаний полицейской практики.

А теперь к вопросу о «возбуждении недовольства и неудовлетворенности». Ведь это является отчасти целью всякой оппозиции. Когда я порицаю какое-нибудь законодательное постановление, то я, разумеется, имею намерение вызвать эту неудовлетворенность, и не только в народе, но даже в правительстве. Как можно вообще порицать что-нибудь, не имея намерения убедить других в — выражаясь мягко — несовершенстве порицаемого и, значит, не намереваясь вызвать у них неудовлетворенность предметом порицания? Как могу я здесь порицать, а там хвалить, как могу я считать что-нибудь одновременно и хорошим, и плохим? Это просто невозможно. Я честно заявляю, что я намереваюсь вызвать этой статьей неудовлетворенность и недовольство § 151 прусского уголовного кодекса, и я все же убежден, что я порицаю этот параграф не «дерзко и непочтительно», — как говорится в тексте закона, — а «пристойно и благомысляще», как выражается цензурный циркуляр. Цензурный циркуляр санкционировал это право вызывать неудовлетворенность, и, к славе прусского народа, с тех пор сделано было уже многое, чтобы пробудить неудовлетворенность и недовольство. Благодаря

этому фактически отменена эта часть § 151 и значительно сужена наказуемость «непочтительного порицания». Это — достаточно убедительное свидетельство того, что разбираемый параграф представляет собой смесь разнородных — законодательных и политически-цензурных — постановлений.

Это объясняется эпохой, когда было кодифицировано земское уложение, конфликтом между свободомыслящим просвещением того времени и тогдашним прусским *ancien régime*. Быть недовольным правительством, государственными учреждениями было тогда не многим менее государственной измены и, во всяком случае, преступлением, дававшим повод к серьезному судебному преследованию и приговору.

Оскорбление величества нас мало интересует. У прусских публицистов оказывалось до сих пор достаточно такта, чтобы не затрагивать особы короля. Это является предвосхищением конституционного принципа неприкосновенности королевской особы, и это можно только приветствовать.

Мы рекомендуем вниманию комиссии по пересмотру законодательства рассмотренный здесь параграф уголовного кодекса; с своей стороны, мы будем продолжать вызывать вышеуказанным пристойным и благомыслящим образом много недовольства и неудовлетворенности всеми нелиберальными пережитками наших государственных учреждений.

АЛЕКСАНДР ЮНГ И «МОЛОДАЯ ГЕРМАНИЯ».

Alexander Jung, Vorlesungen über die moderne Literatur der Deutschen. Gerhard, Danzig 1842.

Чем больше радости вызывает могучее идейное движение, которым Кенигсберг старается стать в фокусе германского политического развития, чем свободнее и равностороннее проявляется там общественное мнение, тем более странным представляется, что именно там же в области философии пытается укрепиться известная межеумочная группа, которая должна, очевидно, прийти в противоречие с большинством местной публики. И если Розенкранц все еще во многом внушает к себе уважение, хотя и теряет смелость последовательности, то вся слабость и несостоятельность философской золотой середины выходит на свет в лице г. Александра Юнга.

В каждом движении, в каждой идейной борьбе существует известная категория путаников, которые только в мглистой атмосфере чувствуют себя совсем хорошо. До тех пор, пока принципы еще не очистились, таких субъектов терпят; пока каждый только стремится к ясности, не легко разобрать их предустановленную неясность. Но когда элементы обособляются и принципы взаимно противопоставляются, то настает время распрощаться с этими чуждыми движению людьми и окончательно с ними сосчитаться, ибо тогда пустота их обнаруживается ужасающим образом.

К этим людям принадлежит и г. Александр Юнг. Вышеуказанную его книжку лучше всего было бы оставить без всякого внимания, но так как он, кроме того, издает «Кенигсбергскую литературную газету» и еженедельно и здесь преподносит публике свой скучный позитивизм, то читатели «Летописей» позволят мне взяться за него всерьез и характеризовать несколько подробнее.

В эпоху приснопамятной «Молодой Германии» он выступил с письмами о новейшей литературе. Он примкнул к молодому поколению и, помимо собственного желания, попал вместе с ним в оппозицию. Какое положение для нашего межеумка! Г-н Александр Юнг на крайней левой! Можно себе легко представить, как неприятно

он себя почувствовал в таком положении, каким ключом из него били всякие умеряющие соображения. К тому же он ощущал особое пристрастие к Гудкову, который тогда слыл главным сретиком. Ему хотелось дать волю своему удрученному сердцу, но он боялся, он не хотел дразнить гусей. Как найти выход? Он прибег к достойному его средству. Он написал апофеоз Гудкову, не называя его имени, и затем поставил заголовок: «Отрывки об анониме». Как хотите, Александр Юнг, это была трусость!

Позже Юнг выступил опять в качестве посредника с путаной книгой: «Кенигсберг в Пруссии и крайности местного пиятизма». Одно заглавие чего стоит! Самый пиятизм он допускает, но следует бороться против его *крайностей*, точно так же, как ныне оспариваются в «Кенигсбергской литературной газете» крайности младогегельянского направления. Ведь все крайности вообще от лукавого, и только золотая середина и умеренность чего-нибудь стоят! Как будто крайности не являются только прямыми выводами! Впрочем, эта книжка была в свое время разобрана в «Галлеских летописях».

Теперь он приходит с новой книгой и выливает на нас целый ушат неопределенных, лишенных критики утверждений, спутанных суждений, пустых фраз и до смешного ограниченных взглядов. Можно подумать, что с момента своих «Писем» он проспал, ничему не научился, ничего не забыл! Прошла «Молодая Германия», прошла младогегельянская школа, Штраус, Фейербах, Бауэр. «Летописи» привлекли всеобщее внимание, борьба принципов в полном разгаре, борьба идет не на живот, а на смерть, христианство поставлено на карту, политическое движение наполняет собою все, а добрый Юнг все еще пребывает в наивной вере, что у наций нет иного дела, кроме напряженного ожидания новой пьесы Гудкова, обещанного романа Мундта, очередной литературной экстравагантности Лаубе. В то время как вся Германия гремит воинственными криками, в то время как новые принципы обсуждаются под самым его ухом, г. Юнг сидит в своей каморке, грызет перо и раздумывает о понятии «современного». Он ничего не слышит, ничего не видит, ибо выше ушей погружен в книжные фолианты, содержанием которых сейчас уже не интересуется больше ни один человек, и силится подвести отдельные вещи точно и аккуратно под гегелевские категории.

Во главу своих лекций он ставит жупел «модернизма». Что такое «современное»? Г-н Юнг говорит, что для этого он берет исходной точкой Байрона и Жорж-Занд, ближайшими принципиальными элементами новой мировой эпохи являются для Германии Гегель и

писатели так называемой молодой литературы. Что только ни подсовывается бедному Гегелю! Атеизм, самодержавие самосознания, революционное учение о государстве и в довершение еще «Молодая Германия». Но ведь прямо смешно связывать Гегеля с какой-нибудь котерией. Разве г. Юнг не знает, что Гуцков испокон века полемизировал с гегелевской философией, что Мундт и Кюне в этой материи не понимают почти что ничего, что, в частности, Мундт в «Мадонне» и в других местах высказывал о Гегеле бессмысленнейшие вещи и величайшие несообразности и в настоящее время является решительным противником его учения. Разве он не знает, что Винбарг точно так же высказался против Гегеля, и Лаубе в своей истории литературы постоянно неправильно толковал гегелевские категории?

Затем г. Юнг подходит к понятию о «современном» и безуспешно вowitz с ним на шести страницах. Естественно! Как будто «современность» может когда-либо «быть возведена в понятие!» Как будто может когда-либо стать философской категорией столь смутное, бессодержательное, неопределенное выражение, повсюду особенно таинственно пережевываемое поверхностными умами! Какая дистанция — от «современности» у Генриха Лаубе, которая отдает аристократическими салонами и воплощается лишь в образе какого-нибудь дэнди, до «современной науки» в заголовке религиозного учения Штрауса! Несмотря на все это, г. А. Юнг видит в этом заголовке доказательство того, что Штраус признает над собой власть модернизма, именно младогерманского модернизма, и скоропалительно ставит его за одну скобку с новой литературой. Наконец, он определяет понятие «современности» как независимость субъекта от всякого внешнего лишь авторитета. Мы давно уже знаем, что стремление к этому является основным моментом современного движения, и никто не отрицает, что к нему примыкают и «модернисты»; но тут блестяще обнаруживается, как тщетно г. Юнг усиливается возвести часть в целое, изжитый переходный период изобразить эпохой расцвета. Будь, что будет, «Молодую Германию» нужно сделать носительницей всего духа времени, но при всем том и Гегелю приходится отвести свое местечко. Раньше мы видели, что г. Юнг распадался надвое: одна часть его сердца принадлежала Гегелю, другая — «Молодой Германии». Теперь, когда он писал эти лекции, он должен был необходимо привести их в связь. Вот положение! Шуйца ласкала философию, десница поверхностную, мишурную нефилософию, и истинно по-христиански десница не ведала, что творила шуйца. Как выйти из такого положения? Вместо того, чтобы честно отка-

ваться от одной из несовместимых склонностей, он смелым жестом вывел нефилософию из философии.

С этой целью бедный Гегель комментируется на тридцати страницах. Напыщенный, высокопарный и мутный поток красноречия изливается на прах великого человека; затем г. Юнг тщится доказать, что основной чертой гегелевской системы является утверждение свободного субъекта против гетерономии неподвижной субъективности. Но не нужно быть особенным знатоком Гегеля, чтобы знать, что он держался гораздо более высокой точки зрения примирения субъекта с объективными силами, что он питал огромное почтение к объективности, ставил действительность, существующее, гораздо выше субъективного разума отдельной личности и от последней как раз и требовал признания объективной действительности разумною. Гегель не был пророком субъективной автономии, как полагает г. Юнг и как того требует «Молодая Германия». Принцип Гегеля — тоже гетерономия, подчинение субъекта всеобщему разуму, иногда даже, например в философии религии, всеобщему неразумию. Больше всего Гегель презирал рассудок, т. е. не что иное, как разум, фиксированный в своей субъективности и единичности. На это г. Юнг мне возразит, что я его не понял, что он говорит о *внешнем лишь* авторитете, что и он находит у Гегеля только примирение обеих сторон и что «современный» индивидуум стремится, по его мнению, только к тому, чтобы осознать свою зависимость лишь «от собственного проникновения в разумность объективного»; — но тогда и я попрошу не валить Гегеля в одну кучу с младогерманцами, сущность которых — субъективный произвол, мечтательность, причуда; тогда современный индивидуум будет лишь синонимом гегельянца. При таком безграничном смешении понятий г. Юнг отыщет «современное» и в недрах гегелевской школы, и шуйца его, право, лучше приспособлена к братанию с младогерманцами.

Наконец, он переходит к «современной» литературе, и здесь начинается сплошной панегирик и расшаркивание. Нет *никого*, кто бы не совершил чего-нибудь доброго, *никого*, кому бы литература не была обязана каким-нибудь достижением. Это вечное расхваливание, эти посреднические потуги, страсть разыгрывать литературного свата и сводника — совершенно невыносимы. Какое дело литературе до того, что у того или другого писателя есть крупица таланта, что он временами создает безделицу, если вообще-то он никчем, если все его направление, литературный его характер, все его творчество в целом ничего не стоят? В литературе *всякий* ценен не сам по себе, но лишь в своем взаимоотношении с целым.

Если бы я держался такого метода критики, я должен был бы снисходительнее отнестись к самому г. Юнгу, так как возможно, что страниц пять в этой книге недурно написаны и обнаруживают некоторый талант. Г-н Юнг изрекает легко и даже с известной величием массу курьезных суждений. Так, приводя резкие отзывы критики о Пюклере, он радуется тому, что она *«выносит свои приговоры, не считаясь с лицом и чином»*. Это свидетельствует о высокой, поистине внутренней независимости немецкой критики». Какого же дурного мнения должен быть г. Юнг о немецком народе, чтобы возводить ему это в великие заслуги! Как будто нужна была какая-то исключительная смелость, чтобы высказаться критически о произведениях такого-то князя!

Я миную эту болтовню, претендующую быть историей литературы, бессодержательную, бессвязную и, сверх того, еще изобилующую огромными пробелами; так, в ней отсутствуют лирики Грюн, Ленау, Фрейлиграт, Гервег, драматурги Моцен и Клейн и др. Наконец, он приходит к той же теме, которая влекла его с самого начала, — к своей обожаемой «Молодой Германии», являющейся для него завершением «современности». Он начинает с Берне. В действительности же влияние Берне на «Молодую Германию» не так уж велико: Мундт и Кюне объявляли его сумасшедшим, для Лаубе он был слишком демократичен, слишком решителен, и лишь у Гуцкова и Винбарга сказалось более длительное влияние. Гуцков особенно обязан Берне очень многим. Величайшее же внутреннее влияние Берне имел на народ, который хранит его произведения как святыню и черпал в них силу и поддержку в смутные времена от 1832 до 1840 г., пока не народились истинные сыны автора «Парижских писем» в лице новых философских либералов. Без прямого и косвенного влияния Берне либеральному направлению, исходившему от Гегеля, было бы гораздо труднее конституироваться. Но теперь все сводилось лишь к тому, чтобы раскопать засыпанные пути мысли между Гегелем и Берне, а это было не так трудно. Оба эти человека стояли друг к другу ближе, чем казалось. Непосредственное здоровое мировоззрение Берне являлось как бы практической стороной того, что Гегель ставил целью хотя бы только в перспективе. Г-н Юнг этого, конечно, не видит. Берне для него, конечно, в своем роде, почтенная личность, даже с характером, что, при известных обстоятельствах, очень ценно; он имеет неоспоримые заслуги; как, примерно, Варнгаген и Пюклер, он писал в особенности хорошие критические статьи о театре, но он был фанатик и террорист, от чего сохрани нас, боже! Повор такому дряблему, плоскому

пониманию человека, которого одно его мировоззрение делало знаменосцем своего времени! Этот Юнг, который хочет построить «Молодую Германию» и даже личность Гудкова из абсолютной идеи, не в состоянии понять такой простой характер, как Берне; он не может уразуметь, что даже самые крайние, самые радикальные суждения необходимо, последовательно вытекают из сокровеннейшего существа Берне, что *Берне по своей натуре был республиканцем*, а для такового «Парижские письма» написаны, право же, не слишком сильно. Или г. Юнг никогда не слышал швейцарца или северо-американца, говорящих о монархических государствах? И кто поставит Берне в укор, что он «рассматривал жизнь под углом зрения политики»? Разве Гегель не делает то же самое? Разве и для него государство не является в своем переходе к мировой истории, т. е. в плоскости внутренней и внешней политики, конкретной реальностью абсолютного духа? И при этом непосредственном, наивном мировоззрении Берне, которое находит себе дополнение в более углубленном понимании Гегеля и часто поразительнейшим образом с ним совпадает, г. Юнг, — не смешно ли это? — все-таки полагал, что Берне «начертил себе систему политики» и «счастья народов», какую-то абстрактную фантазмагорию, из которой приходится выводить его односторонности и крайности! Г-н Юнг не имеет понятия о значении Берне, о его железном непреклонном характере, о его подавляющей силе воли именно потому, что сам он такой маленький, мягкосердый, несамостоятельный, многосторонний человек! Он не знает, что Берне, как личность, занимает исключительное положение в германской истории; он не знает, что Берне был знаменосцем немецкой свободы, единственным *гражданином* в Германии того времени; он не подозревает, что значит восстать против сорока миллионов немцев и провозгласить царство *идеи*; он не может понять, что Берне является Иоанном Крестителем нового времени, который проповедует самодовольным немцам о покаянии и возвещает им, что топор уже лежит у корня дерева и что грядет Сильнейший крестить огнем и безжалостно отваять плевелы от зерна. К этим плевелам нужно отнести и г. Юнга. Наконец, г. Юнг добирается до своей дорогой «Молодой Германии» и начинает сносный, но чересчур подробный разбор Гейне. Затем следуют по очереди остальные: сначала Лаубе, Мундт, Кюне, затем Винбарг, которому отдается дань по заслугам, и, наконец, *почти пятьдесят страниц* посвящается Гудкову. На долю первых трех приходится обычная трафаретная похвала, много одобрения и очень скромная критика; Винбаргу отдается решительное предпочтение, но уделяются едва

четыре страницы, а Гуцков с бесстыдным низкопоклонством возводится в носители «современности», образ его строится по гегелевской схеме понятий, и ему отводится место в первом ряду.

Если бы с подобными суждениями выступил молодой, начинающий автор, это было бы терпимо. Были критики, которые одно время возлагали надежды на молодую литературу и во внимание к ожидаемому будущему относились к ее произведениям снисходительнее, чем следовало. Кто в собственном сознании воспроизводил ранние ступени развития германского духа, мог с особой любовью воспринять произведения Мундта, Лаубе или Гуцкова. Но с тех пор литературное движение пошло энергично вперед и оставило далеко позади это направление, и бессодержательность большинства младогерманцев обнаруживается с ужасающей очевидностью.

«Молодая Германия» вырвалась из смуты бурной эпохи, но сама осталась одержимую этой смутностью. Идеи, бродившие тогда в головах в неравноразвитой и неясной форме и осознанные позже лишь с помощью философии, были использованы младогерманцами для игры фантазии. Этим объясняется неопределенность и смешение понятий, господствовавшие среди самих младогерманцев. Гуцков и Винбарг лучше других знали, чего они хотят, — Лаубе меньше всех. Мундт гонялся за социальными фантасмагориями; Кюне, в котором сидел маленький Гегель, схематизировал и классифицировал. Но при всеобщей путанице ничего не могло получиться путного. Мысль о полноправности чувственного начала понималась, по примеру Гейне, грубо и плоско; либерально-политические взгляды носили личную окраску, а положение женщины давало повод к самым бесплодным и спутанным дискуссиям. Никто не знал, чего ему ждать от другого. Всеобщей неурядице того времени следует приписать и меры, принятые различными правительствами против этих людей. Фантастическая форма, в которой пропагандировались эти воззрения, могла лишь способствовать усилению смуты. Внешним блеском младогерманских произведений, их остроумным, пикантным, живым стилем, таинственной мистикой, которою облакались главные лозунги, вызванным ими возрождением критики и оживлением беллетристики они вскоре привлекли к себе младших писателей *en masse*, и через короткое время у каждого из них, кроме Винбарга, образовался свой двор. Старая, дряблая беллетристика должна была уйти под напором юных сил, и «молодая литература» заняла завоеванное поле, поделилась на лагеря — и в результате распалась. Так обнаружилась несостоятельность принципа. Оказалось, что все ошиблись друг в друге. Принципы исчезли, все дело свелось к личности.

Гудков или Мундт — вот как ставился вопрос. Журналы стали наполняться дрязгами различных клик, взаимными счетами, пустыми спорами.

Легкая победа развила в молодых людях заносчивость и тщеславие. Где бы ни появлялся новый писатель, ему приставляли к груди пистолет и требовали безусловного подчинения. Всякий предъявлял претензию на роль единственного литературного идола. Да не будет у тебя других богов, кроме меня! Малейшая критика вызывала смертельную вражду. Таким образом, это направление потеряло всякое идейное содержание, какое еще сохранило, и погрязло в омуте скандала, который достиг последних границ в книге Гейне о Берне и перешел в возмутительную гнусность. Из отдельных личностей самой благородной является несомненно Винбарг — цельный, сильный человек, подобный блестящей статуе, отлитой из одного куска металла, без малейшего пятнышка ржавчины. Гудков — самый ясный, самый вразумительный; он написал больше всех и, наряду с Винбаргом, дал самые определенные образы своего мировоззрения. Однако, если он хочет остаться на поприще драматургии, ему следует позаботиться о выборе лучшего и более идейного материала, чем до сих пор, и исходить не из модернизованного, а из истинного духа современности. Мы требуем большего идейного содержания, чем в либеральных фразах Паткуля или в мягкой чувствительности Вернера. Область, в которой Гудков очень талантлив, это — публицистика; он прирожденный журналист, но может держаться на уровне времени только одним способом: усвоить себе новейшее религиозное и государственно-философское направление и всецело посвятить свой «Телеграф», который, по слухам, он хочет возродить, великому движению эпохи. Если же он отдастся выродившейся беллетристике, то ему предстоит участь других журналов изящной литературы, о которых можно сказать: ни рыба, ни мясо, которые пестрят скучными рассказами, едва перелистываются и вообще ниже, чем когда-либо раньше, упали по содержанию и во мнении публики. Их время прошло, они постепенно растворяются в массе политических газет, которые умеют удовлетворительно доставить и нужные крохи изящной литературы.

При всех своих отрицательных свойствах, Лаубе хоть до некоторой степени еще привлекателен, но его беспринципные, беспорядочные писания: сегодня — романы, завтра — история литературы, послезавтра — критика, драмы и т. д., его тщеславие и пустота не дают ему выдвинуться. Духа свободы у него так же мало, как и у Кюне. «Тенденции» блаженной памяти «молодой литературы» давно

забыты: обоими всецело овладели пустые, отвлеченные, литературные интересы. Напротив, у Гейне и Мундта индифферентность превратилась в открытое отступничество. Книга Гейне о Берне — самое гнусное, что когда-либо было написано по-немецки; новейшие писания Мундта в «Пилоте» окончательно лишают автора «Мадонны» последних следов уважения в глазах народа. Здесь в Берлине знают слишком хорошо, к чему стремится Мундт ценой такого самоуничтожения: это — профессура; тем отвратительнее внезапно обувшее г. Мундта верноподданничество. Пусть г. Мундт и его оруженосец Ф. Радеваль продолжают третировать новейшую философию, хвататься за спасительный якорь шеллинговского откровения и шельмовать себя перед народом своими нелепыми попытками к самостоятельному философствованию. Свободная философия может спокойно и без возражений пропускать их ученические работы по философии — они сами разлезаются по швам. Все, что носит на себе имя г. Мундта, заклеяно, подобно произведениям Лео, печатью отступничества. Может быть, скоро она появится и на челе г. Юнга. Мы видим и увидим еще впереди, что он вполне готов к этому.

Покончив с поставленной себе в лекциях задачей, г. Юнг проникается неудержимым желанием стать еще раз народным посмешищем. От Гуцкова он переходит к Давиду Штраусу, приписывает ему выдающуюся заслугу «соединения выводов Гегеля и Шлейермахера с выводами современного стиля» (не есть ли *это* образец современного *стиля*?), но при этом горько жалуется на ужасное, вечное отрицание. Да, отрицание, отрицание! Бедным позитивистам и рыцарям золотой середины снится наяву, как все выше и выше вздымается волна отрицания; они крепко цепляются друг за дружку и вздыхают о чем-либо положительном. Такой экземпляр, в роде Александра Юнга, вопит о вечном движении мировой истории, называет прогресс отрицательным и, возмнив себя напоследок пророком, возвещает «великое рождение позитивного царства»: заранее живописуемое в самых выпяченных фразах, оно должно мечом господним поразить Штрауса, Фейербаха и их присных. В своем литературном листке он также проповедует слово о новом «позитивном» Мессии. Может ли быть что-либо антифилософичнее этого неприкрытого недовольства, такой откровенной неудовлетворенности настоящим? Можно ли проявить бóльшую дряблость и бессилие, чем это делает г. Юнг? Можно ли себе представить худшую фантастику, — за исключением нешеллингианской схоластики, — чем эту набожную веру в «позитивного Мессию»? Существовала ли когда-либо бóльшая и, к сожалению, более распространенная путаница, чем господствующая

щая ныне в отношении понятий «положительного и отрицательного»? Стоит лишь внимательно присмотреться к пресловутому отрицанию, чтобы убедиться, что оно по существу своему насквозь положительно. Конечно, для тех, кто объявляет разумное, идею, не положительной, ибо она не стоит на месте, а движется, для тех, чей дряблый, бессильный дух, подобно плющу на старой руине, нуждается в факте, чтобы за него держаться, — для тех, конечно, всякий прогресс является отрицанием. В действительности же идея в своем развитии есть единственное вечное и положительное, тогда как фактическая и внешняя сторона происшедшего есть отрицательное, преходящее и подлежащее критике.

«Кто же одарит нас этим бесконечным, столь близким к нам сокровищем?» — продолжает г. Юнг с все более вдохновенным пафосом.

Да, кто будет тем Мессией, который выведет слабые, колеблющиеся души из бездны отрицания, из темной ночи отчаяния в страну, текущую млеком и медом? «*Не Шеллинг ли?..* Великие, святые надежды мы возлагаем на Шеллинга именно потому, что он так долго оставался в уединении, именно потому, что он у первоисточника мышления и творчества нашел то священное, царственное место, где время перестает быть временем» и т. д. Да, так говорит гегельянец, и далее («Кенигсбергская литературная газета» № 4): «Мы ждем от Шеллинга необыкновенно много. Мы надеемся, что Шеллинг пройдет в истории с тем же факелом нового, никогда не виданного света, каким он в свое время осветил природу» и т. д. Затем в № 7 — хвала неведомому богу Шеллинга. Философия мифологии и Откровения строится как нечто необходимое, и г. Юнг блаженствует в сознании, что уже издалека может проследить восторженным оком пути идей Шеллинга, великого Шеллинга. Этот Юнг духовно настолько безличен и несамостоятелен, что находит удовлетворение, только отдаваясь другому духу, подчиняясь чужому авторитету. Ни капли независимости; как только он лишается опоры, на которой держится, он поникает и обливается слезами отчаяния. Он хватается даже за то, чего еще не знает, и, несмотря на довольно точные сведения, которые имелись в Берлине еще до выступления Шеллинга об его философии и о специфическом содержании его лекций, г. Юнг не знает большего блаженства, чем сидеть в пыли у ног Шеллинга. Он не знает, как Шеллинг отозвался о Гегеле в предисловии к труду Кузена, или, скорее, он хорошо это знает, и все-таки он, гегельянец, осмеливается отдаться Шеллингу, осмеливается после этого помянуть еще имя Гегеля и сослаться на него против новейших взглядов!

И чтобы увенчать свое самоуничтожение, он в № 13 еще раз с молитвой падает ниц перед Шеллингом, воскуряя его первой лекции фимиам всего своего восторга. Да, он здесь находит подтверждение всего, «что он о Шеллинге не только предполагал, но и знал, — то изумительно свежее, законченное и по форме, проникновение во все научные, художественные и этические элементы, которые в таком сочетании античного и христианского мира могут возвести столь высканного человека в ранг другого жреца Всевышнего и его Откровения, *чем это могут постичь жрецы низшего порядка и мира*». Конечно, некоторые будут так испорчены, «что из зависти станут отрицать даже величие, раскрывающееся здесь всякому в чистой и ясной форме, как свет солнца». «Все величие Шеллинга, его превосходство над всеми лучшими достижениями односторонних доктрин, ослепительно сияет перед нами в первой его лекции». «Кто может так начать, *должен* дать *могучее* продолжение, *должен закончить как победитель*, и если все они устанут, поникнут, непривычные к таким влетам, и никто больше не сможет понимать то, что говоришь ты, предвечно-вдохновенный, то знай, что тебе внимают тень тебе равнорожденного, вернейшего, прекраснейшего из твоих друзей, тебе *внимает тень старого Гегеля!*»

Что мог себе представить г. Юнг, когда черным по белому выводил эти восторженные романтические бредни! Наш смиренный жрец и не подозревает того, что, по крайней мере здесь, в Берлине, всякий знал наперед или с уверенностью мог предположить. Но какого рода «откровения» нам проповедывал тот «жрец Всевышнего», в чем заключалось «величие», призывание открыть человечеству наивысшее, «могучий взлет», как Шеллинг «закончил победителем» — это знает теперь весь свет. В брошюре «Шеллинг и Откровение», в авторстве коей сим расписываюсь, я совершенно объективно изложил содержание нового откровения. По ней г. Юнг может судить об исполнении своих надежд или иметь искренность и мужество признать блестящее свое заблуждение.

Не останавливаясь на критике Сильсфильда, которой г. Юнг заканчивает свою книгу, так как я уже порядочно удалился от поля беллетристики, я хочу в заключение коснуться еще некоторых мест «Кенигсбергской литературной газеты», чтобы и здесь отметить дряблость и безвкусную напыщенность г. Юнга. Уже в 1-м номере, правда очень сдержанно, отмечается «Сущность христианства» Фейербаха, во 2-м номере подвергается нападению теория отрицания «Летописей», хотя и в почтительной форме, в 3-м номере воздается хвала Гербарту, как раньше Шеллингу, в номере 4-м — им обоим

и одновременно порицается радикализм, в номере 8-м начинается обстоятельная критика книги Фейербаха и половинчатая золотая середина старается доказать свое превосходство над решительным радикализмом. Какие же приводятся здесь убедительные аргументы? Фейербах, говорит г. Юнг, был бы вполне прав, если бы земля представляла собой всю вселенную; с земной точки зрения все его произведение прекрасно, неотразимо, убедительно; но с универсальной, мировой точки зрения оно ничтожно. Вот так теория! Как будто на луне дважды два — пять, будто на Венере бегают камни или на солнце растения могли бы говорить! Разве за пределами земной атмосферы начинается особый новый разум и дух измеряется расстояниями от солнца? Ведь земное человеческое самосознание становится мировым сознанием в тот самый момент, когда признает себя элементом последнего! Ведь такие доводы служат только предлогом, чтобы фатальный ответ на старый вопрос отодвинуть в злую бесконечность пространства! Разве не на редкость наивно звучит проскользнувшее у Юнга в основную линию аргументации выражение: «разум, выходящий за пределы всякой просто сферической определенности»? Как может он, признавая последовательность и разумность оспариваемого с земной точки зрения, отличать последнюю от «универсальной»? Однако вполне достойно такого фантаста и мечтателя, каким является г. Юнг, погрузиться в коварную бесконечность звездного неба и состряпать себе всякого рода курьезные гипотезы и удивительные догадки о мыслящих, любящих, фантазирующих существах на других мировых телах. Смешно при этом, как он предостерегает против поверхностного обвинения Фейербаха и Штрауса, без дальнейших околичностей, в атеизме и безусловном отрицании бессмертия. Г-н Юнг не видит, что они иначе и не мыслят. Далее, в номере 12-м г. Юнг грозит уже нам своим гневом; в номере 26-м дается характеристика Лео, и за несомненной его талантливостью забывается и прикрашивается его образ мыслей; о Руге — столь же несправедливый отзыв, как и о Лео. Номер 29-й присоединяется к бессодержательной критике, которой Гинрихс подверг «Трубный звук последнего суда» в «Берлинских летописях», и высказывается еще решительнее против левого направления; номер 35-й дает длинную, наводящую тоску статью о Ф. Баадере, которому еще вменяется в заслугу его сомнамбульная и антифилософская мистика; наконец, номер 36-й жалуется на «злосчастную полемику», иными словами, очевидно, на статью Е. Мейена в «Рейнской газете», в которой г. Юнгу высказывается вся правда. — Странно! Г-н Юнг погружен в такой туман, в такую призрачную жизнь, что он считает себя нашим

«соратником», «защитником тех же идей»; он думает, что, несмотря на «наличие разногласий» между ним и нами, «тожество принципов и целей стоит невыблемо». Нужно надеяться, он теперь уразумеет, что мы брататься с ним не хотим и не можем. Такие жалкие амфибии и двурушники не годятся для борьбы, которую подняли и могут продолжать только люди с решительным характером. В продолжение той же статьи он еще себя шельмует, самым пошлым образом распространяясь о литературном деспотизме либералов и охраняя свою свободу. Свобода будет ему предоставлена; пусть его продолжает спокойно болтать до скончания века. Но пусть он разрешит нам поблагодарить его за поддержку и сказать ему честно и открыто, за кого мы его почитаем. Иначе он был бы литературным деспотом, а для этого он ведь немного слишком мягкосердечен. Тот же номер достойно заканчивается воплем о помощи против «гордого, суетного крика, яростно возводящего самосознание на степень божества», — и «Кенигсбергская литературная газета» осмеливается цитировать эти ужасные возгласы: «Долой христианство, долой бессмертие, долой бога!!!» Однако она утешается тем, что «могильщики уже стоят у дверей дома, чтобы вынести безгласными трупами тех, кто еще громко веселится». Опять, стало быть, бессильная надежда на будущее!

Дальнейших номеров газеты Юнга я еще не видал. Полагаю, приведенных доводов достаточно, чтобы мотивировать исключение г. Юнга из стана решительных и «свободных»; ему самому дана возможность видеть, что ему ставится в минус. Позволю себе еще одно замечание. Г-н Юнг, несомненно, самый бесхарактерный, самый слабый, самый тусклый писатель Германии. Откуда все сие, откуда та навидательная форма, которой он всюду щеголяет? Не стоит ли это в связи с тем, что, как говорят, г. Юнг раньше должен был быть навидателем *ex officio*?

ФРИДРИХ-ВИЛЬГЕЛЬМ IV, КОРОЛЬ ПРУССКИЙ.

Среди европейских государей, личность которых обращает на себя внимание и вне их страны, особенно интересны четверо: Николай Российский — той прямою и беззастенчивою откровенностью, с которой он стремится к деспотизму; Луи-Филипп, разыгрывающий Макиавелли нашего времени; Виктория Английская, законченный образчик конституционной королевы; наконец, Фридрих-Вильгельм IV, воззрения которого, так ясно и определенно выявившиеся за два года его правления, будут здесь рассмотрены ближе.

Здесь не должно быть дано голоса ненависти и мстительному чувству загнанной им и отвергнутой партии, ни порожденному цензурой ожесточению, воспользовавшемуся свободой слова, чтобы распространять скандальные истории и берлинские городские сплетни. У «Германского вестника» другие заботы, но ввиду бессовестной и низкой мести, которую газеты ежедневно преподносят германским государям и народам, совершенно необходимо взглянуть, наконец, на правителей с иной точки зрения, как на простых смертных, и оценить их поступки и мнения беспристрастно.

В последние годы прошлого царствования политическая реакция начала объединяться с церковною. Развивая до конца свою противоположность идее абсолютной свободы, абсолютистское государство, как и ортодоксальная церковь, сочли необходимым вернуться к своим предпосылкам и восстановить христианский принцип со всеми его последствиями. Таким образом, протестантское правоверие вернулось к католицизму, найдя для этой фазы в лице Лео и Крумахера наиболее последовательных и достойных представителей; протестантское государство — к последовательной христианско-феодальной монархии, как ее мечтал призвать к жизни Фридрих-Вильгельм IV.

С начала до конца продукт своего времени, Фридрих-Вильгельм IV представляет образ, объяснимый всецело только развитием свободного духа и его борьбой против христианства. Он — самый крайний вывод прусского принципа, проявляющегося в нем в последнем своем

порыве, но, в то же время, в полном своем бессилии перед свободным самосознанием. На нем заканчивается идеологическое развитие прежней Пруссии; она немыслима в новой форме, и если Фридриху-Вильгельму удастся провести свою систему практически, то либо Пруссия должна будет проникнуться совершенно новым принципом, — а таковым может быть только принцип свободного духа, — либо погибнуть, если нехватит сил для этого перехода.

Государство, к которому стремится Фридрих-Вильгельм IV, есть, по собственному его отзыву, христианское. Форма, в которой выступает христианство, когда ищет научного обоснования, есть теология. Сущность теологии, особенно в наше время, есть примирение и заглушевывание абсолютных противоположностей. Даже самый последовательный христианин не может вполне эмансипироваться от требований нашего времени; время принуждает его вносить поправки в христианство; он таит в себе посылки, развитие которых могло бы повести к атеизму. Вот отчего происходит та форма теологии, которая нашла своего критика в лице Б. Бауэра и своею внутренней неправдой и лицемерием пропитывает всю нашу жизнь. Этой теологии соответствует в области политики современная система правления в Пруссии. Система Фридриха-Вильгельма IV — это, несомненно, вполне разработанная система романтики как необходимый вывод из его основной точки зрения, ибо, чтобы построить государство, исходя из этой точки зрения, нужно иметь в своем распоряжении более чем пару отрывочных бессвязных понятий. Таким образом, следовало бы развить предварительно теологическую сущность этой системы.

Задумывая провести принцип легитимности во всей его полноте, прусский король не только примыкает к исторической школе права, но даже идет дальше ее и доходит почти до реставрации Галлера. Прежде всего, чтобы осуществить христианское государство, он должен пропитать христианскими идеями рационалистическое, бюрократическое государство, ставшее почти языческим, поднять культ, поощрять его соблюдение. Последнее он особенно имел в виду. Сюда относятся мероприятия для усиления посещения церкви всеми вообще и чиновниками в особенности, более строгое соблюдение воскресного дня, проектируемое усиление законов против развода, начатая уже отчасти чистка богословских факультетов, значение, придаваемое на экзаменах по богословию усердной вере при слабых познаниях, замещение многих должностей чиновников предпочтительно верующими людьми и много других общеизвестных мер. Они могут служить доказательством, как сильно Фридрих-Виль-

гельм IV стремится вновь непосредственно ввести христианство в государство, установить государственные законы по заповедям библейской морали. Но это только начало. На этом система христианского государства не может остановиться. Следующий за тем шаг есть отделение церкви от государства, шаг, выходящий за пределы протестантского государства. В последнем государь есть высший епископ (*summus episcopus*) и соединяет в своем лице высшую церковную и государственную власть; конечной целью этой государственной формы является слияние государства и церкви, как оно выражено у Гегеля. Однако как весь протестантизм, так и епископат монарха являются уступкой светскому началу. Это — подтверждение и оправдание папского примата, признание необходимости видимого главы церкви; с другой стороны, оно объявляет земную, светскую власть, государственную власть, безусловно высшей и подчиняет ей церковную. Это не установление равенства между светским и духовным элементами, а подчинение духовного элемента светскому, ибо монарх был прежде монархом, чем стал *summus episcopus*, и после этого также остается преимущественно монархом без всякого духовного облачения. Другая сторона дела заключается действительно в том, что теперь монарх сосредоточивает в своем лице всю власть, земную и небесную и, как земной бог, являет собой завершение религиозного государства.

Но так как такое подчинение противоречит христианскому духу, то безусловно необходимо, чтобы государство, претендующее быть христианским, вернуло церкви ее независимость. Однако это возвращение к католицизму опять-таки невозможно; провести безусловную эмансипацию церкви точно так же невозможно, не подрывая основных устоев государства; приходится прибегнуть поэтому здесь к системе компромисса. Это Фридрих-Вильгельм IV уже и осуществил по отношению к католической церкви. Что касается протестантской церкви, то и здесь очевидные факты свидетельствуют об его мнении по этому вопросу; особенно следует упомянуть об отмене принудительной унии и об избавлении старолютеран от того гнета, который они должны были терпеть. В протестантском исповедании выступает совершенно своеобразное явление. Оно не имеет видимого главы, лишено вообще единства, оно распадается на много сект, и, чтобы предоставить ему свободу, протестантское государство должно необходимо рассматривать различные секты как корпорации и дать им полную свободу в их внутренних делах. Однако монарх не отказывается от своего епископата, но оставляет за собой право утверждения и, вообще, суверенитет, а с другой стороны,

признает над собой власть христианства и, следовательно, должен склоняться и перед церковью. Таким образом, не только остаются в силе, несмотря на всяческое кажущееся разрешение, те противоречия, в которых движется протестантское государство, но получается еще смешение с принципами католического государства, что должно привести к поразительной путанице и беспринципности. Это не теологично.

Через Альтенштейна и Фридриха-Вильгельма III своим отношением к архиепископу кельнскому протестантское государство выставляло положение, что последовательный католик абсолютно не может быть хорошим гражданином. Это положение, подтверждаемое всей историей средних веков, действительно не только для протестантского, но и для всякого вообще государства. Кто все свое бытие и живнь делает предверием неба, не может относиться к земному с тем вниманием, которого государство требует от своих граждан. Государство имеет притязание быть всем для своих граждан; оно не признает над собой никакой власти и ставит себя вообще как абсолютную силу. Между тем католик признает абсолютными бога и его установление — церковь, и потому никогда не может стать на почву государства без внутренней оговорки. Это противоречие неразрешимо. Даже католическое государство должно, по мнению католика, подчиниться церкви, иначе католик откажется от него; насколько же сильнее будет его расхождение с некатолическим государством! В этом отношении поведение предшествующего правительства было вполне последовательно и обосновано; государство лишь до тех пор может не посягать на свободу католического исповедания, пока последнее подчиняется существующим законам. Такое положение вещей не могло удовлетворять христианского государя. Что же было делать? Протестантское государство не могло отставать от католических Гогенштауфенов, и при той высоте сознания, которой достигли государство и церковь, окончательное разрешение возможно было только путем подчинения той или другой, — подчинения, которое для сдающейся стороны было бы равносильно самоуничтожению. Вопрос стал принципиальным, и перед принципами единичный случай, как таковой, должен был отступить на задний план. Что же сделал Фридрих-Вильгельм IV? Чисто теологически он отодвинул назад нескромные, неудобные принципы, держался исключительно данного случая, который, будучи лишен принципиального освещения, был окончательно запутан, и попытался разрешить его компромиссным путем. Курия не уступила, и в дураках оказалось государство. Таково пресловутое разрешение кельнских неурядиц, сведенное к его настоящему значению.

Такие же едва прикрытые противоречия, которые Фридрих-Вильгельм IV вызвал в вопросе о взаимоотношении государства и церкви, он пытался возбудить и во внутренней жизни государства.

Здесь он мог опереться на уже существующие теории исторической школы права и имел, таким образом, довольно легкую игру. Благодаря ходу истории принцип абсолютной монархии стал в Германии господствующим, права старых феодальных сословий были уничтожены, глава государства был возведен в боги. К тому же, в промежуток времени от 1807 до 1813 года остатки средневековья подверглись решительному нападению и большей частью устранены. Сколько бы их с тех пор ни было восстановлено, законодательство того времени и созданное под влиянием века просвещения гражданское право остались основами прусского законодательства. Такое положение должно было быть невыносимо. Поэтому Фридрих-Вильгельм IV ухватился за все, что еще находил средневекового. Майоратное дворянство пользовалось покровительством и усиливалось новыми пожалованиями дворянства под условием введения майората; городское сословие, как таковое, было отделено от дворян и крестьян, рассматривалось и трактовалось как особое сословие, представляющее торговлю и промышленность; поощрялось обособление корпораций, ограничение отдельных ремесел и приближение к цеховому строю и т. д. Вообще все речи и поступки короля заранее оттеняли его любовь к корпоративным формам жизни, что лучше всего характеризует его средневековую точку зрения. Это совместное существование привилегированных объединений, располагающих в своих внутренних делах известной мерой свободы и независимости, с внутренним единством своих интересов, ведущих в то же время взаимную борьбу и соревнование, — это расщепление государственных сил, доходящее до полного распада государства, какое мы видим в Германии, образует один из существеннейших моментов средневековья. Само собой понятно, однако, что Фридрих-Вильгельм IV не собирается проводить осуществление христианского государства так далеко. Хотя он и верит, что призван восстановить истинно-христианское государство, однако по существу он желает только теологической его видимости, блеска и мишуры, а не нужды, гнета, беспорядка и самоуничтожения христианского государства, словом — прикрашенного средневековья, вроде того, как Лео от католицизма приемлет только блестящий культ, церковное благолепие и т. д., но не весь католицизм, как он есть. Поэтому Фридрих-Вильгельм и не абсолютно антилиберален и деспотичен в своих стремлениях; упаси, боже! он хочет оставить своим пруссакам

всяческие свободы, но именно лишь в виде несвободы, монополии и привилегии. Он не является решительным врагом свободной печати, он ее дает, но как монополию преимущественно ученого сословия. Он не хочет отменить представительство, отказать в нем, он только отвергает, чтобы гражданин, как таковой, пользовался представительством; он стремится к такому представительству сословий, какое отчасти уже проведено в прусских провинциальных чинах. Словом, он не знает всеобщих гражданских, человеческих прав, он знает лишь права корпораций, монополии, привилегии. Их он дает множество, сколько может, не ограничивая своей абсолютной власти постановлениями положительного закона. Может быть, он пойдет и дальше. Быть может, он питает уже сейчас, несмотря на кенигсбергские и бреславльские постановления, тайное намерение, когда достаточно далеко будет проведена его теологическая политика, увенчать дело изданием сословно-государственной средневековой конституции и тем связать руки своим преемникам, которые могут иметь и другие взгляды. Это было бы последовательно, но допустимо ли это с его теологической точки зрения — остается вопросом.

Мы уже видим, как неустойчива и беспочвенна, как непоследовательна эта система уже сама по себе; проведение ее на практике должно неизбежно повлечь за собой новые колебания и противоречия. Сухое прусское чиновничье государство, поднадзорная жизнь, скрипучая государственная машина не хотят знать прекрасной, блестящей, благородной романтики. В общем народ стоит еще на слишком низкой ступени политического развития, чтобы уразуметь систему христианского государства. В то же время ненависть к привилегиям дворянства, к притязаниям духовенства всех исповеданий укоренилась слишком глубоко, чтобы Фридрих-Вильгельм, при вполне открытой тактике, не потерпел из-за них неудачу. Вот чем объясняется его боязливая система нащупывания, с которой он сначала выяснял общественное мнение и затем все еще оставлял за собой достаточно времени, чтобы взять назад слишком острое мероприятие. Отсюда и прием — выдвигать вперед министров и, при слишком энергичных действиях, дезавуировать их; удивительно только, что прусские министры позволяли проделывать это над собой, не подавая в отставку. Это случилось раньше с Роховым, а теперь на очереди г. Эйхгорн, хотя не так давно король назвал его рыцарем чести и одобрял его действия. Но прибегая к таким теологическим средствам, Фридрих-Вильгельм IV давно уже утратил бы любовь народа, которую ему удалось сохранить до сих пор лишь благодаря его открытому веселому нраву, необычайной любезности,

ласковости и безудержному остроумию, не щадящему даже коронованных особ. Он очень старается также скрыть отрицательные стороны своей системы: он говорит только о ее блеске, великолепии и свободе и выступает открыто только в тех случаях, когда его система по видимости либеральнее существующего прусского распорядка; но там, где его меры показались бы менее либеральными, он благоравно отступает. Вместе с тем, не находя для обычного конституционализма других эпитетов, кроме «поверхностный», «грубый», он все же усвоил себе его терминологию и очень ловко пользуется ею в своих речах не то для выражения своих мыслей, не то для их маскирования. Точно так же поступают современные богословы, идущие на компромисс: они также охотно пользуются политической терминологией и надеются таким путем примениться к духу времени. Бруно Бауэр называет это без обиняков лицемерием.

В области финансового управления Фридрих-Вильгельм IV не мог удержаться в пределах того рода гражданского листа, установленного для себя его отцом, по которому законом отчислялось ежегодно из доходов доменов $2\frac{1}{2}$ миллиона талеров королю и его двору, а остальное, наравне с прочими доходами, предназначалось на государственные нужды. Приняв в расчет даже его частные доходы, можно подсчитать королю, что он тратил более $2\frac{1}{2}$ миллионов, — а ведь из них следовало покрыть доходы по двору других принцев. К тому же Бюлов-Куммеров доказал, что так называемая финансовая отчетность прусского государства совершенно фиктивна. Таким образом, не составляет никакой тайны, как идет управление государственными доходами. Пресловутое сложение податей вряд ли заслуживает упоминания, оно могло бы давно быть проведено уже при прошлом короле, если бы он не опасался, что принужден будет опять повысить налоги.

Я полагаю, что достаточно уже сказал о Фридрихе-Вильгельме IV. При его несомненно добродушном характере, становится само собой понятным, что в вопросах, не имеющих отношения к его теории, он искренне делает то, что от него требует общественное мнение, и поступки его действительно хороши. Остается вопрос, удастся ли ему когда-нибудь провести свою систему? На это, к счастью, можно ответить только отрицательно. В течение одного года со времени существования якобы свободной печати, которая в данный момент опять стала самой несвободной, прусский народ достиг такого подъема, который не идет ни в какое сравнение с ничтожностью принятой тогда меры. Гнет цензуры сковывает в Пруссии такую огромную массу сил, что малейшее облегчение вызывает с их стороны

несоразмерно сильную реакцию. Общественное мнение Пруссии сосредоточивается все больше на двух вопросах: представительной конституции и, особенно, свободы печати. Как бы король ни повел себя, сначала у него вынудят свободу печати, а раз она будет добыта, за нею через год должна будет последовать конституция. А при наличии представительства, совершенно нельзя предвидеть, по какому пути тогда пойдет Пруссия. Одним из первых последствий будет расторжение союза с Россией, если только король еще раньше не будет принужден поступиться этим детищем своего принципа. А за этим может последовать еще многое другое, и современное положение Пруссии очень напоминает состояние Франции перед..., но я воздерживаюсь от всяких чересчур поспешных заключений.

**СТАТЬИ ИЗ «РЕЙНСКОЙ ГАЗЕТЫ»,
«ШВЕЙЦАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНЦА»,
«ПЕМЕЦКО - ФРАНЦУЗСКИХ ЛЕТОПИСЕЙ»
И «ВПЕРЕД»**

(ЛОНДОНСКИЙ И МАНЧЕСТЕРСКИЙ ПЕРИОД)

ПИСЬМА ИЗ АНГЛИИ.

I.

Лондон, 30 ноября.

Возможна ли, вероятно ли революция в Англии? Вот вопрос, от которого зависит будущность Англии. Предложите этот вопрос англичанину, и он станет вам доказывать на тысячу ладов, что о революции и речи быть не может. Он вам скажет, что в настоящий момент Англия действительно находится в критическом положении, но что она в своем богатстве, своей промышленности и своих учреждениях найдет средства и пути оправиться без сильных потрясений; что ее конституция достаточно гибка, чтобы превозмочь самые сильные толчки от борьбы принципов и уметь подчиниться всем навязанным обстоятельствами переменам без опасности для ее основ. Он вам скажет, что даже низшему классу народа хорошо известно, что при революции он только потеряет, так как всякое нарушение общественного спокойствия может повлечь за собой лишь застой в делах и, в связи с ним, всеобщую безработицу и голод. Словом, он вам представит столько ясных и убедительных доводов, что вы, в конце концов, поверите, что с Англией действительно не так уж скверно и что на континенте строят себе об этом государстве разные фантазии, которые должны лопнуть, как мыльные пузыри, перед лицом подлинной действительности и более близкого знакомства с фактами. И подобное мнение и является единственно возможным, если стать на национально-английскую точку зрения непосредственной практики и материальных интересов, т. е. если упустить из виду движущуюся мысль, забыть содержание из-за формы, не видеть леса из-за деревьев. Что в Германии само собой понятно, но что невозможно втемашить закоснелому британцу, это — то, что так называемые материальные интересы никогда не могут играть в истории роль самостоятельных руководящих целей, но что они всегда, сознательно или бессознательно, служат принципу, направляющему нити исторического прогресса. Невозможно поэтому, чтобы такое

государство, как Англия, которое, по своей политической исключительности и самодовлению, отстало, в конце концов, на несколько столетий от континента; государство, которое в области свободы знает только произвол, которое по-уши застряло в средневековьи,— чтобы такое государство не должно было, наконец, прийти в конфликт с прогрессирующим тем временем духовным развитием. Разве не такова картина политического положения Англии? Есть ли еще одна страна в мире, где бы существовал феодализм в такой несокрушенной силе и оставался бы нетронутым не только в жизни, но и в общественном мнении? В чем другом заключается прославленная английская свобода, как не в чисто формальном праве делать и поступать по произволу в пределах, установленных законами? И что это за законы? Хаос запутанных, взаимно противоречащих постановлений, которые низвели правоведение до уровня чистой софистики, которых правосудие никогда не соблюдает, так как они не соответствуют духу времени; которые допускали бы, чтобы честный человек за самый невинный поступок был заклеен преступником, если бы это вязалось с общественным мнением и его правовым чувством. Не представляет ли Нижняя палата оторванную от народа корпорацию, избранную при помощи сплошного подкупа? Разве парламент не топчет беспрестанно ногами волю народа? Имеет ли общественное мнение в общих вопросах хотя бы малейшее влияние на правительство? Не ограничивается ли его власть единственною только областью — контролем и правосудия, и администрации? Это все вещи, которых даже самый закоснелый англичанин не станет безусловно отрицать. И неужели такое состояние может считаться прочным?

Но оставим поле принципиальных вопросов. В Англии, по крайней мере среди партий, которые теперь борются за власть, среди вигов и ториев, принципиальной борьбы не знают, знают только столкновения материальных интересов. Познакомимся и с этой стороной дела. По природе своей Англия — бедная страна и, кроме своего географического положения, своих железных рудников и угольных копей, не отличается ни плодородием, ни какими-либо другими естественными богатствами, если не считать некоторого количества тучных пастбищ. Значит, она обречена исключительно на торговлю, судоходство и промышленность, но она умела при их помощи вознестись на ту высоту, которую сейчас занимает. Но это уже лежит в природе вещей, что если страна пошла этим путем, то она может держаться на раз достигнутой высоте только непрерывным повышением промышленного производства: остановка была бы здесь регрессом.

Далее, из предпосылок промышленного государства естественно следует, что оно для охраны источников своего богатства должно охранять себя от промышленных продуктов других стран запретительными пошлинами. Но так как пошлинами на заграничные продукты туземная промышленность повышает цены своих продуктов, то этим создается необходимость непрерывно повышать пошлины, чтобы, в соответствии с принятым принципом, заграничная конкуренция оставалась исключенною. Таким образом, этот процесс с двух сторон поддерживался бы до бесконечности. Здесь уже обнаруживается противоречие, лежащее в понятии промышленного государства. Но нам не нужно даже этих философских категорий, чтобы вскрыть противоречия, в которых зачленилась Англия. В двух родах повышений, производства и пошлин, которые мы сейчас рассматривали, имеют голос и другие люди, кроме английских промышленников. Прежде всего — заграница, которая располагает собственной промышленностью и не имеет нужды превращаться в приемный канал для английских продуктов, а затем — английские потребители, которые не помирятся с таким ростом пошлин до бесконечности. И именно на этой точке стоит теперь развитие промышленного государства в Англии. Заграница не хочет английских продуктов, так как сама создает предметы своей необходимости, а английские потребители требуют единогласно отмены запретительных пошлин. Уже из всего сказанного выше ясно, что Англия стоит, таким образом, перед двойной дилеммой, решить которую промышленное государство само по себе неспособно: непосредственное наблюдение фактов подтверждает это.

Прежде всего, если говорить о пошлинах, даже в самой Англии признано, что почти во всех отраслях низшие сорта доставляются немецкими и французскими фабриками лучше и дешевле, точно так же в производстве массы других товаров англичане отстали от континента. Всеми этими товарами, в случае отмены запретительной системы, Англия тотчас же была бы наводнена, и английской промышленности был бы нанесен смертельный удар. С другой стороны, в Англии теперь существует свободный вывоз машин, а так как в производстве машин Англия стоит донныне вне конкуренции, то, при помощи английских машин, континент теперь тем более становится в состоянии конкурировать с Англией. Затем, запретительная система подорвала государственные доходы Англии и уже по одному этому подлежит отмене. Где же тут выход для промышленного государства?

В отношении рынка для английских продуктов Германия и Франция заявили достаточно ясно, что они больше не хотят в угоду

Англии жертвовать своей промышленностью. Особенно немецкая промышленность: она и без того приняла такой размах, что ей нечего больше бояться английской. Континентальный рынок потерян для Англии. Ей остаются еще только Америка и ее собственные колонии, и только в последних она обеспечена своими законами о мореплавании от чужой конкуренции. Но колонии вовсе не настолько велики, чтобы быть в состоянии потребить все продукты огромной английской промышленности, а в других местах английская промышленность всюду все больше вытесняется немецкой и французской. В этом вытеснении виною, правда, не английская промышленность, а запретительная система, которая взвинтила цены всех предметов необходимости, а с ними и заработную плату, на несоответственную высоту. Но эта заработная плата как раз так сильно и удорожает английские продукты по сравнению с продуктами континентальной промышленности. Таким образом, Англия не может избежать необходимости ограничить свою промышленность. Но это так же мало возможно провести, как переход от запретительной системы к свободной торговле, ибо хотя промышленность и обогащает страну, она же создает класс неимущих, абсолютно бедных, который живет изо дня в день, который быстро растет, — класс, которого потом нельзя опять устранить, потому что он никогда не может достичь прочного благосостояния. А между тем третья часть, почти половина всех англичан принадлежит к этому классу. Малейший застой в торговле обездоливает значительную часть этого класса, большой торговый кризис лишает хлеба весь класс. Что другого остается этим людям при наступлении таких обстоятельств, как не бунтовать? Но по своей массе этот класс стал самым могущественным в Англии, и горе английским богачам, когда он это сознает.

Пока он до этого еще не дошел. Английский пролетариат только предчувствует свою мощь, и плодом этого предчувствия были волнения прошлого лета. Характер этих волнений был совершенно не понят на континенте. Во всяком случае сомневались, может ли дело принять серьезный оборот. Но для тех, кто был на месте очевидцем всего, об этом не было никакой речи. Прежде всего, все покоилось на иллюзии; из-за того, что несколько владельцев фабрик хотели понизить плату, все рабочие хлопчатобумажных, угольных и железных районов вообразили, что их положению грозит опасность, чего вовсе не было. Затем, движение не было ни подготовлено, ни организовано, ни руководимо. Стачечники не имели определенной цели и в образе их действий не было никакого единства. Отсюда и получилось, что при малейшем сопротивлении со стороны властей они ста-

новились нерешительны и не могли преодолеть в себе уважение к закону. Когда чартисты овладели движением и стали провозглашать перед собиравшимися толпами «народную хартию» (people's charter), было слишком поздно. Единственной руководящей идеей, рисовавшейся рабочим, как и чартистам, которым она, собственно, и принадлежит, являлась революция законным путем — противоречие само в себе, практическая невозможность, на проведении которой они потерпели неудачу. Первая же всеобщая мера — остановка фабрик — была насильственна и незаконна. При такой неподготовленности всего движения, оно было бы сейчас же, с самого начала, подавлено, если бы не полная его неожиданность для администрации, проявившей такую же нерешительность и беспомощность. Тем не менее оказалось достаточно незначительной военной и полицейской силы, чтобы удержать народ в узде. В Манчестере можно было видеть, как тысячи рабочих удерживались в осаде на скверах четырьмя или пятью драгунами, из которых каждый занимал один проход. «Легальная революция» все парализовала. Так все и закончилось; каждый рабочий приступал опять к работе, как только его сбережения приходили к концу и ему нечего было есть. Тем не менее польза, вытекающая из этого для неимущих, остается в силе; это — сознание, что революция мирным путем невозможна и что только насильственное ниспровержение существующих противостественных отношений, радикальное свержение дворянской и промышленной аристократии может улучшить материальное положение пролетариев. От этой насильственной революции их удерживает еще свойственное англичанам уважение к закону, но, при вышеизложенном положении Англии, неизбежно в близком будущем наступление всеобщей нищеты, и страх голодной смерти будет тогда сильнее страха перед законами. Эта революция неизбежна для Англии, но как во всем, что происходит в Англии, эту революцию начнут и проведут интересы, а не принципы; лишь из интересов могут развиваться принципы, т. е. революция будет не политическая, а социальная.

II.

Лондон, 3 декабря.

Если некоторое время позаймешься в тиши кабинета изучением английских условий, если убедишься в слабости фундамента, на котором держится все искусственное здание социального и политического благополучия Англии, то, окунувшись после этого сразу в гущу английской жизни, приходится изумляться поразительному

спокойствию и уверенности, с которыми здесь всякий смотрит навстречу будущему. Господствующие классы, безразлично — среднее сословие или аристократия, виги или тории, так давно уже правят страной, что появление новой партии представляется им невозможным. Сколько бы им ни указывать на их грехи, беспринципность, колеблющуюся политику, слепоту и закоснелость, на неустойчивое состояние страны, плод их принципов, они остаются при своей непоколебимой уверенности и верят в свою способность повести страну к лучшему будущему. И если революция в Англии невозможна, как они, по крайней мере, утверждают, то им действительно мало приходится бояться за свое господство. Если чартизм будет терпеливо ждать, пока завоеет себе большинство в Нижней палате, то ему придется еще много лет созывать митинги и требовать шесть статей народной хартии; средний класс никогда не даст своего согласия на всеобщее избирательное право, так как неизбежным последствием его уступчивости в этом пункте была бы потеря господства в Нижней палате благодаря перевесу голосов неимущих. Поэтому чартизм не мог еще пустить никаких корней в образованной английской среде, да и долго еще не сможет. Если здесь говорят про чартистов и радикалов, то имеют в виду почти всегда народные массы — массу пролетариев; и это верно — немногие образованные вожди партии исчезают в массе. Но и независимо от политического интереса среднее сословие может примыкать лишь к вигам или ториям, но не к чартистам. Его принцип заключается в сохранении существующего; «законный прогресс» и всеобщее право голосования, при настоящем положении Англии, повлекли бы за собою неотвратимо революцию. Вполне естественно поэтому, что практический англичанин, для которого политика — простая арифметика или даже коммерция, совершенно не принимает во внимание страшно нарастающую в скрытом состоянии силу чартизма, так как она не поддается выражению в числах, или только в таких, которые представляют по отношению к правительству и парламенту нули *перед* единицей. Но есть вещи, которые выходят за пределы числовых отношений, и на этом сверхпроницательность английского вигизма и торизма потерпит основательное крушение, когда придет их час.

III.

Ланкашир, 19 декабря.

Насколько современное положение Англии представляется сложным, если сосредоточиться, как это делает англичанин, на ближайшем, на осязаемой действительности, на внешней практике жизни,

настолько оно просто, если свести эту видимость к ее принципиальному содержанию. Есть только три партии в Англии, имеющие значение: аристократия земельной собственности, аристократия денег и радикальная демократия. Первая, партия ториев, по своей природе и историческому развитию, — чисто средневековая, последовательно-реакционная партия, партия старого дворянства, родственная «исторической» школе права в Германии и образующая опору христианского государства. Ядро второй партии, вигов, составляют купцы и фабриканты, большинство которых образует так называемое среднее сословие, но это среднее сословие, к которому принадлежит все, что носит на себе печать джентльмена, т. е. имеет свой правильный доход, не будучи чрезмерно богатым, является таковым только по сравнению с богатыми дворянами и капиталистами; по отношению же к рабочим оно является аристократией. В такой стране, как Англия, живущей только промышленностью и имеющей, следовательно, массу рабочих, это должно чувствоваться гораздо сильнее, чем, например, в Германии, где под средним сословием понимают ремесленников и крестьян и совершенно не знают такого обширного класса фабричных рабочих. Этим самым партия вигов обрекается на положение «золотой середины», как только класс работников начнет себя сознавать. А это происходит в настоящий момент. Рабочий класс с каждым днем все больше проникается радикально-демократическими принципами чартизма и все больше признает их выражением своего коллективного сознания. Однако в настоящее время эта партия находится лишь в процессе образования и поэтому не может еще выступать с полной энергией.

Понятно само собою, что, кроме этих трех главных партий, существуют еще всякие переходные оттенки, и два из них в настоящий момент имеют значение, хотя и лишены всякого принципиального содержания. Первая группа — нечто среднее между вигизмом и торизмом, как оно представлено Пилем и Росселем, и ей обеспечено на ближайшее будущее большинство в Нижней палате, а стало быть, и министерство. Другая — середина между вигизмом и чартизмом, «радикальный» оттенок, представленный полудюжиной членов парламента и несколькими органами печати, главным образом «*Examiner*», принципы которого, хотя и неофициально, легли в основу Национальной лиги против хлебных законов. Значение первой фракции с большим развитием чартизма должно возрасти, так как она ему противопоставляет то самое единство принципов вигизма и торизма, которое он как раз и подчеркивает. Вторая должна этим самым сойти на-нет. Взаимоотношение этих партий

выступает яснее всего в их позиции по вопросу о хлебных законах. Тории не допускают никаких уступок. Дворянство знает, что его сила, кроме конституционной сферы Верхней палаты, заключается главным образом в его богатстве. При свободном ввозе хлеба оно было бы принуждено заключить с арендаторами новый контракт на более дешевых условиях. Все его богатство заключено в земельной собственности; стоимость земельной собственности находится в неизменном соотношении с арендной платой и падает вместе с нею. В настоящий момент арендная плата так высока, что даже при теперешней пошлине арендатор разоряется; введение свободного вывоза хлеба понизило бы эту арендную плату, а с нею и стоимость земельной собственности, на одну треть. Достаточное основание для аристократии — крепко держаться за свое благоприобретенное право, которое подрывает земледелие и обездоливает деревенскую бедноту. Виги, всегда готовая «золотая середина», предложили твердую пошлину в 8 шиллингов на квартал; эта пошлина как раз достаточно низка, чтобы дать доступ иностранному хлебу и испортить арендатору рынок, и как раз достаточно высока, чтобы отнять у арендатора всякое основание к требованию новых условий аренды и поставить стране в среднем такую же высокую цену на хлеб, какая существует сейчас. Мудрость «золотой середины» разоряет страну, таким образом, еще гораздо вернее, чем закоснелость последовательной реакции. «Радикалы» в этом вопросе действительно радикальны и требуют свободного ввоза хлеба. Но «Examiner» набрался храбрости только за последние восемь дней, а Лига против хлебных законов была с самого начала направлена лишь против существующих хлебных законов и «скользящей шкалы» и до сих пор все время поддерживала вигов. Однако постепенно абсолютная свобода ввоза хлеба и вообще «свободная торговля» стала боевым кличем радикалов, и виги тоже добродушно поддакивают им и кричат о «свободной торговле», под которую разумеют умеренные пошлины. Само собою понятно, что чартисты ничего не хотят знать о хлебных пошлинах. Но что из этого выйдет? Что ввоз хлеба должен стать свободным — это так же верно, как то, что тории должны пасть — мирным или насильственным путем. Можно спорить лишь о формах, в каких произойдет эта перемена. Вероятно уже ближайшая парламентская сессия принесет с собою отпадение Пилля от «скользящей шкалы» и, стало быть, от строгих принципов торизма. Дворянство уступит во всем, что не заставляет его понижать ставки арендной платы, но не больше. Во всяком случае, коалиция Пиль-Россель, парламентский центр, имеет наибольшие шансы на министерство и будет возможно дольше

задерживать решение хлебного вопроса своими половинчатыми мероприятиями. Но как долго — это зависит не от нее, а от народа.

IV.

Ланкашир, 20 декабря.

Положение трудящихся классов в Англии становится с каждым днем все более шатким. Пока оно как будто бы не так уж скверно; в хлопчатобумажных округах большинство народа занято: в Манчестере на 10 рабочих приходится, может быть, один незанятый, в Болтоне и Бирмингаме пропорция, вероятно, та же самая, а когда английский рабочий занят, он доволен. И он может быть доволен, — по крайней мере, рабочий хлопчатобумажной промышленности, — если сравнит свою участь с судьбой своих товарищей по профессии в Германии и Франции. Там рабочий еле зарабатывает сколько нужно, чтобы перебиваться с хлеба на картошку; счастье его, если раз в неделю он получит мясо. Здесь он ест каждый день свою говядину и получает за свои деньги лучшее жаркое, чем любой богач в Германии. Два раза в день он пьет чай, и у него все еще хватает денег, чтобы за обедом выпить стакан портера и вечером — бранди или минеральной воды. Так питается большинство рабочих Манчестера при двенадцатичасовой ежедневной работе. Но надолго ли это! При малейшем потрясении в торговле, тысячи рабочих остаются без хлеба; их маленькие сбережения быстро съедаются, и тогда на пороге их является голодная смерть. И такой кризис должен опять наступить через несколько лет. То самое повышенное производство, которое сейчас дает работу «пауперам» и спекулирует на китайский рынок, должно создать огромную массу товаров и встать в их сбыте, что опять поведет за собою всеобщую безработицу. При всем том положение текстильных рабочих наилучшее. В угольных копях рабочим приходится выполнять самую трудную и нездоровую работу за низкую плату. При таких условиях этот разряд рабочих питает к богатым гораздо большую злобу, чем прочий рабочий люд, и особенно отличается грабежом, эксцессами по отношению к более богатым и пр. Так, здесь в Манчестере очень боятся «болтонских ребят», которые проявили наибольшую решительность во время летних волнений. Такой же славой пользуются рабочие-металлисты, как и вообще занятые тяжелым физическим трудом. Если уже сейчас им всем приходится туго, то что с ними станет при малейшем застое в делах? Правда, рабочие образовали в своей среде кассы, которые пополняются еженедельными взносами и должны поддерживать

безработных, но и их хватает лишь до тех пор, пока работают хорошо мануфактуры, ибо и тогда имеется достаточно нуждающихся. Как только безработица становится всеобщей, прекращается и этот вспомогательный источник. Ковлом отпущения в настоящий момент является Шотландия, где стоят мануфактуры, ибо при расширении английской промышленности постепенно страдает то тот, то другой округ. Во всей окрестности Глазго безработица со дня на день усиливается. В Пэзли, относительно небольшом городе, двумя неделями раньше было 7 000 человек «незанятых», сейчас их уже 10 000. И без того уже незначительные пособия из касс взаимопомощи были уменьшены еще наполовину, так как фонды иссякают; митинг нобльменов и джентльменов графства постановил устроить подписку, которая должна дать 3 000 фунтов; но такое орудие уже притушилось, и эти господа сами втихомолку надеются собрать максимум 400 фунтов. В конце концов, выходит, что Англия своею промышленностью посадила себе на шею не только обширный класс неимущих, но и среди них довольно значительный класс безработных, от которого избавиться не может. Эти люди обречены на произвол судьбы: государство о них не заботится, даже отталкивает их от себя. Кто осудит их, если мужчины пустятся на грабеж, женщины — на воровство и проституцию. Но правительство не интересуется тем, сладок ли голод или горек, а бросает их в свои тюрьмы или ссылает в свои колонии для преступников, откуда выпускает потом тех же безработных людей еще и развращенными. И самое юмористическое во всей этой истории то, что мудрые виги и «радикалы» никак не поймут, откуда при таком положении страны берется чартизм, и как это чартистам приходит в голову, что они имеют в Англии хотя бы малейшие шансы на успех.

V.

Ланкашир, 22 декабря.

Существующие хлебные законы быстро доживают свой век. Народ питает настоящую ненависть к «хлебной таксе», и положение ториев безвыходно; они не могут противостоять напору ожесточенной массы. Сэр Роберт Пиль отложил сессию парламента до 2 февраля — шесть недель времени для оппозиции, чтобы еще больше разжечь эту ярость. Пиллю придется, при открытии новой сессии, объясниться, в первую голову, по поводу скользящей шкалы; чарит всеобщее убеждение, что в своем взгляде на нее он стал, по меньшей мере, колебаться. Если он решится ее отменить, то более строгая часть партии ториев, без сомнения, покинет министерство и очистит

место умеренным вѣгам, так что уже тогда осуществилась бы коалиция Пиль-Россель. Во всяком случае аристократия будет упорно защищаться, и я, с своей стороны, не думаю, чтобы она добровольно согласилась на разрешение свободного ввоза хлеба. Английская знать согласилась на билль о реформе и эмансипацию католиков, но проявленное ею при этом самопожертвование — ничто по сравнению с тем, чего бы ей стоила отмена хлебных законов. Ослабление влияния аристократии на выборы в Нижнюю палату — пустяки по сравнению с понижением стоимости имущества всех английских дворян на 30%. И если уже оба вышеуказанные билля вызвали такую борьбу, если билль о реформе (избирательной системы) мог быть проведен лишь с помощью народных восстаний, с бросанием камней в окна аристократов, то и с этим вопросом дворянство, конечно, подождет, пока народ не покажет, что у него достаточно настойчивости и силы, чтобы осуществить свою волю. Ведь и без того летние беспорядки показали дворянству, как плохо английский народ делает революцию. Я глубоко убежден, что на этот раз аристократия будет до тех пор стоять на своем, пока ей не приставят нож к горлу. Но, с другой стороны, несомненно, что народ недолго еще станет платить аристократии по одному пенни за каждый фунт съедаемого хлеба. Об этом позаботилась Лига против хлебных законов. Ее деятельность была грандиозна; об этом я еще напишу подробнее, а пока ограничусь указанием, что один из важнейших результатов, созданных частью хлебными законами, частью Лигою, заключается в освобождении арендаторов из-под морального воздействия дворянских землевладельцев. Доныне никто не был равнодушнее арендаторов, т. е. всей земледельческой части нации, к вопросам политики. Лэндлорд (землевладелец) был, разумеется, торий и выгонял всякого арендатора, при выборах в парламент подавшего голос против тория. Поэтому получилось, что те 252 члена парламента, которых должны выбирать земледельческие округа в Соединенном королевстве, были регулярно почти сплошь тории. Но теперь, под воздействием хлебных законов, равно как и благодаря публикациям Лиги, распространявшимся в сотнях тысяч экземпляров, в арендаторе был разбужен политический смысл. Он уразумел, что его интересы не совпадают с интересами лэндлордов, а прямо противоположны им, и что хлебные законы ни для кого не были так неблагоприятны, как для него. Поэтому в среде арендаторов произошла глубокая перемена. Большинство их теперь — виги, и так как лэндлордам было бы трудно теперь еще иметь решительное влияние на голоса арендаторов при выборах, то скоро, пожалуй, 252 тория

превратятся в столько же вигов. Если бы этот переход осуществился даже только наполовину, то тем самым значительно изменилась бы вся физиономия Нижней палаты, обеспечив этим вигам навсегда большинство в палате. И это должно случиться окончательно, когда будут отменены хлебные законы, так как тогда арендатор был бы совершенно независим от лэндлорда, ибо с момента их отмены придется заключать арендные договоры на совершенно новых условиях. Аристократия думала, что ее хлебные законы — чудо премудрости; но деньги, которые она получила таким путем, далеко не перевешивают того вреда, который ей эти законы причинили. А вред этот заключается в том, что с того момента она не является больше выразителем интересов земледелия, а лишь своих эгоистических интересов.

ПИСЬМА ИЗ ЛОНДОНА.

I.

16 мая.

Демократическая партия в Англии делает огромные успехи. В то время как вигизм и торизм, денежная аристократия и дворянская аристократия, ведут скучный словесный спор о бороде короля в «Национальной говорильне», как говорит торий Томас Карлейль, или, по выражению чартиста Фергуса О'Коннора, в «палате, которая притязает на представительство общин Англии», в то время как государственная церковь ивоцряет все свое влияние на ханжеские струнки нации, чтобы еще немного поддержать свое сгнившее здание, в то время как Лига против хлебных законов бросает сотни тысяч в безумной надежде, что миллионы зато потекут в карманы хлопчатобумажных лордов, — в это самое время презираемый и осмеиваемый социализм спокойно и уверенно шествует вперед и постепенно внедряется в общественное мнение, в это самое время несколько лет образовалась новая неисчислимая партия под флагом народной хартии и повела агитацию так энергично, что О'Коннель и Лига по сравнению с ней являются жалкими крохоборами. Известно, что в Англии партии идентичны с социальными наслоениями и классами; что тории тождественны с дворянством и ханжескою, строго ортодоксальной фракцией англиканской церкви; что виги состоят из фабрикантов, купцов и диссентеров, в целом — из высших слоев среднего класса; что низший слой среднего класса составляют так называемые «радикалы», и, наконец, чартизм черпает свои силы в рабочем люде, пролетариях. Социализм не образует замкнутой политической партии, но рекрутируется, вообще говоря, из низших слоев среднего класса и из пролетариев. Таким образом, Англия являет примечательный факт, что чем ниже класс стоит в обществе, чем он «необразованнее» в обычном смысле слова, тем он прогрессивнее, тем бо́льшую он имеет будущность. В общем это характерно для всякой революционной эпохи, как это особенно сказалось при

религиозной революции, продуктом которой было христианство: «блажени нищие», «мудрость сего мира стала безумием» и т. д. Но, пожалуй, никогда еще предзнаменование великого переворота не являлось столь ярко выраженным, столь резко оттененным, как сейчас в Англии. В Германии движение исходит от класса не только образованного, но даже ученого; в Англии за последние триста лет образованные и в особенности ученые глухи и слепы к знамениям времен. Всему свету известно жалкое крохоборство английских университетов, по сравнению с которыми наши немецкие высшие школы еще золото; на континенте даже не представляют себе, как низкопробны труды лучших английских теологов и даже части лучших английских естествоиспытателей, какую ничтожную реакционную пачкотню представляет масса произведений, публикуемых в еженедельных списках новых книг. Англия — родина политической экономии, но как обстоит с наукой среди профессоров и практических политиков? Свобода торговли Адама Смита выродилась в безумные выводы доведенной до логического конца мальтусовой теории населения. Она произвела лишь новую цивилизованную форму старой системы монополии, которая находит своих представителей в лице современных ториев, и с успехом боролась с мальтусовыми нелепостями, но в конце концов опять пришла к мальтусовым выводам. Непоследовательность и лицемерие со всех сторон, между тем как содержательные экономические трактаты социалистов и частью также чартистов с презрением отметаются в сторону и находят читателей только среди низших слоев населения. «Жизнь Иисуса» Штрауса была переведена на английский язык; ни один «солидный» книгопродавец не хотел печатать перевода; наконец он появился выпусками, по три пенса за выпуск, в издании очень второстепенного, но энергичного антиквария. Такая же судьба постигла переводы Руссо, Вольтера, Гольбаха и пр. Байрон и Шелли читаются почти только низшими сословиями; сочинения последнего ни один «почтенный» человек не должен иметь на своем столе под страхом самой отвратительной репутации. Выходит: блажени нищие, ибо их есть царствие небесное, и долго ли, коротко ли — также царствие мира сего.

В парламенте сейчас на очереди билль сэра Дж. Грахэма о воспитании работающих на фабриках детей, по которому их рабочее время ограничивается, вводится принудительное школьное обучение, а надзор за школами возлагается на англиканскую церковь. Этот билль вызвал, естественно, всеобщее возбуждение и опять дал партиям повод померяться силами. Виги хотят совсем забраковать билль,

потому что он устраняет диссентеров от воспитания юношества и, сокращая рабочее время детей, предуготовляет этим фабрикантам затруднения. Среди чартистов и социалистов, напротив, дает себя чувствовать значительная симпатия к общей гуманной тенденции билля, за исключением пунктов, касающихся англиканской церкви. Ланкашир, главный фабричный центр, является, конечно, и главным местом агитации по поводу упомянутого билля. Тории здесь, в городах, совершенно бессильны; их митинги по поводу билля поэтому были закрыты. Диссентеры собирались сначала по корпорациям, чтобы подавать петиции против билля, а затем в союзе с либеральными фабрикантами созывали городские митинги. Такой городской митинг устраивается старшим городским чиновником, совершенно общедоступен, и всякий обыватель имеет право говорить на нем. Поэтому, если зал собрания достаточно велик, победа может здесь принадлежать только самой сильной и энергичной партии. И на всех созывавшихся доньше городских митингах победителями выходили чартисты и социалисты. Первый был в Стокпорте, где революции вигов имели за себя лишь один голос, а резолюции чартистов — весь митинг, так что вигский мэр Стокпорта принужден был в качестве председателя митинга подписать чартистскую петицию и послать ее чартистскому депутату (Денкомбу) для представления в парламент. Второй был в Сальфорде — род предместья Манчестера, с населением около ста тысяч человек; я присутствовал на нем. Виги приняли все подготовительные меры, чтобы обеспечить за собою победу. Городской судья занял кресло председателя и разглагольствовал много на тему о беспристрастии, но когда один чартист спросил, разрешается ли дискуссия, то получил в ответ: да, после окончания митинга! Первую резолюцию собирались провести под шумок, но чартисты были на-чеку и расстроили эту махинацию. Когда чартист взошел на трибуну, подскочил какой-то диссентерский священник и хотел его сбросить. Однако все шло еще хорошо, пока, наконец, не была предложена петиция в духе вигов. Тогда выступил чартист и внес поправку; сейчас же президент со всею своею свитою вигов встали и покинули зал. Тем не менее, митинг продолжался, и чартистская петиция была поставлена на голосование, но как раз в нужный момент полицейские чиновники, которые уже несколько раз вмешивались в пользу вигов, потушили свечи и заставили митинг разойтись. Тем не менее, виги объявили в ближайшем номере местной газеты, будто все их резолюции прошли, и городской судья был настолько бесчестен, что подписал свое имя «по полномочию и приказу митинга». Такова корректность вигов! Третий митинг состоялся два

дня спустя в Манчестере, и здесь точно так же радикальные партии одержали самую блестящую победу. Хотя время было выбрано так, что большинство фабричных рабочих не могло присутствовать, однако в зале было значительное большинство чартистов и социалистов. Виги ограничились исключительно теми пунктами, которые у них были общи с чартистами; один социалист и один чартист говорили с трибуны и засвидетельствовали вигам, что они вели себя в этот день добрыми чартистами. Социалист заявил им напрямик, что он пришел, чтобы оппонировать при малейшем к тому поводе, но все шло по его желанию. Таким образом, дело дошло до того, что Ланкашир и в особенности Манчестер, гнездо вигизма, центральный пункт Лиги против хлебных законов, дает блестящее большинство в пользу радикальной партии, и сила «либералов» таким путем вполне парализуется.

II.

23 мая.

«Аугсбургская всеобщая газета» имеет в Лондоне либерального корреспондента, который в ужасно длинных и скучных статьях защищает дело вигов. Лига против хлебных законов — теперь власть в стране, — вещает этот оракул. Величайшая ложь, какую когда-либо изрекал корреспондент партии! Лига — власть в стране. Где эта «власть»? В министерстве? Да ведь там сидят Пиль, Грэхэм, и Гладстон, величайшие враги Лиги. В парламенте? Ведь каждое ее предложение проваливается там большинством, подобное которому редко встретить в анналах английского парламента. Где же эта «власть»? В публике, в нации? На этот вопрос может ответить утвердительно только такой пустой, легкомысленный корреспондент, для которого Дрюри-Лэн представляет публику, а искусственно подобранное собрание — общественное мнение. Если уж этот мудрый корреспондент так слеп, что в ясный день ничего не может видеть, то я ему скажу, как обстоит дело с мощью Лиги. Из министерства и парламента ее выгнали тории, из общественного мнения — чартисты. Фергус О'Коннор с триумфом гнал ее перед собою во всех городах Англии, везде он ее вызывал на публичную дискуссию, и Лига ни разу не подняла перчатку. Лига не может созвать ни одного открытого митинга, чтобы не быть поворнейшим образом побитою чартистами. Разве аугсбургский корреспондент не знает, что пышные январские митинги в Манчестере и устроенные теперь в Дрюри-Лэн-театре собрания, где либеральные джентльмены рассказывают друг другу враки и пытаются обмануть себя насчет

своей внутренней пустоты, — что все это «гробы повапленные»? Кто допускается на такие собрания? Только члены Лиги или те, кому Лига роздала билеты. Здесь, значит, никакая противная партия не может иметь шансов на успешную оппозицию, и потому никто и не добивается билетов; на какие хитрости она бы ни пустилась, ей не удалось бы провести и сотни своих приверженцев. Такие митинги, получающие потом название «публичных», Лига устраивает уже много лет, и на них сама себя поздравляет со своими «успехами». Лиге также очень удобно на этих «открытых» собраниях по билетам надругаться над «призраком чартизма», тем более, что, как ей известно, О'Коннор, Денкомб, Купер и пр. должным образом парировали их нападки на настоящих открытых митингах. Доныне еще чартисты срывали блестящим большинством всякий открытый митинг Лиги, но Лига не могла еще ни разу сорвать чартистский митинг. Отсюда ненависть Лиги к чартистам, отсюда крики про «срыв» митинга чартистами, т. е. обращение большинства против меньшинства, пытающегося с трибуны использовать его в своих целях. Где же мощь Лиги? В ее воображении и в ее кошельке. Лига богата, она надеется отменю хлебных законов точно чудом создать новый подъем торговли и поэтому не жалеет расходов. Ее подписки приносят значительные суммы денег, которыми покрываются все эти пышные собрания и прочие блеск и мишура. Но за этой блестящей видимостью не скрывается ничего реального. «Ассоциация национальной партии», союз чартистов, многочисленнее ее; скоро окажется, что она может также тратить больше денежных средств, хотя и состоит только из бедных работников, тогда как Лига считает в своих рядах всех богатых фабрикантов и купцов. И это по той причине, что чартистская ассоциация получает свои деньги хотя и копейками, но почти от каждого из своих членов, а в Лигу хотя и поступают значительные суммы, но лишь от немногих. Чартисты легко могут собирать по миллиону пенсов еженедельно, — большой вопрос, будет ли это по плечу Лиге. Лига объявила подписку на пятьдесят тысяч фунтов стерлингов и получила около семидесяти тысяч; Фергус О'Коннор скоро откроет подписку для одного проекта на 125 000 фунтов стерлингов и сейчас же после этого, может быть, еще на такую же сумму. Он их получит, это вне сомнения, — и что станется тогда с Лигой, с ее «большими фондами»?

О причинах оппозиции чартистов Лиге — в другой раз. Теперь только еще одно замечание. Труды и усилия Лиги имеют *одну* хорошую сторону, это — движение, вносимое агитациею против хлебных законов в общественный класс, бывший доныне совершенно

косным, — в земледельческое население. До сих пор оно не имело никаких общественных интересов; зависимые от землевладельца, который может ежегодно уничтожить арендный договор, флегматичные, невежественные фермеры посылали из года в год в парламент сплошь ториев: 251 из 658 членов Нижней палаты и были до сих пор главным оплотом реакционной партии. Если отдельный фермер хотел нарушить такое преемственное голосование, он не находил поддержки в своей среде и рисковал отказом землевладельца от аренды. Между тем в настоящее время среди этого класса замечается известное возбуждение; существуют уже либеральные фермеры и есть среди них люди, уразумевшие, что интересы землевладельца и арендатора в очень многих случаях прямо противоположны. Три года тому назад, особливо в собственной Англии, никто не посмел бы сказать это арендатору, не рискуя подвергнуть себя насмешкам или даже побоям. Среди этого класса работа Лиги принесет плоды, но, несомненно, другие, чем она ожидает, ибо если вероятно, что масса арендаторов постепенно перейдет к вигам, то еще гораздо вероятнее, что масса земледельческих батраков перебросятся на сторону чартистов. Одно без другого невозможно, и таким образом Лига и здесь получит лишь слабое возмещение за то решительное и полное отпадение трудящегося класса, которое она благодаря чартизму претерпела в городах и фабричных округах за последние пять лет. Царство «золотой середины» прошло, и «власть в стране» распределилась на крайние фланги. Установив эти неоспоримые факты, спрашиваю господина корреспондента «Всеобщей аугсбургской газеты», куда девалась «мощь Лиги»?

III.

9 июня.

Английские социалисты гораздо основательнее и практичнее своих французских собратьев. Это объясняется главным образом тем, что они находятся в открытой борьбе с различными церквями и ничего не хотят знать о религии. В более значительных городах они содержат обычно «холл» (дом собраний), где они слушают каждое воскресенье речи, зачастую враждебные христианству и атеистические, но часто касающиеся и равных сторон рабочей жизни; из их «лекторов» (проповедников) Уотс в Манчестере, кажется мне, во всяком случае, выдающийся человек, написавший с большим талантом несколько брошюр о существовании бога и по политической экономии. У «лекторов» очень хорошая манера рассуждать, они

исходят во всем из опыта и из доказуемых или наглядных фактов и подвергают все такому основательному разбору, что с ними очень трудно бороться на выбранном ими поле. Если же попытаться перейти в другую область, то они смеются человеку в лицо; я говорю, например: существование бога для человека не зависит от фактических доказательств, а они отвечают: «Ваше положение смехотворно: если он не проявляет себя фактами, нам нечего о нем беспокоиться; из вашего положения следует как раз, что существование или несуществование бога может быть для людей безразлично. А так как у нас тысячи разных других забот, то мы оставляем вам господа бога в заоблачных сферах, где он может быть существует, а может быть и не существует. Что нам не известно из фактов, то нас несколько не интересует; мы держимся на почве «доподлинных фактов», где не может быть речи о таких фантастических вещах, как бог и религия». Так они и прочие свои коммунистические принципы основывают на доказательствах из области фактов, в принятии которых они проявляют достаточную осторожность. Упорство этих людей неопишимо, и только небо знает, как с этим справится духовенство. В Манчестере, напр., коммунистическая община насчитывает 8 000 зарегистрированных, записанных в «холл» и платящих членов. Можно без преувеличения утверждать, что половина трудящихся классов в Манчестере разделяет их воззрения на собственность, ибо когда Уотс говорит с трибуны (у коммунистов это то же, что у христиан — амвон): «сегодня я иду на тот или другой митинг», то можно рассчитывать на то, что предложенная «лектором» революция получит большинство.

Но есть и среди социалистов теоретики, или, как их называют коммунисты, *полные атеисты*, тогда как те называются *практическими*. Из этих теоретиков самый знаменитый — Чарльз Соузуэлл в Бристоле, который издавал полемический журнал «Оракул разума» и за это был наказан годом тюрьмы и штрафом около 100 фунтов; разумеется, штраф был быстро покрыт подпискою, ибо ведь каждый англичанин имеет *свою* газету, помогает *своим* вожакам вносить штрафы, оплачивает *свою* капеллу, или «холл», ходит на *свои* митинги. Но Чарльз Соузуэлл сидит уже опять; дело в том, что в Бристоле пришлось продать холл, потому что там социалистов не так уж много и среди них мало богатых, между тем как такой холл — вещь довольно дорогая. Он был куплен христианской сектой и превращен в капеллу. При освящении холла в капеллу туда проникли социалисты и чартисты, чтобы поглядеть и послушать церемонию. Но когда священник начал славить бога за то, что всему этому безобразию

пришел конец, что на том самом месте, где до сих пор бога поносили, Всемогущему будет возноситься хвала, они приняли это за нападение, а так как, по английским понятиям, всякое нападение требует отпора, они подняли крик: «Соузуэлл, Соузуэлл, Соузуэлл пусть оппо-нирует!» Соузуэлл поднимается и начинает речь, но тут священники христианской секты во главе построенных в колонны духовных чад своих обрушиваются на Соузуэлла, другие члены секты зовут полицию, так как-де Соузуэлл нарушил христианское богослужение; священники собственноручно хватают его, избивают (что часто бывает в таких случаях) и сдают его полисмену. Соузуэлл сам приказал своим приверженцам не оказывать физического сопротивления; когда его увели, за ним следовало около 6 000 человек с криками «ура» и возгласами в его честь.

Основоположник социалистов, Оуэн, пишет в многочисленных своих книжечках, как немецкий философ, т. е. плохо, но временами у него бывают светлые моменты, когда он придает своим темным писаниям удобоваримую форму; впрочем, воззрения его многообъемлющи. По Оуэну, «брак, религия и собственность — единственные причины всего зла, какое существовало от начала мира» (!); все его писания кишат яростными нападками на theologов, юристов и медиков, которых он бросает в один горшок. «Суды присяжных составлены из класса людей, находящегося еще целиком на теологической ступени и, следовательно, зараженного *партийным пристрастием*; и законы также проникнуты теологией и должны быть поэтому уничтожены вместе с правосудием».

Пока англиканская церковь вела барскую жизнь, социалисты сделали невероятно много для образования трудящихся классов в Англии. С первого раза не надивисься, слушая, как самые простые рабочие говорят в научной аудитории вполне сознательно на политические, религиозные и социальные темы, но если ознакомишься с замечательными популярными брошюрами, если послушаешь социалистических «лекторов», вроде Уотса в Манчестере, то перестанешь удивляться. Рабочие имеют теперь в опрятных дешевых изданиях переводы произведений французской философии прошлого столетия, главным образом — «Общественный договор» Руссо, «Систему природы» и разные сочинения Вольтера, кроме того, в брошюрах за пенс или за два и в журналах — изложение коммунистических принципов; точно так же в руках рабочих имеются дешевые издания сочинений Томаса Пэна и Шелли. Сюда нужно еще прибавить воскресные чтения, очень усердно посещаемые; так, в бытность мою в Манчестере, я видел каждое воскресенье коммунистический

холл, вмещающий около 3000 человек, набитый битком, и слышал там речи, имеющие непосредственное влияние, в которых говорят народу самые революционные вещи и прохаживаются насчет духовных лиц. Нередко случается, что христианство подвергается прямому нападению, а христиан обзывают «нашими врагами».

Форма этих собраний сходна отчасти с духовными; хор певцов, в сопровождении оркестра, распевает на галлерее социальные гимны, т. е. полу- или совсем духовные напевы, с коммунистическим текстом, которые выслушиваются стоя. Затем на трибуну, на которой имеются стол и стулья, поднимается совершенно непринужденно референт, с шляпой на голове, приветствует шляпой присутствующих, снимает пальто, садится и читает свой доклад, обильно сопровождаемый смехом, ибо такая речь обычно пересыпана английским остроумием и искрящимся юмором; в одном углу холла расположена лавочка с книгами и брошюрами, в другом — будка с апельсинами и освежительными напитками, где каждый может утолить соответствующие свои потребности или туда уйти от речи, если ему от нее скучно. По временам устраиваются воскресные вечера, на которых сидят попеременно люди обоего пола, всех возрастов и состояний, за обычным ужином и чаем с бутербродами; в будние дни в холле часто устраиваются балы и концерты, где очень весело проводят время; наконец, в холле имеется кафе.

Как все это терпят? Коммунистам удалось при власти вигов провести соответствующий парламентский акт, и вообще они настолько укрепили тогда свою позицию, что теперь с ними, как корпорацией, ничего больше не могут поделать. Во-вторых, очень охотно расправились бы с отдельными выдающимися лицами, но знают, что это послужило бы только на пользу социализму, обратив на них общественное внимание, к чему они и стремятся. Если бы появились мученики за их дело (а сколь многие были бы готовы на это в любой момент), это вызвало бы агитацию, а агитация есть средство создать их делу еще большую популярность, тогда как теперь большая часть народа их не замечает, принимая их за такую же секту, как всякая другая. Виги знали очень хорошо, что меры противодействия действуют в пользу какого-нибудь дела сильнее, чем самая агитация, поэтому они предоставили им действовать и оформиться; но всякая форма имеет связывающую силу. Торри идут на них в поход, когда их атеистические писания носят слишком вызывающий характер, но всякий раз на пользу коммунистов; в декабре 1840 г. Соузуэлл и другие подверглись наказанию за богохульство; сейчас же появились три новые органа: «Атеист», «Атеист

и республиканец» и третий, в издании лектора Уотса, «Богохульник». Несколько номеров «Богохульника» вызвали большую сенсацию, и некоторые тщетно ломали себе голову, как бы подавить это направление. Потом их предоставили самим себе, и, глядь, все три газетки умерли естественной смертью.

В-третьих, социалисты, как все другие партии, спасаются обходом закона и словесною казуистикой, что здесь в порядке дня.

Так все здесь живет и связано, получает прочную почву и превращается в дело, так все здесь выявляется наружу, между тем как мы воображаем, будто что-то знаем, проглотив жалкую и худосочную книгу Штейна, и что-то собою представляем, когда по временам осмеливаемся высказать свое мнение, одоблив его предварительно розовым маслом.

В социалистах видна очень явственно английская энергия, но больше всего в этих, я почти бы сказал, славных ребятах меня изумляло их добродушие, настолько далекое, однако, от слабости, что они смеются над чистыми республиканцами, ибо республика была бы так же лицемерна, так же проникнута теологией, так же несправедлива в своих законах, как монархия; но для социальной реформы они готовы заложить жен и детей, жизнь и добро свое.

IV.

27 июня.

Теперь только и слышно, что об О'Коннеле и ирландском Ререал (отмене англо-ирландской унии). О'Коннель — старый хитрый адвокат, спокойно спавший во время правления вигов в Нижней палате и помогавший проводить «либеральные мероприятия», чтобы они проваливались в Верхней палате. О'Коннель вдруг удалился из Лондона, отказался от участия в парламентских дебатах и вновь подымает свой старый вопрос об отмене унии. Никто уже и не думал об этом; и вот в Дублине появляется «Старый Дэн»¹ и опять ворошит старую забытую рухлядь. Ничего нет удивительного, что старое бродило замечательно пузырится. Старый хитрец начинает кочевать из города в город, каждый раз в сопровождении лейб-гвардии, какой не видал ни один король, все по двести тысяч человек кругом него. Чего бы только нельзя было с этим проделать, если бы популярностью О'Коннеля располагал разумный человек, или О'Коннель был бы немного вдумчивее и немного менее эгоистичен и тщеславен. Двести тысяч человек; и что это за люди? — люди, которым нечего

¹ Даниэль О'Коннель.

терять, на две трети полуодетые, настоящие пролетарии и санкюлоты, и к тому же ирландцы, дикие, необузданные, фанатичные галлы. Кто не видал ирландцев, тот их не знает. Дайте мне двести тысяч ирландцев, и я опрокину всю британскую монархию. Ирландец — беспечное, радостное, картофелеядное дитя природы. Прямо из степи, где он вырос под ветхой крышей, на жидком чае и скудной пище, он попадает в нашу цивилизацию. Голод гонит его в Англию. Посреди механической, эгоистичной, леденящей душу работы английской фабрики пробуждаются его страсти. Какое понятие о бережливости может иметь этот грубый парень, выросший, играя в степи и собираясь по деревьям? Что заработал, промотал; затем он голодает до следующей получки или пока не найдет опять работу. Он так привык голодать. Потом он возвращается на родину, отыскивает понемногу свою семью на сельской дороге, по которой она рассеялась в поисках за милостыней и по временам опять собиралась вокруг чайника, который с собою захватила мать. Но он в Англии много видел, посещал публичные митинги и рабочие союзы, он знает, что такое «Reveal» и какое отношение к нему имеет сэр Роберт Пиль; он, наверное, очень часто дрался с полицией и много порасскажет вам о бессердечии и подлости «шилеров» (полицейских). И про Даниэля О'Коннеля он много слышал. Теперь он опять отыскивает старую свою избу с куском земли под картошкой. Картошка поспела, он копает ее и на зиму имеет чем пропитаться. Тогда приходит старший арендатор и требует арендной платы. Да, господи, боже мой, где взять денег? Старший арендатор отвечает перед землевладельцем за аренду и описывает имущество. Ирландец сопротивляется, его сажают в тюрьму. В конце концов он опять на свободе, и скоро находят во рву труп старшего арендатора или какого-нибудь другого причастного к делу лица.

Вот самая повседневная история из жизни ирландских пролетариев. Полудикое воспитание и повднейшее вполне цивилизованное окружение приводят ирландца в противоречие с самим собой, в постоянное раздражение, постоянно снedaющую его существо ярость, делающие его способным на все. К тому же на нем тяготеет бремя пятивекового угнетения со всеми его последствиями. Что удивительного, что он, как любой полудикарь, при всяком случае слепо и бешено кидается в драку, что в его глазах горит вечная жажда мщения, жажда разрушения, для которой совершенно безразлично, на что она направлена, лишь бы бить и разрушать! Но это еще не все. Бешеная национальная ненависть галла к саксонцу, старокатолический, вскормленный духовенством фанатизм по отношению к

протестантско-епископальному высокомерию — с такими элементами можно сделать все, что угодно. Все эти элементы в руках О'Коннеля. И какие массы в его распоряжении! Третьего дня в Корке — 150 000 человек, вчера в Ненафе — 200 000 человек, сегодня в Килькенни — 400 000 человек; вот как идет дело. Четырнадцатидневное триумфальное шествие, какого не было ни у одного римского императора. И если бы О'Коннель действительно желал народного блага, если бы он действительно стремился к уничтожению нищеты, если бы за всею этой шумихой, за агитациею в пользу отмены унии, не скрывались его жалкие мелкие цели «золотой середины», хотел бы я посмотреть, в чем сэр Роберт Пиль мог бы ему отказать, потребуй он этого во главе такой силы, какую сейчас располагает. Но что он сделает со своей мощью и своими миллионами боеспособных отчаянных ирландцев? Он не может даже провести жалкой отмены унии, конечно, лишь потому, что несерьезно к этому относится, потому что злоупотребляет истощенным и угнетенным ирландским народом, чтобы бросать палки в колеса торийским министрам и вернуть к власти умеренных друзей. Это знает достаточно хорошо и сэр Роберт Пиль, и потому 25 000 солдат хватает на то, чтобы держать в узде всю Ирландию. Если бы О'Коннель был действительно человеком народа, если бы он обладал достаточной смелостью, если бы он *не боялся сам народа*, т. е. будь он не двуличный виг, а прямой последовательный демократ, то давным давно в Ирландии бы не было больше ни одного английского солдата, ни одного протестантского бездельничающего попа в чисто католических округах, ни одного древне-нормандского барона в своем замке. Именно здесь зарыта собака. Будь народ освобожден на один момент, скоро Даниэль О'Коннель и его аристократы кошелек оказались бы точно так же посаженными на мель, как он хочет посадить на мель ториев. Поэтому-то Даниэль так тесно примыкает к католическому духовенству, поэтому он предостерегает своих ирландцев от опасного социализма, поэтому он отклоняет предложенную чартистами поддержку, хотя для виду там и сям говорит о демократии, как в свое время Луи-Филипп говорил о республиканских учреждениях. Вот почему он может способствовать лишь политическому воспитанию ирландского народа, которое в конце концов опаснее всего для него самого.

ОЧЕРКИ КРИТИКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ.

Политическая экономия явилась естественным последствием распространения торговли, и с ней на место простого ненаучного шарлатанства выступила развитая система дозволенного обмана, целая наука обогащения.

Эта политическая экономия, или наука обогащения, возникшая из взаимной зависимости и жадности купцов, носит на своем челе печать самого отвратительного эгоизма. Люди еще жили наивным представлением, что богатство заключается в золоте и серебре и что потому надо, как можно скорее, всюду запретить вывоз «благородных» металлов. Нации стояли друг против друга, как скряги, обхватив обеими руками дорогой им денежный мешок и поглядывая с завистью и подозрительностью друг на друга. Все средства были пущены в ход, чтобы извлечь как можно больше наличных денег из тех наций, с которыми поддерживались торговые сношения, и крепко удержать за таможенными рогатками благополучно ввезенные деньги.

Последовательное проведение этого принципа убило бы торговлю. Поэтому нации начали переступать через эту первую ступень; они уведели, что капитал, неподвижно лежащий в сундуках, мертв, тогда как в обращении он всегда растет. Отношения между нациями стали дружелюбнее, они начали посылать свои дукаты, как приманную птицу, дабы они увлекли за собой других, и поняли, что нет худа, если заплатить господину *B* слишком много за его товар, раз только его можно сбыть господину *A* по более высокой цене.

На этой основе была построена система меркантилизма. Алчный характер торговли был уже несколько замаскирован; нации начали понемногу сближаться, заключать торговые и союзные договоры, вступали друг с другом в торговые сделки и ради большей прибыли выказывали друг другу сколько можно любезности и внимательности. Но по существу это была все та же старая жадность к деньгам и корыстолюбие, и от времени до времени она проявлялась в войнах, которые в эту эпоху все вызывались торговым

соревнованием. Войны эти показали также, что торговля, подобно рабю, покоится на кулачном праве; без всякого зазрения совести старались хитростью или насилием выжать наиболее для себя выгодные торговые договоры.

Центральнымъ пунктомъ всей меркантильной системы была теория торгового баланса. Продолжая все еще считать, что богатство страны заключается в золоте и серебре, прибыльными признавали лишь те дела, которые в конечном счете приносили стране наличные деньги. Чтобы выяснить это, сравнивали вывоз и ввоз. Если вывоз превышал ввоз, то разница — думали — поступила в страну наличными деньгами, и на эту разницу возросло ее богатство. Искусство экономистов состояло, таким образом, в заботах о том, чтобы к концу каждого года вывоз представлял благоприятный баланс против ввоза; и во имя этой смехотворной иллюзии были отданы на заклятие тысячи людей! И торговле были знакомы свои крестовые походы и инквизиции.

XVIII век, век революции, революционизировал и экономию, но подобно тому как все революции этого столетия были односторонни и увязали в противоречиях, подобно тому как абстрактному спиритуализму был противопоставлен абстрактный материализм, монархии — республика, божественному праву — общественный договор, так и экономической революции не удалось выйти за пределы этого противоречия. Всюду остались те же предпосылки; материализм не тронул христианского презрения и унижения человека и только вместо христианского бога противопоставил человеку, как абсолют, природу; политика и не подумала исследовать предпосылки государства как такового; экономии не приходило в голову поставить вопрос о *правомерности частной собственности*. Поэтому новая экономия была лишь наполовину шагом вперед; она была вынуждена предать и отринуть свои собственные предпосылки, взять к себе на помощь софистику и лицемерие, чтобы скрыть противоречия, в которые она была вовлечена, чтобы прийти к тем выводам, к которым ее толкали не ее собственные предпосылки, а гуманный дух века. Таким путем экономия приняла человеколюбивый характер; она лишила производителя своего благоволения и распростерла его на потребителя; она афишировала свое омерзение к кровавым ужасам меркантильной системы и объявила торговлю узами дружбы и единения между нациями и между отдельными людьми. Все было прекрасно и великолепно, — но предпосылки вскоре дали себя опять знать и породили, в противовес этой мишурной филантропии, Мальтусову теорию народонаселения, самую грубую

варварскую систему, когда-либо существовавшую, — систему отчаяния, втоптавшую в грязь все прекрасные речи о человеческой любви и всемирном гражданстве; они создали и возвеличили фабричную систему и современное рабство, ни в чем не уступающее старому в бесчеловечности и жестокости. Новая экономия, система торговой свободы, обоснованная в «Wealth of Nations» Адама Смита, оказалась тем же лицемерием, непоследовательностью и безнравственностью, которые свободное человечество ныне встречает во всех областях.

Но разве смитовская система не была прогрессом? Конечно, была, и притом необходимым прогрессом. Необходимо было, чтобы меркантильная система была ниспровергнута с своими монополиями и стеснениями торговых сношений, чтобы яснее могли выступить истинные последствия частной собственности; необходимо было, чтобы все эти мелочные местные и национальные соображения отступили на задний план, чтобы борьба нашего времени могла сделаться всеобщей, человеческой; необходимо было, чтобы теория частной собственности покинула чисто эмпирический путь исключительно объективного исследования, приняла научный характер, сделавший ее ответственной и за последствия, и таким образом перевела бы дело в общечеловеческую область; чтобы заключающаяся в старой экономии безнравственность была доведена до высшей своей точки попыткой ее отрицания и привнесением лицемерия как необходимого следствия этой попытки. Все это было в порядке вещей. Мы охотно признаем, что лишь обоснование и осуществление свободы торговли дало нам возможность выйти за пределы экономики частной собственности, но в то же время мы должны иметь и право изобразить эту свободу торговли во всем ее теоретическом и практическом ничтожестве.

Наш приговор должен быть тем суровее, чем ближе к нашему времени экономисты, которых нам предстоит судить. Ибо в то время как Смит и Мальтус застали в готовом виде лишь отдельные обломки, новейшие экономисты имели уже перед собою целую законченную систему; были сделаны все выводы, противоречия достаточно ясно выступили на свет, — и все же они не приступили к критике предпосылок и все еще брали на себя ответственность за всю систему. Чем больше приближаются экономисты к современности, тем дальше удаляются они от честности. С каждым прогрессом нашего времени необходимо усиливается софистическое мудрствование, чтобы удерживать экономию на уровне века. Поэтому, например, Рикардо более виновен, чем Адам Смит, а Мак-Куллох и Милль виновнее Рикардо.

Новейшая экономия не способна правильно оценить даже

меркантильную систему, потому что она сама носит односторонний характер и еще обременена предпосылками последней. Лишь точка зрения, возвышающаяся над противоположностью обеих систем, критикующая общие предпосылки обеих и исходящая из чисто человеческой общей основы, сумеет указать обеим системам их настоящее место. Тогда окажется, что защитники торговой свободы еще худшие монополисты, чем сами старые меркантилисты. Тогда окажется, что за обманчивой гуманностью новейших экономистов скрывается варварство, о котором старые не имели ни малейшего представления; что путаница понятий у старых экономистов кажется еще простой и последовательной в сравнении с двужычной логикой их противников; что ни одна из этих сторон не может сделать другой упрека, который бы не обратился против нее самой. Поэтому новейшая либеральная экономия и не может понять реставрации меркантильной системы Листом, тогда как для нас дело очень просто. Непоследовательная и двойственная либеральная экономия необходимо должна снова распасться на свои составные части. Подобно тому как теология должна или вернуться к слепой вере, или идти вперед к свободной философии, так и свобода торговли должна привести, с одной стороны, к реставрации монополии, с другой — к уничтожению частной собственности.

Единственное *положительное* завоевание, сделанное либеральной экономией, — это развитие законов частной собственности. Конечно, законы эти заключаются в ней, хотя еще не развитые до последних выводов и недостаточно ясно выраженные. Отсюда следует, что во всех вопросах, где идет речь об отыскании кратчайшего способа обогащения, следовательно во всех строго экономических спорах, правы защитники свободы торговли, — разумеется, в спорах со сторонниками монополии, а не с противниками частной собственности, ибо, как это давно доказали на практике и в теории английские социалисты, противники частной собственности и с экономической точки зрения способны правильнее судить об экономических вопросах.

Итак, критикуя политическую экономию, мы станем исследовать основные категории, разоблачать противоречие, привнесенное системой свободы торговли, и сделаем выводы, вытекающие из обеих сторон противоречия.

* * *

Выражение «национальное богатство» появилось впервые благодаря стремлению либеральных экономистов к обобщениям. Пока

существует частная собственность, выражение это не имеет смысла. «Национальное богатство» англичан очень велико, и все же они — самый бедный народ в мире. Надо или вовсе оставить это выражение, или принять такие предпосылки, при которых оно получило бы смысл. То же относится к выражениям «национальная экономия», «политическая, публичная экономия». При нынешних условиях науку эту следовало бы называть частно-хозяйственной экономией, ибо общественные отношения существуют здесь лишь ради частной собственности.

* * *

Ближайшим следствием частной собственности является *торговля*, взаимный обмен потребностями жизни, купля и продажа. Эта торговля, как и всякая другая деятельность, должна стать при господстве частной собственности непосредственным источником дохода для производящих торговлю; это значит — каждый должен стараться как можно дороже продать и как можно дешевле купить. При всякой купле и продаже выступают, следовательно, два человека с абсолютно противоположными интересами; конфликт этот носит решительно враждебный характер, потому что каждый знает намерения другого, знает, что намерения эти противоположны его собственным. Первым следствием этого является, с одной стороны, взаимное недоверие, с другой — оправдание этого недоверия, применение безнравственных средств для достижения безнравственных целей. Так, например, в торговле первое правило — умалчивание, скрывание всего того, что могло бы понизить цену данного товара. Из этого следует: в торговле дозволительно извлекать возможно большую пользу из неосведомленности, доверчивости противной стороны, — равным образом расхваливать в товаре такие качества, каких он вовсе не имеет. Словом, торговля есть законный обман. Что практика вполне совпадает с этой теорией, — в этом согласится со мной всякий купец, если он откровенно будет говорить правду.

Меркантильная система в известной степени еще отличалась наивной католической прямоотой и ничуть не скрывала безнравственной сущности торговли. Мы видели, как открыто она выставляла напоказ свою низменную алчность. Взаимная вражда народов в XVIII веке, отвратительная зависть и торговое соперничество были логическими следствиями торговли вообще. Общественное мнение еще не было гуманизировано, — с какой стати было скрывать то, что непосредственно вытекало из бесчеловечной, враждебной сущности торговли!

Но к тому времени, когда *Лютер экономики*, Адам Смит, стал критиковать прежнюю экономию, положение вещей сильно изменилось. Век сделался гуманным, разум проложил себе дорогу, нравственность стала защищать свое вечное право. Вынужденные торговые договоры, коммерческие войны, строгое изолирование народов вступали в слишком сильный конфликт с прогрессирующим сознанием. Место католической прямоты заняло протестантское лицемерие. Смит доказал, что и гуманность имеет свое основание в сущности торговли; что торговля, вместо того, чтобы «быть самым плодотворным источником раздоров и вражды», должна сделаться «узами единения и дружбы как между нациями, так и между отдельными людьми» (ср. «Wealth of Nations» т. IV, гл. 3, § 2); ведь в природе вещей, что торговля в общем и целом выгодна *всем* участникам.

Смит был прав, когда он прославлял гуманность торговли. Ведь абсолютно безнравственного нет на свете; и в торговле есть стороны, в которой воздается нравственности и человечности. И как воздается! Кулачное право, простой грабёж на дороге в середине века стал гуманнее, когда он превратился в торговлю, а торговля стала гуманнее, когда первая ее ступень, характеризующаяся запрещением вывоза денег, превратилась в меркантильную систему. Теперь и эта система стала гуманней. Разумеется, в интересах торговца находиться в добрых отношениях как с тем, у кого он дешево покупает, так и с тем, кому он дорого продает. Поэтому весьма неумно поступает та нация, которая поддерживает в своих поставщиках и клиентах враждебное к себе настроение. Чем дружественнее, тем выгоднее для нее. Вот в чем гуманность торговли, и этот лицемерный способ злоупотребления нравственностью для безнравственных целей составляет гордость системы свободы торговли. Разве мы не низвергли варварство монополии, кричат лицемеры, разве мы не разнесли культуру во все отдельные уголки земного шара, разве мы не побратали народы и не уменьшили войн? — Да, вы все это сделали, но как? Вы уничтожили мелкие монополии, чтобы тем свободнее и безграничнее развивалась одна великая основная монополия — собственность; вы внесли культуру во все концы света, чтобы завоевать новую территорию для развития вашей низменной алчности; вы сдружили народы, но дружбой воров, и уменьшили войны, чтобы тем больше нажиться в мирное время, чтобы обострить до крайности вражду отдельных лиц, бесчестную войну конкуренции! — Что сделали вы из побуждений чистой гуманности, из сознания недействительности противоречия между общим и частным интересом? Были ли вы хоть раз нравственными, не имея в том

интереса, не тая в глубине души безнравственных, эгоистических мотивов?

После того как либеральная экономия приложила все усилия, чтобы, уничтожая национальности, сделать вражду всеобщей, превратить человечество в стадо хищных зверей — что ж такое конкуренты, как не звери? — пожирающих друг друга *именно потому*, что всякий имеет одинаковый с другими интерес, — после такой предварительной работы ей осталось сделать еще один шаг на пути к цели — разложение семьи. Чтобы достигнуть этого, на помощь к ней пришло ее собственное милое изобретение — фабричная система. Последние корни общих интересов, — семейная общность имущества, — были подрезаны фабричной системой, и — по крайней мере, здесь, в Англии — они уже находятся в процессе разложения. Стало бытовым явлением, что дети, едва лишь достигшие работоспособности, т. е. девятилетнего возраста, тратят на себя свою заработную плату, видят в отцовском доме простое пристанодержательство и платят своим родителям известное вознаграждение за харчи и квартиру. Да и может ли быть иначе? Что иное могло получиться от обособления интересов, лежащего в основе системы свободы торговли? Раз принцип приведен в движение, он сам собой вырабатывает все свои последствия, будут ли они нравиться экономистам или нет.

Но экономист сам не знает, какому делу он служит. Он не знает, что со всем своим эгоистическим резонерством он образует лишь звено в цепи общего прогресса человечества. Он не знает, что с разложением всех индивидуальных интересов он прокладывает лишь дорогу великому перевороту, навстречу которому движется век, — примирению человечества с природой и самим собою.

* * *

Ближайшей категорией, связанной с торговлей, является *стоимость*. Относительно ее, как и всех других категорий, между старыми и новыми экономистами не существует никакого разногласия, потому что монополистам, непосредственно увлеченным жаждой обогащения, не оставалось свободного времени, чтобы заняться этими категориями. Все споры относительно такого рода вопросов исходят от новейших экономистов.

Экономист, живущий противоречиями, оперирует, конечно, двойной стоимостью: абстрактной или реальной стоимостью и меновой стоимостью. О сущности реальной стоимости шел долгий спор

между англичанами, считавшими издержки производства выражением реальной стоимости, и французом Сэйем, предлагавшим измерять эту стоимость потребительными свойствами вещи. Спор тянулся с начала этого века и замер, не получив разрешения. Экономисты ничего не умеют решать.

Англичане — особенно Мак-Куллох и Рикардо — утверждали, что абстрактная стоимость вещи определяется издержками производства. Разумеется, абстрактная стоимость, а не меновая стоимость, *exchangeable value*, стоимость в торговле — последняя представляет нечто совсем иное. Почему издержки производства являются мерилom стоимости? Потому что — слушайте! слушайте! — при обычных условиях, если оставить в стороне условия конкуренции, никто не станет продавать вещь дешевле того, что ему стоит ее производство. Не станет продавать? Но какое нам дело до «продажи», раз здесь идет речь не о *торговой* стоимости? Ведь тут как раз мы снова имеем дело с торговлей, которую мы условились оставить в стороне, — и с какой торговлей! — с торговлей, которая не должна принимать в расчет условий конкуренции! Прежде была абстрактная стоимость, теперь имеется и абстрактная торговля, торговля без конкуренции, т. е. человек без тела, мысль без мозга, творящего мысль. Но разве экономисту совсем не приходит в голову, что раз конкуренция оставляется в стороне, то не остается никаких гарантий, что производителю удастся продать свой товар именно по издержкам производства? Какая путаница!

Дальше! Допустим на минуту, что все это так, как говорит экономист. Допустим, что кто-нибудь с большой затратой труда и огромными расходами сделал совершенно ненужную вещь, на которую ни один человек не предъявляет спроса, — разве такая вещь стоит издержек производства? Нисколько, отвечает экономист; кто же захочет ее купить? Следовательно, мы тут сразу имеем не только пресловутую полезность Сэя, но — вместе с «куплей» — и конкуренцию. Но это невозможно: экономист не остается ни на минуту верен своей абстракции. Не только конкуренция, которую он так силится удалить, но и полезность, на которую он нападает, путается каждую минуту в его руках. Абстрактная стоимость и ее определение посредством издержек производства является именно лишь абстракцией, небылицей.

Но допустим еще раз на минуту, что экономист прав, — каким образом думает он тогда определить издержки производства, если не принимать в расчет конкуренции? Мы увидим при исследовании издержек производства, что и эта категория основана на конкурен-

ции. И здесь снова окажется, что экономист не может доказать своих утверждений.

Если мы перейдем к Сэю, то увидим ту же самую абстракцию. Полезность вещи есть нечто чисто субъективное, абсолютно не поддающееся определению, по крайней мере до тех пор, пока мы будем путаться в противоречиях. Согласно этой теории, предметы первой необходимости должны были бы иметь большую стоимость, чем предметы роскоши. Единственный путь, посредством которого можно прийти к сколько-нибудь объективному, повидимому общему решению о большей или меньшей полезности вещи, при господстве частной собственности намечается условиями конкуренции, а между тем они именно и должны быть оставлены в стороне. Но раз допущены условия конкуренции, то с ними приходят и издержки производства: никто не станет продавать дешевле того, что им самим затрачено на производство. И здесь, следовательно, вопреки желанию, одна сторона противоречия переходит в другую.

Попытаемся внести ясность в эту путаницу. Стоимость какой-нибудь вещи включает в себя оба фактора, насильно и, как мы видели, безуспешно разъединяемые спорящими сторонами. Стоимость есть отношение издержек производства к полезности. Ближайшее применение стоимости имеет место при решении вопроса, следует ли вообще производить данную вещь, т. е. перевешивает ли ее полезность издержки производства. Лишь затем может идти речь о применении стоимости для обмена. Если издержки производства двух вещей одинаковы, полезность будет решающим моментом в определении их сравнительной стоимости.

Это основание — единственно правильное основание обмена. Но если исходить из него, кто же будет решать вопрос о полезности вещи? Одно лишь мнение заинтересованных? Тогда *один* во всяком случае будет обманут. Или назначение вещи, основывающееся на присущей ей полезности, независимо от оценки участвующих сторон, и для них непонятно? Тогда обмен мог бы состояться лишь по *принуждению*, и каждый считал бы себя обманутым. Нельзя уничтожить этой противоположности между действительно присущей вещи полезностью и между назначением этой полезности, между назначением полезности и свободой обменивающихся, не уничтожив частной собственности; а раз она будет уничтожена, не может быть больше и речи об обмене в том виде, как он ныне существует. Практическое применение понятия стоимости тогда все более сведется к решению вопроса о производстве, а это и есть его настоящая сфера.

Каково же ныне положение вещей? Мы видели, что понятие стоимости насильственно разорвано, и каждая из его отдельных сторон выдается за целое. Издержки производства, которые с самого же начала извращаются конкуренцией, должны сами служить мериллом стоимости; такую же роль должна играть чисто субъективная полезность, ибо никакой иной теперь быть не может. Чтобы помочь этим хромающим определениям стать на ноги, необходимо в обоих случаях принять в расчет конкуренцию; но лучше всего то, что у англичан, когда они говорят об издержках производства, конкуренция вступает место полезности, тогда как, наоборот, у Сая, когда он говорит о полезности, конкуренция приносит с собой издержки производства. Но что за полезность, что за издержки производства приносит она? Ее полезность зависит от случая, от моды, от прихоти богатых, ее издержки производства повышаются и понижаются в силу случайного соотношения спроса и предложения.

В основании различия между реальной стоимостью и меновой стоимостью лежит факт — тот именно, что стоимость вещи отлична от так называемого эквивалента, даваемого за нее в торговле, т. е. что этот эквивалент не является эквивалентом. Этот так называемый эквивалент есть *цена* вещи, и если бы экономисты были честны, они употребляли бы это слово вместо «торговой стоимости». Но ведь все еще надо сохранить хотя бы следы видимости, что цена сколько-нибудь совпадает с стоимостью, дабы не слишком бросалась в глаза безнравственность торговли. А что *цена* определяется взаимодействием издержек производства и конкуренции, — это совершенно правильно; это — главный закон частной собственности. То был первый чисто эмпирический закон, найденный экономистами; и отсюда они затем абстрагировали свою реальную стоимость, т. е. цену, в то время, когда условия конкуренции уравнились, когда спрос и предложение покрывают друг друга. При этих условиях, разумеется, издержки производства уж не нужны, и это экономисты называют реальной стоимостью, тогда как она является лишь точным выражением цены. Так и все в экономии стоит на голове; стоимость, представляющая нечто первоначальное, источник цены, ставится в зависимость от последней, своего собственного продукта. Как известно, это переверачивание и образует сущность абстракции (смотри об этом у Фейербаха).

* * *

Согласно экономистам, издержки производства всякого товара состоят из трех элементов: земельной ренты за земельный участок,

необходимый для производства сырья, капитала с прибылью на него и платы за работу, потребовавшуюся для производства и обработки. Но не трудно видеть, что капитал и труд тождественны, ибо сами же экономисты признают, что капитал есть «накопленный труд». Таким образом, у нас остаются только два элемента: естественный, объективный — земля, и человеческий, субъективный — труд, включающий в себя понятие капитала; но кроме капитала имеется еще третий элемент, о котором экономисты и не думают, — я разумею духовный элемент изобретения, мысли, рядом с физическим элементом простого труда. Что делать экономисту с способностью изобретения? Разве все изобретения не явились без его участия? Разве хоть одно из них стоило ему что-нибудь? К чему же в таком случае ему беспокоиться о них при вычислении своих издержек производства? Для него земля, капитал, труд — условия богатства, и больше ему ничего не надо. Какое ему дело до науки? Поднесли ли она ему подарки через Бертолле, Дэви, Либиха, Уатта, Каррайта и др., поднявших его самого и его производство на бесконечную высоту, — что ему до этого? Таких вещей он не умеет подсчитать; успехи науки выходят за пределы его чисел. Но в разумном строе, стоящем выше дробления интересов, как оно имеет место у экономистов, духовный элемент во всяком случае будет принадлежать к числу элементов производства и даже в экономике найдет свое место среди издержек производства. И тут, конечно, отрадно знать, что культивирование науки вознаграждается и материально, — знать, что один какой-нибудь плод науки, вроде паровой машины Джемса Уатта, принес миру за первые пятьдесят лет своего существования больше, чем им истрачено было с первых дней творения на культивирование науки.

Итак, мы имеем два элемента производства — природу и человека, а последнего, в свою очередь, в его физической и духовной деятельности; теперь мы можем вернуться к экономистам и к их издержкам производства.

* * *

Все, что не может стать предметом монополии, не имеет стоимости — так говорят экономисты; положение это мы потом исследуем ближе. Если бы мы сказали: не имеет *цены* — положение это было бы верно для строя, основанного на частной собственности. Если бы землю можно было получить так легко, как воздух, ни один человек не стал бы платить земельной ренты. Но так как это не так, так как, наоборот, площадь земли, принимаемой в расчет в

каждом отдельном случае, ограничена, то приходится платить земельную ренту за захваченную, т. е. монополизированную, землю или купить землю по ее продажной цене. Но после таких утверждений о происхождении земельной стоимости очень странно слышать от экономистов, что земельная рента представляет собой разницу между доходностью участка, приносящего ренту, и самого худшего участка, стоящего труда обработки. Как известно, таково определение земельной ренты, впервые окончательно установленное Рикардо. Определение это, пожалуй, на практике верно, если предположить, что каждый случай спроса немедленно отражается на земельной ренте и тотчас же устраняет от обработки соответствующее количество самой худшей из обрабатываемой земли. Но это не так, и потому определение это недостаточно; к тому же оно не включает причины происхождения земельной ренты, и потому уже должно отпасть. Полковник Т.-П. Томпсон, член Лиги против хлебных законов, в противоположность этому определению, вернулся к старому определению Адама Смита и обосновал его. По его учению, земельная рента есть соотношение между конкуренцией добывающихся пользования участком и ограниченным количеством свободной земли. Здесь, по крайней мере, имеется связь с происхождением земельной ренты; но это определение исключает различное плодородие участков, так же, как вышеприведенное определение упускает из виду конкуренцию.

Итак, мы снова имеем два односторонних и потому половинчатых определения одного и того же предмета. Как и в понятии стоимости, нам и здесь придется соединить оба эти определения, чтобы отыскать правильное определение, вытекающее из существа дела и потому охватывающее все практические случаи. Земельная рента есть соотношение между производительностью участка, его природной стороной (которая в свою очередь состоит из *природных* свойств и *человеческой* обработки, труда, затраченного на его улучшение) — и человеческой стороной, конкуренцией. Пусть экономисты качают головами по поводу этого «определения»; к ужасу своему, они увидят, что оно заключает в себе все, что имеет отношение к существу дела.

Землевладелец не может сделать купцу никаких упреков.

Он грабит, монополизировав землю. Он грабит, эксплуатируя в свою пользу рост населения, который повышает конкуренцию и с ней стоимость его земельного участка, обращая в источник своей *собственной* выгоды что, то явилось результатом не его личных усилий, — то, что чисто случайно досталось ему. Он грабит, когда

сдаст свою землю в аренду, присваивая себе к конечному счету все мелиорации, сделанные его арендатором. Вот где тайна все растущего богатства крупных землевладельцев.

Аксиомы, квалифицирующие промысловую деятельность землевладельца как грабеж, другими словами — устанавливающие, что каждый имеет право на продукты своего труда или что никто не имеет права пожать то, чего он не сеял, — не составляют нашего утверждения. Первая аксиома исключает обязанность кормить детей, вторая — лишает всякое поколение права на существование, ибо всякое поколение вступает в наследство предшествующего поколения. Эти аксиомы являются, напротив, выводами из частной собственности. Вы должны или осуществить все вытекающие из нее выводы, или отказаться от нее как предпосылки.

Даже само первоначальное присвоение оправдывается утверждением, что еще раньше существовала *общность* владения. Следовательно, куда ни обратиться, частная собственность приводит нас к противоречиям.

Сделать предметом торгашества землю, которая составляет для нас все, является первым условием нашего существования, было последним шагом к торгашеству собой; оно было и вплоть до наших дней остается безнравственностью, которую превосходит лишь безнравственность самоотчуждения. И первоначальное присвоение, монополизирование земли немногими лицами, лишение всех других основного условия их существования ничуть не уступает в безнравственности позднему барышничанью землей.

Если мы здесь опять устраним частную собственность, земельная рента сведется к своей истине — к тому разумному воззрению, которое по существу лежит в ее основе. Отделенная от земли в виде ренты стоимость ее вернется тогда к самой земле. Эта стоимость, измеряемая производительностью равных площадей при равном количестве затраченного в них труда, во всяком случае должна быть принята в расчет при определении стоимости продуктов как часть издержек производства; подобно земельной ренте, эта стоимость представляет собой отношение производительности к конкуренции, но к *истинной* конкуренции, к той, которая разовьется в свое время.

* * *

Мы видели — капитал и труд были первоначально тождественными понятиями; мы видели далее, из рассуждений самих экономистов, что капитал, результат труда, в процессе производства тотчас

же снова становится субстратом, материалом труда; следовательно, произведенное на миг отграничение капитала от труда тотчас же снова уничтожается в единстве их обоих; и все же экономист отграничивает капитал от труда, и все же он крепко держится этого раздвоения, не признавая рядом с ним единства иначе, как в виде определения капитала: «накопленный труд». Вытекающее из частной собственности раздвоение между капиталом и трудом есть не что иное, как раздвоение труда в себе самом, отвечающее этому раздвоенному состоянию и происходящее из него. И раз это отграничение свершилось, капитал снова делится на первоначальный капитал и прибыль, прирост капитала, получаемый им в процессе производства, хотя на практике эта прибыль тотчас же снова присоединяется к капиталу и вместе с ним пускается в обращение. А сама прибыль делится в свою очередь на проценты и собственно прибыль. В процентах получает свое крайнее выражение неразумность всех этих раздвоений. Безнравственность отдачи денег в рост, получения процентов без труда, за одну только ссуду, хотя и коренится в частной собственности, слишком, однако, очевидна и давно признана наивным народным сознанием, обычно правым в такого рода делах. Все эти мелкие раздвоения и деления возникают из первоначального отделения капитала от труда, завершаемого с раздвоением человечества на капиталистов и рабочих, раздвоением, которое обостряется с каждым днем и, как мы покажем, *должно* постоянно усиливаться. Но это деление, как и рассмотренное нами отграничение земли от капитала и труда, в последней инстанции становится невозможным. Никак нельзя определить, какая доля принадлежит земле, капиталу и труду в определенном продукте.

Эти три величины несоизмеримы. Земля создает сырье, но не без капитала и труда; капитал предполагает наличие земли и труда, а труд *по меньшей мере* предполагает наличие земли, большей же частью и капитала. Функции всех трех величин совершенно различны и не могут быть измерены четвертой общей мерой. Поэтому, при нынешних обстоятельствах, когда приходится делить доход между тремя элементами, нельзя найти какой-нибудь естественной меры — вопрос решает совершенно посторонняя, случайная для них мера: конкуренция или утонченное право сильного. Земельная рента скрыто предполагает конкуренцию; прибыль на капитал определяется только конкуренцией, а как обстоит дело с заработной платой, — мы сейчас увидим.

Раз мы устраним частную собственность, отпадут все эти неестественные деления. Отпадет различие между процентом и при-

былью; капитал — ничто без труда, без движения. Значение прибыли сведется к гире, которую капитал кладет на чашку весов при определении издержек производства, и прибыль остается в той же степени свойством капитала, в какой он сам возвращается к своему первоначальному единству с трудом.

Труд, главный фактор в производстве, «источник богатства», свободная деятельность человека, обретается у экономистов не в авантаже. Как раньше капитал был отъединен от труда, так теперь, в свою очередь, вторично делится труд; продукт труда выступает по отношению к нему в виде заработной платы, он отделен от него и, по обыкновению, также определяется конкуренцией, ибо для измерения доли труда в производстве, как мы видели, нет твердой меры. Стоит нам уничтожить частную собственность, как отпадает и это неестественное деление; труд станет своей собственной заработной платой, и ясно выступит вперед истинное значение ранее отчужденной заработной платы, значение труда в определении издержек производства какой-либо вещи.

* * *

Мы видели, что, в конце концов, пока существует частная собственность, все сводится к конкуренции. Она — главная категория экономистов, их любимая дочь, которую они не перестают ласкать и голубить, — и посмотрите, что за лицо Медузы выглядывает оттуда.

Ближайшим следствием частной собственности было деление производства на две противоположные части — естественную и человеческую: на землю, которая, без оплодотворения ее человеком, мертва и бесплодна, и на человеческую деятельность, первым условием которой является именно земля. Мы видели далее, как человеческая деятельность, в свою очередь, распалась на труд и капитал и как враждебно относятся эти стороны друг к другу. Таким образом, у нас уже получилась борьба всех трех элементов друг против друга вместо взаимной поддержки всех трех; теперь в дополнение к этому частная собственность несет с собой дробление каждого из этих трех элементов. Один земельный участок противопоставляется другому участку, один капитал другому капиталу, одна рабочая сила другой рабочей силе. Другими словами: так как частная собственность изолирует каждого в его собственном грубом одиночестве и так как каждый все-таки имеет тот же интерес, как и его сосед, то землевладелец относится враждебно к землевладельцу, капиталист к капиталисту и рабочий к рабочему. В этой вражде одинаковых интересов, именно вследствие их одинаковости, завершается

*

безнравственность нынешнего состояния человечества, и этим завершением является конкуренция.

* * *

Противоположностью *конкуренции* является *монополия*. Монополия была боевым лозунгом меркантилистов, конкуренция же — боевым кличем либеральной экономики. Не трудно видеть, что эта противоположность, в свою очередь, совершенно лишена содержания. Всякий конкурент *должен* хотеть для себя монополии, будь то рабочий, капиталист или землевладелец. Всякая небольшая кучка конкурентов должна хотеть монополии для себя против всех других. Конкуренция покоится на интересе, а интерес снова создает монополию; коротко говоря, конкуренция переходит в монополию.

С другой стороны, монополия не может остановить поток конкуренции; мало того, она сама порождает конкуренцию, вроде того, как запрещение ввоза или высокие пошлины как раз порождают конкуренцию контрабанды.

Противоречие конкуренции совершенно то же, что и противоречие самой частной собственности. В интересах отдельного человека — владеть всем, в интересах же общества — чтобы каждый владел наравне с другими. Таким образом, общий и частный интересы диаметрально противоположны. Противоречие конкуренции состоит в том, что каждый должен желать себе монополии, тогда как все общество, как таковое, должно терять от монополии и потому должно ее устранить. Мало того, конкуренция уже предполагает монополию, а именно монополию собственности, — здесь снова выступает лицемерие либералов, — и до тех пор, пока существует монополия собственности, до тех пор и собственность монополии имеет одинаковое с ней оправдание, ибо раз данная монополия также есть собственность. Какая жалкая поэтому половинчатость нападать на мелкие монополии и сохранять в неприкосновенности основную монополию! И если мы присоединим сюда уже упоминавшееся нами положение экономистов, что все то, что не может быть предметом монополии, не имеет и стоимости, следовательно, что все то, что не допускает этого монополизирования, не может вступить в эту борьбу конкуренции, то наше утверждение, что конкуренция предполагает монополию, окажется совершенно правильным.

* * *

Закон конкуренции состоит в том, что спрос и предложение совпадают друг с другом и именно потому никогда не могут совпасть.

Обе стороны снова разлучены друг с другом и обращены в резкую противоположность. Предложение всегда отстаёт от спроса, но никогда не бывает, чтобы оно точно покрывало его; оно или слишком велико, или слишком мало, но никогда не соответствует спросу, потому что в этом бессознательном состоянии человечества никто не знает, как велик спрос или предложение. Если спрос больше предложения, то цена повышается, и в той же степени усиливается предложение; как только оно появится на рынке, цены падают, и если предложение становится больше спроса, падение цен будет столь значительно, что от этого снова усилится спрос. Так всегда происходит; никогда не бывает здорового состояния, а есть постоянная смена возбудимости и утомления, исключая всякий прогресс, вечное колебание, никогда не приводящее к цели. Этот закон, с его постоянным выравниванием, — потерянное в одном месте наверстается в другом, — экономисты находят превосходным. Он — их главная гордость, они не могут досыта наглядеться на него и рассматривают его при всех возможных и невозможных условиях. И все же ясно, что закон этот — чисто естественный закон, а не закон духа. Закон, порождающий революцию. Экономист является со своей красивой теорией спроса и предложения, доказывает вам, что «никогда не может быть произведено слишком много товаров», а действительность отвечает торговыми кризисами, которые возвращаются с такой же правильностью, как кометы, приблизительно через каждые 5 — 7 лет. В течение 80 лет эти торговые кризисы наступали так же правильно, как прежде большие эпидемии, и приносили с собой больше бедствий, безнравственности, чем те (ср. Wade, «Hist. of the Middle and Working Classes», London 1835, стр. 211). Разумеется, эти торговые революции подтверждают закон, подтверждают его в полной мере, но другим способом, чем хотят нас уверить экономисты.

Что должны мы подумать о законе, который может осуществляться только путем периодических революций? Это и есть закон природы, покоящийся на бессознательности участников. Если бы производители, как таковые, знали, сколько нужно потребителям, если бы они организовали производство, распределили его между собой, — колебания конкуренции и ее склонность к кризису были бы невозможны. Начните производить сознательно, как люди, а не как рассеянные атомы, не имеющие сознания своей родовой общности, и вы станете выше всех этих искусственных и несостоятельных противоположностей. Но до тех пор, пока вы продолжаете производство нынешним бессознательным, бессмысленным,

предоставленным господству случая способом, до этих пор останутся и кризисы; и каждый последующий кризис должен быть универсальнее, следовательно — острее предыдущего; значительное число мелких капиталистов должно обнищать, а численность класса, живущего только трудом, должна увеличиться в возрастающей пропорции, — кризис, следовательно, должен заметно увеличить массу нуждающихся в заработке рабочих, эту главную проблему наших экономистов, и, наконец, вызвать такую социальную революцию, какая и не снится школьной мудрости экономистов.

Вечное колебание цен, создаваемое условиями конкуренции, окончательно отнимает у торговли последние следы нравственности. О стоимости нет больше и речи.

Та самая система, которая, казалось, придает такое значение стоимости, которая признает за абстракцией стоимости честь особого существования, в форме денег, — эта самая система разрушает путем конкуренции всякую внутреннюю стоимость и изменяет ежедневно и ежечасно отношение стоимостей всех вещей друг к другу. Где же возможен в этом вихре обмен, покоящийся на нравственных началах? В этом беспрестанном приливе и отливе каждый *должен* пытаться улучшить выгодный момент для купли и продажи, каждый должен стать спекулянтом, т. е. пожинать там, где он не сеял, обогащаться за счет потери других, рассчитывать на несчастье других или пользоваться удачей случая. Спекулянт всегда рассчитывает на несчастья, особенно на неурожай, он пользуется всем, как, напр., в свое время пожаром Нью-Йорка; но кульминационным пунктом безнравственности является биржевая спекуляция фондовыми бумагами, низводящая историю и с ней человечество до роли средства, удовлетворяющего алчность бьющего на расчет или риск спекулянта. И сколько бы ни фарисействовал честный «солидный» купец по поводу биржевой игры — благодарю тебя, Создатель, и т. д., — он так же отвратителен, как и спекулянты фондами, он столько же спекулирует, сколько и те, он должен спекулировать — конкуренция принуждает его к тому — и его торговля скрытно заключает в себе ту же безнравственность, что и торговля биржевиков. Истинная конкуренция — это отношение потребительной силы к производительной силе. В строе, достойном человечества, не будет иной конкуренции, кроме этой. Община должна будет определить, что можно произвести при помощи находящихся в ее распоряжении средств, и на отношении этих производительных сил к массе потребителей должна будет построить расчет, насколько должно повысить или сократить производство, насколько должно поощрить или

ограничить предметы роскоши. Но чтобы правильно судить об этом отношении и о том, какого повышения производительности труда можно ожидать от разумного устройства общины, пусть мои читатели прочтут работы английских социалистов, отчасти и Фурье.

Субъективная конкуренция, соперничество капитала с капиталом, труда с трудом и т. д. при этих условиях сократится до соперничества, находящего себе оправдание в человеческой природе и пока удовлетворительно разъясненного одним лишь Фурье, — соперничества, которое, с устранением противоположных интересов, ограничится своей собственной и разумной сферой.

* * *

Борьба капитала с капиталом, труда с трудом, земли с землей приводит производство в лихорадочное состояние, при котором все его естественные и разумные отношения переворачиваются вверх дном. Ни один капитал не может выдержать конкуренции другого, если он не разовьет своей деятельности до высшей ступени. Ни один земельный участок не может быть обработан с пользой, если его производительность не будет постоянно повышаться. Ни один рабочий не устоит против своих конкурентов, если он не посвятит работе всех своих сил. Вообще, кто вовлечен в борьбу конкуренции, не может ее выдержать без крайнего напряжения своих сил, не отказавшись от всех истинно-человеческих целей. Следствием такого чрезмерного напряжения на одной стороне неизбежно является утомление на другой. Когда колебание конкуренции невелико, когда спрос и предложение, потребление и производство почти равны друг другу, в развитии производства должна наступить стадия, на которой окажется так много избыточных производительных сил, что огромной массе народа нечем будет жить, что люди станут умирать с голоду от одного только избытка. В этом безумном положении, в этой живой абсурдности давно уже находится Англия. Если производство колеблется сильнее, чем это необходимо при таком положении, то наступает смена расцвета и кризиса, перепроизводства и застоя. Экономисты никогда не могли объяснить себе этого безумного состояния; чтобы объяснить его, они придумали теорию народонаселения, которая столь же бессмысленна, даже более бессмысленна, чем это противоречие одновременного существования богатства и нищеты. Экономисты *не имели права* видеть истину; они были не в праве заметить, что это противоречие есть простое следствие конкуренции, ибо иначе вся их система была бы испровергнута.

А ларчик просто открывается. Производительные силы, находящиеся в распоряжении человечества, неизмеримы. Производительность земли может быть бесконечно повышена приложением капитала, труда и знания. «Перенаселенная» Англия, по расчетам самых дельных экономистов и статистиков (ср. Алисона «Principle of population», т. I, гл. 1 и 2), может быть в течение десяти лет приведена в такое состояние, чтобы производить достаточно хлеба для населения, в шесть раз больше нынешнего. Капитал ежедневно увеличивается; рабочая сила растет вместе с ростом населения, а наука с каждым днем все больше покоряет человеку силы природы. Эта неизмеримая производительность, урегулированная сознательно и в интересах всех, вскоре свела бы к минимуму выпадающую на долю человечества работу; предоставленная конкуренции, она выполняет то же самое, но в пределах противоречия. Одна часть земли подвергается наилучшей обработке, тогда как другая — в Великобритании и Ирландии 30 миллионов акров хорошей земли — остается невозделанной. Часть капитала обращается с необыкновенной быстротой, другая же лежит мертвой в сундуках. Часть рабочих работает по четырнадцать, шестнадцать часов в сутки, тогда как другая пребывает в лени и бездеятельности и умирает с голоду. Или распределение выступает из этой одновременности: сегодня торговля идет хорошо, спрос очень значителен, тогда все работает, капитал оборачивается с удивительной быстротой, земледелие процветает, рабочие работают до изнеможения, — завтра наступает застой, земледелие не оплачивает труда, целые пространства земли остаются невозделанными, капитал коченеет среди движения, рабочие остаются без занятий, и вся страна страдает от избыточного богатства и избыточного населения.

Такое положение вещей экономист не может считать правильным; иначе он должен был бы, как сказано, отказать от всей своей системы конкуренции; он должен был бы признать пустоту своей противоположности между производством и потреблением, избыточным населением и избыточным богатством. Но дабы привести этот факт в согласие с теорией, — отрицать этого факта нельзя было, — была изобретена теория народонаселения.

Мальтус, родоначальник этой доктрины, утверждает, что население всегда оказывает давление на средства существования, что население растет в той же степени, в какой увеличивается производство, и что присущая населению тенденция размножаться свыше имеющихся в его распоряжении средств существования является причиной всей нищеты, всех пороков.

Ибо когда слишком много людей, то тем или иным способом они должны быть устранены — или насильственно убиты, или перемереть с голоду. А раз это произошло, снова образуется пробел, который тотчас же снова заполняется другими преумножателями населения, и прежняя нищета снова наступает. Мало того, так бывает при всех условиях не только в культурном, но и в естественном состоянии человека; дикари Новой Голландии, по одному человеку на квадратную милю, так же сильно страдают от перенаселения, как Англия. Коротко говоря, если мы хотим быть последовательными, то должны признать, что *земля была уже перенаселена, когда существовал один только человек*. Следствием этого развития является следующее: так как именно бедняки наиболее многочисленны, то для них ничего не следует делать; надо только по возможности облегчить им смерть от голода, убедить их, что этого нельзя изменить, что для всего их класса нет иного спасения, как в том, чтобы возможно меньше размножаться, или, если этого нельзя достигнуть, то все же лучше устроить государственное учреждение для безболезненного умерщвления детей бедноты, — как это предлагал «Марк», — а именно: на каждую рабочую семью должно приходиться два с половиной ребенка, дети свыше этого числа — должны безболезненно умерщвляться. Милостыня преступна, так как она усиливает прирост избыточного населения; но очень полезно обратить бедность в преступление и рабочие дома в исправительные заведения, как это уже сделано в Англии новым «либеральным» законом о бедных. Правда, теория эта очень плохо уживается с библейским учением о совершенстве бога и его творения, но «плохо то опровержение, которое аргументирует Библией против фактов».

Следует ли мне еще подробнее излагать эту гнусную, низкую теорию, это отвратительное издевательство над природой и человечеством, продолжать дальнейшие из нее выводы? Наконец-то здесь выступает перед нами безнравственность экономистов в ее высшей форме. Что все войны и ужасы системы монополий в сравнении с этой теорией? А между тем она — краугольный камень в либеральной системе свободной торговли, с падением которого должно рухнуть и все здание. Ибо раз здесь доказано, что конкуренция является основной причиной нищеты, бедности, преступности, кто же тогда еще отважится сказать слово в ее защиту?

Алисон в выше цитированном сочинении поколебал теорию Мальтуса, апеллируя к производительным силам земли и противопоставляя мальтусову принципу факт, что всякий взрослый человек может произвести больше, чем он сам потребляет, — факт,

без которого человечество не могло бы размножаться, не могло бы даже существовать; чем жило бы тогда подрастающее поколение? Но Алисон не подошел к корню вещей, и потому, в конце концов, пришел к тому же выводу, что и Мальтус. Правда, он доказывает неправильность принципа Мальтуса, но не может отрицать фактов, приведших последнего к его принципу.

Если бы Мальтус не смотрел на вопрос так односторонне, он должен был бы увидеть, что избыточное население или рабочая сила всегда связана с избыточным богатством, избыточным капиталом и избыточной земельной собственностью. Население бывает слишком велико лишь там, где слишком велики производительные силы вообще. Яснее всего это показывает состояние всякой перенаселенной страны, напр. Англии, с того времени, как писал Мальтус.

Таковы факты, совокупность которых Мальтус должен был бы принять во внимание и рассмотрение которых должно было бы привести к правильному выводу; вместо этого он выхватил один из фактов, оставил другие без внимания и таким образом пришел к своему безумному заключению. Вторая ошибка, допущенная им, заключалась в смешении средств существования со средствами содержания труда. Что население всегда давит на средства содержания труда, что людей рождается лишь столько, сколько может получить работу, коротко говоря, что производство рабочей силы до сих пор регулировалось законом конкуренции и потому было также подвержено периодическим кризисам и колебаниям, — это факт, установление которого составляет заслугу Мальтуса. Но средства содержания труда — не средства существования. Средства содержания труда лишь в конечном результате увеличиваются с увеличением силы машин и капитала; средства же существования увеличиваются немедленно, как только сколько-нибудь увеличатся производительные силы вообще. Здесь ясно выступает новое противоречие экономии. Спрос экономистов не есть действительный спрос, их потребление — искусственное потребление. Для экономистов является действительным покупателем, действительным потребителем лишь тот, кто может предложить эквивалент за то, что он получает. Но если верно, что всякий взрослый человек производит больше, чем сам может потребить, что дети подобны деревьям, с избытком возвращающим произведенные на них расходы, — а ведь все это факты, — то надо бы полагать, что каждый рабочий должен был бы производить значительно больше того, что ему нужно, и потому община должна была бы охотно снабжать его всем необходимым; надо бы полагать, что большая семья должна быть для

общины весьма желанным даром. Но экономисты, по грубости своих воззрений, не знают никакого иного эквивалента, кроме того, что выплачивается осязательными наличными деньгами. Они так крепко васели в своих противоречиях, что наиболее бьющие факты интересуют их так же мало, как и научные принципы.

Мы уничтожаем противоречие просто тем, что упраздняем его. Со слиянием интересов, теперь противоположных, исчезнет противоположность между перенаселением в одном месте и избыточным богатством в другом, исчезнет удивительный факт, — удивительнее всех чудес, всех религий вместе взятых, — что народ должен умереть с голоду как раз от богатства и изобилия; исчезнет безумное утверждение, что у земли нет сил прокормить людей. Это утверждение есть высшая мудрость христианской экономики, а что наша экономика по существу является христианской, я мог бы доказать на любом положении, на любой категории, — в свое время я это и сделаю; теория Мальтуса есть лишь экономическое выражение религиозной догмы о противоречии между духом и природой и вытекающей отсюда испорченности их обоих.

Я надеюсь, что и в экономической области доказал ничтожность этого противоречия, давно разрешенного для религии и вместе с религией; впрочем, я не назову компетентным ни одного защитника теории Мальтуса, пока он заранее не объяснит мне из собственного ее принципа, каким образом может умереть с голоду народ от одного лишь избытка, и пока не приведет этого объяснения в согласие с разумом и фактами.

Теория Мальтуса была, впрочем, безусловно необходимым промежуточным этапом, бесконечно подвинувшим нас вперед. Благодаря ей, как и вообще благодаря экономике, мы стали обращать наше внимание на производительную силу земли и человечества и, преодолев это экономическое отчаяние, навсегда застраховали себя от страха перед перенаселением. Из нее мы черпаем самые сильные экономические аргументы в пользу социального преобразования; ибо если бы Мальтус был даже безусловно прав, все же было бы необходимо немедленно предпринять это преобразование, так как лишь оно, лишь просвещение масс, возможное благодаря ему, делает возможным и то моральное ограничение инстинкта размножения, которое сам Мальтус считает наиболее легким и наиболее действительным средством против перенаселения. Благодаря этой теории мы познали самое глубокое унижение человечества, его зависимость от условий конкуренции; она показала нам, что в последней инстанции частная собственность обратила человека в товар,

производство и потребление которого также зависит лишь от спроса; что вследствие этого система конкуренции отдала и ежедневно отдаёт на заклатие миллионы людей; все это мы увидели, и все это побуждает нас покончить с этой приниженностью человечества путем уничтожения частной собственности, конкуренции и противоположности интересов.

Вернемся еще раз к вопросу об отношении производительных сил к населению, чтобы показать всю безосновательность общераспространенного страха перенаселения. Вся система Мальтуса построена на следующем расчете. Население возрастает в геометрической прогрессии 1 — 2 — 4 — 8 — 16 — 32 и т. д., производительность же земли в арифметической прогрессии 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6. Разница очевидная, устрашающая; но правильна ли она? Где доказано, что производительность земли повышается в арифметической прогрессии? Площадь земли ограничена, — прекрасно. Рабочая сила, затрачиваемая на эту площадь, растет с населением; допустим даже, что увеличение производительности с увеличением затраты труда не всегда повышается в той же степени, что и труд; тогда останется еще третий элемент, не имеющий, конечно, для экономистов никакого значения, — наука, прогресс, который также бесконечен и, по меньшей мере, происходит так же быстро, как и рост населения. Какими успехами обязано земледелие нашего века одной только химии, собственно двум лишь людям — сэру Гэмфри Дэви и Юстусу Либиху? Но наука растет, по меньшей мере, с быстротой роста населения; население растет пропорционально численности последнего поколения, наука же движется вперед пропорционально массе знания, унаследованной ею от всех предшествующих поколений, следовательно при самых обыкновенных условиях она также растет в геометрической прогрессии. А что невозможно для науки?

Смешно говорить о перенаселении, покуда «долина Миссисипи имеет достаточно свободной земли, чтобы поместить у себя все население Европы»; покуда вообще одна лишь треть земли может считаться под обработкой, а производительность этой трети может быть повышена в шесть раз и больше от одного только применения уже ныне известных мелиораций.

* * *

Итак, конкуренция противопоставляет капитал капиталу, труд труду, земельную собственность земельной собственности, равным

образом каждый из этих элементов — двум другим. В борьбе побеждает сильнейший, а чтобы предсказать результат этой борьбы, необходимо исследовать силу борющихся. Прежде всего, земельная собственность и капитал — каждый в отдельности — сильнее труда, потому что рабочий, чтобы прожить, должен работать, тогда как земельный собственник может жить на свою ренту, а капиталист — на свои проценты, в крайнем случае — со своего капитала или капитализированной стоимости земли. Вследствие этого рабочему перепадает лишь самое необходимое, одни только средства существования, тогда как большая часть продуктов делится между капиталом и земельной собственностью. Во-вторых, более сильный рабочий изгоняет с рынка слабейшего, больший капитал — меньший, крупная земельная собственность — мелкую. Жизнь подтверждает это заключение. Хорошо известны преимущества крупного фабриканта и купца перед мелким, крупного землевладельца перед собственником одного морга земли. Отсюда при обычных уже условиях крупный капитал и крупная земельная собственность поглощают, по праву сильного, мелкий капитал и мелкую земельную собственность, — отсюда централизация собственности. Во время торговых и сельско-хозяйственных кризисов эта централизация происходит еще сильнее. Вообще крупная собственность растет значительно быстрее мелкой, потому что на издержки по владению вычитается из дохода значительно меньшая доля. Централизация владения есть закон, свойственный частной собственности в той же степени, как и все другие законы; средние классы обречены на постепенное исчезновение, так что, в конце концов, мир будет делиться на миллионеров и нищих, крупных землевладельцев и бедных поденщиков. Никакие законы, никакие дележи земельной собственности, никакие случайные дробления капитала ничуть не помогут, — результат этот должен наступить и наступит, если его не предупредит полное преобразование социальных отношений, слияние противоположных интересов, отмена частной собственности.

Свободная конкуренция, главный пароль экономистов наших дней, является невозможностью. Монополия имела, по крайней мере, намерение оградить потребителя от обмана, хотя и не смогла его осуществить. Уничтожение же монополий настежь раскрывает двери обману. Вы говорите: конкуренция заключает в себе самой средство обороны против обмана, никто не станет покупать плохих вещей; но ведь это значит, что каждый должен быть знатоком любого товара, а это невозможно; отсюда необходимость монополии, как это и показывает торговля многими товарами. Аптеки и т. п. должны

иметь монополию. И самый важный товар — деньги — наиболее нуждается именно в монополии.

Всякий раз как орудие обращения переставало быть государственной монополией, оно вызывало торговый кризис, и потому английские экономисты, в числе их д-р Уэд здесь также признают необходимость монополии. Но монополия не ограждает и от фальшивых денег. Взгляните на вопрос с какой угодно стороны, — одна сторона представит столько же затруднений, как и другая.

Монополия порождает свободную конкуренцию, а последняя в свою очередь — монополию; поэтому обе они должны пасть, — с устранением порождающего их принципа будут устранены и сами затруднения.

* * *

Конкуренция пронизала все наши жизненные отношения и завершила взаимное порабощение, в котором ныне находятся люди. Конкуренция — великий стимул, всегда подталкивающий к деятельности наш старящийся и дряхлеющий социальный порядок, или, вернее, беспорядок, но при всяком новом напряжении пожирающий и часть падающих сил. Конкуренция господствует над численным прогрессом человечества, она же господствует и над его нравственным прогрессом. Кто несколько знаком со статистикой преступности, тому должна броситься в глаза своеобразная закономерность, с какой ежегодно возрастает преступность, с какой известные причины порождают известные преступления. Распространение фабричной системы имело всюду своим последствием увеличение преступности. Можно с достаточной точностью заранее предсказать для большого города или округа ежегодное число арестов, уголовных преступлений, даже число убийств, краж со взломами, мелких краж и т. д., как это неоднократно имело место в Англии. Эта закономерность доказывает, что и преступность регулируется конкуренцией; что общество порождает *спрос* на преступность, удовлетворяющийся соответственным *предложением*; что пробел, образующийся вследствие арестов, высылки или казней известного числа людей, тотчас же снова заполняется другими, совсем так, как всякий пробел в населении тотчас же заполняется новым потомством; другими словами, что преступность так же давит на средства наказания, как население на средства для найма. Насколько справедливо при таких обстоятельствах, не говоря уже о всех прочих соображениях, наказывать преступников, я предоставляю судить моим читателям. Мое дело лишь доказать распространение конку-

ренции и на область нравственности и показать, до какого глубокого унижения довела человека частная собственность.

* * *

В борьбе капитала и земли против труда оба первых элемента имеют перед трудом еще особое преимущество — помощь науки, ибо при нынешних условиях и она направлена против труда. Почти все, напр., механические изобретения были вызваны недостаточностью рабочих сил, в особенности бумагопрядильные машины Харгривса, Кромптона и Аркрайта. Усиленный спрос на труд всегда влек за собой изобретения, которые значительно увеличивали производительность труда и потому уменьшали спрос на человеческие руки. История Англии с 1770 года до наших дней — непрерывное тому доказательство. Последнее великое изобретение в бумагопрядении — сельфактор — было вызвано к жизни исключительно спросом на труд и ростом заработной платы; изобретение это удвоило машинную работу и тем сократило наполовину ручную работу, лишило половину рабочих заработка и тем понизило заработную плату другой половины; оно уничтожило заговор рабочих против фабрикантов и разрушило последние остатки сил, с которыми труд выдерживал еще неравную борьбу против капитала (ср. Dr. Ure, «Philosophy of Manufactures», т. II). Экономисты, пожалуй, скажут, что в конечном результате машины выгодны для рабочих, так как удешевляют производство, и потому создают для своих продуктов новый большой рынок, что, таким образом, рабочие, оставшиеся без работы, в конце концов снова найдут заработок. Совершенно верно; но почему экономисты забывают, что производство рабочей силы регулируется конкуренцией, что рабочая сила всегда давит на средства содержания труда, что, следовательно, когда наступят эти выгоды, огромное число конкурентов опять уже будет ждать работы и тем сделает эту выгоду призрачной, тогда как отрицательная сторона — неожиданное лишение средств к жизни у одной половины рабочих и падение заработной платы у другой — отнюдь не призрачны? Почему экономисты забывают, что прогресс изобретений никогда не останавливается, что, таким образом, эти отрицательные стороны становятся вечными? Почему они забывают, что при разделении труда, бесконечно повысившемся благодаря нашей культуре, рабочий может существовать лишь в том случае, если он может найти применение своим силам на данной определенной машине для данной определенной мелкой работы? Что переход от

одной работы к другой, новой, почти всегда решительно невозможен для взрослого рабочего?

Изучение влияния машинного производства приводит меня к другой, более отдаленной теме, — к фабричной системе; но у меня нет ни охоты, ни времени здесь подробнее остановиться на ней. Впрочем, я надеюсь, что получу вскоре возможность подробнее обосновать отвратительную безнравственность этой системы и беспощадно разоблачить лицемерие экономистов, выступающее здесь в полном своем блеске.

ПОЛОЖЕНИЕ АНГЛИИ.

«Past and Present» by Thomas Carlyle. London 1843. ¹

Среди множества толстых книг и тоненьких брошюр, появившихся в прошлом году в Англии для увеселения и поучения «образованного общества», вышеназванное сочинение — единственное, которое стоит того, чтобы его прочесть. Все эти многотомные романы с их печальными и веселыми завязками, все эти назидательные и сощрацательные, ученые и неученые комментарии к Библии, — а романы и назидательные книги это два самых ходких товара в английской литературе, — все это вы можете спокойно оставить нечитанным. Быть может, вам попадутся несколько книг по геологии или экономии, истории или математике, в которых содержится крупица нового, — но все это вещи, которые надо изучать, а не *читать*, все это сухая специальная наука, высушенные гербарии, растения, корни которых давно оторваны от общечеловеческой почвы, их выростившей. Сколько бы вы ни искали, книга Карлейля — единственная, затрагивающая человеческие струны, говорящая о человеческих делах и являющая следы человеческого мировоззрения.

Удивительно, как сильно в Англии духовно пали и расслаблены высшие классы общества, — те, кого англичанин называет *respectable people, the better sort of people* и т. д. Исчезла вся их энергия, вся деятельность, все содержание; земельная аристократия ходит на охоту, денежная аристократия ведет записи в главной кассовой книге и в лучшем случае возится с такой же пустой и расслабленной литературой. Политические и религиозные предрассудки передаются по наследству от поколения к поколению; все достается им легко, и вовсе нет надобности, как в старые времена, беспокоиться о принципах; уже в колыбели слетают на них принципы в готовом виде, неизвестно откуда. Чего же еще надо? Каждый из них получил хорошее воспитание, т. е. без толку мучился в школе над

¹ «Прошлое и настоящее», соч. Т. Карлейля. Лондон 1843.

римлянами и греками; сверх того, он «респектабелен», т. е. владеет столькими-то тысячами фунтов стерлингов, и потому единственное, что остается ему еще сделать, это подыскать себе жену, если у него еще нет ее.

И в этом чучеле люди находят «дух»! Откуда может при такой жизни взяться «дух»? Если бы он даже объявился, то где он нашел бы себе место? Все у них по-китайски твердо установлено и разграничено — горе тому, кто преступит эти узкие границы, трижды горе тому, кто восстанет против почтенного годами предрассудка, и три раза трижды горе ему, если этот предрассудок религиозный. На все вопросы существует лишь два ответа — ответ вигов и ответ ториев, и эти ответы давно предписаны мудрыми обер-церемоний-мейстерами обеих партий; от вас не требуется никакой сообразительности и кропотливости — все подается в готовом виде: Дикки Кобден или лорд Джон Россель сказал то-то, а Бобби Пиль или «герцог» *par excellence*, т. е. герцог Веллингтонский, сказал то-то, и делу конец.

Вы, добрые немцы, должны каждый год слушать проповеди либеральных газетных писак и народных представителей о том, какими удивительными и независимыми людьми являются англичане благодаря своим свободным учреждениям; на расстоянии все это кажется таким прекрасным. Прения в парламенте, свободная печать, бурные народные собрания, выборы жюри оказывают свое действие на робкую душу Михеля, и, восхищенный, он принимает всю эту красивую внешность за звонкую монету. Но ведь в конце концов точка зрения либеральных газетных писак и народных представителей далеко не так возвышенна, чтобы дать всеобъемлющий обзор развития человечества или даже какой-нибудь одной нации. Английская конституция в свое время была хороша и сделала кое-что хорошее, а с 1828 года она занялась лучшим своим делом, а именно своим собственным разрушением, — но того, что ей приписывают либералы, она не сделала. Она не сделала англичан независимыми людьми. Англичане, т. е. образованные англичане, по которым на континенте судят о национальном характере, эти англичане — самые презренные рабы в мире. Лишь неизвестная континенту часть английской нации, лишь рабочие, парии Англии, бедняки, действительно респектабельны, несмотря на всю их грубость и всю их деморализацию. От них изыдет спасение Англии; в них еще кроется пригодный для творчества материал; у них нет образования, но нет и предрассудков, у них есть еще силы для великого национального дела — у них есть еще будущее. Аристокра-

тия — она ныне включает в себя и средние классы — исчерпала себя; все богатство мыслей, каким она располагала, переработано до самых последних логических выводов и применено к жизни, и их царство идет быстрыми шагами к своему концу. Конституция есть ее рук дело, а ближайшим следствием этого дела было то, что ее творцы были оплетены сетью учреждений, в которой сделалось невозможным никакое свободное движение духа. Господство общественных предрассудков является всюду первым следствием так называемых свободных политических учреждений, и это господство в наиболее политически свободной стране Европы, в Англии, сильнее, чем где-либо, за исключением Северной Америки, где общественные предрассудки, в виде закона Линча, получили законное признание как власть в государстве. Англичанин пресмыкается перед общественным предрассудком, ежедневно приносит себя ему в жертву — и чем он либеральнее, тем покорнее он повергается во прах перед этим своим божком. Но общественный предрассудок в «образованных кругах» бывает или тористским, или вигистским, в крайнем случае радикальным, — а даже последний не слишком уже хорошо пахнет. Побудьте хоть раз среди образованных англичан и скажите им, что вы чартист или демократ, — они усомнятся, в здравом ли вы уме, и станут избегать вашего общества. Или попробуйте заявить им, что вы не верите в божественность Христа, — и вы преданы и проданы; признайтесь откровенно, что вы — атеист, и на следующий день они покажут вид, что не знают вас. И если независимый англичанин начнет действительно думать, — что достаточно редко случается, — и страшнет с себя оковы предрассудка, унаследованного с молоком матери, даже и тогда у него не будет мужества свободно высказать свое убеждение, даже тогда он лицемерно выставит напоказ, по меньшей мере, такое мнение, которое было бы терпимо, и будет только радоваться, если ему иногда удастся с глазу на глаз откровенно побеседовать со своим единомышленником.

Таким образом, образованные классы в Англии глухи ко всякому прогрессу, и лишь под натиском рабочего класса они несколько приходят в движение. Нельзя ожидать, чтобы ежедневный литературный хлеб этой старческой культуры был создан иначе, чем они сами. Вся фешенебельная литература вращается в заколдованном кругу и так же скучна и бесплодна, как и само бесчувственное фешенебельное общество.

Когда «Жизнь Христа» Штрауса и слава о ней перешли через канал, ни один порядочный человек не осмелился перевести книгу,

ни один видный издатель — напечатать ее. Наконец, какой-то социалистический lecturer (для этого технического агитаторского выражения нет немецкого слова) — следовательно, человек самого нефешенебельного общественного положения — перевел ее, мелкий типограф-социалист напечатал ее тетрадами, каждая ценой в пенни, а рабочие Манчестера, Бирмингама и Лондона составили в Англии единственную публику для Штрауса.

Впрочем, если уж надо отдать предпочтение одной из двух партий, на которые делится образованная часть англичан, то это тори. По социальным условиям Англии виг слишком сильно является сам для себя партией, чтобы иметь свое суждение; промышленность, этот центр английского общества, находится в его руках и обогащает его; он находит ее безупречной и считает ее распространение единственной целью всего законодательства, потому что она дала ему богатство и власть. Напротив, торий, чье могущество и единовластие были разрушены промышленностью, чьи принципы были ею потрясены, ненавидит ее и в лучшем случае считает ее необходимым злом. Вследствие этого образовалась известная секция филантропов-ториев, вожаками которой являются лорд Эшли, Ферранд, Уольтер, Остлер и др. и которая поставила своей обязанностью защищать интересы рабочих против фабрикантов. Карлейль первоначально был также торием, и к этой партии он все еще стоит ближе, чем к вигам. Одно несомненно: виг никогда не мог бы написать книгу, которая была бы хоть наполовину такой человеческой, как «Past and Present».

Имя Томаса Карлейля получило в Германии известность благодаря его попыткам познакомить англичан с немецкой литературой. В течение многих лет он главным образом изучает социальное положение Англии — единственный человек среди образованных его страны, занимающийся таким делом — и уже в 1838 г. написал маленькую работу: «Chartism». В то время у власти были виги; с большой торжественностью возвестили они, что «призрак» чартизма, возникший около 1835 года, истреблен. Чартизм был естественным продолжением старого радикализма, на несколько лет укрощенного биллем о реформе и с 1835 — 1836 года вновь появившегося с новой силой, и притом в более сплоченных, чем прежде, массах. Виги думали, что они подавили этот чартизм, и это послужило Томасу Карлейлю поводом показать действительные причины чартизма и невозможность искоренить его, пока не искоренены его причины. Точка зрения этой книги в общем, пожалуй, будет та же, что и в «Past and Present», но в ней несколько сильнее выражена тористская окра-

ска; такой ее характер, быть может, объяснялся лишь тем обстоятельством, что виги, как правящая партия, больше всего подлежали критике. Во всяком случае «Past and Present» заключает в себе все, что находится в небольшой работе, но в более ясной, развитой форме и с более решительными выводами, и, таким образом, она освобождает нас от необходимости критики «Чартизма».

«Past and Present» есть параллель между Англией XII и XIX веков и состоит из четырех отделов, озаглавленных: «Вступление», «Монах в старину», «Рабочий нового времени», «Гороскоп». Пройдем последовательно через все эти отделы; я не могу противостоять искушению перевести самые красивые из части дивно-красивых мест книги. Критика уже сама о себе позаботится.

Первая глава вступления озаглавлена: «Мидас».

«Положение Англии... по справедливости считается одним из самых грозных и вместе с тем самых своеобразных, какие когда-либо видел свет. Англия изобилует различными богатствами, и все же Англия умирает от истощения. В вечно одинаковом изобилии зеленеет и цветет земля Англии, волнуясь золотой нивой, густо засеянная мастерскими, орудиями труда, 15 миллионами рабочих, считающихся самыми сильными, искусными и усердными, которых когда-либо знала наша земля; эти люди находятся здесь; труд, исполненный ими, плоды, созданные ими, имеются тут в избытке, всюду в самом пышном изобилии, — и вот, словно по волшебству, издается какое-то злосчастное повеление, которое говорит: «Не трогайте их, вы, рабочие, вы, работающие ховяева, вы, правдные ховяева; никто из вас не смеет их тронуть, никому из вас от них не будет пользы, — это заколдованный плод!»

Запрет этот прежде всего коснулся рабочих. В 1842 году в Англии и Уэльсе насчитывалось 1 430 000 пауперов, из которых 220 000 были заперты в рабочих домах, прозванных народом Бастилиями закона о бедных. Благодаря гуманности вигов — в Шотландии нет закона о бедных, но бедняков масса! Ирландия, к слову сказать, может похвастать огромным числом — 2 300 000 пауперов.

«Перед ассизным судом в Стокпорте (Чешайр) обвинялись и были признаны виновными отец и мать в отравлении троих своих детей, чтобы обманным образом получить с похоронного общества по три фунта восемь шиллингов за смерть каждого ребенка, и официальные власти, говоря, намекали, что этот случай, вероятно, не единственный, что, быть может, было бы лучше не вдаваться в подробное исследование этого дела. Такие примеры подобны высочайшей горной вершине, вырисовывающейся на горизонте; под ней

лежит целая горная цепь и земля, которых еще не видать. Человеколюбивые родители сказали себе: «Что же нам делать, чтоб спастись от голодной смерти? Мы глубоко погрязли здесь, в нашем мрачном подвале, а до помощи далеко. Да, в голодной башне Уголино творятся серьезные дела: горячо любимый крошка Гадод упал мертвым на колени отца!» Стокпортские родители, подумав, сказали: Наш бедный голодный малютка Том, который целый день просит хлеба, которому суждено в этой жизни одно только горе и ничего хорошего, — что если бы он сразу избавился от нужды? Умри он, быть может, мы спасем нашу жизнь». Подумали, сказали, а потом и сделали. И вот Тома нет в живых, все деньги истрачены и проедены; чья теперь очередь? бедного голодного крошки Джэка или бедного голодного крошки Вилли? Что за мучительные поиски хлеба! В осажденных, томимых голодом городах, среди страшных развалин павшего от гнева божьего древнего Иерусалима, было пророчество: «руки несчастных женщин будут варить себе в пищу своих собственных детей». Мрачная фантазия иудея не могла себе представить более ужасной бездны нужды; это было последним испытанием униженного, богом проклятого человека. А мы здесь, в современной Англии, среди избытка всякого рода богатства, никем не осажденные, разве только неведомым чудом, дошли до этого! Каким образом это случилось? Откуда сие, почему это должно быть так?»

Это случилось в 1841 году. Я мог бы прибавить, что пять месяцев тому назад в Ливерпуле была повешена Бетти Юльс из Бостона, которая по той же самой причине отравила троих собственных и двоих сводных детей.

Так живет беднякам. Каково же богатым?

«Эта цветущая промышленность, со своим изобильным богатством, до сих пор никого не сделала богатым; это заколдованное богатство и до сих пор никому не принадлежит. Мы можем тратить тысячи, где прежде тратили сотни, но на эти деньги мы не можем купить ничего хорошего... Иные едят тонкие лакомства, пьют дорогие вина, — но какое же в этом счастье? Разве они лучше, красивее, сильнее, мужественнее? Разве они стали хотя бы тем, что называют «счастливей»? Не стал счастливей работающий барин, не стал счастливей тунеядствующий барин, т. е. благородный землевладелец, — для кого все же это богатство Англии составляет богатство? Кому оно дает благословение, кого делает сколько-нибудь счастливей, красивее, умнее, лучше? Пока никого. Наша преуспевающая промышленность до сих пор не имеет успеха; среди роскошного богатства народ умирает с голоду; меж золотых стен и полных житниц никто не

чувствует себя безопасным и удовлетворенным. Мидас страстно желал золота и оскорбил олимпийцев. Он получил золото; все, чего он ни касался, обращалось в золото, но от этого он, со своими ослиными ушами, мало выиграл. Мидас назвал негодной небесную музыку. Мидас оскорбил Аполлона и богов, и боги исполнили его желание и дали в придачу пару ослиных ушей, — недурная прибавка. Какая правда в этой древней басне!»

«Как правдива, — продолжает он во второй главе, — другая старая легенда, о сфинксе. Природа — это сфинкс, богиня, но не совсем еще освобожденная, наполовину еще погрязшая в скотстве, пошлости; с одной стороны, она — порядок, мудрость, но вместе с тем и мрак, дикость, роковая необходимость. Природа сфинкса, — немецкий мистицизм, говорят англичане при чтении этой главы, — имеет для всякого человека и всякого времени вопрос, — блажен тот, кто правильно на него ответит; а кто не ответит или неправильно ответит, тот попадет в лапы звериной половины сфинкса; вместо прекрасной невесты он найдет львицу, которая разорвет его на части. И то же самое происходит с народами: можете ли вы разрешить загадку судьбы? И все несчастные народы, как и все несчастные люди, дали неправильное решение вопроса, приняв видимость за истину, отказались от вечных внутренних фактов вселенной, как от внешних преходящих форм; так поступила и Англия». Англия, по другому его выражению, стала добычей атеизма, и нынешнее ее положение является необходимым его следствием. Мы будем позднее об этом говорить, а пока лишь заметим, что Карлейль мог бы еще дальше продолжить свое сравнение с сфинксом, если его принять в вышеуказанном пантеистически-старошеллинговском смысле; как и в легенде, решением загадки является ныне человек, и притом решением в самом широком смысле. И эта загадка будет разрешена.

Следующая глава дает нам описание манчестерского восстания 1842 года: «Миллион голодных рабочих восстали, вышли все на улицу и остановились тут. Что же было им делать? Их обиды и жалобы были горьки, невыносимы, их гнев зато справедлив; но кто те, что причинили им эти страдания, и кто те, что им честно помогут? «У нас есть враги, но мы не знаем, кто они и что они; у нас есть друзья, но мы не знаем, где они? Как же быть нам: напасть ли на кого-нибудь, застрелить ли кого-нибудь или самим быть застреленными? О, если бы этот проклятый невидимый оборотень, который высасывает кровь нашу и наших близких, принял один только образ, являя бы перед нами гирканским тигром, бегемотом

хаоса, самым сатаной, явился бы в одном каком-нибудь образе, который мы могли бы видеть, за который мы могли бы ухватить его!»

Но несчастье рабочих в летнее восстание 1842 года в том и заключалось, что они не знали, с кем им надо бороться. Их бедствие было социальным, а социального бедствия нельзя уничтожить, как уничтожают королевскую власть или привилегии. Социальное бедствие не поддается лечению посредством народной хартии, и это чувствовал народ — иначе народная хартия была бы ныне основным законом Англии. Социальное бедствие надо изучить и познать, а этого до сих пор не сделала рабочая масса. Великим результатом восстания было то, что жизненный вопрос Англии, вопрос об окончательном жребии рабочего класса, по выражению Карлейля, был поставлен так, что его слышало в Англии каждое мыслящее ухо. Теперь нельзя уже больше обойти молчанием вопрос, — Англия должна или решить его, или погибнуть.

Минуем заключительную главу этого отдела, минуем пока и весь следующий отдел и сразу начнем с третьего отдела, посвященного рабочему нового времени, чтобы получить совершенно цельное описание положения Англии, начатое еще во введении.

«Мы отбросили, — продолжает Карлейль, — религиозность средних веков, не получив ничего взамен; мы забыли бога, закрыли глаза наши для вечной сущности вещей, оставив их открытыми для обманчивой видимости вещей; при этом мы утешали себя, что эта вселенная изнутри есть великое непостижимое, быть может, а извне представляет собой, очевидно, достаточно большой, обширный скотный двор и работный дом, с огромными кухонными печами и обеденными столами, — мудр тот, кто найдет за ними место. Вся истинность этой вселенной стала сомнительной; одна лишь прибыль и убыток, один лишь пуддинг и успех являются и остаются весьма видными для практического человека. Для нас нет больше бога; законы бога стали «принципом наиболее возможного благополучия», парламентской уловкой; небо сделалось для нас астрономическими часами, целью для гершелевского телескопа, чтоб гнаться за научными результатами, за сантиментальностями; на языке нашем и старого Джонсона это значило бы: человек утратил свою душу и начинает теперь замечать ее отсутствие. Здесь, поистине, самое больное место, центр мировой социальной гангрены... Нет больше религии, нет бога, человек утратил свою душу и напрасно ищет антисептической соли. Напрасно: в казнях королей, во французских революциях, в биллях о реформе, в манчестерском восстании нет спасения. Гной-

ная проказа, облегченная на один час, в следующие часы становится сильнее и опаснее».

«Но так как место старой религии не могло остаться совсем без заместителя, то мы и получили вместо нее новое евангелие, евангелие, соответствующее пустоте и бессодержательности века, — евангелие маммоны. Христианское небо и христианский ад оставлены: первое потому, что оно сомнительно, второе потому, что оно бессмысленно; но вам дали новый ад; адом нынешней Англии является страх за то, что «не добьешься успеха, не заработаешь денег». С нашим евангелием маммоны мы воистину пришли к странным выводам! Мы говорим об «обществе» и все же открыто исповедуем полное разделение и обособление. Наша жизнь состоит не во взаимной поддержке, а, напротив, во взаимной вражде, прикрытой плащом известных законов войны, именующихся «разумной конкуренцией» и т. п. Мы совершенно забыли, что чистоган не составляет единственной связи между человеком и человеком. «Мои голодающие рабочие?! — говорит богатый фабрикант. — Разве я не нанял их честно на рынке? Разве я не уплатил им до последней копейки установленной платы? Что же мне с ними еще делать?» Да, поклонение маммоне, воистину, печальная вера!»

«Какая-то бедная ирландская вдова в Эдинбурге просила помощи у благотворительного учреждения для себя и своих троих детей. Во всех учреждениях ей было отказано; силы и бодрость покинули ее; она свалилась в тифозной горячке, умерла, и зараза распространилась по всей улице, отчего умерли еще семнадцать душ. Человеколюбивый врач, рассказавший эту историю — д-р В.-П. Алисон — спрашивает при этом: разве экономии ради не следовало помочь этой женщине? Она захворала тифом и убила среди вас семнадцать душ! Удивительно. Покинутая ирландская вдова обращается к своим братьям, как если бы хотела сказать: «Смотрите, я погибаю без помощи, вы должны мне помочь, я ваша сестра, я плоть от вашей плоти, нас создал один бог!» А те отвечают: «Нет, невозможно, ты — не наша сестра». Но она доказала свое родство! Ее тиф убивает их; они действительно были ее братьями, хотя это и отрицали. Приходилось ли когда-нибудь человеческому существу искать более низменных доказательств?»

Карлейль, к слову сказать, здесь заблуждается, как и Алисон. У богатых нет сострадания, им нет никакого дела до смерти «семнадцати». Разве это не общественное счастье, что «избыточное население» сократилось на семнадцать душ? Сократись оно на несколько миллионов, вместо жалких «семнадцати» душ, было бы многим лучше.

Так рассуждают английские богачи-мальтузианцы.

А затем другое, еще худшее евангелие дилетантизма, создавшее бездельничающее правительство, отнявшее у людей всю их серьезность и заставляющее их казаться не тем, что они есть, — это стремление к «благополучию», т. е. к тому, чтобы хорошо попить и хорошо поесть, возвеличившее грубую материю и разрушившее всякое духовное содержание, — к чему все это приведет?

И что сказать нам правительству, вроде нашего, которое предъявляет к своим рабочим обвинение в перепроизводстве? Перепроизводство: разве оно не так гласит? «Вы, сбежавшиеся отовсюду, неблагородного звания производители, вы слишком много произвели! Мы обвиняем вас в том, что вы изготовили более двухсот тысяч рубах для наготы человеческой. А брюк, изготовляемых вами из бумажного плюша, кашемира, шотландских пледов, нанки и шерстяной ткани, — мало ли их? Разве вы не производите шляп и обуви, стульев для сидения и ложек для еды, и даже золотых часов, ювелирных вещей, серебряных вилок, комодов, шифоньер и мягкой мебели, — о, небо, все торговые базары и Howel и James не могут вместить ваших продуктов; вы все производили и производили, стоит только оглянуться, чтобы подтвердить основательность наших обвинений. Миллионы рубах и брюк висят тут как свидетельское показание против вас. Мы обвиняем вас в перепроизводстве; вы повинны в тяжком преступлении, что наготовили рубах, брюк, шляп и обуви в устрашающем изобилии. И вот следствием этого явился застой, и ваши рабочие должны помереть с голоду».

«Милостивые государи, в чем обвиняете вы этих бедных рабочих? Вы, милостивые государи, для того и назначены, чтобы предупредить застой; вы должны были следить за распределением и расценкой заработной платы и тщательно смотреть за тем, чтобы ни один рабочий не остался без своей заработной платы, в чем бы она ни выражалась, в денежной ли монете или пеньковой веревке для виселицы; с незапамятных времен это было вашей обязанностью. Эти бедные прядильщики совершенно забыли о том, что должны были бы помнить по действительному, неписаному закону своего положения; но забыли ли они о том, что составляет их обязанность по *писаному*, общепризнанному закону? Они получили заказ на рубахи. Общество приказало им: делайте рубахи, — и вот вам рубахи. Слишком много рубах? Воистину, это — новость в этом превратном мире с его девятьюстами миллионов голых спин! Но вам, милостивые государи, общество приказало: смотрите за тем, чтобы эти рубахи были правильно распределены, — и где же это распределение? Два миллиона

рабочих, вовсе не имеющих рубах или плохие рубахи, сидят в Бастилиях закона о бедных, пять миллионов других — в голодных подвалах Уголино; и, вместо помощи им, вы говорите: «повысьте *наши* ренты! Вы говорите с торжеством: вы хотите состряпать против нас обвинение, вы хотите упрекнуть нас в перепроизводстве? Но мы призываем в свидетели небеса и землю, что мы вообще никогда не производили. В самых отдаленных уголках мира нет ни одной рубахи, которую бы мы сделали. Мы неповинны в производстве; виновны вы, неблагодарные. Какие горы вещей нам пришлось употребить и поглотить! Разве эти груды товаров не исчезли пред вами, словно у нас есть талант страуса и своего рода божественная способность к пожиранию? Вы, неблагодарные; разве вы не выросли под тенью наших крыльев? Разве ваши грязные фабрики построены не на *нашей* земле? И мы не имеем права продавать вам наш хлеб по той цене, по какой нам вздумается? Как вы думаете, что стало бы с вами, если бы мы, землевладельцы Англии, вдруг решили не производить больше пшеницы?»

Этот образ мыслей аристократии, этот варварский вопрос, «что стало бы с вами, если бы мы не были так милостивы и не оставили расти хлеб», породил «безумные и печальные хлебные законы»; хлебные законы, бессмысленность которых так велика, что против них можно спорить лишь аргументами, «которые могут вызвать слезы ангела на небе и у осла на земле». Хлебные законы доказывают, что аристократия еще не научилась не творить зла, сидеть смиренно, ничего не делать, не говоря уж о том, чтобы сделать что-нибудь хорошее; и все же, по Карлейлю, такова их обязанность: «по своему положению аристократия обязана руководить Англией и править, и всякий рабочий работного дома имеет право спросить их раньше всех других: почему я сижу здесь? Его вопрос будет услышан небом и станет слышным на земле, если его оставят без внимания. Его обвинение направлено против вас, милостивые государи; вы стоите в первом ряду обвиняемых; благодаря положению, вами занимаемому, вы должны первыми ему ответить! Судьба тунеядствующей аристократии, насколько можно прочесть ее гороскоп в хлебных законах и т. п., есть пропасть, которая наполняет нас отчаянием. Да, мои розовые, охотящиеся за лисицами братья, сквозь ваши свежие, красивые лица, сквозь ваше большинство в хлебных законах, *sliding scales*, охранительные пошлины, подкупы на выборах и шумный успех внимательный глаз откроет ужасающие картины падения, не поддающиеся никакому описанию, надпись «мене, мене...». Боже милостивый, разве праздная французская аристократия, едва полвека

тому навад, точно так же не заявляла: мы не можем существовать, попрежнему одеваться и щеголять, как подобает нашему сословию; земельной ренты с наших поместий нам не хватает, нам нужно иметь больше, мы должны быть освобождены от платежа налогов, — нам нужен хлебный закон, чтобы поднять нашу земельную ренту? Это было в 1789 году, а четырьмя годами позже — слышали ли вы о кожевенном заводе в Медоне, где санкюлоты мастерили себе штаны из человеческой кожи? Да отвратит милосердное небо это знамение; да будем мы мудрее, чтобы стать менее несчастными!»

Работающая же аристократия запутывается в сетях тунеядствующей аристократии; в конце концов со своим «маммонизмом» она также попадает в плохое положение. «Континент, повидимому, экспортирует к себе наши машины, прядет бумагу, фабрикует за свой счет и вытесняет нас то с одного, то с другого рынка. Печальные вести, но далеко еще не самые печальные. Печальнее всего то, что наше национальное существование, как я слышал, зависит от того, что мы продаем хлопчатобумажные ткани грошом дешевле за аршин, чем все другие народы. На таком узком основании не может строить своего существования великая нация! И это основание, как мне кажется, нам надолго не удастся сохранить, несмотря на всевозможные отмены хлебных законов... Ни одна великая нация не может стоять на такой вершине пирамиды, подымаясь все выше и выше, балансируя на большом пальце ноги. Словом, это евангелие маммоны, со своим адом безработицы, спроса и предложения, конкуренции, свободной торговли, *laissez faire* и чорт знает чего, постепенно начинает становиться самым жалким евангелием, когда-либо проповедывавшимся на земле. Да, если бы завтра были отменены хлебные законы, то этим ничего не достигли бы; с их отменой создался бы лишь простор для всякого рода предпринимательства. Уничтожьте хлебные законы, сделайте торговлю свободной, тогда, несомненно, нынешнее парализованное состояние промышленности исчезнет. Мы снова увидим период торговой предприимчивости, победы и расцвета; окопы голода, давящие нашу шею, ослабнут, мы снова получим возможность дышать и время мыслить и каяться; трижды дорогое время, чтобы всеми силами бороться за реформу наших дурных привычек, чтобы воспитать народ, облегчить его ношу и улучшить образ жизни его, чтобы дать ему немного духовной пищи, действительное руководство и правительство. Что за неопенимое будет время! Ибо, по старому методу конкуренции и всего, чорт возьми, прочего, наш новый период расцвета в конце концов окажется и должен оказаться только пароксизмом и, вероятно, нашим последним пароксизмом.

Ибо, если за двадцать лет промышленность удвоится, то за двадцать лет удвоится также и население наше; мы останемся там же, где и были, с той лишь разницей, что нас будет вдвое больше, будет вдвое, если не вдесятеро, тяжелее править нами... Увы, в какие места попали мы во время этого нашего странствования в даль веков? Люди скитаются там, как гальванизированные трупы, с бессмысленными, неподвижными глазами, и имеют не душу, а трудоспособность бобра и желудок! Больно глядеть в эти дни на голодное отчаяние рабочих бумагопрядилен, угольных копей и сельских поденщиков Чандоса; но внутреннему чувству это далеко не так претит, как та жестокая, безбожная философия прибыли и убытков и житейской мудрости, которая провозглашается всюду: в сенате, научных клубах и передовых статьях, с церковных кафедр и ораторских трибун как последнее, чисто английское евангелие человеческой жизни!

«Я имею смелость думать, что со дня первых зачатков общества никогда еще участь немых, утомленных работой миллионов людей не была так невыносима, как теперь. Не смерть, даже не голодная смерть делает человека несчастным; мы все должны умереть, последний выход для всех нас — на огненной колеснице страданий; но жить в нищете и не знать, почему; работать до боли и ничего не зарабатывать; уставать сердцем и душой и все же быть изолированным, не иметь вокруг себя друзей, а только холодное, универсальное *laissez faire*; медленно умирать в течение всей нашей жизни замураванным в глухой, мертвой, бесконечной несправедливости, словно в проклятом железном чреве фаларского быка, — есть и вечно будет невыносимым для всех людей, созданных по образу божию. И мы еще удивляемся французской революции, «великой неделе», английскому чартизму? Если хорошо подумать, — времена поистине беспримерные».

Если в такие беспримерные времена аристократия оказывается неспособной к управлению общественными делами, то ее необходимо устранить. Отсюда — демократия. «Какого распространения уже ныне достигла демократия, с какой зловещей, все возрастающей постепенностью она подвигается вперед, может увидеть всякий, кто с раскрытыми глазами взглянет на какую-либо область человеческих дел. От грохота наполеоновских битв до пустой болтовни вокруг какого-нибудь церковного совета в St. Mary Axe — все говорит о демократии». Но что такое, в конце концов, демократия? «Не что иное, как недостаток в людях, которые могли бы управлять вами, и покорность этому неизбежному недостатку, попытка устроиться без них. Никто тебя не гнетет, тебя, свободного и независимого

избирателя; но разве ты не раб этой глупой бутылки портера! Никакой сын Адама не может тебе приказывать прийти или пойти, — но эта бессмысленная бутылка, эта одурманивающая жидкость, может приказывать тебе и приказывает! Ты раб не Цедрика-саксонца, а твоих собственных животных похотей, и ты говоришь еще о свободе? Ты — круглый дурак! Представление, будто свобода человека состоит в том, чтобы подать свой голос на выборах и сказать: вот теперь мне тоже принадлежит одна двадцатитысячная доля оратора в нашей национальной говорильне, — не станут ли теперь ко мне благосклонны все боги? — это представление — одно из самых смешных в свете. Свобода, покупаемая тем, что вы себя взаимно изолируете, ничего общего не имеете друг с другом, кроме наличных денег и главной кассовой книги, эта свобода в конце концов окажется для миллионов трудящихся свободой голодной смерти, а для ленивых, ничего не делающих тысяч и единиц, свободой гниения; братья, после столетия конституционного правительства, мы все еще недостаточно знаем, что такое свобода и что такое рабство. Но демократия пойдет своим свободным путем, миллионы трудящихся с своей инстинктивной, страстной потребностью в руководстве оттолкнут от себя ложное руководство и на мгновение будут надеяться, что они управятся без руководителей, но только на мгновение. Пусть вы страшнете гнет ваших ложных начальников; я вас не порицаю, я сожалею вас и только увещаю вас; но и после этого великая проблема все еще останется неразрешенной, — проблема призвать к власти ваших истинных начальников.

«Правительство, как оно ныне существует, конечно, достаточно жалко. В недавнем парламентском комитете для исследования подкупов при выборах самые здравомыслящие практические люди были, повидимому, того мнения, что подкупы неизбежны и что мы, хорошо ли, плохо ли, должны попытаться обойтись без честных выборов. Парламент, объявляющий, что он избран и избираем посредством подкупа, — какое законодательство может создать он? Подкуп обозначает не только продажность, но бесчестность, бесстыдный обман; постыдную бесчувственность ко лжи и к вовлечению других в ложь. Будьте же честны, откройте на Downing Street избирательное бюро, с тарифом, изменяющимся по городам: такое-то население, при такой-то сумме налогов с собственности, такой-то сумме земельной ренты и торговых оборотов, избирает двух депутатов или избирает одного депутата за столько-то денег: Ипсвич за столько-то тысяч фунтов, Ноттингем за столько-то, — тогда вы, по крайней мере, честно получили их посредством купли, не прибегая ко всей этой бесчест-

ности, бесстыдству, лжи!.. Наш парламент заявил, что он избран и избираем посредством подкупа. Что может получиться от такого парламента? Если этим миром управляют не Велиал и Вельзевул, то такой парламент готовится к новым биллям о реформе. Лучше нам испытать чартизм или какой-нибудь другой «изм», чем согласиться на это! Парламент, начинающий с лжи на устах, должен поискать себе другого места. В любой час дня и ночи может явиться какой-нибудь чартист или какой-нибудь вооруженный Кромвель, чтобы возвестить такому парламенту: Вы не парламент. Во имя Всевышнего — убирайтесь вон!»

Таково положение Англии по Карлейлю. Тунеядствующая земельная аристократия, не «научившаяся даже сидеть смиренно и, по крайней мере, не причинять зла»; работающая аристократия, погруженная в маммонизм и представляющая собою лишь банду промышленных разбойников и пиратов, вместо того, чтобы быть собранием руководителей труда, «военачальниками промышленности»; посредством подкупа избранный парламент; житейская философия простого созерцания, ничегонеделанья, *laissez faire*; изношенная, разлагающаяся религия, полное разложение всех общечеловеческих интересов, всеобщее разочарование в истине и человечестве, и, вследствие этого, всеобщее изолирование человека в своем грубом одиночестве, хаотическое, безумное смешение всех жизненных отношений, война всех против всех, всеобщая духовная смерть, недостаток «души», т. е. истинно-человеческого сознания; несоразмерно сильный числом рабочий класс в невыносимом гнете и нищете, в диком недовольстве и возмущении против старого социального порядка, и потому грозная, непреодолимо продвигающаяся вперед демократия, повсеместный хаос, беспорядок, анархия, распад старых устоев общества, всюду духовная пустота, безъидейность и упадок сил, — таково положение Англии. Если отвлечься от некоторых выражений, связанных с своеобразной точкой зрения Карлейля, мы должны будем с ним вполне согласиться. Он один из всего «респектабельного» класса не закрывал своих глаз, по меньшей мере, на факты, по меньшей мере правильно оценил непосредственную современность, а это воистину бесконечно много для «образованного» англичанина.

Каковы виды на будущее? Таким, как сейчас, положение не останется и не может остаться. Мы видели, что у Карлейля нет, по его собственному признанию, «моррисоновских пилюль», универсального средства для лечения социального зла. И в этом он прав. Всякая социальная философия, покуда она еще выставляет несколько положений как свой конечный результат, покуда она еще прописывает

моррисоновские пилюли, еще очень далека от совершенства; что нам больше всего нужно, — это не голые результаты, а, наоборот, *изучение*: результаты — ничто без развития, к ним приводящего, — это мы знаем уже со времен Гегеля, — и результаты более чем бесполезны, если они установлены для себя, если они опять не становятся предпосылками дальнейшего развития. Конечно, временно результаты должны получить определенную форму, они должны в развитии своем из беспредельной неопределенности сложиться в ясную мысль, и тогда такая чисто эмпирическая нация, как англичане, во всяком случае, не обойдется без формы «моррисоновских пилюль». Хотя Карлейль сам имеет в себе много немецкого и довольно далек от грубой эмпирии, но он, вероятно, не обошелся бы без нескольких пилюль, если бы он высказывался менее неопределенно и неясно насчет будущего.

Иногда он заявляет, что все бесполезно и бесплодно, покуда человечество упорствует в атеизме, покуда оно снова не завоевало себе своей «души». Не в том смысле, что следовало бы восстановить старый католицизм во всей его активности и жизненной силе или хотя бы только сохранить нынешнюю религию, — он хорошо знает, что ритуалы, догмы, литургии и гром на Синае не могут помочь; что никакие громы Синая не могут сделать истину более истинной и внушить страх разумному человеку; что давно уже покончены счета с религией страха; нет, должна быть восстановлена сама религия, — ведь мы сами видели, куда привели нас «два столетия атеистического правительства» со времени «благословенной» реставрации Карла II, и мало-по-малу должны будем признать, что атеизм этот начинает продаваться по мелочам и изнашиваться. Но мы знаем уже, что называет Карлейль атеизмом, — не столько неверие в личного бога, сколько неверие во внутреннюю сущность, в бесконечность вселенной, неверие в разум, сомнение в духе и истине; его борьба направлена не столько против неверия в откровения Библии, сколько против «самого страшного неверия, неверия в библию всемирной истории». Она-то — вечная книга божья; всякий, в ком не погасли душа и зрение, может прочесть в ней начертание перста божьего. Осмеивать ее есть неверие, не имеющее себе равного, неверие, за которое вы будете наказаны не огнем и кострами, а самым решительным приказом молчать, если не имеете сказать чего-либо лучшего. К чему шуметь и нарушать счастливое молчание, чтобы только высказать подобный вздор? Если прошлое не имеет в себе божественного разума, а лишь дьявольскую неразумность, оно навеки погибло, — не говорите больше о нем; нам, потерявшим на виселице наших отцов, мало

подобает болтать о веревках! «Но современная Англия не может верить в историю». Из окружающих нас предметов глаз видит лишь те, которые может видеть по своим природным свойствам. Безбожному веку не понять богобоязненной эпохи. Он видит в прошлом (в средние века) одни только раздоры, всеобщее господство грубой силы, но не видит, что, в конце концов, сила и право совпадают; он видит одну только глупость, дикое неразумие, приличествующее скорее для дома умалишенных, чем для человеческого мира. А из этого естественно следует, что те же самые свойства должны сохранять свою власть и в наше время. Миллионы людей крепко сидят по Бастилиям; ирландские вдовы доказывают свою человечность тифозной горячкой; так всегда было, если не хуже; чего же вы хотите? Чем иным была история, как не извлечением наружу скрытой глупости посредством успешного шарлатанства? В прошлом не было бога, ничего, кроме механизма и хаотически-звероподобных идолов; как же может бедный «философ-историограф, которому его собственный век кажется таким безбожным, познать бога в прошлом?»

Но наш век далеко не так забыт богом. «Да разве в последние годы даже в нашей бедной одуревшей Европе не стали раздаваться религиозные голоса, проповедующие новую и в то же время старейшую религию, неоспоримую для сердец всех людей? Я знаю некоторых, которые не называли себя и не считались «пророками», но которые после долгого времени снова стали воистину мелодичными голосами вечного сердца природы, — душами, которым всегда будут поклоняться те, у кого есть душа. Французская революция есть феномен; поэт Гете и немецкая литература, ее завершение и духовный показатель, являются для меня тоже феноменом. Пусть старый светский или практический мир погиб в огне; разве не исполняется пророчество и не рассветает новый духовный мир — мать гораздо более благородных, широких, новых, практических миров? Жизнь античного самопожертвования, античной правды и античного героизма сделалась снова возможной для самого современного человека и стала действительно видимой, — феномен, во всем его спокойствии несравнимый ни с каким другим! Снова послышались отзвуки новой мелодии сфер сквозь бесконечный жаргонный диссонанс и жалкий, слабый лепет того, что зовется литературой».

Гете — пророк «религии будущего», и ее культ — труд. «Ибо на труде лежит печать какого-то вечного благородства, даже святости. И как бы ни был помрачен человек, как бы мало он ни сознавал свое высокое призвание, никогда еще не потеряна надежда для того, кто действительно и серьезно работает; только в праздности вечное

отчаяние. Как бы ни был своекорыстен, унижен труд, он все еще остается в связи с природой; уже одно только искреннее желание достигнуть плодов своего труда все более и более приблизит его к истине, к законам и предписаниям природы, представляющим истину... Труд имеет бесконечное значение: через него совершенствуется человек. Болотистые заросли расчищаются; на месте их возникают прекрасные поля и значительные города, и прежде всего сам человек перестает быть гнилым болотом и бесплодной, нездоровой пустыней. Смотрите, какой гармонии преисполняется вся душа человека даже при самой низкой работе, с того момента, как только человек отдается труду! Сомнения, страсти, печаль, раскаяние, негодование, даже отчаяние, все эти порождения сатаны окружают душу бедного поденщика, как и всякого другого, но он бодро берется за свою работу, и они с ворчанием удаляются в далекую преисподнюю. Такой человек действительно является человеком; священная жажда работы действует на него, как очищающий огонь, сжигающий светлым, священным пламенем всякую скверну и даже самый зачумленный воздух. Благословен, кто нашел по душе работу; ему не надо другого благословения. У него есть работа, цель в жизни; он нашел ее, преследует ее, и вот его жизнь течет теперь, как свободнотекущий канал, вырытый среди отстоявшегося болота человеческой нужды, отводящий отстоявшуюся воду из-под самого отдаленного тростника, обращающий гниющее болото в зеленый плодородный луг, прорезанный чистой струей. Труд есть жизнь; по существу у тебя нет других познаний, кроме приобретенных посредством труда; все остальное есть гипотеза, есть нечто, о чем спорят в школах, что витает в облаках и вращается в бесконечном логическом водовороте, пока мы не испытаем его и не установим. Сомнения, какого бы рода они ни были, могут быть разрешены только посредством деятельности.

«У древних монахов было прекрасное изречение: *laborare est orare*, работа — это молитва. Древнее всякого проповедывавшегося евангелия было это непроповедывавшееся, невысказанное, но неугаемое, вечное евангелие; работай и находи удовлетворение в работе. О, человек, разве в глубине твоего сердца не заложен дух деятельности, сила для труда, которая горит, как медленно тлеющий огонь, не давая покоя, пока ты не разовьешь ее, пока ты не запечатлеешь ее кругом себя в благодеяниях? Все, что беспорядочно, бесплодно, ты должен упорядочить, урегулировать, вспахать, покорить себе и сделать плодородным. Всюду, где ты находишь беспорядок, там твой исконный враг; быстро напади на него, покори его; вырви его из власти хаоса, приведи его под твою власть, власть разума и боже-

ственности! Но мой совет: прежде всего нападай на невежество, глупость, озверение; где бы ты ни нашел их, рази их, разумно, неустанно, не отдыхай, пока ты живешь и пока они живы, рази, рази во имя бога, рази! Действуй, пока светло; близится ночь, когда никому нельзя работать... Всякая истинная работа священна: пот лица твоего, пот мозга и сердца, вычисления Кеплера, размышления Ньютона, все науки, все эпические поэмы, все подвиги героизма, мученичества, вплоть до той «агонии кровавого пота», которую все люди провалили божественной. Если уж это не религия, тогда к черту всякую религию. Кто ты, жалующийся на свою жизнь горького труда? Не жалуйся, хотя небо и строго к тебе, но не неблагоприятно; небо добро, как благородная мать, как та спартанская мать, которая, подавая своему сыну щит, сказала: с ним или на нем! Не жалуйся; спартанцы также не жаловались. В мире существует лишь одно чудовище — это лентяй. Разве его религия не состоит в том, что природа — это фантом, бог — ложь, и человек и его жизнь — ложь».

Но и труд вовлечен в дикий водоворот беспорядка и хаоса; принцип облагорожения, просвещения, развития стал жертвой пуганицы, беспорядка и мрака. Это ведет нас к главному вопросу, к вопросу о будущем труда.

«Ах, что это за труд эта «организация труда», как ее зовут наши друзья на континенте, давно и довольно глупо топчущиеся кругом да около. Она должна быть взята из рук нелепых ветрогонов и поручена дельным, скромным, мужественным людям, дабы они тотчас же начали приводить ее в осуществление и постепенно могли добиться успеха, если только Европа, по крайней мере Англия, хочет еще надолго остаться обитаемой. Стоит взглянуть на наших высокоблагородных герцогов хлебных законов или на наших духовных герцогов и пастырей, получающих минимального дохода около четырех тысяч пятисот фунтов ежегодно, и надежды наши, конечно, несколько поостынут. Но мужайтесь! В Англии еще найдутся дельные люди. Неукротимый фабричный лорд, не подаешь ли даже ты некоторых надежд? До сих пор ты был морским разбойником; но за этим свирепым челом, в этом неукротимом сердце, которое могло победить хлопок, не кроются ли, быть может, еще другие, вдесятеро более благородные победы?» — «Оглянитесь! ваши несметные войска находятся все в восстании, смятении, в объятиях нищеты, накануне гибели в огне, накануне сумасшествия! Они не желают больше маршировать для вас за шесть пенсов в день по принципу спроса и предложения; они не желают, они не должны, они не могут. Их души близки почти к помешательству; будьте же сами благоразумнее!

Эти люди не станут больше маршировать в виде смятенной, мятущейся черни, а пойдут сомкнутой, стройной массой с действительными вожаками во главе. Все человеческие интересы, все общественные учреждения на известной ступени своего развития нуждались в организации, и теперь ее требует величайший человеческий интерес — труд».

Для осуществления этой организации, для замены ложного руководства истинным руководством и истинным правительством Карлейль ищет «истинной аристократии», «культы героев»; он выдвигает другую великую задачу — отыскать этих аристов, лучших людей, под руководством которых можно было бы «соединить неизбежную демократию с необходимым суверенитетом».

В этих выдержках с достаточной ясностью определяется точка зрения Карлейля. Все его мировоззрение — по существу пантеистическое, и притом немецко-пантеистическое. Англичане не знают никакого пантеизма, а лишь скептицизм; результатом всей английской философской мысли является сомнение в разуме, признанная неспособность разрешить те противоречия, в которые мы в конечном счете попадаем; отсюда, с одной стороны, — возврат к вере, с другой — приверженность к чистой практике без малейшего интереса к метафизике и т. д. Для Англии Карлейль со своим пантеизмом, ведущим свое происхождение от немецкой литературы, является тоже «феноменом», и притом довольно малопонятным феноменом для практических и скептических англичан. Они глядят на него с изумлением, говорят о «немецком мистицизме», об исковерканном английском языке; другие утверждают, что, в конце концов, что-нибудь тут да скрывается; его английский язык, правда, не обычен, но все же он красив. Карлейль — пророк и т. п., но никто не знает, как оценить Карлейля в целом.

Для нас, немцев, знающих предпосылки карлейлевской точки зрения, дело довольно ясно. Остатки тористской романтики и гуманистическая философия из Гете, с одной стороны, скептически-эмпирическая Англия, с другой, — из этих факторов можно вывести все мировоззрение Карлейля. Как и все пантеисты, Карлейль еще не освободился от противоречия; дело карлейлевского дуализма тем хуже, что Карлейль знает немецкую литературу, но не знает необходимого ее дополнения — немецкой философии, и потому-то все его воззрения непосредственны, интуитивны, больше в духе Шеллинга, чем Гегеля. С Шеллингом, т. е. старым Шеллингом, а не Шеллингом Откровения, у Карлейля действительно много точек соприкосновения; со Штраусом, который по своим воззрениям был точно так

же пантеистом, он сходится в «культе героев» или «культе гения».

За последнее время в Германии критика пантеизма выполнена с такой исчерпывающей полнотой, что ничего больше не остается добавить. Тезисы Фейербаха в «Anecdota» и сочинения Б. Бауэра дают все, что касается этого вопроса. Поэтому мы можем ограничиться тем, что просто сделаем выводы из карлейлевской точки зрения и покажем, что по существу она составляет лишь преддверие к точке зрения нашего журнала.

Карлейль жалуется на суетность и пустоту века, на внутреннюю гниlostность всех социальных учреждений. Жалоба эта правильна, но одними жалобами ничего не сделаешь; чтобы помочь злу, надо отыскать его причину; и если бы Карлейль поступил так, он нашел бы, что это разложение и пустота, это «бездушие», эта нерелигиозность и этот «атеизм» коренятся в самой религии. Религия по существу своему лишает человека и природу всего их содержания, переносит это содержание на фантом потустороннего бога, который затем из милости возвращает людям и природе частицу своих щедрот. Покуда сильна и жива вера в этот потусторонний фантом, до тех пор таким окольным путем человек добывается хоть какого-нибудь содержания. Сильная вера средневековья сообщила таким путем всей эпохе значительную энергию, но энергию, пришедшую не извне, а коренившуюся уже в природе человека, хотя бы и в бессознательном, неразвитом состоянии. Вера постепенно слабела, религия раскрошилась перед возрастающей культурой, но человек все еще не понимал, что он поклонялся и обоготворял свое собственное существо как чужое существо.

В этом бессознательном и в то же время безрелигиозном состоянии человек не может иметь никакого содержания, он должен сомневаться в истине, разуме и природе, и эта пустота и бессодержательность, сомнение в вечных фактах вселенной будут продолжаться до тех пор, пока человечество не увидит, что существо, которому оно поклонилось как богу, было его собственным, до сих пор ему не известным существом, пока... — впрочем, зачем мне переписывать Фейербаха?

Пустота давно уже была, потому что религия есть акт самоопустошения человека; а теперь, когда пурпур, ее покрывавший, поблек, когда угар, ее заволакивавший, рассеялся, вы удивляетесь, что теперь, к вашему ужасу, она выступила на свет божий?

Карлейль, дальше, обвиняет век в лицемерии и лжи — это непосредственно вытекает из предыдущего. Конечно, пустота и бессилие должны же быть прилично скрыты при помощи всяких

украшений, одеты в набитое ватой платье и фижмы из китового уса! И мы нападаем на лицемерие современного христианского миропорядка; борьба с ним, наше освобождение от него и освобождение мира от него в конце концов являются нашим единственным делом; но так как мы познали это лицемерие благодаря развитию философии и так как мы ведем борьбу научно, то сущность этого лицемерия не так уж нам чужда и непонятна, как это во всяком случае еще кажется Карлейлю. Это лицемерие мы также сводим к религии, первое слово которой есть ложь, — разве религия не начинается с того, что, показав нам нечто человеческое, выдает его за нечто сверхчеловеческое, божественное? Но так как мы знаем, что вся эта ложь и безнравственность происходит из религии, что религиозное лицемерие, теология, является прототипом всякой другой лжи и лицемерия, то мы в праве распространить имя теологии на всю неправду и лицемерие нашей современности, как это впервые сделали Фейербах и Б. Бауэр. Пусть Карлейль прочтет их сочинения, если он желает знать, откуда происходит безнравственность, зачумляющая все наши отношения.

Надо создать или ждать в будущем новую религию, пантеистический культ героев, культ труда? Это невозможно; все возможности религии исчерпаны; после христианства, после абсолютной, т. е. абстрактной религии, после «религии как таковой», не может больше появиться никакой другой формы религии. Карлейль сам признает, что католическое, протестантское или всякое другое христианство неудержимо идет навстречу гибели; если бы он знал природу христианства, он увидел бы, что после него невозможна никакая другая религия, даже и пантеизм! Сам пантеизм является выводом из христианства, еще неотделимым от своей предпосылки, по крайней мере, современный пантеизм Спинозы, Шеллинга, Гегеля и даже Карлейля. Фейербах снова избавляет меня от необходимости доказывать это.

Как было сказано, и мы должны бороться против несостоятельности, внутренней пустоты, духовной смерти, неправдивости века; со всем этим мы ведем борьбу на жизнь и смерть, так же, как Карлейль, но мы имеем больше шансов на успех, чем он, потому что знаем, чего хотим. Мы хотим уничтожить атеизм, каким его изображает Карлейль, возвратив человеку содержание, которого он лишился благодаря религии, — не божественное, а человеческое содержание; все возвращение ограничивается одним пробуждением самосознания. Мы хотим устранить все, что называется сверхъестественным и сверхчеловеческим, и тем удалить ложь, ибо претен-

вия человеческого и естественного быть сверхчеловеческим, сверхестественным есть корень всей неправды и лжи. Поэтому мы раз навсегда объявили войну религии и религиозным представлениям и мало заботимся о том, назовут ли нас атеистами или как-нибудь по-другому. Между тем, если бы карлейлевское пантеистическое определение атеизма было правильным, настоящими атеистами оказались бы не мы, а наши христианские противники. Нам в голову не приходит нападать на «исконные внутренние факты вселенной»; напротив, мы первые истинным образом их обосновали, доказав их вечность и защитив их от всемогущего произвола в себе самом противоречивого бога. Нам не приходит в голову объявить «мир, человека и его жизнь ложью», напротив, наши христианские противники совершают эту безнравственность, когда ставят мир и человека в зависимость от милости какого-то бога, созданного в действительности лишь посредством отражения человека в диком хаосе своего собственного неравнитоного сознания. Нам не приходит в голову сомневаться в «откровении истории» или превирать его; история есть для нас все и ценится нами выше, чем каким-либо другим, более ранним философским учением, выше даже, чем Гегелем, которому она, в конце концов, служит лишь для проверки его логической задачи.

В презрении к истории, в невнимании к развитию человечества повинна совсем другая сторона — именно христиане, которые, установив особую «историю царства божия», отказывают действительной истории во всей внутренней сущности и признают эту сущность только за своей потусторонней, абстрактной и к тому же вымышленной историей; которые, давая человеческому роду завершение в своем Христе, ставят перед историей воображаемые цели, обрывают ее посреди ее течения и потому уже, последовательности ради, должны признавать дальнейшие восемнадцать веков за дикую бессмыслицу и настоящую чепуху. Мы обращаемся к содержанию истории, но мы видим в истории откровение не «бога», а человека, и только человека. Чтобы видеть величие человеческого существа, понять развитие рода в истории, его неудержимый прогресс, его всегда обеспеченную победу над неразумностью отдельного человека, его преодоление всего кажущегося сверхчеловеческим, его суровую, но успешную борьбу с природой, вплоть до конечного достижения свободного, человеческого самосознания, до убеждения в единстве человека и природы и свободного, самостоятельного творчества нового мира, покоящегося на чисто человеческих, нравственных, жизненных отношениях, — чтобы понять все это во всем

его величии, нам нет надобности призывать сначала абстракцию какого-то «бога» и приписывать ей все прекрасное, великое, возвышенное и истинно-человеческое; нам нет надобности в таком окольном пути, нам нет надобности сначала ставить печать «божественного» на истинно-человеческом, чтобы быть уверенным в его важности и величии. Напротив, чем «божественнее», т. е. нечеловечнее, является какой-нибудь предмет, тем меньше удивления он может вызвать в нас. Одно лишь *человеческое* происхождение содержания всех религий дает им местами хоть какое-нибудь право на уважение; одно лишь сознание, что даже самое дикое суеверие все же в основе своей отражает вечные свойства человеческого существа, хотя бы и в такой изуродованной и искаженной форме, — одно лишь это сознание спасает историю религии и, в частности, историю средневековья от полного ее отрицания и *вечного* забвения, иначе такая судьба постигла бы эту «богопреисполненную» историю. Чем «богопреисполненнее» она, тем больше в ней бесчеловечности, зверства; «богопреисполненные» средние века во всяком случае привели к полному человеческому озверению, к крепостничеству, к праву первой ночи и т. д. *Безбожие* нашего времени, о котором так печалится Карлейль, есть именно его богопреисполненность. Отсюда становится ясным, почему я назвал выше человека решением загадки сфинкса. До сих пор вопрос всегда гласил: что есть бог? и немецкая философия разрешала его так: бог — это человек. Человек должен лишь познать себя самого, измерить все жизненные отношения по себе самому, судить сообразно своей сущности, устроить мир истинно по-человечески, согласно требованиям своей природы, — тогда он разрешил загадку нашего времени. Истину следует искать не в потусторонних областях, лишенных живых существ, не вне времени и пространства, не в «боге», присущем миру или противопоставленном ему, а гораздо ближе, в собственной груди человека. Собственное существо человека много величественнее и возвышеннее, чем воображаемое существо всевозможных «богов», представляющих собой лишь более или менее неясное и искаженное изображение самого человека. Если поэтому Карлейль повторяет вслед за Бен-Джонсоном, что человек утратил свою душу и только теперь начинает замечать ее отсутствие, то правильнее было бы сказать: человек утратил в религии свою собственную сущность, отчуждил свою человечность, и теперь, когда с прогрессом истории религия поколеблена, он заметил ее пустоту и бессодержательность. Но для него нет другого спасения; он может снова обрести свою человечность, свою сущность не иначе, как основательно преодолев все

религиозные представления и решительно, честно вернувшись не к «богу», а к себе самому.

Все это имеется и у Гете, «пророка», и у кого глаза открыты, тот может это прочесть. Гете неохотно имел дело с «богом»; от этого слова ему делалось не по себе; он чувствовал себя как дома только в человеческом, и эта человечность, это освобождение искусства от оков религии именно и составляют величие Гете. В этом отношении с ним не могут сравниться ни древние, ни Шекспир. Но эту совершенную человечность, это преодоление религиозного дуализма может постигнуть во всем его историческом значении лишь тот, кому не чужда другая сторона немецкого национального развития — философия. То, что Гете мог высказать лишь непосредственно, т. е. в известном смысле «пророчески», то развито и доказано в новейшей немецкой философии. В Карлейле также скрыты предпосылки, которые последовательным путем должны привести к выше развитой точке зрения.

Сам пантеизм есть лишь последняя ступень к свободному, человеческому воззрению. История, изображаемая Карлейлем как настоящее «откровение», заключает в себе лишь человеческое; ее содержание человечности лишь насильственным путем может быть у ней отнято и поставлено в счет какого-то «бога». Труд, свободная деятельность, в которой Карлейль также видит «культ», есть опять-таки чисто человеческое дело; труд может быть поставлен в связь с «богом» тоже лишь насильственным путем. К чему постоянно выдвигать на первый план слово, которое в лучшем случае лишь выражает бесконечность неопределенности и к тому еще поддерживает видимость дуализма, — слово, которое само по себе заключает признание ничтожности природы и человечества?

Такова внутренняя, религиозная сторона карлейлевской философии. К ней непосредственно примыкает внешняя, политико-социальная сторона; Карлейль еще достаточно религиозен, чтобы остаться в состоянии несвободы; пантеизм все еще признает нечто высшее, чем человека как такового. Отсюда его стремление к «истинной аристократии», к «героям», словно эти герои в лучшем случае могли бы быть больше чем *людьми*. Если бы он постиг человека как человека, во всей его бесконечности, он не пришел бы к мысли снова делить человечество на два стада — овец и козлищ, правящих и управляемых, аристократов и чернь, господ и дураков; тогда он нашел бы истинное социальное призвание таланта не в том, чтобы насильственно править, а толкать других и идти впереди. Талант должен убедить толпу в истинности своих идей, и тогда ему больше

не придется беспокоиться об их осуществлении, потому что оно пойдет само собой. Человечество проходит через демократию, конечно, не затем, чтобы вернуться к тому месту, откуда оно вышло.

Впрочем, все, что Карлейль говорит о демократии, не оставляет желать ничего лучшего, за исключением только что сказанного о неясности у Карлейля насчет целей, задач современной демократии. Демократия является, конечно, лишь переходным пунктом, но не к новой улучшенной аристократии, а к действительной, человеческой свободе; точно так же нерелигиозность века приведет в конечном счете к полному освобождению от всего религиозного, сверхчеловеческого и сверхъестественного, а не к его восстановлению.

Карлейль понимает недостаточность «конкуренции, спроса и предложения, служения маммоне» и т. д. и всего менее склонен признавать абсолютную справедливость земельной собственности. Но почему он не сделал из всех этих предпосылок простого заключения и не отверг частной собственности вообще? Каким образом думает он уничтожить «конкуренцию», «спрос и предложение», «служение маммоне» и т. д., раз существует корень всего этого — частная собственность? «Организация работы» тут не поможет; без известного тождества интересов она даже не может быть осуществлена. Почему бы не продумать последовательно, не признать тождественности интересов единственно достойным человека состоянием и тем положить конец всем трудностям, всей неопределенности и неясности?

Во всех своих рапсодиях Карлейль ни словом не упоминает об английских социалистах. Покуда он остается на своей теперешней точке зрения, хотя и бесконечно опередившей большинство образованных англичан, но все еще абстрактно-теоретической, он, разумеется, никогда не сумеет особенно близко подойти к их стремлениям. Английские социалисты — чистые практики, и потому они предлагают мероприятия вроде колонизации родины и т. д., несколько напоминающие моррисоновские пилюли; их философия — чисто английская, скептическая, т. е. они потеряли веру в теорию и на практике придерживаются материализма, на котором покоится вся их социальная система. Все это мало говорит сердцу Карлейля; но он так же односторонен, как и те. Оба они преодолели противоречие в *пределах* противоречия: социалисты — в пределах практики, Карлейль — в пределах теории, но даже здесь он преодолел это противоречие лишь непосредственным путем, тогда как социалисты путем мышления решительно избавились от противоречия в практике.

Социалисты остаются еще англичанами именно там, где им сле-

довало бы быть только людьми; из философских учений континента им известен один только материализм, даже не немецкая философия; это — общий их недостаток, и они непосредственно содействуют уничтожению этого пробела, работая в сторону уничтожения национальных различий. Нам неважно спешить навязывать им немецкую философию, — к ней они придут сами собой, теперь она могла бы принести им мало пользы. Во всяком случае, социалисты представляют собой единственную партию в Англии, имеющую будущее, как бы относительно слабы они ни были. Демократия, чартизм должны вскоре одержать верх, и тогда массе английских рабочих останется один только выбор между голодной смертью и социализмом.

Для Карлейля и его воззрений незнание немецкой философии отнюдь не безразлично. Себе самому он представляется немецким теоретиком, и притом, благодаря своей национальности, склоняющимся к эмпирии; он находится в вопиющем противоречии, которое он мог бы разрешить, лишь развив свою немецко-теоретическую точку зрения до ее последних логических выводов, до полного примирения с эмпирией.

Чтобы освободиться из того противоречия, в котором он находится, Карлейлю остается сделать один только шаг, но, как это показал весь опыт Германии, — тяжелый шаг. Следует пожелать, чтобы он сделал его; хотя Карлейль уже не молод, он все же способен его сделать, ибо прогресс, обнаруженный его последней книгой, доказывает, что его развитие еще продолжается.

При всем том книга Карлейля стоит немецкого перевода в десять тысяч раз больше, чем все легионы английских романов, ежедневно и ежечасно импортируемых в Германию, и мой совет — перевести ее. Но да не прикоснутся к нему руки ремесленных переводчиков! Карлейль пишет своеобразным английским языком, и переводчик, не знакомый основательно с английским языком и не понимающий его намеков на английскую жизнь, наделает самых уморительных ошибок.

После этого несколько общего введения я намерен в ближайших книжках нашего журнала подробнее остановиться на положении Англии и его главной сути — положении рабочего класса. Положение Англии имеет неизмеримое значение для истории и для всех других стран, потому что в социальном отношении Англия, во всяком случае, далеко опередила все прочие страны.

ПОЛОЖЕНИЕ АНГЛИИ. — XVIII ВЕК.

На первый взгляд век революции прошел для Англии без больших перемен. Между тем как на континенте был разрушен целый старый мир и двадцатипятилетняя война очистила атмосферу, в Англии все оставалось спокойно, и ни государство, ни церковь не подвергались каким-либо угрозам. И, однако, Англия претерпела с середины прошлого века больший переворот, чем какая-либо другая страна, — переворот тем более богатый последствиями, чем тише он совершался, который поэтому, по всем вероятностям, скорее достигнет на практике своей цели, чем французская политическая или немецкая философская революция. В Англии имеет место революция социальная, более объемлющая и захватывающая, чем какая-либо другая. Нет такой, хотя бы самой отдаленной, области человеческого знания или человеческих жизненных отношений, которая не сделала бы в нее свой вклад и, в свою очередь, не подвергалась бы под ее влиянием известным переменам. Только социальная революция есть истинная революция, в которую должны вылиться революции политическая и философская; и эта социальная революция в Англии уже в течение семидесяти или восьмидесяти лет в ходу и именно теперь движется быстрыми шагами навстречу к своему кризису.

XVIII век был эпохой объединения, собирания человечества из состояния раздробленности и разъединения, в которое оно было ввергнуто христианством; это был предпоследний шаг на пути к самопознанию и самоосвобождению человечества, но именно как предпоследний он оставался односторонним и застрявшим в противоречии. XVIII век объединил результаты прошлой истории, бывшие до того отрывочными и случайными, и развил их необходимость и внутреннее сцепление. Бесчисленные перепутанные данные познания были упорядочены, обособлены и приведены в причинную связь; знание стало наукой, и науки стали совершеннее, т. е. примкнули, с одной стороны, к философии, с другой — к практике. До XVIII века науки не существовало; познание природы получило

научную форму лишь в XVIII веке, в некоторых отраслях — несколько ранее. Ньютон создал научную астрономию своим законом тяготения, научную оптику — разложением света, научную математику — теоремою о биноме и теориею бесконечных, научную механику — познанием природы сил. Физика точно так же получила свой научный характер в XVIII веке; химия была еще только создана Блэком, Лавуазье и Пристли; география была поднята на уровень науки определением формы земли и многими путешествиями, теперь только начавшими приносить пользу науке; точно так же естественная история — Бюффоном и Линнеем; даже геология стала постепенно высвобождаться из болота фантастических гипотез, в котором прозябала. Для XVIII века характерною была идея энциклопедии: она покоилась на сознании, что все эти науки между собою связаны, но она была еще не в состоянии заполнить переходы от одной науки к другой, а умела лишь просто ставить их рядом. Точно так же в истории; мы встречаем теперь впервые многотомные компиляции по всемирной истории, еще без критики и совершенно без философии, но все-таки всеобщую историю, вместо прежних исторических отрывков, ограниченных данным местом и временем. Политика была поставлена на основу гуманности, и политическая экономия была реформирована Адамом Смитом. Вершиною науки XVIII века был материализм, первая система натурфилософии и результат этой законченности естественных наук. Борьба с абстрактной субъективностью христианства привела философию XVIII века к противоположной односторонности; субъективности была противопоставлена объективность, духу — природа, спиритуализму — материализм, абстрактно-единичному — абстрактно-всеобщее, субстанция. XVIII век был возрождением античного духа в противовес христианскому; материализм и республика, — философия и политика древнего мира, — возникли вновь, и французы, представители античного принципа в *лоне* христианства, овладели на некоторое время историческою инициативою.

Итак, XVIII век не разрешил великого противоречия, занимающего историю испокон века и заполняющего ее своим развитием: противоречия субстанции и субъекта, природы и духа, необходимости и свободы; но он противопоставил друг другу обе стороны противоречия во всей их резкости и полноте развития и этим сделал необходимым его разрешение. Последствием этого ясного, последнего развития противоречия была всеобщая революция, которая распределилась по различным национальностям и предстоящее разрешение которой будет одновременно разрешением противоречия всей

прошлой истории. Немцы, христианский спиритуалистический народ, пережили философскую революцию; французам, антично-материалистическому, а посему политическому народу, суждено было проделать революцию на политическом пути; англичане, национальность которых представляет смешение немецких и французских элементов, которые, следовательно, носят в себе обе стороны противоречия и оттого универсальнее, чем каждый из обоих этих факторов сам по себе, были поэтому вовлечены в более универсальную, социальную революцию. Это потребует более внимательного разбора, ибо доньше положение национальностей, по крайней мере в новое время, трактовалось в нашей философии истории очень недостаточно, или, скорее, совсем не трактовалось.

Что Германия, Франция и Англия являются тремя руководящими странами современной истории, я могу, пожалуй, принять как данное; что немцы представляют христиански-спиритуалистическое начало, французы — антично-материалистическое, иными словами, — первые — религию и церковь, вторые — политику и государство, точно так же ясно или будет в свое время разъяснено; значение англичан в новейшей истории меньше бросается в глаза, но важнее всего для настоящей нашей цели. Английская нация образовалась из германских и романских племен в то время, когда обе эти нации едва только обособились одна от другой и только начали свое развитие в обе стороны противоречия. Германские и романские элементы развивались рядом и образовали, в конце концов, национальность, которая носит в себе непосредственно обе односторонности. Германский идеализм сохранил столько свободной игры, что мог даже перекинуться в свою противоположность — в абстрактный формализм; право продажи жены и детей и торговый дух англичан вообще следует решительно поставить на счет германских элементов. Точно так же романский материализм превратился в абстрактный идеализм, внутреннее чувство и религиозность; отсюда феномен продолжения романского католицизма в *лоне* германского протестантизма, папизм светских властителей и совершенно католическая манера заполнять религию обрядностями. Характер английской национальности есть неразрешенное противоречие, соединение самых резких контрастов. Англичане самый религиозный народ в мире и в то же время самый нерелигиозный; они больше пекутся о потустороннем мире, чем какая-либо другая нация, и живут при этом, однако, так, как будто для них нет ничего другого, кроме земного существования; их надежда на небо не мешает им нисколько верить так же крепко в «ад незарабатывания денег». Отсюда вечное внутрен-

нее беспокойство англичан, — чувство неспособности разрешить противоречие, которое само по себе гонит их к деятельности. Чувство противоречия есть источник энергии, но только излучающейся наружу энергии, и это чувство противоречия было источником колонизации, мореплавания и вообще огромной практической деятельности англичан. Неспособность разрешить противоречие проходит через всю английскую философию и приводит ее к эмпиризму и скептицизму. Раз Бэкон не мог *своим* разумом разрешить противоречие идеализма и реализма, разум должен был вообще оказаться к тому неспособным, идеализм — попросту забракowanym и эмпиризм признан единственным средством спасения. Из того же источника ведет происхождение критика способности познания и психологическое направление вообще, в котором единственно с самого начала двигалась английская философия и которое, в конце концов, после всех тщетных попыток разрешить противоречие, объявляет его неразрешимым, разум — недостаточным и ищет спасения либо в религиозной вере, либо в эмпирии. Юмовский скептицизм есть еще в наши дни форма всякого иррелигиозного философствования в Англии. Мы не можем знать, — рассуждает это мировоззрение, — существует ли бог, а если он существует, то всякое сообщение с нами для него невозможно, и поэтому нам нужно устраивать свою практику так, как будто его нет. Мы не можем знать, отличен ли дух от тела и бессмертен ли он; поэтому мы живем так, как будто бы это была наша единственная жизнь, и не печемся о вещах, которые превышают наш разум. Короче, практика этого скептицизма повторяет точно французский материализм, но в области метафизической теории она застревает в своей неспособности к окончательному разрешению вопроса. Но, нося в себе оба элемента, которые двигали на континенте историю, англичане по этому самому были в состоянии без особенных связей с континентом поспевать за движением, а по временам даже опережать его. Английская революция XVII века представляет точный прообраз французской революции 1789 года. В Долгом парламенте легко отличить три ступени, которым во Франции соответствовали Учредительное собрание, Законодательное собрание и Национальный конвент; переход от конституционной монархии к демократии, военному деспотизму, реставрации и умеренной революции резко выражен в английской революции. Кромвель соединял в одном лице Робеспьера и Наполеона; Жиронде, Горе и эбертистам с бабувистами соответствуют пресвитериане, индепенденты и левеллеры; политический результат обеих революций был довольно жалкий, и вся эта параллель, которую можно было бы

провести еще гораздо точнее, доказывает также, между прочим, что религиозная и иррелигиозная революции, поскольку они остаются политическими, обе сводятся в конце концов к одному. Однако англичане только на время опередили континент, который с ними постепенно опять поравнялся; английская революция закончилась «золотой серединой» и созданием обеих национальных партий, между тем как французская еще не закончилась и не может закончиться, пока не подойдет к тому же результату, к которому должны прийти немецкая философская и английская социальная революции.

Английский национальный характер существенно отличен как от немецкого, так и от французского; в нем сказывается отчаяние разрешить противоречие и вытекающая отсюда полная преданность эмпирии. И чистый германизм также превратил свою абстракцию содержания в абстракцию формы, но эта абстракция формы никогда не теряла следов своего происхождения и оставалась всегда подчиненною абстракции содержания и спиритуализму. Французы стоят также на материальной, эмпирической почве; но так как эта эмпирия представляет собою непосредственное национальное направление, а не побочное следствие расщепленного в себе самом национального сознания, то она утверждает себя в национальном, всеобщем масштабе, проявляется как политическая деятельность. Немец утверждал абсолютную обоснованность спиритуализма и поэтому усиливался развить общие интересы человечества в религии и позднее — в философии. Француз противопоставлял этому спиритуализму материализм как абсолютно обоснованный и принимал поэтому государство как вечную форму этих интересов. Но англичанин *не имеет* общих интересов, он не может о них говорить, не затрагивая большого места — противоречия; он в них отчаивается и имеет только частные интересы. Эта абсолютная субъективность, раздробление всеобщего на много частных, хотя и германского происхождения, но, как уже сказано, оторвана от своего корня, а потому действительна только *эмпирически* и отличает именно английскую социальную эмпирию от французской политической эмпирии. Деятельность Франции всегда была национальная, с первого приступа сознающая свою целостность и всеобщность; деятельность Англии была работой независимых, стоящих рядом друг с другом личностей, движением несвязанных атомов, редко действовавших как целое, да и то лишь из *индивидуального интереса*. Отсутствие единства этих личностей выступает на свет именно сейчас в общем злополучии и полной раздробленности.

Иными словами, только Англия имеет социальную историю.

Abonnements-Preise:

In Paris:

Ein Jahr 24 Francs.
Dochl Monats . . . 12
Drei Monate 8

Auswärts:

Ein Jahr 28 Francs.
Dochl Monats . . . 14
Drei Monate 9

Insertionen: die Zeile à 50 Centimes.

Vorwärts!



Man abonnet:

in Paris: im Bureau central pour l'Allemagne, rue des Mathurins, 12, auch in der Buchhandl. von Jules Beaumont & Co., rue de la Harpe, 6; in den Departements: bei allen Buchhändlern und Verlegern; Deutschland, Schweiz, England: in allen Buchhandlungen; Belgien: bei den Verlegern; Nord-Amerika: bei den Herren Mitchell und Grenbert, City-Street, Nr. 3, in New York.

Eröffnet Altmann und Conradi.

(Sonntags.)

Pariser Deutsche Zeitschrift.

(31. August)

Die Lage Englands.

Das achtzehnte Jahrhundert.

Dem Anfange nach ist das Jahrhundert der Revolution an England ohne viel Veränderung vorübergezogen. Während auf dem Continente eine ganze alte Welt getrümmert wurde, während ein fünfandzwanzigjähriger Krieg die Atmosphäre religiös, blieb in England Alles ruhig, wurde weder Staat noch Kirche irgendwie bedrückt. Und doch hat England seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts eine größere Umwälzung durchgemacht, als irgend ein anderes Land, — eine Umwälzung, die um so folgenreicher ist, je früher sie bemerktigt wurde, und die deshalb eher Wahrheitsähnlichkeit nach ihr Ziel eher in der Praxis erreichen wird, als die französische politische oder die deutsche philosophische Revolution. Die Revolution Englands ist eine sociale, und daher umfassender und einseitiger als irgend eine andere. Es gibt kein noch so entlegenes Gebiet menschlicher Erkenntnis und menschlicher Lebensverhältnisse, das nicht zu ihr beigetragen und wiederum von ihr eine veränderte Stellung empfangen hätte. Die sociale Revolution ist erst die wahre Revolution, in der die politische und philosophische Revolution ausmünden müssen; und diese sociale Revolution ist in England schon seit

lebendig oder achtzig Jahren im Gange, und geht eben jetzt mit raschen Schritten ihrer Krisis entgegen.

Das achtzehnte Jahrhundert war die Zusammenfassung, die Sammlung der Menschheit aus der Zerplitterung und Vereinzelung, in die sie durch das Christenthum gerufen war; der vorletzte Schritt zur Selbstkenntnis und Selbstbefreiung der Menschheit, der aber als der vorletzte darum auch noch stülpelig im Widerspruch stehen blieb. Das achtzehnte Jahrhundert fasste die Resultate der bisherigen Geschichte, die bis dahin nur vereinzelte und in der Form der Zurückgefallen aufgetreten waren, zusammen, und entwickelte ihre Nothwendigkeit und ihre innere Verflechtung. Die zahllosen, durcheinander gewürfelten Data der Erkenntnis wurden geordnet, gefordert und in Causalverbindung gebracht; das Wissen wurde wissenschaftlich, und die Wissenschaften näherten sich ihrer Vollendung, d. h. knüpften sich auf der einen Seite an die Philosophie, auf der andern an die Praxis an. Vor dem achtzehnten Jahrhunderte gab es keine Wissenschaft; die Erkenntnis der Natur nahm ihre wissenschaftliche Form erst im achtzehnten Jahrhunderte an, oder in einigen Zweigen ein paar Jahre vorher. Newton schuf die wissenschaftliche Astronomie durch das Gravitationsgesetz, die wissenschaftliche Optik durch die Zerlegung des Lichts, die wissenschaftliche

Mathematik durch die Hydraulischen Saug und die Theorie des Ueberflusses und die wissenschaftliche Mechanik durch die Erkenntnis der Natur der Kräfte. Die Physik erhielt ebenfalls im achtzehnten Jahrhunderte ihren wissenschaftlichen Charakter; die Chemie wurde durch Black, Lavoisier und Berzelius erst geschaffen; die Geographie wurde durch die Bestimmung der Gestalt der Erde und die Welt, jetzt erst mit Augen für die Wissenschaft unternommenen Reisen zur Wissenschaft erhoben; ebenso die Naturgeschichte durch Buffon und Linnae; selbst die Geologie fing allmählig an, sich aus dem Strudel phantastischer Hypothesen, in dem sie verfaul, herauszuarbeiten. Der Gehalt der Encyclopädie war für das achtzehnte Jahrhunderte charakteristisch; er bezeugt auf dem Bewußtsein, daß alle diese Wissenschaften unter sich zusammenhängen, war aber noch nicht im Stande, die Übergänge zu machen, und konnte sie daher nur einfach neben einander stellen. Ebenso in der Geschichte; wir finden jetzt zuerst übereinstimmende Compilationen der Weltgeschichte, noch ohne Kritik und vollends ohne Philologie, aber doch allgemeine Geschichte, anstatt der bisherigen local und zeitlich beschränkten Geschichtsschreibungen. Die Politik wurde auf eine wissenschaftliche Basis gestellt, und die Rational-Ökonomie durch Adam Smith reformirt. Die Spitze der Wissenschaft des achtzehnten Jahrhunderte war die Materialismus.

Feuilleton des Vorwärts.

Zur Tagesgeschichte.

Gott unsere Hoffnung.

Te Deum wollen sie singen, Weil Gott ihn erhalten hat; Die Weltverächter schwingen — O pfui! die Komodie ist maer.

Oh liebe Herrgott du odem Ist doch ein gefälliger Mann, Und wenn die Berliner ihn loben Dann schaut er sie freundlich an.

Der Herrgott löst alles beim Willen, Ob's lebend oder todt ist; Er hat auch den da erbeutet: Deus spes nostra est!

Schiller'scher Schuß.

Sagt, was hat der Mann bedrohen, Dem man dert zum Ketzer schreit? Auf den Büchlein hat er geschossen, Über nur den Palla gestreift.

„Was Gott thut, das ist recht gescheh.“

Wenn das keine Sprüche wahr ist, Er — so hab' ich oft gedacht — Dann hat Gott, wie an sich klar ist, Wunders König nicht gemacht.

Und ich hegte bangs Zweifel Über Gottes Wachtgedrauch; Doch der Zweifel ist vom Teufel! Preussens König etwa auch?...

Und ich ward vom Schlag getroffen, Ist und hab' mich eitel' mich nicht; Und ich sah den Himmel offen — Preussens König — ich nicht.

W. Körn.



Deutsche Briefe aus der Gegenwart.

So lange die „Aberlinische Zeitung“ ihre Geißel über die deutsche Schindmärenpresse schwenkt, so lange werden wir...

nigsten an und verfuhrte es zuweilen, dem Kerker, morauf der deutsche Michel schickte, aus dem Lohre zu ziehen; seitdem aber dieser Lagerwärter nicht mehr bläst, wüßten die deutschen Blätter wieder wie eine Fischerzettel im Stump herum und wehren und schwänzen und toben sich nicht an Ruh, und bueten dies das Haupt unter, wenn eine polizistische Dabst, die sie für eine Person an sehen, nach ihnen löst. Man lese nur die „N. N. S.“ die wie ein Stoppelstiel aussteht und die, wenn sie über den Boden will, nur vorstommt, wie ein Kaktus, der sich auf der Verjüngung die Haare aufreißt möchte. Erst war sie jetzt auch Ruh, aber er war geteuer, man giebte aber irgendem hinein; jetzt aber scheint die Sonne der Gerechtigkeit und des bairischen Volksthum auf den Boden, so daß er den Erde bis über die Augen bespricht. Die „Reise durch Völkergemeine“ ist ein anderer Gedächtnis-berühmter Pantheon geworden. Selbst bei Galt nicht, trümmte sie sich schlagend und freit sich nicht an den Boden und bündelndem bündelndem Spruch. Was aus brauen den bei Galt ein gelinnendes Blett? Dürft wüßiger, wüßiger, prächtiger Böhmen mit feinem Kinn ausen ist in diesen Augenblick abgerufen, den Kinn zu haben, an den noch Keiner gekloffen hat, obgleich er aus Blut war zu einer Fische von der Natur geschaffen zu sein schreit. Es freuen sich, dem Böhmen zu sein, und tanzen Gott, der Vorlesung und der Pöbel, d. h. Galt zu sein, — als wenn ihr moer Böhmen sein kö-

Только в Англии индивиды, как таковые, не представляя сознательно всеобщих принципов, способствовали национальному развитию и приблизили его к развязке. Лишь здесь масса действовала как масса, во имя своих собственных частных интересов; лишь здесь принципы претворялись в интересы раньше, чем могли иметь влияние на историю. Французы и немцы приходят также постепенно к социальной истории, но они ее еще не имеют. И на континенте были бедность, нищета и социальное угнетение, но это не имело влияния на национальное развитие. Напротив, бедность и нищета рабочего класса современной Англии имеют национальное, более того — имеют всемирно-историческое значение. Социальный момент на континенте совсем еще скрыт под политическим, совершенно еще от него не отделился, тогда как в Англии политический момент был постепенно пересилен социальным и ему подчинен. Всякая английская политика в основе своей имеет социальный характер, и лишь потому, что Англия еще не переросла государства, что политика для нее — средство необходимости, лишь потому социальные вопросы выявляются как политические.

Пока государство и церковь — единственные формы, в которых осуществляются общие определения человеческого существа, до тех пор о социальной истории не может быть речи. Древний мир и средневековье не могли поэтому обнаружить никакого социального развития; лишь реформация, первая, еще робкая и глухая попытка реакции против средневековья, вызвала социальный переворот, превращение крепостных в «свободных» работников. Но и этот переворот остался без большого прочного влияния на континенте; он завершился здесь, собственно, даже с революцией XVIII века, тогда как в Англии с реформацией поколение крепостных превратилось в вилланов, *bordars*, *cottars*, и таким образом в класс лично свободных работников. Уже XVIII век развил здесь последствия этого переворота. Почему это произошло только в Англии — разъяснено выше.

Древний мир, не знавший еще ничего о праве субъекта и все мировоззрение которого было по существу абстрактно, всеобщно, субстанциально, не мог поэтому существовать без рабства. Христианско-германское миропонимание противопоставляло древнему миру, как основной принцип, абстрактную субъективность, т. е. произвол, сущность, спиритуализм; но эта субъективность должна была именно как абстрактная, односторонняя, превратиться в свою противоположность и вместо свободы субъекта породить рабство субъекта. Абстрактная сущность стала абстрактной формой,

унижением и отчуждением человека, и первым последствием нового принципа было восстановление рабства в другой, менее отталкивающей, но потому и лицемерной, и более бесчеловечной форме, форме крепостного права. Отмена феодальной системы, политическая реформация, т. е. *кажущееся* признание разума и потому истинное завершение неразумия, *формально* уничтожила крепостное право, но в действительности сделала его более бесчеловечным, более всеобщим. Она впервые изрекла, что человечество должно впредь объединяться не принуждением, т. е. *политическими* средствами, а интересами, т. е. средствами *социальными*, и этим она положила в основу социального движения новый принцип. Но, хотя она таким способом и отрицала государство, она еще основательнее восстановила его с другой стороны, вернув ему узурпированное до тех пор церковью содержание и придав бессодержательному в течение средних веков и лишенному значения государству силу нового развития. Из развалин феодализма возникло христианское государство, завершение христианского миросостояния в политическом отношении; возведением интереса во всеобщий принцип это христианское миросостояние было завершено в другом отношении, ибо интерес, по существу, субъективен, эгоистичен, имеет частный характер и, как таковой, представляет высшую точку германско-христианского принципа субъективности и разъединения. Последствием возведения интереса в связующее начало человечества необходимо является, — до тех пор, пока интерес остается именно непосредственно субъективным, просто эгоистичным, всеобщая раздробленность, сосредоточение индивидов на самих себе, изолирование, превращение человечества в кучу взаимно отталкивающихся атомов; и это разъединение есть опять-таки последний вывод христианского принципа субъективности, завершение христианского миросостояния. Далее, пока продолжает существовать отчуждение земли, частная собственность, до тех пор интерес необходимо должен быть частным интересом, и его господство должно выявляться как господство собственности. Уничтожение феодального рабства сделало «чистоган единственной связью между людьми». Собственность — противостоящее человеческому, духовному началу естественное, безыдейное начало — возводится этим на трон, и в последней инстанции, чтобы завершить это отчуждение, деньги — отчужденная, пустая абстракция собственности — делаются властелином мира. Человек перестал быть рабом человека и стал рабом *вещи*; извращение человеческих отношений завершено; рабство современного торгашеского мира, утонченная, совершенная, универсальная продажность — более бесчеловечна и

всеобъемлюща, чем крепостное право феодальной эпохи; проституция — более безнравственна и животна, чем *jus primaе noctis*.

Выше христианское миросостояние не может быть возведено; оно должно сокрушиться в самом себе и уступить место человеческому, разумному состоянию. Христианское государство есть только последняя возможная форма проявления государства вообще; с его падением государство, как таковое, должно пасть. Распыление человечества в массу изолированных, взаимно отталкивающихся атомов есть уже само по себе уничтожение всех корпоративных, национальных и вообще отдельных интересов и последняя необходимая ступень к свободному самообъединению человечества. Завершение самоотчуждения человека в господстве денег есть неизбежный переход к ныне уже близкому моменту, когда человек должен опять прийти к себе самому.

Социальная революция в Англии развила эти последствия уничтожения феодальной системы так далеко, что кризис, который уничтожит христианское миросостояние, уже не может быть далек, что время этого кризиса может быть с уверенностью предсказано, если не точно в смысле срока и количества, то все же качественно, а именно этот кризис должен наступить, когда будут отменены хлебные законы и будет введена народная хартия, т. е. когда аристократия крови будет политически побеждена аристократией денег, а эта последняя — рабочею демократиею.

XVI и XVII века вызвали к жизни все предпосылки социальной революции, ликвидировали средневековые, водворили социальный, политический и религиозный протестантизм, создали колонии, морскую силу и торговлю Англии и поставили рядом с аристократией растущий, уже довольно могущественный средний класс. Социальные отношения установились постепенно после смут XVII века и приняли твердую форму, которую сохранили до 1780 или 1790 г.

Тогда существовало три класса землевладельцев: *знатные лэндлорды* — единственная еще, оставшаяся и не пострадавшая аристократия в государстве, сдававшая свои земли в аренду мелкими участками и проедавшая ренту в Лондоне или в путешествиях; *незнатные лэндлорды*, или провинциальные землевладельцы (*country gentlemen*, обычно титуловавшиеся *«сквайрами»*), которые жили в своих имениях, землю сдавали в аренду и пользовались со стороны своих арендаторов и других окрестных жителей тем аристократическим престижем, в котором им отказывали в городах из-за их низкого происхождения, недостатка образования и грубого мужицкого облика. Этот класс в настоящее время совершенно исчез. Прежние

сквайры, господствовавшие с патриархальным авторитетом среди окрестных сельских жителей, бывшие советниками, третейскими судьями и пр. во всех делах, совершенно вымерли; их потомки воутся нетитулованной аристократией Англии, соперничают в образовании и тонком обращении, роскоши и аристократическом образе жизни со знатью, которая немногим их опередила, и не имеют со своими грубыми, неотшлифованными дедами ничего общего, кроме земельной собственности. Третьим классом землевладельцев были *иомены*, владельцы мелких участков, которые они сами обрабатывали обычно добрым старым небрежным способом праотцев; и этот класс исчез в Англии: социальная революция экспроприировала его и осуществила тот курьез, что в то самое время, когда во Франции крупная земельная собственность насильственно парцеллируется, в Англии мелкие земельные участки притягиваются и поглощаются крупной земельной собственностью. Рядом с иоменами стояли мелкие арендаторы, которые обычно, кроме своего земледелия, занимались еще ткачеством; и их в современной Англии уже не найти; почти вся земля поделена теперь на немногие крупные поместья и так сдается в аренду. Конкуренция вытеснила с рынка мелких арендаторов и иоменов и разорила их; они стали сельскими батраками и зависимыми от заработной платы ткачами, из них рекрутировалась та масса, от прилива которой города стали расти с такой удивительной быстротой.

Итак, крестьяне вели в свое время тихое и спокойное, богоспасаемое и почтенное существование, жили без лишних забот, но и без движения, без общих интересов, без образования, без умственной деятельности; они находились еще на доисторической ступени. Состояние городов немногим отличалось от этого. Только Лондон был значительным торговым пунктом; Ливерпуль, Гульль, Бристоль, Манчестер, Бирмингам, Лиде, Глазго не имели еще никакого значения. Главные отрасли промышленности — прядение и ткачество — велись большею частью в деревне и, во всяком случае, вне города, в его окрестностях; производство металлических и гончарных изделий стояло еще на ремесленной ступени развития; что же интересного представлял город того времени? Несравненная простота избирательной системы избавляла горожан от всяких политических забот; люди были номинально виги или тории, но знали очень хорошо, что по существу это безразлично, ибо не имели права выборов; все население городов состояло из мелких купцов, лавочников и ремесленников, которые вели общеизвестный, столь непонятный современному англичанину образ жизни мелкого города. Рудники

едва эксплуатировались, железо, медь и олово еще лежали довольно мирно в земле, углем пользовались только для домашнего хозяйства. Словом, Англия находилась тогда в состоянии, в каком — увь! — по днесь еще пребывает бóльшая часть Франции и, в особенности, Германия, — в состоянии полного безразличия ко всем общим и духовным интересам, в состоянии социального детства, когда еще нет общества, жизни, нет сознания, деятельности. Это состояние есть *de facto* продолжение феодализма и средневековой безъидейности и изживается только с появлением современного феодализма, с расслоением общества на имущих и неимущих. Мы на континенте, как уже сказано, глубоко еще погружены в такое состояние. Англичане повели борьбу с ним восемьдесят лет тому назад и вот уже сорок лет как преодолели его. Если цивилизация есть дело практики, есть социальное качество, то англичане безусловно самый цивилизованный народ в мире.*

Я сказал выше, что науки приняли в XVIII веке свою научную форму и, вследствие этого, примкнули, с одной стороны, к философии, с другой — к практике. Результатом их присоединения к философии был материализм (имеющий своей предпосылкой столько же Ньютона, сколько Локка), просвещение, французская политическая революция. Результатом их присоединения к практике была английская социальная революция.

В 1760 году взошел на престол Георг III, прогнал вигов, которые со времени Георга I сидели почти бессменно на министерских скамьях, но правили, конечно, строго консервативно, и положил начало длившейся до 1830 г. монополии ториев. Этим правительство было избавлено от внутренней фальши; в политически консервативную эпоху Англии безусловно подобало, чтобы у власти была консервативная партия. Отныне социальное движение поглотило все силы нации и оттеснило, даже убило все политические интересы, ибо отныне *всякая внутренняя политика* стала только скрытым социализмом, формой, *которую принимают социальные вопросы*, чтобы выявить себя в общем национальном масштабе.

В 1763 г. д-р Джеймс Уатт из Гринока занялся постройкой паровой машины и закончил ее в 1768 г.

В 1763 г. Джосия Уеджвуд введением *научных принципов* положил начало расцвета гончарного дела в Англии. Благодаря его стараниям пустынный участок в Стафффордшире превратился в промышленную область, Potteries, где в настоящее время работает 60 000 человек и которая играет очень важную роль в *социально-политическом* движении последних лет.

В 1764 г. Джеймс Харгривс в Ланкашире изобрел *spinning jenny*, прядильную машину, которая давала возможность одному рабочему производить в шестнадцать раз больше, чем на старой самопрядке.

В 1768 г. Ричард Аркрайт, цырюльник из Престона в Ланкашире, изобрел *spinning throstle*, первую прядильную машину, которая с самого начала была рассчитана на механическую движущую силу. Она производит *water twist*, т. е. пряжу, употребляемую при тканье как основа.

В 1766 г. Самюэль Кромптон из Велтона в Ланкашире изобрел *spinning mule*, соединив принципы, положенные в основу *jenny* и *mule*. *Mule*, как и *jenny*, прядет мюль, твист, т. е. уток ткача. *Все три* машины предназначены для переработки хлопка.

В 1787 г. д-р Картрайт изобрел механический ткацкий станок, который, впрочем, подвергся многим усовершенствованиям и только в 1801 г. получил практическое применение.

Эти изобретения вызвали оживление социального движения. Ближайшим результатом их было возникновение английской промышленности, прежде всего переработки хлопка. Хотя дженни *удешевила* производство пряжи и этим дала первый толчок вытекающему отсюда расширению рынка промышленности, но она совершенно не затронула социальные стороны формы промышленного производства. Только машины Аркрайта и Кромптона и паровая машина Уатта вызвали движение, создав фабричную систему. Сперва возникли мелкие фабрики, приводимые в движение лошадиной или водяной силой, но они вскоре были вытеснены более крупными фабриками, приводимыми в движение водой или паром. Первая паровая прядильня была построена Уаттом в Ноттингемшире в 1785 г. За ней последовали другие, и вскоре система эта стала всеобщей. Распространение парового прядения, как и *все* другие современные или позднейшие промышленные реформы, шло с невероятной быстротой. Ввоз сырого хлопка, который в 1770 г. составлял менее 5 миллионов фунтов в год, поднялся до 54 млн. фунтов (1800 г.) и до 360 млн. фунтов в 1836 году. Теперь получил практическое применение паровой ткацкий станок и дал новый толчок прогрессу промышленности. Все машины подверглись многочисленным мелким, но в конечном итоге очень значительным улучшениям, и всякое новое усовершенствование оказывало благоприятное влияние на развитие всей системы промышленности. Революционизированы были *все* отрасли хлопчатобумажной промышленности. Набойка поднялась благодаря применению механической силы; вместе с тем бесконечно повысилось крашение и беление благодаря успехам химии;

сильно увеличилась также фабрикация чулок; с 1809 года стали производить машинами тонкие хлопчатобумажные предметы, тюль, кружева и т. д. За недостатком места я не могу проследить здесь в деталях историю развития хлопчатобумажной промышленности, я могу дать только результаты. В сравнении с допотопной промышленностью, с ее ручным станком для чесания пряжи и ручным ткацким станком, развитие это производит сильное впечатление.

В 1833 г. в Британской империи выделялось 10 264 мотка пряжи, длина которой составляла свыше 5 000 млн. миль, 350 млн. локтей хлопчатобумажной ткани; в действии находилось 1 300 хлопчатобумажных фабрик, на которых работало 237 000 прядильщиков и ткачей; в работе находилось свыше 9 млн. веретен, 100 000 паровых и 240 000 ручных ткацких станков, 33 000 станков для выделки чулок и 3 500 машин для производства тюля. 33 000 паровых лошадиных сил и 11 000 водяных лошадиных сил приводили в движение машины для переработки хлопка, полтора миллиона человек прямо или косвенно жили этой отраслью промышленности. Ланкашир исключительно, или, во всяком случае, главным образом живет прядением и тканьем хлопка. Ноттингемшир, Дербишир и Лейстершир являются главными центрами вспомогательных отраслей хлопчатобумажной промышленности. Количество производимых хлопчатобумажных товаров с 1801 года увеличилось в восемь раз. Еще гораздо больше увеличилась масса потребляемых внутри страны продуктов.

Толчок, данный хлопчатобумажной промышленности, быстро передался другим отраслям промышленности. До того времени обработка *шерсти* была главной отраслью промышленности. Теперь она была оттеснена обработкой хлопка, тем не менее она не сократилась, а даже расширилась. В 1785 г. вся шерсть, собранная в течение трех лет, оставалась необработанной; прядильщики не в состоянии были обработать ее, пока они оставались при старой самопрялке. Тогда начали применять прядильные машины для хлопка к прядению шерсти. Потребовались некоторые изменения, после которых это вполне удалось, и тогда шерстяная промышленность стала так же быстро развиваться, как мы это видели в хлопчатобумажной промышленности. Ввоз сырой шерсти увеличился с 7 млн. фунтов (1801 г.) до 42 млн. фунтов (1835 г.). В последнем году работало 1 300 шерстяных фабрик с 71 300 рабочими, не считая массы ручных ткачей, которые работали на дому, и набойщиков, красильщиков, белильщиков и т. д., и т. д., которые также косвенно живут обработкой шерсти. Главными центрами этой отрасли промышленности

являются Вест-Ридинг в Йоркшире и «Запад Англии» (в особенности Сомерсетшир, Уилтшир и т. д.). Главным центром льняной промышленности прежде являлась Ирландия. Около конца прошлого столетия были построены первые фабрики для обработки льна как раз в Шотландии. Но машины были еще очень несовершенны. Материал представлял некоторые трудности для обработки, которые требовали значительных изменений машин. Первый усовершенствовал их француз Жирар (1810 г.). Но практическое значение эти усовершенствования приобрели только в Англии. Применение парового ткацкого станка к прядению льна было произведено еще позднее, — и только с того времени быстро поднялась фабрикация льняных тканей, хотя ей пришлось сильно конкурировать с хлопчатобумажной промышленностью. Центрами ее сделались Лидс в Англии, Донди в Шотландии и Бельфаст в Ирландии. Один Донди ввез в 1814 году 3 000, в 1834 г. 19 000 тонн льна. Вывоз льняных тканей из Ирландии возрос в промежуток времени с 1800 до 1825 г. на 20 млн. ярдов, которые главным образом направились в Англию, а оттуда *отчасти* опять были вывезены. Вывоз всей Британской империи в другие страны возрос за время с 1820 до 1833 г. на 27 млн. ярдов. В 1835 г. работало 347 льняных фабрик, из них 170 в Шотландии. На этих фабриках было занято 33 000 рабочих, не считая многочисленных ирландских ручных ткачей.

Шелковая промышленность приобрела значение только с 1824 г. с отменой стеснительных пошлин. С тех пор ввоз сырого шелка удвоился, и число фабрик увеличилось до 266 с 30 000 рабочих. Главным центром этой отрасли промышленности является Чешир, Макльсфильд, Конгльтон и окрестности, затем Манчестер, а в Шотландии Песли. Центром ленточного производства является Ковентри в Варвикшире.

В этих четырех отраслях промышленности, в изготовлении пряжи и тканей, произошел коренной переворот. Место домашнего труда занял труд общественный в больших зданиях. Ручной труд был заменен движущей силой пара и работой машин. С помощью машины теперь ребенок 8 лет производил больше, чем прежде двадцать взрослых мужчин. Шестьсот тысяч фабричных рабочих, из которых половина детей и больше половины женщин, исполняют работу ста пятидесяти миллионов человек.

Но это только начало промышленного переворота. Мы видели, как крашение, набойка и беление развились в связи с прогрессом прядения и ткачества и вследствие этого пришлось прибегнуть к помощи механики и химии. Со времени применения паровой машины

и металлических цилиндров при набойке один рабочий исполняет работу двухсот человек. Употребление хлора вместо кислорода при белинии сократило эту операцию с двух месяцев до нескольких часов. Если так расширилось влияние промышленной революции на те процессы, которым подвергается продукт после прядения и ткачества, то воздействие новой промышленности на материал еще гораздо значительнее. Только паровая машина придала настоящую цену неисчерпаемым залежам каменного угля, которые тянутся под поверхностью Англии. Были открыты новые угольные копи, а старые стали разрабатываться с удвоенной энергией. Производство прядильных машин и ткацких станков также составило отдельную отрасль промышленности и дошло до такого совершенства, которого не достигла ни одна нация. Машины производились машинами и, благодаря далеко идущему разделению труда, достигнута была та точность и аккуратность, которые составляют преимущество английских машин. Производство машин, в свою очередь, оказывало влияние на добычу железа и меди, получившее, впрочем, главный толчок с другой стороны. Но все же в сравнении со способами, практиковавшимися до Уатта и Аркрайта, здесь произошел переворот.

Последствия раз данного промышленного толчка бесконечны. Движение одной отрасли промышленности передается всем остальным. Вновь созданные силы, как мы это только что видели, требуют пищи. Вновь созданное рабочее население приносит с собою новые жизненные отношения и новые потребности. Механические преимущества фабрикации уменьшают цену фабрикатов и этим удешевляют средства существования, а вследствие этого и заработную плату вообще. Все другие продукты могут продаваться дешевле и завоевывают таким образом, благодаря своей дешевизне, более широкий рынок. Пример того преимущества, которое дается применением механических сил, постепенно встречает подражание во всех отраслях промышленности: повышение уровня цивилизации, являющееся неперменным следствием всяких усовершенствований в промышленности, создает новые потребности, новые отрасли производства, а это опять-таки вызывает новые усовершенствования. Революция всей промышленности должна была быть следствием революции в бумагопрядении. И если мы не всегда можем проследить применение движущей силы в отдаленнейших отраслях промышленной системы, то в этом виноват только недостаток статистических и исторических данных. Но мы везде видим, что введение механического двигателя и вообще научных принципов было движущей силой прогресса.

Обработка *металлов* после прядения и ткачества является главной отраслью промышленности Англии. Главные центры ее Варвикшир (Бирмингем) и Стаффордшир (Вольвергемптон). Здесь уже очень рано применялась сила пара, и это вместе с разделением труда на три четверти сократило издержки производства металлических изделий. Зато вывоз за время с 1800 до 1835 г. увеличился в четыре раза. В первом году вывезено было 86 000 центнеров железных и столько же медных изделий, в последнем 320 000 центнеров железных и 210 000 центнеров медных и латунных изделий. Вывоз полосового железа и чугуна только теперь стал значителен. В 1800 г. вывезено было 4 600 полосового железа, в 1835 г. — 92 000 тонн полосового железа и чугуна.

Английские ножи производятся главным образом в Шеффилде. Применение силы пара для точения и полирования лезвий, превращение железа в сталь, которое только теперь приобрело значение, и вновь открытый способ отливки стали произвели и здесь полную революцию. Один Шеффилд потребляет ежегодно 500 000 тонн угля и 12 000 тонн железа, из них 10 000 тонн заграничного (в особенности шведского).

Употребление чугунных товаров также началось в последней половине прошлого столетия, и только в последние годы оно приобрело то значение, которое имеет в настоящее время. Газовое освещение (практически введенное с 1804 г.) создало необычайную потребность в чугунных трубах. Железные дороги, цепные мосты, машины и т. д. еще больше увеличили эту потребность. В 1780 г. было изобретено пудлингование, т. е. превращение чугуна в ковкое железо посредством накаливания и извлечения углерода, и это придало новое значение английским железным рудникам. По недостатку древесного угля англичане до тех пор должны были получать все ковкое железо из-за границы. С 1790 г. гвозди, с 1801 — винты стали фабриковаться машинами. В 1790 г. Гундсман в Шеффилде открыл способ отливки стали. Проволоку стали тянуть машинами, и вообще во всей железной и медной промышленности введена была масса новых машин, ручной труд был вытеснен и проведена фабричная система, насколько это допускала природа вещей.

Расширение рудников было только необходимым следствием этого. До 1788 г. вся железная руда переплавлялась при помощи древесного угля, и поэтому добывание железа было ограничено благодаря ничтожному количеству древесного угля. С 1788 г. начали вместо древесного угля употреблять кокс (серный уголь) и таким образом в течение шести лет в шесть раз увеличили количество еже-

годной добычи. В 1740 г. ежегодно добывалось 17 000 тонн, в 1835 г. — 553 000 тонн. Эксплоатация оловянных и медных рудников утроилась с 1770 г. Но наряду с железными рудниками угольные копи составляют самую важную отрасль горной промышленности Англии. Трудно даже вычислить увеличение добычи угля с половины прошлого столетия. Совершенно невозможно сравнивать массу угля, который в настоящее время потребляется огромным числом паровых машин на фабриках и в рудниках, горными и литейными заводами и домашним отоплением удвоившегося населения, с тем количеством, которое потреблялось сто или восемьдесят лет тому назад. Одно только плавление чугуна поглощает ежегодно больше трех миллионов тонн (двадцать центнеров тонн).

Ближайшим следствием создания промышленности было улучшение путей сообщения. Дороги в Англии в прошлом столетии были так же плохи, как и в других странах, и оставались такими до тех пор, пока знаменитый Мак-Адам не поставил постройку дорог на научных началах и этим дал новый толчок прогрессу цивилизации. От 1818 до 1829 г. в Англии и Уэльсе было проложено 1 000 англ. миль шоссе, не считая мелких проселочных дорог, и почти все старые дороги были обновлены по принципу Мак-Адама. В Шотландии ведомство общественных работ построило с 1803 г. более 1 000 мостов. В Ирландии отдаленные торфяные болота юга, где жило полудикое разбойничье население, были прорезаны дорогами. Благодаря этому стали доступны все отдаленные уголки страны, которые до сих пор были отрезаны от всего мира; в особенности кельтские округа Уэльса, шотландская горная страна и юг Ирландии принуждены были, таким образом, познакомиться с внешним миром и принять навязанную им цивилизацию. В 1755 г. был проведен первый заслуживающий упоминания канал в Ланкашире. В 1759 г. герцог Бриджватер начал проводить свой канал из Уорсли в Манчестер. С тех пор построено 2 200 миль каналов. Кроме того, в Англии имеется 1 800 миль судоходных рек, большая часть которых стала использоваться только в недавнее время.

С 1807 г. пар стал применяться для приведения в движение кораблей, и после первого британского парохода (1811 г.) было построено 600 других. В 1835 г. в английских гаванях находилось в действии до 550 пароходов. Первая общественная железная дорога была построена в 1801 г. в Сэрри. Но с открытием железной дороги между Ливерпулем и Манчестером (1830 г.) новый способ сообщения получил большое значение. Через шесть лет после этого было открыто 680 англ. миль железных дорог и действовали четыре большие

линии: из Лондона в Бирмингам, Бристоль и Саутгемптон и из Бирмингама в Манчестер и Ливерпуль. С тех пор вся Англия была покрыта сетью железных дорог, Лондон представляет узловую станцию для девяти дорог, Манчестер — для пяти.¹

Это революционизирование английской промышленности есть базис всех современных английских отношений, движущая сила всего социального движения. Его первым следствием было уже указанное выше установление господства интереса над человеком. Интерес овладел новосозданными промышленными силами и использовал их для своих целей; эти принадлежащие по праву человечеству силы стали, под воздействием частной собственности, монополиями немногих богатых капиталистов и средством порабощения массы. Торговля вобрала в себя промышленность и стала благодаря этому всемогущей, стала связующим началом человечества; все личные и национальные сообщения превратились в торговые сделки или, иными словами, собственность, вещь, стала властителем мира.

Господство собственности необходимо должно было сначала обратиться против государства и уничтожить его или, по крайней мере, поскольку не может без него обойтись, лишить его содержания. Наряду с промышленной революцией взялся за эту работу Адам Смит: он выпустил в 1776 году свое «Исследование о сущности и причинах национального богатства» и создал этим финансовую науку. Вся прошлая финансовая наука была исключительно национальной; государственное хозяйство рассматривалось как простая отрасль всего государственного дела и было подчинено государству как таковому; Адам Смит подчинил космополитизм национальным целям и возвел государственное хозяйство в существо и цель государства. Он свел политику, партии, религию, все — к экономическим категориям и этим признал собственность сущностью государства, обогащение его целью. С другой стороны, Вильям Годвин опроверг («Political Justice», 1793 г.) республиканскую систему политики, выставил одновременно с И. Бентамом принцип утилитаризма и, таким образом, сделав все законные выводы из республиканского *salus publica — suprema lex*, напал на самую сущность государства своим тезисом, что государство — зло. Годвин принимает еще принцип утилитаризма в самой общей форме, как обязанность гражданина пренебречь индивидуальным интересом и жить только для общего

¹ Вышеприведенные статистические данные взяты преимущественно из «Progress of the Nation», Портера, служащего Board of Trade (министерство торговли) при министерстве вигов, следовательно заимствованы из официальных источников.

блага; Бентам, напротив, развивает далее существенно социальную природу этого принципа, делая, в согласии с национальной тенденцией того времени, частный интерес основой общего интереса; провозглашает тождественность того и другого в тезисе, получившем особенное развитие в трудах его ученика Милля, что человеческая любовь — не что иное, как просвещенный эгоизм, и понимает «общее благо» как наибольшее счастье наибольшего числа людей. Бентам делает здесь в своей эмпирии ту же ошибку, какую Гегель сделал в теории; он не посвящает достаточно внимания преодолению противоречий, подчиняет субъект предикату, целое — части и этим опрокидывает все вниз головой. Сперва он говорит о нераздельности общего и частного интереса, а затем останавливается односторонне на грубом частном интересе; его тезис есть только эмпирическое выражение другого тезиса, что человек есть человечество, но так как он выражен эмпирически, то он предоставляет права рода не свободному, самосознающему и самотворящему, а грубому, слепому, связанному противоречиями человеку. Бентам делает свободную конкуренцию сущностью нравственности, регулирует отношения человечества согласно законам собственности, вещей, согласно естественным законам, превращая ее, таким образом, в завершение старого христианского, естественного миропорядка, в высшую точку отчуждения, а не начало нового состояния, которое самосознающий человек должен, с полной свободой, сам создать. Он не выходит за пределы государства, но отнимает у него всякое содержание, заменяет политические принципы социализма, делает политическую организацию формой социального содержания и этим доводит противоречие до высшей точки.

Одновременно с промышленной революцией возникла демократическая партия. В 1769 г. Дж. Горн Тук основал «Society of the Bill of Rights», в котором впервые со времен республики опять дискутировались демократические принципы. Как во Франции, все демократы были философски образованные люди, но скоро они увидели, что высшие и средние классы относятся к ним враждебно и только рабочий класс прислушивается к их принципам. Скоро они образовали в этой среде партию, и эта партия была уже в 1794 году довольно сильна, хотя еще не настолько сильна, чтобы действовать методически. С 1797 до 1816 г. о ней не говорили; в бурные годы, с 1816 до 1823 г., она была опять очень деятельна, но потом вновь впала в бездействие до июльской революции. С того времени она сохранила свое значение рядом со старыми партиями и правильно прогрессирует, как мы это увидим позже.

Важнейшим результатом XVIII века было для Англии создание пролетариата в результате промышленной революции. Новая промышленность требовала всегда готовой массы рабочих для бесчисленных новых отраслей труда, и таких рабочих, каких до тех пор не было. До 1780 года Англия имела мало пролетариев, как это с необходимостью вытекает из изображенного выше социального положения нации. Промышленность концентрировала труд на фабриках, в городах; соединение промышленной и сельскохозяйственной деятельности сделалось невозможным, и новый рабочий класс был занят только фабричным трудом. Прежнее исключение стало правилом и распространилось постепенно и вне городов. Мелкая земельная культура была вытеснена крупными арендаторами. Таким путем создан был новый класс земледельческих батраков. Города утроили и учетверили свое население, и почти весь этот прирост состоял из одних рабочих. Расширение горного дела потребовало тоже большого числа новых рабочих, которые тоже жили только своей поденной платой.

С другой стороны, средний класс поднялся до положения настоящей аристократии. Фабриканты удивительно быстро умножали свой капитал в промышленном движении; купцы также получали свою долю, и созданный этой революцией капитал был для английской аристократии средством борьбы с французской революцией.

Результат всего движения был тот, что Англия теперь распадается на три партии: на земельную аристократию, денежную аристократию и рабочую демократию. Это единственные партии в Англии, единственные пружины, которые здесь действуют, а как они действуют, мы, может быть, попытаемся изобразить в другой статье.

ПОЛОЖЕНИЕ АНГЛИИ. — АНГЛИЙСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ.

В прошлой статье были развиты принципы, на основании которых следует судить о современном положении британского государства в истории цивилизации, равно как были приведены нужные данные о развитии английской нации, насколько они необходимы для этой цели, но мало известны на континенте; поэтому мы можем, после обоснования наших предпосылок, без дальнейших околичностей перейти к нашей непосредственной теме.

Положение Англии казалось до сих пор всем прочим народам Европы достойным зависти; оно таково и есть для всякого поверхностного наблюдателя, смотрящего только глазами политика. Англия — мировая держава в том смысле, в каком таковая может существовать в настоящее время и в каком ею были, в сущности, все другие мировые державы, ибо и державы Александра и Цезаря были, как и английская, господством цивилизованных народов над варварами и колониями. Никакая другая страна в мире не может тягаться с Англией могуществом и богатством, причем это могущество и это богатство не сосредоточены, как было в Риме, в руках одного только деспота, а принадлежат образованной части нации. Англия уже сто лет не знает ни страха перед деспотизмом, ни борьбы против королевской власти; Англия неоспоримо самая свободная, т. е. наименее несвободная, страна, не исключая Северной Америки. Благодаря этому образованный англичанин носит на себе печать известной доли прирожденной независимости, которою не может похвалиться никакой француз, не говоря уже о немце. Политическая деятельность, свободная печать, морское господство и гигантская промышленность Англии так полно развили почти в каждом индивидууме присущую национальному характеру энергию, решительную действенную силу рядом с величайшим присутствием духа, что и в этом континентальные народы отстают бесконечно далеко от англичан. История английской армии и флота представляет собою ряд блестящих побед, и за последние восемьсот лет Англия почти не видала врага на своих берегах. С английскою литературою могут

соперничать разве только древнегреческая и германская, в области философии Англия может предъявить, по меньшей мере, два великих имени — Бэкона и Локка, в области эмпирических наук — несчетное число их, и если поставить вопрос, какой народ больше всего *сделал*, то никто не станет отрицать, что этим народом являются англичане.

Все это вещи, которыми англичане могут гордиться, и я перечислил их наперед, чтобы добрые немцы с самого начала могли убедиться в моем «беспристрастии», ибо я знаю очень хорошо, что в Германии можно говорить без церемоний скорее о немцах, чем о какой-нибудь другой нации. Только что перечисленные пункты образуют более или менее тему всей многоотомной и все же крайне бесплодной и никчемной литературы, понаписанной на континенте об Англии. Никому не пришло в голову углубиться в существо английской истории и английского национального характера, а как бедна вся литература об Англии — видно уже из того простого факта, что жалкая книжица г. фон-Раумера, насколько я знаю, слывет в Германии за наилучшее сочинение по этому предмету.

Начнем с политической стороны, с которой до сих пор Англию только и рассматривали. Исследуем английскую конституцию, этот, по выражению ториев, «совершеннейший продукт английского разума», и будем держаться, в угоду политикам, чисто эмпирического пути.

«Золотая середина» находит особенную красоту английской конституции в том, что она исторически развивалась, т. е., говоря простым языком, что сохранена была старая основа, созданная революцией 1688 г., и продолжалось строительство на этом, по их выражению, фундаменте. Мы увидим далее, какой характер это придало английской конституции; пока достаточно простого сравнения англичанина 1688 г. с англичанином 1844 г., чтобы доказать, что одинаковый конституционный фундамент для обоих — нелепость, невозможность. Отвлекаясь даже от общего прогресса цивилизации, уже политический характер нации сейчас совершенно иной, чем тогда. Test Act, Habeas corpus Act, билли о правах, были мероприятиями вигов, проистекшими из слабости и преодоления тогдашних ториев и направленными против этих ториев, т. е. против абсолютной монархии и открытого или скрытого католицизма. Но уже в ближайшие пятьдесят лет старые тории исчезли, а их потомки приняли принципы, бывшие дотоле собственностью вигов; со времени воцарения Георга I монархическо-католические тории перешли в аристократическо-англиканскую партию, а со времени прояснившей

их сознание французской революции политические позиции торизма стали все больше сводиться к абстракции «консерватизма», к голой безыдейной защите существующего, — но и эта ступень уже пре-
взойдена; в лице сэра Роберта Пиля торизм решился на признание движения, уразумел несостоятельность английской конституции и потому лишь делает еще уступки, чтобы возможно дольше сохранить эту сгнившую самодельщину. Виги проделали такую же глубокую эволюцию, образовалась новая демократическая партия, и все же фундамент 1688 года якобы должен быть достаточно широк для 1844 года! Необходимым последствием этого «исторического развития» явилось то, что внутренние противоречия, составляющие сущность конституционной монархии, которые были достаточно вскрыты уже к тому времени, когда новейшая немецкая философия стояла еще на республиканской точке зрения, — что эти противоречия достигли в современной английской монархии своего апогея. В самом деле, английская конституционная монархия есть завершение конституционной монархии вообще, единственное государство вообще, в котором, поскольку это в настоящее время еще возможно, *действительная* аристократия крови отстояла свое место рядом с относительно очень развитым народным сознанием и в котором поэтому действительно существует триединство законодательной власти, искусственно опять воссозданное и с трудом поддерживаемое на континенте.

Если сущность государства, как и религии, заключается в страхе человечества перед самим собою, то в конституционной и особенно в английской монархии этот страх достигает своей высшей точки. Опыт трех тысячелетий не сделал людей умнее, напротив, он сбил их с толку, запутал, довел до безумия, и результат этого безумия — политическое состояние современной Европы. Чистая монархия возбуждает ужас, напоминает восточный и римский деспотизм. Чистая аристократия внушает не меньший ужас, — недаром существовали римские патриции и средневековый феодализм, венецианские и генуэзские нобили. Демократия страшнее их обеих; Марий и Сулла, Кромвель и Робеспьер, окровавленные головы двух монархов, прокрипционные списки и диктатура говорят достаточно громко об «ужасах» демократии. Так что же делать? Вместо того, чтобы идти прямо вперед, вместо того, чтобы из несовершенства или, скорее, бесчеловечности всех государственных форм вывести заключение, что государство само является причиной всех этих бесчеловечностей и само бесчеловечно, вместо этого успокоились на том воззрении, что безнравственность присуща только *формам государства*, и из

указанных выше предпосылок заключили, что совокупное действие трех безнравственных факторов может дать нравственный продукт, и создали конституционную монархию.

Первое положение конституционной монархии заключается в равновесии властей, и это положение лучше всего выражает страх человечества перед самим собою. Я совсем не буду говорить о смешном недомыслии, о полной неосуществимости этого тезиса, я только разберу, проведен ли он в английской конституции. Как я обещал, я поведу исследование чисто эмпирически, настолько эмпирически, что, может быть, окажусь слишком эмпиричным даже для наших политических эмпириков. Я беру поэтому английскую конституцию не так, как она представляется в «Блэкстоновских комментариях», фантазиях «де-Лольмы» или в длинном ряде конституционных статутов, от «Великой хартии» вплоть до «Билля о реформе», но как она есть в действительности.

Возьмем сперва монархический элемент. Всякий знает, как обстоит дело с суверенной главой Англии, мужского или женского пола. Власть короны сводится на практике к нулю, и если бы известный всему свету факт еще требовал доказательств, то достаточно было бы указать, что уже более ста лет, как прекратилась всякая борьба против короны, что даже радикально-демократические чартисты находят для своего времени лучшее употребление, чем на эту борьбу. Куда же тогда девается предоставленная короне в теории треть законодательной власти? И, однакоже, — и здесь страх достигает своего апогея, — английская конституция не может существовать без монархии. Отнимите корону — субъективную верхушку, — и все искусственное здание рухнет. Английская конституция представляет собою перевернутую пирамиду, обращенную вниз своею вершиной. И чем больше значения терял монархический элемент в действительности, тем больше значения он приобретал для англичанина. Нигде, как известно, неуправляющее лицо не пользуется большим поклонением, чем в Англии. Английские газеты далеко перещеголяли немецкие в лакейском сервиллизме. Но этот отвратительный культ короля как такового, обожание совершенно выпотрошенного, лишеного всякого содержания представления, — не представления, а слова «король», — есть завершение монархии, как обоготворение простого слова «бог» есть завершение религии, хотя оба эти слова ровно ничего не обозначают. Самое главное в них заключается в том, чтобы не зашла речь о самом главном, что скрывается за этими словами, — о человеке.

Перейдем к аристократическому элементу. С ним дело обстоит

не так хорошо, как с короной, по крайней мере, в предоставленной ему конституцией сфере. Если насмешки, которыми осыпается непременно Верхняя палата вот уже более ста лет, постепенно настолько вошли в общественное мнение, что эта ветвь законодательной власти всеми рассматривается как инвалидный дом для отслуживших свой век государственных мужей, что предложение пэрства принимается всяким не совсем еще захудалым членом Нижней палаты за оскорбление, то легко представить себе, каким уважением пользуется второй из введенных конституцией факторов государственной власти. На самом деле, деятельность лордов в Верхней палате опустилась до своего рода энергии косности, как она себя показала во время господства вигов с 1830 до 1840 г., но и так лорды сильны не сами по себе, а через посредство партии, чистейшими представителями которой они являются, партии ториев. Верхняя палата, главное преимущество которой, по теории конституции, должно заключаться в том, что она одинаково независима от короны и народа, в действительности зависит от партии и, стало быть, от состояния народного мнения, а благодаря праву короны назначать пэров зависит и от последней. Но чем бессильнее Верхняя палата, тем прочнее она укореняется в общественном мнении. Конституционные партии — тории, виги и радикалы — одинаково страдают отмены этой пустой формальности, и разве лишь радикалы замечают, что лорды представляют аномалию как единственная неответственная конституционная власть, что поэтому следует заменить наследственное пэрство выборным. И опять-таки только страх перед человечеством поддерживает эту пустую форму, и радикалы, требующие для Нижней палаты чисто демократического базиса, утрируют этот страх еще больше, чем обе остальные партии: чтобы не допустить падения ненужной, отжившей Верхней палаты, они пытаются вдохнуть в нее еще немного жизненной силы вливанием народной крови. Чартисты знают лучше, что им делать; они знают, что перед штурмом демократической Нижней палаты должно рухнуть само собою все гнилое сооружение, корона и лорды и прочее, и поэтому не заботятся, подобно радикалам, о форме пэрства. И как обожание короны выросло в той же пропорции, в которой умалилась власть короны, так и народный пиетет перед аристократией настолько же повысился, насколько упало политическое влияние Верхней палаты. Не только были сохранены унижайнейшие формальности феодального времени, не только члены Нижней палаты, когда появляются в официальной роли перед лордами, должны стоять с шляпами в руках перед сидящими с покрытыми головами лордами, не только

официальное обращение к дворянину гласит: «Да будет угодно Вашей светлости», «*May it please your lordship*» и т. д., — хуже всего то, что все эти формальности являются действительно выражением общественного мнения, считающего лорда существом высшего порядка и питающего почтение к родословным полновзвучным титулам, старым семейным реликвиям и пр., что для нас, обитателей континента, так же противно и отвратительно, как культ короны. И в этой черте английского характера мы имеем опять обожание пустого, ничего не говорящего слова, совершенно безумную, навязчивую идею, будто великая нация, будто все человечество и вселенная не могут существовать без слова «аристократия». При всем том аристократия имеет, однако, и на самом деле большое влияние, но как власть короны есть власть министров, т. е. представителей большинства Нижней палаты, и приняла, значит, совершенно другое направление, чем какое намечала конституция, так и власть аристократии заключается не в их праве на наследственное кресло в законодательном органе, а в чем-то совершенно другом. Аристократия сильна своим огромным землевладением, своим богатством вообще, и делит эту силу со всеми другими неродовитыми богачами; власть лордов осуществляется не в Верхней палате, а в Палате общин: это ведет нас к той составной части законодательного органа, которая по конституции должна представлять демократический элемент.

Если корона и Верхняя палата безвластны, то Нижняя палата необходимо должна сосредоточивать в себе всю власть. Так оно и есть в действительности. Нижняя палата издает законы и управляет через министров, представляющих лишь ее комитет. При таком всевластии Нижней палаты, Англия должна была бы, таким образом, быть чисто демократией, хотя бы номинально и оставались существовать обе другие ветви законодательного органа, если бы только демократический элемент сам был действительно демократичен. Но об этом нет речи. Палата общин осталась, при установлении конституции после революции 1688 г., совершенно нетронутою в своем составе; города, местечки и выборные округа, имевшие раньше право на посылку депутата, сохранили его; это право отнюдь не было демократическим «всеобщим человеческим правом», а совершенно феодальной привилегией, которая еще при Елизавете давалась короною совершенно произвольно и в виде милости многим до тех пор не представленным городам. Даже характер представительства, который имели выборы в Нижнюю палату, по крайней мере первоначально, они скоро потеряли благодаря «историческому развитию». Состав старой Нижней палаты известен. В городах предоставление

депутатского места было в руках или одного лица, или замкнутой и самопополняющейся корпорации; лишь немногие города были открытые, т. е. имели довольно большое число избирателей, но и в них бесстыднейший подкуп вытеснял последний остаток настоящего представительства. Закрытые города были в большинстве случаев под воздействием одного лица, обычно — лорда, а в сельских избирательных округах всемогущество крупного землевладельца подавляло всякое более свободное и самостоятельное движение среди политически безжизненного народа. Старая Нижняя палата была не чем иным, как замкнутой, независимой от народа средневековой корпорацией, завершением «исторического» права, и не могла привести в пользу своего бытия ни одного действительно или видимо разумного аргумента, существовала рассудку вопреки и заявила в 1794 г. устами своего Комитета, что не является собранием представителей и что Англия не есть представительное государство.¹ По сравнению с такой конституцией теория представительного государства, даже обыкновенной конституционной монархии с палатой представителей, должна была казаться насквозь революционной и негодной. Поэтому теории были совершенно правы, характеризуя билль о реформе как прямо противоречащее духу и букве конституции и подрывающее конституцию мероприятие. Тем не менее, билль о реформе прошел, и теперь нам нужно рассмотреть, как она повлияла на английскую конституцию и, в особенности, на Нижнюю палату. Прежде всего условия депутатских выборов в деревне остались те же. Избиратели здесь почти исключительно все арендаторы и находятся в полной зависимости от своего землевладельца, который может, когда угодно, отказать им в аренде ввиду отсутствия договорных отношений между ними. Депутаты от графств (в противоположность городам) остались, как были, депутатами землевладельцев, ибо лишь в самые тревожные эпохи, как в 1831 г., арендаторы осмеливаются голосовать против землевладельцев. Билль о реформе ухудшил даже зло, увеличив число депутатов от графств. Из 252 депутатов от графств тories могут поэтому всегда рассчитывать, по крайней мере, на 200 членов, разве только среди арендаторов возникло бы всеобщее волнение, при котором со стороны землевладельцев было бы неразумно выступать. В городах было введено представительство, по крайней мере, по форме, и всякому, кто живет в доме, за который он платит аренду минимум в десять фунтов и вносит прямые налоги (налог на бедных

¹ «Second Report of the Committee of the Secrecy, to whom the Papers referred to his Majesty's Message on the 12 mai 1794 were delivered» («Отчет о лондонских революционных обществах». Лондон 1794), p. 68 и сл.

и пр.), предоставлено было право голоса. Этим исключается огромное большинство рабочего класса, ибо, во-первых, только женатые, конечно, живут в отдельных домах, и если даже значительная часть этих домов стоит десять фунтов арендной платы в год, то жители уклоняются почти все от оплаты прямых налогов и не являются поэтому избирателями. Число избирателей при чартистском, всеобщем праве голоса, по меньшей мере, утроилось бы. Города находятся, таким образом, в руках среднего класса, а последний, в свою очередь, в более мелких городах зачастую прямо или косвенно, через посредство арендаторов, главных клиентов лавочников и ремесленников, зависит от землевладельцев. Только в больших городах господство действительно переходит к среднему классу, а в меньших фабричных городах, особенно в Ланкашире, где средний класс малочислен, а сельское население имеет незначительное влияние, где, таким образом, меньшинство рабочего класса имеет уже решающее значение, мнимое представительство начинает до некоторой степени приближаться к истинному. Эти города, например Эштон, Ольдгэм, Рочдаль, Болтон и т. д., посылают поэтому в парламент почти только одних радикалов. Расширение права выборов по принципам чартистов дало бы этой партии большинство избирателей как здесь, так и вообще во всех фабричных городах. Но кроме этих различных, очень сложных на практике влияний действуют еще равные местные интересы и, наконец, в немалой мере очень значительный фактор — влияние подкупа. В первой статье настоящей серии говорилось уже о том, что Нижняя палата объявила устами своего «комитета о подкупах», что выбрана она при помощи подкупа, и Томас Денкомб, единственный безусловно чартистский депутат, уже давно заявил напрямик Нижней палате, что никто во всем собрании, не исключая его самого, не мог бы сказать, что обьяван своим местом свободному, неподкупному голосованию своих избирателей. Прошедшим летом Ричард Кобден, депутат от Стокпорта и вождь Лиги против хлебных законов, заявил на публичном митинге в Манчестере, что никогда еще подкупность не принимала таких размеров, как сейчас, что в торийском Карлтон-Клубе и либеральном Клубе реформ в Лондоне представительство от городов совершенно открыто продается с аукциона предложившему больше всех, и клубы эти действовали по-предпринимательски: «за столько-то фунтов мы гарантируем тебе это место» и т. д. Ко всему этому присоединяются еще неблагоприятные избирательные маневры: всеобщее пьянство при голосовании, кабаки, в которых избиратели напиваются за счет кандидатов, беспорядок, драки и рев толпы у избирательных палаток,

чтобы завершить никчемность представительства, действительного на семь лет.

Мы видели, что корона и Верхняя палата потеряли свое значение; мы видели, каким образом рекрутируется всемогущая Нижняя палата; теперь представляется вопрос: так кто же, в сущности, правит в Англии? — Правит собственность. Собственность правит аристократией, чтобы иметь в своих руках выборы депутатов от сельских округов и мелких городов; собственность дает возможность купцам и фабрикантам намечать депутатов для больших, а частью и для мелких городов; собственность дает им возможность усиливать свое влияние помощью подкупа. Господство собственности положительно признано в билле о реформе установлением *ценза*. И поскольку собственность и приобретенное собственностью влияние составляют существо среднего класса, поскольку, значит, аристократия при выборах пускает в ход свою собственность и тем самым выступает не как аристократия, а уподобляется среднему классу, постольку влияние собственно среднего класса в целом *гораздо* сильнее влияния аристократии, постольку господствует, действительно, средний класс. Но как и почему он господствует? Потому что народ еще не сознал ясно существо собственности, потому что он вообще еще, — по крайней мере в деревне, — духовно мертв и поэтому мирится с тиранией собственности. Англия, правда, есть демократия, но — наподобие России; ибо народ везде, не сознавая этого, господствует, и во всех государствах правительство выражает собою степень образованности народа.

Трудно будет связать эту практику английской конституции с ее теорией. Практика стоит с теорией в самом кричащем противоречии. Обе стороны так чужды одна другой, что уже не имеют никакого сходства. Здесь триединство законодательного органа, — там тирания среднего класса; здесь двухпалатная система, — там всемогущая Палата общин; здесь королевская прерогатива, — там избранное Палатою общин министерство; здесь независимая Верхняя палата с наследственными законодателями, — там инвалидный дом для отживших депутатов. Каждая из трех составных частей законодательной власти должна была отдать свою власть другому элементу: корона — министрам, т. е. большинству Нижней палаты, лорды — партии ториев, а стало быть народному элементу и министрам, создающим паров, т. е., в сущности, тоже народному элементу, а Палата общин — среднему классу или, что то же, политической незрелости народа. Английская конституция в действительности вовсе уже не существует; весь длительный процесс

законодательствования — простой фарс; противоречие теории и практики стало таким резким, что никак не может еще долго держаться. Если даже при помощи практической эмансипации, о которой нам придется еще говорить ниже, при помощи парламентской и муниципальной реформы жизненная сила хилой конституции с виду была еще немного укреплена, то ведь эти мероприятия сами уже являются признанием, что на сохранение конституции надежда потеряна. Они приносят в нее элементы, которые стоят с ее основными принципами в решительном противоречии и, следовательно, усиливают конфликт еще тем, что приводят теорию в противоречие с самой собою.

Мы видели, как организация властей в английской конституции покоится исключительно на страхе. Этот страх еще больше проявляется в правилах, по которым функционирует законодательство в так называемых *Standing Orders*. Всякий законопроект должен читаться в каждой из обеих палат три раза через известный промежуток времени; после второго чтения он передается комитету, который просматривает его по отдельным статьям; в более важных случаях и палата преобразуется в комитет всей палаты для обсуждения проекта и назначает докладчика, который, по окончании обсуждения, с большой торжественностью преподносит доклад об обсуждении той самой палате, которая его обсуждала. Кстати, не есть ли это прекраснейший пример «трансцендентности внутри имманентности и имманентности внутри трансцендентности», какого только гегельянец мог бы себе пожелать. «Знание Нижней палаты о комитете есть знание комитета о самом себе», и докладчик есть «абсолютная личность посредника, в которой оба они идентичны». Таким образом, всякий законопроект обсуждается восемь раз, раньше чем может получить королевскую санкцию. В основе всей этой смехотворной процедуры лежит, конечно, опять-таки страх перед человечеством. Приходят к убеждению, что прогресс составляет сущность человечества, но не хватает духу открыто прокламировать этот прогресс; издают законы, которые должны иметь абсолютную силу, т. е. ставят границы прогрессу, а оставленным за собою правом изменять законы опять впускают через заднюю дверь только что отвергнутый прогресс. Только, ради бога, не слишком быстро, не слишком поспешно! Прогресс революционен, опасен и поэтому должен быть, по крайней мере, снабжен сильным тормазом; раньше чем решиться на его признание, нужно восемь раз обдумать дело. Но этот страх, сам по себе ничтожный и только доказывающий, что сами испытывающие его не настоящие, не свободные люди, должен непременно вводить их в

ошибки и в их мероприятиях. Вместо того, чтобы обеспечивать более полное обсуждение проектов, повторное чтение их становится на практике совершенно излишней и пустою формальностью. Главное обсуждение концентрируется обычно на первом или втором чтении, временами также на дебатах в комитете, смотря по тому, как это удобнее оппозиции, но вся никчемность повторных дебатов обнаруживается, если принять во внимание, что судьба всякого проекта решена уже с самого начала, а где она не решена, там в дебатах обсуждается не самый проект, но вопрос о существовании министерства. Результат этого восемь раз повторенного фарса заключается, таким образом, вовсе не в спокойном обсуждении в самой палате, а в чем-то совсем ином, не входившем совсем в намерения тех, кто ввел этот фарс. Длительность процедуры дает время общественному мнению составить себе суждение о предложенном мероприятии и, в случае надобности, оппонировать против него митингами и петициями, и часто, — как в прошлом году при билле сэра Джемса Грэхэма о воспитании, — с успехом. Но это, как сказано, не есть первоначальная цель и могло бы быть достигнуто гораздо проще.

Раз идет речь о Standing Orders, мы можем упомянуть еще несколько пунктов, в которых себя выдают страх английской конституции и первоначальный корпоративный характер Нижней палаты. Дебаты Нижней палаты не публичны; допущение к слушанию их есть привилегия и обычно достигается лишь письменным приказом какого-нибудь депутата. Во время голосования галлерей очищаются; несмотря на это смешное секретничество, против отмены которого палата всегда горячо защищалась, имена голосующих за или против членов красуются на следующий день во всех газетах. Радикальные депутаты никогда не могли добиться печатания подлинных протоколов, — не далее как 14 дней тому назад провалилось подобное предложение; вследствие этого типограф один только несет ответственность за содержание появляющихся в газетах парламентских отчетов и может быть призван к ответу за опубликование клеветнических выражений всяким, кто почувствует себя оскорбленным отзывом какого-нибудь члена парламента, — по закону и правительством, — между тем как виновник клеветы защищен своей парламентской привилегией от всякого преследования. Этот и масса других пунктов в Standing Orders показывают исключительно противонародный характер реформированного парламента, и упорство, с которым Нижняя палата держится за эти обычаи, показывает достаточно ясно, что она не имеет охоты превратиться из привилегированной корпорации в собрание народных представителей.

Другим доказательством является привилегия парламента, исключительное положение его членов по отношению к суду и право Нижней палаты задержать всякого, кого она захочет. Первоначально направленная против злоупотреблений потерявшей с тех пор всякую власть короны, эта привилегия в новейшее время обратилась только против народа. В 1771 году палата рассердилась на дерзость газет, опубликовавших дебаты, — на что ведь только палата имеет право, — и попыталась положить конец этой дерзости арестом типографов, а затем — чиновников, которые выпустили этих типографов на свободу. Конечно, это не удалось; но это доказывает, какой характер носит привилегия парламента, а неудача доказывает, что и Нижняя палата, хотя и стоит выше народа, однако зависит от него, стало быть и Нижняя палата не правит.

В стране, где «христианство составляет существенную составную часть законов страны» (*christianity is part and parcel of the laws of the land*), *государственная церковь* необходимо входит в состав конституции. Англия по своей конституции есть существенно христианское государство, и именно вполне развитое, крепкое христианское государство; государство и церковь в ней совершенно слиты и неотделимы. Но это единство церкви и государства может заключаться только в *одном* христианском вероучении с исключением всех других. Эти исключенные секты тем самым объявляются, разумеется, еретическими и подвергаются религиозному и политическому преследованию. Так было дело в Англии. Их все испокон века смешивали в одну категорию, исключали, как *нонконформистов* или *диссентеров*, из всякого участия в государстве, препятствовали им соблюдать свой культ и преследовали при помощи уголовных законов. Чем усерднее они высказывались против единства церкви и государства, тем усерднее господствующая партия защищала это единство и возводила его в жизненное условие государства. Поэтому, когда христианское государство было в Англии еще в полном цвете, было в порядке дня и преследование диссентеров, в особенности католиков, — преследование менее ожесточенное, но зато более универсальное, более настойчивое, чем в средние века. Острая болезнь перешла в хроническую, внезапные припадки кровожадной ярости католицизма превратились в холодный политический расчет, слившийся истребить иноверие более мягким, но непрерывным давлением. Преследование было перенесено на светскую почву и этим сделано несноснее. Непризнание тридцати девяти статей перестало быть богохульством, но вместо того его возвели в государственное преступление.

Но прогресс истории нельзя было остановить; расстояние между законодательством 1688 года и общественным мнением 1828 г. было так велико, что в этом году сама Нижняя палата увидела себя вынужденной отменить самые строгие законы против диссентеров. Test - акты и религиозные параграфы актов о корпорациях были отменены; через год последовала эмансипация католиков, несмотря на бешеную оппозицию ториев. Тории, заступники конституции, были вполне правы в своей оппозиции, ибо ни одна из либеральных партий, равно как и радикалы, не нападали на самую конституцию. Конституция должна была и для них остаться основой, а на почве конституции одни только тории были последовательны. Они понимали и высказывали, что упомянутые меры должны повести за собою падение англиканской церкви, а вслед за тем — непременно и конституции; что дать диссентерам активное гражданское право — это значит уничтожить *de facto* англиканскую церковь, санкционировать нападки на нее; что это злостная непоследовательность по отношению к государству вообще, когда предоставляют участие в управлении и законодательстве католикам, которые считают авторитет папы высшим, чем авторитет государственной власти. Либералы не могли опровергнуть их аргументов: тем не менее, эмансипация прошла, и пророчества ториев начинают исполняться.

Англиканская церковь стала, таким образом, пустым звуком и отличается от других вероисповеданий еще только тремя миллионами фунтов, которые получает ежегодно, и несколькими мелкими привилегиями, которых хватает как раз на то, чтобы поддерживать борьбу против нее. Сюда принадлежат церковные трибуналы, в которых англиканский епископ отправляет исключительную, но очень мало значащую юрисдикцию, и бремя которых сказывается особенно в судебных издержках; затем — местная церковная подать, которая тратится на поддержание зданий, находящихся в распоряжении государственной церкви; диссентеры подлежат юрисдикции этих трибуналов и должны участвовать в уплате податей.

Но не только законодательство *против* церкви, но и законодательство в защиту церкви способствовало тому, чтобы сделать государственную церковь пустым звуком. Ирландская церковь была издавна пустым звуком, законченную государственную или правительственную церковь, полную иерархией, от архиепископа вниз вплоть до vicar, которой недостает только общины и призвание которой состоит в том, чтобы проповедывать среди пустых стен и петь молебны. Английская церковь, правда, имеет публику, которая была в немалой мере вытеснена диссентерами, особенно в Уэльсе и

фабричных округах, но хорошо оплаченные духовные пастыри не очень-то и заботятся о своей пастве. «Если вы хотите ввергнуть в презрение и погубить касту жрецов, то оплачивайте ее хорошо» — говорит Бентам. — Английская и ирландская церковь подтверждает этот афоризм. В деревнях и городах Англии нет для народа ничего ненавистнее, ничего презреннее, чем church of England parson, а у такого благочестивого народа, как английский, это что-нибудь да значит.

Понятно, что чем бессодержательнее и незначительнее становится имя английской церкви, тем крепче держится за нее консервативная и вообще строго конституционная партия; разделение церкви и государства могло бы исторгнуть слезы даже у лорда Джона Росселя; понятно также, что чем бессодержательнее становится это имя, тем хуже и чувствительнее становится гнет церкви. Особенно ирландская церковь, как наиболее лишенная значения, — самая ненавистная; она не имеет иной цели, как только ожесточать народ, напоминать ему, что он — народ поработенный, которому завоеватель навязывает свою религию и свои учреждения.

Таким образом, Англия стоит теперь на перевале из определенного в неопределенное христианское государство, в государство, которое кладет в свое основание не определенное вероисповедание, а нечто среднее из всех существующих вероисповеданий — неопределенное христианство. Разумеется, уже и старое, определенное христианское государство принимало меры защиты против неверия, и акт об апостазии (публичном отречении от веры) 1699 г. наказывает его потерю пассивного гражданского права и тюрьмою; акт никогда не был отменен, но и никогда больше не применяется. Другой закон, ведущий происхождение от эпохи Елизаветы, предписывает, чтобы каждый, кто в воскресенье без уважительных причин не ходит в церковь (если не ошибаюсь, предписывается даже епископальная церковь, ибо Елизавета не признавала диссентерских церквей), наказывался за это денежным штрафом или тюрьмою. Этот закон часто еще выполняется в деревне; даже здесь, в цивилизованном Ланкашире, вблизи Манчестера, есть несколько ханжей — мировых судей, которые, как подтвердил в Нижней палате 14 дней тому назад М. Джибсон, депутат от Манчестера, осудили массу людей за неаккуратное посещение церкви на тюремное заключение до шести недель. Главные же законы против неверия объявляют всякого, кто не верит в бога или потустороннее возмездие, неспособным принести клятву и наказывают за богохульство. Богохульством считается все, что стремится вызвать презрение к Библии или хри-

стианской религии, и точно так же прямое отрицание существования бога; в наказание полагается тюрьма — обычно один год — и денежный штраф.

Но и неопределенное христианское государство уже приближается к упадку, раньше чем оно было признано официально в законодательстве. Акт об апостазии, как уже сказано, устарел; предписание посещения церкви также довольно устарело и проводится только в исключительных случаях; закон о богохульстве точно так же начинает, — благодаря неустрашимости английских социалистов и, в особенности, Ричарда Карлейля, — стареть и применяется лишь там и сям, в местах, особенно отличающихся ханжеством, например в Эдинбурге; избегают даже отказа в клятве, где возможно. Христианская партия ослабела настолько, что сама понимает, что строгое применение этих законов повлекло бы за собой в короткое время их отмену, и потому предпочитает оставаться спокойной, чтобы, по крайней мере, над головой неверующих оставался висеть дамоклов меч христианского законодательства и продолжал, быть может, действовать как угроза и предостережение.

Сверх разобранных выше положительных политических учреждений в сферу конституции следует отнести еще несколько других категорий. Мы до сих пор почти не говорили о правах гражданина; в пределах собственно конституции индивидуум в Англии прав не имеет. Эти права существуют или по обычаю, или в силу отдельных статутов, не имеющих связи с конституцией. Мы увидим позднее, как произошел этот странный разрыв, а пока перейдем к критике этих прав.

Первое есть право каждого без помехи и без предварительного разрешения государства обнародовать свое мнение, — свобода печати. Правильно в целом, что нигде не существует более широкая свобода печати, чем в Англии; и все-таки эта свобода здесь еще очень ограничена. Закон о пасквилях, закон о государственной измене и закон о богохульстве лежат тяжким бременем на печати, и если она редко преследуется, то тут *дело не в законе*, а в страхе правительства перед неизбежной непопулярностью вследствие предпринятых против печати мер. Английские газеты совершают ежедневно проступки в области печати, как против правительства, так и против отдельных лиц, но на них смотрят сквозь пальцы и ждут, пока представится возможность начать политический процесс. Тогда кстати захватывают и печать. Так было дело с чартистами в 1842 г., так недавно — с ирландскими «*gerealer'*ами». Английская печать живет уже сто лет милостью, точно так же, как прусская свобода печати — с 1842 года.

Второе «прирожденное право» (birthright) англичанина есть право народных собраний, которым доныне не пользуется ни один народ в Европе. Это право, хотя и стародавнее, было впоследствии выражено в одном статуте как «право народа собираться и обсуждать свои тяготы и вносить в законодательный орган петиции об их облегчении». Здесь уже коренится ограничение. Если в результате митинга не будет петиции, то он получает благодаря этому если не прямо незаконный, то, во всяком случае, очень двусмысленный характер. В процессе О'Коннеля коронный суд особенно подчеркивал, что митинги, квалифицировавшиеся как незаконные, сошлись не для обсуждения петиций. Но главное ограничение — полицейского характера: центральное и местное правительство может заранее воспрепятствовать или прервать и распустить всякий митинг, и это оно делало довольно часто не только в Клонтерфе, но и в собственной Англии при чартистских и социалистических митингах. Но это не считается нападением на природные права англичан, ибо чартисты и социалисты — бедняки и потому бесправны; об этом никто и не беспокоится, кроме «Northern Star» («Полярная звезда») и «New Moral World» («Новый нравственный мир»), и поэтому на континенте об этом ничего не узнают.

Далее — право союзов. Все союзы, преследующие законные цели законными средствами, дозволены; но они могут составлять каждый раз только одно большое общество и не должны включать союзных отделений. Образование обществ, которые делятся на местные ветви с особой организацией, разрешается только для благотворительных и вообще денежных целей и может быть начато только по удостоверению назначенного на то чиновника. Социалисты потребовали такого удостоверения для своего союза, выставив подобного рода цель; чартистам было отказано, хотя они в своей конституции дословно списали конституцию социалистического общества. Они теперь принуждены к обходу закона и поставлены этим в такое положение, что одна единственная описка одного единственного члена чартистского союза может все общество запутать в силки закона. Но и независимо от этого право союзов в полном своем объеме есть привилегия богатых; для ассоциации необходимы прежде всего деньги, и легче богатой Лиге против хлебных законов тратить сотни тысяч, чем бедному чартистскому обществу или союзу британских горнорабочих покрывать одни только расходы ассоциации. И ассоциация, не располагающая средствами, будет иметь мало значения и не сможет заниматься агитацией.

Право habeas corpus, т. е. право каждого обвиняемого (исключо-

чается случай государственной измены) до начала процесса быть выпущенным на свободу под залог, это хваленое право есть опять-таки привилегия богатых. Бедный не может представить залога и должен поэтому отправляться в тюрьму.

Последнее из этих прав личности есть право каждого быть судимым себе равными, но и это право есть привилегия богатых. Бедный не судится себе равными, но во всех случаях судим своими прирожденными врагами, ибо в Англии богатые и бедные находятся в открытой войне. Присяжные должны обладать известными квалификациями, а какого они рода, видно из того, что список присяжных Дублина, города, имеющего 250 000 жителей, включает в себе только восемьсот квалифицированных лиц. В последних чартистских процессах в Ланкастере, Уорвике и Стаффорде рабочих судили землевладельцы и арендаторы, в большинстве тории, и фабриканты или купцы, в большинстве — виги, но, во всяком случае, враги чартистов и рабочих. Но это не все. Так называемый «беспристрастный состав присяжных» есть вообще нелепость. Когда месяц тому назад в Дублине судился О'Коннель, каждый присяжный, как протестант и торий, был его враг. «Равными ему» были бы католики и «гереалер'ы», но и то нет, так как это были бы его друзья. Католик в составе присяжных сделал бы невозможным вердикт, всякий вердикт, кроме оправдательного. Здесь этот случай бьет в глаза; но, в сущности, мы имели бы в любом случае то же самое. Суд присяжных есть по своей сущности политическое, а не юридическое учреждение; но так как всякое юридическое существо имеет по своему происхождению политическую природу, то в нем проявляется *истинно* юридический элемент; и английский суд присяжных, как самый выработанный, есть завершение юридической лжи и безнравственности. Начинают с фикции «беспристрастных присяжных»; присяжным внушают забыть все, что они слышали до следствия относительно данного случая, судить только на основании сделанных здесь на суде свидетельских показаний, — как будто бы что-нибудь подобное было возможно. Создают вторую фикцию «беспристрастного судьи», который должен развернуть закон и беспристрастно, совершенно «объективно», сопоставить представленные обеими сторонами доводы, как будто бы это было возможно. Требуют даже от судьи, чтобы он каким-то особым образом, несмотря на все это, не оказывал влияния на суждение присяжных, не подсовывал им вердикты, т. е. он должен ставить посылки так, как их следует поставить, чтобы вывести заключение; но сам он не должен вывести заключения, даже для себя он не должен его вывести, ибо ведь это повлияло бы на его изложение посылок

всех этих и сотен других невозможностей, бесчеловечностей и глупостей требуют лишь бы прилично прикрыть основную глупость и бесчеловечность. Но практика не дает себя обмануть, на практике очень мало заботятся обо всей этой чепухе, и судья довольно ясно дает понять присяжным, какой вердикт им следует вынести, и послушные присяжные правильно выносят вердикт.

Далее. Подсудимого следует всячески защитить, подсудимый свят и неприкосновенен, как король, и не может поступать неправильно, т. е. вообще ничего не может делать, и если что сделает, это будет недействительно. Подсудимый может признаться в своем преступлении, это ему нисколько не поможет. Закон решает, что он не достоин доверия; в 1819 году, если не ошибаюсь, некий муж обвинял в прелюбодеянии свою жену, после того как она во время болезни, которую сочла смертельной, созналась ему в своем проступке, — но защитник жены возразил, что признание обвиняемой не есть довод, и жалоба была отвергнута.¹ Святость подсудимого проводится затем в формах судопроизводства, которыми облечен английский суд присяжных и которые дают такое исключительно богатое поле крючкотворным уловкам адвокатов. Просто невероятно, какие смешные формальные ошибки могут свести на-нет целый процесс. В 1800 г. некто был признан виновным в подделке банкнот, но освобожден от наказания, потому что его защитник еще до вынесения приговора открыл, что в фальшивом банковом билете имя было прописано сокращенно Bartw, между тем как в обвинительном акте было прописано полностью Bartholomew. Судья, как сказано, счел возражение достаточным и оправдал изобличенного.¹

В 1827 г. в Винчестере одна женщина была обвинена в детоубийстве, но оправдана на том основании, что в протоколе осмотра мертвого тела присяжные «своею клятвою» (the jurors our Lord the King upon their oath present that, etc.) заверяли, что произошло то-то и то-то, между тем как 13 присяжных принесли не одну, а 13 клятв, а потому следовало написать: «upon their oaths».¹ Год тому назад в Ливерпуле был пойман на месте преступления и задержан мальчик, укравший у кого-то платок из кармана; дело происходило в воскресенье вечером. Отец мальчика возразил, что полицейский незаконно задержал его, ибо по закону никто не должен в воскресенье заниматься той работой, которою снискивает себе пропитание; а следовательно полиция никого не должна задерживать в воскресенье. Судья согласился с этим доводом, но при дальнейшем допросе

¹ Wade, British History, London 1838.

мальчик сознался, что он вор по профессии, и судья наложил на него штраф в пять шиллингов за то, что он в воскресенье занимался своим профессиональным трудом. Я бы мог умножить число таких примеров бесконечно, но и приведенных достаточно, они сами говорят за себя. Английский закон освящает обвиняемого и обращается против общества, для охраны которого он, собственно, существует. Как в Спарте, наказывается не преступление, а глупость, с какою оно совершено. Всякая защита обращается против того, кого хочет защитить; закон хочет защитить общество и вредит ему, ибо ясно, что всякий, кто слишком беден, чтобы противопоставить официальному крючкотворству такого же крючкотворца-защитника, будет иметь против себя все те формы, которые были созданы для его защиты. Кто слишком беден, чтобы выставить защитника или изрядное количество свидетелей, погиб, если дело его сколько-нибудь сомнительное. Он получает на предварительный просмотр только обвинительный акт и первоначально данные мировому судье показания и, следовательно, не знает в подробностях собранных против него улик (а это как раз для невинных опаснее всего); он должен тотчас же, по окончании обвинения, отвечать, говорить может только один раз; если он не исчерпает всего, если не достанет свидетеля, которого он считал нужным, — он погиб.

Но венец всего — постановление, что двенадцать присяжных должны вынести свой вердикт единогласно.

Их запирают в одной комнате и выпускают не раньше, чем они придут к общему решению или судья убедится, что их невозможно привести к единомыслию. Но это настолько противно всей человеческой природе, что смешно требовать, чтобы двенадцать человек были совершенно одинакового мнения по одному вопросу. Зато это последовательно. Инквизиционная процедура пытается обвиняемого телесно или духовно, суд присяжных объявляет обвиняемого святым и пытается свидетелей перекрестным допросом, несколько не уступающим суду инквизиции, пытается даже присяжных; подай ему вердикт, хотя бы из-за этого должен был погибнуть мир; присяжных наказывают тюрьмой, пока они не вынесут вердикта; и если бы у них явилось действительно капризное желание сдержать свою клятву, то вызывается новый состав присяжных, процесс продлевается еще раз, и так далее, пока либо обвинитель, либо присяжные не устанут от борьбы и не сдадутся на милость и немилость, — достаточное доказательство, что все судопроизводство в целом не может существовать без пыток и, во всяком случае, является варварством. Но иначе вовсе и не может быть, если пожелать иметь математическую точность

в вещах, не допускающих такой точности. В таких случаях непременно впадаешь в нелепость или варварство. Практика опять-таки обнаруживает, что за всем этим скрывается; на практике присяжные облегчают себе дело и преспокойно нарушают свою клятву, если иначе нельзя. В 1842 году в Оксфорде присяжные однажды не могли столковаться. Один твердил: виновен, остальные одиннадцать — невиновен. Наконец, заключили сделку; единственный инакомыслящий написал на обвинительном акте: виновен, и удалился; затем пришел старшина с остальными присяжными и к «виновен» приписал «не» (Wade, «British History»). Другой случай рассказывает Фонблэнк, редактор «Examiner» в своей книге: «England under seven Administrations». Здесь присяжные тоже не могли справиться со своей задачей и, в конце концов, прибегли к жребию: взяли две соломинки и стали тянуть; чей лагерь вытянул длиннее, того мнение было принято.

Раз мы занимаемся разбором юридических институций, рассмотрим дело несколько ближе, чтобы пополнить наш обзор правового состояния Англии. Как известно, английский уголовный кодекс самый строгий в Европе. Еще в 1810 году он нисколько не уступал в варварстве «Каролине»: сожжение, колесование, четвертование, извлечение внутренностей из живого тела и т. д. были излюбленными видами наказания. Правда, с тех пор самые возмутительные мерзости были отменены, но в уложении о наказаниях все еще сохранились нетронутыми масса дикостей и гнусностей. Смертная казнь полагается за семь видов преступлений (убийство, государственная измена, изнасилование, мужеложство, кража со взломом, грабеж с насилием, поджог с целью убийства), и этим числом ранее гораздо более распространенная смертная казнь была ограничена только в 1837 году. Но кроме смертной казни английский уголовный закон знает еще два изысканно варварских вида наказания: ссылку, или оверение в обществе, и одиночное заключение, или оверение в одиночестве.

Трудно придумать более жестокие и низкие наказания, чтобы с систематической последовательностью погубить жертвы закона телесно, духовно и морально и придавить их ниже скотского состояния. Сосланный преступник попадает в такую бездну деморализации, отвратительного скотства, что самая лучшая натура должна пасть в течение шести месяцев; у кого станет охоты читать отчеты очевидцев о Новом Южном Уэльсе или Норфольк-Эйлэнде, согласится со мною, что все сказанное выше далеко еще не сравнится с действительностью. Заключение в одиночке сводится с ума; образцовая тюрьма

в Лондоне после трехмесячного существования должна была передать в Бедлам трех помешавшихся, не говоря уже о религиозном помешательстве, которое обычно сходит за нормальное состояние. Карательные законы против политических преступников редактированы почти точно в тех же выражениях, как прусские; особенно «возбуждение к недовольству» (*exciting discontent*) и «возмутительные», «мятежные речи» (*sedition language*) имеются в той же неопределенной редакции, которая оставляет судье и присяжным столько простора. И здесь наказания строже, чем в других случаях; ссылка — главный вид наказания.

Если эти строгие наказания и эти неопределенные политические преступления сказываются на практике не так сильно, как, казалось бы, судя по закону, то это, с одной стороны, вина самого закона, который настолько запутан и неясен, что ловкий адвокат всегда найдет лазейки в пользу обвиняемого. Английский закон есть или *обычное право* (*common law*), т. е. неписаное право, как оно существовало к тому времени, с которого начали собирать статуты, и позже было собрано юридическими авторитетами (это право, конечно, в главнейших своих статьях неопределенно и сомнительно), или *статутное право* (*statute law*), которое состоит из бесконечного ряда отдельных парламентских актов, собиравшихся в течение пяти-сот лет, которые взаимно себе противоречат и ставят на место «правового состояния» совершенно бесправное состояние. Адвокат здесь все; кто очень основательно потратил свое время на эту юридическую путаницу, на этот хаос противоречий, тот всемогущ в английском суде. Сомнительность закона повела, конечно, к вере в авторитет решений прежних судей в подобных случаях. Этим она только усиливается, ибо эти решения точно так же взаимно себе противоречат, и результат исследования зависит опять-таки от начитанности и присутствия духа адвоката. С другой стороны, слабость английского уголовного закона есть опять-таки лишь милость и пр., снисхождение к общественному мнению, с которым правительство, по закону, вовсе не обязано считаться. А что законодательный орган вовсе не расположен менять это состояние, это показывает решительная оппозиция против всяких изменений законов. Но не следует никогда забывать, что господствует собственность и что поэтому такая милость творится лишь по отношению к «почтенным» преступникам; на бедняка, на пария, на пролетария падает вся тяжесть закона, и никому до этого и дела нет.

Но это покровительство богатым выражено также недвусмысленно в законе. Между тем как все важные преступления караются

тягчайшими наказаниями, почти все второстепенные проступки наказываются денежными штрафами, одинаковыми, конечно, для бедных и богатых. Последних они мало или совсем не обременяют, между тем как бедняки в девяти случаях из десяти не могут уплатить, и тогда, без дальних околичностей, ввиду «default of payment» (неплатежа) их отправляют на несколько месяцев на «ножную мельницу». Стоит только почитать полицейские отчеты в первой попавшейся газете, чтобы убедиться в правильности этого утверждения. Третиrowание бедняков и покровительство богачам представляет такое всеобщее явление, практикуется так открыто, так бесстыдно, описывается в газетах так цинично, что редко можно читать газету без внутреннего возмущения. Такого богача встречают всегда с самой изысканной вежливостью, и какой бы зверский ни был его проступок, «судьям всегда очень прискорбно», что им приходится присудить его к денежному штрафу, обычно самому ничтожному. Применение закона в этом отношении еще гораздо бесчеловечнее самого закона; «law grinds the poor, and rich men rule the law» (закон притесняет бедняка, а богачи управляют законом) и «there is one law for the poor and another for the rich» (один закон для бедняка, другой для богача) — это совершенно верные изречения, давно ставшие пословицами. Но как же это может быть иначе? Мировые судьи, как и присяжные заседатели, сами богаты, сами рекрутируются из среднего класса и поэтому пристрастны к себе подобным и прирожденные враги бедным. А если принять еще во внимание социальное влияние собственности, разбирать которое мы здесь не можем, то никто, право, не станет удивляться такому варварскому положению вещей.

О *прямом* социальном законодательстве, в котором низость достигает высшей степени, речь будет позже. Здесь оно не может быть изложено в полном своем значении.

Резюмируем результат нашей критики правового состояния Англии. В высшей степени безразлично, что можно сказать против него с точки зрения «правового государства». То обстоятельство, что Англия не есть официальная демократия, не может нас восстановить против ее учреждений. Для нас только одно важно, что мы везде видели: теория и практика стоят в самом кричащем противоречии. Все силы конституции, корона, Верхняя палата и Нижняя палата были вскрыты перед нашими глазами; мы видели, что государственная церковь и все так называемые прирожденные права англичан — пустые названия, что даже суд присяжных в действительности только одна видимость; что самый закон не имеет прочного существования; короче говоря, что государство, которое стало на

точно определенную законную основу, эту свою основу отрицает и третирует. Англичанин свободен не в силу закона, а вопреки закону, если он вообще свободен.

Мы видели, дальше, какое море лжи и безнравственности влечет за собою это состояние; падают ниц перед пустыми названиями и отрекаются от действительности, не хотят ничего о ней знать, противятся признанию того, что действительно существует, что сами создали; обманывают самих себя и вводят условный язык с искусственными категориями, из которых каждая — пасквиль на действительность; трусливо цепляются за пустые абстракции, лишь бы не нужно было признаваться себе, что в жизни, на практике, приходится иметь дело с совсем другими вещами. Вся английская конституция и все конституционное общественное мнение есть одна большая ложь, которая непрерывно поддерживается и прикрывается множеством маленьких лжей, когда она немного слишком открыто выходит наружу в истинном своем естестве.

И если даже начинают понимать, что все это сооружение сплошная ложь и фикция, то и тогда еще крепко держатся за него, крепче, чем когда-либо, лишь бы не распались пустые слова, несколько бессмысленно сопоставленных букв, ибо слова ведь эти — именно и есть устои мира, и без них мир и человечество должны были бы низрнуться в ночь хаоса. И остается только с полным отвращением отвернуться от этого сплетения явной и скрытой лжи, лицемерия и самообмана.

Может ли такое состояние долго продолжаться? Нечего об этом и думать. Борьба практики против теории, действительности против абстракции, жизни против пустых слов, лишенных значения, словом — борьба человека против человечества должна вырешиться, и не подлежит вопросу, на чьей стороне будет победа.

Борьба уже налицо. Конституция потрясена в своих основах. Как сформируется ближайшее будущее — вытекает из сказанного. Новые, чужеродные элементы в конституции — демократического характера, и общественное мнение, как будет показано, развивается в демократическую сторону. Ближайшее будущее Англии будет демократия.

Но какая демократия! Не демократия французской революции, противоположностью которой были монархия и феодализм, но та демократия, противоположностью которой есть средний класс и собственность. Это доказывается всем предыдущим развитием. Средний класс и собственность господствуют; бедняк бесправен, его угнетают и эксплуатируют, конституция отрекается от него, закон третирует

его; борьба среднего класса против аристократии в Англии есть борьба бедных против богатых. Демократия, к которой приближается Англия, *есть социальная демократия.*

Ибо простая демократия неспособна исцелить социальные недуги. Демократическое равенство есть химера, борьба бедных против богатых не может разрешиться на почве демократии или политики вообще. Таким образом, и эта ступень есть только переход, последнее, чисто политическое, средство, которое еще следует испытать и из которого сейчас же должен развиваться новый элемент, принцип, выходящий за пределы всякой политической сущности.

Это — принцип социализма.

СТАТЬИ ИЗ «NEW MORAL WORLD»

ПРОГРЕСС ДВИЖЕНИЯ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ РЕФОРМУ НА КОНТИНЕНТЕ.

I.

Меня всегда удивляло, когда при встречах с английскими социалистами я убеждался, как мало большинство из них знакомо с происходящим в различных частях континента социальным движением. А между тем, оставляя в стороне фюрьеристов и других менее радикальных социальных реформаторов, в одной Франции насчитывается свыше 500 000 коммунистов. Во всех частях Швейцарии рассеяны коммунистические группы, посылающие своих эмиссаров в Италию, Германию и даже Венгрию. А германская философия после продолжительных и трудных блужданий равным образом пришла к коммунизму.

Так три великие нации Европы — Англия, Франция и Германия—пришли к заключению, что глубоко захватывающая революция, покоящаяся на общности собственности, стала в настоящее время настоящей и неустранимой необходимостью. И это тем более примечательно, что каждая из этих наций пришла к указанному выводу самостоятельно и независимо от других. Это показывает, что коммунизм является не следствием каких-либо особых английских или других национальных отношений, а необходимым выводом, неизбежно вытекающим из предпосылок, порожденных современной цивилизацией фактов.

Было бы поэтому желательно, чтобы все три нации сблизились между собою и постарались выяснить, в чем они меж собою согласны и в чем расходятся. Известные расхождения, конечно, должны существовать, потому что коммунистическое учение выросло в каждой из трех стран из различных источников. У англичан оно *практически* вытекло из быстрого роста в их стране нищеты, деморализации и пауперизма. Французы пришли к тому же учению *политическим* путем: так как они увидели, что их требования политической свободы и равенства сами по себе недостаточны, то они прибавили к

ним требования социальной свободы и равенства. Наконец, немцы вышли на дорогу к коммунизму через *философию*, пробираясь к нему теоретическим путем. Следовательно, в этих странах, в которых социализм имеет столь различное происхождение, должно существовать расхождение по второстепенным вопросам. И, однако, я надеюсь доказать, что это расхождение совсем незначительно и что оно отнюдь не может препятствовать доброму согласию между социальными реформаторами разных стран. Необходимо, чтобы они имели возможность взаимно узнавать друг друга. И если это будет достигнуто, то я не сомневаюсь, что каждый будет ощущать самое горячее пожелание успеха своим зарубежным коммунистическим братьям.

Со времени революции Франция стала политической страной Европы. Никакое социальное улучшение, никакая доктрина не могут достигнуть во Франции национального значения, если они не выдвигаются в политическом облачении. Повидимому, Франции, в современной стадии человеческой истории, выпала задача проделать все формы политического развития, чтобы в конце концов, возвестив все политические начала, прибыть туда, где все нации, идя самыми разнообразными путями, должны встретиться: в царство коммунизма. Развитие общественной мысли во Франции с очевидностью это показывает, и в то же время из него можно заключить, по какому руслу будет протекать будущая история английских чартистов.

Французская революция означает наступление демократии в Европе. Демократия есть, как, на мой взгляд, впрочем, всякая форма правительства, противоречие в себе самой, ложь в сущности не что иное, как лицемерие (или, как мы, немцы, говорим, — «теология»). Политическая свобода есть ложная свобода, хуже, чем самое худшее рабство; она лишь кажущаяся свобода и, следовательно, истинное рабство. Поэтому демократия, как и всякая другая форма правительства, должна распасться. Лицемерие не может длительно существовать, ибо скрытое в нем противоречие должно выступить наружу. Либо равенство, т. е. неприкрытый деспотизм, либо истинная свобода, истинное равенство, т. е. коммунизм. Оба являются последствиями французской революции. Первое последствие извлек Наполеон, второе — Бабеф. Думаю, что о бабуизме я могу говорить кратко, так как книга Буонарроти об его заговоре появилась уже на английском языке. Коммунистический замысел не удался, потому что тогдашний коммунизм был еще слишком сырой и поверхностный, и души людские еще недостаточно развиты были для этого.

Следующим французским реформатором был граф Сен-Симон. Ему удалось создать секту и даже основать несколько колоний,

из которых, впрочем, ни одна не сумела удержаться. Дух сен-симонистского учения в общем и целом тот же, который господствует среди хем-коммонских социалистов в Англии. В практических подробностях замечаются иногда крупные различия. Особенности и чудачества сен-симонистов вызвали скоро едкие насмешки французов, а во Франции все, что подпадает под острие насмешки, неминуемо гибнет. На-ряду с этим были, однако, и другие причины крушения сен-симонистских учреждений. Все учение этой партии было окутано в туман непонятого мистицизма, что на первых порах, может быть, и привлекало всеобщее внимание, но затем, с течением времени, обмануло ожидания. Их экономические принципы также были далеко не безупречны; доля каждого члена их общины в распределении продуктов определялась, во-первых, количеством произведенной им работы и, во-вторых, обнаруженным им талантом. *Германский* республиканец Берне на это с полным правом возразил, что так как талант является, собственно, природным преимуществом, то он не должен был бы подлежать оплате. Наоборот, для восстановления равенства надлежало бы делать известный вычет из полагающейся талантливим людям доли. Сен-симонизм, который, точно сверкающий метеор, поднял дух всех мыслящих людей, исчез с социального горизонта. В настоящее время он забыт; его время миновало.

Почти одновременно с Сен-Симоном занялся общественными условиями человеческого рода другой мощный ум — Фурье. Хотя в произведениях Фурье и не сверкают ослепительные лучи ума Сен-Симона или некоторых из его учеников, хотя он пишет тяжелым и мало понятным языком, хотя и заметно постоянно, как должен был напрягаться автор, чтобы выразить свои мысли, для которых французский язык еще не создал соответствующих слов, мы, тем не менее, читаем его произведения с большим удовольствием. И мы находим в них нечто более ценное, чем то, что нам давала предшествовавшая школа. Правда, и в них нет недостатка в мистицизме, и даже подчас крайне сумасбродном. Однако, если его оставить в стороне, остается нечто, чего у сен-симонистов нельзя найти, а именно — научное изыскание, трезвое, смелое, систематическое мышление, короче — *социальная философия*, между тем как сен-симонизм, в лучшем случае, заслуживает названия *социальной поэзии*. Фурье первый установил основное положение социальной философии, что каждому индивидууму свойственна склонность или пристрастие к определенному виду труда и что совокупность этих индивидуальных склонностей достаточна для совершения работы, обеспечивающей удовлетворение общих потребностей. Из этого следует, что если бы

каждый индивидуум мог, согласно своей склонности, делать то, что хочет, то потребности всех могли бы удовлетворяться и без тех принудительных мер, которые применяет современное общество. Как бы смело ни звучало подобное заявление, оно, однако, после доказательства Фурье, оказывается столь же неопровержимым, как и колумбово яйцо. Фурье доказывает, что каждый человек рождается на свет с известной склонностью к какому-либо виду труда, что *абсолютная лень*—бесмыслица, что она никогда не существовала и существовать не могла бы, что в природе человеческого духа глубоко заложена потребность быть деятельным и упражнять в деятельности свое тело; что, поэтому, нет необходимости насильно принуждать людей к деятельности, как это делается и ныне, но нужно лишь направлять их естественную потребность к деятельности в правильное русло. Он показывает, далее, единство труда и наслаждения и обнаруживает всю безрассудность современной социальной системы, отрывающей друг от друга эти оба понятия, делающей труд тягостным и лишаящей большинство рабочих радости. И затем он показывает, что при разумных условиях, когда каждый будет следовать своим наклонностям, труд будет сделан тем, чем он должен бы быть, именно наслаждением. Я, конечно, не могу здесь развивать всю теорию Фурье о *свободном труде*, но думаю, что сказанного достаточно, чтобы убедить английских социалистов в том, что фурьеризм заслуживает самого глубокого их внимания.

Другая заслуга Фурье состоит в том, что он подчеркивает выгоды, а не необходимость ассоциаций. Мне достаточно лишь вскользь отметить это обстоятельство, так как я знаю, как глубоко англичане проникнуты его важностью.

Одним внутренним противоречием грешит, однако, фурьеризм, а именно тем, что он не помышляет об отмене частной собственности. В его фаланстерах, или общежитиях, существуют богатые и бедные, капиталисты и рабочие. Собственность всех членов сосредоточивается в общем фонде, колония ведет торговлю, земледелие и промышленность, а выгода распределяется между членами: одна часть в качестве заработной платы, другая — как оплата мастерства и таланта, третья — как прибыль на капитал. После всех красивых теории об ассоциации и свободном труде, после столь многих торжественных негодующих речей против торговли, своекорыстия, конкуренции, мы видим не что иное, как старую систему конкуренции на улучшенных началах, как Бастилию принудительного труда на более либеральной основе. Этим ни в каком случае соблазниться нельзя — и французы действительно не соблазнились.

Успехи фюреризма во Франции были медленны, не прочны. Число фюреристов не велико, — к ним примыкают многие лучшие умы современной Франции. Виктор Консидеран — один из лучших их писателей. Они имеют и газету «La Phalange», которая прежде выходила три раза в неделю, а ныне стала ежедневной.

Так как фюреристы нашли себе в Англии представителя в лице г-на Догерти (Doherty), то думаю, что я о них достаточно сказал, и я могу поэтому перейти к наиболее радикальной и наиболее значительной партии во Франции — к коммунистам.

Как я уже отметил выше, все, что во Франции стремится приобрести национальное значение, должно носить политический характер, — иначе оно вообще не может рассчитывать на успех. Сен-Симон и Фурье держались вдали от всякой политики, и их планы оставались поэтому предметом частного обсуждения, вместо того, чтобы стать общим делом всей нации.

Коммунизм Бабефа вышел из демократии первой революции. Вторая революция — революция 1830 года — породила другой, более мощный коммунизм. Либералы и республиканцы, среднее сословие и рабочий класс боролись сообща в течение «великой недели» 1830 года. Когда дело было сделано, рабочий класс отослали по домам, и одни лишь средние классы воспользовались плодами революции. Рабочие, правда, не раз поднимались, чтобы уничтожить привилегии и учредить республику, но они постоянно терпели поражение, так как средние классы не только господствовали над армией, но сами образовали национальную гвардию. Тогда, в 1834 или 1835 году, зародилось среди республиканских рабочих новое учение. Они убедились, что даже тогда, когда их демократические планы имели успех, они постоянно оказывались обманутыми их более одаренными, лучше образованными вожаками и что нельзя осуществить никакого политического изменения до улучшения их социального положения, основной причины их политического недовольства. Они стали искать указаний в истории Великой революции и с жадным рвением изучали коммунизм Бабефа. Больше ничего нельзя с уверенностью сказать о происхождении современного коммунистического движения во Франции.

Эти вопросы обсуждались сперва в укромных углах и тесных улицах Сент-Антуанского предместья Парижа, а затем в тайных собраниях заговорщиков. Кто больше знает о возникновении движения, тот осторожно держит это про себя, дабы не подпасть под «твердую руку закона». Несмотря на это, коммунизм быстро распространился в Париже, Лионе, Тулузе и других больших и фабричных

городах государства; некоторые тайные общества сменяли друг друга; между ними наиболее значительным было общество «Travailleurs égaux», эгалитаристы и гуманитаристы. Эгалитаристы были юные студенты, подобно бабувистам Великой революции. Они хотели превратить вселенную в общину рабочих, хотели уничтожить цивилизацию, науку, искусства и т. п. как бесполезную, опасную и аристократическую роскошь, — предрассудок, который неизбежно должен был вырасти на почве их полного незнакомства с историей и с политической экономией. Гуманитаристы отличались своими нападениями на брак, семью и другие подобные учреждения. Эти и еще другие две или три партии недолго просуществовали, и очень скоро главная масса французских рабочих обратилась к принципам, которые проповедывал «отец Каба» и которые стали известны на континенте под именем «икарийского коммунизма».

Этот краткий очерк истории коммунизма во Франции показывает до некоторой степени, в чем должно заключаться различие между французским и английским коммунизмом. Движение в пользу социальной реформы во Франции возникло на политической почве. Выяснилось, что демократия не может создать действительного равенства, — и вследствие этого должны были призвать на помощь коммунистическую систему. Главная масса французских коммунистов является поэтому и республиканцами; они хотят коммунистического общества с республиканским образом правления. Не думаю, чтобы английские социалисты могли по существу возражать против этого, ибо если они сами предпочитают выборную монархию, то все же я знаю, что они слишком просвещенны, чтобы желать навязать свой образ правления народу, который вообще знать его не хочет. Ясно, что подобный опыт создал бы для этого народа гораздо больше осложнений и затруднений, чем мог бы вызвать когда-либо их собственный демократический образ правления, даже при предположении, что это правление плохое.

Но французским коммунистам можно было бы сделать другой упрек. Они стремятся насильственно ниспровергнуть существующее ныне правительство своей страны и подтверждают это неутомимой организацией тайных обществ. Это верно. Даже икарийцы, которые в своих изданиях отвергают физические революции и тайные общества, даже они имеют такие же общества и с радостью ухватились бы за всякую возможность насильственным путем учредить республику. В этом их будут упрекать и, по-моему, основательно, — ибо тайные общества являются, во всяком случае, преступлением против здравого смысла, так как они подвергают партии бесполез-

ным законным преследованиям. Я отнюдь не склонен защищать подобную политику, но ее необходимо выяснить и понять, а это вполне возможно, если принять во внимание различие в национальном характере, как и в образе правления у французов и у англичан.

Английская конституция вот уже в течение ста пятидесяти лет непрерывно была законом страны; всякое изменение в ней проводилось закономерным путем в предписанных конституцией формах. Отсюда глубокое уважение англичан к своим законам. Во Франции же в течение последних пятидесяти лет происходили насильственные перемены. Всевозможные конституции, от радикальной демократии до неприкрытого деспотизма, всякого рода законы после короткого существования отменялись и заменялись другими. Какое уважение может быть после этого у народа к своим законам? И результатом всех этих конвульсий, как он ныне запечатлен в конституции и в законах Франции, является поддерживаемое насилием угнетение бедного богатым. Можно ли после этого ожидать, чтобы угнетенные любили свои государственные учреждения, чтобы они не обращались снова к старым средствам 1792 года? Они знают: если они что-нибудь представляют собою, то только в прямой борьбе, и так как в настоящее время они другого оружия не имеют, то почему должны они хотя бы одну минуту колебаться пустить в ход то, которое у них есть?

Скажут далее: почему французские коммунисты не учреждают коммунистические колонии подобно англичанам? Отвечаю: потому что они не должны решаться на это. Первый же опыт был бы сокрушен при помощи солдат. И даже, если бы им это разрешили, это не принесло бы им никакой пользы. Я сам всегда приводил в пример поселения «Гармонии» только для того, чтобы показать осуществимость планов г. Оуэна, чтобы побудить общественное мнение к более дружелюбному отношению к социалистическим идеям, стремящимся к уничтожению общей нищеты. Но если это и так, то подобный эксперимент не имел бы во Франции никакого значения. Не доказывайте французам, что ваши планы практичны, — это их оставит холодными и равнодушными. Но покажите им, что ваши коммунистические колонии не бросят человечество под иго «облаченному в железный панцырь деспотизму», как недавно выразился чартист г. Байрстов (Bairstow) в споре с г. Уотсом (Watts). Покажите, что истинная свобода и истинное равенство возможны лишь при коммунистических установлениях, что таких установлений требует *справедливость*, — и вы их всех будете иметь на своей стороне.

Вернемся к социальному учению икарийских коммунистов. Их «священной книгой» является «*Voyage en Icarie*» («Путешествие в

Икарию») отца Кабэ, ранее бывшего генеральным прокурором и членом палаты депутатов. Общие порядки их колоний те же, что у г. Оуэна. Все, что они нашли разумного у Сен-Симона и у Фурье, они заимствовали в своих планах и поэтому значительно превосходят прежних французских коммунистов. Их отношение к браку то же, что и у англичан. Свобода личности всячески оберегается. Наказания отменены; их место занимают воспитание молодежи и планомерное культурное воздействие на взрослых.

Одно, впрочем, примечательно: в то время как английские социалисты в общем враждебно настроены по отношению к христианству и вынуждены сносить все религиозные предрассудки истинно-христианского народа, французские коммунисты, принадлежащие к нации, неверие которой общеизвестно, лично являются христианами. Один из их лозунгов гласит, что христианство есть коммунизм: «le christianisme est le communisme», и они стараются это доказать, между прочим, при помощи Библии, ссылаясь на коммунизм, в котором якобы жили первые христиане. Все это, однако, показывает только, что добрые люди отнюдь не являются лучшими христианами, хотя они себя и называют таковыми, ибо в противном случае они бы лучше были знакомы с Библией и знали бы, что едва несколько строк в Библии могут быть истолкованы в пользу коммунизма и что весь дух ее учения ему, однако, совершенно враждебен, как и вообще всякому рационалистическому воззрению.

Рост коммунизма приветствовался наиболее крупными умами Франции. Метафизик Пьер Леру, мужественная защитница прав женщины Жорж-Занд, аббат Ламеннэ, автор «Paroles d'un croyant», и многие другие более или менее склоняются к коммунистическому учению. Наиболее крупным писателем этого направления является, однако, Прудон, молодой человек, который два или три года тому назад опубликовал свое произведение «Что такое собственность?» («Qu'est-ce que la propriété?») и ответил: «Собственность, это — воровство» («La propriété c'est le vol»). Это глубочайший философский труд, написанный когда-либо коммунистом на французском языке, и мне бы хотелось, чтобы из всех других именно эта книга была переведена на английский язык. Право частной собственности, последствия этого института, конкуренция, безнравственность, нищета, описаны с душевным подъемом и поистине научным методом, которых я ни в какой другой книге не встречал в таком слиянном виде. Значительны, сверх того, его замечания о конституционном строе; доказав, что все образы правления одинаково неприемлемы, будь то аристократия, демократия или монархия, так как все они

THE NEW INTERNATIONAL WORLD:

GAZETTE OF THE RATIONAL SOCIETY.

Enrolled under Acts of Parliament, 10 Geo. IV. c. 56, and 4, 1, Will. IV. c. 40.

— ANY GENERAL CHARACTER, FROM THE BEST TO THE WORST, OF THE MOST ENLIGHTENED, MAY BE GIVEN TO ANY COMMUNITY, BY THE MERE WILL OF A FEW MEN, BY THE APPLICATION OF PROPER MEANS, WHICH MEANS ARE TO A GREAT EXTENT AT THE COMMAND AND UNDER THE CONTROL OF THOSE WHO HAVE INFLUENCE IN THE AFFAIRS OF MEN.—ROBERT OWEN.

W. JOHNSON, PRINTER, LITTLE BRIDGE STREET, CHEAPSIDE, LONDON.

SATURDAY, NOVEMBER 4, 1843.

PRICE 2s.

No. 13. Vol. V. Third Series.

CONTENTS.

Progress of Social Reform on the Continent	116
Slavery in Ireland	116
A Christian's Visit to Harmony	117
Present Condition and Prospects of Harmony	118
Harmony	118

PROGRESS OF SOCIAL REFORM.—London.—	—
Thames Hall—	119
Herby—Hall of Science, Huddersfield	150
Third Annual Festival of the Rational Society	153

Leeds—Manchester	154
American Communities	154
New Jamaica	150
Children in Manufactories	155

PROGRESS OF SOCIAL REFORM ON THE CONTINENT.

It has always been in some degree surprising to me, ever since I met with English Socialists, to find that more of them are very little acquainted with the social movement going on in different parts of the continent. And yet there are more than half a million of Communists in France, not taking into account the Fourierists, and other less radical Social reformers: there are Communist associations in every part of Switzerland, sending forth missionaries to Italy, Germany, and even Hungary; and German philosophy, after a long and troublesome circuit, has at last settled upon Communism.

Thus, the three great and civilized countries of Europe—England, France, and Germany, have all come to the conclusion that a thorough revolution of social arrangements, based on a community of property, has now become an urgent and unavoidable necessity. This result is the more striking, as it was arrived at by each of the above nations in a different way; a fact, than which there can be no stronger proof, that Communism is not the consequence of the particular position of the English, or any other nation, nor that it is a necessary emanation, which cannot be avoided to be drawn from the premises given in the general facts of modern civilization.

It must, therefore, appear desirable, that the three nations should understand each other, and should know how far they agree, and how far they disagree; because there must be disagreement also, owing to the different origin of the doctrine of Community in each of the three countries. The English came to the conclusion practically, by the rapid increase of misery, demoralization, and pauperism in their own country; the French *politically*, by first asking for political liberty and equality; and, finding this insufficient, joining social liberty, and social equality to their political claims; the Germans became Communists *philosophically*, by reasoning upon first principles. This being the origin of Socialism in the three countries, there must exist differences upon some points; but I think I shall be able to show that these differences are very insignificant, and quite consistent with the best feeling on the part of the Social reformers of each country, towards those of the other. The thing wanted, by that they should know each other; this being obtained, I am certain they all will have the best wishes for the success of their foreign brother Communists.

NO. 1.—FRANCE.

France is, since the Revolution, the exclusively political country of Europe. No improvement, no change can obtain rational importance in France, unless enclosed in some political sphere. It seems to be the part the French nation have to perform in the present stage of the history of mankind, to go through all the forms of political development, and to arrive, from a merely political beginning, at the point where all nations, in all times past, must meet at Communism. The development of the public mind in France shows this clearly, and shows at the same time, what the future history of the English Christians must be.

The French Revolution was the rise of democracy in Europe. Democracy is, as I take all forms of government to be, a contradiction in itself, an untruth, nothing but hypocrisy (theology, as we Germans call it), at the bottom. Political liberty is slavery; liberty, the worst possible slavery; the appearance, Vol. XIII, N. M. W., No. 18.]

of liberty, and therefore the reality of servitude. Political equality is the same; therefore democracy, as well as every other form of government, must ultimately break to pieces. Hypocrisy cannot subsist, the contradiction hidden in it must come out; we must have either a regular slavery—that is, an unqualified despotism, or real liberty, and real equality; that is, Communism. Both these courses were brought out in the French Revolution; Napoleon established the first, and Babeuf the second. I think I may be short upon the subject of Babeufism, as the history of his conspiracy, by Buonarroti, has been translated into the English language. The Communist plot did not succeed, because the then Communism itself was of a very rough and superficial kind; and because, on the other hand, the public mind was not yet far enough advanced.

The next French Social reformer was Count de St. Simon. He succeeded in getting up a sect, and even some establishments; none of which succeeded. The general spirit of the Saint-Simonian doctrine is very much like that of the Hiram-Common Socialists, in England; although, in the detail of the arrangements and ideas, there is a great difference. The singularities and eccentricities of the Saint-Simonians very soon became the victims of French wit and satire, and everything else made ridiculous, inevitably lost in France. But, besides this, there were other causes for the failure of the Saint-Simonian establishments: all the doctrines of this party were very much like that of the Hiram-Common Socialists, which, perhaps, in the beginning, attract the attention of the people; but, at last, must leave their expectations disappointed. Their economical principles, too, were not unexceptionable; the share of each of the members of their communities in the distribution of produce, was to be regulated, firstly, by the amount of work he had done; and, secondly, the amount of talent he displayed. A German Republican, Baer, justly replied to his principle, that talent, instead of being rewarded, ought rather to be considered as a natural preference; and, therefore, a deduction ought to be made from the share of the talented, in order to restore equality.

Saint-Simonian, after having excited, like a brilliant meteor, the attention of the thinking, disaffected from the Social horizon. Nobly now thinks of it, or speaks of it; its time is past.

Nearly at the same time with Saint-Simon, another man directed the activity of his mighty intellect to the social state of mankind—Fourier. Although Fourier's writings do not display those bright sparks of genius, which we find in Saint-Simon's, and some parts of his style are harsh and unpolished, yet to a considerable extent, the trail with which the author is always labouring to bring out his ideas, and to speak out things, for which no words are provided in the French language—nevertheless, we find his works with greater pleasure, and find more real value in them, than in those of the preceding school. There is mysticism too, and as extravagant as any, but this you may cut off and throw it aside, and there will remain something not to be found among the Saint-Simonians—scientific research, cool, unbiased, systematic thought; in short, social philosophy; whilst Saint-Simonian can only be called social poetry. It was Fourier, who, for the first time, showed the greatest axiom of social philosophy, that, every individual having an inclination or predilection for some particular kind of work, the sum of all these inclinations of all individuals must be, upon the whole, an adequate power for providing for the wants of all. From this principle, it follows,

that if every individual is left to his own inclination, to do and to leave what he pleases, the wants of all will be provided for, without the forcible means used by the present system of society. This assertion looks bold, and yet, after Fourier's mode of establishing it, is quite unassailable, almost self-evident—the egg of Columbus. Fourier proves, that every one is born with an inclination for some kind of work, that *absolute idleness* is nonsense, a thing which never existed, and cannot exist; that the essence of the human mind is to be active itself, and to bring the body into activity; and that, therefore, there is no necessary for making the people active by force, as in the now existing state of society, but only to give their natural activity the right direction. He goes on proving, the identity of labour and enjoyment, and shows the irrationality of the present social system, which separates them, making labour a toil, and placing enjoyment above the reach of the majority of the labourers; he shows further, how, under rational arrangements, labour may be made what it is intended to be, an enjoyment, leaving every one to follow his own inclination. I cannot, of course, follow Fourier through the whole of his theory of *free labour*, and I think that will be sufficient to show the English Socialists that Fourierism is a subject well worth their attention.*

Another of the merits of Fourier is to have shown the ancient *agrarian*, the necessity of association. It will be sufficient to mention this subject, as I know the English to be fully aware of its importance.

There is one inconsistency, however, in Fourierism, and a very important one; and that is, his unutilization of private property. In his *Phalanxes*, or associative establishments, there are rich and poor, capitalists and working men. The property of all members is placed into a joint stock, the establishment carries on commerce, agricultural and manufacturing industry, and the proceeds are divided among the members; one part as wages of labour, another as reward for skill and talent, and a third as profits of capital. Thus, after all the beautiful theories of association and free labour; after a good deal of indignant declamation against commerce, selfishness, and competition, we have in practice, the old competitive system upon an improved plan, a poor-law hostile on more liberal principles! Certainly, here we cannot stop; and the French, too, have not stopped here.

The progress of Fourierism in France was slow, but regular. There are not a great many Fourierists, but they count among their numbers a considerable portion of the intellect now active in France. Victor Considérant is one of their cleverest writers. They have a newspaper, too, the "*Phalange*," published formerly three times a week, now daily.

As the Fourierists are now represented in England, also, by Mr. Babery, I think I may have said enough concerning them, and now pass to the most important and most radical party in France, the Communists.

I said before, that everything claiming national importance, in France, must be of a political nature, or it will not succeed. Saint-Simon and Fourier do not touch politics at all, and their schemes, therefore, became not the common property of the nation, but only subjects of private discussion. We have seen how Babeuf's Communism arose out of the de-

* A few years since we gave a complete exposition of the system in a series of articles in the *Journal*, Vol. N. M. W. + Now called the "*Démocratie Industrielle*," Vol. N. M. W.

СТРАНИЦА НОМЕРА «N W M W» СО СТАТЬЕЙ ЭНГЕЛЬСА
«ПРОГРЕСС СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ НА КОНТИНЕНТЕ».

господствуют при помощи насилия, да и то, в лучшем случае, сила большинства угнетает слабость меньшинства, он приходит к выводу: «Nous voulons l'anarchie» — «Мы требуем анархии». Никакого закона, ответственность каждого только за самого себя.

Об этом, впрочем, мне еще придется говорить, когда я перейду к германским коммунистам. Теперь же я хочу лишь добавить, что икарийские коммунисты исчисляются в полмиллиона человек, не считая женщин и детей. Великолепная армия, не правда ли? Отец Кабэ издает ежемесячник под названием «Le Populaire», а П. Леру выпускает «Revue Indépendante», защищающую основные положения коммунизма с философской точки зрения.

II.

ГЕРМАНИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ.

Германия имела своих социальных реформаторов еще в эпоху реформации. Вскоре после того как Лютер стал агитировать за реформу церкви и подстрекать народ против духовной власти, крестьянство южной и средней Германии поднялось против своих земных владык. Лютер всегда ставил себе задачей возврат к истинному христианству и в учении, и в жизни; крестьяне желали того же и требовали поэтому восстановления первоначального христианства не только в церкви, но и в общественной жизни. Они понимали, что нельзя связывать рабство и подчинение, в котором они жили, с учением Библии. Изо дня в день они притеснялись и ограблялись шайкой надменных баронов и графов, обращавшихся с ними, как со скотом; никакой закон не охранял их, а если и существовал подобный закон, то не было никого, кто бы его применял. Это положение резко противоречило общинному началу первых христиан и евангельскому учению Христа. Так поднялись они на борьбу против своих господ, борьбу, которая могла быть лишь борьбой за уничтожение. Проповедник Томас Мюнцер, выбранный ими предводителем, выпустил воззвание, которое, естественно, переполнено было религиозным и суеверным вздором своего времени, но которое, между прочим, содержало в себе и такие положения: что, согласно Библии, ни один христианин не имеет права удерживать исключительно для себя какую бы то ни было собственность; что только общая собственность соответствует христианскому обществу; что доброму христианину не дозволяется проявлять какую бы то ни было власть или насилие над другими христианами, но что, наоборот, все люди, равные перед богом, должны быть равны между собой и на земле. Эти наставления были лишь логическими выводами из Библии и собственных писаний Лкстера. Но реформатор не имел никакого желания идти так далеко, как народ; несмотря на все мужество, которое он проявил против церковных властей, он все же

не отделался от политических и социальных предрассудков своего времени. Он столь же твердо верил в божественное право князей и помещиков топтать народ, как верил в Библию. И так как он, сверх того, нуждался в покровительстве аристократии и протестантских князей, то он написал против повстанцев памфлет, в котором не только отрицал всякую связь с ними, но подстрекал дворянство к самой жестокой расправе с мятежниками против божеских законов. «Убивайте их, как собак», — восклицал он. Весь памфлет написан с такой ненавистью и даже с таким фанатическим бешенством против народа, что он навсегда останется пятном на образе Лютера. Памфлет показывает, что он, начав свое жизненное поприще как человек народа, перешел затем всецело на службу к его притеснителям. Восстание было подавлено в кровавой гражданской войне, и крестьяне низвергнуты были в прежнее рабство.

Если не считать отдельных примеров, к которым общественность не имела никакого отношения, то в Германии не было никакой партии социальных реформаторов, начиная с крестьянской войны и до недавнего времени. В течение последнего пятидесятилетия пришлось слишком много заниматься вопросами чисто политического или чисто метафизического свойства, вопросами, на которые нужно было ответить, прежде чем можно было приступить к обсуждению социального вопроса с необходимым спокойствием и разумением. Несмотря на это, люди, которые решительно возражали против коммунистической системы, если бы она им была предложена, сами открыли путь для ее введения.

С недавнего времени социальная реформа снова стала предметом обсуждения, сперва среди рабочего класса Германии. Так как в Германии мало развита фабричная промышленность, то рабочая масса состоит из ремесленных подмастерьев, которые несколько лет кочуют по Германии, по Швейцарии, очень часто по Франции, прежде чем осесть в качестве мастеров. Среди немецких рабочих в Париже происходит, таким образом, постоянный прилив и отлив. Значительная их часть знакома с политическим и социальным движением французского рабочего класса. Один из этих рабочих, Вильгельм Вейтлин, пруссак из Магдебурга, решил создать коммунистическое общество в своем отечестве.

Этот человек, которого можно считать создателем германского коммунизма, прожил года два в Париже, затем перебрался в Швейцарию и, работая в Женеве в портняжной мастерской, проповедывал своим товарищам по работе новое евангелие. Во многих городах и местечках швейцарской стороны Женевского озера основал он

коммунистические союзы, и большинство германских рабочих охвачено его идеями. Обеспечив себе, таким образом, внимание широкого круга рабочих, он приступил к изданию газеты «Die junge Generation» с целью расширить свою агитацию в стране. Хотя эта газета писалась только рабочим для рабочих, она с самого же начала превзошла все издания французских коммунистов, в том числе даже «Populaire» «отца Кабэ». Она показывает, что ее издатель должен был очень усиленно работать, чтобы усвоить себе те исторические и политические познания, без которых публицист немыслим и которых не дало ему скудное воспитание. Она показывает также, что Вейтлинг постоянно работал над тем, чтобы свести различные свои идеи и мысли об обществе в стройную систему коммунизма. Газета «Junge Generation» начала выходить в 1841 году; через год Вейтлинг опубликовал произведение «Garantien der Harmonie und Freiheit», в котором он критикует существующий общественный строй и рисует план нового общества. Как-нибудь я, может быть, пришлю вам несколько выдержек из этой книги.

Ядро коммунистической партии было, таким образом, составлено в Женеве и ее окрестностях; Вейтлинг перебрался в Цюрих, где, как и в других городах северной Швейцарии, некоторые друзья его начали уже оказывать влияние на рабочих. Вейтлинг стал организовывать свою партию в этих городах. Под названием певческих союзов образовывались ассоциации для изучения вопросов социального преобразования. К этому времени Вейтлинг сообщил о своем намерении опубликовать книгу «Евангелие бедного грешника». Но тут в дело вмешалась полиция.

В июне этого года Вейтлинг был арестован; на бумаги его был наложен арест, равно как и на его книгу до выхода ее из печати. Правительство республики учредило комиссию для расследования дела и для представления ватем доклада о нем Большому совету — народному представительству. Этот доклад был несколько месяцев тому назад напечатан. Из него явствует, что большое число коммунистических союзов рассеяно было по всей Швейцарии; что Вейтлинг считался руководителем партии и время от времени получал доклады о ходе движения; что он находился в переписке с подобными же союзами в Париже и Лондоне, которые состояли из людей, часто менявших свое местожительство и вместе с тем являвшихся паломниками этого «опасного и утопического учения», причем старшие их члены переправлялись в Германию, Венгрию или Италию, и каждый рабочий, попадавший в сферу их воздействия, заражался их духом. Доклад был составлен доктором Блюнчли, фанатическим

сторонником аристократии и христианства, и напоминает поэтому больше партийный донос, нежели хладнокровный официальный доклад. Коммунизм выставляется в нем крайне опасным, подтачивающим существующий порядок и разрушающим священные узы общества. И благочестивый доктор не находит слов, чтобы выразить свое негодование по поводу суетного кощунства, с которым эти полумные и бессознательные люди пытаются подтвердить свое безбожное революционное учение цитатами из священного писания. Вейтлинг и его товарищи заняли в этом вопросе ту же позицию, какую заняли икарійцы во Франции, и заявили, что христианство означает также и коммунизм.

Исход процесса весьма мало соответствовал ожиданиям цюрихского правительства. Хотя Вейтлинг и его друзья не раз были весьма неосторожны в своих показаниях, однако обвинение в государственной измене и в заговоре не могло быть доказано. Суд приговорил Вейтлинга к шестимесячному тюремному заключению и к пожизненному изгнанию из пределов Швейцарии; члены цюрихского союза были высланы из кантона, а доклад следственной комиссии был сообщен правительствам других кантонов и иностранным посланникам. Однако в других частях Швейцарии коммунисты пострадали весьма мало. Преследование началось слишком поздно и встретило слишком слабую поддержку со стороны других кантонов. Оно не привело к разгрому коммунизма, а скорее принесло ему пользу тем большим интересом, который оно вызвало к себе во всех немецких странах. Коммунизм, дотоле почти неизвестный в Германии, стал там предметом всеобщего внимания.

Кроме указанной партии, была еще одна партия в Германии, которая вступила в коммунизм. И она, как партия общенародная, несомненно, в скором времени организует весь рабочий класс Германии. Партия, о которой я сейчас говорю, есть партия философская, не имеющая в своем возникновении ничего общего с английскими или французскими коммунистами, а выросшая из той философии, которою Германия так гордилась в течение последнего полувека.

Политическая революция во Франции сопровождалась философской революцией в Германии. Кант первый начал эту революцию; он выбросил за борт устарелую лейбницовскую систему метафизики, которая к исходу прошлого столетия принята была во всех университетах континента. Фихте и Шеллинг начали новую постройку. Гегель завершил новую систему. Никогда еще, с тех пор как люди мыслят, не было такой всеобъемлющей системы философии, как система Гегеля. Логика, метафизика, философия природы,

философия духа, философия права, религии, истории — все было собрано в *одну* систему, все сведено было к одному основному принципу. Изнавне система казалась неуязвимой, и это действительно было так. Лишь *изнутри* могла она быть взорвана, и лишь теми, кто сами были гегельянцами. Здесь я, конечно, не могу подробно излагать ни эту систему, ни ее историю и должен ограничиться следующими замечаниями. Развитие германской философии от Канта до Гегеля было столь последовательно, столь логично, столь, если позволительно так выразиться, необходимо, что рядом с упомянутыми системами никакая другая не могла удержаться. Те две или три системы, которые еще существовали, не останавливали на себе ничего внимания; они были в таком запущении, что никто им не оказывал чести бороться с ними. Гегель, несмотря на свои огромные знания и глубокое мышление, был столь всецело занят абстрактными вопросами, что не имел времени отделаться от предрассудков своего времени, — времени, которое возрождало старые системы государственных установлений и религии. Но его ученики придерживались совсем других взглядов на эти вещи. В 1831 году Гегель умер, и уже в 1835 году появилась штраусова «Жизнь Христа», первое произведение, которое представляло собою шаг вперед за пределы ортодоксального гегельянства. За ним последовали другие, и в 1837 году христиане восстали против так называемых новогегельянцев, клеймя их атеистами и вызывая к вмешательству правительства. Правительство, однако, не откликнулось, и борьба все более разгоралась. В это время ново- или младогегельянцы так слабо сознавали, какие последствия вытекают из их собственных идей, что они отбрасывали от себя упрек в атеизме и сами называли себя христианами и протестантами, хотя и отрицали существование сверхчеловеческого бога, а историю священного писания сводили к чистой мифологии. Лишь в прошлом году автор этих строк признал в одном произведении правильность упрека в атеизме.

Но развитие шло своим путем. Младогегельянцы с 1842 г. стали открытыми атеистами и республиканцами; их партийный орган «*Deutsche Jahrbücher*» был радикальнее и откровеннее, чем когда-либо прежде. Основана была политическая газета, и очень скоро вся либеральная печать Германии была в наших руках. Мы имели своих друзей почти в каждом более значительном городе. Мы обеспечивали все либеральные газеты необходимым материалом и таким образом делали их своими органами. Мы засыпали всю страну памфлетами и вскоре мы в каждом вопросе господствовали в общественном мнении. Временное облегчение цензуры над печатью усилило энергию

этого движения, которое было совсем новым зрелищем для значительной части немецкой публики. Выходившие под опекой правительственного цензора газеты содержали вещи, которые даже во Франции преследовались бы как государственная измена, и кое-что, чего в Англии нельзя было бы сказать, не рискуя попасть под суд по обвинению в богохульстве. Это движение надвинулось столь неожиданно, столь бурно и с такой стремительностью, что как правительство, так и публика временно были как бы скованы им. Однако буйный характер его агитации доказывал, что оно никакой значительной партии за собою в общественности не имело и что его мощь объяснялась лишь смущением застигнутого врасплох противника. Как только правительство снова пришло в себя, оно поставило ему предел неслыханно-деспотическим подавлением свободы слова. Памфлеты, газеты, периодические издания, научные произведения дюжинами воспрещались, и скоро возбужденное настроение страны сосредоточилось в себе самом. Само собою разумеется, что этот тиранический нажим не остановит развития общественного мнения и не уничтожит убеждений агитаторов. Все это преследование не принесло господствующим кругам никакой пользы, ибо, если бы не подавили движение, то оно споткнулось бы о тупость публики, которая так же мало подготовлена к радикальным изменениям, как во всякой другой стране. И если бы это даже не произошло, республиканская агитация все равно была бы заброшена ее собственными сторонниками, так как последние, продолжая дальше развивать выводы своей философии, стали коммунистами. В тот самый момент, когда правители Германии думали, что они навсегда раздавили республиканскую идею, они увидели, что из пепла политической агитации вырос коммунизм. И это новое учение показалось им еще опаснее и ужаснее того, казущийся разгром которого они правдоносили.

Уже весной 1842 года некоторые партийные деятели заявили, что одних политических реформ недостаточно и что лишь *социальная революция*, покоящаяся на общей собственности, является единственным строем, совпадающим с их абстрактными основными положениями. Но даже такие главари партии, как д-р Бруно Бауэр, д-р Фейербах и д-р Руге, не высказывались за столь решительный шаг. Орган партии, «*Rheinische Zeitung*», поместил несколько статей в защиту коммунизма, но желанного успеха газета при этом не имела. Однако коммунизм был столь *необходимым* последствием младогегельянской философии, что никакая оппозиция его не могла задержать, и основатели его с удовлетворением отмечали, как республиканцы один за другим входили в его ряды. Помимо д-ра Гесса, одного

из редакторов ныне закрытой «Rheinische Zeitung», который первым стал коммунистом в партии, нужно отметить еще некоторых, а именно: д-ра Руге, издателя «Deutsche Jahrbücher», запрещенных постановлением германского Союзного совета; д-ра Маркса, другого редактора «Rheinische Zeitung»; поэта Георга Гервега, письмо которого к прусскому королю было прошлой зимой напечатано большинством английских газет, и др. И мы надеемся, что и оставшаяся часть республиканской партии постепенно найдет к нам путь.

Так философский коммунизм навсегда стал твердой ногой в Германии, несмотря на все старания правительств не дать ему развития. Они истребили всю прессу, но без пользы для себя; прогрессивная партия использует свободную печать Швейцарии и Франции, и ее произведения так широко распространяются в Германии, как если бы они здесь печатались. Все преследования и запреты оказались недействительными и никогда никакого значения иметь не будут. Немцы — нация философская, они не пожелают и не смогут отказаться от коммунизма, раз он покоится на здоровых философских основах, в особенности, когда он является неустранимым последствием их собственной философии. И в этом — задача, стоящая перед нами теперь. Наша партия должна доказать, что, если не хотят, чтобы все философские изыскания немцев, от Канта до Гегеля, остались бесполезными или даже хуже чем бесполезными, то их завершением может быть только коммунизм; что немцы должны либо отречься от своих великих философов, составлявших их национальную гордость, либо признать коммунизм. И это *будет* доказано; немцы будут поставлены перед этой дилеммой, и едва ли возможно сомнение относительно того, на каком решении остановится народ. Ни в одной стране нет такой надежды, как в Германии, создать коммунистическую партию среди образованных классов. Немцы — нация весьма бескорыстная; когда принцип и интересы приходят у них в столкновение между собою, принцип всегда укрощает притязания интересов. То же пристрастие к абстрактным принципам, то же пренебрежение к действительности и собственной выгоде, которые привели немцев в состояние политического небытия, те же самые качества служат ручательством успеха философского коммунизма в Германии. Для англичанина, вероятно, будет удивительно, что партия, стремящаяся к отмене частной собственности, составляется преимущественно из людей, которые сами являются собственниками, и, однако, в Германии дело именно так обстоит. Мы можем привлекать своих членов только из среды таких классов, которые получают хорошее образование, т. е. из университетов и коммерческих кру-

гов,— и нигде мы при этом не наталкивались на ощутительные затруднения.

В отдельных пунктах мы с английскими социалистами согласны больше, чем с какой-либо другой партией; их система, подобно нашей, покоится на философской основе; как и мы, они борются против религиозных предрассудков, между тем как французы отвергают философию и увековечивают религию тем, что перетаскивают ее в новый общественный строй. Французские коммунисты могли нам оказывать помощь только в первой стадии нашего развития; скоро мы увидели, что мы знаем больше, чем наши учителя. А у английских социалистов нам еще нужно многому научиться. Правда, наши принципы дают нам более широкую основу, ибо мы их почерпали в философской системе, охватывающей совокупность человеческих знаний; но в общем мы находим, что во всем, что касается практики, *фактов* современного общества, английские социалисты нас опередили, и нам после них весьма мало осталось сделать в этой области. Я могу, впрочем, сказать, что я встречал английских социалистов, с которыми я был согласен почти по всем вопросам.

Я не могу здесь изложить эту систему коммунизма, не удлиняя сверх меры свою статью, но я бы это охотно сделал, если бы издатель «New Moral World» предоставил мне для этого достаточно места. Заканчиваю поэтому следующим утверждением: несмотря на преследования германских правительств (мне сообщают, что в Берлине г. Эдгар Бауэр привлекается к суду за выпущенное им коммунистическое произведение, а в Штуттгарте другой арестован по обвинению в новом преступлении — в «коммунистической переписке»), будет сделано все необходимое, чтобы развить успешную агитацию за социальную реформу, чтобы основать новый периодический орган и чтобы обеспечить распространение всех коммунистических изданий.

«ТАЙМС» О НЕМЕЦКОМ КОММУНИЗМЕ.

Издателю «New Moral World».

Милостивый государь!

Как я вижу, статья «Таймса» о немецком коммунизме перепечатана в «New Moral World». Я не могу оставить этого обстоятельства без некоторых замечаний, которые, может быть, вы сочтете пригодными для печати.

До сих пор «Таймс» пользовался на материке славой хорошо осведомленной газеты, но еще несколько таких статей, как статья о немецком коммунизме, и от этой репутации очень скоро ничего не останется. Всякий человек, имеющий хоть малейшее представление о социальном движении во Франции и Германии, должен сейчас же заметить, что автор вышеназванного очерка говорит о предмете, о котором он абсолютно ничего не знает. Его невежество так велико, что он неспособен даже вскрыть слабых сторон партии, на которую он нападает. Если бы он дал себе только труд прочесть отчет цюрихской комиссии, — он уверяет, что будто бы сделал это, но он, наверное, незнаком с этим отчетом, — то он нашел бы массу материала для оклеветания коммунизма, бездну отборных тезисов, собранных вместе именно для этой цели. Разумеется, странно, что коммунисты должны сами снабжать своих противников оружием для борьбы, но так как в основе их учения лежит широкая философская теория, то они спокойно могут идти на этот риск.

Корреспондент «Таймса» утверждает вначале, что коммунистическая партия во Франции очень слаба. Он не уверен, они ли являются виновниками парижского восстания 1839 г. или же, — что он считает очень вероятным, — «мощная» республиканская партия. Но мой осведомленнейший осведомитель английской публики, считаете ли вы слабой партию, насчитывающую 500 000 взрослых мужчин? Разве вам не известно, что «мощная» республиканская партия вот уже девять лет как находится в состоянии полного развала и прогрессирующего разложения? Разве вам не известно, что «На-

tional», орган этой «мощной» партии, имеет меньший тираж, чем любая другая парижская газета? Неужели я, иностранец, должен напомнить вам о республиканском сборе в пользу ирландского Repeal-Fund, который «National» устроил прошлым летом и который дал меньше 100 фунтов, хотя республиканцы питают якобы горячие симпатии к ирландским repealers? Разве вам не известно, что масса республиканской партии, рабочие, уже давно отделились от своих богатых партийных единомышленников и не присоединились к коммунистической партии, а основали ее задолго до того, как Кабэ высказался в пользу коммунизма? Разве вам не известно, что вся «мощь» французских республиканцев состоит в поддержке их коммунистами, которые до осуществления ими коммунизма желают иметь республику? Все эти вещи, повидимому, неизвестны вам, а между тем вы должны были их знать, чтобы составить себе правильное представление о состоянии социализма на материке.

Что касается восстания 1839 г., то я не думаю, чтобы события подобного рода можно было приписать какой-нибудь партии. Но я знаю людей, активно участвовавших в этой «смерти», что она была подготовлена и произведена коммунистами.

Хорошо осведомленный корреспондент сообщает далее, что «учения Фурье и Кабэ, повидимому, занимали больше нескольких литераторов и ученых, чем находили отклик у народа». Относительно Фурье это верно, как я уже показал раньше в одном из номеров этой газеты. Но Кабэ! Кабэ, который не написал почти ничего другого, кроме небольших памфлетов, — Кабэ, которого всегда называют только «отцом Кабэ», именем, которое вряд ли могли дать ему «литераторы и ученые», — Кабэ, крупнейшим недостатком которого является поверхностность, отсутствие понимания требований научного исследования, — Кабэ, издатель газеты, предназначенной для лиц, умеющих только-только читать, — неужели учением этого человека будет интересоваться профессор Парижского университета, в роде Мишле, или же такой человек, как Кине, который гордится своей ультра-мистической глубиной? Это ведь просто смехотворно.

Наш корреспондент рассказывает затем об известном ночном собрании в Гамбахе и Штейнхольцли и высказывает мнение, что оно «носило скорее политический, чем социально-революционный характер». Я не знаю, с чего начать мне, чтобы перечислить все ошибки, содержащиеся в этой фразе. Во-первых, «ночные» собрания на материке совершенно неизвестны; у нас нет ночных собраний при свете факелов, как те, что устраивали чартисты или ребеккаиты. Гамбахское торжество происходило днем, на глазах у властей. Во-вторых,

Гамбах находится в Баварии, а Штейнхольцли — в Швейцарии, в нескольких стах милях от Гамбаха; между тем, наш корреспондент говорит о собрании в Гамбахе и Штейнхольцли. В-третьих, оба эти собрания отличаются между собою не только по месту, но и по времени: собрание в Штейнхольцли произошло на несколько лет позже. В-четвертых, собрания эти носили не только «повидимому», но и в действительности исключительно политический характер; они происходили до того, как появилась коммунистическая партия.

Источниками бесценной информации нашего корреспондента являются «отчет (цюрихской) комиссии, опубликованные и неопубликованные коммунистические сочинения, обнаруженные при аресте Вейтлинга, и личное расследование». Невежество нашего корреспондента доказывает ясно, что отчета он не читал: ясно также, что опубликованные коммунистические сочинения не были «обнаружены» ни при чем аресте, так как простой факт их «публикации» исключает возможность «обнаружения». Прокурор, наверное, не хвалился бы «обнаружением» книг, которые он мог достать у любого книгопродавца! Что касается «неопубликованных» сочинений, которые и послужили причиной полицейской расправы, то цюрихские сенаторы были бы очень непоследовательны, если бы — как, повидимому, думает наш корреспондент, — они их опубликовали потом! Они и не сделали ничего подобного. Фактически во всей статье нашего корреспондента нет ничего такого, что он мог бы раздобыть из этих источников или путем личного расследования, исключая двух новостей, именно, что немецкие коммунисты заимствовали свое учение главным образом у Каба и Фурье, на которых они нападают (это наш корреспондент мог бы найти в той самой книге, которую он так подробно цитирует: Вейтлинг, «Гарантии», стр. 228); и, во-вторых, что они «рассматривают, как своих четырех евангелистов, Каба, Прудона, Вейтлинга и — и — Констана!» Бенжамен Констан, друг мадам Сталь, умер уже давно, и он никогда, даже в отдаленной степени, не занимался вопросами социальной реформы. Очевидно, наш корреспондент имеет в виду фурьериста Консидерана, издателя «Phalange», а теперь «*Démocratie pacifique*», не имеющего ничего общего с коммунистами.

«Коммунистические доктрины содержат в себе больше отрицательного, чем положительного» — и немедленно после этого утверждения наш корреспондент опровергает самого себя, давая в двенадцати параграфах очерк предложенного Вейтлингом нового общественного строя, носящий совершенно положительный характер и не упоминающий даже о разрушении современного общества.

Впрочем, сделанное нашим корреспондентом резюме взглядов Вейтлинга составлено очень путаным образом и показывает, что во многих случаях он не понял сути дела, вместо которой он приводит какие-то второстепенные детали. Так, например, он не указывает на тот пункт, в котором особенно обнаруживается превосходство Вейтлинга над Каба, именно на мысль об отмене всякой, основывающейся на насилии и на большинстве власти и замене ее простым управлением, организующим различные отрасли промышленности и распределяющим продукты. Он не упоминает о предложении касательно назначения всех чиновников этого управления в каждой профессии не большинством коммуны, а только теми членами ее, которые знакомы с будущей специальной работой чиновника. Он проглядел одну из наиболее характерных особенностей этого плана, именно, что жюри должно выбирать подходящее лицо на основе своего рода конкурса: судьи не знают самих конкурентов, имена которых написаны в запечатанных конвертах, из коих вскрывается лишь конверт, содержащий в себе имя победителя; таким образом устраняются все личные мотивы, которые могли бы повлиять на решение судей.

Что касается остальных цитат из Вейтлинга, то я предоставляю читателям этой газеты судить, в самом ли деле они содержат такие нелепости, как думает наш корреспондент, или же они защищают в большинстве случаев — или даже во всех случаях — те принципы и идеи, для распространения которых была основана эта газета. Во всяком случае, если «Таймс» захочет писать еще раз о немецком коммунизме, то он хорошо сделает, подыскав себе другого корреспондента.

Остаюсь, милостивый государь, преданный вам

Ф. Энгельс.

Издателю «New Moral World».

Манчестер, 28 января 1844 г.

Любезный г. издатель!

В своем письме к вам, напечатанном в «New Moral World», от 13-го текущего месяца, я допустил ошибку. Я полагал, что корреспондент «Таймс» ошибочно назвал некоего г. Константа коммунистом. Однако, с тех пор как я написал это письмо, я получил ряд французских коммунистических изданий, в которых аббат Констан называется сторонником коммунистической системы. В то же время г. Гудвин

Бармби имел любезность сообщить мне некоторые новые сведения об аббате Констане, который, по его словам, был заключен в тюрьму своим начальством и который является автором нескольких коммунистических произведений. Его вера формулирована им самим в следующих словах: «Я — христианин и понимаю христианство только как коммунизм».

Прося вас, в виду этого, исправить вышеуказанную ошибку в ближайшем номере вашего издания, пребываю, любезный г. издатель, с глубоким к вам уважением

Ф. Энгельс.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ДЕЛА.

Хорошо известный роман Эжена Сю «Парижские тайны» произвел сильное впечатление на общественное мнение, особенно в Германии; яркие краски, в которых книга рисует нищету и деморализацию, выпадающие на долю «нижних сословий» в больших городах, не преминут направить общественное внимание на положение неимущих вообще. Немцы начинают открывать, как говорит «Allgemeine Zeitung», этот германский «Таймс», что характер новейшей литературы претерпел полную революцию в течение последних десяти лет; что место королей и принцев, которые прежде являлись героями подобных рассказов, в настоящее время начинает занимать бедняк, презренный класс, чья жизнь и судьбы, нужда и страдания составляют содержание романов; они находят, наконец, что это новое направление таких беллетристов, как Жорж-Занд, Эжен Сю и Боз (Диккенс), является, несомненно, знаменем времени. Добрые немцы думали всегда, что нищета и разложение существовали лишь в Париже и Лионе, Лондоне и Манчестере, что Германия была совершенно свободна от таких порождений сверхцивилизации и излишнего развития фабричной промышленности. Ныне они, однако, начинают видеть, что они сами могли бы показать значительное количество социальных бедствий; берлинские газеты признают, что «Voigtland» их города не уступает в этом отношении С.-Жилю или всякому другому очагу париев цивилизации; они признают, что хотя трэд-юнионы и забастовки были донныне неизвестны в Германии, однако крайне необходимы мероприятия для борьбы с подобными бедствиями среди их соотечественников. Доктор Мундт, лектор Берлинского университета, начал курс публичных лекций о различных системах социального переустройства, и хотя это не такой человек, чтобы он мог выработать правильный и беспристрастный взгляд на этот вопрос, однако его лекции должны принести большую пользу. Легко поэтому понять, какой сейчас благоприятный момент, чтобы начать более широкую социальную агитацию в Германии, и как значительно было бы влияние нового периодического издания, выступающего за

необходимость социальной реформы. Такое периодическое издание основано в Париже под названием «Немецко-французские летописи»; его издатели — д-р Руге и д-р Маркс, так же, как и другие его сотрудники, — принадлежат к «ученым коммунистам» Германии; вместе с ними будут участвовать в издании и наиболее выдающиеся социалистические писатели Франции.

Это издание, которое будет выходить ежемесячными книжками и в котором будут помещаться как французские, так и немецкие статьи, не могло быть основано в более благоприятный момент, и его успех легко считать вполне обеспеченным даже до выхода первого номера.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ.

Полагая, что это заслуживает общественного внимания и привлечет к себе значительную его часть, посылаю вам некоторые выдержки из письма, полученного мною из Бармена (Пруссия) от бывшего сотрудника «New Moral World».

«В Париже, по пути домой, я посетил коммунистический клуб мистической школы. Я был представлен одним русским, который в совершенстве говорит по-французски и по-немецки и который очень остроумно противопоставлял мистическим коммунистам «учение Фейербаха» («Feuerbach's reasoning»).¹ Они под названием бога понимают то же самое, что хэм-коммонские социалисты — под названием духа любви. Они, впрочем, заявляли, что это — вопрос второстепенный, в практическом отношении во всем соглашались с нами и сказали: «enfin, l'athéisme, c'est votre religion» — в конце концов, атеизм, это — ваша религия. «Religion» по-французски означает убеждение, чувствование, а не обожание. Они утверждали, что вся шумиха и трескотня буржуазии, т. е. среднего класса, против Англии — совершенная бессмыслица, и они с большим рвением убеждали нас, что они совершенно свободны от каких бы то ни было национальных предрассудков, что французские рабочие отнюдь не интересуются Марокко, а знают, что *les ouvriers*, рабочие всех стран, являются союзниками, так как имеют одинаковые интересы. Французский средний класс так же крайне эгоистичен, жаден и несносен в обществе, как и английский, но французские *ouvriers* — славные ребята.

«Мы сделали большие успехи среди русских в Париже. Здесь, в Париже, есть теперь три или четыре дворянина и владельца крепостных, которые стали радикальными коммунистами и атеистами.

«Мы имеем в Париже немецкую коммунистическую газету «Vorwärts» (Вперед), выходящую три раза в неделю. В Бельгии ведется активная коммунистическая агитация, а в Брюсселе выходит газета

¹ Сведение идеи божества к человеку.

«Le Débat Social». В Париже мы имеем около полудюжины коммунистических газет. Socialiste, socialitaire — весьма приличные слова во Франции, а Луи-Филипп, этот первый *буржуа*, поддерживает «Démocratie Pacifique» деньгами и покровительством. Внешняя религиозность французских социалистов в высшей степени лицемерна; народ сплошь иррелигиозен, и первой жертвой ближайшей революции будет духовенство. В Кельне наши сделали поразительные успехи. Когда мы собрались в одном общественном доме, мы наполнили порядочную комнату своей компанией, в большинстве из адвокатов, врачей, артистов и др., а также трех или четырех лейтенантов артиллерии, один из которых очень остроумный парень. В Дюссельдорфе мы имеем несколько человек и между ними очень талантливого поэта. В Эльберфельде с полдюжины моих друзей и некоторые другие — коммунисты. В общем, можно с трудом указать хотя бы один город в Северной Германии, где бы мы не имели нескольких радикальных противособственников (anti-proprietarians) и атеистов. Эдгар Бауэр был недавно приговорен к трехлетнему тюремному заключению за свою последнюю книгу.

Полагая, что приведенные выше факты будут интересны для ваших читателей, посылаю их вам для напечатания в вашем издании.

Англо-германец.

БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНИЗМА В ГЕРМАНИИ.

Надеясь, что вашим соотечественникам приятно будет услышать кое-что о прогрессе нашего общего дела по ту сторону пролива, посылаю вам эти строки для вашего журнала. В то же время я рад, что могу показать, насколько германский народ, обычно отстававший от других в деле борьбы за социальную реформу, старается наверстать потерянное время. В самом деле, быстрота, с которою социализм развивается в этой стране, поистине чудесна. Два года тому назад были только две одинокие личности, одни лишь интересовавшиеся социальными вопросами, а год тому назад напечатано было первое социалистическое издание. Правда, было несколько сотен немцев-коммунистов в зарубежных странах, но так как это были рабочие, то их влияние было слабо, и они не имели возможности распространять свои издания среди «высших классов». Помимо того, препятствия, которые социализм встречал на своем пути, были громадны: цензура над печатью, отсутствие свободы публичных собраний и свободы ассоциаций, деспотическое законодательство, негласное судопроизводство с продажными судьями, осуждавшими всякого, кто осмеливался каким бы то ни было путем будить народную мысль. И, несмотря на все это, каково теперь положение дел в Германии? Вместо тех двух бедных дьяволов (*devils*), которые писали о социализме для публики, отнюдь не связанной с ними и не интересовавшейся вопросом, мы имеем теперь дюжины талантливых писателей, проповедующих новое евангелие тысячам, напряженно прислушивающимся ко всему, что связано с этим предметом; мы имеем несколько настолько социалистических газет, насколько это допускается цензурой, главным образом «*Triersche Zeitung*» и «*Weseler Sprecher*»; мы имеем издание, выходящее при свободе печати в Париже, и нет ни одного периодического органа, за исключением тех, что находятся под непосредственным влиянием правительств, который не говорил бы каждый день — и в весьма веских выражениях — о социализме и о социалистах. У наших действительных противников нет морального мужества откровенно выступить

против нас. Даже правительства вынуждены оказывать известную благосклонность *легальным* движениям, так или иначе ведущим к социализму. Повсюду образуются общества для улучшения положения трудящихся, равно как и для повышения их умственного уровня, и некоторые высшие чиновники прусского правительства принимают деятельное участие в подобных обществах. Короче, социализм стал повседневным вопросом в Германии, и на протяжении одного года выросла могущественная социалистическая партия, которая уже внушает уважение всем политическим партиям и перед которой главным образом заискивают либералы этой страны. В настоящее время нашу силу составляет средний класс, — факт, который, может быть, удивит английского читателя, если он не знает, что этот класс в Германии гораздо менее заинтересован, более беспристрастен и разумен, чем в Англии, — и по той простой причине, что он более беден. Однако мы рассчитываем в скором времени привлечь на свою сторону трудящиеся классы, которые всегда и повсюду должны составлять силу и основу социалистической партии и которые уже разбужены от летаргического сна нищетою, угнетением и недостатком работы, равно как и фабричными возмущениями в Силезии и Богемии.

Позвольте мне по этому поводу отметить картину одного из наших лучших художников, Гюбнера, которая произвела гораздо более значительную социалистическую агитацию, чем сотня брошюр могла бы это сделать. Картина представляет группу силезских ткачей, приносящих бельевой холст фабриканту, и противопоставляет поистине поразительное жестокосердное богатство, с одной стороны, и безнадежную нищету — с другой. Хорошо упитанный фабрикант, с лицом, красным и жестким, как медь, пренебрежительно отшвыривает кусок холста, принадлежащий одной женщине; женщина, за которую цепляются двое маленьких ребят, видя, что нет никаких надежд продать холст, опускает взор свой в землю и почти лишается сознания; ее крепко подхватывает какой-то старик. Приказчик осматривает другой кусок холста, собственники которого с мучительным напряжением ждут его ответа; юноша смотрит на свою подавленную отчаянием мать, только что получившую жалкую плату за свою работу. Старик, девушка и мальчик сидят на каменной скамье, ожидая своей очереди, а двое мужчин, каждый с куском отвергнутого холста на спине, выходят из комнаты, и один из них потрясает в бешенстве кулаком, между тем как другой, положив руку на плечо соседа, указывает на небо, как бы говоря: «будь спокоен, есть еще судья, чтобы наказать его». Вся сцена разы-

грывается в холодных нежилого вида снях с каменным полом; только фабрикант стоит на коврике. Между тем на другой стороне, позади прилавка, виднеется богато обставленная контора, с роскошными шторами и зеркалами, где несколько конторщиков заняты писанием и где сын фабриканта, молодой, щегольски одетый господин, стоит, опершись о прилавок, с хлыстом в руке, попыхивая сигарой и равнодушно взирая на несчастных ткачей.

Эта картина выставлена была в нескольких городах Германии и, конечно, подготовила много голов к восприятию социальных идей. В то же время мы пережили настоящий триумф, узнав, что наш лучший мастер в исторической живописи, Карл Лессинг, стал прозелитом социализма.

Фактически социализм в настоящее время уже вдесятеро сильнее в Германии, нежели в Англии. Как раз нынче утром я прочел в одной либеральной газете, в «*Kölnische Zeitung*» статью, автор которой по многим причинам был атакован социалистами и в которой он представляет свою защиту. К чему же сводится эта защита? К тому, что он признает себя социалистом, с тою лишь разницею, что он желает начать с политических реформ, между тем как мы желаем итти прямо. А эта «*Kölnische Zeitung*» является второй в Германии газетой по влиятельности и распространенности. Любопытно, что, по крайней мере в Северной Германии, вы не можете проехать на пароходе, в железнодорожном вагоне или в почтовой карете, чтобы не повстречать хотя кого-нибудь, кто бы не заявил, что он пропитан хотя бы некоторыми социальными идеями и что он согласен с вами, что что-нибудь должно быть сделано для переустройства общества. Я как раз недавно вернулся из поездки в несколько близлежащих друг от друга городов, и не было ни единой местности, где бы я не нашел полдюжины, а то и целую дюжину настоящих социалистов. В моей собственной семье — а это поистине благочестивая и лойяльная семья — я насчитываю шесть и даже больше социалистов, каждый из которых был обращен совершенно независимо от других.

Мы имеем сторонников среди всех слоев — коммерсантов, фабрикантов, адвокатов, государственных чиновников, офицеров армии, врачей, издателей газет, фермеров и пр.; большое число наших изданий находится в печати, хотя в свет пока вышли едва три или четыре из них. И если мы в течение ближайших четырех или пяти лет будем столь же быстро развиваться, как мы развивались в течение последних двенадцати месяцев, мы будем в состоянии сразу воздвигнуть коммунистическое общество.

Вы видите, мы, немецкие теоретики, становимся практическими деловыми людьми. В самом деле, одному из наших членов предложено было составить план организации и управления практической общиной, со справками о планах Оуэна, Фурье и т. д. и на основании опыта, накопленного американскими общинами и вашим собственным экспериментом в Гармони, которая, надеюсь, процветает. Этот план будет обсуждаться в различных местностях и затем будет напечатан со всеми поправками. Наиболее активными литературными деятелями среди германских социалистов являются: д-р Карл Маркс в Париже; д-р М. Гесс, в настоящее время в Кельне; д-р К. Грюн в Париже; Фридрих Энгельс в Бармене (Рейнская Пруссия); д-р О. Люнинг, — Реда, Вестфалия; д-р Г. Пюттман, Кельн, и некоторые другие. Кроме того, Генрих Гейне, наиболее выдающийся из всех пребывающих в живых германских поэтов, присоединился к нашим рядам и издал том политической поэзии, заключающий в себе и некоторые стихотворения, проповедующие социализм. Он является автором знаменитой «Песни силезских ткачей», которую я вам даю в переводе, но которая, боюсь, будет сочтена кощунственной в Англии. Во всяком случае, я вам ее дам и замечу только, что она касается боевого клича пруссаков в 1813 году: «с богом за короля и отечество!», который с тех пор стал постоянным любимым лозунгом лойяльной партии. Что касается самой песни, то вот она:

Нет слез в их глазах, и в угрюмые дни
 За ткацким станком зубы скалят они:
 «Германия, ткем мы твой саван могильный
 С проклятьем тройным в нашей злобе бессильной.
 Мы ткем, мы ткем!

«Проклятье судьбе, заставлявшей не раз
 Терпеть зимний холод и голод всех нас.
 Напрасно мы ждали, терпели напрасно —
 Она издевалась над нами бесстрастно.
 Мы ткем, мы ткем!

«Проклятье тому, кто одних богачей
 Берет под защиту, у бедных ткачей
 Последний их грош отнимая и, словно
 Собак, их губя и давя хладнокровно.
 Мы ткем, мы ткем!

«Проклятье коварной стране, где позор
 С бесчестьем смеются, наш слыша укор,

Где рано цветок погибает с кручиной
И червь услаждается гнилью и тиной.
Мы тьем, мы тьем!

«Летает челнок, и шумит наш станок,
Мы тьем день и ночь, не вставая, на срок,
Тьем саван Германии дружно, как братья,
Вплетая в тот саван тройное проклятье...
Мы тьем, мы тьем!...»

На этой песне, которая в немецком оригинале является одной из самых сильных поэм, какие я знаю, я и расстаюсь с вами пока, надеясь вскоре иметь возможность сообщить о наших дальнейших успехах и ознакомить вас с нашей социальной литературой.

Искренне ваш

старый друг ваш в Германии.



ИЗ ГЕРМАНИИ.

I.

С тех пор, как я вам в последний раз писал, дело коммунизма продолжало развиваться столь же быстро, как и в последние месяцы 1844 г. Несколько времени тому назад я посетил некоторые города на Рейне и повсюду я убеждался, что наши идеи сделали новые завоевания по сравнению с тем, что было во время моего последнего пребывания там, что с каждым днем наше положение там становится более благоприятным. Повсюду я находил новых прозелитов, проявляющих большую энергию в деле обсуждения и распространения идеи коммунизма. Большое число публичных собраний проведено было во всех городах Пруссии с целью основать ассоциации для борьбы с разрастающимися среди широких масс населения нищетой, невежеством и преступностью. Эти собрания, сперва встречавшие поддержку правительства, а затем, когда они стали проявлять слишком заметную независимость, подвергнутые надзору администрации, настойчиво привлекали общественное внимание к социальному вопросу и дали большой толчок делу распространения наших принципов. Собрание в Кельне было настолько воодушевлено речами руководящих коммунистов, что тут же был избран для выработки программы ассоциации Комитет, большинство которого состоит сплошь из социалистов. Общая часть устава была, конечно, построена на коммунистических принципах; пункты об организации труда, о защите труда от власти капитала и т. п. приняты были собранием почти единогласно. Разумеется, в правительственном утверждении, которое необходимо в этой стране для всех ассоциаций, было отказано; но с тех пор, как эти собрания были проведены, вопрос о коммунизме был предметом обсуждения повсюду, во всем Кельне. В Эльберфельде основным принципом ассоциации было признано, *что все люди имеют одинаковое право на образование и должны одинаково пользоваться плодами науки.* Устав ассоциации, однако, не был еще утвержден правительством и, по всей вероятности, он разделит участь кельнского устава, так как духовен-

ство организует свою собственную ассоциацию, как только его план превратить ассоциацию в отрасль муниципальной деятельности будет отвергнут собранием. Либеральная ассоциация будет запрещена, а священническая ассоциация будет поддержана правительством. Это, впрочем, не важно, потому что вопрос, раз поднятый, обсуждается теперь повсюду, во всем городе. Подобные же ассоциации основаны были в Мюнстере, Клеве, Дюссельдорфе, и теперь остается лишь ждать, что из этого выйдет.

Что касается коммунистической литературы, то Г. Пюттманом, из Кельна, был выпущен в свет сборник статей, содержащий, между прочим, отчет о положении американских общин, равно как вашего гэмпширского учреждения, которое очень много сделало для опровержения предрассудков о неосуществимости наших идей. Г. Пюттман выпустил одновременно проспект трехмесячного журнала, первый номер которого, посвященный исключительно пропаганде наших идей, он намеревается выпустить в мае этого года. Другой ежемесячный орган основывается Гессом (из Кельна) и Энгельсом (из Бармена); первый номер его выйдет в апреле. Этот журнал будет давать только *факты*, рисующие состояние современного цивилизованного общества, и красноречием фактов будет проповедывать необходимость радикальной реформы. Кроме того, скоро будет издано новое произведение д-ра Маркса, которое будет заключать в себе обзор принципов политической экономии и политики вообще. Сам д-р Маркс был вынужден французским консервативным правительством покинуть Париж. Он намеревается переехать в Бельгию и, если месть прусского правительства (которое побудило французских министров изгнать Маркса) будет его преследовать и там, перебраться в Англию. Но самый важный факт, ставший мне известным со времени моего последнего письма, это — то, что д-р Фейербах, самый выдающийся философский гений Германии в настоящее время, объявил себя коммунистом. Один из наших друзей недавно посетил его в его уединении в дальнем захолустье Баварии, и ему-то Фейербах выразил свое глубокое убеждение, что коммунизм является лишь необходимым выводом из выдвинутых им принципов и что, по существу, коммунизм есть лишь *практическое* применение того, что он задолго раньше развивал теоретически. Фейербах сказал, что он никогда не испытывал такого наслаждения ни от какой другой книги, как от первой части «Гарантий» Вейтлинга. «Я никогда никому не посвящал своих книг, — сказал он, — но я чувствую большое желание посвятить Вейтлингу свою ближайшую работу». Такой союз между германскими

философами, самым выдающимся представителем которых является Фейербах, и германскими рабочими, представляемыми Вейтлингом, союз, год тому назад предсказанный д-ром Марксом, целиком осуществлен. Имея за собой философов, чтобы мыслить, и рабочих, чтобы бороться за наше дело, — разве может какая-либо земная сила быть достаточно мощной, чтобы противостоять нашим успехам?

Старый друг ваш в Германии.

II.

Любезный г. редактор!

Не быв в состоянии в течение некоторого времени, по стечению обстоятельств, писать вам о положении дел в Германии, вновь возобновляю ныне свои сообщения, надеясь, что они будут интересовать ваших читателей и что они будут получаться вами более аккуратно, чем до сих пор. Я рад, что имею возможность вам сказать, что мы продолжали делать такие же быстрые и решительные успехи, как и ко времени моего последнего сообщения. С тех пор, как я вам писал в последний раз, прусское правительство нашло опасным оказывать дальше поддержку ассоциациям в пользу трудящихся классов. Оно нашло, что эти ассоциации повсюду начинают пропитываться чем-то вроде коммунизма, и поэтому оно предприняло все, что было в его власти, чтобы закрыть их или, по меньшей мере, поставить предел их дальнейшему развитию. С другой стороны, большинство членов этих обществ, состоявшее из людей среднего класса, оказалось совершенно неспособным делать что бы то ни было в пользу трудящихся. Относительно всех предлагавшихся ими мер, — сберегательных касс, премии и повышенной платы лучшим рабочим и т. п., — тотчас же коммунистами доказывалось, что они равно ничего не стоят, и они предавались всеобщему осмеянию. Таким образом, попытка средних классов обмануть трудящиеся классы путем лицемерия и ложной филантропии оказалась совершенно бесплодной, а нам она принесла довольно редкий в патриархальном полицейском государстве успех: все беспокойство несли правительство и капиталисты, между тем как все выгоды положения достались нам.

Но не только эти публичные собрания были использованы для коммунистической агитации: в Эльберфельде, центре фабричного округа Рейнской Пруссии, происходили регулярные коммунистические собрания другого рода. Коммунисты этого города были приглашены некоторыми наиболее почтенными гражданами устроить диспуты по поводу их принципов. Первое собрание имело место

в феврале и носило больше частный характер. На нем присутствовало от сорока до пятидесяти лиц, в том числе и главный прокурор округа и другие члены судебных учреждений, а также и представители почти всех крупнейших коммерческих и промышленных фирм. Д-р Гесс, имя которого мне не раз приходилось упоминать на столбцах вашего издания, открыв заседание, предложил избрать председателем д-ра Кеттгена (Koettgen), коммуниста, против чего не сделано было никакого возражения. Д-р Гесс прочел затем лекцию о современном состоянии общества и о необходимости уничтожить устарелую систему конкуренции, которую он назвал открытым грабежом. Лекция была принята продолжительными аплодисментами (большинство аудитории ведь было коммунистическое), после чего г. Фридрих Энгельс (незадолго до того напечатанный в вашем издании несколько статей о континентальном социализме) несколько пространно говорил об осуществимости и преимуществах коммунистической системы. В подтверждение своих положений он привел, между прочим, ряд подробностей об американских колониях и о вашем учреждении в Гармони. Вслед затем завязалась весьма воодушевленная дискуссия, в которой коммунистическая сторона поддерживалась уже упомянутыми ораторами, а также и некоторыми другими; от оппозиции выступали главный прокурор, писатель д-р Бенедикс и другие. Заседание, начавшееся в девять часов вечера, затянулось до часу ночи.

Второе заседание имело место в обширной зале лучшего отеля города. Зала была переполнена местными «нотаблями». Г-н Кеттген, председатель предыдущего собрания, сделал доклад о будущем строе общества, как он рисуется коммунистами; вслед затем г. Энгельс произнес речь, в которой он доказал (насколько можно было заключить из того, что ни одного слова не раздалось в возражение ему), что современное состояние Германии таково, что оно может в очень короткое время привести к социальной революции; что эта близкая революция не может быть предотвращена какими бы то ни было мерами, ставящими себе целью дальнейшее развитие торговли и фабричной промышленности, и что единственным средством предупредить такую революцию, — революцию более ужасную, чем все потрясения предшествующей истории, — является принятие мер для подготовки и постепенного введения коммунистической системы. Дискуссия, в которой некоторые представители адвокатской профессии, специально для этого приехавшие из Кельна и Дюссельдорфа, приняли участие на стороне коммунистов, опять была весьма оживленная и затянулась за полночь. Были также прочитаны

некоторые коммунистические стихотворения присутствовавшего на собрании д-ра Мюллера.

Неделю спустя имело место третье собрание, на котором снова выступал д-р Гесс и, кроме того, были прочитаны из одного сборника некоторые подробности из деятельности американских общин. К концу вечера снова произошла дискуссия.

Через несколько дней по городу распространился слух, что следующее собрание будет разогнано полицией, а ораторы будут арестованы. Между тем бургомистр Эльберфельда отправился к содержателям гостиницы и пригрозил им лишением права содержать гостиницу, если они в будущем позволят, чтобы в их доме имело место подобное собрание. Коммунисты тотчас же снеслись по этому поводу с бургомистром и накануне того дня, когда должно было состояться собрание, получили циркулярное постановление, посланное гг. Гессу, Энгельсу и Кеттгену, в котором окружное управление, с ужасающей массой ссылок на обычное и писаное право, объявляли подобные собрания незаконными и грозили положить им конец вооруженной силой, если они не будут прекращены. Собрание, тем не менее, состоялось в ближайшую субботу; на нем присутствовали бургомистр и главный прокурор (который после первого собрания воздержался от появления на других) во главе отряда вооруженной полиции, присланного по железной дороге из Дюссельдорфа. Конечно, при таких условиях не было никаких публичных выступлений: собравшиеся занялись бифштексами и вином и не дали полиции ни малейшего повода к вмешательству.

Такие меры могут только служить на пользу нашему делу: те, что до сих пор еще ничего не слышали об этом вопросе, теперь стараются осведомиться о нем благодаря тому значению, которое ему приписывается правительством; значительная же часть тех, что пришли на дискуссию, совершенно не зная нашего учения или даже иронически относясь к нему, вернулись домой с большим уважением к коммунизму. Это уважение было отчасти вызвано и почтенным представительством нашей партии на собрании: почти каждая патрицианская и богатая семья города имела одного из своих членов или родственников за обширным столом, занятым коммунистами. Коротко говоря, эффект, произведенный этими собраниями на общественное мнение всего промышленного округа, был поистине удивительный, и спустя несколько дней за теми, кто публично выступал за наше дело, бегали во множестве любопытные, просившие книг и газет, из которых они могли бы почерпнуть стройное представление

о коммунистической системе. Мы намереваемся в скором времени издать отчет обо всех заседаниях.

Что касается коммунистической литературы, то в этой отрасли агитации проявлена была большая деятельность. Публика буквально жаждала осведомления: она пожирала всякую книгу, опубликованную в этой области. Д-р Пюттман издал сборник статей, содержащий прекрасную работу д-ра Гесса о бедствиях современного общества и о средствах борьбы с ними; подробное описание бедственного положения трудящихся классов в Силезии с очерком восстания минувшей весны; несколько других статей, описывающих общественное положение Германии, и, наконец, отчет о положении американских общин и Гармони (по письмам г-на Финча и по «One who has whistled at the Plough»), составленный Ф. Энгельсом. Книга, хотя и подверглась преследованию со стороны прусского правительства, быстро раскупалась повсеместно.

Основан был ряд ежемесячных изданий: «Westfälisches Dampfboot», издаваемый Люнингом в Билефельде и содержащий популярные статьи о социализме и сообщения о положении трудящихся; «Volksblatt», в Кельне, с более определенным социалистическим направлением, и «Gesellschaftsspiegel» в Эльберфельде, издаваемый д-ром Гессом и основанный специально для распространения фактов, характеризующих современное состояние общества, и для защиты прав трудящихся классов. Д-ром Пюттманом также основан был трехмесячник «Rheinische Jahrbücher», первый номер которого сейчас находится в печати и в скором времени выйдет в свет.

С другой стороны, объявлена была война тем из германских философов, которые отказываются делать практические выводы из своей чистой теории и которые утверждают, что человеку только тем и надлежит заниматься, что спекулятивным мышлением о метафизических вопросах. Гг. Маркс и Энгельс опубликовали подробное опровержение принципов, отстаиваемых Бруно Бауэром, а гг. Гесс и Бюргерс заняты сейчас работой над опровержением теории Штирнера. Эти работы необходимы потому, что Бауэр и Штирнер являются представителями наиболее крайних выводов германской абстрактной философии, а следовательно и единственно серьезными противниками социализма или, вернее, коммунизма, так как в Германии слово *социализм* означает лишь различные туманные, неопределенные и неопределимые измышления тех, кто понимает, что необходимо нечто сделать, но не может еще заставить свою мысль доработаться до коммунистической системы.

В печати также находятся: д-ра Маркса «Обзор принципов

политики и политической экономии», г-на Ф. Энгельса «Die Lage der arbeitenden Klassen in England» и «Anecdota», сборник статей о коммунизме. А через несколько дней будет приступлено к переводу лучших французских и английских произведений по вопросу о социальной реформе.

Вследствие жалкого политического строя Германии и полного произвола ее патриархальных правительств существует, к сожалению, возможность одной только литературной связи между коммунистами различных местностей. Периодические издания, главным образом «Rheinische Jahrbücher», служат центром для тех, кто путем печати отстаивает коммунизм. Некоторая связь поддерживается еще путем объездов. Но это все. Ассоциации не разрешаются и даже переписка не безопасна, так как «секретные кабинеты» развернули в последнее время необычайную деятельность. Так, мы только из получаемых нами газет узнали о существовании двух коммунистических обществ в Познани и в Силезских горах. В этих газетах сообщается, что в Познани, столице Прусской Польши, группа молодых людей образовала между собою тайное общество с коммунистическими принципами и с намерением овладеть городом; что заговор был раскрыт и восстание предупреждено; это все, что мы знаем об этом деле. Во всяком случае, достоверно то, что большое число молодых людей из аристократических и богатых польских фамилий было арестовано; что с тех пор (свыше двух месяцев) все сторожевые посты удвоены в своем составе и снабжены патронами; что двое юношей (12-ти и 19-ти лет), братья Рымаркевич, скрылись и по настоящее время еще не захвачены. Большое число арестованных — юноши от 12-ти до 20-ти лет. Другая так называемая «конспирация» — в Силезских горах — была, как говорят, очень обширна и также ставила себе коммунистическую цель: она, как сообщают, имела намерение захватить Швейдницкую крепость, занять всю линию гор и оттуда кликнуть клич трудящимся всей Германии. Насколько все это соответствует действительности — никто не в состоянии судить, но в том же несчастном округе произведены также другие аресты по доносам полицейского шпиона, и богатый фабрикант, г. Шлефель, отправлен в Берлин, где он в настоящее время предается суду как предполагаемый главарь заговора.

Ассоциации германских коммунистов-рабочих в Швейцарии, Франции и Англии продолжают быть весьма деятельными, хотя во Франции и кое-где в Швейцарии они терпят притеснения со стороны полиции. Газеты сообщают, что около шестидесяти членов Женевской коммунистической ассоциации были изгнаны из города и из

кантона. А. Беккер, один из талантливейших швейцарских коммунистов, издал прочитанную им в Лозанне лекцию, озаглавленную «Чего желают коммунисты», которая принадлежит к лучшим и наиболее сильным из известных нам брошюр этого рода. Смеею сказать, что она заслуживала бы английского перевода, и я был бы рад, если бы кто-либо из ваших читателей, достаточно знакомый с немецким языком, предпринял этот перевод. Это, конечно, только небольшая брошюра.

Надеюсь продолжать свои сообщения от времени до времени и остаюсь и пр.

Ваш старый друг в Германии.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ ЭНГЕЛЬСА

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА.

Бармен, 1820 г., 5 декабря, выписка из метрической книги г. Бармена.

№ 659. Рождение Фридриха Энгельса, 28 ноября 1820 г.

В тысяча восемьсот двадцатом году, пятого декабря в три с половиной часа пополудни предо мною, *Петром Вихельгауеном*, уполномоченным барменской общины, явился купец господин *Фридрих Энгельс*, имеющий место жительства в Брухен Ротте, с заявлением, что во вторник двадцать восьмого числа ноября месяца в девять часов вечера у него от его супруги Елизаветы-Франциски-Маврикии, урожденной *фан Гаар*, родился ребенок мужеского пола, которому он дал имя *Фридрих*.

Свидетелями при этом акте были: господин *Петр-Готфрид Шмитс*, двадцати шести лет, секретарь, имеющий место жительства в Гемарке, и господин *Иоганн-Якоб Гельмес*, тридцати двух лет, секретарь, имеющий место жительства в Вертер Ротте.

По прочтении подписали явившиеся:

Фридрих Энгельс, Як. Шмитс, И. Гельмес.

Уполномоченный

Вихельгауен.

ВЫПУСКНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО,

ВЫДАННОЕ УЧЕНИКУ ВЫСШЕГО КЛАССА ФРИДРИХУ ЭНГЕЛЬСУ, РОДИВШЕМУСЯ 28 НОЯБРЯ 1820 г. В УНТЕРБАРМЕНЕ, ЕВАНГЕЛИЧЕСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ.

С осени (20 октября) 1834 г. был учеником Эльберфельдской гимназии, и притом с осени (17 октября) 1836 г. учеником высшего класса этой гимназии; во время своего пребывания в старшем классе отличался *весьма хорошим* поведением, а именно обращал на себя внимание своих учителей скромностью, искренностью и сердечностью, и, при хороших способностях, обнаружил похвальное *стремление* получить как можно более обширное научное образование, а поэтому и оказал отрядные *успехи*, которые точнее охарактеризованы в нижеследующем сопоставлении отдельных учебных предметов:

I. Я з ы к и.

1. *Латинский*. Он без труда понимает произведения пройденных авторов, как прозаиков, так и поэтов, в особенности Ливия и Цицерона, Вергилия и Горация, так что он легко понимает связь целого, отчетливо вникает в ход мыслей и искусно переводит с латинского на родной язык. Не в такой степени удалось ему вполне усвоить грамматику, так что, хотя в письменных работах и обнаруживаются успехи, они все же не безупречны со стороны грамматики и слога.

2. *Греческий*. Он приобрел достаточные сведения по этимологии и по синтаксису, в особенности же научился хорошо переводить *как сочинения сравнительно легких греческих прозаиков, так и произведения Гомера и Еврипида*, и сумел хорошо понять и воспроизвести ход мыслей в одном из диалогов Платона.

3. *Немецкий*. Письменные работы, особенно за последний год, свидетельствуют об отрядных успехах в отношении общего развития; в них содержались верные, самостоятельные мысли, и в большинстве случаев они были изложены в надлежащем порядке; изложение отличалось необходимой основательностью, и выражение мыслей заметно приближалось к правильности. Э. проявил похвальный интерес к *истории немецкой литературы* и к чтению немецких классиков.

4. *Французский*. Он хорошо переводит французских классиков. Хорошо знает грамматику.

II. Н а у к и.

1. *Религия*. Ему хорошо известны основные учения евангелической церкви, а равно и главные моменты истории христианской церкви. И приходится признать его начитанность в Н[овом] З[авете] (в подлиннике).

2. По *истории и географии* у него имеются достаточные, отчетливые познания.

3. По *математике* Э. в общем приобрел хорошие сведения; вообще он обнаружил хорошую способность понимания и умел выражать свои мысли ясно и отчетливо. То же самое следует сказать и

4. об его познаниях по *физике*.

5. *Философская пропедевтика*. Э. с интересом и успешно принимал участие в занятиях по эмпирической психологии.

Нижеподписавшийся расстается с любимым учеником, который был особенно близок ему благодаря семейным отношениям и который старался отличаться в этом положении религиозностью, чистотою сердца, благо нравом и другими привлекательными свойствами, при воследовавшем в конце учебного года (15 сентября нынешнего года) переходе к промышленной деятельности, которую ему пришлось избрать как профессию вместо прежде намеченных учебных занятий, с наилучшими благословениями. Пусть господь благословит и направит его!

Д-р И.-К.-Л. Гантке.

Эльберфельд, 25 сентября 1837 г.

ПОЭТИЧЕСКИЕ ОНЫТЫ

РАССКАЗ О МОРСКИХ РАЗБОЙНИКАХ.

I.

Однажды утром зимой 1820 г. корабль готовился отплыть от острова Колури, древнего Саламина, на котором доблестно сражались афиняне. Это было греческое купеческое судно с многочисленной командой, доставившее в Афины мастику, гумми-арабик и т. д., а главное — дамасские клинки, кедровое дерево и тонкие азиатские ткани.

На берегу все было в движении. Капитан рассказывал среди работавших матросов, отдавая всевозможные распоряжения. Тогда один матрос прошептал другому по-итальянски:

«Филиппо, видишь ли ты этого молодого человека, который стоит там? Это новый пассажир, которого вчера вечером пригласил капитан; он хочет принять его в нашу среду или, если он не согласится, бросить его в море, потому что он не должен прибыть в Стамбул, куда он направляется!» — «Но, — сказал Филиппо, — кто же этот человек?» — «Не знаю, но это, конечно, известно капитану». Тогда раздался выстрел с корабля, и все поспешили к лодкам. Капитан занял место в лодке и воскликнул: «Эй, молодой человек, что же вы замечтались? Идите же, мы отчаливаем!» Молодой человек, к которому относились эти слова и который до тех пор молча стоял у колонны, посмотрел и воскликнул: — «Да, я иду!» — и быстро направился к лодке. Он занял место, и лодка понеслась от берега. Вскоре она подплыла к кораблю, раздался выстрел из пушки, судовая команда собралась на палубе, корабль быстро снялся с якоря, и бриг понесся на всех парусах по синему морю, как огромный лебедь.

Капитан, до тех пор руководивший работами матросов, подошел к цветущему юноше, который прислонился к перилам и печально смотрел в том направлении, где исчезали вдали вершины Гиметта.

«Молодой человек, — сказал он ему, — зайдите ко мне в каюту, я хочу поговорить с вами об одном деле». — «С удовольствием», — ответил молодой человек и последовал за капитаном.

Сойдя вниз, капитан предложил ему сесть и, налив ему и себе по кубку хиосского вина, сказал:

«Послушайте, я хочу сделать вам одно предложение. Но как вас зовут? И откуда вы родом?»

«Меня зовут *Леон Папон*, и я из Афин. А вы?»

«Капитан Леонид Специонис (из Специи). Но послушайте! Вы, конечно, принимаете нас за честных купцов? Нет, мы не таковы! Посмотрите на наши пушки, видимые и спрятанные, на наши боевые припасы, на наш склад оружия, и вам станет ясно, что мы только притворяемся торгашами. Знайте же, что мы лучше других, а именно, что мы истые эллины, люди, еще умеющие ценить свободу, а именно корсары, как нас величают неверные, которых мы караем. Вы нравитесь мне, и вы очень напоминаете мне моего дорогого сына, которого неверные застрелили в прошлом году в моем присутствии, и я предложил бы вам присоединиться к нам и принять участие в борьбе за свободу эллинов и причинять вред неверным, к которым, конечно, применимы стихи Гомера:

Ἔσσειται ἡμᾶρ ὄτ' ἄν ὀλώλῃ Ἦλιος ἱρή,
Καὶ Πριάμος, καὶ λαός ἐβμήλω Πριάμοιο.¹

Если же вы не захотите сделать это, то я не ручаюсь за последствия, потому что, когда моя команда узнает, что я сообщил вам, она, наверное, потребует вашей смерти, и при всем желании я не буду в состоянии помочь вам».

«Что вы говорите? Корсары? Вы предлагаете мне присоединиться к вам? Немедленно! Я должен получить возможность отомстить убийцам моего отца! О, я с удовольствием вступлю в ваши ряды, буду с ожесточением бороться против мусульман, буду истреблять их как скот!»

«Прекрасно! Леон, ты нравишься мне таким! Выпьем же бутылку хиосского вина за новый союз!» И старый кутила снова налил вина и часто уговаривал своего более умеренного товарища: «Пей же, Леон!», пока бутылка не была осушена.

А затем он обошел со своим новым товарищем корабль и показывал ему запасы. Прежде всего они вошли в помещение, в котором хранилось оружие. Там висели всякого рода пышные костюмы, узкие матросские куртки, широкие кафтаны, высокие шапки, небольшие греческие фуражки, широкие тюрбаны, узкие франкские брюки и широкие турецкие панталоны, персидские уворчатые жилеты, венгерские гусарские куртки, русские шубы были выставлены наизюк

¹ Будет некогда день, и погибнет высокая Троя,
Древний погибнет Приам и народ иопьеносца Приама.

в больших шкапах. Стены были покрыты оружием всех народов, всяким огнестрельным оружием — от небольших карманных пистолетов до тяжелых трехствольных мушкетов; всякого рода сабли, дамасские клинки, испанские шпаги, широкие немецкие мечи, короткие итальянские кинжалы, серповидные мечи висели на своих местах. По углам стояли вместилища для копий, так что все пространство в комнате было использовано. Затем они пошли в пороховой склад. Там стояли восемь больших бочек, в каждой из которых было сто фунтов пороху, и четыре небольших восьмидесятифунтовых; в трех бочках лежали бомбы, в двух больших бочках — гранаты; шкапы у стен были наполнены кувшинами и горшками, в которых кроме пороха находились куски свинца, камни, куски железа. Затем они пошли в помещение, где Леонид показал ему несколько мешков с пушечными ядрами. Затем они поднялись к пушкам. С обеих сторон стояло по двенадцать пушек большого калибра, на шканцах еще два 48-фунтовых орудия. Между ними повсюду стояли малокалиберные вращающиеся пушки, всего около тридцати орудий. В каюте, куда они вернулись, Леонид показал Леону три ящика, наполненные ружьями и пулями, и два ящика с дробью.

«Что же, в хорошем состоянии наш корабль?» — спросил он его. «В превосходном, — ответил Леон, — нельзя желать ничего лучшего. — Но позвольте мне теперь взглянуть вдаль с палубы».

Он поднялся наверх, но вскоре опять прислонился к перилам. Они плыли как раз против мыса Колоне, древнего Суния, и Леон опять грустно смотрел на скрывавшиеся вершины Гиметта. Тогда Леонид сказал ему:

«Ну, парень, почему ты так грустен, пойдем на шканцы, и расскажи мне о твоей прежней жизни».

Леон последовал за ним и рассказал следующее.

II.

Скоро мне будет шестнадцать лет. Моего отца звали Григорий Капон, он был купец; мою мать звали Диана. Меня зовут Леон, мою сестру-близнеца зовут Зоя, а моего брата Алексей. Около трех месяцев тому назад афинский паша увидел молодую рабыню, которую мой отец воспитал вместе с нами. Он тотчас же потребовал ее, а когда мой отец отказался уступить ему ее, он поклялся отомстить и сдержал свою клятву на гибель нам. А именно, однажды вечером, когда мы сидели спокойно вместе, и я, рабыня Селима, Зоя и Алексей цели песни под звуки лиры, явились арнауты наши, схватили нашего

дорогого отца и Селиму и увели их, а нас они вытолкали и оставили в беспомощном состоянии. Мы ушли и, наконец, добрались до того места перед воротами, где стояла старинная македонская крепость. Там мы зашли к сострадательным крестьянам, которые дали нам хлеба и немного мяса. Оттуда мы пошли в направлении к Пирею. Но увы! Моя сестра настолько ослабела, что упала в полубессознательном состоянии под оливковым деревом. Я уже хотел вернуться в город и искать помощи у родных. Несмотря на просьбы матери, я пошел, и, когда дошел до Акрополя и собрался подняться вверх, нашел — представьте себе мою радость! — моего отца. Я не могу описать вам, с каким восторгом я поднял его, как я представлял себе наше счастье и радость матери. Но мне очень скоро пришлось разочароваться, потому что, едва лишь мы сделали несколько шагов, как мы увидели приближавшегося к нам начальника арнаутов, из которых состояла свита паши. Он узнал моего отца, обнажил саблю и бросился на него. Мой отец взял в правую руку найденную им узловатую палку и стоял, турок разрубил саблей палку пополам и ранил отца в плечо, затем он еще раз нанес моему безоружному отцу удар саблей по голове, так что он упал на землю. Я поднял упавшую палку и бросил ее турку в лицо; он выронил саблю, но с яростью выхватил из-под пояса молот и ударил им меня по голове с такою силою, что я упал без сознания.

Когда я очнулся, умирающий отец лежал около меня. Он сказал: «Леон, мой сын, беги, беги отсюда! Тебе угрожает опасность! Свободна ли мать?» Когда я дал утвердительный ответ, он сказал: «Направляйтесь в Кулури, а оттуда в Навплию, там у меня есть друзья!» Я спросил: «Отец, как зовут твоего убийцу?» — «Леон, его зовут Мустафа-бей; боже, будь милостив к моей бедной душе!» — и с этими словами он скончался. Я обнял труп, стонал, звал на помощь, но он был мертв, и никто не пришел на помощь. Наконец, я со слезами встал, опоясался поясом дорогого отца, прикрепил к нему саблю убийцы и поклялся не расставаться ни с поясом, ни с саблей до тех пор, пока кровь моего отца не будет омыта турецкою кровью. Затем я направился к городу, но, — о ужас! — дорогих мне людей не было там! Лежавшие там окровавленный кинжал, окровавленное покрывало моей матери и фуражка Алексея доказывали, что и там было совершено насилие. Вот фуражка, которую я теперь ношу; вот кинжал (он показал красивый турецкий кинжал, висевший у пояса), а покрывало я ношу с тех пор на груди под хитоном.

Лишь тогда я подумал о своей ране. Я начал чувствовать боль,

приподнял фуражку, тогда кровь снова потекла по моему лицу. Я лег под деревом и обвязал голову платком.

Я заснул и во сне видел отца таким, каким он подходил ко мне, — свежим и в цвете сил, а возле него мать, Зою и Алексея, которые приподнимали меня, а убийца отца с криком упал. Тогда я очнулся, и я лежал в повозке, передо мной стоял старик, который уговаривал меня быть спокойным и повез меня.

Он привез меня в поселок св. Николая и вылечил меня там. Я прожил у него четыре недели, затем он дал мне денег и привез на своей лодке в Колури. Там я расстался с ним, и в знак памяти мы разделили между собой пиастр. Здесь я пробыл несколько дней, потому что не представлялось возможности уехать. Дальнейшее известно вам.

III.

Таков приблизительно был рассказ молодого Папона. Затем Леонид взял его за руку, пошел с ним в оружейный склад и предложил ему выбрать оружие. Из костюмов он взял легкие греческие панталоны и короткий голубой кафтан. Из оружия он взял короткий двуствольный мушкет, две пары двуствольных пистолетов и молот.

Леонид сказал: «Так возьми же себе и саблю или, по крайней мере, ножны к ней». — «Нет, — сказал Леон, — с этой саблей я не расстанусь, и она останется обнаженной, пока я сам не добуду себе ножен».

Тем временем начало темнеть. Они подплыли к острову Зеа. Не подходя к берегу, они убрали все паруса и пустили с верхушки главной мачты ракету. Тотчас же подплыла лодка, на которой виднелся крест. В ней находилось шесть вооруженных людей, которые привязали лодку к кораблю и взобрались на палубу. Леонид представил им нового товарища, которого они сердечно приветствовали. Затем Леонид сказал:

«Ну, Стефан, что же ты выследил?»

Стефан: «Там, в городской гавани, стоит турецкое купеческое судно; я побывал там, переодевшись торговцем. Но, Леонид, как ты думаешь, кого я увидел там? Представь себе, вот этот наш старый товарищ, Дукас, был там в качестве раба. Я спас его в ящике. На корабле всего только три пушки, но команда сильна и хорошо вооружена; там около тридцати турок. Но я привлек на нашу сторону двух пассажиров-греков, которые едут в Афины. Они намерены занять пороховой склад».

Леонид: «Ах, превосходно! Оставайтесь здесь, подождите не-

много!» — Он сбегал в каюту, вернулся с тремя бутылками вина и осушил их с Леоном и с шестью вновь прибывшими. При этом он сказал: «Теперь нас всего — посмотрим: вас шесть, на корабле двадцать человек, Леон, я — всего 28, двое турок-пассажиров, едущих в Серфо, из которых один янычар. — Нотос!»

Нотос пришел на зов.

«Возьми с собой Протоса и Тараса в каюту, обезоружь турок и приведи их сюда». Он пошел. Леонид воскликнул: «Микалис!» — «Здесь!» — ответил поспешно прибежавший Микалис.

«Немедленно зарядите орудия, приготовьте легкие орудия, зарядите три пушки картечью и ядрами, остальные свинцом, стеклом, камнями и железом! Принесите шестьдесят гранат, две бомбы и ящик с ядрами! Пусть все вооружатся!» Его приказание было исполнено. «А теперь, — обращаясь к Леону, — мой сын, теперь тебе представляется возможность в первый раз сражаться в наших рядах. Держись храбро. Как только корабль вступит в борьбу с нами, будь возле меня, делай то же, что я буду делать. Только не прыгай на корабль до меня; ты легко можешь полатиться жизнью».

«Да, — сказал Стефан, — я знаю это. Представь себе, Леон, я прыгнул с двумя молодыми людьми твоего возраста на неприятельский корабль; враги перерубили крюк, и мы были отрезаны. Мы защищались, но, после того как оба моих товарища были убиты, я был почти раздавлен толпой, получил сильный удар в голову; рубец еще и теперь виден, и я, наверное, погиб бы, если бы наши не взяли тем временем корабля снова на абордаж».

Затем пришел Нотос с двумя турками, у одного из которых рука была перевязана. Нотос сказал Леониду:

«Смотри, вот они. Они оказали отчаянное сопротивление. Этот янычар нанес бедному Протосу такой удар, что он вряд ли выживет, но вато я разрубил ему руку, в то время как Тарас схватил другого и повалил его на пол».

«Да, — сказал янычар, — это была ловкая штука, одолеть нас, мирно сидевших в каюте! Но они тяжело полатились за это, и это утешает меня».

«О, — ответил Леонид, — в вашей храбрости я никогда не сомневался. Но вы будете вознаграждены; если вы хотите, я высажу вас завтра утром у Термии; однако пусть каждый из вас даст мне пятьдесят пиастров выкупных денег». Они охотно согласились и дали отвести себя назад в каюту, где они остались под надзором Нотоса, между тем как Леонид подошел к Протосу, лежавшему на цыновке. Он осмотрел рану и увидал, что удар был нанесен серповид-

ным мечом по черепу, который был поврежден в одном месте. Рана была смертельна, но еще можно было надеяться на выздоровление. Он наложил пластырь и пошел с Леоном спать. Последнему он отвел койку вовле своей.

Ночь их разбудили. Перед ними стоял Стефан.

«Скорее вставайте, на севере показывается парус. Его можно видеть при свете фонаря». Они немедленно вооружились. Леонид открыл шкаф и дал Леону мешок с пулями, мешок с дробью и большой красивый рог с порохом. Сам он запасся боевыми припасами, и оба они поднялись на палубу.

«Микалис, — сказал капитан, — где легкие вращающиеся орудия, заряженные ядрами?»

Когда они были показаны, он стал у одного из них, у другого Леон, у третьего Стефан.

Команда собралась на палубе. Леонид произвел подсчет. Всего, с ним, оказалось тридцать шесть. Он вызвал Нотоса, который пришел и стал у одной 48-фунтовой пушки, а у другой стал Микалис. Легкие вращающиеся орудия были под боком.

Все стали смотреть на фонарь. Подплыли близко к нему. Тогда фонарь потух, и пришлось плыть в том же направлении. Несколько раз фонарь опять показывался, но в конце концов исчез.

Рассвело. Море было покрыто туманом. Мало-помалу он рассеялся. Тогда Стефан, который сидел на мачте, воскликнул: «Я вижу корабль! Это тот же самый, на котором я побывал в гавани на Зее».

Теперь и Леонид увидел его в зрительную трубу; Стефан спустился вниз. Тотчас же поплыли на всех парусах, чтобы настигнуть корабль, и вскоре все увидели его. Подняли турецкий флаг и приблизились к нему. Приблизительно через три часа к нему подплыли почти на расстояние выстрела. Тогда Леонид приказал снять турецкий флаг и поднять черно-красный флаг с белым крестом. Но турецкий корабль еще до этого повернул на северо-запад и поплыл на всех парусах, чтобы добраться до Макронизи. Вскоре Леонид приблизился к нему, и немедленно по его приказанию было пущено ядро в оснастку неприятельского корабля. Турки тотчас же отвечали, но они удалялись. Тогда Леонид воскликнул: «Микалис с твоими пятнадцатью, идите и гребите изо всех сил! Мы должны его захватить! Нотос! Иди на корму, и стреляйте в неприятеля, как только мы подъедем на половину расстояния выстрела! Тарас со своими останется здесь».

Корабль понесся быстрее. Они все ближе и ближе подплывали к добыче. Между тем Леонид приказал:

«Ты, Тарас, иди, как только вернется Микалис, на правую сторону к орудиям; Стефан пусть обслуживает орудия на задней половине; Леон пусть останется со мной!»

Тогда Нотос выстрелил из своей двенадцатифунтовой пушки, затем раздались выстрелы еще из пяти орудий, и парус неприятельского корабля свалился вместе с верхушкой мачты и повис на снастях! Раздался радостный крик; выстрелили из пушек еще раз, и бугшприт корабля разбился вдребезги. Турки не могли ускользнуть. Корабль подплыл ближе, и Леонид и Леон быстро выстрелили из своих вращающихся пушек. Несколько человек упало, но выстрелы не произвели большого эффекта. Микалис вернулся, турки были совсем близко, стреляли с обеих сторон, но и турки храбро отстреливались; тогда Леонид приказал одновременно выстрелить из всех орудий и подплыл к неприятелю. Раздались выстрелы из вращающихся пушек; палуба неприятеля почти опустела; тогда греческий корабль взял на бордаж. Микалис и его отряд, Леонид и Леон стояли у крюка; они выстрелили в неприятеля из ружей, привели в движение крюк, и Микалис и Леон моментально очутились на неприятельском корабле. Леон вынул пистолет и застрелил первого попавшегося; он размахивал саблей, и турки падали один за другим. Тогда Микалис упал, но тут Леонид, эллины пробиваются вперед, начинается ожесточенный бой; но греки, оставшиеся на своем корабле, храбро стреляют, и вскоре несколько турок складывают оружие. Тогда на палубу вбегают огромный арнаут, размахивает саблей и кричит:

«Как, мусульмане, вы хотите дать неверным перебить себя? Возьмите ваши сабли и изрубите собак!»

Он бежит вперед и убивает одного эллина. «Где вождь?» — восклицает он. «Здесь», — кричит Леонид и устремляется вперед. Они сражаются. Леонид остается хладнокровным под тяжелыми, ожесточенными ударами своего врага. Последний в слепой, безумной ярости бежит вперед и наносит своему противнику удар в левую руку. Тогда последний сильным ударом своего широкого меча разрубает саблю врага, наносит еще один удар, и кровь струится из груди турка. Но подбегает другой турок и наносит ему в лицо удар, от которого тот падает. Увидав это, Леон убивает убийцу, задерживает врага, и тот сдается.

Но раненый вождь высаживается на своей лодке с десятью человеками в Макронизи.

IV.

Теперь он обозревает поле битвы. Двенадцать турок убиты, восемь ранены, пять сдались, десять ускользнули.

Но и четыре грека убиты; Микалис был при смерти; Нотос ранен пулей в бедро, капитан получил удар, и еще трое легко ранены. И Леон получил легкую огнестрельную рану в голову и рубец на левой руке.

Стефан подошел к нему. «Ты храбро сражался, Леон, но ты должен итти к Леониду. Что такое, у тебя идет кровь?»

«Ах, немного, это ничего не значит. Мне всего досадней, что от нас ускользнул проклятый арнаут. Я охотно убил бы его».

Он подошел к Леониду. Последний сказал: «Леон, я передаю тебе команду Нотоса до его выздоровления. До тех пор, пока я не буду в состоянии исполнять свои обязанности, главным начальником будет Стефан. Иди к Микалису и узнай, в каком он состоянии».

Он повиновался. «Он очень слаб; у него огнестрельная рана в груди и перелом кости в бедре. Но Тарас еще надеется».

Стефан вернулся. «На корабле имеется груз: хлопчатая бумага для Афин и припасы для Навплии. Кроме того, финики, кокосовые орехи, фиги и множество всякого рода товаров для продажи».

«Доставь все ценное с корабля сюда и плыви к гавани Рафти», — сказал Леонид. «Леон, иди туда вместе со Стефаном. Допросите пленных, прими к сведению все их показания».

Он пошел. Показания пленных были приблизительно таковы. Это был торговый корабль, принадлежащий смирнскому купцу. Его брат Али командовал на корабле, и именно он ранил Леона. Они доплыли до С., где им сообщили, что вблизи появились корсары. Поэтому они взяли с собой вчера еще десять человек в Афины. Тогда они увидели корабль, и на них было произведено нападение. На вопрос, где греческие пассажиры, они ответили, что одного бросили в море, а другого убил Али, узнав корсарский корабль.

Затем осмотрели корабль. Кроме вышеуказанных запасов, нашли еще множество оружия и боевых припасов, а также сукно и одежду. Но лучше всего было то, что были найдены три мешка с золотом, в каждом 5 000 пиастров. Они были перенесены в каюту греческого корабля.

Между Сунием и полуостровом Арголидой находится небольшой скалистый и необитаемый остров, к которому поплыл Леонид. Пристали на следующее утро. А так как Али и турки, наверное, побудили бы еврипского или афинского пашу послать против

разбойников корабль, турок высадили там, дали им немного провизии, две сабли и ружье с патронами для того, чтобы они могли питаться зайцами и т. п., которых много водится на таких островах.

Собирались отплыть, но не оказалось Леона. Он пошел на охоту, его искали; вдруг раздался выстрел, побежали в этом направлении и нашли Леона, истекавшего кровью; рядом с ним лежал застреленный турок, а другой турок с окровавленной саблей Леона стоял тут же. Стефан, который шел впереди, напал на турка. После непродолжительной борьбы он выбил у врага саблю, повалил его на землю и отрубил ему голову.

Подошло еще несколько человек, Леона положили на носилки из ветвей и понесли. Тарас, осмотревший раны, увидел, что турок ранил его в голову, в бедро и слегка в руку.

Наконец, раненый пришел в себя. Его первый вопрос был: «Где моя сабля?» Когда ее показали ему, он сказал: «Где тот турок, который ранил меня?»

«Я убил его, — сказал Стефан, — но лежи спокойно, ты опасно ранен».

Рана в голову была опасна; перенести раненого на корабль значило бы повредить ему; поэтому решили поймать турок и высажить их на берег Мореи, а Леона, Микалиса, который еще был в опасном положении, Нотоса и Леонида оставить на острове¹ вместе с тремя товарищами для ухода за ними. Стефан намеревался заехать за ними через несколько недель. Турок опять собрали, но вдали показался турецкий корабль, и поэтому корабль корсаров со Стефаном поплыл на парусах. Но кроме раненых и Тараса с его двумя помощниками осталось еще пять человек, которые должны были доставить турецкий корабль в Эпину, и они отплыли на следующий день.

Леон, видимо, поправлялся. Через шесть дней он уже мог встать с постели и немного выходить. И Микалис появился через неделю у дверей небольшой хижины, которую они построили. Леонид и Нотос уже почти выздоровели и часто ходили на охоту. Однажды Нотос вернулся и сказал:

«Я видел одного турка, но он поспешил убежать. Мы должны быть осторожны». На следующий день он опять пошел на охоту с Леонидом. Они встретили дикую козу. Они разделались. Нотос пошел лесом; вдруг раздается выстрел, Нотос падает, а турок, держа в левой руке пистолет, а в правой кинжал, бросается на него, наклоняется, заносит кинжал, но раненый поднимается, вынимает пи-

¹ Он называется Сан Джорджио ди Аспарра.

столет и стреляет в мусульманина. Вскоре греки собрались вместе. Турок был мертв, его пуля попала Нотосу в грудь, но рукоятка его кинжала задержала пулю, и рана была неопасна.

Нотоса отнесли в хижину, и он целую неделю не мог вставать. Затем все выздоровели, но провизия была израсходована, и на острове трудно было добывать пропитание охотой.

V.

Они прожили на острове четыре недели, когда за ними явился Стефан. Он продал турецкий корабль английскому купцу в Фессалонике за 10 000 пиастров, а другому купцу хлопчатую бумагу за 4 000 пиастров. Корабль корсаров был заново экипирован, прибавились три пушки, количество боевых припасов утроилось, и было много иного рода оружия. Положение получивших хорошее вознаграждение разбойников улучшилось. Теперь корабль поплыл к Кандии. Когда они увидели Милос, показался корабль, повидимому турецкий. Леонид гонится за ним и преследует его до Милосского залива. Там находится несколько островов, закрывающих вход в залив. Корабль укрывается там под защиту пушек с фортов над доком. Оказывается, что это египетская галера. Начинается ожесточенный бой. Греки стреляют храбро; но вдруг в залив въезжает турецкий корабль и нападает — это был небольшой военный корабль — на греков с тыла. Тогда Леонид берет турок на бордаж, посылает к ним Стефана, и после непродолжительной борьбы корабль захвачен.

Но тем временем раздается залп с фортов, и греческий корабль тонет. Его наскоро направляют на прибрежную мель, на которую он и садится. Но команда поднимается на захваченный турецкий корабль, ожесточенно преследует галеру, берет ее на бордаж. Леон прыгает на галеру, другие, в том числе и Стефан, следуют за ним, и они нападают. Леон все время сражается впереди всех и обгаряет свой меч в крови мусульман; он с ожесточением дерется, Стефан следует за ним, и они пробиваются вперед. Вдруг Леон видит пред собой начальника неприятелей, огромного египтянина. Он сражается с ним, но ни один из них не может одолеть другого; наконец, Леон ранит своего противника в левую руку; тогда последний вынимает пистолет, стреляет, но попадает не в Леона, а в другого эллина, и падает под ударами своего храброго противника. После того как он упал, корабль был захвачен. Немногие уцелевшие турки сдаются, и их высаживают на берег; Тарас в турецком костюме идет в форт для переговоров о починке корабля. Корыстолюбивый паша

соглашается за подарок в триста пиастров, но тайно посылает лодку в Сифанто, где находилось несколько турецких кораблей. Лодка нашла их, и все три корабля немедленно понеслись на всех парусах. Нотос и Тарас выехали на своей лодке из залива, увидели корабли и сообщили Леониду об их приближении. Последний приказывает части своих матросов поскорее перебраться на турецкие корабли, на которые уже были перенесены заряды для ручного огнестрельного оружия и несколько пушек, но большую часть команды, в том числе и тридцать новобранцев с острова Милоса, он поместил на своем корабле. Леон, командовавший небольшим военным кораблем, расположился у входа в гавань. Подплывают турки. Сперва приближается один корабль. Леон стреляет из всех орудий сразу в нос корабля, поворачивает корабль, берет его на бордаж и переходит на него со всей командой. Но с другой стороны подходит следующий корабль, высылает свою команду, и начинается ожесточенный бой. Леон храбро сражается. Несколько турок падают под его ударами, но и некоторым храбрым эллинам пришлось испустить последний вздох под ударами турецких мечей, и счастье склоняется на сторону варваров, которых было втрое больше. Вдруг Леон видит убийцу своего отца. Увидев огромного арнаута, который только что убил старого эллина, он ожесточается. Он кричит ему: «Гункиаз (убийца), сражайся с юношами!» Арнаут оборачивается и сражается; он вдвое сильнее эллина, но последний борется с большим ожесточением. Они яростно дерутся. Удар следует за ударом. Леон ранит турка в руку, и он теряет саблю. Но он выхватывает из под пояса хорошо знакомый молот, с ожесточением, вызванным болью, наносит удары Леону, и вскоре широкая поверхность молота во второй раз ударяет по высокому челу Леона, и Леон падает под непрерывными сильными ударами турка.

«Этот уже в аду!»— восклицает он; тогда принялись за других, но почти все они уже убиты, лишь немногие, лишившись оружия, взяты в плен.

Между тем, два других корабля въехали в гавань и занялись преследованием Леонида, который со всей своей командой и с деньгами перебрался на галеру и, ускользнув от преследований врагов, благополучно выехал из гавани в открытое море и поплыл на всех парусах в Бело Пауло, где он рассчитывал получить сведения о Леоне и об остальных.

БЕДУИНЫ.

Еще один звонок, и вот
Взвывается занавеса шелк;
Свой напрягая слух, народ —
Весь ожидание — замолк.

Не Коцебу, однако, вас
Сегодня будет забавлять,
Не Шиллер будет в этот раз
Златую лаву изливать.

Пустыни гордые сыны
Вас забавлять пришли сюда;
И гордость их, и воля — сны,
Их не осталось и следа.

Они за деньги длинный ряд
Родимых плясок пляшут вам
Под песню-стон; но все молчат:
Молчание к лицу рабам.

Где Коцебу вчера стяжал
Рукоплесканья шутовством,
Там бедуинам нынче зал
Дарит рукоплесканий гром.

Давно ль, проворны и легки,
Под зноем солнечных лучей
Чрез марокканские пески
Вы двигались, сыны степей?

Или скитались по садам
Страны прекрасной Эль-Джерид,
А кони про набеги вам
Твердили цокотом копыт?

Иль отдыхали близ реки
Под сенью свежего куста,
И сказок пестрые венки
Плели вам нежные уста?

Иль в шалашах ночной порой
Вкушали мед беспечных снов,
Пока вас не будил с зарей
Проснувшихся верблюдов рев?

И после этого — повор —
За деньги пред толпой плясать!
У вас недаром тусклый взор,
И на устах лежит печать.

ВЕЧЕР.

День завтрашний придет!

Шелли.

1.

Сижу в саду, — склонившегося дня
Светило кануло внезапно в волны,
И пляшут в облаках, веселья полны,
Златые брызги алого огня.
Цветы уныло опустили взоры, —
Дневных лучей веселый свет погас,
Лишь меж дерев поют в вечерний час
Беспечных птиц приветливые хоры.
На гребне вод недвижны пароходы,
Проплывшие широкий океан;
Колебля мост и уходя в туман,
Усталые влачатся пешеходы.
В бокале бродит пенистый напиток,
Передо мной — творенья Кальдерона;
И я, как бражник, чую сил избыток,
Вина и слова мощью опьяненный.

2.

Уже бледней вечерняя заря, —
Лишь миг, — уже грядет заря свободы;
Вот вспыхнет солнце, пурпуром горя,
Минует ночь, а с ней — ее невзгоды.
Тогда взрастет цветов младое племя
Не только там, где мы бросали семя:
Цветущим садом станет вся земля,
И все растенья страны переменят,
И пальма мира Север приоденет,
Украсит роза мерзлые поля;

Дуб устремит свой шаг на полдень ясный,
 Он троны тяжелой сокрушит стопой,
 Тому, кто мир вернул стране несчастной,
 Он обовьет чело своей листвою.
 Алде всюду даст могучий рост, —
 Ему подобен крепкий ум народа,
 В нем та же неуклюжая порода,
 И так же кряжист он, колюч и прост,
 Пока, под грохот, сквозь преград, прорвется
 Свободы пламя, что под спудом бьется,
 И к богу донесет свой аромат
 Быстрой, чем ладан, что льстецы кадят.
 Лишь кипарис, былой лишенный славы,
 Забыт останется среди дубравы.

3.

Пернатые, что в зелени вершин
 Восход зари стоустно возвещают
 И ведают, когда главы склоняют
 Громады влажных туч на дно долин,
 Что солнце снова на престол восходит, —
 Так и поэты в стройном хороводе;
 Их слово вольный ветер разнесет,
 Он с вольным словом свяжет свой полет.
 Певцы стоят не у дворцовых башен, —
 Дворцы в развалинах давно лежат;
 С дубов, которым натиск бурь не страшен,
 Они на солнце радостно глядят, —
 Хотя бы света луч, давно желанный,
 Их ослепил, рассеявши туманы;
 И я один из вольных тех певцов,
 Дуб — это *Берне*, бывший мне поддержкой,
 Когда гонители, в тисках оков,
 Германию пятой сдавили дерзкой.
 Да, я один из этих смелых птах,
 Плывущих в море вольного эфира;
 Пусть воробьем я буду в их глазах, —
 Я лучше буду воробьем для мира,
 Чем заключенным в клетку соловьем,
 Для развлеченья взятым в барский дом.

4.

Тогда корабль сквозь волны повевет
Не грузы богачу для накопленья,
И не товар — купцу в обогащенье,
А счастья и свободы сладкий плод.
То — конь, задорно вставший на дыбы,
Чей всадник смерть приносит лицемеру,
То утешитель, возвестивший веру
В свободу мысли, жизни и борьбы.
Венчают флаг не королей гербы,
Пред кем команда в страхе поникает, —
Там облако, в котором расцветает,
Когда рассеет молния его,
Миротворящих радуг волшебство.

5.

Тогда любовь протянет мост незримый
От сердца к сердцу; пусть под ним ревет
Бегущих лет поток неуправляемый,
Страстей кипящих пенный водомет, —
Не дрогнет мост — алмазной он породы;
А в вышине горит штандарт свободы,
И человек идет; и мирный взор
Куда ни бросит он, куда ни станет,
Меж братских крыш, в гостеприимном стане,
Приют всегда найдет он с этих пор;
И, если сонные смежит он очи, —
Как дома будет и во мраке ночи.
И новый мост взлетит до облаков,
И человечество, отныне твердо,
Направит к небу шаг спокойно-гордый,
Чтоб созерцать прообраз всех духов.
Не из его ль возникли люди лона,
Не снова ль их в себя оно приемлет,
Как звенья цепи, духом укрепленной,
Что, вечная, материю объемлет!

6.

И новое вино наполнит чаши,
Вино свободы, крепкое вдвойне;

Оно не затуманит чувства наши,
 Но новый смысл придаст их глубине.
 И ты уловишь слухом напряженным
 Небесных сфер звучанье в тишине,
 И заструится током просветленным
 По жилам кровь, как пламенный эфир,
 Что наполняет бесконечный мир.
 Ты кинешь взор в предвечные пространства,
 Ты покоришь созвездья в вышине,
 И, как огней земных непостоянство,
 Былые скорби вспомнишь лишь во сне.

7.

Тогда восстанет новый Кальдерон,
 Ловец жемчужин в море вдохновенья,
 Чей голос мощный — словно кедров стон
 На жертвенном огне, в часы моления;
 Чья песнь шумит, чьей арфы медный эвон
 Пророчит тираний ниспроверженья;
 Внимают все победной песне той,
 Приветствуя грядущий мир земной.
 Он повествует, как, сквозь тучи пик,
 Тиранов мощь разбил поток народа,
 Как через *мост мантибльский*¹ он проник
 В обетованную страну свободы;
 И как он стал, в порыве грозной мести,
Целителем своей народной *чести*,² —
 Он, что давно, как *мужественный князь*,³
 Освобожденья ждал, в цепях томясь.
 Тогда из царства горнего эфира,
Дочь воздуха,⁴ свобода низошла,
 И мощью чар ее звучала лира,
 И *жизнь* вокруг, как сладкий *сон*⁵ была;
 И, наполняя снова кубок мира,

¹ «La pacate de Mantible».

² «El medico de su honra».

³ «El principe constante».

⁴ «La hija del aire».

⁵ «La vida es sueño».

Сверкающая влага потекла;
Вставало солнце, *утра* озаряя
Апреля нежного, *золотого мая*.¹

8.

Когда же Солнце новое взойдет,
И старый мир повергнется в руины?
Мы созерцали старых солнц заход, —
Надолго ль ночь окутала долины?
Унылый месяц смотрит на поля,
Туманы на холмах лежат седые;
В туманах спит усталая земля,
Мы бодрствуем, — но бродим, как слепые.
Но тучи, скрывшие небесный свод,
Уже спугнул восход зари веселый;
Туманы, ускользающие в доли —
Лишь пробужденных духов хоровод.
Звезда, танцуя, вспыхнула меж гор,
Багряные лучи сквозь туч пробились, —
Ты видишь, как цветы уже раскрылись,
Ты слышишь, как щебечет птичий хор!
Полеба — в ослепительном сиянье,
Горят алмазом снеговые грани;
Златые тучи, в зареве огней,
Как гривы буйных солнечных коней;
Вагляни туда, где жгучих стрел потоки, —
Младое Солнце всходит на востоке!

¹ «Mananas de Abril y Mayo».

ПЕРЕНОСЕНИЕ ПРАХА НАПОЛЕОНА I.

Безлюдны улицы Парижа: к Сене
Все населенье бурно потекло;
Сверкает солнце Франции, но тени
Легли на гордое его чело.

Веселые примолкли парижане, —
Их не прельщает новой славы пир;
К ним близится герой военной брани,
Европы бич и Франции кумир.

Прах императора, сереброглавой
Толпою ветеранов окружен,
К Парижу движется, увитый славой,
Под грохот пушек и под плеск знамен.

Вновь гордая столица, как когда-то,
У ног кумира своего лежит;
Пусть горшая, чем некогда, расплата
Ей угрожает, — месть в душе кипит.

О музыка войны и смерти! — биться
Сильней сердцам французам ты велишь;
Не с тем же ль блеском после Аустерлица
Иль в дни Маренго он въезжал в Париж?

И как тогда сквозь строй толпы влюбленной
Скакал он, сжав немой и бледный рот,
Так ныне — прах, навеки просветленный —
Среди толпы он движется вперед.

Где гвардия? Где генерал Домбровский,
Непобедимый вождь своих полков?
И где лихой Мюрат? Где Понятовский?
Где маршал Ней, храбрец из храбрецов?

Могучих сонм стал жертвой рока злого,
Их громы Ватерло повергли в прах;
Остатки гвардии шагают здесь сурово,
Лишь Монтолон томится в кандалах.

Краса и цвет всей Франции — и старой,
И молодой — за гробом вслед идет;
Всеобща скорбь: республиканец ярый,
И тот со всеми вместе слезы льет.

Кто те, на чьем челе пылают рядом
Печать побед и горьких мук следы,
Чей стан так горд под траурным нарядом?
Знай: то поляков скорбные ряды.

И императора металл и камень
Приветствуют из арок и колонн,
В которых — тот же дерзновенья пламень,
Каким горел всю жизнь свою и он.

Мертв дом его, упала в прах корона,
Надменный сон рассеялся, как дым;
Как Александр, своим потомкам трона
Не завещав, лежит он недвижим.

Спит император, смолкла литургия;
Покрыты мглой торжественных теней
Стоят колонны, словно часовые;
Храм — над уснувшим богом мавзолей.

ПАМЯТИ ГУТЕНБЕРГА.¹

1.

Достойно ли поэта петь чертоги
Властителей иль блеск войны кровавой,
Когда звучат, ликуя, трубы славы
На небесах, где обитают боги?
Не стыдно ль вам? Сокровища таланта,
Смянье славы расточать, о братья,
На тех, кого история навеки
С презреньем осудила на проклятье?
О, пробудитесь! Пусть взвоется в тучи
Благоговейный гимн,
Досель еще неслыханно-могучий!
И, если вы хотите, чтоб нетленный
Венок расцвел вокруг вашего чела,
Так нужно, чтобы расцвела
И ваша песнь, гремя по всей вселенной!

2.

У древних без нужды не расточался
Священный фимиам;
У алтаря возвышенных деяний,
Возвышенных умов он проливался.
Но вот пришел Сатурн и мощным плугом
Грудь матери-земли он разрыхлил, —
Тогда увидел человек,
Как семена выросли на почве бедной,
И к небесам вознесся гимн победный, —
Сатурн был богом в тот блаженный век.

¹ Переведено Энгельсом с испанского; автор поэмы — Мануэль-Хосе Кинтана. — *Прим. ред.*

А ты не бог ли, кто, века навад,
В живую плоть облек и мысль, и слово,
Что, рав возникши, улетело б снова,
В печатном знаке не найдя преград?

3.

Не будь тебя, — в могилу
Забвения навеки погрузясь,
Само б себя и Время поглотило.
Но ты пришел, — и мысль
Раздвинула границы, что мешали
В младенчестве ей развиваться долгом,
И унеслась, взмахнув крылом, в простор,
Где с Будущим Прошедшее заводит
Торжественный и вещей разговор.
Ты, победитель мрака,
Возрадуйся, бессмертный, похвалам
И почестям, что ныне надлежит
Воздать тебе, возвышенному духу!
И, словно показав в твоём лице,
Какая в ней еще таится сила,
С тех пор природа больше никогда
Такого чуда миру не дарила.

4.

Но вот встает она, чтоб новый знак
Могущества явить, и Рейн холодный
Увидел Гутенберга. «Тщетный труд!
Что пользы вам, когда своим пером
Вы жизнь даете мысли, —
Она умрет: над ней уже нависли
Покровы тьмы, забвения фантом!
Какой сосуд в себя вместить сумеет
Бушующие волны Океана?
Так нет пути для мысли, заключенной
В единый том, во все земные страны!
Так что ж? Взлететь? По одному подобью
Несметные творит природа жизни, —
Так следуй же за ней, мое творенье!

И пусть раздастся Истины глагол,
 Тысячекратным эхом полня дол
 И в высь летя на крыльях вдохновенья!»

5.

Сказал, — и был станок, и вот Европа,
 Ошеломленная, глядит, как в миг,
 С великим шумом, словно ветер в бурю,
 Прорвавшийся, возник
 Тот пламень яростный, что в недрах темных
 Дремал, в глубоких притаившись домах.
 О, крепость зла, невежества покров,
 Созданье гнусной ярости тиранов!
 Раскрылись недра пламенных вулканов
 И потрясли гранит твоих основ!
 Кто этот призрак, мрака порождение,
 Нечистый демон, что, забывши стыд,
 Себе престол кровавый воздвигает,
 Над павшим Капитолием царит,
 Всему земному смертью угрожает?

6.

Еще он жив, — но призрачная мощь
 Уже слабеет: рушатся вершины,
 И далеко вокруг лежат руины.
 И царствует на выступе скалы
 Одна лишь башня над громадой горной,
 Где крепость возвели сыны войны,
 В борьбе позорной,
 Откуда низвергаются толпой,
 Похитив мощь, с громовым криком, в бой.
 И башня та стоит,
 Заброшена, являя мрачный вид,
 Еще, как прежде, дряхлая, далёко
 Грозящее вокруг наводит око, —
 Но пробил час, и рушится она;
 Тогда гудят равнины
 Под грудами обломков, и с тех пор
 Она лежит, как пугало лесное,
 Как чучело, людской смущая взор.

7.

То был венок, что увенчал впервые
Чело рассудка; смело вспрянул ум,
Духовного взыскуя жадно хлеба,
В своем полете обнимая мир.
Коперник в звездное поднялся небо,
Что плотный некогда скрывал эфир,
И сквозь безмерность далей созерцает
Ярчайшую из звезд,
Что нам лучи дневные посылает.
И чует под ногою Галилей
Земли круговращенье, но ему
Рим ослепленный шлет за то тюрьму.
А шар земной летит, не уставая,
Моря пространств бездонных проплывая,
Светила с ним, горящие, плывут
В полете огненном; тогда был вброшен
В средину их Ньютона быстрый дух;
Он следует за ними,
Он указывает вечный
Им предначертанный движенья круг.

8.

Что пользы в том, что покоришь ты небо,
Найдешь закон, который управляет
Водой и ветром, раздробишь лучи
Неосязаемого света, в землю
Зароешься, чтоб злата колыбель
Иль хрусталия открыть? О, гордый ум,
Вернись к собратьям! Горькая обида
Тогда в его ответе прозвучала:
«Как долго ум с невежеством боролся,
Как тяжко цепь бряцала,
Что тирания в ярости сковала,
Из края в край, от века и до века,
Бросая человека
От рабской доли к смертному одру!
Теперь довольно!» — Пламенную речь
Услышали тираны и призвали
Двух верных слуг к себе: огонь и меч.

9.

«Безумцы! Эти жаркие костры,
Что в ярости мне смертью угрожают
И с правдой за меня вступают в бой,
То факелы, что свет несут с собой
И царство правды в мире утверждают!
С любовью и тоской
Моя душа, отдавшись вдохновенью,
Ей вслед глядит, она влечет меня,
Я не боюсь ни смерти, ни огня, —
Так неужель поддамся я сомненью?
Иль, может быть, навад
Мне отступить? Но разве волны Тахо
Когда-нибудь обратно возвращались,
В морской простор однажды устремившись?
Пускай навстречу громоздятся горы,
Им не сдержать кипящий ураган, —
Его несет сквозь встречные заторы
Сама судьба в мятежный океан».

10.

Настал великий день,
В который смертный из глубин паденья
Воспрянул гордо, полный возмущенья,
И над простором рек
Пронесся клич: Свободен человек!
И полетел, сметая все преграды,
Святой призыв; и эхо понесло
Его чудесно на крылах могучих,
Что создал Гутенберг;
И, окрыленный, вмиг
Он взвился над горами, над морями,
Господствуя, свободный, над ветрами.
Не заглушил его тиранов крик,
И мощно прозвучал во всей природе
Призыв рассудка: человек свободен!

11.

О, слово сладкое: свободен! Сердце
Трепещет, ширясь, твой заслышав звук;
Тобой зажженный дух,
Охваченный священным вдохновеньем,
Взмывает ввысь на огненных крылах
И радостно кружится в облаках.
Вы, внемяющие песне
Моей, о, где вы, смертные? Я вижу
С высот, как медные врата судьбы
Отверзлись — и, порвав покров времен,
Грядущее простерлось предо мною!
И вижу я, что шар земной отныне
Не жалкая планета, где царит
Война и зависть в яростной гордыне.

12.

Исчадья зла, они навек исчезли,
Как прекращается ужасный мор,
Как черная чума уходит, если
Суровый Аквилон подует с гор.
Все люди равными отныне стали,
Распался гнет губительных оков;
Ликующие клики прозвучали:
Тиранов нет, нет более рабов!
Любовь и мир на всей земле настали,
Любовь и мир вдыхает всё вокруг,
«Любовь и мир!» — гремят раскатом дали.
А в небе бог, на троне золотом,
Простер свой скипетр вниз, благословляя, —
Да радость и веселье снидут в мир,
Как в древние века,
Потоком мощным землю затопляя.

13.

Ты видишь, видишь этот обелиск,
Сей памятник прекрасно-величавый, —
Он ослепляет, словно солнца диск!
Не так могущественны пирамиды,

Создание рабов, что, их же мощью
Потрясены, свои склонили главы!
Пред ним неугасимо
Струится аромат,
Что Гутенбергу, в изумленье, люди
В знак благодарности везде кадят.
Хвала тому, кто темной силы чванство
Повергнул в прах, кто торжество ума
Пронес сквозь бесконечные пространства;
Кого в триумфе Истина сама,
Осыпавши дарами, вознесла!
Борцу за благо — гимны без числа!

ПИСЬМА К БРАТЬЯМ Ф. и В. ГРЕБЕРАМ

ФРИДРИХУ И ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРАМ.

1 сентября [1838 г.]

Господам братьям Греберам из Бармена, ныне пребывающим в Эльберфельде. Свидетельствуя сим о получении мною почтенного писания господина Ф. Гребера, я позволю себе послать вам несколько строк.

Чорт побери, дело идет на лад! Мы сразу начнем с изобразительного искусства. Именно, мой сожитель, по имени Джордж Горрисен, — первый гамбургский фронт, какой когда-либо существовал; возьмите [на полях помещены два рисунка головы Горрисена] среднее из обоих приложенных портретов, посадите это на узкое туловище и длинные ноги, придайте глазам тупое выражение, вообразите себе его речь как раз такой, как у Кирхнера, только с гамбургским диалектом, и у вас получится точнейший портрет этого оболтуса. Ах, если б я сумел только изобразить его так удачно, как вчера вечером, когда я нарисовал его на доске так похоже, что все, даже служанки, его узнали. Даже один художник, живущий у нас в доме и вообще находящийся все плохим, увидев этот портрет, нашел его очень хорошим. Вот этот Горрисен — самый большой олух на земле; каждый день он носится с какой-нибудь новой чепухой, он неистощим в нелепых и скучных идеях. На его совети, по меньшей мере, двадцать часов нагнанной им на меня скуки.

Я недавно купил себе оправдательную записку Якова Гримма; она великолепна и написана с редкой силой. В одной книжной лавке я недавно прочел не меньше семи брошюр о кельнской истории. — NB. Я здесь ознакомился с такими вещами, — я особенно осведомлен в литературе, — которых у нас никогда бы не напечатали: совершенно либеральные идеи и т. д.; рассуждения о старом ганноверском вшивце просто великолепны.

Здесь прекрасные сатирические листки. Я видел один листок с плохими рисунками, но с очень характерными лицами. Изображен

портной, сидящий на козле¹; хозяин его удерживает, а сапожники смотрят. А дальнейшее излагается в надписи:

«Хозяин, не удерживайте моего коня!»

Прости, что я так плохо пишу: я влил в себя три бутылки пива. Ура! больше писать не могу, ибо письмо должно быть сейчас же отправлено на почту. Пробыло половина четвертого, а письма должны быть там в четыре! Чорт побери! Замечаешь ли ты, сколько я выдул пива?

Благоволите мне тотчас же намаракать что-нибудь; мой адрес знает Вурм, вы можете ему передать письмо. Ах, боже мой, что мне писать? Ах, господи Иисусе, господи Иисусе, вот беда! Старик, т. е. принципал, только что вышел, и я совершенно заморожен: я не знаю, что я пишу, в ушах у меня шумит. Кланяйтесь П. Ионнгаузу и Ф. Плюмахеру, пусть они мне напишут, и в ближайший раз я их тоже осчастливилю письмом. Можете ли вы прочесть, что я насвинячил?

Что ты мне дашь за фунт чепухи? У меня большой запас ее. Ох, господи Иисусе!

Преданный тебе, преданный вашему высокоблагородию.

Фр. Энгельс.

¹ Воск — козел, также насмешливое прозвище для портных.

ФРИДРИХУ И ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРАМ.

17 сентября [1838 г.]

...Сперва черные чернила, а затем начинаются красные.

Carissimi! In vostras epistolas haec vobis sit respondentia. Ego enim quum longiter latine non scripsi, vobis paucum scribero, sed in germanico-italianico-latino. Quae quum ita sint, ¹ то вы не получите уж ни слова по-латыни, а все на чистом, отборном, прекрасном немецком языке. Я начну свой рассказ сразу с очень важной вещи: мой испанский романс провалился; этот человечина, кажется, антиромантик, — по крайней мере, он имеет такой вид; но другое мое стихотворение — «Бедуины», приложенное к письму, было помещено в другой газете; только этот молодец изменил последнюю строфу и создал этим невообразимую путаницу; он, кажется, не понял слов: «вас люди в фраках не поймут, им вашей песни строй далек», потому что они кажутся чужаками. Главная мысль стихотворения заключается в противопоставлении бедуинов, даже в теперешнем их состоянии, публике, которая совершенно чужда им. А потому эта противоположность не должна быть выражена одним голым описанием, данным в обеих резко обособленных частях; только в заключении она ярко выступает благодаря противопоставлению и заключительным словам последней строки. Кроме того, в нем еще выражены отдельные мысли: 1) легкая ирония по адресу Коцебу и его приверженцев с противопоставлением Шиллера как доброго принципа нашего театра; 2) скорбь о теперешнем состоянии бедуинов с противопоставлением их прежнему состоянию; эти обе побочные мысли идут параллельно в обеих главных противоположностях. Убери последнюю строфу, и все идет прахом; но если редактор, желая ослабить заключение, пишет: «И после этого — позор! — за

¹ Дражайшие! На ваши письма отвечаю нижеследующим. Так как я давно не писал по-латыни, то я напишу вам немного, но только на немецко-итальянско-латинском. Буде это так...

деньги пред толпой плясать! У вас недаром тусклый взор, и на устах лежит печать!», то, во-первых, заключение бледно, ибо оно составлено из кусочков прежних строф, а, во-вторых, оно уничтожает мою главную мысль, ставя на ее место побочную мысль: жалобу о состоянии бедуинов и противопоставление прежнему их состоянию. Итак, он учинил следующую беду: 1) он совершенно испортил главную мысль, 2) совершенно уничтожил связь всего стихотворения. Впрочем, это ему обойдется еще в один грот ($1\frac{1}{2}$ зильберггрошена), ибо он получит от меня надлежащую отповедь. Впрочем, я жалею, что сочинил это стихотворение, ибо мне совсем не удалось выразить свою мысль в ясной, изящной форме; отрывки Штр[юккера] — силошная риторика, страна фиников и Эль-Джерид — это одно и то же, так что одна и та же мысль повторяется дважды в одних и тех же выражениях, а как неблагозвучны некоторые из фраз! Испытываешь очень странное чувство, когда видишь напечатанными свои стихи; они тебе стали чужими, и ты их видишь гораздо более обостренным взором, чем когда они написаны.

Я здорово смеялся, когда увидел себя вдруг на общественном поприще, но у меня вскоре пропала охота смеяться; когда я заметил сделанные редактором изменения, то я пришел в ярость и страшно бушевал.

*Satis autem de hac re locuti sumus!*¹

Я нашел сегодня утром у одного букиниста очень интересную книгу: извлечения из «Acta sanctorum», но, к сожалению, только для первой половины года, с портретами, жизнеописаниями святых и молитвами, но все очень коротко. Она стоила мне 12 гров (6 згр.) и столько же я заплатил за «Диогена Синепского» или «Σωκράτης μαυόμενος» Виланда.

С каждым днем я все более сомневаюсь в своей поэзии и ее достоинствах, особенно с тех пор, как прочел у Гете обе статьи «Молодым поэтам», в которых я как бы нахожу прямые указания для себя; из них мне стало ясно, что мое рифмоплетство не имеет никакой цены для искусства; но, тем не менее, я буду продолжать заниматься рифмачеством, ибо это — «приятный придаток», как выражается Гете, и буду помещать стихи в журналах, потому что так делают другие молодцы, которые такие же, если не большие, ослы, чем я, и потому также, что этим я не принесу ни чести, ни позора немецкой литературе. Но когда я читаю хорошее стихотворение, то меня берет злость на себя: почему ты не умеешь так писать! *Satis autem de hac re locuti sumus!*

¹ Однако довольно об этом.

Мои cari amici, ваше отсутствие очень чувствуется. Я часто вспоминаю о том, как я приходил к вам в вашу комнату; Фриц, устроившись уютно за печкой, сидел там с короткой трубкой во рту, а Вильм в своем длинном шлафроке шумно шагал по комнате и курил только четырехпфенниговые сигары и острил так, что комната дрожала, а затем появлялся могучий Фельдман, подобно ξανθός Μεγαλάος, и затем приходил Вурм, в длинном сюртуке, с палкой в руке, и мы бражничали, кутили; а теперь надо ограничиваться письмами — как скверно! Что вы мне из Берлина аккуратно пишете, это constat et naturaliter; письма туда требуют только одного лишнего дня по сравнению с письмами в Бармен. Мой адрес вы знаете; впрочем, это не важно, ибо я так хорошо познакомился с нашим почтальоном, что он приносит мне всегда письма в контору. Но honoris causa вы можете на всякий случай написать: St. Martini Kirchhof № 2. Источник этого знакомства с почтальоном тот, что у нас сходные имена: его зовут Энгельке. — Мне сегодня немного трудно писать это письмо; позавчера я написал письмо в 8 страниц Вурму в Бильк, а сегодня другое в 7 — Штрюккеру. А теперь и вы должны получить свою порцию. Если вы получите это письмо до отъезда в Кельн, то исполните следующее поручение: по прибытии туда разыщите Streitzeuggasse, зайдите в типографию Эверерта, № 51, и купите мне народных книг; «Зигфрида», «Эйленшпигеля», «Елену» я имею; важнее всего для меня: «Октавиан», «Шильдбюргеры» (неполное в лейпцигском издании), «Дети Гемона», «Доктор Фауст» и др. вещи, снабженные гравюрами; если встретятся мистические, то купите их тоже, особенно «Прорицания Сивиллы». Вы можете идти до двух или трех талеров, затем пошлите мне книги скорой почтой, со счетом; я вам пришлю вексель на моего старика, который вам охотно заплатит. Или так: вы можете прислать книги моему старику, которому я сообщу всю историю, а он мне их подарит на Рождество или поступит, как сам понимает. Я теперь изучаю новую вещь — Якова Бёме; это — темная, но глубокая душа. Приходится страшно много возиться с ним, если хочешь понять что-нибудь; у него масса поэтических мыслей, и он полон аллегорий; язык его совершенно своеобразный: все слова имеют у него другое значение, чем обыкновенно; вместо Wesen—Wesenheit (сущность); он говорит Qual (мучение); бога он называет безоснованием (Ungrund) и основанием (Grund), ибо он не имеет ни начала, ни основания своего существования, являясь сам основанием своей жизни и всякой иной жизни. До сих пор мне удалось раздобыть лишь три сочинения его; на первых порах этого достаточно. — Но вот вам мое стихотворение о бедуинах.

Еще один звонок, и вот
Взвывается занавеса шелк;
Свой напрягая слух, народ —
Весь ожидание — замолк.

Не Коцебу, однако, вас
Сегодня будет забавлять,
Не Шиллер будет в этот раз
Златую лаву изливать.

Пустыни гордые сыны
Вас забавлять пришли сюда
И гордость их, и воля — сны
Их не осталось и следа.

Они за деньги длинный ряд
Родимых плясок пляшут вам
Под песню - стон; но все молчат:
Молчание к лицу рабам.

Где Коцебу вчера стяжал
Рукоплесканья шутовством,
Там бедуинам нынче вал
Дарит рукоплесканий гром.

Давно ль, проворны и легки,
Под вносом солнечных лучей
Через марокканские пески
Вы двигались, сыны степей?

Или скитались по садам
Страны прекрасной Эль-Джерид,
А кони про набеги вам
Твердили цокотом копыт?

Иль отдыхали близ реки
Под сенью свежего куста,
И сказок пестрые венки
Плели вам нежные уста?

Иль в шалашах ночной порой
Вкушали мед беспечных снов,
Пока вас не будил с варей
Проснувшихся верблюдов рев?

О гости, вам не место тут,
Вернитесь на родной Восток!
Вас люди в фраках не поймут,
Им вашей песни строй далек.

18 [сентября.]

Cur me roematibus exanimas tuus? ¹ — воскликнете вы. Но я вами — или, вернее, из-за них — помучаю еще больше. У Гульельмуса еще целая тетрадь моих стихов. Эту тетрадь я попрошу вернуть мне, и вот каким образом: вы можете вырвать оттуда всю неисписанную бумагу и при каждом из своих писем прилагать по четвертушке ее; расходы на марки от этого не увеличатся. В случае возможности, я еще кусок; если вы это умело вложите и хорошенько спрессуете до отправки письма, например положив его на ночь между несколькими словарями, то эта публика ничего не заметит. Перешлите Бланку вложенный листок. У меня теперь обширнейшая корреспонденция. Я пишу вам в Берлин, Вурму в Бонн, пишу в Бармен, Эльберфельд, — но без этого как мог бы я убить бесконечное время, которое я должен проводить в конторе, не имея права читать? Позавчера я был у своего старика, id est principalis; его жену называют старухой — Altsche (по-итальянски произносится точно так же слово alce, означающее лося); они живут за городом; было очень приятно. Старик — забавнейший человек, он ругает своих детей всегда по-польски: ах вы, лайдаки, ах вы, кашубы! На обратном пути я старался разъяснить одному своему спутнику-филистеру красоту народно-немецкого языка, но увидел, что это невозможно. Такие филистеры несчастны, но в то же время сверхсчастливы в своей глупости, которую они принимают за высшую мудрость. Недавно вечером был в театре; давали «Гамлета», но отвратительно. Поэтому я лучше и не буду говорить об этом. Очень хорошо, что вы едете в Берлин; в области искусства вы получите столько, сколько ни в одном университете за исключением Мюнхена; зато по части поэзии природы будет скучно: песок, песок, песок! Здесь гораздо лучше. Дороги за городом, большей частью, очень живописны, а разнообразные группы деревьев их сильно украшают; но горы, горы — вот что очаровательно. Далее, в Берлине не хватает поэзии студенческой жизни, особенно развитой в Бонне, чему много способствуют прогулки по поэтическим окрестностям. Но вы еще приедете в Бонн. Мой милый Вильгельм, я бы охотно ответил тебе на твое остроумное письмо так же остроумно, но у меня теперь совсем нет остроумия, да и охоты, которой нельзя вызвать у себя, а без нее все носит вымученный характер. Я чувствую, что со мной неладно, точно у меня выскочили из головы все мысли, точно у меня отнимают жизнь. Душа моя опустошена, ибо остроты мои точно взъерошены и ядро их подмочено. Бедные мои макамы, не сравнятся

¹ Почему ты терзаешь меня своими стихотворениями?

им с твоими стихами, затмившими Рюккерта своими красотами. Мамамы мои подагрой страдают, они хромают, гибнут, погибают, они погибли уж в пропасти забвения и не добиться им славы чтения.

Вчера вечером, когда я ложился спать, я ударился головой; раздался такой звук, как будто бы ударили по бочке с водой, а вода хлюпалась о другой бок бочки. Я не мог не рассмеяться, когда истина предстала предо мной в таком непривлекательном виде. Да, вода, вода! В моей комнате вообще что-то нечисто; вчера вечером я слышал, как в стене царапался дровоточец, на улице, рядом, шумят утки, кошки, собаки, девки, люди. Впрочем, я требую от вас столь же длинного — даже более длинного — письма *et id post notas*, чтобы было, как по нотам.

Лучшая книга церковных песнопений — это, бесспорно, здешняя. В ней все знаменитости немецкой поэзии: Гете (песня: «Ты, что с неба»), Шиллер («Три слова веры»), Коцебу и многие другие. И швейцарские пастушьи песни, и всякого рода чепуха. Это невероятное варварство: кто этого сам не видел, тот не поверит; к тому же ужасное искажение всех наших прекрасных песен — преступление, лежащее также на совести Кнаппа (в его «Сокровищнице песен»). По поводу того, что мы отправляем партию окороков в Вест-Индию, мне вспомнилась следующая, в высшей степени забавная история: однажды отправили партию окороков в Гаванну; письмо со счетом на нее прибыло позже. И вот получатель, заметивший уже, что не хватает двенадцати окороков, читает в фактуре: «съедено крысами... 12 штук». Но этими крысами были молодые служащие из конторы, воспользовавшиеся этими окороками; теперь история закончилась. Решившись заполнить оставшееся еще место рисунками (изображением доктора Ге), я должен сказать, что вряд ли я смогу вам сообщать много о своем путешествии, так как я это обещал прежде всего Штрюккеру и Вурму; я опасаясь, что и им мне придется писать дважды, а трижды повторять всю эту болтовню, с прибавлением изрядной дозы чепухи, — это было бы уже слишком. Но если Вурм согласится послать вам тетрадь, которую вряд ли он получит до конца этого года, то все устроится. В противном случае я не могу помочь вам, пока вы сами не приедете в Бонн.

Ваш преданнейший слуга

Фридрих Энгельс.

Привет П. Ионггаузу; он может присоединить к вам свое письмо. Я бы ему тоже написал, но он, наверное, уж сорвался с места. Отвечайте скорей. Ваш берлинский адрес!!!

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ.

[Бремен] 20 января 1839 г.

ФЛОРИДА.

I.

Дух земли говорит:

Уж триста лет прошло с тех пор, когда
Они пришли с прибрежий Океана,
Где бледнолицых были города.

Добычей сильных стали наши страны;
Тогда из моря поднял я кулак, —
Пусть сокрушит его нога тирана.

На нем росли леса, цветы и злак,
И бороздил глубокие долины
Моих индейцев мужественный шаг.

Предвечный бог на холмы и равнины
Благословенье лил, — но вот пришли
На корабле заблудшем властелины.

Им был по нраву вид моей земли:
Как Острова, они ее забрали, —
Народ же мой на рабство обрekli.

Былых межей они не признавали,
Квадрантом мне измерили ладонь
И чуждые в ней знаки начертали.

Во все концы проникли, как огонь, —
Один лишь палец не достался белым:
Кто жизнью дорожит, его не тронь!

На этот палец я, движеньем смелым,
Кольцо из краснокожих водрузил,
Свою защиту их доверив стрелам.

И если б враг кольцо разъединил,
А их щиты меня не защищали, —
В кипящий вал тогда бы погрузил
Я руку, где враги друг друга ждали.

II.

Семинол говорит:

Не мир я возведу своим собратьям,
 Призыв мой — битва, лозунг мой — война!
 И если взор ваш запылал проклятьем,

Как молнией зажженная страна, —
 То Солнцесловом вы меня назвали
 Заслуженно в былые времена!

Как на охоте вы подстерегали
 Зверей невинных в рощах и полях
 И стрелы в них несметные вонзали, —

Так вас подстерегает белый враг.
 Но пусть теперь покажут ваши стрелы,
 Что вы — охотники ему на страх!

К нам завистью исполнен без предела,
 Наш враг в одежды пестрые одет,
 Чтоб белое не показать нам тело.

Наш край был ими назван Пышноцвет,
 Затем, что пышно в нем произрастают
 Цветы, — каких здесь красок только нет!

Но ныне все пусть пурпур надевают,
 Что бледнолицых окропила кровь, —
 И сам фламинго ярче не пылает:

Пускай узнают нашу нелюбовь!
 Плохими были б мы для них рабами, —
 Так негры пусть им вспашут нашу новь!

Идите ж, белые, отныне сами
 Себе вы обеспечили почет:
 За каждым деревом, за тростниками,
 С своим колчаном Семинол вас ждет!

III.

Белый говорит:

Ну, что ж! лицом к лицу, в последний раз,
 Столкнувшись я хочу с Судьбой суровой
 И встретить сталь холодным блеском глаз!

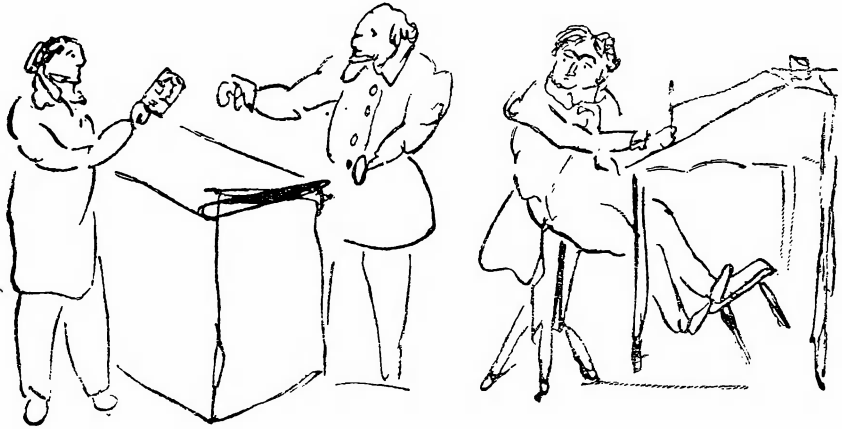
Свирепость Рока для меня не нова, —
 Ты радость отравляла мне всегда;
 Не для меня любви звучало слово!

Насмешкой сердце ранила мне та,
 Кого любил я; помню, утешенья
 В борьбе за вольность я искал тогда.

Германских юношей объединенье
 Князьям и королям внушало страх; —
 За наш Союз я отдал в искупленье
 Семь лучших лет в железных кандалах.
 На корабле меня потом услали,
 Я буду вольным — но в чужих краях!
 Уж манит брег! Но, в налетевшем шквале,
 Разбит корабль, и в бешеный поток
 Мои друзья и спутники упали.
 Я укрепился между двух досок, —
 Впервые для меня блеснуло счастье, —
 Других же всех постиг печальный Рок.
 Конец ли зол? Увы, теперь во власти
 У диких я, что, встретив на пути,
 Меня влечат на смерть, в священной страсти.
 Так думал я свободу обрести,
 Свободы ж дети мне готовят мщенье,
 И братьев грех я должен понести!
 Но что за светлое плывет виденье?
 Распятье! Как влекут меня к себе
 Черты Христа, когда благословенья
 Я жду, вверяясь гибельной судьбе!
 Ко мне Спасителя простерты руки;
 Я здесь ропщу, но, с духом тьмы в борьбе,
 Не за меня ль сам бог был предан муне?

Вот тебе моя лепта для ближайшей вечеринки; я увидел, что она опять происходила у нас, и очень жалел, что не послал для нее ничего. Теперь отвечаю на твое письмо. Ага! Почему ты не читаешь газеты? Ты бы тогда тотчас узнал, что говорилось об истории в газете, а что нет. Я не виноват, что ты срамишь себя. В газете были помещены просто отчеты сената, которые, конечно, появились позже. Комедия с Плюмахером была, вероятно, очень интересная, я дважды писал по поводу этого, но он мне ни звуком не ответил. Что касается Ионггауза и его любовной истории, то у меня с ним еще будет особая беседа на эту тему. Вы, друзья, всегда ссылаетесь на «пятое-десятое», мешающее вам писать; но скажи, разве ты не можешь, со дня получения моего письма, писать каждый день по получасу? В три дня ты бы справился с письмом. Я должен писать все эти письма, целых пять штук, пишу я гораздо убористее, чем вы, и, однако, успеваю все сделать в четыре-пять дней. Это чорт знает, что такое! Восемь дней я вам даю сроку, но на девятый день, по получении моего письма, вы должны отправить свое на почту.

Иначе нельзя; если я дал Вурму другие распоряжения, то отныне я их отменяю. Восемь дней срока я вам даю, в противном случае вступают в силу указанные Вурму наказания: стихи не посылаются и вообще столь же долгое молчание...



Почтальон: Господин консул, письмо!
Консул Лейпольд: Ага, хорошо.
Энгельс: Для меня ничего нет?
Почтальон: Нет, ничего.

Вот тебе ксилография в стиле народных книг, которая тебе ясно покажет, как я жду ваших писем. Я думал, что еще успею отослать сегодня (воскресенье, 20 января) письма. Но вот уже бьет половина пятого, а почта сегодня уходит в пять, — опять ничего не вышло. За письмо Петеру И. я до сих пор не смог приняться.

Замечательно, что, если мы сопоставим наших величайших поэтов, то окажется, что они дополняют друг друга попарно: Клопшток и Лессинг, Гете и Шиллер, Тик и Уланд. А теперь Рюккерт стоит совершенно одиноко, и вот интересно, будет ли он иметь свою пару или он так одиноким и умрет. Похоже на то. Как поэта любви, его можно было бы соединить с Гейне, но, к сожалению, они в других отношениях так разнородны, что их вовсе нельзя соединить. Клопшток и Виланд тоже—противоположности, но у Рюккерта и Гейне нет ни малейшего иного сходства, они абсолютно различны. Берлинская партия Молодой Германии представляет недурную компанию. Они хотят преобразовать нашу эпоху в эпоху «состояний и тонких взаимоотношений», что должно означать следующее: мы пишем, что в голову взбредет, и, чтобы заполнить страницы, мы изображаем несуществующие вовсе вещи, и это мы называем «состояниями»; или же

мы стяпаем да сляпаем что-нибудь, и это сходит под именем «тонких взаимоотношений». Этот Теодор Мундт марает, что ему в голову взбредет, о мадмуазель Тальони, которая «танцует Гете», заимствует всякого рода прикрасы у Гете, Гейне, Рахили и Штиглиц, пишет забавнейшую ерунду о Беттине, но все так современно, так современно, что у всякого щелкопера или у какой-нибудь молодой, тщеславной, похотливой дамы должна явиться охота прочесть это. А Кюне, агент Мундта в Лейпциге, редактирует «Газету для эlegantного мира», и она имеет теперь такой вид, точно дама, телосложение которой подходит для платья с фижмами и которая теперь должна надеть на себя современное платье, так что при каждом шаге ее виден сквозь тесно прилегающее платье очаровательный изгиб ног. Замечательно! А Генрих Лаубе! Этот молодчинище рисует характеры, которые не существуют, повести о путешествиях, которые вовсе не повести, чепуху на чепухе. Это ужасно! Я не знаю, что будет с немецкой литературой. У нас три талантливых автора: Карл Бек, Фердинанд Фрейлиграт и Юлиус Мовен; третий, правда, еврей; в его «Агасфере» Вечный жид делает повсюду вызов христианству; Гуцков, который еще наиболее разумный, порицает его за то, что Агасфер — ординарная натура, настоящий еврей-гешефтмахер; Теодор Крейценах, тоже juif, яростно нападает на Гуцкова в «Газете для эlegantного мира», но Гуцков стоит слишком высоко для него. Этот Крейценах — заурядный писака, поднимает Агасфера до неба, как раздавленного червя, и изрыгает хулу на Христа, как на самовольного гордого бога; он тоже думает, что в народной книге Агасфер — совсем ординарная фигура, но ведь и на ярмарочных представлениях Фауст является зауряднейшим колдуном, что не помешало Гете вложить в него психологию нескольких веков. Последнее, ясно, бессмыслицей является (если не ошибаюсь, это чисто латинская конструкция), но меня это задевает только из-за народных книг. Конечно, если Теодор Крейценах ругает их, то они должны быть очень, очень плохими. Однако я осмеливаюсь заметить, что в народном Агасфере больше глубины и поэзии, чем во всем Теодоре Крейценахе вместе с его милой компанией...

Я пишу теперь эпиграммы; несколько уже готовых сообщаю тебе:

1. «ТЕЛЕГРАФ».

Сам ты себя скорописцем зовешь, — а тогда мудрено ли,
Что наполняет тебя наспех написанный хлам.

2. «УТРЕННИЙ ЛИСТОК».

Утром прочтешь ты меня, а вечером вряд ли припомнишь,
Чистый ли был пред тобой иль напечатанный лист.

3. «ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА».

Если долго не спится тебе, то возьми меня в руки,
И благодетельным сном будешь ты сразу объят.

4. «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА».

В литературном лесу листок этот — самый задорный,
Но до чего же он сух! Ветер сдувает его.

Я должен торопиться, если хочу управиться с письмами; сейчас у нас будут гости, а завтра много беготни, переписки, так что не бесполезно писать очень быстро.

Я читаю теперь четырехтомный роман Дуллера: «Император и папа». У Дуллера раздутое имя, его виттельсбаховские романсы, из которых многие находятся в Гюльштедте, отвратительны; он хотел подражать народной поэзии и стал фамильярным; его «Лойола» — гадкая смесь всех хороших и дурных элементов исторического романа, приправленная скверным стилистическим соусом; его «Жизнь Граббе» — односторонняя и страшно неверна; теперешний роман уже лучше: отдельные характеристики хороши, другие, по крайней мере, недурно нарисованы, отдельные ситуации недурно задуманы, а придуманные персонажи интересны. Но судя по первому тому, ему совершенно нехватает меры в обрисовке второстепенных лиц и новых, смелых взглядов на историю. Ему ничего не стоит убить в конце первого тома наилучше обрисованный им тип; и у него страшная любовь к странным родам смерти: так, один герой умирает у него от ярости в тот самый момент, когда он собирался воткнуть кинжал в грудь своему врагу; сам этот враг стоит на кратере Этны, где он собирается отравиться, когда открывшаяся в горе трещина погребает его в потоке лавы. Затем роман, после изображения этой сцены, заканчивается следующими словами: «Волны океана сомкнулись над вершушкой солнечной главы». Очень пикантное, хотя по существу банальное и глупое заключение. Им уж я заключаю свое письмо. Addio, adieu, à dios, a deos.

Твой Фридрих Энгельс.

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ.

[19 февраля 1839 г.]

Et tu, Brute? Friderice Graeber, hoc est res, quam nunquam de te crediderim! Tu jocas ad cartas? passionalter? O tempora, o mores! Res dignissima memoria! Unde est tua gloria? Где твоя слава, где твое христианство? Est itum ad Diabolum! Quis est, qui te seduxit? Nonne verbum meum fruxit (не подействовало)? O fili mi, verte, не то буду стегать тебя хлыстом и прутом, cartas abandona, fac multa bona, et vitam agas integram, partem recuperabis optimam! Vides amorem meum, ut spiritum faulenzendeum egi ad linguam latinam et dic obstupatus: quinam fecit Angelum ita tollum, nonsensitatis vollum, plenum et plus ancoга много: hoc fecit enormis¹ карточная игра. Углубись в себя, преступник, подумай, какова цель твоего существования? Разбойник, подумай, как ты грешишь во всем, что священо и несвященно! Карты! Они сделаны из кожи дьявола. О, вы, злодеи! Я думаю о вас в слезах или скрежеща зубами! Ах, меня охватывает вдохновение! Девятнадцатого дня второго месяца 1839 г., днем в двенадцать часов полудня, меня схватил вихрь и понес вдаль, и я увидел, как они играют в карты, и было время обедать. Продолжение следует. И вот поднялась с восхода страшная гроза, так что оконные стекла дрожали и град непрерывно падал, но они играли дальше. Из-за этого поднялся спор, и царь восхода двинулся против князя заката, и ночь снова огласилась криками бойцов. И князь моря поднялся против стран восхода, и началась такая битва перед его городом, какой человечество не видело. Но они играли

¹ И ты, Брут? Фридрих Гребер, это — вещь, которой я никогда не ожидал от тебя! Ты играешь в карты? Страстно? О времена, о нравы! Вещь, заслуживающая того, чтоб ее запомнить... Пошли к чорту! Кто тебя соблазнил? Неужели мое слово не подействовало? О сын мой, образумься... оставь карты, твори добро и веди чистую жизнь, и ты обретешь благую долю. Ты видишь любовь мою, заставившую мой ленивый дух обратиться к латыни, и скажи: кто довел ангела до такого безумия, кто преисполнил его нелепостями и вещами почище того: это сделала страшная...

дальше. И с неба сошли семь духов. Первый носил длинный сюртук и его борода простиралась до груди. Его они называли Фаустом. У второго духа были седые волосы вокруг лысой головы, и он восклицал: «Горе, горе, горе!» Его они называли Лиром. И третий дух был высок и могуч, по имени Валленштейн. И четвертый дух был, как дети Энака, и носил дубину, подобную кедром ливанским. Его они называли Гераклом. И пятый дух был весь из железа, и его имя было написано у него на лбу: «Зигфрид». И рядом с ним шел мощный боец, чей меч сверкал, как молния, — это был шестой, и он назывался Роланд. И седьмой дух носил тюрбан на конце своего меча и размахивал вокруг головы знаменем, на котором было написано: «Я — Сид». И семь духов постучали в дверь игроков, но они на это не обратили внимания. И вот пришел с полуночи великий свет, который промчался вдаль через всю землю, как орел, и когда он исчез, я уже больше не видел игроков. Но на двери было начертано черными знаками: Берлин! И я умолк.

Если мое письмо к Вильгельму не достаточное доказательство моего безумия, то теперь, надо думать, никому из вас не придет в голову сомневаться в этом [*здесь следует карикатура с подписью: «Будущее пяти картежников»*].

Только-что я прочел в «Телеграфе» рецензию на стихотворения миссионера Винклера в Бармене. Их страшно разделяют в ней; в рецензии приводится масса отрывков, действительно свидетельствующих о миссионерском вкусе. Если газета попадет в Бармен, то репутации Гуцкова, которая и так очень мала, придет там совсем конец. Эти отрывки ужасны, отвратительнейшие образы — Поль по сравнению с этим ангел. Господи Иисусе, исцели кровотечение моих греков (намек на известную историю в Евангелии) и т. п. вещи. Я все более и более отчуждаюсь в Бармене: в литературном отношении, это — конченный город. То, что там печатается, за исключением проповедей, — по меньшей мере, чепуха; религиозные же вещи обыкновенно бессмысленны. Недаром называют Бармен и Эльберфельд — обскурантными и мистическими городами; у Бремена та же репутация, и он имеет большое сходство с ними; филистерство, соединенное с религиозным зелотством, — к чему в Бремене присоединяется еще гнусная конституция, — препятствуют всякому подъему духа, и одно из крупнейших препятствий, это — Ф. Круммахер. Бланк страшно жалуется на эльберфельдских пасторов, особенно на Коля и Германа; я хотел бы знать — прав ли он; особенно упрекает он их в сухости; только Круммахер представляет исключение. Необычайно комично то, что миссионер говорит о любви.

Постой, я сейчас сочиню нечто подобное.

Пиятист признается в любви.

Честная дева, к тебе, после борьбы упорной
Против соблазнов мира, пришел я с просьбой покорной.
Не согласишься ли ты стать мне законной женой,
Тем перед господом богом долг исполняя свой!
Правда, тебя не люблю я, — об этом не может быть речи, —
Бога в тебе я люблю...

Нет, не идет; нельзя пародировать такие вещи, не затрагивая вместе с тем самое святое, за которое эти господа укрываются. Я хотел бы увидеть такой брак, где муж любит не свою жену, но Христа в своей жене; тут сейчас же возникает вопрос: спит ли он с Христом в своей жене? Где в Библии говорится подобная бессмыслица? В «Песне Песней» написано: «как сладка ты, любовь, в наслаждениях» но теперь, конечно, порицают всякую защиту чувственности, вопреки Давиду, Соломону и бог знает кому. Это меня страшно раздражает. Эти молодцы еще сверх того хвалятся тем, будто они обладают истинным учением, и осуждают всякого, который не то, что сомневается в Библии, но излагает ее иначе, чем они. Словом, они поступают ловко. Приди-ка к кому-нибудь из них и скажи, что такой-то и такой-то стих неправильно изложен. Они тебе уж зададут. Густав Шваб — чудеснейший человек, даже ортодоксален, но мистики не высоко ценят его, потому что он не всегда преподносит им духовные песни на мотив: «Ты говоришь, я христианин», и потому, что в одном стихотворении он намекает на возможность соглашения между рационалистами и мистиками. Религиозной поэзии приходит конец, пока не придет некто, кто даст ей новый подъем. У католиков и протестантов продолжается старая рутина: католики сочиняют гимны Марии, протестанты распевают старые песни, полные самых прозаических выражений. Что за гнусные абстракции: освящение, обращение, оправдание и бог его знает что еще за *loci communes* и тривиальные риторические украшения! С досады на теперешнюю поэзию, т. е. из чувства благочестия, берет чортовская злость. Неужели наше время так погано, что не найдется человека, который бы проложил новые пути для религиозной поэзии? Впрочем, я думаю, что самый подходящий способ, это — тот, который я применил в «Буре» и «Флориде», о коих я прошу подробнейших рецензий под страхом неполучения больше стихотворений. Непростительно, что Вурм задержал письма.

Твой Фридрих Энгельс.

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ.

8 (nisi erro) апреля 1839 г.

Дражайший Фриц!

Это письмо — ты, вероятно, думаешь, что будешь очень наслаждаться им — нет, дудки! Ты, — ты, который меня огорчил, разозлил, взбесил не только своим долгим молчанием, но и осквернением самых священных таинств, когда-либо скрытых от человеческого гения, осквернением видений, ты должен понести особенное наказание: ты должен погибнуть от скуки при чтении — чего? Статьи. О чем? О много раз затрагивавшейся теме: Современная литература.

Что было у нас до 1830 года? Теодор Гелль и компания, Виллибальд Алексис, старый Гете и старый Тик, *c'est — tout*. И вдруг — раскаты грома июльской революции, самого прекрасного со времени освободительной войны проявления народной воли. Умирает Гете, Тик все более дряхлеет, Гелль засыпает, Вольфганг Менцель продолжает кропать свои сапожничьи критики, но в литературе веет новый дух. Среди поэтов на первом плане — Грюн и Ленау, у Рюккерта обнаруживается новый подъем творчества, приобретает значение Иммерман, точно так же Платен, но это еще не все. Гейне и Берне были уже законченными фигурами до июльской революции, но теперь только они приобретают значение, и на них опирается новое поколение, умеющее утилизировать в своих целях литературу и жизнь всех народов; впереди всех Гуцков. Гуцков в 1830 г. был еще студентом. Он работал сперва для Менцеля в «Литературной газете», но недолго; они расходились во взглядах, Менцель стал нахалом: Гуцков написал пресловутую Валли («Та, кто сомневается»), а Менцель поднял шум и разругал безобразнейшим образом книгу, приписав Гуцкову, в качестве его собственного мнения, высказанные Валли взгляды, и действительно добился запрещения невинной книги. К Гуцкову примкнул малоинтересный Мундт, который, ради заработка, затеял всякого рода литературные предприятия, где он помещал *cum suis* еще статьи других авторов. Вскоре к этому

присоединился Бойрман, остроумный малый и тонкий наблюдатель, затем Людольф Винбарг, Ф. Густав Кюне, и Винбарг придумал для этой литературной пятерки (*nisi ergo*, апр. 1835) название: Молодая Германия. Ей противостояли Менцель, который лучше бы оставался дома, с тех пор как Гуцков, с этой именно целью, исколотил его до смерти, затем «Евангелическая церковная газета», которая в каждой аллегории видит суеверие и в каждом проявлении чувственности—первородный грех (не называется ли, может быть, Генгстенберг так по правилу *lucus a non lucendo*, т. е., он в самом деле мерин, кастрат, евнух?).¹ Эта благородная братия стала доносить на Молодую Германию, что представители ее хотят эмансипации женщин и реставрации плоти, что, кроме того, они хотят ниспровергнуть несколько тронов и стать папой и императором в одном лице. Из всех этих обвинений обоснованным было только то, которое касалось эмансипации женщин (в гетевском смысле), да и его можно было применить только к Гуцкову, который впоследствии дезавуировал его (как опрометчивость заносчивой молодости). Благодаря этому содружеству цели Молодой Германии вырисовались отчетливее; в ней «идеи времени» осознали себя. Эти идеи века (как выразились Кюне и Мундт) не представляют чего-то демагогического или антихристианского, как их охаивали; они основываются на естественном праве каждого человека и касаются всего, что ему противоречит в современном обществе. Так, к этим идеям относится, прежде всего, участие народа в государственном управлении, т. е. конституция; далее, освобождение евреев, уничтожение всякого религиозного принуждения, всякой аристократии, дворянства и т. д. Кто может иметь что-нибудь против этого? На совести «Евангелической церковной газеты» и Менцеля лежит то, что они так опорочили честь Молодой Германии. Уже в 1836—1837 гг. у этих писателей, связанных единством воззрений, а не какой-нибудь особенной ассоциацией, ясно определились их идеи; благодаря своим ценным произведениям они добились признания у других, по большей части бездарных литераторов и привлекли к себе все молодые таланты. Их поэты — Анастасий Грюн и Карл Бек; их критики — прежде всего, Гуцков, Кюне, Лаубе, а среди более молодых — Людвиг Виль, Левин Шюккинг и т. д.; кроме того, они делают попытки в области романа, драмы и т. д. В новейшее время, правда, возник спор между Гуцковым и Мундтом, а также Кюне и Лаубе; у обоих имеются сторонники: за Гуцковым идут более молодые: Виль, Шюккинг и

¹ Генгст — Hengst — по-немецки жеребец.

другие, за Мундтом — из молодежи лишь немногие; Бойрман, а также молодой, очень талантливый Дингельштедт держатся довольно нейтрально, но больше склоняются к Гуцкову. Мундт, благодаря этому спору, потерял весь свой кредит; кредит Кюне сильно пал, потому что он имеет глупость ругать все, что ни пишет Гуцков; Гуцков же держится очень благородно и большей частью насмехается только над великой любовью между Мундтом и Кюне, которые хвалят друг друга. Что Гуцков чудеснейший, честнейший парень — это показывает его последняя статья в «Ежегоднике литературы».

Кроме Молодой Германии, у нас мало что есть активного. Швабская школа уже с 1820 года оставалась пассивной; австрийцы — Цедлиц и Гриллпарцер — мало интересны, ибо темы их писаний так чужды нам (Цейдлиц вращается в мире Испании, Гриллпарцер в древнем мире); среди лириков Ленау, несмотря на свои церковные сюжеты, уже склоняется к Молодой Германии, Франкль, это — приятный Уланд en miniature, К. Эберт совершенно обогемился; саксонцы — Гелль, Геллер, Герлосвон, Морфелль, Ваксман, Тромлитц — ах, боже мой, тут нехватает Witz'a¹; маннгеймцы и берлинцы (куда ты не относишься) мерзки, рейнландцы — Левальд, безусловно наилучший из авторов, пишущих для легкого чтения; его «Европу» можно читать, но рецензии в ней отвратительны. Губ, Шнецлер и компания стоят немногого; Фрейлиграт, вот ты увидишь, еще раз обратится к Молодой Германии, Дуллер — тоже, если только он не сгинет заранее, а Рюккерт — он стоит, как старый папаша, и распростирает свои руки, благословляя всех.

9 апреля.

Так вот тебе эта трогательная статья. Что мне, бедняге, делать теперь? Продолжать зубрить? Никакой охоты. Стать лойяльным? Тыфу, чорт! Придерживаться саксонской посредственности — *uggittugitt!* (о боже, о боже! вездешнее выражение отвращения). Следовательно, я должен стать младогерманцем, или, скорее, я уж таков душой и телом. По ночам я не могу спать от всех этих идей века; когда я нахожусь на почте и смотрю на прусский государственный герб, меня охватывает дух свободы; каждый раз, когда я заглядываю в какой-нибудь журнал, я слежу за успехами свободы; они прокрадываются в мои поэмы и издеваются над обскурантами в клубках и горностае. Но от их риторики, от мировой скорби, от всемирно-исторического, от скорби иудейства и т. д. я держусь в стороне, ибо теперь она уже устарела. Но слушай, Фриц, если ты когда-

¹ Ума, остроумия.

нибудь станешь пастором, то можешь оставаться ортодоксом, сколько душе угодно, но если ты станешь пиетистом и начнешь бранить Молодую Германию и будешь прислушиваться к «Евангелической церковной газете», как к оракулу, то берегись, тебе придется иметь дело со мной. Ты должен стать окружным пастором и прогнать проклятый, чахоточный, неподвижный пиетизм, которому придал такой расцвет Круммахер. Они, конечно, ославят тебя еретиком, но пусть кто-нибудь придет и докажет тебе, на основании Библии и разума, что ты неправ. Между прочим, Бланк, нечестивый рационалист, шлет к чорту все христианство, но что из этого? Нет, пиетистом я никогда не был, был одно время мистиком, но это *tempri rassati*; теперь я честный, очень терпимый по отношению к другим, супранатуралист. Сколько времени я останусь им, я не знаю, но я надеюсь остаться таковым, хотя и склоняюсь иногда, то больше то меньше, к рационализму. Все это должно в свое время решиться. Adios, Friderice, пиши мне скорее и много.

Do hêst de mi dubbelt.

Фридрих Энгельс.

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ.

27 апреля — 1 мая [1839 г.]

Фриц Гребер!

Я теперь много занимаюсь философией и критической теологией. Когда тебе — 18 лет, и ты знакомишься со Штраусом, рационалистами и «Церковной газетой», то следует или читать все, не задумываясь ни над чем, или же начать сомневаться в своей вуппертальской вере. Я не понимаю, как ортодоксальные священники могут быть столь ортодоксальными, когда в Библии встречаются столь явные противоречия. Как можно примирить обе генеалогии Иосифа, мужа Марии, различные указания при наступлении тайной вечери (это кровь моя, это новый завет в моей крови), в рассказе об одержимых бесами (первый рассказывает, что бес просто вышел, второй, что бес вошел в свиней), указания, что мать Иисуса вышла искать своего сына, которого она считала помешанным, хотя она его чудесно зачала и т. д., как согласовать это с правдивостью, с безусловной правдивостью евангелистов? А далее разногласие в «Отче наш», в последовательности чудес, своеобразно глубокая точка зрения Иоанна, нарушающая явным образом форму повествования, — как понять все это? *Christi ipsissima verba*, с которыми так носят ортодоксы, гласят в каждом евангелии по-иному. Я уж не говорю вовсе о Ветхом Завете. Но в милом Бармене об этом не говорят ни звука, там обучают по совершенно другим принципам. И на чем основывается старая ортодоксия? Только на рутине. Где требует Библия сильной веры в букву ее учения, в рассказы ее? Где говорит хоть один апостол, что все, рассказываемое им, боговдохновенно? Ортодоксы требуют не послушания разуму Христу, нет, они убивают божественное в человеке и заменяют его мертвой буквой. Поэтому я и теперь такой же хороший супранатуралист, как и прежде, но от ортодоксии я отказался. Я ни за что не могу поэтому поверить, что рационалист, творящий от всего сердца и сколько в его силах добро, должен быть осужден на вечные муки. Ведь это противоречит самой Библии. Ведь написано, что никто не бывает осужден-

из-за первородного греха, а только из-за своих собственных грехов; если же кто-либо противится из всех сил первородному греху и делает то, что он может, то его действительные грехи являются лишь необходимым следствием первородного греха и, следовательно, не могут повлечь за собой его осуждения.

24 апреля.

Ха, ха, ха! Знаешь ли ты, кто сочинил статью в «Телеграфе»? Автор ее, это — пишущий нижеследующее, но советую тебе не говорить никому об этом ни слова, иначе я попаду в адскую передрагу. Коля, Балла и Германа я знаю только по рецензиям В. Бланка и Штрюккера, которые я списал почти дословно; но что Коль колет... порет дичь, а Герман — чахлеющий пиятист, — это я знаю сам. Д., это — конторщик Дюргольт от Виттенштейнов в Нижнем Бармене. Впрочем, я горжусь тем, что не сказал ничего такого, чего не мог бы доказать. Мне жалко лишь одного, — что я не представил в надлежащем виде значение Штира. Как теолог, он кое-чего стоит. Как тебе нравится мое знание характеров, особенно Круммахера, Деринга (то, что сказано о его проповеди, рассказал мне П. Ионггауз), и литературы? Замечания о Фрейлиграте должны быть удачными, иначе бы Гуцков их вычеркнул. Но стиль омерзительный. — Статья, кажется, вызвала сенсацию, — заклиная вас пятерых честным словом никому не говорить, что я — автор. Уразумел? Что касается ругани, то я обрушился этим большей частью на тебя и Вильгельма, ибо передо мной лежали как раз письма к вам, когда меня взяла охота ругаться. Особенно не должен знать, что я написал статью, Ф. Плюмахер. Но что за человечина этот Балл! Он должен был говорить проповедь в Страстную пятницу, но ему лень было поработать, и вот он выучивает наизусть одну проповедь, которую нашел в «Друге людей», и произносит ее. Но в церкви находится как раз Круммахер, которому проповедь кажется знакомой; под конец он вспоминает, что он сам произнес эту проповедь в Страстную пятницу 1832 г. Другие лица, читавшие эту проповедь, тоже узнают ее, Балла берет на цугундер, и он должен во всем сознаться. *Signum est, Ballum non tantum abhorrere a Krummacho, ut Tu quidem dixisti.* За подробную рецензию Фауста я тебе очень обязан. Переработка вещи — паршивая, раушаховская, — этот каналья вмешивается во все и не только портит Шиллера, образы и идеи которого он низводит до тривиальностей в своих трагедиях, но и Гете, с которым он чорт знает как обращается. Сомнительно, чтобы мои поэмы раскупались нарасхват... Я не мог прочесть то, что у тебя написано красными чернилами, и поэтому не пошлю ни 5 збрг., ни сигар.

Ты получишь на этот раз или канцону, или часть начатой, но незавершенной комедии. Теперь же я должен отправляться на урок пения, adieu.

ФРАГМЕНТЫ ТРАГИКОМЕДИИ «НЕУЯЗВИМЫЙ ЗИГФРИД».

I.

Дворец короля Зигхарда.

Заседание Совета.

З и г х а р д.

Итак, вы снова собрались вместе,
 Опора королевской чести,
 Спасая наш высокий трон.
 Наш сын — увы, не явился лишь он!
 В лесу он рыщет, как всегда,
 Не поумнеет, в его года.
 Забывши о делах Совета,
 Где мы потеем все до рассвета,
 Презрев сужденья старших лиц,
 Он изучает говор птиц.
 Не стоит мудрости учиться, —
 С медведем хочет он сразиться;
 И, если с нами он говорит,
 Так вечно о войне твердит.
 Ему давно б мы уступили,
 Когда б, в своей премудрой силе,
 Нам бог не обещал как раз,
 Что разум не обманет нас.
 Как пострадал бы весь наш край,
 Приди он к власти невзначай!

С о в е т н и к.

Ваше Величество мудры, как всегда,
 Вы прямо схватили быка за рога.
 Однако, с королевского позволенья,
 Я выскажу свое простое мнение.
 В людских привычках сходства нет.
 Ему лишь восемнадцать лет.
 Шальные мысли в принце бродят,
 Но мудрость с возрастом приходит.
 Он резвым нравом вдаль влеком,
 Но мудрость любит тихий дом;
 Младой задор послушным станет,
 И сила гордая устанет,
 Тогда он к мудрости придет
 И счастье в ней свое найдет.
 Так пусть порыщет по разным странам,

Пускай сразится с великаном,
 Пускай с драконом вступит в бой, —
 А там и старость не за горой.
 Жизнь мудрости его научит,
 И ваша речь ему не наскучит.

Э и г ф р и д (*входит*):

О, лес, ужели вскоре
 Покину я тебя?
 Милей в твоём просторе,
 Чем в замке короля;
 Где звонче птиц рулады,
 Как не в ветвях деревьев?
 Завидуют палаты
 Спокойствию лесов.
 Отец, вы станете ругаться,
 Что долго я бродил в лесу
 Но разве мог я удержаться.
 Когда кабан был на носу?
 Забавы вам претят лесные
 Так дайте мне коня и меч
 Поеду я в края чужие, —
 Давно я вел об этом речь.

Э и г х а р д:

Ужель, скажи мне, до сих пор
 Ты глупым быть не перестанешь?
 Пока в тебе молодой задор,
 Ты умным никогда не станешь.
 И лучший путь к тому — один:
 Тебе свободу дать скорее;
 Ступай, быть может, исполни
 Дубинкой блажь твою рассеет.
 Бери же меч, коня седлай
 И поумневшим приезжай!

Э и г ф р и д:

Вы слышали? Коня и меч!
 Так нужны ль мне шипак и латы,
 Иль слуги для горячих сеч?
 Мой спутник — храбрости палата!
 Когда поток стремится с гор,
 Один, шумя, победоносный,
 Пред ним со стоном гнутся сосны,
 Он сам выходит на простор:
 Так, уподобившись потоку,
 Я сам пробью себе дорогу!

Советник:

Король, вам горевать не след,
 Что наш герой выезжает в свет;
 Поток стремится с гор в долины,
 Спокойны вновь дерев вершины,
 Спокойно за волной волна
 Плодотворит вокруг селенья,
 Былая ярость не страшна,
 В песке обретши утоленья.

Зигфрид:

Зачем терять мне время?
 Мне душен замка свод!
 Скорее ногу в стремя, —
 На воле конь мой ржет!
 Сойди ко мне с колонны,
 Ты старый, ржавый меч!
 Спешу, в борьбу влюбленный, —
 Отец, до новых встреч!

(Уходит.)

II.

Кузница в лесу.

Зигфрид входит. Мастер входит.

Мастер:

Здесь, в кузнице, для вашей чести,
 Новеллы дивные мастерят,
 Что в альманахах, с песнями вместе,
 Великолепием блещут.
 Журналы здесь куют проворно,
 Стихи и критику вмещаю,
 С утра до ночи пылают горны,
 Работать не переставая.
 Но подкрепитесь-на вином,
 Пусть мальчишка вас проводит в дом.

(Зигфрид с учеником уходят.)

Мастер:

Ну, подмастерья, за работу!
 Вам в помощь я приду с охотой;
 На наковальне куйте новеллы, —
 Чтоб в свет они вступили смело!
 Прожгите жарче песни в горне,
 Чтоб стали те огнеупорней;
 Для публики же всё потом
 Перемешайте в общий ком.
 А коль железа больше нет,

Хозяин умный даст совет:
 Возьмите трех героев у Скотта,
 Рыцаря у Фукé, трех женщин у Гете,
 И больше нечего стараться, —
 Их хватит авторов на двадцать!
 Для песен — Уланда стихи
 Совсем, как будто, не плохи.
 Так бейте ж молотом до боли, —
 Тот лучший, кто создаст всех боле!

З и г ф р и д (*выходит опять*):

Вино, как будто, ничего!
 Я выпил дюжину его.

М а с т е р:

(Проклятый парень!) Мне приятно,
 Что мой рейнвейн по вкусу вам.
 Я думаю, для вас занятно
 Узнать работников по именам!
 Вот — наиболее умелый,
 Он благонравные новеллы
 Или фривольные слагает,
 Его сам Менцель восхваляет,
 Вольфганг, что в Штуттгарте живет:
 Его зовут фон-Тромлиц. Вот
 Другой, не менее пригодный,
 И тоже — крови благородной:
 Приветствую в его лице
 Фон-Ваксмана большое С;
 Не существует альманах,
 Который им бы не пропах.
 Десятками печет новеллы
 Он для толпы остолбенелой.
 Работает в поту лица,
 Сказать же правду до конца, —
 Так нуль он сделал для искусства,
 Но все — для притупленья чувства;
 А вкус — пред ним дрожу я сам —
 Лишь он приносит гибель нам.
 Вот — Геллер, плавает не мелко,
 Стилль — оловянная тарелка,
 Зато блестит, как серебро.
 Для публики ведь всё — добро.
 Хоть пишет он меньше, чем те оба,
 И гонится за характеристикой,
 Но, видите ль, его особа
 Совсем не выносит мистики.
 Вы знаете, евангелисты,

Все четверо, — лишь пиетисты;
 За них он вялся понемножку, —
 Снял благочестия одежду
 И положил на чайный стол
 (Всяк «Сестры Лазаря» прочел).
 Он также — автор легкой прозы
 (Прочтите лишь его «Klatschgozen».)
 А вот еще один талант,
 Ученый малый, хоть педагог,
 Фридрих Норк, величайший поэт
 С тех пор, как существует свет.
 Он вам наврет... нет, скажет точно,
 Открыв из языков восточных,
 Что вы — осел, Илья ж пророк —
 Ничем, как Солнцем, быть не мог.
 Ума иль подлинного знания
 Искать в нем — тщетное старанье.
 Вот — наш достойный Герлосзон, —
 Его б нам возвести на трон, —
 Он новеллист, он — лирик,
 Безумству панегирик
 И всякой прочей ерунде
 Найдете вы в его «Звезде».
 Вот идут, Винклером пригреты,
 Господа из «Вечерней газеты»:
 Турингус, Фабер, фон-Гросскрейц,
 Одно их имя — что за прелесть!
 Нужна ль моя им похвала?
 Ведь публика (другого хлеба
 Ей не давай!) давно на небо,
 До самых звезд их вознесла.
 За топливом ушли другие,
 В лесу собирают ветки сухие:
 О младших — нечего сказать,
 Еще им рано хорошо ковать.
 Но станут все специалисты,
 Коль в них хоть капля крови новеллиста.

З и г ф р и д:

Когда ж я ваше имя узнаю?

М а с т е р:

Саксонский дух я воплощаю
 В своей внушительной особе;
 Вас убедит сейчас же в том,
 Что я на многое способен,
 Моих ударов могучий гром.
 Вы тоже маху бы не дали,
 Когда б моим подручным стали.

З и г ф р и д:

Ну что ж, хозяин, я готов
Быть среди ваших учеников.

М а с т е р:

Я отдам вас в ученье Тебдору Геллю,
Испробуйте силы свои в новелле.

З и г ф р и д:

Ах, если под напором
Вот этих рукавиц
Дубы склонялись хором,
Медведь валился ниц;
И, если мог на землю
Я повалить быка,
Ужели не подьему
Я тяжесть молотка?
Ни одного мгновенья
Учить себя не дам;
Довольно мне ученья,
Я здесь хозяин — сам!
Подайте мне железо —
Я на-двое его!
Лишь гул пойдет по лесу,
Вот это — мастерство!

Т е о д о р Г е л л ь:

Эй, вы, потише, там, невежа!
Иль я побью вас, как вы — железо!

З и г ф р и д:

Ты — что еще болтаешь,
Чего взбесился так?
Меня ты вмиг узнаешь,
Попробуй мой кулак!

Т е о д о р Г е л л ь:

На помощь! Ой!

М а с т е р:

Любезный друг,
Что ж бьете вы своих собратьев?
Марш, вон отсюда во весь дух
Иль дам вам пару оплеух!

З и г ф р и д:

Сам получай, коль хочешь драться!

(Опрокидывает его.)

М а с т е р:

Ой, больно, больно! и т. д.

(Зигфрид отправляется в лес, убивает дракона и, возвратившись назад, — мастера, разгоняет подмастерьев и удаляется.)

III.

В лесу.

З и г ф р и д:

Я слышу снова, за кустами,
Борьбу между двумя врагами.
Вот они и — ну, прямо глупо,
Один другому ни в чем не уступит!
Я думал, встречу гигантов двух,
Сжимающих сосны клещами рук,
А это — два тощие схоласта
Швыряются книгами, словно гимнасты.

(Лео и Михелет входят.)

Л е о:

Эй, подойди, ты, Гегеленок!

М и х е л е т:

Пиэтист, ты сам еще совенек!

Л е о:

Получишь Библию в башку!

М и х е л е т:

А ты — том Гегеля в щеку!

Л е о:

Я Гегеля в рожу тебе отшвырну!

М и х е л е т:

А я тебе Библией в нос загну!

Л е о:

Чего еще хочешь? Давно ты уж мертв!

М и х е л е т :

Нет, это ты, драчливый зелот!

З и г ф ф р и д :

О чем ваш спор, друзья, идет?

Л е о :

Безбожный гегеленок вот
Взял Библию под подозренье;
Ему не вредно б наставленья!

М и х е л е т :

Болван бесстыдно привирает,
Он Гегеля не почитает!

З и г ф ф р и д :

Но вы швыряете без разбора
Друг в друга предметами вашего спора?

Л е о :

Не важно, он — не христианин!

М и х е л е т :

Я стбю двух таких один.
Он вздор бессмысленный болтает.

З и г ф ф р и д :

Пусть каждый путь свой продолжает!
Но кто, однако, начал спор?

Л е о :

Признаться — я! Какой же в том повор?
Ведь я сражался за бога и с богом.

З и г ф ф р и д :

Но ты сидел на коне хромоногом.
И, как не спас он гегельянства,
Так не спасешь ты христианство.
И без тебя проживет оно смело,
Ты же отыщешь другое дело!
Но ты не испытывай господа бога
Своим безумством! Разной дорогой
Отсюда уходите вы
И выбросьте дурь из головы!

(Лео и Михелет расходятся в разные стороны.)

З и г ф ф р и д:

Такую ярость не встречал
Я у ревнителей науки:
То Гегель в воздухе летал,
То Библия чертила круги!
Однако ж, голодом влеком,
В долину путь я направляю,
Быть может, там найду я дом,
Где я засну спокойным сном,
Иль просто дичи настреляю.

Вот тебе и все. Существенные части действия я выпустил, дал лишь вступление и сатирические моменты. Это — то, что я написал в самое последнее время, теперь надо перейти к «Королю Баварскому», но тут дело плохо. Вещь лишена законченности. Попросим Вурма пристроить стихи в «Альманах муз». Кончаю, потому что почта уходит.

Твой Ф. Энгельс.

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕВЕРУ.

[27 — 30 апреля 1839 г.]

Guglielmo carissimo! Τῆν σοῦ ἐπιστολήν εὗρηχα ἐν τοῖς τῶν ἐτέρων, καὶ ἡδὺ μὲν ἦν ἐμοὶ τὸ αὐτοῦ ῥῆμα. Τὸ δὲ δικαστήριον τῶν πέντε στουδιώσων καὶ τὴν αὐτῶν κρίσιν οὐ δύναμαι γινώσκειν ἢ ἀδεντικῆν ἢ κομπετέντην. — Ἐστὶν γὰρ χάρις ὑπ' ἐμοῦ, εἰ δίδωμι ποιήματα ἐν ταῖς εἰς ὑμᾶς ἐπιστολαῖς¹.

Что ты не хочешь критиковать «Ганора», «Флориду» и «Бюрю», не заслуживает ни одного стиха. Уверение в *debilitas ingenii abhorret ab usata tua veriloquentia*. *Meam quidem mentem ad juvenilem Germaniam se inclinare, haud nocebit libertati; haec enim classis scriptorum non est, ut schola romantica, demagogia etc., societas clausa, sed ideas saeculi nostri, emancipationem judaeorum servorumque, constitutionalismum generalem aliasque bonas ideas in succum et sanguinem populi Teutonici intrare volunt tentantque*. Quae quum *ideae haud procul sint a directione animi mei, cur me separare? Non enim est, quod tu dicis: отдаться какому-нибудь направлению, sed: примкнуть; sequitur a continuation in my room, and in writing a polyglottic letter, I will take now the English language, ma no, il mio bello Italiano, dolce e soave, come il zefiro, con parole, somiglianti alle fiori del più bel giardino, y el Español, lingua como el viento en los árboles, e o Portuguez, como as olas da mar em riba de flores e prados, et le Français, comme le murmure vite d'un font, très amusant, en de hollandsche taal, gelijk den damp uijteener pijp Tobak, zeer gemoedlijk:² но наш дорогой немецкий язык, это — все вместе взятое.*

¹ Дражайший Вильгельм! Твое письмо я нашел среди писем от других, и сладка была мне речь его. Но я не могу признать аутентичным или компетентным суда и приговора пяти студентов. Ибо это любезность с моей стороны, когда я шлю вам в своих письмах стихи.

² ...в слабости духа не вяжется с твоей обычной правдивостью. То, что мой дух склоняется в сторону Молодой Германии, не повредит моей свободе,

Волнам морским подобен язык полнозвучный Гомера,
 Мечет скалу за скалой Эсхил с вершины в долину,
 Рима язык, это — речь императора перед войсками;
 Смело хватает он камни-слова, из которых возводит,
 Плает над пластом громоздя, ряды циклопических зданий.
 Младший язык италийцев, отмеченный прелестью нежной,
 В самый роскошный из южных садов переносит поэта,
 Где Петрарка цветы собирал, где блуждал Ариосто.
 А испанский язык! Ты слышишь, как ветер могучий
 Гордо царит в густолиственной дуба вершине, откуда
 Чудные старые песни шумят нам навстречу, а грозди
 Лоз, обвивающих ствол, качаются в сени зеленой.
 Тихий прибой к берегам цветущим — язык португальский:
 Слышны в нем стоны наяд, уносимые легким зефиром.
 Франков язык, словно звонкий ручей, бежит торопливо,
 Неугомонной волной камень шлифуя упрямый.
 Англии старый язык, это — памятник витязей мощный,
 Ветрами всеми обвеянный, дикой травой обросший;
 Буря, вопя и свистя, повалить его тщетно стремится.
 Но немецкий язык звучит, как прибой громогласный
 На коралловый брег острова с климатом чудным.
 Там раздается кипение волн неумных Гомера,
 Там пробуждают эхо гигантские скалы Эсхила,
 Там ты громады найдешь циклопических зданий и там же
 Среди благовоных садов цветы благороднейших видов.
 Там гармонично шумят вершины тенистых деревьев,
 Тихо стонут наяды, потоком шлифуются камни,
 И поднимаются к небу постройки витязей древних.
 Это — немецкий язык, вечный и славою повитый.

Эти гексаметры я написал экспромтом; пусть они сделают для
 тебя более сносной ерунду на предыдущей странице. Только суди
 их как экспромт.

ибо эта группа писателей, в отличие от романтической, демагогической школы и
 т. д., — не замкнутое общество; они стремятся к тому, чтобы идеи нашего века —
 освобождение евреев и крепостных, всеобщий конституционализм и другие
 хорошие идеи — вошли в плоть и кровь немецкого народа. Так как эти идеи не
 расходятся с направлением моего духа, то почему я должен отделиться от них?
 Ведь дело идет не о том, чтобы, — как ты говоришь, — предаться какому-ни-
 будь направлению, а примкнуть. Продолжение следует в моей комнате, и так
 как я пишу многоязычное письмо, то теперь я примусь за английский язык, —
 нет, нет, за мой прекрасный итальянский, чистый и приятный, как зефир, со
 словами, подобными цветам прекраснейшего сада, и испанский язык, точно
 ветер в деревьях, и португальский, точно шум моря у берега, украшенного
 цветами и лужайками, и французский, точно быстрое журчание милого
 ручейка, и голландский язык, точно дым табачной трубки, такой приятный
 и уютный.

29 апреля.

Продолжаю письмо к тебе. Сегодня чудесная погода, так что, вероятно, вы — *posito caso aequalitatis temporalis* сегодня плюнули на лекции. Я хотел бы быть с вами. Я уже писал вам, что я, под именем Теодора Гильдебрандта, пописывал в «Бременском городском курьере», теперь я с «Курьером» распрощался следующим посланием:

«Курьер», послушай, не сердясь, о том,
 Как над тобой я долго издевался;
 Тебе моя насмешка поделом,
 Ведь в дурнях ты, дружище, оказался.
 Сгустились тучи над тобой кругом
 С тех пор, как ты служить курьером взялся;
 Тебя я то и дело принуждал
 То пережевывать, что сам же ты сказал.

Всегда, когда нужны мне были темы,
 Я брал их у тебя, мой дорогой,
 И делал из твоих речей поэмы,
 В которых издевался над тобой;
 Лиши их рифм, откинь размеров схемы, —
 И сразу в них узнаешь облик свой.
 Теперь кляни, коль гневом обуян ты,
 Готового к услугам

Гильдебрандта.

Ты бы тоже начал пописывать в стихах или в прозе, а потом послал бы в «Берлинский листок собеседования», если он еще существует, или в «Общественный листок». Впоследствии ты пойдешь дальше, станешь писать повести, которые будешь помещать сперва в журнале, а затем будешь выпускать отдельным изданием, приобретешь имя, прослынешь умным, остроумным рассказчиком. Я вижу всех вас: Гойзера — великим композитором, Вурма — пишущим глубокомысленные исследования о Гете и духовном развитии нашего времени, Фриц становится знаменитым проповедником, Ионггауз сочиняет религиозные поэмы, ты пишешь остроумные повести и критические статьи, а я — становлюсь городским поэтом Бармена, заместителем — обиженной (в Клеве) памяти — лейтенанта Симона. В качестве стихов тебе от меня есть еще песня, предназначенная для «Альманаха муз», но у меня нет охоты переписать ее. Может быть, я припишу еще одну. Сегодня (30 апреля) я сидел, при чудесной погоде, от 7 до 8¹/₂ в саду, курил и читал Лузиады, пока я не должен был уйти в контору. Нигде не читается так хорошо, как в саду в ясное весеннее утро, с трубкой во рту, под солнцем, согревающим тебе спину. Сегодня я буду продолжать это занятие со старо-немецким

Тристаном и его милыми рассуждениями о любви, вечером пойду в магистратский погреб, где наш пастор угощает рейнвейном, полученным им от нового бургомистра. При такой погоде у меня всегда страшная тоска по Рейну и его виноградникам. Но что тут поделаешь? В лучшем случае — сочинишь несколько стихов. Я готов держать пари, что В. Бланк написал вам, что я — автор статьи в «Телеграфе» и что поэтому вы так ругали ее. Действие происходит в Бармене. Ты легко можешь себе представить, что она означает.



Только что получил письмо от В. Бланка, где он пишет мне, что статья произвела огромное впечатление в Эльберфельде. Д. Рункель ругает ее в «Эльберфельдской газете» и приписывает мне всякий вздор; я предложу ему указать хоть на одну неправду в моей статье, — он этого не сумеет сделать, так как все собранное в ней основано на фактах, полученных мной от очевидцев. Бланк прислал мне листок, который я тотчас же переправил Гуцкову с просьбой держать мое имя в тайне. Круммахер заявил недавно в своей проповеди, что земля неподвижна и солнце вращается вокруг нее. Этот человек осмеливается 21 апреля 1839 г. громогласно заявлять подобные вещи, утверждая в то же время, что пизтизм не возвращает нас к средневековью! Позор! Его надо прогнать, не то он станет когда-нибудь папой, прежде чем ты успеешь оглянуться. *Dios lo sabe*, бог его знает, что станет с Вупперталем. *Adios*.

Ожидающий твоего скорого ответа, а иначе не посылающий никаких стихов

Фридрих Энгельс.

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ.

[24 мая 1839 г.]

My dear William!

Сегодня уже 24 мая, а от вас ни строчки. Вы добьетесь опять того, что не получите стихов. Я вас не понимаю. Но ты должен получить заметки о современной литературе.

Собрание сочинений Людвига Берне. I и II томы. Странички драматургии. — Берне, титанический борец за свободу и право, выступает здесь на эстетическом поприще. И здесь он остается собой; все, что он говорит, так четко и ясно, так проникнуто верным чувством красоты и доказано так убедительно, что не может быть и речи о противоречии ему. Все это обито потоками ослепительнейшего остроумия; местами поднимаются, точно скалы, прочные, с резкими, острыми углами, идеи свободы. Большинство этих критических статей (из которых состоит книга) написаны были сейчас же при появлении разбираемых в них вещей, т. е. в такое время, когда критика еще в нерешительности нащупывала то, что ей следует сказать; но Берне все понял до самых скрытых пружин действия. Лучше всего статья о шиллеровском «Телле»; статья эта, идущая вразрез с обычным представлением об этой вещи, уж двадцать лет остается неопровергнутой, ибо она неопровержима. — «Карденио» и «Гофер» Иммермана, «Исидор и Ольга» Раупаха, «Волльмаркт» Клаурена, с чем связываются другие проблемы, — «Маяк» и «Портрет» Гоувальда, которые он так уничтожает, что от них ничего не остается, — и шекспировский «Гамлет». Повсюду это тот великий человек, который вызвал борьбу мнений, чреватую неисчислимыми последствиями, и уже обоих этих томов было бы достаточно, чтобы обеспечить Берне место рядом с Лессингом; но он стал Лессингом на другом поприще, пусть в Карле Беке за ним последует другой Гете!

«Ночи». Стихи в панцире — Карла Бека.

Я — дикий, необузданный султан;
 Моих стихов неотразима сила.
 Мне вокруг чела страданье положило
 С таинственными складками тюрбан.

Если подобные образы встречаются уже во второй строфе пролога, то что же будет представлять собой сама книга? Если у двадцатилетнего юноши бродят в голове такие мысли, то какие песни создаст нам зрелый муж? — Поэтического дарования, равного таланту Карла Бека, еще не было со времени Шиллера. Я нахожу поразительное сходство между «Разбойниками» Шиллера и «Ночами» Бека: тот же свободолобивый дух, та же неукротимая фантазия, та же юношеская заносчивость, те же недостатки. Шиллер в «Разбойниках» стремился к свободе, они были первым предостережением, данным его пропитанной сервиллизмом эпохе; но тогда подобное стремление не могло еще принимать определенных, конкретных форм; теперь в Молодой Германии у нас есть определенное, систематическое направление — и вот выступает Карл Бек и призывает современников признать это направление и примкнуть к нему.

«Странствующий поэт». Стихи Карла Бека. Молодой поэт вслед за первой книгой выпустил другую, которая нисколько не уступает первой в смысле силы, полноты мыслей, лирического подъема и глубины и бесконечно выше ее по тщательности и классичности. Какой прогресс от «Творения» в «Ночах» до сонетов о Шиллере и Гете в «Странствующем поэте»! Гуцков думает, что форма сонета невыгодна для эффекта целого; я же готов утверждать, что такой шекспировский сонет представляет для этого вида поэзии как раз надлежащую середину между эпической строфой и отдельным стихотворением. Это не эпическая поэма, а чисто лирическая, слабо связанная эпической нитью, еще слабее, чем «Чайльд Гарольд» Байрона. Но благо нам, немцам, что родился Карл Бек.

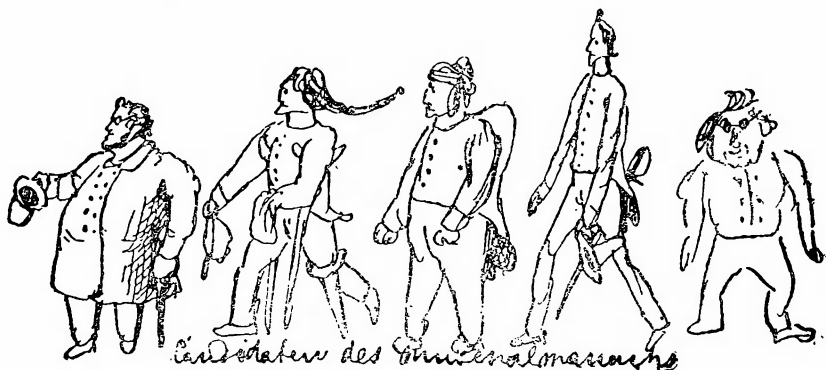
«Блазедов и его сыновья». Комический роман Карла Гуцкова. I том. В основе этого трехтомного романа лежит идея о современном Дон-Кихоте, — идея, которой пользовались уже не раз, но которую большей частью плохо обрабатывали и, конечно, далеко не исчерпали. Характер этого современного Дон-Кихота (Блазедова, деревенского священника), как он представлялся первоначально Гуцкову, был хорошо задуман, но исполнение местами неудачно. Во всяком случае, этот роман тридцатилетнего Гуцкова (к тому же, как говорят, оконченный еще три года назад) очень уступает вещи

Сервантеса, — правда, произведению зрелого мужа. Но зато второстепенные характеры, — Тобианус, повидимому, является pendant к Санчо Панса, — ситуации и язык великолепны.

Вот тебе и мои рецензии, а продолжать я буду, если ты напишешь. Знаешь ли, когда прибыли ваши письма? Пятнадцатого июня. А последние были получены пятнадцатого апреля. Значит, ровно два месяца. Разве это хорошо? Настоящим приказываю — под угрозой прекращения получения стихов — лишить Вурма всякого влияния на отсылку писем. И если Вурм не будет готов во-время со своим письмом, то отошлите письма без его послания. Разве четырнадцати дней недостаточно, чтобы написать мне две четвертушки? Позор. Ты опять не подписываешь числа, — это нехорошо. — Статья в «Телеграфе» — моя неотъемлемая собственность, и она страшно понравилась В. Бланку; в Бармене о ней тоже отзывались с большим одобрением; кроме того, ее очень сочувственно цитировали в «Нюрнбергском Атенеуме». Там, может быть, есть отдельные преувеличения, но в целом она рассматривает вещи с разумной точки зрения и дает о них правильное представление. Конечно, если подходишь к ней с предвзятым мнением, что это путаная, дрянная вещь, то оно и должно казаться так. — То, что ты говоришь о комедии, *justum*.

*Justus judex ultionis
Donum fac remissionis!*

О канцоне у вас — ни звука, надо поправить это.



Что касается Лео и Михелета, то я знаю всю историю только по «Hegelingen» Лео и нескольким возражениям на эту вещь. Отсюда я узнал следующее: 1) что Лео, который, по собственным его словам, уже одиннадцать лет, как отказался совсем от философии,

не имеет поэтому никакого представления о ней; 2) что этот Лео обрёл призвание к ней в своем собственном неистощимом и хвастливом воображении; 3) что он напал на заключения, которые необходимо вытекают, в силу особенностей гегелевской диалектики, из всеобщих принятых предпосылок, вместо того, чтобы напасть на диалектику, что должно было заставить его не трогать этих следствий; 4) что он отвечал на возражения грубыми словами, даже бранью; 5) что он считает себя неизмеримо выше своих противников, нестерпимо важничает, а на следующей странице снова кокетничает беспримерным смирением; 6) что в лице четырех он напал на всю школу, которую нельзя оторвать от них, ибо, хотя Ганс и др. в отдельных пунктах отмежевались от них, но они были так тесно связаны, что Лео совершенно не был в состоянии доказать важность пунктов различия; 7) дух «Евангелической церковной газеты», шедший впереди Лео, пропитывает весь его памфлет. Заключение: лучше бы Лео держал язык за зубами. Что это за «жесточайшие испытания», вызвавшие выступление Лео? Разве в своей брошюре о Герресе он не напал на них, и притом еще яростнее, чем в «Hegelingen»? Всякий в праве вступать в научный спор, если только он имеет соответственные знания (имел ли их Лео?), но кто хочет осуждать, тот пусть бережется; а сделал ли это Лео? Не осуждает ли он вместе с Михелетом и Маргейнеке, за каждым шагом которого следит «Евангелическая церковная газета» — точно он находится под ее полицейским надзором, — все ли у него ортодоксально? Последовательно рассуждая, Лео должен был бы осудить очень и очень многих, но на это у него нехватило мужества. Кто хочет нападать на гегелевскую школу, должен сам быть Гегелем и создать на ее место новую философию. А она, на зло Лео, растет с каждым днем. А нападки Шубарта на политическую сторону гегельянства, — разве не напоминают они аминь пономаря к поповскому средо галлеского льва, который, правда, не может скрыть своей кошачьей породы? А пророс, Лео — единственный академический преподаватель в Германии, который ревностно защищает аристократию дворянства. Лео называет В. Менцеля своим другом!!!

Твой верный друг

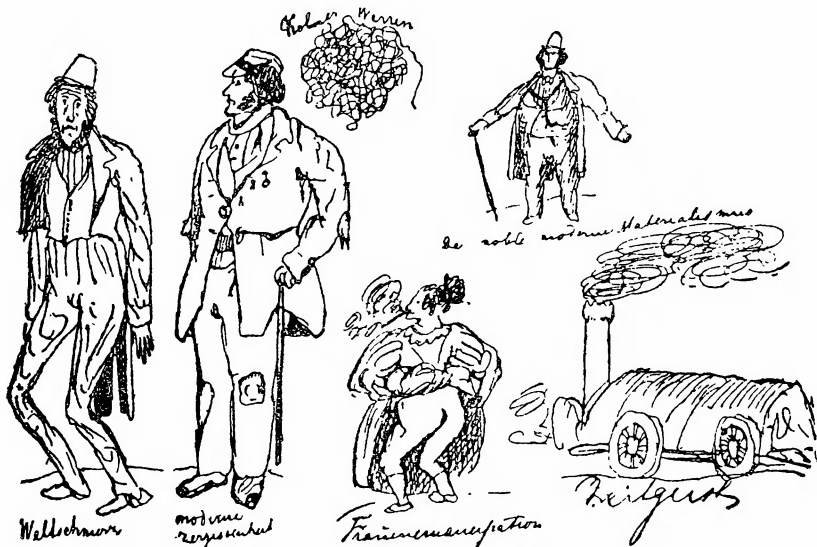
*Фридрих Энгельс,
младогерманец.*

Были ли вы на похоронах Ганса? Почему вы ничего не пишете об этом?

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ.

[15 июня 1839 г.]

Фриц Гребер: судари мои, здесь перед вами современные характеры и явления.



Сегодня прибыли ваши письма. Я приказываю, чтобы Вурм никогда больше не отправлял писем. Но—к сути дела. То, что ты мне пишешь о родословной Иосифа, я уже в существенном знал; на это я могу возразить следующее:

1. Где в Библии, в какой-нибудь родословной зять, при аналогичных обстоятельствах, называется также сыном? Пока мне не укажут такого примера, я это объяснение могу считать лишь натянутым, искусственным.

2. Почему Лука, который писал по-гречески для греков, которые не могли знать этого иудейского обычая, не говорит прямо так, как ты говоришь?

3. К чему вообще родословная Иосифа? Ведь она совершенно лишняя, так как все три синоптические евангелия определенно говорят, что Иосиф не был отцом Иисуса.

4. Почему такой человек, как Лафатер, не прибегает к этому объяснению и предпочитает оставить противоречие? Наконец, почему сам Неандер, который очень учен, учнее даже Штрауса, говорит, что это — неразрешимое противоречие, виновником которого является автор греческой обработки еврейского Матфея?

Далее, ты не отделаешься так легко от прочих моих сомнений, которые ты называешь «жалким крохоборством». Под боговдохновенностью слова в Вуппертале понимают то, что бог вложил особый глубокий смысл даже в каждое слово; я это довольно часто слышал с церковного амвона. Я охотно верю тому, что Генгстенберг не разделяет этого взгляда, ибо из «Церковной газеты» видно, что у него вообще нет ясных взглядов: он соглашается с каким-нибудь ортодоксом в вопросе, который вслед затем он вменяет в преступление какому-нибудь рационалисту. Но как далеко простирается боговдохновенность Библии? Конечно, не настолько далеко, чтоб один мог заставить Христа сказать: «это кровь моя», а другой: «это новый завет в моей крови». Почему бог, который ведь должен был предвидеть спор между лютеранами и реформаторами, не предупредил этого злополучного спора столь ничтожным вмешательством? Если допускать боговдохновенность, то одно из двух: или бог сделал это умышленно, чтобы вызвать спор, — но этого я не могу приписать богу, — или бог не заметил этого, но и это тоже немислимо. Нельзя также утверждать, чтобы этот спор породил что-нибудь хорошее, а допустить, чтобы он, вызвав трехсотлетний раскол христианской церкви, породил что-нибудь хорошее в будущем, — допустить это нет никаких оснований. Между тем, как раз это место о тайной вечери очень важно. И если здесь имеется какое-нибудь противоречие, то вся вера в Библию идет прахом.

Я тебе скажу только, что теперь я готов считать божественным лишь то учение, которое может выдержать критику разума. Кто дает нам право слепо верить в Библию? Только авторитет тех, кто поступал так до нас. Да, Коран более органический продукт, чем Библия, ибо он требует веры в свое целое, не имеющее перерывов, содержание; Библия же состоит из многих отрывков многих авторов, из которых многие даже *сами не претендуют* на божественность.

И мы должны, вопреки нашему разуму, верить в нее только потому, что нам это говорят наши родители? Библия учит осуждению на вечные муки рационалистов. Можешь ли ты себе представить, чтобы человек, который всю свою жизнь (Берне, Спиноза, Кант) стремился к соединению с божеством, или чтобы такой человек, как Гучков, для которого высшая цель в жизни — найти пункт схождения положительного христианства с образованием нашего времени, — можешь ли ты себе представить, чтобы он, после своей смерти, был навеки, навеки удален от бога и должен был переносить телесно и духовно гнев божий без конца в самых жестоких муках? Мы не должны мучить даже муху, похищающую у нас сахар, а бог может карать такого человека, заблуждения которого не менее бессознательны, в десять тысяч раз более жестоко и на веки вечные? Далее. Грешит ли искренний рационалист своим сомнением? Ни в коем случае. Ведь он должен был бы всю свою жизнь испытывать самые ужасные угрызения совести; христианство должно было бы, рав он стремится к истине, навязаться ему с непреодолимой силой истины. Но разве это бывает так? Далее, как двусмысленна позиция ортодоксии по отношению к современному образованию. Говорят, что христианство привело с собой повсюду образование; теперь же вдруг ортодоксия требует, чтобы образование остановилось в своем прогрессивном движении. Какую цену имеет, например, философия, если мы станем верить Библии, которая учит о непознаваемости бога разумом? А, между тем, ортодоксия считает вполне целесообразным иметь немножко — только не слишком много — философии. Если геология приводит к другим результатам, чем учение Моисея, то ее ругают (см. жалкую статью «Евангелической церковной газеты»: «Границы изучения природы»); если же она приводит, как кажется, к тем же результатам, что и Библия, то на нее ссылаются. Если, например, какой-нибудь геолог скажет, что земля, окаменелости свидетельствуют о бывшем в прошлом великом потопе, то на это ссылаются; если же какой-нибудь другой геолог найдет следы различного возраста этих вещей и станет доказывать, что этот потоп длился в разных местах разное время, то геологию осуждают. Разве это честно? Далее: вот «Жизнь Иисуса» Штрауса, неопровержимое сочинение. Почему не напишут убийственного опровержения его? Почему хулят этого поистине почтенного мужа? Много ли найдется таких, которые выступили против него, как Неандер, по-христиански, а ведь Неандер не ортодокс. Да, не мало сомнений, тяжелых сомнений, с которыми я не могу справиться. Далее, учение об искуплении. Почему не извлекают из него того нравоучения, что если

кто-нибудь хочет добровольно отвечать за другого, то следует наказывать его? Вы все сочли бы это несправедливостью. Но неужели то, что несправедливо в глазах людей, должно стать высочайшей справедливостью перед богом? Далее, христианство говорит: я делаю вас свободными от греха. Но не стремится ли к тому же и остальной, рационалистический мир? И вот вмешивается христианство и запрещает рационалистам это стремление, потому-де, что их путь еще дальше уводит от цели. Если бы христианство показало нам хоть одного человека, которого оно сделало в этой жизни настолько свободным, что он никогда уже не грешит, тогда оно имело бы некоторое право так говорить, — в противном же случае оно не имеет этого права. Далее, Павел говорит о разумном, чистом молоке Евангелия. Я этого не понимаю. Мне говорят: это — просветленный разум. Но пусть мне покажут такой просветленный разум, которому это ясно. До сих пор мне еще не встретился ни один подобный разум; даже для ангелов это — «великая тайна».

Я надеюсь, что ты достаточно хорошего мнения обо мне, чтобы не приписать все подобные вопросы кощунственной жажде сомнений и хвастовства; я знаю, что это причинит мне величайшие неприятности, — но от того, что навязывается мне силой убеждения, я, при всех своих стараниях, не могу избавиться. Если я своими вольными речами причинил, может быть, боль твоим убеждениям, то прошу у тебя сердечного прощения. Я говорил только то, что я думаю и чего я не могу не думать. Я в таком же положении, как Гуцков; если кто-нибудь относится высокомерно к положительному христианству, то я защищаю это учение, которое исходит ведь из глубочайшей потребности человеческой природы, из стремления к искуплению милосердием божьим от греха; но там, где дело идет о том, чтобы защищать свободу разума, там я протестую против всякого принуждения. — Я надеюсь пережить радикальную перемену в религиозном сознании мира; если б я только сам разделался с своими сомнениями! Но это непременно будет, если у меня только хватит времени развиваться спокойно, без тревог.

Человек родился свободным, свободным!

Твой верный друг

Фридрих Энгельс.

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ.

[12] — 27 июля 1839 г.

Fritzo Graeber!

12 июля. Вы могли бы когда-нибудь удостоить меня письмом. Уж прошло пять недель со времени получения вашего последнего письма. В моем предыдущем письме я выложил тебе массу скептических соображений; я рассматривал бы вопрос иначе, если бы я уж тогда был знаком с учением Шлейермахера. Это — разумное христианство; оно ясно всякому, даже и не принимающему его, и можно признать ценность учения, не присоединяясь к нему. Философские принципы учения я уже воспринял; с его теорией искупления я еще не свел всех счетов и буду остерегаться немедленно же усвоить ее, чтобы не оказаться вскоре вынужденным снова менять свои взгляды. Но я буду штудировать ее, как только мне представится больше свободного времени. Если бы я был раньше знаком с этим, я никогда не стал бы рационалистом, но разве в нашем Мукертале (ханжеской долине)¹ можно услышать что-нибудь подобное? Я бешено вол на это отношение к делу, я хочу бороться, сколько хватит сил, с пизтизмом и верой в букву. К чему они? То, что отвергает наука, — под знаком которой находится теперь вся история церкви, — то не должно больше существовать и в жизни. Если пизтизм и был прежде исторически-правомерным элементом в развитии теологии, то теперь он отжил и не должен больше упираться, а должен уступить место спекулятивной теологии. Только на основе последней можно теперь строить что-нибудь надежное. Я не понимаю, как можно еще пытаться сохранить веру в букву Библии или защищать непосредственное вмешательство божие, которое нельзя нигде доказать.

26 июля.

Вот и письмо от вас. Но к делу. В твоем письме замечательно, как ты стараешься придерживаться ортодоксии и в то же

¹ Muckertal — игра слов, намек на Вупперталь.

время в отдельных пунктах делаешь уступки рационалистическому направлению, давая тем самым мне в руки оружие. О родословной Иосифа. На мое первое возражение ты отвечаешь мне: кто знает, не смешиваем ли мы часто в библейских генеалогиях сына с зятем и племянником? Но ведь этим ты уничтожаешь всю достоверность библейских генеалогий. Как может доказать здесь что-нибудь закон — этого я совершенно не понимаю. — На мое второе возражение ты отвечаешь: Лука писал для Феофила. Дорогой Фриц, что это за боговдохновенность, которая считается с пониманием того, для кого первого предназначается книга? Если не принимаются в расчет все будущие читатели, то, по-моему, нельзя говорить о боговдохновенности; и вообще, мне кажется, ты не выяснил себе понятия боговдохновенности. — В-третьих, я не могу уразуметь, каким образом родословная Иосифа содержит в себе исполнение пророчества; наоборот, евангелист был заинтересован в том, чтобы не представить Иисуса сыном Иосифа, чтобы разрушить этот взгляд и не воздавать такой почести Иосифу изложением его родословной. — «Было бы совершенно вразрез с обычаем сказать, что Иисус был сыном Марии, а Мария дочерью Илии». Дорогой Фриц, разве обычай может иметь здесь какое-нибудь значение? Смотри лучше, чтобы таким путем ты опять не подошел слишком близко к своему понятию о боговдохновенности. Я нахожу твое объяснение столь натянутым, что на твоём месте я предпочел бы считать одно из них неподлинным. — «Христианству должны противостоять неразрешимые противоречия, и все же можно милосердием божьим достигнуть достоверности». В том виде, в каком ты себе представляешь это влияние божьего милосердия на отдельных лиц, я в нем сомневаюсь. Я, конечно, знаком с блаженным чувством, которое испытывает всякий рационалист или мистик, вступающий в интимные, сердечные отношения к богу; но поразмысли над этим, не придерживаясь библейских оборотов речи, и ты найдешь, что оно сводится к сознанию, что человечество — божественного происхождения, что, как часть человечества, ты не можешь погибнуть, а должен будешь, после несчетных испытаний и борьбы как в здешнем, так и в загробном мире, освобожденный от всего смертного и греховного, возвратиться в лоно божества; таково мое убеждение, дающее мне успокоение; исходя из него, я могу тебе также сказать, что дух божий свидетельствует мне, что я — дитя божье; и, как я уже сказал, я не могу поверить, чтобы ты мог выразиться по этому поводу иначе. Правда, ты более спокоен, чем я, а я еще должен биться со всякого рода мнениями и не могу оставить своих убеждений в таком неоформленном виде, но это

сводится, на мой взгляд, к количественной, а не к качественной разнице. — Я вполне признаю, что я — грешник, что во мне глубоко сидит склонность к греху, и поэтому я совершенно сторонюсь учения об оправдании делами. Но я не согласен с тем, что эта греховность лежит в воле человека. Я готов признать, что хотя в идее человечества не кроется возможность греха, но она должна необходимо лежать в ее осуществлении; поэтому я готов к покаянию настолько, насколько этого лишь можно желать; но, дорогой Фриц, ни один мыслящий человек не поверит, что мои грехи должны быть прощены мне из-за заслуг какого-то третьего лица. Когда я размышляю над этим, независимо от всякого авторитета, то я нахожу вместе с новейшей теологией, что греховность человека заключается в необходимо несовершенном осуществлении идеи и что поэтому всякий должен стараться осуществить в себе идею человечества, т. е. сравняться с богом в духовном совершенстве. Это — нечто совершенно субъективное; как может породить это субъективное ортодоксальная теория искупления, которая предполагает нечто третье, объективное? Я признаю себя достойным наказания, и, если богу угодно наказать меня, пусть он это сделает, — но вечного удаления от бога, хотя бы ничтожнейшей части духа, я не могу себе представить и не могу поверить в это. Разумеется, то, что бог нас принимает, — это дело его милосердия; ведь все, что бог ни делает, это акт милосердия, но, вместе с тем, все, что он ни делает, является необходимостью. Соединение этих противоречий составляет ведь значительную часть существа божия. Что касается твоих слов, что бог не может отрекаться от себя и т. д., то мне кажется, что ты здесь пытаешься обойти мой вопрос. В состоянии ли ты поверить, чтобы человек, стремящийся к соединению с богом, был навсегда отвержен от бога? В состоянии ли? Конечно, нет, поэтому-то ты и ходишь вокруг да около. Разве не является совершенно недостойной мысль, будто бог, не довольствуясь наказанием, которое заключено в самом дурном деле, еще должен назначить за него особенное наказание? Допуская вечное наказание, ты должен допустить и вечный грех; а с вечным грехом — вечную возможность верить, т. е. быть искупленным. Учение о вечных муках страшно непоследовательно. Далее: историческая вера является, по-твоему, существеннейшим элементом веры, которая без нее немислима; но ты не станешь отрицать того, что есть люди, для которых совершенно невозможно иметь эту историческую веру. И от таких людей бог должен требовать, чтобы они сделали невозможное? Дорогой Фриц, пойми, что это бессмыслица и что если разум божий выше нашего, то все же он не другого рода, иначе бы он

вовсе не был разумом. Догматы Библии надо тоже воспринимать разумом.

Ты говоришь, будто свобода духа заключается в том, чтобы не быть в состоянии сомневаться. Но ведь это величайшее рабство духа; свободен лишь тот, кто победил в себе всякие сомнения. И я вовсе не требую, чтоб ты меня разбил; я вызываю на бой всю ортодоксальную теологию. Если за целых 1800 лет старая христианская наука не сумела выставить никаких возражений против рационализма и отравила лишь немногие из его нападений, если она боится борьбы на чисто научной арене и предпочитает пачкать личность противников, то что можно сказать по этому поводу? Допускает ли ортодоксально-христианское учение чисто научную трактовку? Я утверждаю, что нет и что дальше некоторой ранжировки идей, разъяснений, диспутирования дело не пойдет. Я советую тебе прочесть как-нибудь «Darstellung und Kritik des modernen Pietismus» von Dr. C. Märklin, Stuttgart 1839; если ты сумеешь опровергнуть эту книгу (т. е. не положительную сторону ее, а отрицательную), то я готов призвать тебя первым теологом в мире.

«Простой христианин может этим довольствоваться; он знает, что он — дитя божие и что он не обязан уметь дать ответ и разрешить все кажущиеся противоречия». На кажущиеся «противоречия» не может дать ответа ни простой христианин, ни Генгстенберг, ибо это реальнейшие противоречия; но, поистине, кто довольствуется этим и кичится своей верой, у того нет никакой основы для его веры. Чувство, конечно, может подтверждать, но отнюдь не обосновывать, все равно как нельзя обонять ушами. Генгстенберг мне глубоко противен из-за его поворной манеры редактировать «Церковную газету». Почти все сотрудники анонимны, и, следовательно, отвечать за них должен редактор; если же кто-нибудь, считая себя обиженным какой-нибудь статьей, обращается по этому поводу к редактору, то он оказывается ничего не знающим; автора он не называет, но и сам отказывается брать ответственность на себя. Это бывало уже неоднократно: неизвестный аноним из «Церковной газеты» набрасывается на какого-нибудь беднягу, а когда последний обращался к Генгстенбергу, то получал в ответ, что он не писал инкриминируемой статьи. Среди священников пиетистского толка «Церковная газета» имеет такую репутацию потому, что они не читают произведений другого лагеря. Я не читал последних номеров газеты, не то привел бы тебе соответствующие образчики. Когда произошла цюрихская история со Штраусом, то ты не можешь себе представить, каких только гнусностей ни наговорила «Церковная газета» по по-

воду характера Штрауса; Штраус же держался при этом, — как единодушно утверждают все, — удивительно благородно. Объясни, например, то усердие, с которым «Церковная газета» хочет во что бы то ни стало сочетать Штрауса с Молодой Германьей. А ведь в глазах многих Молодая Германия — увы! — нечто чудовищное. — По вопросу о позвии веры ты меня превратно понял. Я не из-за позвии поверил, а потому, что понял, что не сумею дальше жить таким же образом, ибо раскаивался в своих грехах, ибо жаждал общения с богом. Я пожертвовал тем, что мне дороже всего, я пренебрег моими величайшими радостями, моими дорогими и близкими, я скомпрометировал себя всячески; я несказанно счастлив, что нашел в Плюмахере человека, с которым мог говорить об этом; я охотно переносил его фанатическую веру в предопределение; ты сам знаешь, как важно, бесконечно важно было это для меня. Я был тогда счастлив — я знаю это — и теперь я тоже очень счастлив; у меня была тогда уверенность, радостная готовность молиться; у меня она и теперь, ибо я борюсь и нуждаюсь в подкреплении. Но я никогда не испытывал и следа того экстатического блаженства, о котором я так часто слышал с высоты наших церковных кафедр; моя религия была — и остается — тихим, блаженным миром, и я буду доволен, если он у меня останется и за гробом. Я не могу верить, чтобы бог отнял его у меня. Религиозное убеждение это — дело сердца, оно связано с догматом лишь постольку, поскольку чувство противоречит последнему или нет. Весьма возможно, что дух божий дает тебе знать посредством твоего чувства, что ты — дитя божие, но уж, наверное, не то, что ты — дитя божие благодаря смерти Христа; в противном случае оставалось бы признать, что чувство способно мыслить, уши способны видеть. — Я молюсь ежедневно, даже почти целый день об истине; я стал так поступать с тех пор, как начал сомневаться. И все-таки я не могу вернуться к вашей вере, а, между тем, написано: просите, дастся вам. Я ищу истину всюду, где только надеюсь найти хоть тень ее, и все же я не могу признать вашу истину вечной. А, между тем, написано: ищите и обрящете. Найдется ли кто-нибудь среди вас, кто бы дал своему ребенку, просящему о хлебе, камень? Тем более, может ли так поступить отец наш на небеси?

У меня выступают слезы на глазах, когда я пишу это. Я весь взволнован, но я чувствую, что не погибну; я вернусь к богу, к которому стремится все мое сердце. И в этом тоже — свидетельство святого духа, я всецело верю этому, хотя бы в Библии десять тысяч раз стояло обратное. И не обманывайся, Фриц; при всей твоей

уверенности, наступит неожиданно час сомнений, и тогда решение твоего сердца зависит часто от малейшего случая. — Но я из опыта знаю, что догматическая вера не имеет никакого влияния на внутренний мир.

27 июля.

Если бы ты делал то, что написано в Библии, то ты не должен был бы вовсе иметь дело со мной. Если не ошибаюсь, во втором Послании Иоанна сказано, что не следует приветствовать неверующих, не следует им говорить даже *χαίρε*. Таких мест в Библии много, и они всегда вызывали во мне большую досаду. Но вы далеко не делаете всего того, что сказано в Библии. Впрочем, мне кажется чудовищной пронией, когда говорят об ортодоксальном евангелическом христианстве как о религии любви. Согласно этому вашему христианству, девять десятых человечества обречены на вечные муки и только одной десятой суждено быть счастливой. И вот это, Фриц, должно называться бесконечной любовью бога? Подумай, сколь малым казался бы бог, если бы такова была его любовь. Это так ясно, что если существует какая-нибудь религия Откровения, то бог ее может быть более великим, но не иным, чем тот, на которого указывает разум. В противном случае вся философия не только пустое дело, но даже греховное; без философии же нет образования, без образования — человечности, а без человечности опять нет религии. Но даже фанатик Лео не смеет относиться к философии с таким пренебрежением. Это опять-таки одна из непоследовательностей ортодоксов. С людьми, как Шлейермахер и Неандер, я уж сумею столкнуться, ибо они последовательны и имеют сердце, но того и другого я тщетно ищу в «Евангелической церковной газете» и в прочих изданиях пияетистов. С особенно большим уважением я отношусь к Шлейермахеру. Если ты последователен, то, конечно, ты должен его осудить, ибо он проповедует Христа не в твоём духе, а в духе Молодой Германии, Теодора Мундта и Карла Гудкова. Но это был великий человек, и среди ныне живущих я знаю только *одного*, обладающего равным духом, равной силой и равным мужеством: это — Давид-Фридрих Штраус.

Я радовался, что ты взялся так энергично опровергнуть меня. Но одно меня огорчило, и я это тебе сейчас скажу. Это презрение, с которым ты говоришь о стремлении к соединению с богом, о религиозной жизни рационалистов. Тебе, конечно, приятно в твоей вере, как в теплой постели, и ты не знаешь борьбы, которую приходится проделать, когда мы, люди, должны решить, существует ли бог или нет. Ты не знаешь тяжести бремени, которое начинаешь чувствовать

с первым сомнением, бремени старой веры, когда нужно принять решение: за или против, продолжать ли носить это бремя или стряхнуть его. Но я тебя еще раз предупреждаю, что ты вовсе не так застрахован от сомнений, как воображаешь, и не будь ослепленным по отношению к сомневающимся; ты еще сам можешь оказаться одним из них, и тогда ты тоже будешь требовать справедливости. Религия — дело сердца, и у кого есть сердце, тот может быть благочестивым; но у кого благочестие коренится в рассудке или даже в разуме, у того его вовсе нет. Дерево религии растет из сердца и покрывает своей сенью всего человека и добывает себе пищу из воздуха разума; догматы же — это его плоды, несущие в себе благороднейшую кровь сердца; что сверх того, — то от лукавого. Таково учение Шлейермахера, и я придерживаюсь его.

Adieu, дорогой Фриц, подумай хорошенько над тем, хочешь ли ты меня действительно послать в преисподнюю, и сообщи мне скоро твой приговор.

Твой Фридрих Энгельс.

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ.

[В конце июля или начале августа 1839 г.]

Дорогой Фриц!

Resepi litteras tuas hodie, et jamque tibi responsurus sum. Много писать я тебе не могу. Ты все еще в долгу у меня, и я жду длинного письма от тебя. Свободен ли также твой брат Вильгельм? Учится ли Вурм теперь тоже с вами в Бонне? Да благословит Господь studia militaria толстого Петра. Шлю тебе маленькую повьму, написанную 27 июля, которая тебе даст возможность упражняться в либерализме и чтении античных метров. Ничего другого в ней нет.

ИЮЛЬСКИЕ ДНИ В ГЕРМАНИИ.

1839 год.

Как волна за волною, вскипая, бежит, как неистово носится буря!
Гребни волн в человеческий рост, и мой челн еле держится в злобной пучине.
С Рейна дует пронзительный ветер; кругом собирает он черные тучи,
Вырывает дубы, пыль вздымает столбом, образует за омутом омут.
Государя Германии, в зыбком челне я невольно о вас вспоминаю!
На рамена свои терпеливый народ поднял трон золотой ваш когда-то
И с триумфом пронес по родимой земле и прогнал чужеземца лихого;
Вот тогда преисполнились наглостью вы и нарушили данное слово.
Но повеяла буря из Франции к нам, всколыхнулись народные массы,
И колеблется трон, как средь бури ладья, и дрожит в вашей длани держава.
С негодующим взором, Эрнст-Август, к тебе я прежде всего обращаюсь:
Ты нарушил закон, своевольный тиран, но прислушайся к голосу бури,
Посмотри, как народ негодует и меч не желает в ножнах оставаться.
Так же ль крепок твой челн золотой, как мой меч, необузданной бурей гонимый?

Буря на Везере — факт; факт и то, что я в великий день июльской революции был на этой реке.

Кланяйся Вурму, пусть он мне побольше пишет.

Твой Фридрих Энгельс.

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ.

[Бремен, 30 июля 1839 г.]

Мой дорогой Гульельмо!

Что у тебя за превратные представления обо мне? Здесь не может идти речь ни о скоморохе, ни о верном Эккарте (или, как ты пишешь, об Эккардте), а только о логике, разуме, последовательности, *propositio major* и *minor* и т. д. Да, ты прав, кротостью здесь ничего не поделаешь, этих карликов — сервиллизм, господство аристократии, цензуру и т. д. — следует прогнать мечом. Я бы должен был изрядно шуметь и бушевать, но так как я имею дело с тобой, то постараюсь быть кротким, чтобы ты не «перекрестился», когда «дикая свора» моей беспорядочной поэтической прозы промчится мимо тебя. Во-первых, я протестую против твоего мнения, будто я даю духу времени один пинок за другим по задней части, чтобы он лучше двигался. Милый мой, каким ты меня себе представляешь! В виде какой образины ты рисуешь мою бедную, украшенную приплюснутым носом физиономию! Нет, от этого я воздерживаюсь. Наоборот, когда дух времени налетает, как буря, увлекая за собой железнодорожный поезд, то я быстро вскакиваю в вагон и даю себя немного подвести. Да, вот о Карле Беке — дикая идея, будто он исписался, по всей вероятности, принадлежит чахлому Вихельхаузу, насчет которого мне дал надлежащие сведения Вурм. Мысль, будто двадцатидвухлетний человек, написавший такие замечательные стихотворения, вдруг перестал творить, — нет, подобная бессмыслица мне еще не приходила в голову. Можешь ли ты себе вообразить, чтобы Гете после «Гецца» перестал быть гениальным поэтом, или Шиллер — после «Разбойников»? А, кроме того, мысль, будто история отомстила Молодой Германии! Сохрани, боже! Конечно, если думать, что всемирная история вручена господом богом феодальному сейму в качестве наследственного лена, то она отомстила Гуккову трехмесячным арестом; если же она, — в чем мы более не сомневаемся, — заключается в общественном (т. е. у нас литературном)

мнении, то месть ее Молодой Германии выразилась в том, что она позволила ей завоевать себя с пером в руках, и теперь Молодая Германия королевой восседает на троне современной германской литературы. Какова была судьба Берне? Он пал, как герой, в феврале 1837 г. и еще в последние дни своей жизни имел счастье видеть, как его дети — Гудков, Мундт, Винбург, Бойрман — стали уже на ноги; правда, черные, зловещие тучи висели еще над их головами, и Германию стягивала длинная, длинная цепь, которую починал сейм в тех местах, где она грозила разорваться; но теперь он смеется над князьями и, может быть, знает час, когда с их голов слетят украденные короны. За счастье Гейне не ручаюсь, и вообще он уже изрядное время как стал скотиной; за счастье Бека — тоже, ибо он влюблен и печалится о нашей дорогой Германии; это чувство разделяю и я, и мне еще вообще не мало придется иметь столкновений, но старый благой господь бог ниспослал мне юмористическую жилку, которая сильно утешает меня. А ты, карапуз, счастливы ли ты? — Что касается твоих взглядов о боговдохновенности, то держи их про себя, а то никогда не станешь пастором в Вуппертале. Если бы я не был воспитан в крайностях ортодоксии и пиаэзма, если бы мне в церкви, в школе, дома не внушили самой слепой, безусловной веры в Библию и согласие между учением Библии и учением церкви, или даже с особенным учением *каждого* священника, то, может быть, я еще долго бы придержививался несколько либерального супранатурализма. В учении достаточно противоречий — столько, сколько есть библейских авторов, и вуппертальская вера вобрала в себя, таким образом, с дюжину индивидуальностей. Что касается родословной Иосифа, то Неандер, как известно, приписывает ту, которая содержится в Евангелии от Матфея, греческому переводчику еврейского оригинала; если я не ошибаюсь, *Вейссе* в своей «Жизни Иисуса» высказался, подобно тебе, против Луки. Даваемое Фрицем объяснение сводится, в конце концов, к таким чудовищным предположениям, что оно не годится ни для одного из них. Я, конечно, *прѳахос*, но только не рационалистической, а либеральной партии. Противоположные воззрения стоят во всеоружии друг против друга. Четыре либерала (одновременно и рационалиста), один аристократ, перешедший к нам, но, из страха нарушения унаследованных в его семье принципов, вернувшийся обратно в лагерь аристократии, один аристократ, подающий, как мы надеемся, надежду, и несколько тупиц — вот арена споров. Я сражаюсь в качестве знатока древности, средних веков и нового времени, в качестве грубияна и т. д., но это выступление уже более не нужно, ибо

мои подчиненные делают недурные успехи; вчера я им изложил историческую необходимость событий 1789 — 1839 гг. и убедился, кроме того, к своему удивлению, что я в споре значительно сильнее всех здешних восьмиклассников. После того, как я двоих из них — уже довольно давно — уложил в лоск, они решились двинуть против меня самого башковитого, чтобы он разбил меня; к несчастью, он был тогда влюблен в Горадия, так что я разбил его по всем правилам искусства. Тогда они страшно перепугались. Что касается акгорациомана, то он теперь очень хорошо относится ко мне, о чем он поведал мне вчера вечером. В правильности моих отзывов ты немедленно убедился бы, если бы прочел рецензируемые книги. Карл Бек — огромнейший талант, мало того — гений. Образы вроде:

Вещает зычно голос грома то,
Что в недра тучи молнии вписали,

встречаются у него массаами. Послушай, что он говорит об обожаемом им Берне. Он обращается к Шиллеру:

Не чадо бреда чудный твой марниз!
Наш Берне днесь не той же ли породы!
Он, новый Телль, с горы взирая вниз,
Для нас трубит в волшебный рог свободы.
Он заострил стрелу, и лук звенит,
И яблоко пронзенное дрожит: —
То шар земной пронзен стрелой свободы.

И как чудесно он изображает нищету евреев и студенческую жизнь! А «Странствующий поэт»! Человеке, образумься, прочти его! И слушай, если ты опровергнешь статью Берне о шиллеровском Телле, то я передам тебе весь гонорар, который рассчитываю получить за свой перевод Шелли. Я прощаю тебе твой разнос моей вуппертальской статьи; я ее недавно перечитал и был поражен слогом. С того времени я не писал так хорошо. Не забудь в ближайший раз о Лео и Михелете. Как я уже сказал, ты очень ошибаешься, если думаешь, будто мы, младогерманцы, искусственно раздуваем дух времени; но подумай, раз этот *квэбл* дует, и хорошо дует, то не были ли бы мы ослами, если бы не натянули парусов? То, что вы шли за гробом Ганса, не будет забыто вам. Я в ближайшее же время пущу об этом заметку в «Эlegantную газету». Мне необычайно смешно, как все вы задним числом так мило просите прощения за чуточку своего буйства; вы еще не умеете вовсе произносить крепких слов, и вот Фриц шлет меня к чорту, провожает меня до ворот преисподней, куда и вталкивает меня с низким поклоном, а сам потом

возносится на небо. Ты через свои очки из шпата видишь все вдвойне и принимаешь моих трех товарищей за духов из горы дамы Венеры. Карапуз, чего ты кричишь о верном Экарте? Смотри, ведь вот он: маленький человек, с резким еврейским профилем; его зовут Берне; пусти его только работать, и он прогонит всю челядь дамы Venus Servilia. Затем ты с полным смирением раскланиваешься со мной — смотри, придет Петр, смеющийся одной половиной лица и ворчащий другой половиной его, и начнет мне показывать то смеющуюся половину, то ворчащую.

В милом Бармене начинает теперь пробуждаться интерес к литературе. Фрейлиграт основал кружок для чтения драм, в котором, со времени ухода Фрейлиграта, Штрюккер и Нейбург (приказчики от Лангевিশа) являются *прóмахос* либеральных идей. Господин Эрих сделал остроумные открытия: 1) что в этом кружке таится Молодая Германия, 2) что этот кружок *in plecto* является автором писем из Вупперталя в «Телеграфе». И он внезапно уразумел, что стихи Фрейлиграта, это — величайшая в мире пошлятина, что Фрейлиграт значительно ниже де-ла-Мотт-Фуке и будет через три года забыт. Точь-в-точь утверждение Карла Бека:

О Шиллер, ты в парении высоком
 Не забывал про страждущий народ!
 Ты людям вечноюным был пророком,
 Свободы знамя смело нес вперед!
 Когда бойцы бежали с поля брани,
 И, бросив меч, трусы скрестили длани, —
 Ты щедро проливал за правду кровь;
 Ты живнь свою, исполненную жара,
 Испепелил... Мир не отвергнул дара,
 Но оценил ли он твою любовь?
 Нет! Он твоей не понял тяжкой муки!
 Когда твоих стихов прибой все рос и рос,
 Он лишь небесные в нем слышал звуки,
 Но не увидел в нем кровавых слез.

Чья это вещь? — Карла Бека из «Странствующего поэта», с его могучими стихами и с пышностью его образов, но также и с его неясностью, с его чрезмерными гиперболами и метафорами; ибо общепризнано, что Шиллер — наш величайший либеральный поэт; он предчувствовал, что после французской революции должна наступить новая эра, а Гете этого не почувствовал даже после июльской революции; а если события надвигались на него так близко, что он почти вынужден был думать, что наступает нечто новое, то он уходил в свои покои и закрывал дверь на ключ, чтобы оставаться

там испотроженным. Это очень вредит Гете; но ему было 40 лет, когда разразилась революция; он был уже сложившимся к этому времени человеком, поэтому его нельзя ни в чем упрекнуть. В заключение — несколько рисунков.



Шлю вам кучу стихов, поделитесь между собой.

Твой Фридрих Энгельс.

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ.

[8 октября 1839 г.]

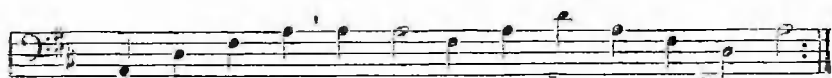
О, Вильгельм, Вильгельм, Вильгельм!

Так вот, наконец, вести от тебя! Ну, карапуз, слушай: я теперь восторженный штраусианец. Приходите-ка теперь, теперь я имею оружие, шлем и щит, теперь я чувствую себя уверенным; приходите-ка, и я буду вас колотить, несмотря на вашу теологию, так что вы не будете знать, куда удрать. Да, Гульельмо, *jacta est alea*, я — штраусианец, я, жалкий поэт, прячусь под крылья гениального Давида-Фридриха Штрауса. Послушай-ка, что это за человек! Вот четыре евангелия с их хаотической пестротой; мистика распространяется перед ними в молитвенном благоговении, — и вот появляется молодой бог, Штраус, извлекает хаос на солнечный свет и — *adieu* вера! — она оказывается такой же продырявленной, как губка. Местами, в мелочах, он злоупотребляет своей теорией мифов, но в целом он гениален. Если вы сумеете опровергнуть Штрауса — *eh bien*, тогда я снова делаюсь пьэтистом. Далее, я мог бы узнать из твоего письма, что Менгс был крупным художником, если бы, к несчастью, я этого не знал уже давно. «Волшебная флейта» (музыка Моцарта) это как раз так. Устройство читальной залы — отличная вещь; обращаю твое внимание на следующие литературные новинки: «Царь Саул», трагедия Гуцкова; «Книга очерков», его же; «Стихотворения», Г. Крейценаха (еврея); «Германия и немцы» Бойрмана; «Современные драматурги», 1-й выпуск, Л. Винбарга, и т. д. С большим интересом жду твоего отзыва о «Сауле»; в «Германии и немцах» Бойрман сделал в месте, касающемся Вуппертала, извлечение из моей статьи в «Телеграфе». Но я предостерегаю тебя от «Истории польского восстания (1830 — 1831)» Смитта, Берлин 1839, написанной, несомненно, по прямому приказанию прусского короля. Глава о начале революции имеет эпиграфом отрывок из Фукидида приблизительно следующего содержания: нам же, которые не можем упрекнуть себя ни в чем дурном, они вдруг, без всяких причин,

объявили войну... О нелепость, ты велика! Зато великолепно история этого славного восстания графа Солтыка, вышедшая по-немецки в Штуттгарте в 1834 г., — у вас, конечно, она, как и все хорошее, будет запрещена. Другая важная новость — это, что я пишу повесть, которая будет напечатана в январе — разумеется, если она пройдет через цензуру, что представляет собой тяжелую дилемму.

Я не знаю, пошлю ли я вам стихи или нет. Но мне кажется, что в последний раз я вам послал «*Odiseus redivivus*» и прошу прислать мне отзыв о последней посылке. Здесь теперь находится один тамошний кандидат, Мюллер, собирающийся отправиться в качестве священника на корабле в Океанию. Он живет у нас в доме; у него самые крайние взгляды на христианство; ты себе это ясно представишь, если я тебе скажу, что в последнее время он находился под влиянием *Госснера*. Трудно себе вообразить более экзальтированное представление о силе молитвы и непосредственного божественного влияния на жизнь. Вместо того, чтобы сказать, что можно сделать более острыми свои чувства, слух, зрение, он говорит: если господь указывает мне служение, то он должен дать мне и силы для него; но, разумеется, наряду с этим, необходима и горячая молитва, и собственный труд, иначе ничего не выйдет, и, таким образом, он ограничивает этот известный, общий всем людям факт только одними верующими. Сам Круммахер должен был бы согласиться, что подобное мировоззрение носит слишком детский характер. Мне очень приятно, что у тебя теперь лучшее мнение о моей статье в «Телеграфе». Впрочем, вещь эта написана в разгоряченном состоянии, оттого и язык у нее такой, какого я пожелал бы для своей повести, но в ней много одностороннего и полуистин. Круммахер, как ты, вероятно, знаешь, познакомился в Франкфурте-на-Майне с Гудковым и, как говорят, рассказывает об этом *mirabilia*: доказательство правильности штраусовской теории мифов. Я налегаю теперь на современный стиль, который, несомненно, — идеал всякой стилистики. Образцом для него служат произведения Гейне, но особенно Кюне и Гудков. Однако мастером его является Винбарг. Из прежних авторов особенно благоприятно повлияли на него Лессинг, Гете, Жан-Поль и больше всего Берне. О, язык Берне превосходит решительно все. «*Менцель-французоед*» в стилистическом отношении — первое немецкое произведение, и к тому же первое, в котором дело идет о том, чтобы окончательно уничтожить противника. Оно, конечно, запрещено у вас, чтобы не писали лучшим языком, чем в чиновничьих канцеляриях. Современный стиль соединяет в себе все

преимущества стиля: сжатая краткость и чеканность, характеризующая *одним* словом свой объект, попеременно с эпическим, спокойным описанием; простой язык попеременно с сверкающими образами и яркими блестками остроумия, — словом, юношески сильный Ганимед, увенчанный розами и с луком в руках, стрелой из которого он убил Пифона. При этом для индивидуальности каждого автора открыт широчайший простор, так что, несмотря на родство, никто не является подражателем другого. Гейне пишет ослепительно, Винбарг сердечно-тепло и лучезарно, Гуцков изумительно метко, озаряемый иногда ясным солнечным лучом, Кюне пишет уютно-живописно, у него слишком много света и слишком мало теней, Лаубе подражает Гейне, а теперь также и Гете, но уродливым образом, ибо он подражает гетеевцу Варнгагену, и Мундт тоже подражает Варнгагену. Маргграф пишет все еще слишком обще, как бы дунув во все щеки, но это уляжется, а проза Бека еще не вышла из стадии опытов. Если соединить цветистость Жан-Поля с точностью Берне, то получатся основные черты современного стиля. Гуцков сумел удачно впитать в себя блестящий, легкий, но сухой стиль французов. Этот французский стиль подобен летней паутинке; современный немецкий — точно клочок шелка (образ этот, к сожалению, неудачен). Но из-за нового я не забываю старого; это доказывают мои занятия божественными гетевскими песнями. Но их нужно штудировать музыкальным образом. Лучше всего — в различных композициях.



{ Друзья, се - бя спа - яв - ши Лю - бовь - ю и ви - ном,
Всег - да при встре - чаях на - ших Мы э - ту песнь по - ем.



На - век со - юз меж на - ми: Со - е - ди - нил нас бог;



Под - дер - жи - вай - те пла - мя, Что э - тот бог воз - жег.

Тактовые черты я опять забыл поставить, пусть их вставит Гойзер. Мелодия восхитительна и благодаря своей гармонической простоте прекрасно соответствует тексту. Чудесны септима вверх между шестой и седьмой нотой и нона вниз — между восьмой и девятой. О «Miserere» Леонардо Лео я напишу Гойзеру.

На-днях к вам поедет Адольф Торстрик, мой хороший приятель, собирающийся там заниматься; он веселый, славный малый и понимает хорошо по-гречески. Другие бременцы, которые приедут туда, ничего не стоят. Я передам Торстрику письма для вас. Примите его хорошо, я хотел бы, чтобы он вам понравился. Фриц мне все еще не написал, vermicul [червь] собирался написать из Эльберфельда, но по лени этого не сделал, за что ты и задай ему головоломку. Если бы приехал Гойзер, которому я не мог писать в Эльберфельд, из опасения, что письмо его не застанет, то об-надежь его, что он скоро что-нибудь да получит.

Твой Фридрих Энгельс.

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ.

[20 октября 1839 г.]

Господину Вильгельму Греберу!

Я в совершенно сантиментальном настроении, дело скверно. Я остаюсь здесь, остаюсь без всякой компании. С Адольфом Торстриком, подателем сего, уезжает последний компанейский человек. О том, как я отпраздновал 18 октября, ты можешь прочесть в моей последней эпистоле Гойзеру. Сегодня пирушка, завтра тощица, послезавтра уезжает Торстрик, в четверг возвращается упомянутый в вышеупомянутой эпистоле студент, затем два дня кутежа, а потом — одинокая, ужасная зима. Ни с кем из здешних нельзя пображничать. Все здесь — филистеры. Я сижу с своим остатком буршикозных песен, с своим студенческим забулдыжничеством один в большой пустыне, без собутыльников, без любви, без кутежа, один с табаком, пивом и двумя неспособными к бражничанию знакомыми. Я готов запеть: «Сынок, вот тебе деньжата, кутни на них; если ты кутнешь *comme il faut*, твой старый отец будет доволен». Но кому я должен передать свои деньжата? А потом, я не знаю, как следует, мотива. У меня осталась только одна надежда: застать вас через год, когда я поеду домой, в Бармене, и если в тебя, Ионггауза и Фрица еще не вселится окончательно поп, то кутнуть с вами там.

21-го.

Сегодня у меня страшно тоскливый день. Я в конторе работал до полусмерти. Затем пошел в академию пения, — огромное наслаждение. Надо подумать, что вам еще написать. Стихи — при первой okazji, у меня нет теперь времени переписать их. Даже не было ничего вкусного поесть. Все тоскливо. При этом так холодно, что нельзя выдержать в конторе. Но, благодарение богу, завтра мы надеемся быть в тепле. От твоего брата Германа я вскоре, вероятно, получу письмо; он хочет пощупать мои теологические взгляды и опровергнуть мои убеждения. Это происходит от скептицизма. Тысяча крючков, на которых ты держался за старое, соскакивают,

зацепляются где-нибудь в другом месте, и тогда начинаются споры. Вурма пусть чорт поберет, о нем ничего не слышно, он с каждым днем становится все большим канальей. Мне кажется, он кончит тем, что станет пить водку. Примите дружески Торстрика, пусть он расскажет вам обо мне, если это вас интересует, и предложите ему хорошее угощение.

Farewell.

Твой Фридрих Энгельс.

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ.

[29 октября 1839 г.]

Мой дорогой Фриц!

Я не таких взглядов, как пастор Штир. 29 октября, после разгульно проведенной ярмарки, и после ярмарки, потребовавшей огромной тяжелой работы с корреспонденцией, случайно отправленной в Берлин, и после письма к В. Бланку, который должен был долго ждать, я, наконец, могу дружески поболтать с тобой. Свой экскурс о боговдохновенности ты написал довольно небрежно; ведь нельзя же понимать дословно, когда ты пишешь: апостолы проповедывали евангелие в чистом виде, но после их смерти это прекратилось. Ты должен, в таком случае, причислить к апостолам автора Деяний апостолов и Послания к евреям и *доказать*, что евангелия написаны действительно Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, между тем как о первых трех определенно можно утверждать обратное. Далее ты пишешь: я не думаю, чтобы в Библии мы нашли другую боговдохновенность, чем ту, которую обнаружили апостолы и пророки, когда они проповедывали народу. Хорошо, но не нужна ли боговдохновенность и для правильного записывания этих проповедей? И если ты допускаешь, таким образом, что в Библии есть небоговдохновенные места, то где ты проведешь границу между ними? Возьми Библию в руки и читай — ты не захочешь отказаться ни от одной строки, кроме тех мест, где встречаются действительные противоречия, но эти противоречия влекут за собой массу следствий. Например, противоречие, что дети Израиля жили в Египте только в продолжение четырех поколений, между тем как Павел в Послании к галатам (*nisi ergo*) говорит о 430 годах; это признает противоречием даже мой пастор, охотно готовый оставить меня в неведении. Ты ведь мне не скажешь, что слова Павла не следует считать боговдохновенными, потому что он упоминает об этом случайно и не пишет вовсе истории — что это за откровение, в котором встречаются такие излишние, ненужные вещи. Но если допустить наличность противоречия, то, может быть, оба одинаково

неправы, и вся библейская история приобретает тогда какой-то двусмысленный характер, да и вообще, как признают все, за исключением пастора Тиле в Обернейланде у Бремена, не приходится говорить о боговдохновенности библейской хронологии. История Ветхого Завета приобретает благодаря этому еще более мифологический характер, и через очень недолгое время это будет признано и со всех церковных кафедр. Что касается Иисуса Навина и останкови им солнца, то самый сильный ваш аргумент заключается в том, что когда Иисус Навин сказал это, то он еще не был боговдохновенен, а впоследствии, когда, боговдохновенный, он написал книгу, то он просто рассказывал событие. Теория искушения — «человек так пал, что сам по себе он не может сделать ничего хорошего». Дорогой Фриц! Брось эту ультра-ортодоксальную и совсем не библейскую ерунду. Когда Берне, живший в Париже сам в обрив, раздавал весь гонорар за свои сочинения бедным немцам, — за что он ни разу не получил благодарности, — то надо думать, что это было нечто хорошее, а Берне, право, не был «вторично-рожденным». Вам, к тому же, вовсе не нужен этот тезис, раз вы имеете учение о первородном грехе. Христос его не знает, как, впрочем, и многое другое из учения апостолов. Учение о грехе я обдумал хуже всего, однако я думаю, что греховность человечества неизбежна. Ортодоксия правильно усмотрела связь между грехом и земными бедствиями, болезнью и т. д. Но она заблуждается в том, что она считает грех причиной этих бедствий, что верно лишь в отдельных случаях. Грех и бедствия взаимно обуславливают друг друга и не могут существовать друг без друга. Но так как силы человека не божественны, то возможность греха неизбежна; то же, что он должен был наступить в действительности, зависело от грубости первых людей, а что он с тех пор не прекращался, это опять-таки имеет свои психологические основания. Но грех и не может прекратиться на земле, ибо он вызывается всеми условиями земного существования; для того, чтобы его не было, бог должен был создать людей иными. Но, создавши их таковыми, каковы они в действительности, он не может требовать от них абсолютной безгрешности, а лишь борьбы с грехом; только поверхностная психология прежних веков могла умозаключать, что борьба эта должна прекратиться вместе со смертью, за которой наступает какое-то *dolce far niente*. Если допустить эти послышки, то морального совершенства можно будет добиться только вместе с совершенством всех других духовных способностей, с растворением в мировой душе. И тут я прихожу к гегелевскому учению, на которое так яростно обрушился Лео.

Впрочем, этот последний метафизический тезис представляет такое заключение, о котором я сам еще не знаю, как к нему отнестись. Далее, согласно этим предпосылкам, история Адама может быть только мифом, ибо Адам или должен быть равным богу, если он был создан безгрешным, или должен был грешить, если при создании он был одарен только человеческими способностями. — Такова моя теория греха, еще очень грубая и неполная; к чему мне в таком случае еще искупление? «Если бог хотел найти средний путь между карающей справедливостью и искупающей любовью, то, в качестве единственного средства, оставалось только заместительство». Теперь посмотри-ка, что вы за люди. Нам вы надоедаете тем, что мы погружаем свой критический лот в глубины божественной мудрости, а сами вы ставите здесь даже границы божественной мудрости. Господин профессор Филиппи не мог бы лучшим образом опровергнуть самого себя. А если даже допустить необходимость этого единственного средства, то разве заместительство перестает быть несправедливостью? Если бог действительно так строг по отношению к людям, то он должен быть также строгим и здесь и не закрывать глаз. Разработай отчетливо, определенно эту систему, и слабые места ее не ускользнут от тебя. — Затем я читаю у тебя очень пышное опровержение «заместительства в качестве единственного средства», когда ты говоришь: «человек не может быть посредником, если даже он был бы освобожден актом божественного всемогущества от всякого греха». Значит, все-таки другой путь? Да, если ортодоксия не имеет лучшего представителя в Берлине, чем профессор Филиппи, то, право, дела ее плохи. Через все рассуждения проходит молчаливо принцип правомерности заместительства. Это — убийца, которого вы наняли для своих целей и который потом убивает вас самих. Вы не стараетесь по-настоящему доказать, что этот принцип не противоречит божественному правосудию, и — сознайтесь честно — вы сами чувствуете, что вы должны были пользоваться этим доказательством против собственной совести; поэтому вы увильваете от принципа и молча признаете факт разумным, приукрасив его несколькими звонкими фразами о сострадающей любви и т. д. «Триединство есть условие искупления». Это опять-таки наполовину правильное следствие вашей системы. Разумеется, две ипостаси следовало бы принять, но третью лишь потому, что так принято традицией.

«Но, чтобы страдать и умереть, бог должен был стать человеком, ибо, не говоря уже о метафизической немыслимости того, чтобы предположить в боге, как таковом, способность к страданию, имелась

налицо также обусловленная справедливостью этическая необходимость». Но, если вы согласны с немыслимостью того, чтобы бог мог страдать, то в Христе бог и не страдал, а только человек. Но: «человек не мог бы быть посредником». Ты еще настолько рассудителен, что не хватаешься здесь, подобно многим, за крайний вывод: «следовательно, бог должен был страдать», и не цепляешься за это. Так же неясно, какое отношение это имеет к «обусловленной справедливостью этической необходимости». Раз принят принцип заместительства, то нет необходимости, чтобы страдающий был непременно человеком; им может быть и бог. Но бог не может страдать, ergo — мы стоим на старом месте. Такова ваша дедукция. На каждом шагу я должен делать вам новые уступки. Ничто не развивается целиком из предыдущего. Так здесь я должен опять уступить тебе, что посредник должен был быть человеком, хотя это вовсе не доказано, ибо если бы я не уступил этого, то я не был бы в состоянии признать дальнейшее. — «Но путем естественного размножения не могло совершиться очеловечение бога, ибо если бы даже бог соединился с существом, родившимся от пары родителей и освобожденным его всемогуществом от греха, то он соединился бы только с этим существом, а не с человеческой природой, и облекся в теле девы Марии в человеческую природу; в его божестве заключалась образующая личность сила». Но ведь это чистая софистика, на которую вы вынуждены идти из-за нападков на необходимость сверхъестественного зачатия. Чтобы осветить вопрос по-иному, господин профессор подсовывает третью вещь: личность. Но это не имеет никакого отношения к делу. Наоборот, связь с человеческой природой тем глубже, чем более человечна личность и чем более божественен оживляющий ее дух. Здесь скрывается еще и другое недоразумение: вы смешиваете тело и личность; это становится еще яснее из слов: «с другой стороны, бог не мог внедрить себя так резко, как первого Адама, в человечество, ибо в этом случае он не оказался бы ни в какой связи с субстанцией нашей падшей природы». Следовательно, дело идет о *субстанции*, об осязательном, о телесном? Но самое интересное — это, что сильнейшие доводы в пользу сверхъестественного зачатия, догмат о безличности человеческой природы в Христе, представляет только гностический вывод из сверхъестественного зачатия (гностический, разумеется, не в смысле отношения к известной секте, а в смысле γνόσις вообще). Если в Христе бог не мог страдать, то тем менее мог страдать безличный человек, — и это выступает наружу через все глубокомыслие. «Так Христос является без какого бы то ни было определенного человеческого

признака». Это совершенно необоснованное утверждение; у всех четырех евангелистов имеется определенная характеристика Христа, сходная в своих существенных чертах. Так, например, мы в праве утверждать, что апостол Иоанн по своему характеру был ближе всего к Христу, но если Христос не имел ни одного человеческого признака, то, значит, Иоанн был лучше всех; а утверждать это может оказаться рискованным.

Вот и ответ на твое рассуждение. Он мне не очень удался, у меня не было под руками записок, а только книги фактур и счетов. Поэтому прошу извинить за вкравшиеся кое-где неясности. От твоего брата еще не имел ни одного письма. *Du reste*, если вы признаете честность моего сомнения, то как вы объясните такое явление? Ваша ортодоксальная психология должна отвести мне место среди самых закоснелых, особенно теперь, когда я окончательно погиб. Я записался в отряд Давида-Фридриха Штрауса — и являюсь первоклассным «мифологом». Уверю тебя, что Штраус чудеснейший малый, это — гений, и ума у него — палата. Он лишил ваши взгляды почвы; исторический фундамент их безвозвратно погиб, а за ним последует и догматический. Штрауса невозможно совсем опровергнуть, поэтому так бешено злы на него пиетисты. Генгстенберг старается из всех сил в «Церковной газете» извлечь из его слов ложные следствия и связать с этим коварные выпады против его характера. Вот что мне так ненавистно в Генгстенберге, сотоварищи! Что им за дело до личности Штрауса? Но они хотят во что бы то ни стало очернить его характер, чтобы люди боялись присоединиться к его взглядам. Это является лучшим доказательством того, что они не могут его опровергнуть.

Но я уже довольно набогословил и хочу поговорить немного о других вещах. Какие замечательные открытия сделал Германский союз из «демагогии» и всех так называемых заговоров, видно из того, что история эта занимает целых 85 печатных страниц. Я еще не видел самой книги, но читал извлечение из нее в газетах, показывающее, какой гнусной ложью угощает наше правительство немецкий народ. Германский союз утверждает с бесстыдной наглостью, что политические преступники были осуждены своими «законными судьями»; между тем, всякий знает, как учреждаются комиссии повсюду, особенно там, где существует публичный суд, — а что произошло в данном случае под покровом тайны, этого никто не знает, ибо обвиняемые должны были поклясться ничего не говорить о допросе. Таково существующее в Германии правосудие, — и мы не можем жаловаться ни на что, ни на что! Недель шесть назад вышла

превосходная книга: «Preussen und Preussentum», von J. Venedey, Mannheim 1839, в которой тщательно анализируется прусское законодательство, государственное управление, распределение налогов и т. д.; результаты получаются ясные: покровительство денежной аристократии за счет бедняков, стремление к абсолютизму; средствами к этому являются: подавление политического образования, держание в невежестве большинства народа, использование религии; блестящий внешний лоск, безграничное хвастовство, обманчивая видимость как будто покровительствуют образованию. Германский союз сейчас же распорядился о запрещении книги и о наложении ареста на нераспроданные еще экземпляры ее; последнее только иллюзорная мера, ибо книготорговцев спрашивают лишь, имеются ли у них экземпляры книги, на что, конечно, всякий порядочный человек отвечает: нет. Если ты можешь достать там эту книгу, то прочти ее, ибо это не родомонтады, а доказательства, почерпнутые из *прусского земского права*. Особенно хотел бы я, чтобы ты раздобыл берневского «Менцеля-французоеда». Книга эта, несомненно, лучшая прозаическая вещь Германии как по стилю, так и по силе и обилию мыслей; она великолепна; кто не знает ее, тот даже не догадывается, что за сила кроется в нашем языке.

[*Конца этого письма нет.*]

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ.

13 ноября 1839 г.

Дражайший Гульельмо!

Почему ты мне не пишешь? Все вы — одна шайка лентяев и лодырей. Я — дело другое. Я не только пишу вам больше, чем вы того заслуживаете, не только основательно знакомлюсь с литературой всех стран; я втихомолку воздвигаю себе из рассказов и стихов памятник, который (если только цензура своим дыханием не превратит блистающей стали в гадкую ржавчину) озарит своим ярким, юным блеском все немецкие страны, за исключением Австрии. В моей груди немолчное брожение, в моем, иногда нетрезвом мозгу вечное горение; я томлюсь в поисках великой мысли, которая прояснит брожение и превратит жар в яркое пламя. У меня теперь зарождается великолепнейший сюжет, по сравнению с которым все прежде написанное мной — только детские игрушки. Я хочу в «сказочной повести» или чем-нибудь подобном выявить современные чаяния, обнаружившиеся в средние века; я хочу вызвать к жизни духов, которые, погребенные под основаниями церковей и подземных темниц, бились под твердой земной корой, стремясь к искуплению. Я хочу попытаться решить хотя бы часть той задачи, которую поставил себе Гудков, — именно написать вторую, подлинную часть Фауста, изобразить Фауста не эгоистом, а жертвующим собой за человечество. Вот Фауст, вот Вечный жид, вот Дикий охотник — три типа предчувствуемой свободы духа, которые легко можно связать и соединить с Яном Гусом. На каком поэтическом фоне развертываются поступки этих трех демонов! Начатая мной прежде поэма о Диком охотнике растворилась в этом. Эти три типа (человеки, почему вы не пишете? 14 ноября) я обработаю совершенно своеобразно; особенного эффекта я жду от трактовки Агасфера и Дикого охотника. Чтобы придать больше поэтичности и значительности вещи, я могу вплести в нее другие элементы из немецких сказаний; это будет не трудно. Повесть, над которой я работаю, пред-

ставляет скорее эскиз, упражнение в стиле и в обрисовке характеров; но задумываемая мною теперь вещь будет тем фундаментом, на котором я строю надежды для своего литературного имени.

15 ноября.

И сегодня нет письма! Что мне делать? Что мне думать о вас? Я вас не понимаю.

20 ноября.

И если вы сегодня не напишете, то я вас мысленно кастрирую, и посмотрю, что будет с вами; око за око, зуб за зуб, письмо за письмо. Но вы, лицемеры, говорите не око за око, не зуб за зуб, не письмо за письмо и оставляете меня при своей проклятой христианской софистике. Нет, лучше хороший язычник, чем плохой христианин.

Появился молодой еврей, Теодор Крейценах, пишущий отличные поэмы и еще лучшие стихи. Он написал комедию, в которой здорово достается В. Менцелю и компании. Все теперь устремляются к новой школе, воздвигая дома, дворцы или хижины на фундаменте великих идей времени. Все остальное идет прахом; сантиментальные песенки остаются неуслышанными, и громовой охотничий рог ждет охотника, который затрубит в него к охоте за тиранами; по верхушкам деревьев проносится гроза божья, а молодежь Германии, потрясая мечами и размахивая кубками, стоит в роще; на горах горят пылающие замки, троны шатаются, алтари дрожат, и если воззовет господь в грозу и бурю: вперед, вперед! то кто осмелится сопротивляться нам?

Мы, Фридрих Энгельс,

верховный поэт в берлинском магистратском погребке

и привилегированный

бражник,

объявляем и возвещаем всем прошлым, настоящим,

отсутствующим и будущим,

что вы все ослы, лентяи, чахнувшие от пустоты своего существования, не пишущие мне каналы и так далее.

Дано на конторской стойке, когда
не было у нас каденъяммера.

Фридрих Энгельс.

В Берлине живет молодой поэт, Карл Грюн; на-днях я прочел его «Книгу странствий», — очень недурную вещь. Но ему, кажется,

уже 27 лет, и он мог бы поэтому писать лучше. У него иногда очень удачные мысли, но часто отвратительная гегелевская риторика. Например, что значит такая фраза: «Софокл, это — высоко нравственная Греция, давшая разбиться своим титаническим порывам о стену абсолютной необходимости. В Шекспире выявилось понятие абсолютного характера».

Позавчера вечером я изрядно наклюкался в винном погребе: выпито 2 бутылки пива и $2\frac{1}{2}$ бутылки рюдесгеймера 1794 года. Был в компании с моим издателем *in spe* и различными филистерами. Образчик диспута с одним из сих филистеров на тему о бременской конституции. *Я*: В Бремене оппозиция правительству не настоящая, ибо она состоит из денежной аристократии, старейшин, сопротивляющихся чиновной аристократии, сенату. *Он*: Однако этого вы не можете утверждать. *Я*: А почему? *Он*: Докажите свое утверждение. — Это здесь сходит за диспут! О, филистеры, садитесь за греческий, изучите его и тогда приходите обратно. Кто знает греческий, тот может диспутировать *rite*. Но таких молодцов я задиспутирую за раз шесть, хотя бы я был наполовину навозюкавшись, а они были трезвы. Эти люди не умеют делать ни из одной мысли правильных выводов в течение хотя бы трех секунд; все у них идет толчками; достаточно дать им говорить полчаса, задать им несколько как будто невинных вопросов, и они *splendidamente* противоречат себе сами. Эти филистеры — отвратительно размеренные люди; я начал петь, и вот они единогласно решили против меня, что они хотят сперва поесть, а потом лишь петь. И вот они стали жрать устрицы, я же с досады курил, пил и ревел, мало думая о них, пока я не заснул блаженным образом. Я теперь — поставщик для Пруссии запрещенных книг: 4 экземпляра берневского «Французоеда», «Парижские письма», его же, 6 томов, «Пруссия и пруссачество» Венедее — строго запрещенная вещь — 5 экз. — все это лежит у меня готовым к отправке в Бармен. Оба последних тома «Парижских писем» я еще не прочел, они великолепны. Там чудесно пробирается король Оттон греческий. Так, он говорит в одном месте: «Если бы я был господом богом, я бы устроил чудесную штуку: я бы воскресил всех великих греков». И вот идет замечательное описание, как эти эллины, Перикл, Аристотель и т. д., прогуливаются по Афинам. Но вдруг получается известие, что прибыл король Оттон. Все собираются в путь, Диоген зажигает свет в своем фонаре, и все торопятся в Пирей. Король Оттон сходит на берег и обращается к окружающим со следующей речью: «Эллины, посмотрите вверх. Небо украсилось баварскими национальными цветами». (Эта речь так хороша, что я

должен ее списать целиком.) «Ведь Греция в древнейшие времена принадлежала Баварии. Пелазги жили в Оденвальде, и Инах был родом из Ландсгута. Я явился сюда осчастливить вас. Ваши демагоги, зачинщики волнений и газетные писаки довели вашу прекрасную страну до края гибели. Пагубная свобода печати породила всеобщий хаос. Посмотрите только, как выглядят маслячные деревья. Я бы уже давно прибыл к вам, но не мог сделать этого раньше, ибо я *еще не так давно на свете*. Теперь вы — члены Германского союза; мои министры сообщат вам последние решения федерального сейма. Я сумею блюсти права своей короны и сделать вас мало-помалу счастливыми. Для моего гражданского листа (жалование короля в конституционном государстве) вы будете мне давать ежегодно шесть миллионов пиастров, и я позволяю вам заплатить мои долги». Греки приходят в смущение, Диоген тычет королю свой фонарь в лицо, Гиппократ же посылает за шестью телегами чемерицы и т. д. Вся эта ироническая вещица — шедевр едкой сатиры и написана божественным слогом. Тебе Берне мало нравится, вероятно, оттого, что ты читаешь одно из его слабых и ранних произведений — «Картинки Парижа». Бесконечно выше стоят «Листки драматургии», критические статьи, афоризмы, а особенно «Парижские письма» и изумительный «Французоед». Описание картинной галлерей очень скучно, в этом ты прав. Но грация, геркулесовская сила, глубина чувства, убийственное остроумие «Французоеда» недосыгаемы. Мы, надеюсь, на Пасху или осенью увидимся в Бармене, и тогда ты получишь иное представление о Берне. То, что ты пишешь об истории дуэли Торстрика, расходится с его сообщением, но, во всяком случае, больше всего неприятностей от этого имел он. Это славный парень, но он не вылезает из крайностей: то пьян, как стелька, то педант.

Если ты думаешь, что немецкая литература постепенно заснула, то ты глубоко ошибаешься. Не воображай, что если ты, подобно птице страусу, спрятал от нее свою голову и не видишь ее, то она перестала существовать. Au contraire, она недурно развивается; ты бы это увидел, если бы обращал на нее больше внимания и жил не в Пруссии, где произведения Гуцкова и др. нуждаются в особом, редко даваемом разрешении. Точно так же ты заблуждаешься, если ты думаешь, что я должен вернуться обратно в христианство. Pro primo мне смешно, что ты меня не считаешь уже более христианином, а pro secundo, — что ты думаешь, будто человек, стряхнувший с себя, во имя идеи, мир представлений ортодоксии, способен дать снова надеть на себя эту смирительную рубашку. Подобный

случай возможен с рационалистом, который убедился в недостаточности своего естественного объяснения чудес и своей тощей морали. Но мифологизм и спекуляция не могут уже спуститься со своих, освещенных утренней зарей глетчеров в туманные долины ортодоксии. Я теперь на пороге того, чтобы стать гегельянцем. Стану ли я им, я, право, не знаю, но Штраус так мне осветил Гегеля, что это кажется мне довольно правдоподобным. Кроме того, его (Гегеля) философия истории как бы вычитана из моей души. Постарайся раздобыть штраусовские характеристики и критические статьи; его работа о Шлейермахере и Даубе прямо-таки замечательна. Кроме Штрауса, никто не пишет так основательно, ясно и интересно. Разумеется, он не непогрешим; но если бы даже вся его «Жизнь Иисуса» оказалась одной грудой софизмов, то это ничего не значило бы, ибо в его сочинении самое важное, это — лежащая в основе всего идея о мифологическом элементе в христианстве; разоблачение ошибочности выводов Штрауса несколько бы не нарушило важности этого открытия, которое всегда может быть сызнова применено к библейской истории. Но огромная заслуга Штрауса в том, что он сумел дать не только одну общую идею, но и великолепно применить ее. Хороший эссеист сумеет там и сям указать на промахи у него, на крайности, но ведь и Лютер в частности не был неуязвим. Однако это несколько не вредит делу. Если Толук сказал что-нибудь дельное о Штраусе, то это — или чистая случайность, или удачно приведенная реминисценция; ученость Толука слишком направлена в ширину и к тому же — это рецептивный ум, совсем не критический, не говорю уже продуктивный. Здравые мысли Толука легко пересчитать по пальцам, а веру в научность своей полемики он сам уже десять лет назад разрушил своим спором с Вегшейдером и Гевениусом. Научная деятельность Толука не оказала длительного влияния, и его время давно прошло. У Генгстенберга была, по крайней мере, одна раз оригинальная, хотя и абсурдная мысль о пророческой перспективе. Я не понимаю, как вы можете не интересоваться ничем, что идет дальше Генгстенберга и Неандера. Неандер заслуживает всяческого уважения, но это не научная величина. Вместо того, чтобы дать в своих работах простор рассудку и разуму, даже если бы ему пришлось вступить в столкновение с Библией, он в тех случаях, когда боится чего-либо подобного, оставляет науку наукой, а сам пытается выбраться с помощью эмпирии или благочестивого чувства. Он слишком благочестив и подчиняется указаниям сердца, чтобы быть в состоянии бороться со Штраусом. Благочестивыми излияниями, которыми так богата его «Жизнь Иисуса»,

он притупляет острие даже своих действительных научных аргументов.

А впрочем, несколько дней назад я прочел в газете, будто гегелевская философия запрещена в Пруссии, будто один знаменитый галлеский доцент-гегельянец должен был, на основании министерского рескрипта, прекратить чтение лекций, а нескольким галлеским молодым доцентам того же направления (Руге и т. д.) дано было понять, что им нечего ожидать назначения. Этим же рескриптом были окончательно запрещены «Берлинские летописи научной критики». Больше я пока ничего не слышал. Я не могу поверить в такое неслыханное насилие даже со стороны прусского правительства, хотя Берне предсказывал это уже пять лет назад и хотя Генгтенберг, как говорят, — интимный друг кронпринца, а Неандер — отъявленный враг гегелевской школы. Если вы услышите что-нибудь об этом деле, то напишите мне. Теперь я собираюсь штудировать Гегеля за стаканом пунша.

В ожидании скорого ответа от тебя

Фридрих Энгельс.

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ.

9 декабря 1839 г.

Дорогой мой!

Только что получилось твое письмо. Удивительно, как долго приходится ждать от вас известий. Из Берлина, со времени твоего и гойзеровского письма из Эльберфельда, — ничего. Это может взбесить чорт знает как (если бы только было доказано существование чорта). Но твое письмо прибыло, и это хорошо.

Подражая тебе, я оставляю теологию под конец, чтобы достойно увенчать пирамиду моего письма. Я занимаюсь очень много литературными работами; получив уверение Гуккова, что ему желательно мое сотрудничество, я ему послал статью о К. Беке; кроме того, я пишу во множестве стихи, которые, однако, нуждаются в тщательной отделке, и работаю над различными прозаическими вещами для выработки слога. Позавчера я написал «Бременскую любовную историю», вчера — «Евреев в Бремене», завтра я думаю написать «Молодую литературу в Бремене», «Ученика» (именно конторского ученика) или нечто подобное. За две недели можно, при наличии хорошего настроения, сострять пять листов, затем отделать слог, вставить там и сям для разнообразия стишки и издать под названием «Бременских вечеров». Мой издатель *in spe* пришел ко мне вчера, я ему прочел «*Odysseus redivivus*», который его привел в страшный восторг; он намерен взять первый роман моего изготовления и вчера хотел, во что бы то ни стало, заполучить томик стихов. Но их, к сожалению, недостаточно и к тому же — цензура. Кто прочтет Одиссея? Впрочем, я не смущаюсь мыслью о цензуре и пишу свободно; пусть потом она вычеркивает, сколько душе угодно; сам я не хочу совершать детоубийство над собственными мыслями. Подобное черкание со стороны цензуры всегда неприятно, но и почетно; автор, которому скоро 30 лет или который написал три книги, не давая работы карандашу цензора, ничего не стоит. Покрытые рубцами воины — лучшие. По книге надо видеть, что она вышла из борьбы с цензурой. Впрочем, гамбургская цензура

либеральна. В моей последней статье в «Телеграфе» о немецких народных книгах имеется несколько весьма едких сарказмов по адресу феодального сейма и прусской цензуры, но в ней не зачеркнуто ни одной буквы.

11 декабря.

О, Фриц! Уже много лет я не был так ленив, как в эту минуту. Ага, меня осенила мысль: я знаю, чего мне нехватает: я должен посетить *tertium locum*.

12 декабря.

Что за скоты — то бишь хорошие люди — эти бременцы! При теперешней непогоде все улицы страшно скользки, и вот они посыпали песком место перед магистратским погребком, чтобы пьяницы не падали. Нарисованный здесь рядом хлопец страдает мировой скорбью; он посетил Г. Гейне в Париже и заразился у него; затем он отправился к Теодору Мундту, у которого выучил некоторые, необходимые для миро-скорби фразы. С того времени он заметно похудел и собирается написать книгу о том, что мировая скорбь есть единственное верное средство против потолстения.



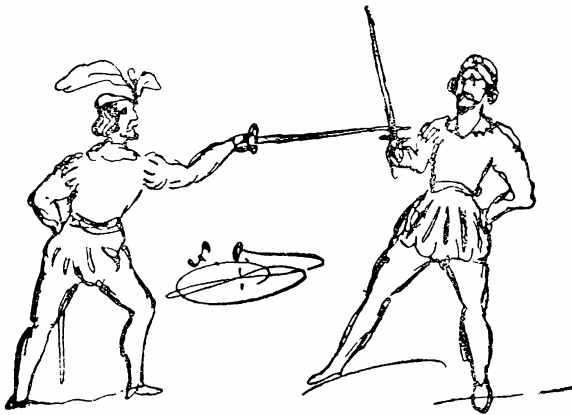
20 января [1840 г.]

Я не хотел тебе писать, пока не выяснится вопрос, остаюсь ли я здесь или уезжаю. Теперь, наконец, я могу сообщить тебе, что пока еще остаюсь.

21 января [1840 г.]

Признаюсь тебе, что у меня нет особой охоты продолжать наш теологический диспут. Понимаешь в этих спорах друг друга плохо; когда отвечаешь, то давно уже успеваешь забыть свои *ipsissima verba*, о которых идет речь, и, таким образом, не приходишь ни к какому результату. Более основательное исследование вопроса потребовало бы гораздо больше места, и нередко я в новом письме не вялся бы подписаться под утверждением какого-нибудь предыдущего письма, ибо за это время я уже успел освободиться от такого рода представлений. Благодаря Штраусу я нахожусь теперь на прямом пути к гегелизму. Таким закоренелым гегельянцем, как Гинрихс и т. д., я, правда, не стану, но я должен впитать в себя многое из этой колоссальной системы. Гегелевская идея бога стала уже моей идеей, и я, таким образом, вступаю в ряды «современных

пантеистов», как выражаются Лео и Генгстенберг, отлично зная, что уже само слово пантеизм вызывает страшный трепет у мало думающих пасторов. Я сегодня наслаждался длиннейшей проповедью «Евангелической церковной газеты» против пиетизма Мерклина. Эта добросовестная «Церковная газета» не только находит в высшей степени странным, что ее зачисляют в пиетисты, но она находит еще целый ряд других курьезных вещей. Помимо того, что современный пантеизм (т. е. Гегель) встречается уже у китайцев и персов, он вполне выражен в секте либертинов, с которой боролся Кальвин. Это открытие слишком уже оригинально. Но еще оригинальнее доказательство его. Не мало требуется труда, чтобы распознать Гегеля в том, что «Церковная газета» выдает за его взгляды, а тут еще приятное за волосы сходство с каким-то неопределенно выраженным тезисом Кальвина о либертинах. Доказательство необычайно забавно. «Бременский церковный вестник» выражается еще почище: он прямо говорит, что Гегель отрицает истину истории! Замечательно, какая получается иногда чепуха, когда стараются изобразить в нехристианском виде философию, которая торчит на пути и которую никак нельзя обойти. Люди, знающие Гегеля только по имени и читавшие лишь примечания к «Hegelingen» Лео, хотят разрушить систему, которая — из *одного* куска и не нуждается, для целостности своей, ни в *одном* скреплении. Этому письму страшно не везет. Только я сажусь



за него, как раздражается чертовщина, и на меня наваливают груды конторской работы.

Это — две марионетки, которые против моей воли имеют такой закорючатый вид. Иначе они были бы людьми. Читал ли ты «Характеристики» и «Критиче-

ские статьи» Штрауса? Постарайся раздобыть их, они все замечательны. Статья о Шлейермахере и Даубе — шедевр. В статьях о вюртембергских одержимых — масса психологических наблюдений. Так же интересны прочие теологические и эстетические статьи. — Кроме того, я штудирую «Философию истории» Гегеля — колоссальное произведение; каждый вечер я систематически читаю

ее, и титанические идеи ее страшно захватывают меня. — Недавно старая болтливая баба Толука, «Литературный указатель», задала по своей глупости вопрос: почему «современный пантеизм» не имеет лирической поэзии, которую, однако, имеет древне-персидский и т. д. пантеизм? «Литературный указатель» должен только подождать, пока я и еще некоторые другие лица проникнутся пантеизмом, тогда появится и лирическая поэзия. Замечательно, впрочем, что «Литературный указатель» признает Дауба и осуждает спекулятивную философию, точно Дауб не признавал принципа Гегеля, что человечество и божество по существу тождественны. Такова эта поганая поверхностность; ее мало тревожит то, что Штраус и Дауб в основном согласны между собой, но если Штраус не верит в брак в Кане Галилейской, а Дауб верит, то одного возносят до небес, а другого называют кандидатом в геену огненную. Освальд Марбах, издатель народных книг, — самая путаная голова среди людей, но особенно (*sum — tum*) в качестве гегельянца. Я совершенно не понимаю, как последователь Гегеля может сказать:

И бренная земля к небесному причастна;
Бог воплощен во мне, — я ощущаю ясно,

ибо Гегель очень резко отличает совокупность от несовершенных отдельных лиц. — Гегелю никто не повредил больше, чем его собственные ученики; только немногие, как Ганс, Розенкранц, Руге и т. д., достойны его. Но какой-нибудь Освальд Марбах — это *plus ultra* всех путаников. Господин пастор Маллет назвал в бременском «Церковном вестнике» систему Гегеля «несвязной речью». Будь это верно, это было бы плохо, ибо если бы распались огромные плиты, эти гранитные мысли, то какой-нибудь отдельный кусок этой циклопической постройки мог бы раздавить не только господина пастора Маллета, но и весь Бремен. Если бы, например, на шею какого-нибудь бременского пастора упала мысль, что всемирная история, это — развитие понятия свободы, то как бы он взвыл!

1 февраля.

Сегодня письмо должно во что бы то ни стало уйти. Русские начинают становиться наивными. Они уверяют, будто война с черкесами не стоила стольких жертв, сколько одна какая-нибудь из небольших наполеоновских битв. На подобную наивность я не считал способным такого варвара, как Николай.

Берлинцы, как я слышу, страшно злы на меня. Я в письмах к ним немного разделал Толука и Неандера и не поместил Ранке среди *supergos*. И это их взбесило. Кроме того, я написал Гойзеру

всякого рода ерунду о Бетховене. — Я прочел очень милую комедию: «Горе тому, кто лжет» Грильльпарцера из Вены, которая значительно выше всей теперешней дребедени в области комедии. Там и сям проглядывает благородный, свободный дух, над которым невыносимым бременем висит австрийская цензура. Видишь, скольких ему стоит усилий нарисовать дворянина так, чтобы не шокировать цензора - дворянина. О tempores, о mores, чорт возьми, сегодня пятое февраля, я бесстыдно ленив, but I cannot help it, я, право, ничего теперя не делаю. У меня на руках много неоконченных статей, но они не подвигаются вперед, а когда вечером я хочу писать стихи, то оказывается всегда, что я так наелся, что не могу удержаться от сна. Этим летом я с огромным удовольствием совершил бы путешествие в Данию, Гольштинию, Ютландию, Зеландию, Рюген. Я подожду, чтобы мой старик прислал мне братишку, я его повезу с собой. У меня страшная охота повидать море; из этого можно было бы сделать интереснейшее описание путешествия и, снабдив его несколькими стихотворениями, издать. Теперь божественнейшая погода, а я не могу выйти. Мне это страшно хочется, вот несчастье!



Это — толстый маклер по сахару, который только-что вышел из дому и у которого привычка говорить: «по мбему мнению». Когда на бирже он побеседует с кем-нибудь и уходит, то он регулярно говорит: «будете здоровы!» Его зовут Иоганн Бергман. Здесь трогательная публика. Вот тебе другая картинка: этот старикан каждое утро напивается, и тогда он становится перед своей дверью и кричит, ударяя себя в грудь: «Ick bin Borger!», т. е. благодарю тебя, господи, что я не таков, как прочие ганноверцы, ольденбургцы или даже французы, а бременский Borger tågen bågen — дитя Бремена!

Выражение лица здешних старух всех сословий и званий истине отвратительно. Особенно у той, что направо, с вздернутым носом, выражение лица чисто бременское.

Речь епископа Эйлерта на орденском празднестве отличается одним существенным достоинством: теперь всякий знает, что следует думать о короле, его клятвопреступление получило официальное подтверждение. Тот самый король, который anno 1815, в минуту страха, обещал своим подданным кабинетским указом дать им конституцию, если они выведут его из тогдашней передраги, этот самый дрянной, паршивый, проклятый король возвещает теперь через Эйлерта, что никто не получит от него конституции, ибо «все за одного»

и один за всех —государственный девиз Пруссии, и «никто не чинит нового платья старым куском материи». Знаешь и ты, почему запрещен четвертый том Роттека в Пруссии? Потому что там сказано, что наш высочайший берлинский сопляк в 1814 г. признал испанскую конституцию 1812 г., а в 1823 г. послал французов в Испанию, чтобы уничтожить эту конституцию и снова навязать испанцам прелесть инквизиции и пытки. В 1826 г. в Валенсии был сожжен инквизицией Ришопе; его кровь и кровь 23-х тысяч благородных испанцев, погибших в тюрьмах из-за либеральных и еретических воззрений, лежит на совести Фридриха-Вильгельма III прусского ««Справедливого»». Я ненавижу его и, кроме него, я ненавижу еще, может быть, двух-трех лиц. Я до смерти ненавижу его; и если бы я не презирал этого сукина сына, то я б его еще больше ненавидел. Наполеон был ангелом по сравнению с ним, а король ганноверский — бог, если наш король — человек. Нет эпохи, более богатой королевскими преступлениями, чем время 1816 — 1830 гг. Почти каждый государь, царствовавший тогда, заслужил смертную казнь. Благочестивый Карл X, коварный Фердинанд VII испанский, Франц австрийский — эта машина, способная только подписывать смертные приговоры и думать о карбонариях; дон-Мигуэль, который — большая стерва, чем все герои французской революции, вместе взятые, и которого, однако, признали с радостью Пруссия, Россия и Австрия, когда он выкупался в крови лучших португальцев; отцеубийца Александр русский и его достойный братец Николай, о чудовищных злодеяниях которого лишне и говорить, — о, я мог бы тебе рассказать интересные истории на тему о любви государей к их подданным. Я жду чего-либо хорошего только от того государя, вокруг головы которого свистят пощечины его народа и во дворце которого революцией выбиты стекла.

Будь здоров.



Твой Фридрих Энгельс.

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ.

Бремен, 20 ноября 1840 г.

Мой дорогой Вильгельм!

Уже, по меньшей мере, полгода, что ты мне не писал. Что мне сказать по поводу таких друзей? Ты не пишешь, твой брат не пишет, Вурм не пишет, Грель не пишет, Гойзер не пишет, от В. Бланка — ни строчки, от Плюмажера — еще меньше; *saugé tonnerre!* — что мне сказать на это? В моем свертке кнастеру было еще семь фунтов, когда я тебе писал в последний раз, а теперь в нем едва ли остался кубический дюйм табаку, а ответа еще нет. Вместо этого вы веселитесь в Бармене, — ну, подождите: ведь я о каждом стакане пива, который вы выпили с тех пор, знаю, выпили ли вы его залпом или в несколько глотков.

Не тебе бы, политическому ночному колпаку, хулить мои политические убеждения. Если оставить тебя в покое в твоем сельском приходе — ведь высшей цели ты себе не ставишь — и дать возможность гулять каждый вечер с госпожей попадшей и несколькими молодыми поповичами, то ты будешь утопать в блаженстве и не станешь думать о злодее Ф. Энгельсе, осмеливающемся выступать с рассуждениями против существующего строя. О, геройское племя! Но вы будете все же вовлечены в политику; поток времени затопит вашу домашнюю идиллию, и вы очутитесь, как раки на мели. Дейтельность, жизнь, юношеское мужество — вот в чем сила.

Вы, вероятно, уж слышали о чудесной потехе, устроенной здесь нашим общим другом Круммахером. Теперь все это уж дело прошлого, но дело было не на шутку. Паниелиты выстроились в батальоны, вняли штурмом арсенал гражданской гвардии и двинулись с огромным трехцветным знаменем по городу. Они пели: «Мы ведем свободную жизнь» и «Виват Паниель! да здравствует Паниель! Паниель славный муж!» Круммахерианцы собрались во дворе собора, осадили ратушу, где заседал в это время сенат, и разграбили оружейный склад. Вооруженные алебардами, они построились во дворе

собора в карре, направили обе пушки, стоявшие у гауптвахты (впрочем, без пороха), против Обернштрассе, откуда шли паниелиты, и стали ожидать таким образом врага. Но последний, дойдя до пушек, повернул с другой стороны к рынку и осадил его. 600 человек конницы заняли сеной рынок, как раз против круммахерианцев, и ожидали команды, чтобы врубиться в их ряды. Тогда бургомистр Смиidt вышел из ратуши. Он прошел между вражескими рядами, стал твердой ногой на камень, на котором была казнена отравительница Готфрид и который выдается на полдюйма над мостовой, и сказал, обратившись к круммахерианцам: «Вы—мужи Израиля!» Затем он повернулся к паниелитам: «"Ανδρες Αθηναῖοι». Затем, поворачиваясь то направо, то налево, он произнес следующую речь: «Так как Круммахер — чужестранец, то не подобает разрешить сражением спор, затеянный им, в стенах нашего славного города. Поэтому я предлагаю обеим уважаемым сторонам отправиться на городскую поляну, представляющую подходящую почву для подобных упражнений».

Это предложение было одобрено. Обе стороны пошли различными воротами, после того как Паниель вооружился каменным щитом и мечом Роланда. Командование над круммахерианцами, силой в 6 239¹/₂ человек, принял пастор Маллет, участник похода 1813 г.; он приказал купить пороху и взять с собой несколько небольших камней от мостовой, чтобы заряжать ими пушки. Прибыв на городскую поляну, Маллет приказал занять прилегающее к ней кладбище, окруженное широким рвом. Он взобрался на памятник Готфрида Менкена и приказал поднять пушки на вал кладбища. Но из-за недостатка лошадей с пушками нельзя было ничего поделывать. Между тем наступило 9 часов вечера, и стало совершенно темно. Войска расположились бивуаком, Паниель в деревушке Швахгаузене, Маллет — в предместьи. Штаб-квартира находилась в манеже перед Бычьими воротами, который, правда, был уж занят трупной цирковых наездников, но когда пастор Кольман фон-Горн стал служить в манеже вечернее богослужение, то наездники сбежали. Это происходило 17 октября. 18-го утром обе армии выступили. Паниель с 4 267³/₄ пехотинцами и 1 689¹/₄ человек конницы атаковал первый. Колонна пехоты, руководимая самим Паниелем, напала на первую боевую линию Маллета, которая состояла из его одержимых и нескольких женщин-зелоток. После того как были заколоты три старые женщины и застрелены шесть одержимых, батальон обратился в бегство и был опрокинут Паниелем в шоссейный ров. На правом крыле Паниеля находился пастор Капелле, который с тремя эскадронами кавалерии, состоявшими из молодых конторских

служащих, обошел Маллета и напал на него с тыла; он занял предместье, отняв, таким образом, у Маллета его операционный базис. Левое крыло Паниеля, под командой пастора Роте, двинулось на Горнское шоссе и оттеснило союз молодежи, не умевшей обращаться с аллебардами, на главные силы Маллета. Тогда мы шестеро услышали на уроке фехтования пальбу, выбежали с фехтовальными куртками, перчатками, масками и шапками; ворота были закрыты, но мы напали на стражу, отняли у нее ключ и таким образом добрались, с рапирами в руках, до поля битвы. Рихард Рот из Бармена снова собрал рассеявшийся союз молодежи, а Геллер из Золингена скрылся с остатками одержимых в один дом; я и трое других сбросили с лошадей несколько паниелитов, сели на лошадей и, при поддержке союза молодежи, опрокинули вражескую кавалерию; главные силы Маллета двинулись вперед, наши рапиры сыпали терцы, кварталы, страх и смерть, и в течение получаса рационалисты были рассеяны. Тогда к нам явился Маллет, чтобы поблагодарить нас, и когда мы увидели, за кого мы сражались, то мы удивленно взглянули друг на друга.

Se non è vero, è, come spero, ben trovato. Отвечайте скорей. И подстегни Вурма, чтобы он мне писал.

Фр. Энгельс.

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ.

[22 февраля 1841 г.]

Ваше высокоблагородие in spe имели милость habuerunt gratiam писать мне scribendi sc. literas. Multum gaudeo, tibi adjuvasse ad gratificationem triginta thalerorum, speroque te ista gratificatione usum esse ad bibendum in sanitatem meam. Χαῖρε, Φύλαξ τοῦ Χριστιανισμοῦ, μέγας Στραυσομάσις, ἄστρον τῆς ὀρθοδοξίας, παῦσις τῆς τῶν πιετίστων λύπης, βασιλεὺς τῆς ἐξηγήσεως!;!;

בראשית ברה אלהים את השמים ואת הארץ ורוח אלהים

носился над Ф. Гребером, когда он творил невозможное и доказал, что дважды два — пять. О, ты, великий охотник за Штраусом, ваклинаю тебя во имя всей ортодоксии, чтобы ты разрушил все проклятое страусово гнездо и проткнул своим копьём Святого Георгия все наполовину высиженные страусовы яйца! Выезжай в пустыню пантеизма, мужественный драконоубийца, борись с Leo rugiens, Руге, ищущим, кого поглотити, уничтожь проклятое страусово отродье и воздвигни знамение креста на Синае спекулятивной теологии! Позволь умолить тебя; смотри, верующие ожидают уже пять лет того, кто раздавит голову страусова змия; они мучались, бросали в него камнями, грязью, навозом, но все выше вздымается его налитый ядом гребень; так как тебе не трудно опровергнуть и разрушить всю постройку, то поднимись и опровергни «Жизнь Иисуса» и первый том «Догматики»; ведь опасность становится все грозней, «Жизнь Иисуса» уже выдержала больше изданий, чем все писания Генгстенберга и Толука, вместе взятые, и уже становится правилом извергать из литературы всякого, кто не штраусианец. А «Галлеские летописи» — самый распространенный журнал Германии, настолько распространенный, что его прусское величество, при всем своем желании, не может запретить его. Запрещение «Галлеских летописей», говорящих ему каждый раз величайшие грубости, превратило бы сразу миллион пруссаков, все еще не знающих, что им думать о нем, в его врагов. И медлить вам больше нельзя, ибо иначе

мы, несмотря на благочестивое настроение короля прусского, осудим вас на вечное молчание. Вообще, вам не мешает набраться немножко больше мужества, чтобы потасовка шла как следует. Но вы пишете так спокойно и чинно, точно курс ортодоксально-христианских акций выше паритета на 100 процентов, точно поток философии течет так же спокойно и чинно между своих церковных плотин, как во времена схоластики, точно между луной догматики и солнцем истины не вдвинулась бесстыдная земля, устроив страшное лунное затмение. Разве вы не замечаете, что по лесам проносится вихрь, опрокидывая все засохшие деревья, что, вместо старого, приобщенного к делу дьявола восстал критически-спекулятивный дьявол, насчитывающий уже массу приверженцев? Мы ежедневно насмешливо, заносчиво вызываем вас на бой; неужели через свою толстую кожу — правда, за 1800 лет она стала старой и твердой, как дерево — вы не чувствуете уколов и не сядете на боевого коня? Но все ваши Неандеры, Толуки, Ницши, Блеки, Эрдманы и как их еще там зовут — мягкий, чувствительный народ, на которых шпага висела бы самым комическим образом; они все такие осторожные, флегматичные, так боятся скандала, что с ними ничего нельзя поделать. У Генгстенберга и Лео имеется хоть мужество, но Генгстенберга так часто выбрасывали из седла, что он совершенно небоеспособен, а у Лео, при последней его драке с гегельянцами, выдрали всю бороду, так что ему теперь неприлично где бы то ни было показываться. Штраус вовсе не оскандалился, ибо если несколько лет назад он думал, что «Жизнью Иисуса» он не наносит никакого ущерба церковному учению, то он мог бы все же, ничем не поступаясь, читать «Систему ортодоксальной теологии», подобно тому как иной ортодокс читает «Систему гегелевской философии»; но если он, как показывает действительно «Жизнь Иисуса», думал, что догматике не наносится вовсе ущерба его взглядами, то всякий знал уже заранее, что он вскоре расстанется с подобными идеями, как только он серьезно займется догматикой. В своей «Догматике» он ведь прямо и говорит, что он думает о церковном учении. Во всяком случае, хорошо, что он поселился в Берлине; там он на своем месте и может словом и пером сделать больше, чем в Штуттгарте.

Что как поэт я обанкротился — это оспаривают со многих сторон. Кроме того, Фрейлиграт не поместил моих стихов не из поэтических соображений, а из-за недостатка места и из-за направления. Во-первых, он вовсе не либерален, а, во-вторых, они пришли слишком поздно; в-третьих, было так мало свободного места, что из стихотворений, предназначавшихся для последних листов, пришлось

выбросить ценные вещи. «Рейнская песня» Н. Беккера — довольно ординарная вещь и уже выдохлась, так что ее уже не решаются хвалить ни в одном журнале. Совершенно иного рода песня «Рейн» Р. Прутца, да и другие стихотворения Беккера гораздо лучше. Речь, сказанная им во время факельюга, самая путаная вещь, которую я когда-либо встречал. За знаки почести со стороны королей — благодарю покорно. К чему это? Орден, золотая табакерка, почетный кубок со стороны короля — это в наше время скорее повор, чем почестъ. Мы все благодарим покорно за такого рода вещи и уверены, что с тех пор, как я поместил в «Телеграфе» свою статью о Э. Арндте, даже сумасшедшему баварскому королю не придет в голову нацепить мне подобный дурацкий бубенчик или же приложить печать сервилизма на спину. Чем кто подлее, подобострастнее, раболепнее теперь, тем больше он получает орденов.

Я теперь бешено много фехтую и смогу в скором времени зарубить всех вас. За последние четыре недели у меня здесь были две дуэли; мой первый противник взял назад оскорбительные слова, сказанные им мне после того, как я дал ему пощечину, и пощечина его остается еще не отомщенной; с другим парнем я дрался вчера и сделал ему знатную насечку на лбу, ровнехонько сверху вниз, великолепную приму.

Farewell!

Твой Ф. Энгельс.

К ИСТОРИИ «СВОБОДНЫХ»

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В «КЕНИГСБЕРГСКУЮ ГАЗЕТУ».

Здесь организуется союз, выступление которого в ближайшее время может приобрести большое значение, если ему удастся в такой форме провести свои принципы, в какой он к этому стремится, или если ему вообще теперь уже будет разрешено публичное выражение своих принципов. Здесь собралось значительное число лиц, примкнувших к новейшему философскому движению и желающих организовать в союз под названием «свободных» с такими же тенденциями, как гольштинский союз филалетов. Так как о стремлениях этого последнего союза, по понятным причинам, еще очень мало известно, то необходимо указать на них для оценки попыток берлинского союза. Задача, которую он поставил себе, состоит в следующем: вывести из ограниченной сферы науки и ввести в широкие круги жизни и распространить там, с одной стороны, основное положение новейшей философии, а именно, что все так называемые откровения, на которые ссылаются позитивные религии, вымышлены; с другой стороны, что только человеческий ум в состоянии дать нам правильное объяснение абстрактных понятий. Согласно с этим, союз отвергает Библию как источник истины и не желает заменить традицию никаким определенным символом веры, вообще не желает устанавливать никаких определенных догматов, а желает лишь поднять знамя единственной и исключительной *автономии духа*. Внутренне он совершенно порвал с церковью, и он сделал бы это и открыто, если бы не хотел избегнуть какого бы то ни было конфликта с государством, так как последнее пока еще тесно связано с церковью. Поэтому члены его пока хотят лишь настолько отделиться от церкви, насколько это возможно без явного нарушения государственных законов. Они поэтому воздерживаются от посещения церкви и от причащения, но по необходимости подчиняются тем церковным формальностям, исполнения которых требует государство, как-то: брак, крещение. Берлинский союз, наоборот, с самого начала будет выступать более решительно, и первый шаг его будет

заключаться в том, что он попытается официально заявить о своем выходе из церкви с подписями всех своих членов. Он полагает, что настало время такого заявления. Он считает своей обязанностью публично отказаться от давно уже чуждых ему традиций и от обязанностей, которых он не может исполнять с чистой совестью. При одном только пассивном отношении его легко могут заподозрить в лицемерии, а этого он хочет во что бы то ни стало избежать. Партии теперь должны определенно группироваться, овцы должны быть отделены от козлиц. Церковь также лишь выиграет от того, что ее паства будет очищена от всех враждебных ей элементов.

ДВА ПИСЬМА к А. РУГЕ.

Берлин, Доротеенштрассе, 56. 15 июня 1842 г.

I.

Уважаемый доктор! Вместе с этим письмом я посылаю вам статью для «Немецких летописей». Работу о Данте я пока отложил в сторону. Я бы прислал свою статью раньше, если бы имел хоть сколько-нибудь времени.

Ваше письмо я получил после того, как оно проделало не мало злоключений. Вы спрашиваете, почему я не послал «Шеллинг и откровение» в «Летописи»? Во-первых, потому, что я рассчитывал написать книгу в 5—6 листов и только в процессе переговоров с издателем вынужден был ограничиться объемом в 3½ листа; во-вторых, «Летописи» до того времени были все еще сдержанны по отношению к Шеллингу; в-третьих, потому, что мне отсоветовали нападать дальше на Шеллинга в журнале, а лучше сразу выпустить против него брошюру. «Шеллинг, философ во Христе» тоже написана мною.

Кстати, я вовсе не доктор и никогда не стану им; я всего только купец и прусский артиллерист. Избавьте меня поэтому от такого титула.

Я надеюсь скоро послать вам новую рукопись, а пока остаюсь с совершенным почтением

Ф. Энгельс (Освальд).

II.

Берлин, 27 июля 1842 г.

Милостивый государь!

На этот раз я пишу вам, чтобы сообщить, что я ничего не пришлю вам.

Я решил на некоторое время совершенно отказаться от литературной деятельности. Причины этого решения очевидны. Я молод и самоучка в философии. У меня достаточно сведений для того, чтобы

составить себе убеждение и, в случае надобности, отстаивать его, но недостаточно для того, чтобы как следует действовать в его интересах. Ко мне будут тем более требовательны, что я — «философский комми-вояжер» и не приобрел права на философствование установленным дипломом. Я намерен, когда я опять напишу что-нибудь, и уже под своим именем, выполнить эти требования. К тому же я теперь не могу тратить слишком много времени, потому что вскоре мне, конечно, опять придется уделять больше времени на торговые дела. До сих пор моя литературная деятельность, если оценивать ее субъективно, сводилась исключительно к попыткам, результат которых должен был выяснить мне, позволяют ли мне мои природные способности плодотворно содействовать прогрессу, принять живое участие в современном движении. Я могу быть довольным результатом и считаю своим долгом все более и более усваивать себе путем научных занятий, которые я продолжаю с еще большим наслаждением, и то, что не дано природой.

Когда в октябре я поеду на свою родину в Рейнскую провинцию, я намерен встретиться с вами в Дрездене и подробнее поговорить с вами об этом. А пока желаю вам хорошего и прошу вас время от времени вспоминать обо мне.

Ваш Ф. Энгельс.

Читали вы возражение Юнга? Я утверждаю, что это самое лучшее из всего того, что он до сих пор написал. Впрочем, теперь здесь находится другой Юнг, сотрудник «Рейнской газеты», из Кельна, и он посетит вас через несколько недель на обратном пути.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

А

- Агасфер, или Вечный жид — легендарное лицо — 29, 30, 485, 542.
- Авенр — полководец первого израильского царя Саула; герой произведения К. Бека — 39.
- Адам — по Библии, первый человек, прародитель человеческого рода — 83, 334, 538, 539.
- Альберих — карлик, хранитель сокровища Нибелунгов, из немецкой народной поэмы «Песни о Нибелунгах» — 62.
- Александр I (1777—1825) — русский император — 463, 553.
- Александр Македонский (356—323 до нашей эры) — царь Македонии, один из величайших мировых завоевателей — 367.
- Алексис, Вилибальд (1797—1871) — известный немецкий беллетрист — 490.
- Алисон, Арчибальд (1792 — 1867) — историк, дал критику теории Мальтуса о народонаселении — 312, 313, 314.
- Алисон, Вильям-Пултни (1790 — 1859), выдающийся профессор медицины в Эдинбурге — 329.
- Альвенслебен, Людвиг фон — немецкий реакционный писатель 40-х годов — 48, 76.
- Альтенштейн, Карл (Altenstein, Karl von) (1770—1840) — прусский статс-министр, просвещенный бюрократ — 73, 119, 269.
- Андроник (Ливий) (род. ок. 280) — основатель эпической и лирической поэзии римлян; раб, принадлежавший представителю фамилии Ливиев. от которых и получил свое имя — 29.
- Ариосто, Людовико (1474—1533) — знаменитый итальянский поэт — 506.
- Аристотель (384—322 до нашей эры) — великий греческий философ — 544.
- Аркрайт (Arkwright), Ричард (1732—1792) — изобретатель механической прядильной машины в эпоху промышленного переворота в Англии — 319, 358, 361.
- Арминий (или Герман) (17—19 до нашей эры) — вождь херусков, похитивший дочь германского князя Туснельду, герой романа Люэнштейна — 43.
- Ардт, Эрнст-Мориц (1769—1860) — поэт и писатель, один из главных идеологов войны за освобождение, профессор в Бонне — 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 559.
- Арним, Елизавета (Беттина), урожд. Брентано (1785—1859) — немецкая писательница периода романтизма — 41, 485.
- Арнольд — см. Руге, Арнольд.
- Аспазия (род. в 470 до нашей эры) — одна из знаменитейших женщин древней Греции, любовница, потом жена Перикла — 171.
- Атилла (Эцель, по прозвищу «Бич божий») (ум. 453) — царь гуннов, основатель их господства — 21.
- Атлант — по греческому мифу исполин, сын Япета, держащий на голове и руках небесный свод — 69.
- Афина Паллада — одно из главных божеств древней Греции, богиня войны, олицетворение мудрости — 20.
- Афродита — греческое имя Венеры, богиня античного мира — 20.
- Ахилл — из греческой мифологии, герой войска, осаждавшего Трою — 42.

Б

- Баадер, Франц фон (1765—1841) — немецкий мистик-богослов, философ реакции, наступившей в Германии после 1813—1815 гг. — 257.
- Бабеф (Babeuf), Гракс (1760—1797) — французский коммунист, организатор «Заговора равных» («бабувисты») — 351, 394, 397, 398.
- Байрон (Byron), Джордж-Гордон (1788—1824) — знаменитый английский поэт — 60, 247, 282, 510.

- Балл, Герман — пастор в Эльберфельде — 11, 495.
- Бармби, Гудвин (1820—1881) — английский священник, социалист — 414.
- Бартоломью (Bartolomew) — имя обвиняемого в подделке банкнот (1800) — 384.
- Бауэр, Бруно (1807—1882) — немецкий теолог и радикальный публицист, один из виднейших младогегельянцев — 188, 189, 191, 193, 194, 197, 198, 200, 204, 206, 208, 211, 216, 217, 218, 219, 220, 232, 247, 260, 265, 341, 342, 407, 430.
- Бауэр, Эдгар (псевдоним—Радге) (1820—1886) — брат Бруно Бауэра, публицист, младогегельянец — 205, 207, 209, 216, 409, 413.
- Бейрстов (Bairstow) — чартист — 399.
- Бейтель — прозвище Генриха Зака — см. Зак, Генрих.
- Бек, Карл (1817—1879) — немецкий социальный и политический поэт — 35, 36, 37, 38, 39, 43, 485, 491, 509, 510, 525, 526, 527, 528, 532, 548.
- Беккер, Август (1814—1875) — немецкий революционер, эмигрант в Швейцарии, сторонник Вейтлинга, умер в Америке — 432.
- Беккер, Николай-Б. (1809—1845) — поэт, автор рейнского гимна («Им его не видать!») — 78, 559.
- Беллини, Винченцо (1802—1835) — итальянский композитор — 37, 80.
- Бель-Иль, мадемуазель де — 42.
- Бельц, Карл-Христиан (1807—1857) — учитель в Эльберфельдской гимназии — 16.
- Беме (Böhme), Яков (1575—1624) — известный немецкий философ и мистик — 477.
- Бен-Джонсон (правильнее — Джонсон, Бенджамин (Benjamin Jonson) (1573—1637) — английский драматург, современник и соперник Шекспира — 344.
- Бенедикс, Родерих (1811—1873) — немецкий драматический писатель, редактор народной газеты «Sprecher» — 428.
- Бентам, Иеремия (1748—1832) — английский философ и юрист, известный филантроп — 364, 365.
- Бергман, Иоганн — маклер по сахару из Бремена — 552.
- Берне (Börne), Карл-Людвиг (1786—1837) — немецкий публицист и критик, предвестник общественно-литературных идей Молодой Германии — 32, 36, 37, 39, 43, 46, 67, 71, 72, 73, 224, 236, 250, 251, 253, 254, 395, 458, 490, 509, 515, 526, 527, 528, 531, 532, 537, 541, 544, 545, 547.
- Бертолле (Berthollet), Клод-Луи (1748—1822) — французский химик, творец химической механики — 303.
- Беттина — см. Арним, Елизавета.
- Бетховен (Beethoven), Людвиг (1770—1827) — великий немецкий композитор — 37, 80, 552.
- Блаз, Рюи — см. Рюи Блаз.
- Блазедов — действующее лицо комического романа Гудцова — 55, 510.
- Бланк, Вильгельм (1821—1892) — приятель Энгельса — 479, 488, 493, 495, 508, 511, 536, 554.
- Блек (Bleek), Фридрих (1793—1859) — немецкий протестантский теолог, декан Боннского университета — 558.
- Блек (Bleck), Джозеф (1728—1799) — шотландский химик и физик — 349.
- Блэкстон (Blackstone), Вильям (1723—1780) — английский юрист, автор комментариев к английским законам — 370.
- Блюнчли (Bluntschli), Иоанн-Каспар (1808—1881) — юрист, политический деятель, противник радикализма, автор официального отчета «Die Kommunisten in der Schweiz». (Цюрих, 1843) — 404.
- Блюхер, Гебгард-Лебрехт (1742—1819) — прусский фельдмаршал, победитель Наполеона. Здесь Влохером называется Отто Виганд; см. Виганд, Отто — 202, 209.
- Боз — псевдоним Диккенса — см. Диккенс, Чарльз.
- Бойрман (Beurmann), Эдуард, немецкий писатель, стоял близко к Молодой Германии — 491, 492, 526, 530.
- Борджия, Лукреция (1480—1519) — знаменитая итальянская красавица, известная своей распущенностью — 42.
- Брандис, Христиан-Август (1790—1867) — немецкий ученый и историк философии, профессор в Бонне — 199.
- Бриджватер (Bridgewater), Фрэнсис (1736—1803) — герцог, пэр Англии — 363.
- Бруно — см. Бауэр, Бруно.
- Брут, Люций-Юний (уб. в 509 г. до нашей эры) — римский консул, присутствовавший к смерти своих сыновей — 171.
- Брут, Марк-Юний (85—42 до нашей эры) — римский республиканец, друг Цезаря, глава заговора против Цезаря-диктатора — 487.
- Буль, Джон — см. Джон Буль
- Буль (Buhl), Людвиг (1814 — после 1880) — берлинский радикальный пи-

- сатель, младогегельянец, издатель журнала «Патриот» — 216, 217.
- Буонарроти, Филипп (1761—1837) — французский коммунист, потом историк, участник «Заговора равных» Бабефа — 394.
- Бэкон (Васон), Франсис (1561—1626) — известный английский философ и государственный деятель — 351, 368.
- Бюлов-Суммеров (Bülow-Summeow), Эрнст-Готфрид-Георг фон (1775—1851) — публицист консерватор, реакционный критик прусской бюрократии и прусской финансовой политики — 232, 265.
- Бургерс, Генрих (1820—1878) — немецкий коммунист 40-х годов, участник кельнского процесса коммунистов, впоследствии примкнул к либералам — 430.
- Бюффон, Жорж-Луи-Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель — 349.
- В**
- Ваал — библейское название бога языческих семитов Палестины, Финикии и Сирии — 115.
- Ваксман, Карл-Адольф фон (1787—1862) — известный немецкий новеллист, сотрудник многих популярнейших журналов — 492, 499.
- Валесроде, Людвиг-Рейнгольд (псевдоним — Эмиль Вагнер) (1810 — 1889) — выдающийся демократический публицист в Кенигсберге, близкий друг Якоби — 235, 236.
- Валленштейн, Альбрехт (1583—1634) — известный полководец эпохи Тридцатилетней войны, герой многих литературных произведений — 488.
- Валли — героиня романа Гуцкова — 32, 490.
- Вальграф, Фердинанд-Франц (1748 — 1824) — кельнский археолог и знаток искусства, основатель музея в Кельне — 64.
- Варнгаген фон-Энзе (Varnhagen v. Ense), Карл-Август (1785—1858) — немецкий писатель, литературный критик и биограф — 250, 532.
- Варнгаген фон-Энзе, Рахиль, урожд. Левин-Маркус (1771 — 1833) — жена Карла-Августа Варнгагена фон Энзе, одна из замечательнейших женщин первой четверти XIX века, знаменита своим литературным салоном в Берлине — 485.
- Вегшейдер, Юлий-Август (1771—1849) — немецкий теолог, рационалист — 546.
- Вейссе, Христиан-Герман (1801—1866) — профессор Лейпцигского универси-
- тета, философ-гегельянец, впоследствии соединивший систему этического теизма с христианской догмой — 526.
- Вейтлинг, Вильгельм (1808—1871) — немецкий утопист-коммунист, по профессии портной — 403, 404, 405, 412, 413, 425, 426.
- Веллал — одно из названий диавола, заимствованное из Псалтыря — 171, 335.
- Веллингтон, Артур-Колли-Веллесли (1769—1852) — известный английский полководец, победитель Наполеона и вождь крайних консерваторов — 332.
- Вельзевул — сатана, злой дух — 335.
- Венедей, Якоб (1805—1871) — немецкий радикальный публицист и политический деятель, позднее умеренный либерал — 541, 544.
- Вернер — герой произведения Гуцкова — 253.
- Виганд, Отто (1795 — 1870) — издатель в Лейпциге младогегельянской литературы, между прочим — «Немецких летописей» (см. также Блюхер) — 202, 209, 210, 212, 216, 217.
- Виктор I Святой (187—202) — избран в папы в 190 г., известен борьбой с монархиянами — 62.
- Виктория (1819—1901) — королева Великобритании — 259.
- Виланд, Кристоф-Мартин (1733—1813) — известный немецкий писатель, один из создателей новой немецкой литературы — 476, 484.
- Виль (Wihl), Людвиг (1807—1882) — немецкий поэт и критик, примыкающий к группе Молодой Германии, один из сотрудников «Телеграфа» — 491.
- Вильгельмина — название элегии Вюльффинга, вероятно имя его жены, на смерть которой была написана элегия — 20.
- Вильм — см. Гребер, Вильгельм.
- Винбарг, Лудольф (1802—1872) — немецкий писатель, принадлежавший к группе Молодой Германии — 35, 36, 248, 250, 251, 252, 253, 491, 526, 530, 531, 532.
- Винклер — миссионер в Бармене — 488.
- Винклер, Карл-Готфрид-Теодор (псевдоним — Теодор Гелль) (1775—1856) — немецкий писатель, драматург, издатель «Вечерней газеты» — 490, 492, 500, 501.
- Виттенштейн — фамилия купеческой семьи в Нижнем Бармене — 495.
- Вихельгаузен, Петр — уполномоченный общины барменских кушцов, зарегистрировавший рождение Энгельса — 437.

Вихельхауз — один из Вихельхаузенов в Бармене — 525.
 Вольтер, Франсуа-Мари-Аруэ (1694—1778) — крупнейший представитель литературы эпохи просвещения во Франции XVIII века — 15, 187, 191, 192, 205, 218, 220, 282, 288.
 Вурм — приятель Энгельса в Бонне — 474, 477, 479, 480, 484, 489, 504, 507, 511, 524, 525, 533, 535, 554, 556.
 Вюльфлинг (Вюльфинг), Фридрих-Людви́г, — барменский поэт — 20.

Г

Гаар (Naag), Елизавета-Франциска-Маврикия фон (1797—1873) — мать Энгельса — 437.
 Габлер, Георг-Андреас (1786—1853) — немецкий философ-гегельянец, в 1835 г. занявший кафедру Гегеля в Берлинском университете — 231.
 Газе, Ф. — издатель иенской «Всеобщей литературной газеты» — 16.
 Гайде, Эрнст фон дер, см. Грюн, Карл.
 Галлилей (1564—1642) — знаменитый итальянский физик и астроном, открывший закон движения падающих тел — 467.
 Галлер (Haller), Карл-Людвиг фон (1768—1854) — один из идеологов реакции начала XIX века, профессор истории и государственного управления; основной труд — «Restauration der Staatswissenschaften» — 260.
 Гамлет — герой трагедии Шекспира того же названия — 509.
 Ганимед — согласно мифу, сын царя Трои, из-за своей необыкновенной красоты похищенный богами — 532.
 Ганнон или Анио (святой) — архиепископ кельнский (1056—1075) — 62.
 Ганс, Эдуард (1797—1839) — немецкий юрист, представитель гегельянства в юриспруденции, либерал — 73, 110, 114, 512, 527, 551.
 Гантче, Иоганн-Карл-Леберехт (1796—1856) — профессор, временный директор Эльберфельдской гимназии, в которой учился Энгельс — 16, 439.
 Ге (He), д-р — 480.
 Гегель, Георг - Фридрих - Вильгельм (1770—1831) — знаменитый немецкий философ — 35, 40, 43, 46, 49, 50, 52, 53, 70, 71, 72, 73, 85, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 129, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 147, 148, 150, 151, 162, 164, 167, 172, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 209, 210, 217, 218, 219, 220, 229, 230, 231, 232, 247, 248, 249, 250, 251, 252,

254, 255, 256, 261, 340, 342, 343, 365, 376, 405, 406, 408, 502, 503, 504, 511, 512, 537, 546, 547, 549, 550, 558.
 Геден — согласно Библии один из известнейших судей израильских, избавивший свой народ от нашествия мадианитян и других «сынов Востока» — 216.
 Гезениус, Вильгельм (1786—1872) — немецкий богослов, филолог, анатом семитических языков — 546.
 Гей, Иоганн-Вильгельм (1789—1854) — немецкий священник, автор басен и стихов для детей — 19.
 Гейне, Генрих (1798—1856) — знаменитый немецкий поэт — 17, 35, 41, 46, 67, 86, 251, 252, 253, 254, 422, 484, 485, 490, 526, 531, 532, 549.
 Геллер, Роберт (1812—1871) — немецкий писатель, журналист, либерал — 492, 499.
 Геллер (Höller) — из Золингена — 556.
 Гелль, Теодор — псевдоним Карла-Готфрида-Теодора Винклера, см. Винклер, К.-Г.-Т.
 Гельмс, Иоганн-Якоб — свидетель при записи рождения Энгельса — 437.
 Гемон — герой средневековых сказаний из цикла сказаний о Карле Великом — 28, 32, 477.
 Генгстенберг, Эрнст-Вильгельм (1802—1869) — немецкий богослов, профессор Берлинского университета, издатель ортодоксальной «Евангелической церковной газеты» — 105, 188, 203, 215, 216, 220, 491, 514, 520, 540, 546, 547, 550, 557, 558.
 Генинг, Леопольд (1791—1866) — философ-гегельянец, с 1827 г. издававший официальный орган гегельянства «Летопись научной критики» (Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik) — 232.
 Геновева (Женевьева) Брабантская — герцогиня, героиня западно-европейской средневековой легенды — 27, 30, 31.
 Генрих IV (1553—1610) — король Франции, основатель новой династии Бурбонов — 8.
 Генрих Лев (1129—1195) — герцог Баварии и Саксонии, герой одной из народных книг — 28, 29.
 Георг I (1660—1727) — король Великобритании и Ирландии — 357, 368.
 Георг III (1738—1820) — король Великобритании и Ирландии — 357.
 Георгий святой, Великомученик, Победоносец — один из наиболее популярных святых христианского мира — 115, 557.
 Геразим (ум. в 475 г.) — галестинский

- аббат, которому приписывается история о рабе Андронике (см.) — 29.
- Геракл или Геркулес — национальный греческий герой, воспетый Гомером — 488, 545.
- Гербарт, Иоганн-Фридрих (1776—1871) — немецкий философ, ученик Фихте — 256.
- Гервег (Herwegh), Георг (1817—1875) — немецкий радикальный политический лирик — 93, 250, 408.
- Геркулес — см. Геракл.
- Герлосзон (в действительности Герлос), Георг-Карл-Регинальд (1804—1849) — немецкий писатель, автор исторических романов — 492, 500.
- Герман (Гребер) — 534.
- Герман, Рейнгард (ум. 1839) — проповедник в Эльберфельде с 1836 г. — 11, 488, 495.
- Геррес, Гвидо (1805—1852) — немецкий католический клерикальный писатель, издатель «Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland» — 27, 28, 32, 34, 52, 53.
- Геррес, Иосиф фон (1776—1848) — ученый рейнландец, в молодости приверженец французской революции, позднее — католический клерикальный публицист в Баварии — 512.
- «Герцог Эрнст» — герой средневековой песни неизвестного автора — 29.
- Гершель, Вильям (1738—1822) — знаменитый английский астроном, усовершенствователь телескопа — 328.
- Гескиссон (Huskisson), Вильям (1770—1830) — государственный деятель Англии, финансист, содействовал реформе таможенного тарифа — 232.
- Гесс (Hess), Моисей (1812—1872) — немецкий литератор, представитель так называемого «истинного социализма» — 407, 422, 425, 427, 429, 430.
- Гете, Иоганн-Вольфганг (1749—1832) — великий немецкий поэт — 15, 20, 29, 37, 46, 82, 337, 340, 345, 476, 484, 485, 490, 491, 495, 499, 507, 509, 510, 525, 528, 529, 531, 532.
- Гец фон-Берлихинген (1480—1562) — типичный представитель немецкого рыцарства, герой драмы Гете «Гец фон Берлихинген» — 525.
- Гильдебрандт, Теодор — псевдоним Энгельса; см. Энгельс, Фридрих — 507.
- Гильзман (Hülsmann), Вильгельм — лютеранский пастор в Эльберфельде, брат Эд. Гильзмана — 11.
- Гильзман (Hülsmann), Эдуард — пастор в Дале, позднее в Леннипе, автор «Predigerbibel» (1835), послужившей началом спора между ним и И.-Ф. Зандером — 11, 21.
- Гинрикс, Герман-Фридрих-Вильгельм (1794—1861) — профессор философии, ученик и последователь Гегеля, примыкал к старо-гегельянскому направлению — 257, 549.
- Гиппократ (Hippokrates) (460—377 до нашей эры), знаменитый врач древности, отец медицины — 545.
- Гирлянда — героиня средневекового сказания романского происхождения — 31.
- Гирцель, Бернгард (1807—1847) — профессор Цюрихского университета, консерватор, враг Д.-Ф. Штрауса; уличенный в подделке векселей, покончил жизнь самоубийством — 215.
- Гисмонда — героиня произведения Иммермана — 87.
- Гладстон, Вильям (1809—1898) — государственный деятель Великобритании второй половины XIX века, лидер либералов — 284.
- Годвин, Вильям (1756—1836) — английский радикал, автор исследования о политической справедливости — 364.
- Гогенштауфены — немецкий княжеский род, занимавший императорский престол с 1134 до 1254 г. — 262.
- Гойзер — приятель Энгельса — 507, 532, 533, 534, 551, 554.
- Гольбах, Поль-Анри (1723—1789) — французский философ-материалист XVIII века — 282.
- Гольбейн, Ганс (ок. 1460—1524) — немецкий художник швабской школы — 64, 89.
- Гомер — действительный или мнимый автор греческого эпоса «Илиада» и «Одиссея» — 29, 438, 444, 506.
- Гораций Флакк (Quintus Horatius Flaccus) (65—8 до нашей эры) — римский поэт времен Августа — 20, 527.
- Горрисен, Джордж — сожитель Энгельса в Гамбурге — 473.
- Госснер, Иоганн (1773—1858) — известный немецкий проповедник, основатель носящего его имя миссионерского общества — 531.
- Гото, Генрих-Густав (1802—1873) — историк искусства и эстетик гегелевской школы, профессор берлинского университета — 43.
- Готфрид — отравительница в Бремене — 555.
- Готфрид Бульонский (ок. 1060—1100) — герцог Нижней Лотарингии; по преданию — вождь первого крестового похода — 29.
- Готфрид Страсбургский — средневековый немецкий эпик, живший в конце XII и начале XIII века. Автор поэмы «Тристан и Изольда» — 32.

- Готшед, Иоганн-Кристоф (1700—1766) — немецкий писатель, профессор поэзии, логики и метафизики, основатель в 1727 г. «Лейпцигское немецкое общество» поэзии и стихосложения — 44.
- Гоуальд, Эрнст-Кристоф фон (1778—1845) — немецкий писатель и драматург — 509.
- Гофер, Андрей — тирольский народный герой в партизанской войне против французов 1803 г., послужившей темой для трагедии Иммермана — 509.
- Гофман и Кампе — издательская фирма в Гамбурге — 81.
- Гофмансвальдау, Кристиан-Гофман фон (1613—1679) — немецкий поэт, основатель так называемой «второй силезской школы» — 43.
- Граббе, Христиан-Дитрих (1801—1836) — немецкий драматург — 486.
- Гребер (Graeber), Вильгельм (Вильм, Гульельмо) (1824—1895) — друг детства Энгельса, сын Фрица-Фридриха Гребера, пастора церковного прихода Геморне в Бармене. Пастор в Эльберфельде, с 1853 г. в Эссене — 471, 473, 475, 477, 479, 488, 495, 505, 509, 524, 525, 530, 534, 542, 554.
- Гребер, Герман-Иоганн (1814—1904), брат Вильгельма Гребера, учитель городской школы в Бармене, с 1840 г. пастор в Мейдерихе — 534.
- Гребер (Graeber), Фридрих (Фриц, Friderice) (1822—1895) — друг детства Энгельса, брат Вильгельма Гребера, пастор в Исеуме — 471, 473, 475, 477, 481, 487, 490, 492, 493, 495, 507, 513, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 526, 527, 533, 534, 536, 537, 548, 549, 557.
- Грель — приятель Энгельса — 554.
- Гризельдис — героиня средневекового сказания романского происхождения — 31, 32, 33.
- Григорий VII, Гильдебранд — римский папа с 1073 г. по 1085 г. — 8.
- Грильпарцер, Франц (1791—1872) — знаменитый австрийский драматург — 492, 552.
- Гримм, братья — издатели знаменитого собрания сказок (см. также Гримм, Вильгельм и Гримм, Яков) — 33, 56.
- Гримм, Вильгельм (1786—1859) — брат Якова, филолог-языковед, принимавший участие в создании его основных трудов — 62, 63.
- Гримм, Яков (1785—1863) — знаменитый германский филолог, один из семи геттингенских профессоров — 472.
- Гросскрейц — сотрудник «Вечерней газеты» — 500.
- Грэхэм (Graham), Джеймс (1792—1861) — английский государственный деятель — 282, 284, 377.
- Грюн, Анастасий (1806—1876) — немецкий лирический поэт — 491.
- Грюн, Карл (1817—1887) (псевдоним — Гайде, Эрих фон) — немецкий публицист, радикал, главный представитель «истинного социализма» — 36, 250, 422, 543.
- Губ, Игнатий (1810—1880) — немецкий лирический поэт, издатель «Рейнского Одеона» в Дюссельдорфе — 492.
- Губер — нотариус в Ксантене — 64.
- Гульельмус — см. Гребер, Вильгельм.
- Гунтсман (Huntsman), Веньямин (1704—1766) — английский изобретатель нового способа отливки стали и фабрикант ее в Шеффилде — 362.
- Гус (Hus), Ян (1369—1415) — чешский реформатор — 542.
- Гутенберг, Иоганн — изобретатель книгопечатания, год рождения точно неизвестен, умер в 1468 г. — 47, 464, 465, 468, 470.
- Гуттен, Ульрих фон (1488—1523) — рыцарь, сторонник гуманизма, принимавший участие в социальном и религиозном движении эпохи реформации — 93.
- Гуцков, Карл (1811—1878) — немецкий писатель, один из представителей Молодой Германии — 17, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 485, 488, 490, 492, 495, 508, 510, 515, 516, 522, 525, 526, 530, 531, 532, 542, 545, 548.
- Гюбнер, Карл-Вильгельм (1814—1879) — немецкий художник-жанрист, известен своей картиной из жизни силезских ткачей — 420.
- Гюго, Виктор (1802—1885) — французский писатель, глава французской романтической школы — 42.
- Гюльер, Фридрих-Вильгельм (1812—1879) — баварский поэт, писатель для юношества — 19.

Д

Д. — см. Дюрфгольт.

Давид — иудейский царь, победитель филистимлян — 21, 52, 188, 489.

Давид — действующее лицо трагедии К. Бека — 39.

Дамокл (405—367 до нашей эры) — любимец сиракузского тирана Дионисия старшего. С именем Дамокла связано выражение «Дамоклов меч» — 204.

Данте, Алигьери (1265—1321) — знаменитый итальянский поэт средневековья — 25, 565.

- Дантон, Жорж-Жак — (1759—1794) — выдающийся политический деятель эпохи Великой французской революции — 191, 192, 211, 218.
- Дауб, Карл (1763—1836) — представитель спекулятивной теологии, учитель Фейербаха и Маргейнеке — 546, 550, 551.
- Дэви (Davy), Гэмфри (1778—1829) — английский химик, специалист по агрономической химии — 303, 316.
- Декарт (Descartes), Рене (1596—1650) — великий французский мыслитель, родоначальник новой рационалистической философии и механики — 118.
- Де-Лолем (Delolm), Жан-Луи (1740—1806) швейцарский юрист и политический писатель, изучавший английскую конституцию — 370.
- Денкомб (Duncombe), Томас-Слингсби (1796—1861) — радикальный политик, сторонник чартизма — 283, 285, 374.
- Деринг, Карл-Август (1783—1844) — религиозный писатель и поэт, пастор в Эльберфельде с 1816 г. — 11, 19, 21, 22, 495.
- Джибсон (Gibson), Томас-Мильнер (1806—1884) — английский либеральный политик — 380.
- Джон Буль (John Bull) — юмористическое прозвище англичан, впервые употребленное Свифтом или Джоном Арбутнотом — 62.
- Джонсон, Самюэль (1709 — 1784) — английский писатель, ученый и критик, прославился своим словарем (Dictionary of the English Language, 1755) — 325.
- Джюльетта — героиня шекспировской трагедии — 60.
- Диана — древне-италийская богиня луны, отождествленная с греческой Артемидой — 64.
- Диккенс, Чарльз (1812—1870) — знаменитый английский писатель, выступивший в 1836 г. на литературное поприще под псевдонимом Боа — 415.
- Дингельштедт, Франц фон (1814—1881) — немецкий политический лирик и драматург — 18, 36, 492.
- Диоген Синопский (Циник) (412 или 414 — 323 или 324 до нашей эры) — греческий философ цинической школы, герой произведения Виланда — 476, 544, 545.
- Дионис, или Вакх — по греческой мифологии бог вина и веселья — 154.
- Дистервег, Фридрих-Адольф-Вильгельм (1790—1866) — немецкий педагог, сторонник идей Песталоцци — 16.
- Догерти (Гью) — английский фюрерист — 397.
- Домбровский, Ян-Генрих (1755—1818) — польский генерал, создатель польских легионов при революционной французской армии (1797—1801) — 462.
- Дон-Кихот — герой романа Сервантеса того же названия — 236 510.
- Доницетти, Гаэтано (1797—1848) — итальянский композитор — 80.
- Дросте-Гюльсгоф, Аннаета-Елизавета фон (1797—1848) — немецкая поэтесса середины XIX века — 60, 61.
- Дуллер, Эдуард (1809—1853) — немецкий историк, политический писатель и поэт. Принимал участие в политическом движении 1848—1849 гг. — 21, 43, 486, 492.
- Дульциния — имя дамы сердца Дон-Кихота — 20.
- Дюма, Александр (1802—1870) — известный французский романист — 42.
- Дюрфгольт (Dürfholt) (Д.) — конторщик у Виттенштейнов, начинающий писатель — 21, 495.
- Дюшатель, Шарль (1803—1867) — французский государственный деятель, защитник теории Мальтуса — 232.

Е

- Евгений Савойский, принц (1663—1736) — сражался в австрийских войсках против турок; «Принц Евгений» — название баллады Фрейлиграта — 18.
- Еврипид (480—407 до нашей эры) — знаменитый греческий трагик — 438.
- Елена — героиня немецкой народной книги — 31, 477.
- Елизавета Тюдор (1533—1603) — королева Англии и Ирландии — 372, 380.

Ж

- Жан-Поль (псевдоним Иоганна-Павла-Фридриха Рихтера) (1763—1825) — известный немецкий писатель идеалистического направления — 11, 531, 532.
- Жирар, Филипп-Анри де (1775—1845) — механик, усовершенствователь придельных машин — 360.

З

- Зак, Карл-Генрих (прозвище — Бейтель) (1789—1875) — протестантский теолог, ученик Шлейермахера, профессор теологии в Бонне — 188, 199, 200, 203, 208, 211, 213, 216, 217, 218, 220.
- Зандер, Иммануил-Фридрих (1797—1859) — мистический теолог, пропо-

ведник в Вихлинггаузене с 1822 г. и в Эльберфельде с 1838 г., борец против рационализма — 11, 12, 21.

Занд, Жорж (1804—1876) — знаменитая французская писательница — 61, 247, 400, 415.

Зигварт «фон Бутылка» — см. также Теодерих «фон Бутылка» — 48.

Зиглинда — мать Зигфрида, героя «Нибелунгов» — 62.

Зигмунд — отец Зигфрида, героя «Нибелунгов» — 62.

Зигфрид — главный герой древнегерманского эпоса «Песни о Нибелунгах» — 28, 31, 33, 62, 63, 65, 66, 477, 488.

Зимрок, Карл (1802—1876) — немецкий поэт и филолог, переводчик немецкой средневековой и народной литературы — 27, 30, 33.

Зюнден, фон дер — прозвище Юлиуса Мюллера — см. Мюллер, Юлиус.

И

И., Петер — см. Ионггауз, Петер.

Иаков — библейский патриарх — 215, 217.

Иаков — один из двенадцати апостолов — 161, 179.

Иегова — собственное имя божества в Ветхом завете — 157, 208.

Иезекиил — библейский пророк — 188.

Иисус Навин — предводитель израильтян по смерти Моисея — 537.

Иисус Христос — 22, 64, 132, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 198, 282, 323, 343, 403, 406, 474, 483, 485, 488, 494, 514, 515, 518, 521, 522, 526, 537, 539, 540, 546, 557, 558, 565.

Изольда — легендарная героиня средневекового эпоса и романа «Тристан и Изольда» — 31.

Илия (Илья) — библейский пророк — 115, 180, 218, 500.

Иммерман, Карл (1794—1840) — немецкий писатель переходной эпохи от романтизма к реализму. Был близок к Молодой Германии — 45, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 490, 509.

Инах — древнейший мифический царь Аргоса — 545.

Иоанн — апостол, евангелист — 161, 174, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 198, 215, 494, 522, 536, 540.

Иоанн Креститель — 180, 251.

Иона — библейский пророк — 212.

Ионггауз, Петер (1816—1884) — приятель Энгельса в Бармене, учитель Дюссельдорфской школы, с 1847 г.

священник в Эссене — 474, 480, 483, 484, 495, 507, 524, 528, 534.

Иосиф — по Евангелию, муж Марии («Богородицы») — 494, 513, 514, 518, 526.

Ирод, Агриппа I (11 г. до нашей эры — 44) — царь иудейский, внук Ирода Великого — 174.

Исайя — библейский пророк — 152, 169, 174, 178.

Исидор — герой произведения Рауша — 509.

Иуда — ученик Иисуса, называемый в Евангелии его братом. Ему приписывается так называемое «послание Иуды» — 173.

Иуда Искариот — по Евангелию, один из двенадцати апостолов, предавший Христа — 30.

Ифигения — по греческой легенде дочь Агамемнона и Клитемнестры, героиня трагедий Эврипида, Расина и Гете — 42.

К

Каба (Cabet), Этьен (1788—1856) — французский коммунист-утопист, основатель коммунистической колонии Наувоо в Иллинойсе (С.-А. С. Ш.). Основной труд — «Путешествие в Икарию» (1839) — 398, 400, 401, 404, 411, 412, 413.

Кальвин, Жан (1509—1564) — знаменитый реформатор и церковный диктатор в Женеве — 550.

Кальдерон, Серафин-Эстебан (1801—1867) — испанский писатель — 457, 460.

Кампе — см. Гофман и Кампе.

Кант, Иммануил (1724—1804) — величайший немецкий философ, родоначальник немецкого классического идеализма — 35, 50, 106, 111, 124, 142, 405, 406, 408, 515.

Капелле — пастор в Бремене — 555.

Карденио — герой произведения Иммермана — 509.

Карл II (1630—1685) — король Великобритании и Ирландии — 336.

Карл X (1757—1836) — французский король (1824—1830) — 46, 121, 553.

Карл Великий (Charlemagne) (742—814) — король франкский и первый император Германской империи — 32, 41.

Карл-Филипп-Теодор (1724—1799) — курфюрст пфальцский — 14.

Карлейль (Carlyle), Ричард (1790—1843) — английский радикал-революционер, издававший, даже в тюрьме, революционные памфлеты и газеты — 381.

- Карлейль (Carlyle), Томас (1795—1881) — известный английский филолог и историк — 281, 321, 324, 327, 328, 329, 331, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347.
- Каррьер, Мориц (1817—1895) — немецкий философ и эстетик, гегельянец — 18.
- Картрайт (Cartwright), Эдмонд (1743—1823) — изобретатель механического ткацкого станка в эпоху промышленного переворота в Англии — 358.
- Катон, Марк-Порций, называемый Младшим (95—46 до нашей эры) — римский трибун, борющийся против Цезаря и Помпея — 171.
- Кеплер, Иоганн (1571—1630) — великий астроном, основатель современной теоретической астрономии — 339.
- Кеппен (Кёррен), Фридрих (1807—1863) — берлинский младогегельянец, радикальный публицист, друг Маркса и Энгельса, позднее специалист по истории буддизма — 73, 205, 207, 208, 216, 217.
- Кестер — учитель барменской городской школы — 15, 18.
- Кестлин (Köstlin), Христиан-Рейнгольд (1813—1856) — немецкий поэт-писатель и талантливейший из криминалистов-гегельянцев — 82.
- Кеттген (Koettgen), Густав-Адольф — барменский художник, коммунист — 428, 429.
- Кинтана (Quintana), Мануэль-Хосе (1772—1857) — испанский поэт, воспевавший борьбу за независимость Испании — 464.
- Кине, Эдгар (1803—1875) — французский историк, написал резкое возражение против «Жизнь Иисуса» Штрауса — 411.
- Кирхнер — общий знакомый Энгельса и Гребера — 473.
- Клавдий — один из героев народной книги «Октавиан» — 31.
- Клаузен, Иоганн - Кристоф - Генрих (род. в 1806) — (третий старший учитель Эльберфельдской гимназии — 16.
- Клаурен, Генрих (псевдоним Карла Геуна) (1771—1854) — немецкий писатель, автор сентиментально-скабрезных рассказов — 509.
- Клейн, Юлий - Леопольд (1810—1876) — немецкий драматург и историк литературы, автор многих трагедий и комедий — 250.
- Клеменс — имя странника в народной книге «Октавиан» — 31.
- Клио — муза истории — 20.
- Клоппт-ка, Фридрих Готтлиб (1724—1808) — известный немецкий поэт — 188, 484.
- Кнапп, Альберт (1798—1864) — немецкий духовный поэт пьестистского направления — 61, 188, 480.
- Кнебель — автор учебника французского языка — 15.
- Кобден (Cobden), Ричард (1804—1865) — радикальный политик и основатель Лиги против хлебных законов — 322, 374.
- Кок, Поль де (1794—1871) — известный французский романист — 17.
- Коль (Kohl), Альберт — проповедник в Эльберфельде — 9, 11, 488, 495.
- Кольман фон-Горн — пастор в Бремене — 555.
- Консидеран (Considerant), Виктор (1808—1893) — французский социальный мыслитель, фурьерист — 397, 412.
- Констан, Альфонс (1816—1875) — аббат, французский писатель, представитель религиозного коммунизма — 412, 413, 414.
- Констан де-Ребекк, Бенжамен (1767—1830) — знаменитый французский писатель и политический деятель, друг г-жи Сталь — 412.
- Коперник, Николай (1473—1543) — знаменитый астроном — 467.
- Корнель, Пьер (1606—1684) — французский драматург — 86.
- Коцебу, Август-Фридрих-Фердинанд (1761—1819) — немецкий драматург, политический шпион России, убит студентом Зандом — 455, 475, 478, 480.
- Крейценах, Теодор (1818—1877) — немецкий писатель — 36 485, 530, 543.
- Кромвель (Cromwell), Оливер (1599—1658) — диктатор, лорд-протектор Англии во время революции середины XVII века — 335, 351, 369.
- Кромптон (Crompton), Самюэль (1753—1827) — изобретатель механической ткацкой машины в эпоху промышленного переворота в Англии — 319, 358.
- Круг, Ф.-В. — кандидат теологии — 21.
- Круммахер, Готфрид-Даниил (1774—1837) — протестантский проповедник в Эльберфельде (1816—1837) — 7, 8.
- Круммахер, Фридрих-Адольф (1767—1845) — немецкий педагог, теолог, автор известных «Parabeln» (Притчей), брат Г. Д. Круммахера — 8, 22, 23.
- Круммахер, Фридрих-Вильгельм, д-р (1796—1868) — реформатский проповедник в Вуппертале, пьестист, глава воинствующего духовенства; сын

- Ф.-А. Круммахера и племянник Г.-Д. Круммахера — 8, 9, 10, 11, 12, 188, 215, 259, 488, 493, 395, 508, 531, 554, 555.
- Круммахер, Эмиль — брат Ф.-В. Круммахера — проповедник в Лангенберге — 12.
- Круве, Карл-Адольф (1807—1873), д-р — преподаватель в Эльберфельдском реальном училище с 1830 г. — 16.
- Кувен, Виктор (1792—1867) — французский философ и ученый — 255.
- Купер (Cooper), Томас (1805—1892) — писатель, чартист — 285.
- Кюве, Жорж (1769—1832) — знаменитый французский естествоиспытатель и философ — 147.
- Кюне, Густав (1806—1888) — немецкий беллетрист и критик, стоявший близко к Молодой Германии — 36, 43, 248, 250, 251, 253, 485, 491, 492, 531, 532.
- Л**
- Лавуазье, Антуан-Лорен (1743—1794) — основатель современной химии — 349.
- Ланса — греческая гетера — 171.
- Лазарь — брат Марфы и Марии; «Сестры Лазаря» — произведение Геллера — 500.
- Ламенне, Фелисите-Робер (1782 — 1854) — аббат, знаменитый французский писатель, провозвестник «католического социализма» — 400.
- Лангевиге, Вильгельм — книготорговец в Бармене и Иверлоне, выступавший на литературном поприще под псевдонимом W. Jemand (В. Некто) — 19, 528.
- Лаубе, Генрих (1806—1884) — писатель, примыкавший к Молодой Германии, редактор «Zeitung für die elegante Welt» — 56, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 485, 491, 532.
- Лафатер (Lavater), Иоганн-Каспар (1741—1801) — швейцарский священник-поэт, мистик — 514.
- Лев — шутовое прозвище Генриха Лео; см. Лео, Генрих.
- Левальд, Иоганн-Карл-Август (1792—1871) — немецкий писатель, издатель журнала «Европа» (1835—1846) — 19, 492.
- Лейбниц, Готфрид-Вильгельм (1646 — 1676) — величайший немецкий философ-рационалист — 405.
- Лейпольд (Leipold), Генрих — консул, владелец торговой фирмы в Бремене, в которой работал Энгельс — 484.
- Ленау, Николай (псевдоним Николая фон-Штрелекау) (1802—1850) — австрийский поэт — 35, 38, 250, 490, 492.
- Лео, Генрих (1799—1878) — известный немецкий историк и публицист-консерватор, враг гегельянства, — 53, 113, 118, 210, 211, 213, 215, 217, 226, 232, 254, 257, 259, 263, 502, 503, 511, 512, 522, 527, 537, 550, 557, 558.
- Лео, Леонардо (1694—1746) — итальянский композитор, представитель неаполитанской школы — 532.
- Леру (Lerooux), Пьер (1797—1871) — французский философ, социалист — 400, 401.
- Лессинг, Готтольд-Эфраим (1729 — 1781) — знаменитый немецкий писатель и критик — 484, 509, 531.
- Лессинг, Карл-Фридрих (1808—1880) — один из значительнейших немецких живописцев XIX века — 421.
- Либах, Юстус (1803—1873) — немецкий химик — 303, 316.
- Ливий, Тит (59 до нашей эры — 17 нашей эры) — знаменитый римский историк — 438.
- Линней, Карл (1707—1778) — знаменитый шведский естествоиспытатель — 349.
- Лир — мифический король Британии, предание о котором Шекспир сделал сюжетом известной трагедии — 488.
- Лист, Фридрих (1789—1846) — немецкий экономист, сторонник протекционизма — 296.
- Лит — заведующий женской школой в Эльберфельде — 19.
- Лойола, Игнатий (Inigo Lopez de Recalde) (1491—1556) — основатель ордена иезуитов; «Лойола» — произведение Дуллера — 43, 53, 486.
- Локк (Locke), Джон (1632—1704) — английский философ и экономист — 357, 368.
- Лот — согласно Библии, племянник Авраама. Единственный спасшийся после гибели Содомы — 57.
- Лознштейн, Даниил-Каспар фон — (1635—1683) — немецкий писатель, представитель так называемой второй силеской школы поэтов — 43.
- Лузиады — сыны праотца португальцев Лузуса, который, по преданию, был спутником Вакха. «Лузиады» — эпос португальского поэта Камоанса (ок. 1529—1580) — 507.
- Луи-Филипп (1773—1850) — французский король — 259, 292, 418.
- Лука — евангелист — 167, 219, 514, 518, 526, 536.
- Людовик XIV — король Франции (1638—1715) — 41, 42.
- Люнинг, Отто, д-р (1818—1868) — писатель социалистического направления, позднее умеренный либерал, издатель

- «Westfälisches Dampfboot» и других журналов «истинного социализма» — 422, 430.
- Лютер, Мартин (1483—1546) — великий германский реформатор — 47, 298, 402, 403, 546.
- М**
- Магелона — героиня средневековой народной книги — 31.
- Мак-Адам (Mc Adam), Джон (1756—1836) — шотландец, изобретатель нового способа постройки шоссевых дорог — 363.
- Мак-Куллох (M. Culloch), Джон Рамвай (1789—1864) — английский экономист и статистик, популяризатор идей Адама Смита — 295, 300.
- Маллет, Фридрих-Людвиг (1792—1865) — пастор, богословский писатель, вождь бременских пиетистов — 215, 551, 555, 556.
- Мальтус, Томас-Роберт (1766—1834) — английский экономист — 282, 295, 312, 313, 314, 315, 316.
- Манц — издательская фирма в Регенсбурге, основанная Георгом-Иосифом Манцем в 1838 г. — 52.
- Марат, Жан-Поль (1742—1793) — выдающийся деятель Великой французской революции, редактор «*Ami du Peuple*» — 52, 211, 218.
- Марбах, Освальд-Готгард (1810—1890) — немецкий философ и поэт — 27, 28, 30, 31, 33, 551.
- Маргграф, Герман (1809—1864) — немецкий поэт и критик — 532.
- Маргейнеке, Филипп-Конрад (1780—1846) — известный немецкий богослов-гегельянец — 229, 230, 231, 232, 512.
- Марий (155—86 до нашей эры) — известный римский полководец и политический деятель — 369.
- Мария — по Евангелию, мать Иисуса Христа — 176, 177, 220, 489, 494, 518, 539.
- Марк (Marcus) — псевдоним, под которым в 30-х годах появился памфлет, доводящий учение Мальтуса до абсурда — 313.
- Марк — евангелист — 219, 536.
- Марк-Аврелий (121—180) — римский император-философ, стоик — 171.
- Маркс, Карл (1818—1883) — 408, 416, 422, 425, 426, 430.
- Марриет (Maguat), Фредерик (1729—1848) — английский романист — 17.
- Матфей — евангелист — 173, 184, 185, 187, 514, 526, 536.
- Мегмет-Али (1769—1849) — вице-король Египта — 77.
- Медуза — одно из наиболее страшных мифологических чудовищ, Горгон — 307.
- Мейен, Эдуард (1812—1870) — публицист, редактор «*Athenäum*» совместно с Карлом Риделем — 205, 216, 217, 257.
- Мелюзина — фея, героиня народного сказания — 28, 31.
- Мейсг, Антон-Рафаэль (1728—1779) — немецкий живописец — 530.
- Менелай — один из героев троянской войны, муж Елены Прекрасной — 477.
- Менкен, Готфрид (1768—1831) — проповедник и писатель из Бремена — 555.
- Ментенон, Франсуаза д'Обинье маркиза де (1635—1719) — фаворитка, позднее жена Людовика XIV — 43.
- Менцель, Вольфганг (1798—1873) — консервативный немецкий критик и публицист; известен своим доносом на Молодую Германию; «*Менцель-французоед*» — произведение Берне, направленное против Менцеля — 53, 71, 490, 491, 499, 512, 531, 541, 543.
- Мерклин (Märklin), Христиан (1807—1849) — немецкий теолог и педагог, автор резкой критики пиетизма с христианской точки зрения — 520, 550.
- Мерлин — в средневековой сказочной литературе пророк и волшебник при дворе короля Артура; герой драмы Иммермана — 87.
- Меровия — действующее лицо из трагедии К. Бека — 39.
- Мидас — фригийский царь, получивший, по сказанию, за оскорбление олимпийцев ослиные уши и дар своим прикосновением обращать все в золото — 325, 327.
- Милль (Mill), Джон-Стюарт (1806—1873) — известный английский экономист и философ-позитивист — 295, 365.
- Михаил архангел — 220.
- Михелет (Michelet), Карл-Людвиг (1801—1893) — философ, левый гегельянец, профессор берлинского университета — 114, 502, 503, 511, 512, 527.
- Михель — насмешливое прозвище немцев — 236, 322.
- Мишле, Жюль (1798—1874) — французский историк — 411.
- Моав — один из героев трагедии Бека — 39.
- Мозен, Юлий (1803—1867) — немецкий поэт — 19, 485.
- Моисей — законодатель еврейского народа — 21, 180, 193, 515.

- Молох — имя семитического божества, которому приносились человеческие жертвы — 39, 195.
- Монтанус Эремит — псевдоним волингенского поэта.
- Монтолен, Шарль-Тристан де, граф (1782—1853) — генерал-адъютант Наполеона I, сопровождал его на остров св. Елены — 463.
- Моргана — фея — 66.
- Морольф — легендарное существо, играющее видную роль в западных сказаниях о царе Соломоне и в происшедших из них средневековых поэмах — 28, 30.
- Моррисон — изобретатель слабительных пилюль — 335, 336, 346.
- Морфелль (Morvell) — немецкий малоизвестный писатель, писал в «Schlesischer Musealmanach» (1833) — 492.
- Моцарт, Вольфганг-Амедей (1756—1791) — один из величайших композиторов Германии — 80, 530.
- Мундт, Теодор (1808—1861) — немецкий писатель и издатель многих немецких журналов 30-х и 40-х годов. Принадлежал к Молодой Германии; с 1842 г. приват-доцент Берлинского университета — 17, 35, 43, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 415, 485, 490, 491, 492, 522, 526, 532, 549.
- Мюгге, Теодор (1800—1861) — плодовитый, но посредственный немецкий романист — 202.
- Мюллер фон-Кенигсвинтер, Вольфганг (1816—1873) — немецкий поэт — 429.
- Мюллер — кандидат теологии из Бармена; приятель Энгельса в Бремене — 531.
- Мюллер, Юлиус (1801—1878) (прозвище—Зюнден), — богослов из Геттингена, известный своей большой работой «Христианское учение о грехе» — 215, 217.
- Мюнцер, Томас (1490—1525) — коммунистический проповедник времен реформации, один из вождей крестьян, восставших в 1525 г. — 402.
- Мюнхгаузен — герой баснословных приключений, в данном случае сатирическое произведение Иммермана — 82, 87.
- Мюрат, Иоахим (1767—1815) — генерал времен революции и империи, после-неаполитанский король — 462.
- Неандер, Август (1789—1850) — известный протестантский теолог и церковный историк — 105, 161, 514, 515, 522, 526, 546, 547, 551, 558.
- Ней, Мишель (1769—1815) — французский маршал — 462.
- Нейбург — приказчик книготорговца Лангевитше — 528.
- Некто, В. — см. Лангевитше, Вильгельм.
- Нестрой, Иоганн Непомук (1802—1862) — венский драматург и актер, автор многочисленных немецких народных комедий — 17.
- Нибелунги — мифический род карликов, владетелей сокровища, давший имя знаменитой немецкой поэме «Песнь о Нибелунгах» — 62.
- Николай I (1796—1855) — русский император — 259, 551, 553.
- Ницш (Nitzsch), Карл-Иммануил (1787—1868) — немецкий теолог, профессор и проповедник при Боннском университете (1822—1847) — 215, 558.
- Ницше, см. Ницш.
- Норк, Фридрих (псевдоним Фридриха Корна) (1803—1850) — австрийский писатель, сатирик — 500.
- Ньютон (Newton) Исаак (1643—1727) — величайший английский ученый математик и физик, создатель современной небесной механики — 57, 339, 349, 357, 467.

O

- Одиссей — герой древне-греческого эпоса — 548.
- О'Коннель (O'Connell), Даниэль (1775—1847) — ирландский общественный деятель, боролся за восстановление автономии Ирландии — 281, 290, 291, 292, 382, 383.
- О'Коннор, Фергус-Эдуард (1794—1855) — лидер чартизма, редактор газеты «Полярная звезда» — 281, 284, 285.
- Октавиан (Август, Кай Юлий Цезарь) (63—14 до нашей эры) — первый римский император; герой народной книги — 28, 31, 477.
- Ольга — героиня произведения Раупаха — 509.
- Освальд — псевдоним Фридриха Энгельса; см. Энгельс, Фридрих.
- Остлер (Oastler), Ричард (1789—1861) — английский радикал, защитник рабочего класса, автор письма «Йоркширское рабство» — 324.
- Оттон I, Фридрих-Людовик (1815—1867) — король греческий, сын короля Людовика I баварского — 544.

H

- Наполеон I (1769—1821) — французский император — 17, 42, 47, 68, 69, 71, 86, 191, 218, 351, 394, 462, 553.

Оуэн, Роберт (1771—1858) — великий английский социалист - утопист и родоначальник кооперативного движения — 288, 399, 400, 422.

П

Павел, апостол — 155, 161, 167, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 516, 536.

Паниель, Карл-Фридрих (1803—1856) — бременский пастор, ученик известного рационалиста Паулюса, противник Маллета — 554, 555, 556.

Паткуль — герой произведения Гукнова — 253.

Патриот — прозвище Людвиг Буля, см. Буль, Людвиг.

Паулюс, Генрих - Эбергард - Готтлиб (1761—1851) — протестантский богослов, противник Шеллинга — 10.

Перикл (род. между 500 и 490—429 до нашей эры) — афинский государственный деятель — 544.

Перун — в славянской мифологии бог грома и молнии — 216.

Петр (Петер) — по всей вероятности Ионггауз; см. Ионггауз, Петер.

Петр — апостол — 161, 179, 180, 183, 184, 185, 186.

Петрарка, Франческо (1304—1374) — итальянский поэт, основоположник гуманизма — 91, 506.

Пилат, Понтий — римский прокуратор, согласно Евангелию приговоривший Иисуса к смертной казни — 89.

Пиль, Роберт (1783—1850) — английский государственный деятель, вождь консервативной партии — 275, 276, 278, 279, 284, 291, 292, 322, 369.

Пиндар (522—448 до нашей эры) — величайший лирический поэт древней Греции — 17.

Платен, Август (1796—1835) — немецкий лирик, прославившийся политически-патриотическими стихотворениями — 19, 45, 56, 490.

Платон (ок. 427—347 до нашей эры) — великий греческий философ — 438.

Плюмахер, Ф. — приятель Энгельса в Бармене — 474, 483, 495, 521, 554.

Поль, Иоганн — пастор в Ганфельде близ Изерлона — 20, 22.

Портер, Джордж - Ричардсон (1792—1852) — английский статистик — 364.

Приам — согласно греческому преданию, царь Трои во время Троянской войны — 444.

Присли, Джозеф (1733—1804) — английский ученый и философ — 349.

Прудон, Пьер-Жозеф (1809—1865) — французский социалист-утопист — 400, 412.

Пруцц, Роберт (1816—1872) — немецкий писатель, поэт и критик — 201, 202, 559.

Пуатье, Гильом IX граф де — трубадур XI века — 76.

Пуффер, Густав (1807—1890) — немецкий лирический поэт и критик, принадлежавший к так называемой швабской школе романтиков — 36.

Пэн, Томас (1731—1809) — английский радикальный писатель эпохи французской революции — 288.

Пюклер-Мускау, Герман-Людвиг-Генрих князь (1785—1871) — немецкий писатель — 250.

Пюттман, Герман (1811—1894) — радикальный поэт из Эльберфельда, принимал участие в «Новой рейнской газете» — 19, 422, 425, 430.

Р

Радге — псевдоним Эдгара Бауэра; см. Бауэр, Эдгар.

Радеваль, Фридрих — написал в 1840 г. комедию «Тилль Эйленшпигель» — 254.

Ранке, Леопольд фон (1795—1886) — известный немецкий историк — 551.

Расин, Жан-Батист (1639—1699) — знаменитый французский драматург — 42.

Раумер, Фридрих-Людвиг-Георг фон (1781—1873) — немецкий историк — 368.

Раулах, Эрнст - Бенъямин - Соломон (1784—1852) — немецкий драматург 44, 495, 509.

Рахиль — см. Варнгаген фон - Энве, Рахиль — 485.

Рашель (1821—1858) — знаменитая французская актриса — 42.

Ретшер, Генрих-Теодор (1803—1871) — немецкий теоретик эстетики и драматург, правый гегельянец — 43.

Ридель, Карл (род. в 1804 г. — ум. после 70-го года в Америке) — евангелический пастор в Вейсенштедте (в Баварии), впоследствии радикальный публицист, младогегельянец, издатель «Athenäum'a» — 110.

Рикардо, Давид (1772—1823) — знаменитый английский экономист — 295, 300, 304.

Рингсайз, Иоганн Непомук (1785—1880) — врач, профессор в Мюнхене — 121.

Риполе — сожжен инквизицией в Валенсии в 1826 г. — 553.

Рихтер, Иоганн-Генрих (1799—1847) — д-р теологии, инспектор рейнского миссионерского дома в Бармене — 12.

Робеспьер, Максимилиан (1758—1794) — знаменитый деятель Великой французской революции, вождь якобинцев — 211, 218, 351, 369.

Розенкранц, Иоганн - Карл - Фридрих (1805—1879) — профессор Кенигсбергского университета, гегельянец, известный историк философии и литературы — 43, 235, 246, 551.

Роланд — знаменитый герой французских эпических сказаний цикла Карла Великого — 115, 488, 555.

Ромео — герой шекспировской трагедии — 60.

Россель, Джон (1792—1878) — английский государственный деятель, вождь либеральной партии — 275, 276, 279, 322.

Россини, Джоакино-Антонио (1792—1868) — итальянский композитор — 80.

Рот, Рихард — из Бармена — 556.

Роте, Мориц (1800—1888) — пастор в Бремене с 1837 г. — 556.

Роттек, Карл-Венцеслав (1775—1840) — историк и политический деятель, один из вождей либеральной партии — 553.

Ротшильд — один из представителей банковского дома, основанного Амшелем Ротшильдом (1743—1813) — 50.

Рохов, Густав - Адольф фон (1792—1847) — прусский государственный деятель, консерватор, министр внутренних дел и полиции (1834—1842) — 264.

Рутенберг, Адольф (прозвище—Ртт) (род. в 1808) — младогегельянец, радикал, редактор «Рейнской газеты» до Маркса, впоследствии перешел и на службу к Бисмарку — 206, 208, 216.

Ртт — прозвище Адольфа Рутенберга; см. Рутенберг, Адольф.

Рымаркевич (Rymarkiewicz) — 431.

Руге, Арнольд (1803—1881) — немецкий литератор, философ-гегельянец и публицист-радикал — 73, 110, 117, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 216, 217, 220, 257, 407, 408, 416, 547, 551, 557, 565.

Рункель, Мартин, д-р — редактор «Эльберфельдской газеты» от 1839 до 1843 г. — 18, 508.

Руссо, Жан-Жак (1712—1778) — французский философ эпохи просвещения, дейст — 282, 288.

Рюи Блаз — герой произведения Гюго того же названия — 42.

Рюккерт, Фридрих (1788—1866) — немецкий поэт — 19, 480, 484, 490, 492.

С

Самсон — имя библейского богатыря — 217.

Санчо-Панса — действующее лицо романа Сервантеса «Дон-Кихот» — 511.

Саул — первый царь еврейского народа в XI в. до нашей эры, герой трагедий Бена и Гудцова — 39, 50, 530.

Сен-Симон, Клод-Анри де (1760—1825) — знаменитый французский социалист-утопист — 394, 395, 397, 400.

Сервантес, Мигель де-Сааведра (1547—1616) — испанский писатель, автор «Дон-Кихота» — 511.

Сивилла — странствующая пророчица древней Греции — 174, 477.

Сид — излюбленный герой испанских народных преданий, герой знаменитой трагедии французского драматурга Корнеля — 42, 72, 488.

Сильсфильд, Чарльз (псевдоним Карла Постля) (1793—1864) — немецкий романист — 256.

Симон — лейтенант — 507.

Скотт, Вальтер (1771—1831) — известный английский романист — 499.

Смидт, Иоганн (1773—1857) — германский государственный деятель, бургомистр города Бремена, выступавший против политики Меттерниха — 555.

Смит, Адам (1723—1790) — известный английский экономист и философ, основоположник классической политической экономии — 232, 282, 295, 298, 304, 349, 364.

Смитт, Фридрих фон — автор книги «История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов» (Берлин, 1839), лифляндец — 530.

Сократ (469—399 до нашей эры) — греческий философ, идеалист — 85, 142, 476.

Соломон — царь еврейского народа — 28, 30, 489.

Солтык, Роман (1791—1845) — польский писатель, принимал участие в польском восстании 1830—1831 гг. — 531.

Соузуэлл (Southwell), Чарльз — социалистический агитатор, издатель «Оракула разума» — 287, 288, 289.

Софокл (425—406 до нашей эры) — великий греческий трагик — 544.

Спиноза, Бенедикт (1632—1677) — великий философ-материалист — 146, 147, 342, 515.

Стеффенс, Генрих (1773—1845) — немецкий философ, естествоиспытатель и писатель; приверженец Шеллинга, профессор в Берлине — 71.

- Сулла, Луcretий-Корнелий (138 — 78 до нашей эры) — римский диктатор — 369.
- Сэй, Жан-Батист (1767—1832) — известный французский экономист — 300, 301, 302.
- Сю (Sue), Эжен (1804—1857) — известный французский писатель, автор романа «Парижские тайны» (1842—1843), в котором он описывал жизнь парижских трущоб — 415.

Т

- Тальони, Мария-София (1804—1884) — выдающаяся танцовщица, выступавшая в Берлине и Париже — 485.
- Тангейзер — миннезингер, живший в XIII веке. С его именем связана легенда о рыцаре Тангейзере, переработанная Вагнером и послужившая основой его оперы «Тангейзер» — 67.
- Тацит (ок. 55—120) — римский историк — 11.
- Телль, Вильгельм — по преданию, швейцарский национальный герой; герой драмы Шиллера — 508, 527.
- Теодерих «фон Бутылка»; — см. также Зигварт «фон Бутылка» — 48.
- Тик, Людвиг (1773—1853) — известный немецкий писатель, один из главных представителей романтической школы — 28, 31, 34, 484, 490.
- Тиле — пастор в Обервейланде у Бремена — 537.
- Тимофей — апостол из числа семидесяти, ученик и спутник апостола Павла — 186.
- Тирш, Бернгард (1794—1855) — учитель и поэт — 56.
- Тобианус — действующее лицо романа Гуцкова «Блазедов и его сыновья» — 511.
- Толук, Фридрих-Август-Готтот (1799—1877) — протестантский богослов, профессор в Берлине — 546, 551, 552, 557, 558.
- Томпсон, Томас-Пероншет (1783—1869) — английский политический деятель, член Лиги борьбы против хлебных законов — 304.
- Торстрик, Иоганн - Адольф (1821 — 1877) — бременский приятель Энгельса. Филолог, член-корреспондент Берлинской академии наук — 533, 534, 535, 545.
- Трибони, Иоаким (из Генуи) — 92.
- Тристан — легендарный герой средневекового эпоса и романа «Тристан и Изольда», переработанного Готфридом Сtrasбургским, а позднее романтиком Иммерманом — 31, 32, 33, 87, 508.

- Тромлиц (псевдоним Витцлебена, Августа) (1773—1839) — немецкий популярный автор исторических повелл — 17, 492, 499.
- Тук, Джон-Горн (1736 — 1812) — английский поэт — 365.
- Туригус — сотрудник «Вечерней газеты» — 500.
- Туснельда — дочь германского князя, похищенная вождем херусков Арминием, героиня романа Люанштейна — 43.

У

- Уатт, Джеймс (1736—1819) — шотландец, инженер, изобретатель паровой машины — 303, 357, 358, 361.
- Уланд, Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт и ученый — 18, 484, 493, 499.
- Уольтер — торий, филантроп — 324.
- Уотс, Джон (1818—1887) — проповедник социалистических принципов в Манчестере — 286, 287, 288, 290, 399.
- Уран — олицетворение неба в греческой мифологии, сын и супруг Геи (земли), отец титанов, циклопов и сторуких исполинов — 157.
- Уэд, Джон (1788—1875) — историк-экономист — 309, 318, 384, 386.
- Уэдждуд, Джосия (1730—1795) — выдающийся специалист по гончарному производству — 357.

Ф

- Фабер — сотрудник «Вечерней газеты» — 500.
- Фауст, Иоганн, доктор — знаменитый чернокнижник XVI века. Из позднейших обработок легенды о Фаусте самая известная принадлежит Гете — 29, 30, 477, 485, 488, 495, 542.
- Федра — жена Тезея, полюбившая сына своего Ипполита — 42.
- Фейербах, Людвиг (1804—1872) — известный немецкий философ, материалист — 110, 118, 132, 144, 164, 206, 208, 209, 210, 211, 247, 254, 256, 257, 302, 341, 342, 407, 417, 425, 426.
- Фельдман, Леопольд (1802—1882) — немецкий драматург — 477.
- Феофил — из Евангелия (от Луки I, 3; Деяния апостолов I, 1) — 518.
- Фердинанд VII (1784—1833) — испанский король — 553.
- Ферранд, Вильям-Бушфильд — йоркширский помещик, член парламента, феодальный социалист из группы Молодая Англия; выступал в защиту фабричных рабочих — 324.

Фиерабрас Понтус — великан из цикла сказаний о Карле Великом, герой рыцарского романа XVI века — 32.

Филипп — подразумевается Филиппи; см. Филиппи, Фридрих-Адольф.

Филиппи, Фридрих-Адольф (1809—1882) — приват-доцент теологии в Берлине (1837—1841) — позднее профессор нравственного богословия в России, в Дерпте, ярый последователь Генгстенберга — 194, 558.

Финч — оуэнист, английский путешественник, посетивший Плезант-хилл (немецкая коммунистическая колония шекеров) в штате Кентукки — 430.

Фихте, Иммануил - Герман (1796—1879) — немецкий философ, сын великого философа Иоганна-Готтлиба Фихте — 199.

Фихте, Иоганн-Готтлиб (1762—1814) — немецкий философ-идеалист — 85, 86, 106, 108, 120, 137, 405.

Флоренкур, Франц фон (1803—1886) — немецкий националистический публицист, родственник жены Маркса — 72.

Флорекс — имя одного из героев народной книги о царе Октавиане — 31.

Фойгт, Н.-Л. — издатель в Кенигсберге — 235.

Фонблэнк, Альбани-Вильям (1797—1872) — английский журналист — 386.

Фортунат — герой популярной в XVI веке в Германии повести — 28, 32.

Фосс, Иоганн-Генрих (1751—1826) — поэт, переводчик «Илиады» и «Одиссеи» — 21.

Фрай, Елизавета (1780—1845) — английская филантропка — 63.

Франкль, Людвиг (1810—1894) — австрийский поэт — 492.

Франц II, Иосиф-Карл (1768—1835) — император Священной римской империи, в качестве императора австрийского носивший имя Франц I — 553.

Фрейлираг, Фердинанд (1810—1876) — знаменитый немецкий поэт, член Союза коммунистов, друг Маркса — 15, 17, 18, 19, 21, 36, 38, 43, 44, 57, 60, 81, 250, 485, 492, 495, 528, 558.

Фридерик — см. Гребер, Фридрих.

Фридрих II Великий (1712—1786) — король Пруссии с 1740 г. до 1786 г. — 83.

Фридрих-Вильгельм III (1770—1840) — король Пруссии — 241, 262, 558.

Фридрих-Вильгельм IV (1795—1861) — король Пруссии — 66, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265.

Фриц — см. Гребер, Фридрих.

Фуке, Фридрих де-ла-Мотт (1777—1843) — немецкий романтик, автор «Ундины» — 49, 50, 76, 499, 528.

Фукидид (род. ок. 460—455 г., ум. ок. 399—396 до нашей эры) — знаменитый греческий историк — 530.

Фурье, Шарль (1772—1837) — великий французский социалист-утопист — 311, 393, 395, 396, 397, 400, 411, 412, 422.

X

Хагель — издатель в Эльберфельде — 19.

Харгривс (Hargreaves), Джэмс (ум. в 1778 г.) — английский ремесленник, изобретатель прядильной машины «Дженни» в 1765 г. — 319.

Христос — см. Иисус Христос.

Ц

Цедрик — 334.

Цедлиц, Иосиф-Христиан фон (1790—1862) — австрийско-немецкий поэт, известный своими балладами — 492.

Циглер фон-Клиппгаузен, Генрих-Ансельм (1663—1696) — немецкий поэт и писатель — 43.

Цицерон, Марк-Туллий (106—43 до нашей эры) — римский оратор, философ и государственный деятель — 91, 438.

Ч

Чайльд Гарольд — герой произведения Байрона того же названия — 510.

III

Шадов, Фридрих-Вильгельм фон (1789—1862) — известный немецкий художник, с 1826 г. директор Дюссельдорфской академии — 64.

Шамиссо, Адальберт фон (1781—1838) — известный немецкий поэт — 45.

Шваб, Густав (1792—1850) — немецкий поэт, один из главнейших представителей так называемой новейшей швабской школы романтиков — 28, 489.

Шекспир, Вильям (1564—1616) — величайший английский поэт и драматург — 60, 86, 345, 509, 544.

Шелли, Мери (1798—1851) — английская писательница, дочь публициста Вильяма Годвина, вторая жена поэта Шелли; даровитая романистка — 61.

Шелли, Перси-Биши (1792—1822) — знаменитый английский поэт — 55, 60, 282, 288, 457, 527.

- Шеллинг, Фридрих-Вильгельм-Иосиф (1775—1854) — немецкий философ-идеалист — 85, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 230, 255, 256, 340, 342, 405.
- Шиллер, Иоганн-Фридрих (1759—1805) — великий немецкий поэт — 12, 37, 455, 475, 478, 488, 489, 495, 510, 525, 527, 528.
- Шифлейн, Филипп, д-р — учитель городской школы в Бармене — 15.
- Шлегель, Август-Вильгельм (1767—1845) — немецкий критик, историк литературы и поэт-переводчик; представитель «романтической школы» — 21.
- Шлейермахер, Фридрих-Даниэль (1768—1834) — знаменитый немецкий философ, теолог и проповедник — 230, 254, 517, 522, 523, 546, 550.
- Шлефель, Фридрих-Вильгельм (1800—1870) — фабрикант из Эйхберга, ведший борьбу за политическое просвещение масс, впоследствии член левой фракции Франкфуртского национального собрания — 431.
- Шмитс, Петр-Готфрид — свидетель при записи рождения Энгельса — 437.
- Шнецлер, Август (1809—1853) — немецкий поэт и журналист, был связан с Фрейлигратом — 492.
- Штал, Фридрих-Юлий (1802—1861) — германский юрист и политический деятель, теоретик прусской реакции — 105, 121.
- Штейн, Лоренц (1815—1890) — немецкий юрист, экономист и социолог. — 290.
- Штейнгауз — издатель в Бармене — 19.
- Штернберг, Александр барон фон-Унгерн-Штернберг (1806—1868) — немецкий романист, родом из Эстляндии, с 1848 г. реакционер — 41, 42, 76.
- Штиглиц, Генрих (1801—1849) — немецкий поэт — 485.
- Штиллинг — см. Юнг-Штиллинг.
- Штир, Эвальд-Рудольф (1800—1862) — теолог, проповедник в Вихлинггаузене в Вуппертале (1838—1846) — 11, 12, 25, 495, 536.
- Штирнер, Макс (псевдоним Каспара Шмидта) (1806—1856) — немецкий философ, автор книги «Единственный и его собственность», принадлежал к берлинским младогегельянцам — 205, 209, 216, 430.
- Штраус, Давид-Фридрих (1808—1874) — немецкий теолог, автор «Жизни Иисуса» (1835) — 10, 43, 92, 110, 117, 118, 144, 160, 164, 192, 215, 247, 248, 254, 257, 282, 323, 324, 340, 406, 494, 514, 515, 520, 521, 522, 530, 531, 540, 546, 549, 550, 551, 557, 558.
- Штрюккер И.-В. — эльберфельдский приятель Энгельса — 476, 477, 480, 495.
- Штрюккер — приказчик книготорговца Лангевитше (см.), вероятно приятель Энгельса, упомянутый раньше — 528.
- Штур, Петер-Феддерсен (1787—1851) — немецкий историк и историк религий — 154.
- Шуабрт, Карл-Эрнст (1796—1861) — немецкий консервативный публицист — 47, 113, 512.
- Шюккинг, Левин (1814—1883) — немецкий романист и поэт, близко стоявший к Гудцову и Фрейлиграту — 60, 491.

Э

- Эбер, Жак-Рене (1757—1794) — знаменитый революционер эпохи Великой французской революции — 351.
- Эберт, Карл-Эгон фон (1801—1882) — австрийский поэт-лирик — 492.
- Эверерт — типограф в Кельне — 477.
- Эвих, Иоганн-Якоб — учитель городской школы в Бармене — 15.
- Эген, Каспар (1793—1849) — учитель математики и физики, впоследствии директор реального училища в Эльберфельде — 25.
- Эдгар — см. Бауэр, Эдгар.
- Эдельман, Иоганн-Христиан (1698—1767) — выдающийся немецкий материалист XVIII века — 191, 218.
- Эдип — герой греческих народных сказаний и трагедий — 56.
- Эйленшпигель — герой древнейшего и популярнейшего произведения народной немецкой литературы, живший, по преданию, в XIV веке — 28, 30, 477.
- Эйлерт, Рулеман-Фридрих (1770—1852) — прусский придворный проповедник, теолог — 551, 553.
- Эйхгорн, Иоганн-Альбрехт-Фридрих (1779—1856) — прусский министр народного просвещения, духовных и медицинских дел с 1840 по 1848 г., ярый реакционер — 264.
- Эйхгоф, Карл-Иоганн-Людвиг-Михаэль д-р (род. 1805) — филолог, второй старший учитель в Эльберфельдской гимназии — 16.
- Энкарт, «Верный» — герой древне-немецкого сказания — 67, 525, 528.

- Энак, сын Арбы, именем которого, по библейскому преданию, назывался род исполинов, живших некогда в земле Ханаанской — 488.
- Энгелье — почталон — 477.
- Энгельс, Фридрих (1796—1860) — отец Фридриха Энгельса — 437.
- Энгельс, Фридрих (1820—1895) (псевдонимы: Освальд, Теодор Гильдебрандт) — 205, 207, 209, 210, 413, 414, 422, 425, 428, 429, 430, 431, 437, 438, 439, 474, 480, 484, 486, 493, 504, 507, 508, 509, 516, 523, 524, 529, 533, 535, 543, 547, 553, 554, 559, 565, 566.
- Эрдман, Эдуард (1805—1892) — немецкий философ, теолог — 558.
- Эрих — 528.
- Эрнст - Август (1771—1851) — король Ганновера с 1837 до 1851 г. — 524.
- Эсхил (525—456 до нашей эры) — великий греческий трагик — 506.
- Эшли, лорд (1801—1885) — член Нижней палаты, торий, защищал интересы промышленных рабочих — 324.
- Ю**
- Юлий Цезарь (100—44 до нашей эры) — римский император, государственный деятель и писатель — 366.
- Юльс, Бетти — детоубийца в Бостоне — 326.
- Юм (Hume), Давид (1711—1776) — знаменитый английский философ, историк и экономист — 351.
- Юнг, Александр (1799—1884) — немецкий писатель, историк литературы, публицист, стоял близко к Молодой Германии — 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 259, 566.
- Юнг, Георг (1814—1886) — кельнский младогегельянец, радикал, один из основателей «Рейнской газеты», левый член прусского национального собрания (1848), позднее национал-либерал — 566.
- Юнг-Штиллинг, Иоганн-Генрих (1740—1817) — немецкий мистический писатель — 21.
- Юноша — прозвище Георга Юнга; см. Юнг, Георг — 216.
- Юр, Эндрью (1778—1857) — английский химик и экономист — 319.
- Юргенс — американский авантюрист-проповедник — 6, 7.
- Я**
- Якоби, Иоэль (1810—1863) — известный немецкий ренегат — 52, 53, 54.
- Якоби, Фридрих-Генрих (1743—1819) — немецкий философ — 142.
- Ян из Калькара (род. ок. 1460) — художник — 64.
- Ян, Фридрих-Людвиг (1778—1852) — «отец гимнастики» (Turnvater), крайний националист, французоед — 68, 70, 86.
- Яносък — трагический герой одной из баллад К. Бека — 39.
- Ярко, Карл-Эрнст (1801—1852) — немецкий правовед и публицист, реакционер — 52.
- Яхман, Рейнгольд-Бернгард (1767—1843) — доктор философии, педагог — 235.

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Предисловие редактора	VII
Статьи из «Телеграфа», «Эльберфельдской газеты» и «Атенеума» (Бременский период)	1
Письма из Вуппертала	3
(«Telegraph für Deutschland», 1839, März, №№ 49, 50, 51, 52; April, № 57, 59; «Elberfelder Zeitung», 1839, 9. Mai, № 127.)	
I	3
II	14
III	22
IV Г-ну д-ру Рункелю в Эльберфельде	24
Немецкие народные книги	26
(«Telegraph für Deutschland», 1839, November, № 186, 188, 189, 190, 191.)	
Карл Бек	35
(«Telegraph für Deutschland», 1839, Dezember, № 202, 203, 204.)	
Ретроградные знамения времени	40
(«Telegraph für Deutschland», 1840, Februar, № 26, 27, 28.)	
Платен	45
(«Telegraph für Deutschland», 1840, Februar, № 31.)	
Реквием для немецкой «Дворянской газеты»	47
(«Telegraph für Deutschland», 1840, April, № 59, 60.)	
Иоель Якоби	52
(«Telegraph für Deutschland»), 1840, April, № 55.)	
Ландшафты	55
(«Telegraph für Deutschland», 1840, Juli, № 122, 123.)	
Родина Зигфрида	62
(«Telegraph für Deutschland», 1840, Dezember, № 197.)	
Эрнст - Мориц Арндт	67
(«Telegraph für Deutschland», 1841, Januar, № 2, 3, 4, 5.)	
Воспоминания Иммермана	81
(«Telegraph für Deutschland», 1841, April, № 53, 54, 55.)	
Скитания по Ломбардии. I. Через Альпы	89
(«Athenäum», 1841, Dezember, № 48, 49.)	
Философские памфлеты и публицистические очерки (Берлинский период)	101
Философские памфлеты	103
Шеллинг о Гегеле	105
(«Telegraph für Deutschland», 1841, Dezember, № 207, 208.)	
Шеллинг и откровение	114
(Leipzig, K. Binder, 1842.)	
Шеллинг — философ во Христе, или преобразование мирской мудрости в мудрость божественную	167
(Berlin, A. Euyssenhardt, 1842.)	

	Стр.
Библии чудесное избавление от дерзкого покушения, или торжество веры (Neumünster bei Zurich, Hess, 1842.)	188
Песнь первая	188
Песнь вторая	197
Песнь третья	204
Песнь четвертая	214
Публицистические очерки	221
Северно- и южно-германский либерализм	223
(«Rheinische Zeitung», 1842, 12. April, № 102.)	
Рейнские празднества	226
(«Rheinische Zeitung», 1842, 14. Mai, № 134.)	
Дневник вольнослушателя	229
(«Rheinische Zeitung», 1842, 10. Mai, № 130; 24. Mai, № 144.)	
Комментарии и заметки на полях к современным текстам	235
(«Rheinische Zeitung», 1842, 25. Mai, № 145.)	
К критике прусских законов о печати	238
(«Rheinische Zeitung», 1842, 14. Juli, № 195, Beiblatt.)	
Александр Юнг и «Молодая Германия»	246
(«Deutsche Jahrbücher», 1842, 7., 8., 9., Juli, № 160, 161, 162.)	
Фридрих-Вильгельм IV, король прусский	259
(«Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz»; hrsg. v. Herwegh, Literarisches Comptoir, Zürich und Winterthur, 1843, p. 189—197.)	
Статьи из «Рейнской газеты», «Швейцарского республиканца», «Немецко-французских летописей» и «Вперед» (Лондонский и манчестерский период)	267
Письма из Англии	269
(«Rheinische Zeitung» 1842, 8., 9., 24., 25., 27., Dezember, № 343, 358, 359, 360, 361.)	
Письма из Лондона	281
(«Schweizerischer Republikaner», 1843, 16. Mai, № 39; 23. Mai, № 41, 9. Juni, № 46; 27. Juni, № 51.)	
Очерки критики политической экономии	293
(«Deutsch-Französische Jahrbücher», 1844, p. 86—115.)	
Положение Англии	321
(«Deutsch-Französische Jahrbücher», 1844, p. 152—181.)	
Положение Англии. — XVIII век	348
(«Vorwärts» (Paris), 1844, 31. August, 4., 7., 11., September, № 70—73.)	
Положение Англии. — Английская конституция	367
(«Vorwärts», 1844, 18., 21., 25., 28., September, № 75, 76, 77, 78; 5., 16., 19., Oktober, № 80, 83, 84.)	
Статьи из «New Moral World»	391
Прогресс движения за социальную реформу на континенте	393
(«N. M. W.», 1843, 4, 18 November, № 19, 21.)	
I.	393
II. Германия и Швейцария	402
«Таймс» о немецком коммунизме	410
(«N. M. W.», 20 January, № 30.)	
Континентальные дела	415
(«N. M. W.», 1844, 8 February, № 32.)	
Континентальный социализм	417
(«N. M. W.», 1844, 5 October, № 15.)	
Быстрое развитие коммунизма в Германии	419
(«N. M. W.», 1844, 13 December, № 25.)	

Из Германии	Стр. 423
(«N. M. W.», 1845, 8 March, № 37, 10 May, № 41.)	
I	423
II	426

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Юношеские годы Энгельса	435
Свидетельство о рождении Фридриха Энгельса	437
(С фотокопии, хранящейся в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса.)	
Выпускное свидетельство, выданное ученику высшего класса Ф. Энгельсу	438
(С фотокопии, хранящейся в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса.)	
Поэтические опыты	
Рассказ о морских разбойниках	443
(С фотокопии, хранящейся в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса.)	
Бедуины	455
(«Bremisches Conversationsblatt», 1838, 16. September, № 40.)	
Вечер	457
(«Telegraph für Deutschland», 1840, August, № 125.)	
Перенесение праха Наполеона I	462
(«Telegraph für Deutschland», 1843, Februar, № 23.)	
Памяти Гутенберга	464
(«Gutenbergs-Album», Braunschweig, 1840, p. 208—225; Pracht-ausgabe, p. 200—217.)	
Письма к братьям Ф. и В. Греберам.	
(С фотокопий, хранящихся в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса).	
Фридриху и Вильгельму Греберам. 1 сентября [1838 г.]	473
Фридриху и Вильгельму Греберам. 17—18 сентября [1838 г.]	475
Фридриху Греберу. 20 января 1839 г.	481
Фридриху Греберу. [19 февраля 1839 г.]	487
Фридриху Греберу. [8 апреля 1839 г.]	490
Фридриху Греберу. 27 апреля — 1 мая [1839 г.]	494
Вильгельму Греберу [27—30 апреля] 1839 г.	505
Вильгельму Греберу. [24 мая 1839 г.]	509
Фридриху Греберу. [15 июня 1839 г.]	513
Фридриху Греберу. 12—27 июля 1839 г.	517
Фридриху Греберу. [В конце июля или начале августа 1839 г.]	524
Вильгельму Греберу. [30 июля 1839 г.]	525
Вильгельму Греберу. [8 октября 1839 г.]	530
Вильгельму Греберу. [20 октября 1839 г.]	534
Фридриху Греберу. [29 октября 1839 г.]	536
Вильгельму Греберу. 13 ноября 1839 г.	542
Фридриху Греберу. 9 декабря — 1 февраля 1839 г.	548
Вильгельму Греберу. 20 ноября 1840 г.	554
Фридриху Греберу. [22 февраля 1841 г.]	557
К истории «Свободных»	561
Корреспонденция в «Кенигсбергскую газету»	563
(«Königsberger Zeitung», 1842, 17. Juni, № 138.)	
Два письма к А. Руге — 15 июня и 27 июля 1842 г.	565
(С фотокопий, хранящихся в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса.)	
Указатель имен	567

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

	Стр.
1. Факсимиле письма Энгельса к Руге от 15 июня 1842 г. . .	XVI—XVII
2. Карикатура Энгельса на столкновение берлинских «свободных» с Руге.	XXXII—XXXIII
3. Ф. Энгельс в 1839 г.	L—LI
4. Страница номера «Телеграфа» со статьей Энгельса «Карл Бек»	32—33
5. Титульный лист брошюры «Шеллинг и откровение». . . .	120—121
6. Титульный лист брошюры «Шеллинг — философ во Христе»	176—177
7. Титульный лист брошюры «Библии чудесное избавление». . .	192—193
8. Страница номера «Вперед» со статьей Энгельса «Положение Англии. — XVIII век».	352—353
9. Страница номера «New Moral World» со статьей Энгельса «Прогресс движения за социальную реформу на континенте».	400—401

ВАЖНЕЙШИЕ ОПЕЧАТКИ:

<i>Страница:</i>	<i>Строка:</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Следует читать:</i>
9	14 сверху	реформаторы	реформаты
16	15, 18 снизу		
188	9 сверху	горной	горней
259	19 снизу	мести	лести
378	6 снизу	католицизма	против католицизма



АРХИВ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Под редакцией Д. Рязанова

Круг задач „Архива“ определяется задачами самого Института Маркса и Энгельса. Это изучение генезиса, развития и распространения идей научного социализма, иными словами — истории марксизма, его теории и практики. В исполнение этих задач „Архив“ печатает исследования и документы по истории международного рабочего движения, генетике и истории марксизма, диалектического материализма, публикует рукописи Маркса и Энгельса, также материалы к их биографии, обзоры современной литературы о Марксе и Энгельсе и о марксизме.

КНИГА I. М. 1924. Стр. 497.

Ц. 4 р.

Содержание: От редакции. — Отдел I. Статьи и исследования: А. Деборни. Очерки по истории диалектики. Очерк I. Диалектика у Канта. — Э. Цобель. К истории Союза Коммунистов. Кельнская Община Союза домартовской революции. — Д. Рязанов. Международное товарищество рабочих. Возникновение Первого Интернационала. — Отдел II. Из неопубликованных рукописей Маркса и Энгельса. К. Маркс и Ф. Энгельс о Фейербахе: Предисловие редактора. Тезисы о Фейербахе. Проект предисловия к „Немецкой идеологии“. Фейербах. (Идеалистическая и материалистическая точки зрения). — Д. Рязанов. Введение Энгельса к „Классовой борьбе во Франции“. — Отдел III. Из переписки Маркса и Энгельса. В. Засулич и К. Маркс. — Письма Ф. Энгельса к Э. Бернштейну. Отдел IV. Критика и рецензии. А. Удальцов. К теории классов у Маркса и Энгельса. — А. Неусыхин. Новый опыт построения систематической истории хозяйства. — Ф. Ротштейн. Новая литература о чартизме. — Н. К. Карев. Маркс и Гегель. — И. Луппол и Гр. Баммель. Кант или Маркс. — Г. Тьямский. Исторический материализм. — И. Рубин. Политическая экономия. — Э. Цобель. История.

КНИГА II. С портретом Ф. Энгельса на отдельном листе. М. — Л. 1925.
Стр. XXXII + 504.

Ц. 6 р.

Содержание: Фр. Энгельс. Диалектика природы (немецкий и русский тексты); с предисловием Д. Рязанова. Приложение. Вариант введения к „Анти-Дюрингу“. Zitatelanhang. Список цитированных произведений. Указатель имен. — Приложение: Иностранная литература о Марксе, Энгельсе и марксизме (1914 — 1925). Библиографический опыт. Сост. Э. Цобель и П. Гайдю.

КНИГА III. М. — Л. 1927. Стр. 521.

Ц. 5 р.

Содержание: Отдел I. Статьи и исследования. А. Деборни. Очерки по истории диалектики. Очерк II. Диалектика у Фихте. — Е. Тарле. Лионское рабочее восстание. — Отдел II. Из литературного наследия Маркса и Энгельса. Д. Рязанов. От „Рейнской газеты“ до „Святого семейства“ (вступительная статья). — К. Маркс. Критика философии права Гегеля. — К. Маркс. Подготовительные работы для „Святого семейства“. — Гимназические работы К. Маркса (с предисловием К. Грюнберга). — Отдел III. Материалы и сообщения. К. Грюнберг. Бруно Гилдебранд о коммунистическом просветительном рабочем союзе в Лондоне. — Р. Постгейт. Документы первого Интернационала. — Е. Косминский. Книга протоколов генерального совета первого Интернационала (1866 — 1869). Дополнение к сообщению Р. Постгейта. — Ф. Шиллер. Георг Вебер, сотрудник парижского „Vorwärts“. Письма М. А. Бакунина к Альберту Ришару. С предисловием и примечаниями Ю. Стеклова. — Отдел IV. Критика и рецензии. И. Луппол. Интерпретация марксизма в Америке. — А. Гуральский. Проблема революции в новейшей социологии. — Е. Косминский. Английский рабочий в эпоху промышленного переворота. — Г. Лукач. Новая биография М. Гесса. — В. Волгин. Исторический памфлет против коммунизма. Рецензии. Г. Баммель. Демокрит и Платон. — А. Тальгеймер. К вопросу о социологическом методе. — И. Рубин. Из новой литературы о марксовской теории денег. — С. Лурье. Социализм в древности. — Г. Зайдель. Один из предшественников Маркса. — Ц. Фридрих. Новое исследование о Парижской Коммуне.

ПЕЧАТАЕТСЯ

КНИГА IV.

Содержание. Отдел I. Статьи и исследования. В. Максимовский. Вико и его теория общественных переворотов. — И. Рубин. К истории текста первой главы „Капитала“ К. Маркса. — В. Волгин. Социологические взгляды Фурье. — М. Доманже. Социальная критика в сочинениях Виктора Консидерана. — Отдел II. Из неопубликованных рукописей Маркса и Энгельса. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Из „немецкой идеологии“. — Ф. Энгельс. Конспект первого тома „Капитала“ К. Маркса. — К. Маркс. Выписки из Макиавелли. Со вступительной статьей В. Максимовского. — Отдел III. Материалы и сообщения. Б. Николаевский. Русские книги в библиотках К. Маркса и Ф. Энгельса. — Р. Постгейт. Последний революционный заговор чартистов. — Е. Косминский. Энгельс и Бюре. — Отдел IV. Критика и рецензии. И. Рубин. Новый Анти-Маркс. — Рецензии. Исторический материализм. Политическая экономия. История социализма и рабочего движения. — Письмо М. Неттлау в редакцию „Архива К. Маркса и Ф. Энгельса“.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

ЛЕТОПИСИ МАРКСИЗМА

(Записки Института К. Маркса и Ф. Энгельса)

КНИГА ПЕРВАЯ. От редакции. — Статьи и исследования. Д. Рязанов. Военное дело и марксизм. — А. Деборин. Новый поход против марксизма. — Г. Штейн. Карл Маркс и мозольские крестьяне. — Из неопубликованных рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. Ф. Энгельс к К. Марксу о Капитале. — К. Маркс к Франкелю и Варлену. — Ф. Энгельс к Лампло. — Два письма Энгельса к болгарам. — Из истории марксизма в России. Г. Плеханов. Речь на конгрессе в Париже в 1889 г. Письма к Геду. — Его же. Анкета. — Б. Николаевский. Ленин в Берлине в 1895 г. — Е. Гуревич. Из воспоминаний. Мой перевод „Капитала“. — Критика и рецензии. — Сообщения кабинетов Института. Fichteana в кабинете философии. — Труды английских экономистов XVII века (1682—1708). — Собрание рукописей, относящихся к Парижской Коммуне 1871 г. Стр. 159. Ц. 1 р. 50 к.

КНИГА ВТОРАЯ. Статьи и исследования. А. Деборин. Наши разногласия. — Г. Бакалов. Русские друзья Христо Ботева. — Из неопубликованных рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. К. Маркс. „Бакунин. Государственность и анархия“. — Письма и документы. И. Лафарг. Письма к Николаю Кону. — М. Бакунин. Письма к А. Руге. — Критика и рецензии. — Сообщения кабинетов Института. Труды английских экономистов XVII века (1682—1708). — Сочинения А. Клоута в Кабинете истории Франции. — Сочинения Р. Оуэна в Кабинете истории социализма. Стр. 180. Ц. 1 р. 50 к.

КНИГА ТРЕТЬЯ. Статьи и исследования. А. Деборин. Спинозизм и марксизм. — Д. Рязанов. Маркс и Энгельс о браке и семье. — Из неопубликованных рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. К. Маркс. Письма об Индии. — И. Гумбель. О математических рукописях К. Маркса. — Письма и документы. Б. Николаевский. К истории петербургской социал-демократической группы стариков. — А. Воден. На заре „легалного марксизма“. — М. Бакунин. Письма к графине Е. В. Салиас. — Критика и рецензии. — Сообщения кабинетов Института. Стр. 160. Ц. 1 р. 50 к.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. К 60-летию первого тома „Капитала“. Ф. Энгельс. Четыре рецензии на „Капитал“ Маркса. — Г. В. Плеханов. Философские и социальные воззрения К. Маркса. — Его же. О так называемом кризисе и школе Маркса. — Статьи и исследования. М. Динник. От примирения с действительностью к апологии разрушения. — Из неопубликованных рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. Ф. Энгельс. Англия. — Из черновой тетради К. Маркса. — Материалы и сообщения. Из архивных материалов о Марксе. — Доклад гр. Лорис-Меликова Александру III о Плеханове. — Незнакомое стихотворение И. С. Тургенева. — Письма М. А. Бакунина к польским корреспондентам. — А. Воден. На заре „легалного марксизма“. — Критика и рецензии. — Письмо в редакцию. — Из деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Постановление ЦИК СССР. — Из доклада Наркома по Просвещению. — Сообщение Д. Б. Рязанова об Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. Иностранная печать об Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. Стр. 160. Ц. 1 р. 50 к.

КНИГА ПЯТАЯ. Статьи и доклады. Д. Рязанов. Деятельность Института К. Маркса и Ф. Энгельса и его ближайшие задачи. — Из неопубликованных рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. Письма К. Маркса и Ф. Энгельса к П. Л. Ларову. — К 10-летию со дня смерти Г. В. Плеханова. Г. В. Плеханов. — Два слова читателям-работчим. — Г. Бакалов. Г. В. Плеханов в Болгарии. — М. М. Ковалевский о книге Бельтова. — Материалы и сообщения. Письма М. А. Бакунина к Косилловскому. — Х. Раппопорт. Воспоминания о Фридрихе Энгельсе. — Критика и рецензии. — Из деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса. К. Шмюклер. Первый том международного издания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. — Выставка по истории Великой французской революции. Стр. 155. Ц. 1 р. 25 к.

КНИГА ШЕСТАЯ. Новые данные к вопросу Маркс—Лассаль. Переписка Лассалья с Бисмарком. — Статьи и исследования. Ю. Стеклов. Западные влияния в мировоззрении Н. Г. Чернышевского. — Д. Рязанов. Новые данные о русских приятелях Маркса и Энгельса. — Из неопубликованных рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. К. Маркс. Pamphlets Бруно Бауэра о русском конфликте. — Из переписки К. Маркса с М. Ковалевским. — Материалы и сообщения. Письмо Н. И. Сазонова к Г. Гервегу. — П. Аксельрод. Группа „Освобождения труда“ (Неопубликованные главы из второго тома „Воспоминаний“). — Критика и рецензии. — Из деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Выставка Маркса и Энгельса. — Читальный зал 1923—1927 гг. Стр. 175. Ц. 1 р. 25 к.

КНИГА СЕДЬМАЯ—ВОСЬМАЯ. К столетней годовщине со дня рождения Н. Г. Чернышевского. А. Деборин. Философские взгляды Н. Г. Чернышевского. — И. Рубин. Чернышевский как коммунист. — Ц. Фридлянд. Н. Чернышевский как историк. — Д. Рязанов. Маркс и Чернышевский. — Из литературного наследия К. Маркса и Ф. Энгельса. Письма Г. Лопатина к Ф. Энгельсу. — Письмо Ф. Энгельса к неизвестному о русских делах. — Материалы и сообщения. И. Книжник-Ветров. Героиня Парижской Коммуны 1871 г. Е. Л. Тумановская (Елизавета Дмитриевна*). — Два письма Н. Г. Чернышевского к сыновьям. — Из переписки М. А. Бакунина. I. Письма к В. Ф. Лучинину. II. Письма к И. Демонтовичу. — Письмо Жорж-Занд к М. А. Бакунину. — Критика, обзоры и рецензии. Д. Рязанов. Ответ на „открытое письмо“ В. Полонского. — Е. Каганович. Обзор статей по теоретической политической экономии в „Вестнике Комкалдеми“ за 1922—1927 гг. — Рецензии. — Из деятельности Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Коллекция рукописей из архива Ф. Домелы Ньювенгуйса (сообщ. Ф. Шиллера). — „Парижская Коммуна 1871 г.“, выставка (сообщ. М. Голосовкер). (Печатается, выйдет в свет на-днях).

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год — 4 книги в год — 4 руб.

Подписку направлять: Москва, Центр, Ильинка, 3, Госиздат, в отделения и магазины